

В-549770

84(4Бел)6-444

Ш 19

ИВАН
ШАМЯКИН



ГЛУБОКОЕ
ТЕЧЕНИЕ





Иван Шамякин

84(4Бел)6-444

Ш 19

ИВАН
ШАМЯКИН

1984-1985 1005

ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ

РОМАН,
ПОВЕСТИ

дерева чистоты

выражает благодарность



Ордена Трудового
Красного Знамени
Военное издательство
Министерства
обороны СССР
Москва — 1979

Абласназ бібліятэка
імя У. І. ЛЕНІНА
г. В. цёбск

20 12

НАРОД И ВОЙНА

Один из самых известных и популярных белорусских прозаиков Иван Петрович Шамякин (родился 30 января 1921 года в деревне Корма, Добрушского района, Гомельской области, в бедной крестьянской семье) пришел в литературу как писатель военной темы. Первое его произведение — рассказ «В снежной пустыне» (1944) — написано о боях с фашистами на севере, где воевал и сам писатель. После войны, еще находясь в армии, он опубликовал повесть «Месть» (1945), в которой восславил высокий нравственный долг и гуманизм советского солдата-победителя. Однако настоящую известность И. Шамякину принес роман «Глубокое течение» (1948), в котором показан широкий, всенародный размах партизанского движения в Белоруссии. Критика с редким единодушием высоко оценила это произведение, явившееся, как справедливо отметил М. Лыньков, «несомненным достижением всей белорусской художественной литературы». За «Глубокое течение» молодому писателю была присуждена Государственная премия СССР.

Роману «Глубокое течение» свойственны многие особенности литературы того времени, когда он создавался. Заметно стремление идеально возвысить поступок человека и дать ему подчеркнутую открытую нравственную и политическую оценку. Вместе с тем это было новаторское произведение в белорусской прозе о войне. В нем поставлены многие проблемы художественного изображения партизанской борьбы, которые будут восприняты и развиты литературой последующих лет. Самая важная из них — показ нравственной, бытовой и тактической сложности народной борьбы с врагом.

Из всех героев высокого гражданского долга наиболее ярко нарисован в романе образ комиссара Лесницкого, человека безукоризненной нравственности. Организуя население на борьбу с врагом, он вызывает восхищение не только своей преданностью делу, но и человеческими качествами.

Комиссар понимает, что сила и мощь партизанского движения раскроются по-настоящему только тогда, когда воевать будет весь народ. Он говорит командиру Приборному, что партизанскую армию должны составлять «не только окруженцы», не только те, кто «обижен немцами», а «масса колхозников и рабочих».

Под этим углом зрения в романе раскрываются жизненные обстоятельства, определяющие рост Лесницкого как партизанского руководителя, усовершенствование его усилиями тактики партизанской войны. Поначалу для Лесницкого главное — приобщить к партизанским делам как можно больше людей. Он не задумывается над последствиями, не учитывает тактики врага. Когда ему напоминают, что немцы сожгут деревню за помощь партизанам, он говорит в ответ: «Сожгут? Что ж... Волков бояться — в лес не ходить».

Но война — жестокий учитель. Лесницкий со временем осознает, что надо считаться с дикой тактикой фашистов мстить мир-

ным жителям за действия партизан. Он станет оберегать население от лишней крови. Предпринимая нападение на железную дорогу, Лесницкий будет опираться на помощь крестьян окрестных деревень, но в глазах захватчиков уже инсценирует принудительность этой помощи.

Фашисты тоже меняли формы борьбы с партизанским движением. Кроме зверских открытых репрессий они прибегали к провокациям, создавали лжепартизанские отряды, чтобы дискредитировать партизан в глазах населения. В романе показано, как действует один такой лжепартизанский отряд. От Лесницкого и других партизанских руководителей требовалось пресечь эти коварные попытки, разоблачить прихвостней врага. В сложных условиях всенародной войны это не обходилось без ошибок.

Лесницкий видит реальные трудности партизанской борьбы, он преодолевает ошибки и упущения. Писатель через этот образ показал целостную и многоплановую картину разворачивания народной борьбы на оккупированной территории, потому что должность комиссара так или иначе связывала героя со всеми важнейшими перипетиями роста партизанского движения. Однако не Лесницкий является главным героем романа.

И. Шамякин в «Глубоком течении» проявил очевидную творческую смелость, избрав главной героиней романа о партизанской борьбе... хрупкую девушку Татьяну Маевскую. Новаторская позиция писателя проявилась прежде всего в том, что роман своим содержанием был полемически направлен против тех произведений, где каждый герой на меньшее, чем большой и обязательно эффектный подвиг, не разменивался.

Писатель сразу заострил ситуацию, усложнил образ главной героини. Таня спасла еврейского ребенка, выдав его за своего. А в это время в окрестностях села уже зарождаются первые очаги народного сопротивления. И она разрывается на части: хочется уйти к партизанам и оставить ребенка не может. Выходит, совершив гуманистический поступок, Татьяна отрезала себе все пути к активной борьбе? Значит, добро в войну — не совсем добро, а, возможно, только средство уклониться от участия в войне? Ведь легче растить ребенка, чем идти в атаку на вооруженного врага. Вот как бескомпромиссно ставит писатель проблему.

Но Лесницкий с Приборным восхищаются поступком Тани, называют его героическим. Не преувеличение ли? Нет, они правильно увидели в том, как повела себя девушка перед человеческим горем, приметой народной готовности к самопожертвованию, огромный запас душевных сил защищать человечность и справедливость. Именно в этом открыли они начало того глубокого течения, которое вскоре разольется по всей белорусской земле, поднимет народ на партизанскую борьбу.

Роман «Глубокое течение» правдив в понимании важнейших жизненных проблем, возникавших перед людьми, которые остались на оккупированной территории и вели борьбу с врагом.

После «Глубокого течения» И. Шамякин много внимания уделял современной теме. Однако события Великой Отечественной войны органически входят в сюжеты и тех его произведений, в которых показана мирная жизнь народа. Отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы», он говорил: «Я, имеющий основание считать себя писателем, исследующим современность, не могу дать кому бы то ни было гарантий, что и в будущем романе, работу над которым начинаю, не затрону вновь тему войны прямо или косвенно, в каких-то новых аспектах, хотя роман будет рассказывать о событиях нашего времени...» Обращение к военному прошлому углубляет проблематику романов писателя, укрепляет историзм его творческой позиции.

Вместе с тем продолжают появляться у И. Шамякина произведения, целиком посвященные войне. Широко известен цикл из пяти повестей («Неповторимая весна», «Ночные зарницы», «Огонь и снег», «В поисках встречи», «Мост»), объединенных общим заглавием «Тревожное счастье» (1957—1965).

В последние годы опубликованы повести «Брачная ночь» (1975) и «Торговка и поэт» (1976). Они близки проблемно к роману «Глубокое течение». Хотя прошло больше четверти века со дня первого издания романа, писателя продолжает интересовать такой гуманистически очень напряженный аспект войны, как женщина в боевых обстоятельствах. В творчестве И. Шамякина эта проблема всегда ставилась широко и несла обобщающий смысл, который можно выразить словами «женщина и война», «народ и война».

В повести «Брачная ночь» И. Шамякин публицистически заострил идею произведения, использовал уже апробированные им изобразительные средства, включая приключенческое развитие сюжета. Тем не менее сюжет повести построен на вполне реальной ситуации. Партизанка Валя ведет в город к подпольщикам советскую разведчицу Машу, такую же, как и сама, молодую девушку. Валя полна противоречивых чувств: легализовать Машу в городе должен любимый Валец Степан. Положение усложняется, когда ради конспирации подпольщики решают фиктивно женить Степана на Маше. Валя вынуждена присутствовать на их «свадьбе», у нее невольно вспыхивает ревность, в душе поселяется отчаяние. Писатель передает внутреннюю усталость героини от войны, от ее сложностей. Погибают Степан и Маша. Остается жить Валя, и самое дорогое для нее в жизни связано с временем, когда она воевала.

Повесть «Торговка и поэт» исследует, пожалуй, еще не тронутые литературой жизненные слои. Поэтому решение поставленной автором проблемы обретает глубокое социальное содержание и сильный гуманистический пафос. Заслуга И. Шамякина прежде всего в том, что на этот раз он выбрал в главные герои произведения о войне не просто обыкновенного, рядового человека, как делал раньше, а женщину из самых низших и духовно отсталых слоев населения. Ольга Ленович — не только не героическая натура.

Она из тех, кто принадлежит к устойчивой мещанской среде — необразованной, корыстной, эгоистически жестокой. О борьбе с врагом Ольга поначалу и не помышляет, ей бы как-нибудь выжить с ребенком, борясь за кусок хлеба. Словом, Ольга — типичная городская торговка, добывающая себе пропитание на базаре.

И именно она, Ольга Ленович, стала главной героиней повести. Право на это ей дал ее неопределившийся характер, подвижный внутренний мир. В конце повести Ольга совсем не такая, какой была вначале, она становится участницей подпольной группы. Ее путь к этому жизненному рубежу был сложный и трудный. Писатель показывает, что в Великую Отечественную войну с врагом боролись, жертвовали жизнью своих близких и детей, шли на смерть не только сознательные, идейно закаленные люди, знающие, что они будут делать в случае опасности для Родины, но и те, кто был втянут в борьбу ходом самой жизни.

Что-то похожее случилось с Ольгой Ленович. В первые дни войны она озабочена одним — создать запасы продуктов. Потом она быстро приспособится к оккупационному режиму. Поступки ее никоим образом не оправдываются автором. Они подаются с той долей жизненной объективности, которая позволяет воспринимать характер человека неоднозначно. Этим подчеркивается сложность быта и нравственной жизни людей в годы войны.

Когда комсомолка Лена Боровская просит помочь освободить из немецкого плена нужного человека, Ольга соглашается не сразу. Лишь насмотревшись на людские страдания, Ольга выкупает у лагерной охраны самого больного и беспомощного солдата. Так в ее доме появляется поэт Саша Гопанюк — Алесь. Через него Ольга присоединится к тому малознакомому ей миру, с которым связана Лена, к которому, выздоровев, примкнет Саша, — миру борьбы и испытаний.

Торговка и поэт... Противоположные миры. Если бы не война, разрушившая границы между устойчивыми уровнями жизни, смешавшая все ее сферы, скорее всего, они, Ольга и Саша, никогда бы не встретились под одной крышей. Но в нарушении привычного течения жизни — логика войны.

Сила сопротивления врагу только тогда и становится могучей и победной, когда в едином патриотическом порыве сливаются воля всего народа и стремления отдельных людей.

В повести «Торговка и поэт» подвиг показан как нравственное и духовное вызревание, начиная от «нулевого» уровня, когда человек стоит на коленях, и кончая гордым озарением, которое поднимает его с земли и делает Человеком.

Проза И. Шамякина о войне — серьезная, глубоко проблемная, умная проза. Она постоянно находится на передовых рубежах художественных поисков советской литературы, все глубже осваивающей неисчерпаемую тему Великой Отечественной войны.

В. Коваленко



ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ

РОМАН



П ереправившись через Днепр, Татьяна с облегчением вздохнула. Теперь она почувствовала себя дома, и радость охватила ее. Она первая выскочила из лодки на берег и быстро пошла, боясь оглянуться назад — на пройденный ею четырехсоткилометровый путь. Ей даже не верилось, что она, одинокая, беспомощная девушка, прошла этот путь — путь нечеловеческих мук и смертельных опасностей. Татьяна начала его на второй день войны, когда фронт был еще позади. А теперь фронт перегнал ее и был где-то далеко на востоке, где она не знала.

Шла она больше двух месяцев. И сколько раз была на волосок от смерти! Сколько бомб разорвалось возле нее, уничтожив и покалечив сотни людей: женщин, детей, стариков! Сотни других гитлеровцы расстреляли из пулеметов и автоматов. Сама она просидела две недели в немецкой комендатуре в Калининчиках. И все-таки ей посчастливилось: еще двадцать километров — и она дома! Тут уж каждая деревня, каждый поворот дороги были знакомы ей — она много раз проходила по этим местам еще тогда, когда училась в городе.

Вместе с Татьяной переправились через Днепр два подростка и три женщины, две из них с грудными детьми. Все они — такие же беженцы, как и она. Но за всю дорогу Татьяна так и не спросила, куда они идут. Теперь по тому, как они почти все вздохнули, услышав, что она скоро будет дома, Татьяна поняла, что идти им еще далеко, и пожалела их.

Дорога шла лесом. Лес был молодой, густой, преимущественно березняк и осинник. Только кое-где над молодыми деревьями подымали свои широкие могучие вершины старые великаны дубы или стремительно взлетали ввысь, будто хотели коснуться солнца, прямые, как струны, сосны. День был солнечный, жаркий. Лес стоял молчаливый, понуро задумчивый. И в этой тишине, среди спокойных деревьев, было особенно трудно представить себе, что где-то лютует война, что она проходила и здесь и, может быть, в это короткое мгновение гибнут тысячи людей. Татьяна старалась отогнать мысль о войне. «Вот на том повороте мы отдыхали с Лизой, когда нас догнали Женья и учитель Кандыба... Когда это было? Два года... Где они теперь, Лиза, Женья? Вернулся ли кто-нибудь из них домой?»

Внезапно мирную тишину леса рассекли короткие выстрелы. Беженцы насторожились. Стреляли в стороне от дороги, в березовой чаще. Испуганно поглядывая в сторону березняка, люди зашагали быстрее. В последнее время Татьяна уже не обращала особенного внимания на одиночные выстрелы. Но теперь, когда до дома оставались считанные километры, испугалась и она.

— Смотрите,— прошептал один из подростков.

Все повернулись туда, откуда прозвучали выстрелы, и увидели молодую женщину. Она бежала напрямик к беженцам, прижимая к груди ребенка. Ее длинные черные косы были распущены, волосы спутались, в них застряли листья, хвойные иглы, паутина. В глазах женщины застыл ужас, синяя кофточка ее была разорвана в нескольких местах, ноги — в крови. По внешности в ней нетрудно было узнать молодую еврейку. Добежав до беженцев, она упала на колени и протянула ребенка.

— Люди добрые! Дорогие мои!.. Спасите ребенка!.. Возьмите моего сына. Они гонятся за нами... Они уже убили мою мать... убью и его. Спасите, родненькие!..

— Беги, дочка, беги,— зашептала старуха беженка, крестя женщину. — Бог с тобой... Он поможет... Беги в чащу, в кустарник.

— Ой, пет!.. Нет... Они нас найдут, догонят... Вот... Слышите их голоса? Спасите! — Женщина задрожала.

Много ужасов видела Татьяна за два месяца, но эта охота за матерью с грудным ребенком — самое страшное. Она посмотрела в глаза несчастной матери и протянула руки:

— Давайте...

— Родная моя! Будь матерью ему. — Женщина схватила и поцеловала Татьянины руки. — Отец его... Борис Каганский... Может, вернется... — Она не кончила, дико оглянувшись, свернула платок, в который был завернут ребенок, и, неся его, как несут детей, быстро пошла назад по дороге. Как птичка, жертвуя собой, несчастная мать отводила опасность от своего птенца.

Она шла ровным шагом, зорко всматриваясь в лес. Люди, немцы, смотрели ей вслед.

Она скрылась за поворотом дороги. Тогда заторопились беженцы.

— Пойдемте,— сказала старуха. — Скорее отсюда!..

Они быстро зашагали дальше.

Татьяна бережно несла ребенка и оглядывалась назад, где осталась его мать.

— На, заверни его,— сказала одна из женщин и, вытащив из корзинки простыню, подала ее Татьяне.

Позади раздались выстрелы. Люди вздрогнули, боясь оглянуться. Старуха перекрестилась.

— Господи, спаси ее, несчастную, и нас, грешных.

Через минуту из-за поворота выскочило пять мотоциклистов. Они затормозили машины, и один из гитлеровцев подбежал к беженцам.

— Кто стреляет dort? — крикнул он.

Старуха ответила:

— А то солдатики ваши забавляются. Охотятся... на людей.

— Ох, забавляйт! Охотяйт! Ошень гут! — засмеялся мотоциклист; но тут же нахмурился. — О, о! Ты хитрый, русише фрау! Документ!

Они вынули документы. Просматривая их, немец хотел сдернуть простыню с ребенка. Татьяна смело отвела его руку и спокойно сказала:

— Ребенок болен брюшным тифом.

— О, тифус! — немец отдернул руку, будто ожегся, и не взял ее документы. Остальные документы он сунул в карман и, вскочив на мотоцикл, со смехом махнул рукой:

— Пашоль!

То, что он забрал теперь, вероятно, никому не нужные бумажки, никого не взволновало. Женщины повернулись к Татьяне, в их глазах светилось восхищение девушкой.

— Смелая ты, девка,— сказала старуха. — Что же ты будешь делать с ним?

— Растить... как сына своего...

— Помоги тебе бог за твой добрый поступок.

Вскоре дороги их разошлись. Женщины пошли дальше по шоссе, а Татьяна свернула на лесной проселок. До родной деревни оставалось всего несколько километров, и Татьяна не чувствовала ни усталости, ни боли в ногах. И думала она уже не о себе, а об этом маленьком человечке, которого осторожно и неумело прижимала к своей упругой девичьей груди. «Ну вот я и мать,— подумала Татьяна и усмехнулась. — Мать! Какая я мать!.. Нет, нет... Это мой ребенок, родной. Нужно всех убедить в этом... Никто ничего не должен знать, пока наши не вернутся. Что же, я год не была дома, у меня мог родиться сын. Мой...»

Она боязливо оглянулась, будто опасалась, что кто-нибудь подслушает ее мысли. «А как его зовут?» — встрепелась она через несколько минут. Несчастная мать забыла сказать его имя, сказала только имя и фамилию отца. «Как же его назвать?» Она долго перебирала в памяти разные имена, но все они почему-то не нравились ей. Потом как-то случайно прошептала:

— Виктор... Витя, Витенька,— и радостно засмеялась. — Ты будешь Витей, мой сыночек...

II

В родную деревню Татьяна пришла под вечер, на закате солнца. Выйдя из лесу и увидя знакомые хаты такими же, какими она их видела всю свою сознательную жизнь, она сначала удивилась, а потом обрадовалась, и что-то сжалось у нее в груди. Крупные слезы покатались из глаз. Она стояла, смотрела на деревню, на свой сад, который выделялся из всех садов, и плакала. После

всего, что она видела на дороге, ей казалось, что ничто уже не сохранило своего прежнего, мирного вида, что повсюду — только страшные следы войны.

И вдруг родная деревня — такая же, как всегда, и вокруг нет ничего ужасного. Тот же лес, то же поле... И солнце прежнее, и садится оно там же, где всегда летом. Как же не плакать от всего этого?!

Ее внимание привлёк столб не то пыли, не то дыма на другом конце деревни, возле речки. Татьяна ужаснулась. Но, догадавшись, что это пыль, поднятая возвращающимся с поля стадом, ещё больше обрадовалась. Ничего она так не любила с самого детства, как эту пору летнего дня, когда по улице идут коровы, поднимая тучи пыли и наполняя воздух запахом лугов и молока. И то, что она входила в родную деревню как раз в этот час, так взволновало ее, что она расплакалась ещё сильнее, по-детски, кулаком размазывая слезы на запыленных щеках. Вместе с ней заплакал и ребенок. Тогда она спохватилась, заглянула в его смуглое личико и засмеялась.

— Не плачь, сыночек, не плачь... Сейчас мы будем дома. Не плачь, мой маленький...

Чтобы избежать ненужных расспросов, Татьяна свернула с дороги на тропинку и пошла огородами. Никем не замеченная, она вошла в родной сад и, ступив за знакомую ограду, остановилась. Громадная тяжесть опасности, больно сжимавшая сердце последние километры, свалилась сразу. Стало необыкновенно легко, даже ноги перестали болеть. Татьяна жадно вдыхала воздух, и ей казалось, что, если бы ее привели сюда с завязанными глазами, она только по одним этим особенным запахам узнала бы родной уголок.

Сад был большой — лучший в деревне. Под деревьями стояли ульи. За густым кустом смородины Татьяна увидела склоненную фигуру и сразу узнала отца.

Она чуть не крикнула: «Тата!», но сдержалась, тихонько подошла совсем близко и шепотом позвала:

— Тата...

Отец испуганно обернулся и, увидев ее, выронил из рук сетку и раму.

— Таня!.. Ты? — удивленно и радостно вскрикнул он. Потом быстро подошел, взял ее за плечи. Но не поцеловал, а долго молча вглядывался в ее похудевшее лицо. — Дочка моя! — взволнованно прошептал он. — Дочка моя! Сколько же я передумал о тебе! — В глазах его блеснули слезы. — Ну идем же, идем в хату. — И первый пошел по тропинке к дому.

Татьяна шла за ним и думала: «Что же он о ребенке-то не спросит? Даже не взглянул». Но возле сарая отец остановился, повернулся к дочери и спросил как-то безразлично:

— А дите это чье?

«Может, признаться? — мелькнула мысль. — Ему можно дове-

риться... Да нет, не выдержит, скажет матеке... И будут смотреть на него, как на чужого, да ещё слух разнесут!..»

И она сделала вид, что удивилась его вопросу.

— Мое.

— Твое? — глаза отца расширились. — Как это твоё? Откуда? Она опустила глаза и усмехнулась:

— Вы ж знаете, тата, откуда берутся дети.

— Ты не шуткуй. Ты год назад приезжала — и ничего... Сколько ему? — Он наклонился над ребенком.

«Сколько ему?» — об этом она и не подумала и поэтому растерялась.

— Ему? Сколько ему? Да вот... восемь месяцев. Я тогда уже. Вы только не заметили...

Карп Маевский долго и очень пристально всматривался в лицо дочери, но она не поднимала глаз. Он отвернулся и сказал уже спокойно и задумчиво:

— Сколько ж тебе годов? Деятнадцать... И почти год сынку. Та-ак... Поспешила ты, дочка. Что же ты батьке не написала?

— Стыдилась, тата. Была б мама... — И тут же лукаво блеснула глазами: — А вы мне написали? От людей узнала.

— Я? Что я!.. Мне писать нечего... — Карп быстро отвернулся, но Таня заметила, как он покраснел.

Больше он не сказал ни слова и быстро вошел во двор.

Одиннадцать лет прошло с тех пор, как умерла первая жена Карпа, мать Татьяна. Всеми уважаемый в деревне, всегда расудительный, пасечник прожил девять лет вдовцом, растил детей, учил их. Одну дочку выдал замуж. А на десятый год удивил односельчан: надумал жениться на вдове. У Пелагеи (так звали вдову) была в селе не слишком хорошая репутация. Помимо того, она славилась своей сварливостью. Всех очень удивило сближение этих людей, таких неравных по возрасту и характеру. Настроенная разговорами знакомых и соседей, Татьяна возмутилась и однажды наговорила отцу дерзостей. Старик смолчал. Но как только Татьяна, окончив техникум, уехала учительствовать в западные области, он женился на Пелагее. О женитьбе отца Татьяна узнала из писем подруг. Это оскорбило ее, и она долго не писала домой.

Вот почему Карп чувствовал себя виноватым перед дочерью.

«Что я выпытываю у нее, старый дурень? Сам-то я хуже сделал».

Мачеха встретила падчерицу ласково. Обняла, поцеловала. Татьяна, хорошо знавшая, как Пелагея злилась на нее за то, что она пыталась помешать женитьбе отца, отнеслась к этим ласкам недоверчиво.

— Так это уже внушек у меня! Погляди, Карп! Радость-то какая! — сыпала она, сладко улыбаясь. — Ай-ай... Дай же мне его...

Пока мачеха купала и одевала ребенка, Таня внимательно присматривалась к каждому ее движению. Ей не приходилось еще

иметь дело с детьми такого возраста, и теперь нужно было во что бы то ни стало сразу же всему научиться, чтобы и дальше, не вызывая подозрений, играть роль матери.

— Ох, цыганеночек мой! — приговаривала Пелагея, ласково подбрасывая ребенка. — Какой он, Таня, смуглый у тебя, какой кучерявый! Настоящий цыганенок...

Мальчик угукал и улыбался.

— Угу-гу... гугулечки мои. Сколько же ему, Таня? Девять есть?

— Нет. Восьмой месяц.

— Только восьмой? А какой же он большой у тебя... Люблю детей. Обидел меня бог, не дал...

Ребенок заплакал.

— А-а, кушаньки захотел. На, мать, покорми его.

Татьяна вздрогнула и с минуту растерянно смотрела на мачеху. А потом лицо ее залилось краской. Она торопливо взяла ребенка и сказала:

— Я... я не кормлю его...

— Так рано от груди отняла? — удивилась Пелагея.

«Боже мой, как трудно врать! — подумала Татьяна. — Наверно, не выдержу».

— У меня... нет молока... Заболела в дороге, — соврала она и сама удивилась правдоподобности своей лжи.

— Что же ты не сказала? Эх, матка, matka! Бить вас надо, таких матерей. Дитя голодное, а она сидит и краснеет, будто девочка. Пора уже перестать стыдиться, милая моя. Соску ж ему надо, рожок и соску. Где соска? Нету? Эх, ты! — засуетилась мачеха. — Побегу к соседке, попрошу кипяченого молока.

Татьяна совсем растерялась. О многом она думала в дороге, а о самом важном и необходимом забыла.

«Глупая!.. Мать называется. Ребенок целый день был голоден. И как только он выдержал, бедненький?»

Отец стоял возле печи и молча наблюдал эту сцену. Когда мачеха вышла, он подошел к встревоженной дочери и, ласково дотронувшись до ее плеча, сказал:

— Это не твое дитя, Таня...

— Мое! Мое! — в отчаянии крикнула она. — Я же сказала вам! Что вам еще нужно от меня? Я совсем больная... Разве ж я виновата, что у меня нет молока? — Она горько заплакала.

Карп, не зная, чем успокоить дочь, стал нежно, как когда-то в детстве, гладить ее по голове.

III

Шел второй месяц жизни в неволе. Была она тревожной, наполненной ожиданием чего-то ужасного. Люди были оглушены внезапным несчастьем и ходили, как приговоренные к смерти — печальные, хмурые. Правда, в самой деревне пока ничего не про-

изошло. Фронт продвинулся дальше, не затронув ее своим огненным дыханием. Два-три раза заходили в село немцы, поставили старосту, забрали много уток, кур, несколько коров, приказали собрать урожай с колхозного поля и ссыпать зерно в амбары. Но большую часть собранного хлеба колхозники тайно поделили между собой по трудодням и закопали. Староста не мешал этому.

Старостой был поставлен упорный единоличник Ларион Бугай, молчаливый и неприметный человек. О нем, единственном на весь сельсовет единоличнике, часто даже совсем забывали. А когда вспоминали, обычно говорили: «Чудной человек» — и пытались припомнить, когда, кому и какое слово довелось услышать от него.

Появился в деревне и первый полицейский. Это был тоже односельчанин Митька Заяц. До войны он переменил не одну специальность, но отовсюду его выгоняли за пьянки и хулиганство. В деревне его не любили и боялись. Он был громадного роста, обладал пудовыми кулаками; рассказывали, что когда-то ударом кулака он убил лошадь.

Заяц попробовал навести в деревне «новый порядок», но его спохли, и он две недели беспорядно пьянствовал. А за эти две недели колхозники, опомнившиеся после внезапного удара, начали действовать. Даже трактор и комбайн, оставшиеся на колхозном поле, в одну из ночей куда-то исчезли. Деревня начала жить двойной жизнью — дневной и ночной...

Всего этого не замечала Татьяна в первые дни своего возвращения домой.

Мальчик болел, и она все свое время отдавала ему. Через какую-то неделю она так вошла в роль матери, что ни у кого не могло возникнуть никаких сомнений.

Она жила заботами о ребенке и все чаще удивлялась, как это она раньше могла жить без него, без этого маленького, смешного, крикливого создания.

Иногда ее охватывало чувство страха, такое же, какое испытывали все матери за своих детей в те суровые дни. Обычно это случалось ночью, когда Виктор спал, а ей не спалось. Но все страхи исчезали, как только он просыпался. Она укачивала его, ласково напевая наивные колыбельные песни, без смысла, часто даже без слов. Днем она купала его, стирала пеленки, рубашечки, выходила гулять с ним в сад, на речку. Даже в лес ходила, не думая об опасности. Только со своими односельчанами Татьяна избегала встречаться: они часто допрашивали ее расспросами и вынуждали изворачиваться, лгать, а от этого сразу становилось тяжело и больно, исчезали иллюзии и вспоминалось все — и дорога, и разорванные бомбами люди, и эта лесная охота за женщиной. Правда, всякие там тетки и крестные мамы часто навещали ее, специально чтобы посмотреть на сына, расспросить про мужа. А это, пожалуй, было самым трудным для нее: представить себе отца ребенка и рассказать о нем другим. Чтобы оборвать эти расспро-

сы, она начинала подтрунивать над старухами и даже, случалось, грубила им. Особенно невзлюбила Татьяна старшую сестру покойницы матери, надоедливую и слишком любопытную тетку Христину. Однажды Христина сказала ей:

— Ты, девка, нос-то не очень задирай. Знаешь, что я скажу тебе?

Таня насмешливо прищурилась.

— А что, тетка Христина?

— Никого у тебя нету. Все ты врешь, да и сама уж заговариваешься. Никакого батюшки у него нету...

— Как это нет?

— Да так, нету — и все.

— Так что же, Витя, по-вашему, с неба свалился, что ли? — рассердилась Таня.

— Не с неба... При чем тут небо? Был муж, когда лежал с тобой, а потом свистнул — и поминай как звали...

Татьяна побледила от возмущения и не могла слова вымолвить. О том, что может возникнуть такое оскорбительное подозрение, она и подумать не могла. Только теперь, после слов тетки, она поняла, что так, возможно, думают многие, даже отец, и ей стало очень стыдно и больно. Захотелось рассказать всем правду. Но она понимала, что рассказывать нельзя. Таня долго широко раскрытыми глазами смотрела на тетку. Христина даже испугалась ее взгляда и попыталась оправдаться:

— Да я ж пошутила... Что ты онемела?

— Как вы могли подумать такое? — проговорила, задышав, Татьяна, а потом крикнула: — Как не стыдно вам! Да и какое вам дело...

Не кончив фразы, она хлопнула дверью и с Витей на руках пошла в сад и через сад — в поле.

Обида больно жгла сердце. Девушка задыхалась от стыда и гнева. Она долго шла по сжатому полю, ничего не замечая вокруг себя. Только плач ребенка вернул ее к действительности. Тогда заплакала и она, и от этого ей стало легче.

«Да пусть думают, что хотят! Чего я, дура, расплакалась? Все это глупости. Не стоит на них обращать внимания. Верно, мой сыночек?»

Все же теперь Татьяна стала чаще встречаться с женщинами. От них она узнала много страшного.

В одном месте фашисты расстреляли на шоссе колонну военнопленных, в другом — создали какой-то лагерь, откуда, по слухам, никто не возвращается, за Речицей сожгли целую деревню и расстреляли жителей, а в Гомеле собрали всех евреев в одно место и бесчеловечно издеваются над ними, морят их голодом.

— И рассказывают, бабоньки, что эти несчастные от голода кидаются на колючую проволоку, лезут на штыки часовых, — рассказывала одна из женщин.

— Что только делается на белом свете! — перебила первую жен-

щину вторая и тяжело вздохнула. — Не люди, а звери какие-то. А еще говорили, что они культурные. Где ж их культура-то?

В разговор вмешалась тетка Христина:

— Где культура? Ты не видишь ее, что ли? Так это ж и есть культура ихняя. Волчья у них культура...

— Скорей бы вернулись наши! Отступили — и хватит. Сколько ж можно отступать? Пора бы кончать уж этого ирода, — сказала старая Степанида, мать троих сыновей — командиров Красной Армии.

— Очень скоро ты, Степанида, начала ждать своих сынов, — усмехнулась Пелагея. — Говорят, фашисты Москву забрали.

— Типун тебе на язык, балаболка ты этакая! Не видать им Москвы как своих ушей! — возмутилась Степанида и с уважением обратилась к Татьяне: — Правда, крестница?

— Правда, — ответила Татьяна.

Беззаботность, с которой жила Татьяна первые дни в родном доме, исчезла. Снова вспомнился страшный путь, расстрелы людей, ужасное происшествие в лесу. Она почувствовала, что страшная опасность нависла над людьми и каждую минуту может обрушиться на головы женщин, детей, стариков так же, как обрушивалась она тяжелыми бомбами там, на дорогах отступления. Она стала бояться за жизнь маленького черноголового человечка, который хватал ее ручонками за косы, за нос и смеялся, морща свое пухлое личико.

Больше она уже не ходила с ним так смело в поле и в лес, а сидела дома, либо — по воскресным дням — на заваulinке, вместе с другими деревенскими женщинами. Чтобы не привлекать внимания посторонних, и особенно немцев, которые все чаще навевались в деревню, она стала одеваться по-крестьянски.

Татьяна редко вмешивалась в разговоры на заваulinке, а больше внимательно слушала, только в мыслях поддерживая то одну, то другую женщину. Ее считали умной, рассудительной молодой, и даже самые старые обращались к ней как к равной. Матери уважали в ней мать, ценили ее чувства к ребенку. Это радовало Татьяну. Осторожно, но уверенно она вступала в новую жизнь, и незаметно для себя самой у нее складывалось новое отношение к окружающему.

Но разговор с Христиной оставил свой след. «Неужели и отец думает обо мне так же, как тетка Христина?» И она внимательно следила за отцом и мачехой, ловя каждое их слово, каждый взгляд. Но ничего не замечала. Как и в первые дни, они относились к ней и к ребенку ласково и заботливо. Когда Татьяна стала чаще оставаться дома и искать себе работы по хозяйству, Пелагея шутливо, но решительно отстранила ее:

— Справимся и без тебя. Не ахти какое хозяйство!

А без работы было еще труднее. Время девать было некуда, и тянулось оно тоскливо, однообразно. Татьяна радовалась каждому прожитому дню и с тревогой встречала каждый новый. Особенно

тяжело было на сердце в дождливые осенние дни. Однообразно, нудно стучит дождь в окна... Ветер срывает пожелтевшие листья с верб и берез, и они прилипают к мокрому стеклу. Эти одинокие прилипшие к стеклам листья почему-то особенно волновали Татьяну. В такие дни она подолгу просиживала у окна и думала, думала. Думы были разные, а суть их одна.

«Как будто все то же, все на месте, и люди те же, а жизнь не та, — думала она, наблюдая осеннюю улицу и бредущих по ней людей. — Жизни совсем нет... Какое-то тупое существование. Сколько же это будет тянуться? Где наши? Что там у них? Знать бы обо всем наверняка — все равно грустные это вести или радостные... Легче было бы...»

Но вскоре одно событие прояснило ее мысли, да и не только ее...

Однажды в деревню явился односельчанин Татьяны комсомолец Женья Лубян и, смело собрав крестьян, рассказал им о положении на фронте. Рассказывал хлопец так горячо и правдиво, что даже самые недоверчивые поверили ему.

— Не видать этим поганцам Москвы как своих ушей! — звонко и уверенно говорил он. — Правда, они недавно захватили Орел, подошли к Ленинграду... Но добились этого дорогой ценой. Что ни день — у них тысячи убитых и раненых. Бесчисленное количество танков и всяких машин обгорелым ломом лежит на полях. Время придет... покатаются они назад! Еще как покатаются! Партия наказала всем нам: не давать оккупантам ни грамма хлеба, ни куска мяса, ни клочка сена. Спать, закопать, погрятать, а им не давать!.. Воды им не давать из наших колодцев! Пускай их на каждом шагу подстерегает справедливая кара. Вот тогда скоро им придет конец...

Люди слушали парня затаив дыхание. Женщины плакали. Мужчины задавали вопросы и внимательно выслушивали убедительные ответы. Лубян смело стоял на высоком крыльце школы и улыбался. Татьяна не сводила с него глаз.

Был там и староста Ларион Бугай. Молча стоял он позади, слушал и ничего не сделал, чтобы задержать партизана.

Кончив отвечать на вопросы, Женья вытащил из кармана гранату, осмотрел ее, потом достал и проверил трофейный пистолет.

— Не сомневайтесь, земляки... И не пугайтесь. Я буду навещать к вам часто, да и еще кое-кто из знакомых, может, заглянет... Нас много тут! — Он кивнул головой в сторону леса.

Выходя из толпы, он увидел старосту и удивленно остановился перед ним.

— А-а, Бугай! И ты тут? Ну, тебя-то мы повесим, так и знай!

Посещение Лубяна ободрило Татьяну. Мысли ее стали пытливыми, теперь она увереннее смотрела в будущее, думала о победе, о своем месте в борьбе. И все чаще хорошее, большое, героическое связывалось в ее сознании с именем Жени Лубяна. Когда-то (ей казалось, что это было очень давно) они вместе учились в сем-

летке, вместе участвовали в школьном драмкружке, и обычно им приходилось играть жениха и невесту. Но она, «невеста», не испытывала тогда особенно горячих чувств к «жениху». Женья был задирой и часто ругался с девочками. Таня не любила его за это. Но теперь она вспоминала те дни с удовольствием.

Она завидовала Жене. Ее воображению представлялась другая, настоящая жизнь, и очень хотелось быть там, в лесу, рядом с этими людьми. Впервые она пожалела о том, что у нее ребенок.

«Не было бы его, давно была бы я там», — думала она. Но, взглянув на маленького Витю, который сидел в люльке и пытался ручками поймать подвешенный на нитке красный деревянный шарик, она ласково улыбнулась и отогнала эту мысль.

«Нет, я никогда не брошу его... Никогда».

Однажды, в такой же дождливый день, Таня, как обычно, сидела у окна, шила сорочку и думала. Только Витя забавлялся в люльке. Она часто опускала шитье на колени и с нежной улыбкой смотрела на него. В избе никого не было.

Отец столярничал под навесом. Оттуда доносился ритмичный, знакомый с детства свист фуганка и писк ножовки.

Татьяна думала о себе и о тех, кто ушел в лес.

«Увидеться бы с Женей, поговорить... Я рассказала бы ему всю правду. Пусть научит меня жить. В одной пьесе... Как она называлась? — Она на секунду закрыла глаза и наморщила лоб. — Не припомню сейчас... Он учил меня, свою «невесту», жить...»

Она покраснела от этих воспоминаний и снова взглянула на Виктора.

В избу вошел отец. Он вылил ковш воды, рукавом вытер пот и, подойдя к окну, начал скручивать сигарку.

— Разождилось как! А дождь теплый, как весной.

Отец скрутил папироску, не прикуривая ее, подошел к люльке и стал внимательно рассматривать ребенка. Таня заметила это и, насторожившись, украдкой следила за выражением его лица. А отец вдруг неожиданно, не поворачиваясь, тихо спросил:

— Он еврей, Таня?

Татьяна встрепенулась.

— Кто он?

— Ну... батя Виктора...

«Как ему трудно произнести «твой муж»!» — подумала она и ответила:

— Еврей. А что?

— Да ничего, ничего, это я так. — Отец повернулся, подошел к ней, с минуту смотрел в окно, а потом, понизив голос, сказал: — Только об этом не нужно никому говорить. И Пелагее... И Ганне... — Таня была старшей замужней сестрой Татьяны.

— Почему, тата? — спросила она, хотя и сама хорошо знала, почему нельзя говорить об этом.

Он положил руку на ее плечо.

— Видишь, дочушка... такое время теперь. Ты же знаешь...

— Я никого не боюсь, тата!

— Можно не бояться людей, дочка. А зверей нужно бояться. Нельзя рисковать жизнью... своей и его. — Он кивнул в сторону люльки.

— Вы думаете, они тронут его?

— Ничего я не думаю, Танюша... Одно я знаю: ворвались звери. Как отец твой, я прошу тебя, будь осторожна как никто. Понимаешь?

— Хорошо, тата, хорошо, — ответила Татьяна, чтобы поскорей окончить этот тягостный разговор.

Тане было горько оттого, что она все еще обманывает отца и поэтому в родном доме чувствует себя как чужая. Она знала: если бы она смогла все откровенно рассказать отцу, ей сразу стало бы легче. Мешала мачеха... Но и отец не доверяет ей? Ведь он сказал...

«Может, рассказать ему сейчас?» — подумала она, но Карп уже вышел из хаты.

IV

Обер-лейтенант Генрих Визенер вернулся из Гомеля, с совещания комендантов районов, в хорошем настроении. Его похвалили: у него в районе все тихо, в то время как в других районах десятки всяких диверсионных актов. Визенер понимал, что партизаны могут появиться и в его районе, раз они есть в соседних. Но он твердо верил, что сумеет очень быстро справиться с этим так называемым народным движением.

Визенер и слушать не хотел своих коллег, утверждавших, что приходится иметь дело не только с отдельными партизанскими группами, но и с целыми партизанскими деревнями. Он не верил этому, у него уже был большой опыт комендантской службы во Франции и Польше. «Нет такого человека, который не отступил бы перед лицом смерти, — рассуждал он. — Сила решает все... Нужна только разумная оперативность. И нужно все доводить до конца».

В комендатуре он выслушал доклад дежурного офицера и сразу же отправился на квартиру — пообедать и отдохнуть.

Он с удовольствием принял прохладную ванну, переоделся и сел за стол, уставленный бутылками и закусками. Визенер любил хорошо выпить и вкусно поесть — это была, как он считал, единственная его слабость. Других соблазнов для него не существовало.

Он уже налил вина в высокий хрустальный бокал, плотно чмокнул губами, весело подмигнул ординарцу, но вдруг нахмурился. Ординарец застыл, испуганно вытянувшись. Визенер смотрел через окно на улицу: дежурный офицер, лейтенант Редер, почти бежал из комендатуры к дому коменданта.

Визенер отодвинул бокал и быстро поднялся, зло покусывая

нижнюю губу. Он не любил этого молокососа, хваставшегося своим баронским происхождением. В его дежурство обязательно случались какие-нибудь неприятности. Вот и теперь снова неприятность, и, по-видимому, значительная, иначе могли бы доложить по телефону. Визенер направился в кабинет, где его уже ждал Редер. Офицер заметно волновался.

— Господин обер-лейтенант! Телеграмма со станции: сегодня в четырнадцать часов на тысяча сто шестьдесят втором километре взорван мост. Мост взорвали в момент, когда по нему проходил эшелон с горючим. Сгорело восемнадцать цистерн...

Визенер склонился над картой района. У него нервно задергались левая бровь.

Диверсии таких размеров не было еще ни в одном из соседних районов. Он поднял голову и налитыми кровью глазами посмотрел на Редера. Хотелось ударить дежурного офицера по испуганному холеному лицу, но он только крикнул со злостью:

— Подготовьте ваш взвод! Вывод пулеметчиков! Пять минут!..

Минут через семь три грузовика с солдатами и личный лимузин Генриха Визенера на бешеной скорости вылетели из города.

В дороге комендант постепенно успокоился и, поразмыслив, всю вину переложил на железнодорожную охрану. Вернулось притупившееся в приступе злости чувство голода. Он вспомнил обед, который остался нетронутым на столе, и приказал остановиться в первой же деревне.

— Никаких беспорядков! — сурово приказал он офицерам. — Только пообедать. Мы — саперный отряд по ремонту дорог... Даю один час...

Солдаты разошлись по деревне.

И через несколько минут задымили трубы, запахло жареным салом, закудахтали последние, остававшиеся еще в деревне куры.

Женщины забегали из хаты в хату, чтобы посоветоваться тайком.

— Накорми ты их, хай их разорвет..

— Только бы не трогали они нас...

— Скорей бы уж уехали... Черт их принес!

— Держатся они пока тихо. Не будем уже становиться им поперек дороги...

И все в деревне ужаснулись и насторожились, когда пролетел слух, что тетка Христина отказалась кормить непрощенных гостей, поругалась с ними, плюнула на все их требования и, оставив их в избе, сама куда-то ушла. Но все обошлось благополучно. Три солдата посмеялись над сварливой «русише фfrau» и начали хозяйничать сами: переловили кур, закололи последнего поросенка и натопили печь так, что жители стали опасаться нового несчастья — пожара.

К Маевским зашли два офицера. Один из них, немного говоривший по-русски, стал объяснять Пелагее, что им нужно. Пелагея засуетилась.

Татьяна купала Виктора, когда соседка принесла весть о том, что в деревне появился немецкий отряд. У нее замерло сердце. Быстро вытерев мальчика, она положила его в люльку. Но ребенок почему-то расплакался. Растерявшись, Татьяна делала неумелые и беспомощные попытки успокоить его.

Он не унимался и оглашал избу таким криком, что даже неизменно ласковая и предупредительная мачеха поморщилась и сказала с упреком:

— Ну, стихнет он у тебя когда-нибудь?

Татьяна проглотила горький комок слез и взяла Виктора на руки.

В этот момент в дом вошли офицеры.

Татьяна прижала мальчика к груди и застыла возле окна, боясь повернуться, посмотреть в их сторону.

Она слышала их разговор с Пелагеей, потом услышала, как Пелагея выбежала из избы, и едва удержалась, чтобы не броситься за ней — так страшно было ей оставаться одной с ними.

Она не видела их, но почувствовала их пристальные взгляды на своей спине.

«Нельзя так стоять», — подумала она и быстро отвернулась от окна.

Молодой офицер, совсем еще желторотый юнец, сидел у окна и смотрел на нее, другой, постарше, стоял и разглядывал фотографии на стене. Увидев ее лицо, тот, что сидел, многозначительно протянул:

— О-о! — и позвал: — Вилли!

Старший оторвался от фотографий и насмешливо поклонился ей.

«Нужно притвориться придурковатой», — подумала Таня, сделала удивленное и очень испуганное лицо и, разинув рот, стала смотреть на них, моргая глазами. Лицо ее в эту минуту действительно было очень смешным и глупым, и это вызвало громкий смех молодого. Старший презрительно усмехнулся и, что-то сказав, направился к дверям. Таня проводила его глазами, а когда дверь закрылась за ним, снова перевела взгляд на молодого немца.

Несколько минут они молча и пристально смотрели друг на друга. Потом на какое-то мгновение она забыла о принятой ею роли, лицо ее приобрело обыкновенное выражение, а в глазах блеснули искры ненависти к пришельцу. Тот, видимо, заметил эту перемену, потому что снова воскликнул: «О-о!» — поднялся и направился к ней.

Татьяна крепко стиснула ребенка, и он снова расплакался.

— Тихо, сынок, тихо, — прошептала она.

Потом, как во сне, она почувствовала над собой его дыхание и увидела тонкую белую руку с золотым перстнем на указательном пальце, протянувшуюся к подбородку мальчика; ребенок сразу перестал плакать и испуганно уставился на этого чужого человека, который прищелкивал языком, причмокивал и что-то говорил.

Татьяна подняла голову и у самого своего лица увидела чужие голубые глаза. Офицер улыбался. Таня смело выпрямилась. Тогда он протянул к ней руку, намереваясь обнять ее. Она отстранилась. Он повторил попытку. Она толкнула его в грудь, бросилась к окну, распахнула его, так сильно толкнув раму, что вылетели стекла, и выскочила на улицу. И она и Витя порезались о стекло.

Увидев на улице Татьяну, несколько женщин выскочили из домов и бросились к ней.

— Давай Витю, — сказала старая Степанида, подбежавшая первой; она протянула руки и, взяв ребенка, быстро скрылась с ним.

Татьяна прижалась к мачехе и беззвучно плакала от боли, испуга и обиды. Через минуту ее обступила вся улица. Женщины возмущенно шумели, не обращая внимания на то, что к толпе подходили солдаты. Один из них достал индивидуальный пакет и услужливо предложил перевязать раны. Но неожиданно появившаяся тетка Христина оттолкнула его и увела Татьяну в ближайшую избу.

Солдаты о чем-то злобно заговорили между собой и направились к дому Маевских.

Редер сначала растерялся от неожиданности, но потом страшно обозлился и в тупой звериной злобе начал бить посуду, окна, рвать висевшую на стене одежду.

Солдаты последовали примеру офицера, обрадованные возможностью заняться своим привычным делом.

Генрих Визенер кончал обедать, когда до его слуха донесся шум на улице. Он послал ординарца выяснить, в чем дело. Через минуту ординарец доложил:

— Лейтенант Редер изнасиловал девушку.

Визенер вскочил.

— Щенок! Я ему покажу, как не выполнять мои приказы! Похотливый барон!

V

Порезавшийся стеклом маленький Витя тяжело заболел. Уже второй день его слабое тельце сжигал жар. Он лежал горячий, раскрасневшийся и даже плакать не мог, только слабо раскидывал ручки да облизывал язычком сухие губы. А в черных больших глазах было страдание и какая-то особенная детская тоска, такая глубокая, что Татьяна, глядя на него, не в состоянии была сдерживать слезы.

Она день и ночь сидела у постели больного ребенка. Ей казалось, что это она виновата в его болезни — не уберегла. Иногда ночью, измученная, физически разбитая, Таня незаметно для себя засыпала возле люльки, но через несколько минут в испуге вскакивала и снова наклонялась над ребенком.

— Сын мой... Сыночек... Галчонок мой, — ласково шептала она,

и в эти минуты сама верила, что это действительно ее сын, ее родное дитя. В ночной тишине она нежно целовала мальчика, плакала и смеялась. Но ей снова становилось больно, как только в мыслях она возвращалась к суровой действительности: это ребенок погибшей матери. Ее святой долг сохранить и вырастить его... А как это сделать, если даже родной отец не знает, что это не ее сын? Она страдала от этой мысли все больше и больше.

Пелагея в эти тяжелые дни как-то отдалилась от нее и больше была озабочена разоренным хозяйством, чем больным внуком, к которому она так ласково относилась раньше.

Мачеха была рачительной, но жадной хозяйкой: ей всегда хотелось, чтобы у нее всего было больше, чем у других.

— Добрые люди хозяйством обзаводятся, а у нас последнее рушится, — каждый день осыпала она Карпа упреками. — Скоро до сумы дойдем!

Карп молчал, но однажды не выдержал и он. Весь вечер Пелагея пилила его за то, что он не ходит к старосте и не попросит, чтобы к ним прикрепили коня.

— У нас тоже хозяйство. И сеять надо и дрова возить. А на чем? Меня запряжешь? — кричала она. — Пусть хоть семь дворов на коня, и то раз в семь дней можно взять. Все берут, одни мы... Что мы, коммунисты, что ли?

От последних ее слов Карп вздрогнул, отвернулся от окна и подошел к жене. Пелагея испуганно замолчала.

— Да, коммунисты... Я — коммунист, — твердо сказал он, остановившись возле Пелагеи. — А ты не знала? И куда я не пойду. Кровь людей наших льется, а ты — богатеть. — Он помолчал, тяжело дыша, а потом добавил: — Эх, дура!

Перепуганная Пелагея не могла вымолвить ни слова и несколько минут стояла с открытым от удивления ртом. Слова мужа оглушили ее. Она не знала, как их понять.

«А может, он и в самом деле коммунист? Тайный... Потому и не спит целыми ночами...» — подумала она и с того дня не вступала в пререкания, только исподтишка наблюдала за мужем и падчерицей.

Татьяну этот случай окончательно убедил в том, что отцу можно доверить все.

Старый Карп действительно не спал ночи, пока был болен Виктор. Он даже и не ложился, а всю ночь сидел у стола и дремал, положив голову на руки, и только время от времени выходил во двор и курил одну самокрутку за другой.

Иногда он подходил к дочери и тихо говорил:

— Ты отдохни, дочушка. Я посижу, — и садился около люльки.

Таня ложилась на кушетку, засыпала, но быстро просыпалась.

— Спи, спи, Танюша, — шептал старый Карп.

Он всегда был очень скуп на слова, особенно на ласковые, и на первый взгляд казался суровым. Но Таня хорошо знала своего отца, его доброе сердце. Она видела, что он страдает из-за того, что

не может высказать всю свою нежность к ней... Она стала искать случая, чтобы все честно рассказать ему. Однажды, посреди ночи, когда он подошел к ней и предложил отдохнуть, она не выдержала и со слезами бросилась к нему.

— Тата, таточка, простите меня... Мне стыдно... Я обманула вас... Это не мой ребенок...

В эту минуту заворочалась в кровати мачеха.

— Тихо, — зашептал Карп. — Не нужно... Я знаю...

Пелагея подняла голову и прохрипела сонным голосом:

— Ложился бы ты, старый, спать. Полуночники вы! Сами не спите и другим мешаете.

Ей никто не ответил.

Карп вышел во двор под навес и просидел там на верстаке до рассвета, думая о жизни. Мысли приходили разные. Лицо его освещалось улыбкой, когда он вспоминал о недавнем прошлом. В прошлом было много хорошего. Вырастали дети. Сын стал геологом и работал где-то на Урале. Старшая дочь счастливо жила в соседнем колхозе. А вот эта, младшая, выучилась на учительницу. Сам он был всеми уважаемый колхозный пчеловод и столяр, его знал чуть ли не весь район. Прошлой весной его даже уговаривали преподавать на районных курсах пчеловодов. Правда, вот только женился он во второй раз как-то неожиданно и неудачно и из-за этого поругался с детьми...

Лицо Карпа помрачнело, когда он вспомнил об этом. Но он махнул рукой: не о том нужно думать теперь. Вот уже три месяца, как внезапно оборвалась прежняя жизнь, а он все еще не может разобраться в стремительном водовороте страшных событий. Каждый день думал он об одном и том же: «Почему отступила наша армия? Неужто при такой жизни мы были слабее этих зеленых прибуд?» Может, в счастье забыли про опасность? Нет, кажись, не забывали. Сколько говорили и в песнях пели! Но почему не подготовили его, старого колхозника? Не имеет он права сидеть сложа руки.

«Но что делать?» — мучительно думал старый Карп.

Там, где-то далеко на востоке, остался его сын. Где б он ни был, он сражается против фашистов — Карп был твердо уверен в этом. Микола не бросит в беде свой край, своего отца. Но надо чем-то помогать ему. А чем?

Правда, говорят, в лесу есть партизаны. Но где они, кто они такие — никто не знает. В их деревне знают только одного: Женю Лубяна. Все убедились, что это очень смелый и ловкий парень; уже дважды он приходил в деревню, рассказывал новости и грозился повесить старосту и полицейского; бесспорно, он делает большое дело — Карп понимал это. Но если там, в лесу, одни молодые, так как он пойдет к ним, пятидесятилетний мужик? Да и примут ли они его? А как уйдешь от своих, на кого бросишь их? Из соседней деревни почти каждый день приходит старшая дочь и просит отца то сена накопить, то хлеб обмолотить, то дров на-

пилить. У нее двое детей и скоро будет третий, а муж — командир, в первый же день войны ушел в армию. Опять же — как оставишь Таню? «И где она взяла этого хлопчика?» — подумал Карп и вышел из-под навеса, где сидел на верстаке.

Светало. Гасли в небе звезды. Только немногие из них приветно мигали земле, покрытой солью первых заморозков.

Карп долго смотрел на небо, словно гадал по звездам. Очнувшись он оттого, что где-то в конце деревни громко запел петух. Через минуту со всех сторон полетело знакомое «ку-ка-ре-ку».

«Ого, сколько вас еще!» — улыбнулся Карп и направился к дому.

Но на пороге сеней его встретила Таня.

— Замерзли, тата? — спросила она.

— Нет, еще тепло.

— Давайте посидим тут, на завалинке. Виктор уснул. Кажется, ему стало легче.

Они сели и несколько минут молчали. Татьяна не знала, с чего начать. Тогда отец ласково сказал:

— Ну, рассказывай... мать...

Она коротко рассказала о случившемся в лесу около Днепра.

— Вот так я и стала матерью, — усмехнулась она, окончив рассказ.

— Ну, а дальше что? — спросил отец.

Таня не поняла.

— Дальше? Дальше, у меня — сын. Я обязана воспитать его, заменить ему мать.

— Да... Ты должна воспитать его, — задумчиво повторил ее слова Карп и минуту молчал, всматриваясь в темную стену соседского дома, а потом повернулся к ней и каким-то странным шепотом спросил: — А жить... жить-то как, Таня?

— Как жить? — снова не поняла девушка.

— Эх, ты, — с укором махнул рукой отец. — Жизни-то нет. Жизнь у нас отняли они, вон те! — Он показал рукой на запад. — Помнишь, ты ученицей читала мне про невольников? Вот и мы такие же невольники. Хуже даже... Как же ты, невольница, будешь растить его, сына своего?

Таня поняла и ужаснулась. Сама она ни разу не поддавалась отчаянию и все время твердо верила, что все это — временно. Особенно утвердилась она в этой вере, когда увидела Женю Лубяна и услышала его горячую речь. Отчаяние отца испугало и удивило ее. Стало очень жалко его, захотелось утешить, ободрить. И она сказала:

— Разве ж это на всю жизнь, тата? Скоро вернутся наши.

— Скоро? — спросил он взволнованно.

— А как же могут они не вернуться? Тут же отцы их, дети, жены... Как же оставят они нас... врагу?

— А чего же они отошли? Покинули чего нас так быстро? А-а?

Таня на минуту растерялась, а потом стала объяснять:

— Ну как вам объяснить, тата... Гитлер напал неожиданно. И у него такая сила была...

— Вот-вот, сила. А как одолеть эту силу? На силу нужна сила.

— А разве мало ее у нас, тата! — взволнованно воскликнула Татьяна. — Да вы посмотрите только... Даже тут, у нас... в лесах — партизаны... Весь народ... Зубами глотку фашистам перегрызут. Подождите только немного, пусть организуется народ... Да и наши скоро придут. Сердце мое чувствует это.

Она поднялась. Карп тоже встал и обнял дочь за плечи.

— Хорошее у тебя сердце, дочушка... золотое... Все в нем вмещается — и любовь, и ненависть. Но нам что теперь делать? Не могу я сидеть и ждать. Не могу смотреть на этих палачей и на разных предателей... А что делать? Как бороться?

VI

Карательный отряд Генриха Визенера возвращался с операции. Комендант был доволен: операция, по его мнению, прошла удачно. Отряд напал на след партизан и два дня гонялся за ними. Но эти трусы боя не приняли и удрали за Днепр. Там был другой район, другой комендант, и Визенер вернулся обратно и провел «профилактику». Ближайшая от места взрыва эшелона деревня была сожжена, шесть заложников повешены. Визенер считал, что этих мер достаточно, чтобы партизаны в его районе больше не появлялись.

Отряд не понес никаких потерь. Да и кто осмелится вступить в бой с двумя взводами немецкой армии, вооруженной пулеметами и даже минометами.

Веселое настроение командира передалось и солдатам. Только лейтенант Редер по-прежнему был хмурым и злым.

Визенер не был злопамятным. Он позвал молодого офицера к себе, выпил с ним бутылку вина, пригласил в свою машину и ласково начал поучать:

— На начальников не сердятся, мой дорогой. Служба! Вы знаете дисциплину немецкой армии. Мы побеждаем нашей дисциплиной, нашей преданностью дорогому фюреру. Да... Но я понимаю вас, и теперь, когда мы выполнили свой долг, все можно поправить. — Визенер усмехнулся. — Сейчас мы сделаем там остановку, и я позволю вам все, что пожелаете. — Он сплюнул под ноги. — Я, например, не могу, чувствую отвращение... Она красивая?

Обрадованный таким поворотом событий, опьяневший Редер развеселился и принялся рассказывать о своих любовных приключениях.

Машина шла по шоссе. С двух сторон шоссе обступал могучий лес — дубы, березы, под ними густые заросли орешника. Впереди шел грузовик с солдатами пулеметного взвода, за ним — машина коменданта, сзади — два других грузовика. Визенер слушал Редера.

ра, смеялся над его приключениями и думал: «А он неплохой парень. Настоящий немецкий офицер. Просто я не понимал его раньше».

Вдруг Редер как-то странно вскрикнул, на полуслове оборвал свой веселый рассказ и, ловя ртом воздух, медленно начал валиться на Визенера. Из виска по щеке потекла черная струйка крови.

Визенер в ужасе оттолкнул от себя безжизненное тело, сполз на дно машины и спрятал голову под сиденье.

Шофер резко остановил машину.

— Вперед! Застрелю! — дико закричал Визенер, не поднимая головы.

Машина рванулась. Позади затрещали автоматы. Шофер снова остановил машину и выскочил из нее. Тогда и Визенер выпрыгнул в кювет возле шоссе.

Грузовики стояли. Солдаты лежали за ними и из автоматов и ручных пулеметов прочесывали ореховые кусты по левой стороне шоссе.

Визенер оглянулся и увидел, что и с правой стороны, там, где лежал он сам и его солдаты, к самому шоссе подходят такие же густые кусты. Мороз пробежал по его спине.

— Дураки! Идиоты! — истерично закричал он и, пригибаясь, побежал к головному грузовику. — Кто вам приказал остановиться?

— Остановились задние машины, господин обер-лейтенант.

— По машинам! Вперед! — скомандовал он и вскочил в кабину грузовика.

Машины на бешеной скорости помчались дальше.

Некоторое время Визенер сидел без движения: его сковал животный страх.

Но постепенно страх сменился яростью. Визенер застонал от злости и стыда, как от самой жгучей боли. Он попытался вспомнить обстоятельства гибели Редера — и не мог. Слышал ли он выстрел? Кажется, не слышал. Так откуда же прилетела пуля, попавшая на полном ходу машины прямо в висок Редера? Конечно, это не случайная пуля. Таких случайностей даже в сказках не бывает. Эта пуля рукой первоклассного стрелка была направлена в него, Генриха Визенера, коменданта района. И только случайность спасла его от смерти. Простая случайность... Хорошо, что он посадил рядом с собою этого лейтенанта. Теперь Редер лежит мертвый, а он, Генрих Визенер, жив... Жив! А могло быть... Он вздрогнул... Он уже провоевал два года. Прошел Польшу, потом Францию, снова вернулся в Польшу, на второй день войны с Россией перешел русскую границу. Но ни разу еще смерть не была так близка от него, никогда еще он не видел так близко мести тех, кого принуждал покоряться армии фюрера, законам «нового порядка». Вот она, эта месть! Его бросало то в жар, то в холод при одной мысли об этой сверхметкой пуле невидимого стрелка. Такая пуля может в любой момент настичь и его, Генриха Визенера...

Из-за поворота шоссе показался небольшой поселок — домов двадцать.

— Сжечь! Уничтожить! — прохрипел Визенер.

Шофер остановил машину.

Визенер выскочил из машины и махнул рукой в направлении поселка. Этого жеста было достаточно для вымуштрованных солдат. Минометы засыпали минами мирные хаты.

От первых же мин поселок загорелся. Жители выскочили на улицу и побежали к огородам, стремясь скорей добраться до ельника, который виднелся в каких-нибудь ста метрах за огородами. Но осколки мин, очереди автоматов и пулеметов настигали людей и косили их. Только немногие успели добежать до ельника и спрятаться в нем.

Генрих Визенер стоял около машины, наблюдая за действиями солдат, и жадно, в две-три затяжки, выкуривал сигарету за сигаретой. Пожар и вид убитых действовали на него успокаивающе. Нервное напряжение, которое довело его до физического окаменения, прошло. Он приказал прекратить обстрел, брезгливо сплюнул, вытер платком руки, словно он сам, собственными руками, уничтожил всех этих людей, оставшихся лежать в поле, и сел в машину.

Лес кончился, теперь шоссе тянулось по открытому полю, и это совсем успокоило обер-лейтенанта.

Он всегда анализировал каждое происшествие, искал причины, вызвавшие его, и умел найти оправдание самому грязному поступку и вынести обвинительный приговор всему высокоморальному, человечному. Между прочим, эта особенность помогла ему занять руководящее положение в организации «Гитлерюгенд» в городке Кривиц.

Теперь, сидя в машине, он анализировал стечение обстоятельств, которые спасли его от смерти.

Если бы не было истории с девушкой, он, конечно, не посадил бы Редера рядом с собой. Выходит, это она наказала насильника. Но спасла его, Визенера. Рок.

VII

Маевские сажались обедать, когда на улице затрещали моторы и возле их двора остановилась машина с немецкими солдатами.

Татьяна посмотрела в окно и, побледнев, бросилась к люльке. Она схватила сонного Витю на руки. Ребенок проснулся и заплакал.

— Тише, сынок, тише, родной, — испуганно зашептала она, прижимая его к груди и закутывая в одеяло.

Карп Маевский тоже поднялся и подошел к дочери.

— Зачем ты взяла его? — спросил он, а у самого заметно дрожали руки.

Растерявшаяся Пелагея забежала по комнате, не зная, что де-

лать. Она схватила со стола миску с борщом, вынесла ее на кухню, но сразу же вернулась назад и снова поставила миску на стол.

Немцы не спешили входить в дом. Карп и Татьяна встали около окна и незаметно наблюдали за ними. Офицер выстроил солдат около машины и что-то говорил им, зло выкрикивая отдельные слова.

— Где тот? — спросил Карп у дочери.

— Его нет тут, — ответила Татьяна.

— Но это те самые?

— Да.

Старый Маевский тяжело вздохнул и незаметно перекрестился, хотя в бога давно уже не верил. Потом пристально посмотрел на дочь. Ребенок перестал плакать, и Татьяна постепенно успокаивалась. Тем временем Генрих Визенер распустил строй и с тремя солдатами направился в хату.

Он задержался на пороге и, быстро оглядев комнату и людей, остановил тяжелый взгляд на Татьяне... А она смотрела на него в упор, смело и дерзко, будто вызывая на борьбу.

Визенер пренебрежительно улыбнулся и направился к ней. Отец тоже сделал шаг по направлению к дочери, намереваясь заслонить ее собой. Но лейтенант остановился и тихо произнес:

— O-o! Mutter?

Он долго рассматривал Татьяну. Это была первая русская, к которой Визенер не чувствовал ненависти. Молодая женщина с ребенком на руках нравилась ему.

Маевские в свою очередь рассматривали его, но по-разному. Отец и дочь смотрели на него с ненавистью — они даже не пытались скрыть ее. Если бы Визенер был более внимателен, он мог бы прочесть эту ненависть в их глазах. Пелагея уставилась на офицера с интересом и страхом. Наконец Визенер перевел свой взгляд на стол, брезгливо поморщился и махнул рукой.

— Убрать со стола! — приказал переводчик.

Пелагея испуганно всплеснула руками и начала быстро убирать. Но миска с борщом выскользнула из ее рук. Пелагея схватила со стола чистое полотенце и начала вытирать пол.

«Дурная», — подумал Карп и отвернулся.

Солдаты вышли.

Татьяна посмотрела в окно и увидела, как вытащили из машины труп человека в офицерской форме. Она узнала своего обидчика и бросилась к отцу.

— Тата, это он... Его несут.

Отец стиснул ее руку.

— Успокойся... Сядь. Ты его не знаешь. Поняла? Не знаешь... — говорил он скороговоркой, загораживая ее и заставляя сесть на кровать.

Солдаты внесли труп в комнату и положили на стол. Стол был короткий, и ноги Редера, в начищенных до блеска сапогах, свисали чуть ли не до самого пола. Визенер приказал принести второй

стол. Солдаты выскочили на кухню, смахнули на пол посуду, внесли стол и поставили под ноги убитому.

Визенер повернулся к Татьяне. Теперь он говорил тихо, почти шепотом, но сухие губы его дрожали и кривились, пальцы нервно теребили ремень портупей.

— Этот немецкий офицер погиб героической смертью от рук русских бандитов. Приказываю почитать его память.

Переводчик жестом показал, что нужно встать.

Визенер долго и внимательно всматривался в лицо убитого. Губы его шевелились, словно он читал молитву, а лицо темнело, вытягивалось.

Карп исподтишка наблюдал за ним и время от времени поглядывал на дочку.

Татьяна стояла, вперив взгляд в пол, потом подняла голову и посмотрела на мертвого. Один широко раскрытый глаз смотрел, как живой. Левая рука застыла у виска. Между пальцев заперлась черная кровь. Татьяна вдруг почувствовала запах этой крови, и ей стало дурно. Ухватив отца за рукав, она опустилась на кровать.

Карп заслонил ее собою от фашиста.

«Быть беде», — думал он, наблюдая загадочные колдовские действия немца над трупом.

Но Визенер вдруг повернулся и стал что-то быстро говорить переводчику.

— Офицер требует, чтобы вы сейчас же приготовили ему обед. Яйки, масло, сало! Айн момент!

После всего, что произошло, приказ этот показался Карпу таким диким, что сначала он даже не понял его. А когда понял, чего от него требуют, улыбнулся, особенно ясно почувствовав свое превосходство над немцем, свое душевное величие и его, фашиста, ничтожность.

— Накормить? — переспросил он. — Что ж, можно. Народ мы гостеприимный. Пойдем, дочка, — обратился он к Татьяне, которая сидела на кровати.

Татьяна хотела было взять Виктора, но отец отрицательно покачал головой и взглядом показал на люльку. Во взгляде отца она прочла уверенность, и эта уверенность передалась и ей. Она пересаживала Витю с кровати в люльку и пошла вслед за отцом.

Они вышли в сад и направились к пустому амбару, который в последнее время даже на замок не запирался. Возле амбара Маевский остановился и глубоко вздохнул.

— Даже дышать тяжело одним воздухом с ним, — сказал он. — Ух, прод! Но теперь я его не боюсь. Я его накормлю, Таня, накормлю, чтобы он подавился.

Плотно закрыв двери амбара, он приподнял одну половицу и полез под пол. Вскоре он вылез оттуда и стал нагружать корзину салом, медом, водкой, яблоками.

— Я его напою один раз, пусть он лопнет от нашей еды. Напою,

чтоб он под стол свалился, — ворчал старик. — Сатана в образе человека.

В этот момент с другого конца деревни долетел душераздирающий крик женщины и через минуту — выстрелы. Татьяна вздрогнула. Насторожился и старый Маевский.

— Вот он, их новый порядок.

— Страшно, тата. Два месяца шла — не боялась, а тут боюсь. Что это?

— Не бойся, в обиду не дам... Что будет, то будет. — И Маевский показал ей на торчащую из кармана рукоятку револьвера. — Помнишь, Микола оставил свой испорченный? Вот я его и отремонтировал. На всякий случай.

— А может, лучше не брать его, тата?

— Нельзя не брать, Танюша... Нельзя к зверю идти с голыми руками. Пускай... Обыска он у меня не будет делать. А если...

Он посмотрел на дочь и не закончил фразы, но Татьяна поняла его.

— Пошли, — сказал Карп.

В хате против столов, на которых лежал убитый, был поставлен третий стол, принесенный солдатами от соседей. На нем уже стояло несколько бутылок вина.

Карп поставил водку, выложил из корзины закуску. Визенер все осмотрел, понюхал.

На кухне топились печь и сутились солдаты, готовя пищу. Им помогала Пелагея. Солдаты громко разговаривали. Один из них убил топором кота, подкравшегося к жареной курице. Немцы заготовили.

Визенер выглянул из комнаты и зло приказал им замолчать. После его приказа все стали разговаривать шепотом.

За стол Визенер сел один, поставив у дверей двух вооруженных солдат. Но прежде чем начать пить и есть, он приказал Маевскому съесть от каждого блюда по выбранному им куску — проверял, не отравлена ли пища.

Маевский послушно выполнил его приказ. Визенер успокоился и палил себе вина. Подняв стопку, он едва заметно, проницательно и грустно усмехнулся и прошептал:

— За жизнь...

После третьей стопки Визенер опьянел. Поднялся, обошел вокруг столов, на которых лежал убитый, попробовал выпрямить его согнутую ногу. Но нога уже одеревенела. Застыла и согнутая в локте рука. Широко открытый глаз ледяным осколком смотрел на Визенера. Визенер дотронулся до глаза пальцем, но отдернул руку, словно от огня.

Во всей этой сцене было столько омерзительного и ужасного, что у Татьяны похолодело сердце. Только присутствие отца подбадривало ее.

Визенер сидел к ним спиной и, видимо, забыл о них, занятый своими грустными мыслями. Но за каждым их движением следили

две пары собачьих глаз часовых. Татьяна и Карп сидели молча. Это было и мучительно, и унижительно. Казалось, легче умереть, чем сидеть так и смотреть на этот дикий ужин немца. Татьяна даже позавидовала матеке, смело вышедшей из комнаты на кухню и во двор. Ей тоже захотелось выйти из комнаты, уйти в сад, в лес и дышать, жадно дышать свежим осенним воздухом. У нее кружилась голова, но она боялась встать, чтобы не упасть, боялась отойти от отца.

Маевский время от времени посматривал на дочь, кивал ей головой и заставлял себя бодро улыбаться. Он хорошо понимал ее состояние, потому что у самого на душе было не лучше. У него все внутри горело от ненависти, и он с силой сжимал в кармане рукоятку револьвера.

За окнами замычали коровы: возвращалось с пастбища стадо.

Татьяна встрепелась, поняв, что уже вечер, что приближается ночь. От этого ей стало еще более страшно.

«Что они сделают, когда наступит ночь? Что захотят, то и сделают», — подумала она.

И чтобы отогнать тяжелые мысли, обратилась к отцу:

— Скоро ночь, тата...

— Ночь, — почти бессознательно повторил Карп, но, посмотрев на дочь, прошептал: — Не бойся, на ночь они тут не останутся! — и сам поверил своим словам.

Со двора в комнату стремительно вбежала раскрасневшаяся, взволнованная Пелагея и с криком бросилась к ним:

— Ну чего вы сидите тут, как святые? Чего? Там коровку повели!.. Вот, вот ведут ее, красульку нашу! — заголосила она.

Карп и Татьяна посмотрели в окно. Трое солдат провели мимо дома их корову.

— Ну чего вы сидите? Чего? — кричала Пелагея.

Офицер обернулся и смотрел на них, ничего не понимая.

— Ну чего ты вылунил зенки, старый пень? Проси... Проси офицера: пускай отдадут коровку, пока не зарезали.

— Пошла ты к дьяволу со своей коровой! — злобно огрызнулся Карп и отвернулся от нее.

Пелагея, не ждавшая такого ответа, застыла на месте с открытым ртом.

Визенер, выслушав переводчика, вскочил с места и уставился пьяными глазами на Маевского. Лицо его перекопилось от злобы. Крикнул громким визгливым голосом по-русски:

— Встать!

Маевский поднялся, не вынимая рук из карманов.

Визенер дрожащими руками рванул из кобуры парабеллум и сделал шаг по направлению к ним.

Маевский тоже сделал движение в его сторону и нащупал в кармане спусковой крючок револьвера, готовый опередить немца.

Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Визенер держал оружие опущенным, и поэтому Карп не спешил, уверенный,

что, прежде чем тот направит на них парабеллум, он успеет выпустить весь барабан. Пьяный Визенер вдруг снова увидел перед глазами висевшую в воздухе и очень медленно приближающуюся к его виску маленькую пулю. Он пошатнулся, схватился рукой за край стола, на котором лежало то, что три часа назад было лейтенантом Редером, повернулся и увидел вытаращенный глаз убитого. Глаз этот смотрел на него с укором и злостью, как будто говорил: «Ты жив, обер-лейтенант... А меня подставил под пулю. Смотри, пуля эта приближается и к тебе...» И Визенеру показалось, что мертвый шевельнулся и рука его, оторвавшись от простреленного виска, медленно потянулась к пуле.

Визенера охватил ужас, и он, забыв о Маевских, выскочил из комнаты. Часовые и переводчик бросились за ним.

Не оглядываясь, Визенер добежал до машины, остановился и посмотрел на дом. Оконные стекла были кроваво-красными от лучей заходящего солнца. А ему показалось, что на окнах — кровь и в окне во весь рост стоит Редер.

— Сжечь! — заскрежетал он зубами, показывая на дом.

— А тело лейтенанта, господин обер-лейтенант? — удивленно спросил один из солдат.

— Сжечь! Сжечь! — истерически закричал Визенер и быстро скрылся в кабине машины.

В одно мгновение солдаты облили угол избы бензином и поднесли спичку. Пламя сразу поднялось до крыши. Солдаты бросились к следующей хате, но Визенер остановил их. Тогда они открыли стрельбу из автоматов по окнам пылающей избы Маевских. Но хозяева ее в это время были уже в сарае и оттуда сквозь щель наблюдали за садом, намереваясь пробраться через сад к ручью и дальше — в лес.

Пелагея первая увидела пожар и дико закричала:

— Гори-и-им!

Карп со злостью толкнул жену и зажал ей рот ладонью.

— Молчи, дура! Пускай горит... Теперь и не то горит. Быстро в сад!

Уже за садом они слышали шум моторов и, оглянувшись, увидели, как все машины с солдатами на большой скорости выехали из деревни. Тогда они остановились и, дождавшись, пока на пожар сбегались люди, вернулись назад, к своей пылающей хате.

— Живые? Все? — обрадованно встретили их соседи.

— Ой, слава тебе господи, а то у меня душа не на месте была, — с облегчением вздохнула тетка Степанида и расцеловала Татьяну и Виктора.

— Дядька Карп, спасайте же добро-то! — крикнул кто-то из толпы.

Маевский махнул рукой.

Вечер был тихий, морозный. Ветра не было, и поэтому огонь перекинулся только на сарай в соседнем дворе. Но несколько муж-

чин и с ними Карп влезли на крышу сарая и быстро погасили уже начавшую дымиться солому.

Изба Маевских догорала.

Пелагея бегала возле пожарника, подбирая полусгоревшие вещи и громко причитала.

Татьяна сидела одна в саду, у амбара, прижав к груди заснувшего Витю. Она так устала от пережитых волнений, что не могла ни двигаться, ни говорить, ни даже думать. Ей хотелось только одного — спать. В сущности, она и спала с открытыми глазами и очнулась только тогда, когда кто-то остановился возле нее. Татьяна встрепенулась и подняла голову. Перед ней стояла двоюродная сестра Люба, дочь тетки Христины. Любе шел шестнадцатый год, но выглядела она старше: она была выше Татьяны да, пожалуй, и сильнее ее.

Люба стояла без платка, в одной кофточке, расстегнутой на груди. Татьяна заметила это и ласково спросила:

— Ты что ж так выскочила? Горячая какая! Простудилась сразу. Садись хоть под одеяло. Вот сюда.

Люба села рядом. Татьяна укрыла ее и притянула к себе.

— Ты что молчишь, Любка?

— Маму убили, — тихо сказала она чужим, охрипшим голосом.

Татьяна не сразу поняла значение этих слов и некстати спросила:

— Кто?

— Кто... Фашисты. — И, секунду помолчав, Люба добавила: — Из автомата... В грудь...

Холодные мурашки пробежали по спине Татьяны.

Она взглянула в лицо сестры, освещенное пламенем догорающей избы. Ни одна черточка не дрогнула в нем, оно было бледным и словно окаменело. Только какие-то новые, незнакомые складки легли у губ. Глаза ее были сухими и неподвижными. В них отражались отблески пожара.

Люба не плакала. Татьяна поняла, что она не плакала и раньше. Горе в несколько минут состарило эту пятнадцатилетнюю девушку.

Некоторое время они сидели молча, потом Люба задумчиво, будто самой себе, сказала:

— Я к партизанам пойду.

— Когда? Сейчас? — удивилась Татьяна.

— Нет, сейчас я не знаю, где они. Как только Женька придет еще раз.

Снова помолчали.

— А вы переходите в нашу хату. Вам же негде теперь жить, — задумчиво сказала Люба.

Подшел Карп — ему уже сказали про смерть Христины. Видимо, он искал Любу, чтобы утешить ее, но, увидев сухие глаза и окаменевшее лицо, растерялся и не нашел, что сказать. Он остановился напротив девушек, и его тень упала на Любино лицо. Она

подняла голову и посмотрела на дядю, словно не узнавая его. А потом чуть слышно прошептала:

— Маму убили, дядя.

— Знаю, Любочка, знаю, — участливо ответил Карп и погладил влажные от вечерней сырости косы племянницы.

Его ласковый голос и прикосновение руки вывели девушку из оцепенения. Люба почувствовала, что она не одинока, что у нее есть свои, родные люди, которым тоже тяжело и больно. И она в первый раз после смерти матери заплакала, заплакала горько, но теми спасительными слезами, после которых становится легче и к человеку возвращается ощущение жизни. Татьяна попробовала утешить Любу, но отец покачал головой: «Не надо».

Ей дали поплакать, вылить в слезах тяжелое горе. Но плакала она недолго. Вскоре она вытерла подолом юбки слезы и встала, осматриваясь вокруг и будто не узнавая места, где стояла.

Изба сгорела — одна обожженная печь сиротливо торчала на пожарище. Люди постепенно расходились. Только соседи продолжали сторожить свои хаты, боясь, как бы случайная искра не зателела на их крышу.

— Пойдемте, — сказала Люба. — А то я бросила все там... И маму...

Карп позвал Пелагею, все еще собирающую остатки добра.

— Куда же мы пойдем? Куда? — снова запричитала та. — Сразу нищими стали!

Карп недовольно поморщился.

— Нищими? Когда-то мальцом я был нищим. Довелось и с сумой походить... Но теперь... Теперь нищенствовать не буду. Не буду! Я хозяин этой земли. Я, а не они! — твердо и громко сказал он. — Пошли, дети.

VIII

До войны люди не замечали стремительного течения времени. В свободном труде, в отдыхе, в веселье, в ожидании новых радостей дни и недели пролетали незаметно. Теперь у всех оказалось много лишнего времени. Тянулось оно страшно медленно, надоедливо, и каждому хотелось хоть как-нибудь сократить его.

Осень стояла дождливая, такая же грустная, как и жизнь.

Измученные тремя месяцами неволи, ореховцы со все возрастающим нетерпением ждали возвращения Красной Армии, хотя и знали, что армия далеко, а фашисты каждый день кричали, что они захватили Москву. Но действия партизан убеждали народ в непрочности положения оккупантов, и люди постепенно начинали понимать, что им нужно делать. Сопротивление росло, и фашистам пришлось укреплять свою власть в деревнях. В Ореховку, в помощь Митьке Зайцу, прислали еще четырех полицейских. Они ежедневно напивались и беззастенчиво грабили крестьян. За водку распродавали колхозные постройки.

С болью в сердце смотрели колхозники, как кучка негодяев безжалостно уничтожает то, что создавалось их упорным трудом в течение нескольких лет. Кто-то не вынес этого и однажды, в темную осеннюю ночь, поджег колхозный двор.

Колхозники, собравшиеся на пожар, тихо разговаривали между собой, хвалили смельчака. Полицай в эту ночь были настолько пьяны, что ни один из них даже не смог прийти на пожар. Только староста, Лармон Бугай, подошел к мужчинам и тихо сказал:

— Тушить бы надо.

Ему ответили сзади, из темноты:

— Ничего... Не ты строи. А мы построим новые.

Старая Степанида толкалась среди женщин и напентывала:

— Амбар, амбар еще пужно спалить. Жито там у них.

Амбар стоял особняком — в колхозном саду. Там хранились остатки собранного оккупантами зерна, и полицай зорко охранял его.

Едва успела старая Степанида высказать это пожелание, как кто-то в темноте крикнул:

— Смотрите — амбар горит!

Амбар, очевидно облитый бензином, вспыхнул сразу огромным пламенем. Туда никто из колхозников не пошел — все остались у колхозного двора, следя, чтобы пожар не перекинулся на ближайшие хаты.

А на другой день, как будто сговорившись, вся деревня смело говорила о том, что пожар — дело рук самих полицейских: разворовав и пропив зерно, они хотели замести следы своего преступления. За эти разговоры полицай избил нескольких человек. Но следователь, который приехал через день, очевидно, поверил показаниям жителей, и все только что назначенные полицай были заменены новыми.

Накануне великого праздника — двадцать четвертой годовщины Октябрьской революции — в деревню приехали еще шесть полицейских с пулеметами. Полицай всю ночь патрулировали деревню, заглядывали в окна хат.

Люди насторожились, притаились и к большому празднику готовились тихо, каждый в своей семье, вспоминая былые торжества и своих близких — отцов, братьев, сыновей. Где они? Как празднуют они этот день? Что теперь в Москве? Чего бы не отдал каждый из них, только бы узнать всю правду о Большой земле, о родной армии! Много было разных слухов, грустных и радостных, но наверняка никто ничего не знал, и эта неизвестность была особенно мучительна.

Татьяна не спала всю ночь. За окном ходили полицай. От этих воровских шагов тревожно ныло сердце, делалось страшно. «Как жить дальше? Что делать?»

Этот вопрос до пожара в отчаянии часто задавал отец. Тогда Татьяна мало задумывалась над ним, и многое, чего не понимал отец, казалось ей простым и понятным. Но после пожара она все

чаще и чаще с ужасом начинала думать: как же на самом деле жить дальше?

Карп и Люба тоже не спали. Старик тяжело вздыхал, слушая шаги полицаев. Люба слезла с кровати, подползла к окну и посмотрела на улицу.

— Ой, как мне хотелось стукнуть по стеклу, когда он сунул свою морду, паразит! — тихо и зло проговорила она. — Ну, в другой раз не выдержу...

— Люба, не дурн! — сурово приказал Карп. — Спи!

Татьяна молчала.

Так прошла ночь.

С наступлением утра они с облегчением вздохнули.

День выдался солнечный, прозрачный, с небольшим морозцем. Казалось, что и природа праздновала торжественный день.

Маевские по-праздничному позавтракали, поговорили о Большой земле, вспомнили Николая. Где он теперь — на фронте или все еще лазит по горам далекого Урала, разыскивая руды цветных металлов? Каждый высказал свои предположения, надежды. Больше всех говорила Люба.

— А вдруг сегодня наши придут, а, Таня? Что бы ты тогда стала делать? Искала бы мужа? Правда? — взволнованно спрашивала она.

Карп и Татьяна молча улыбались.

— А представь себе, если бы он пришел! Ведь знает же он, откуда ты? Ну вот... Наверно, ты бы обезумела от радости, Таня? А?

— Брось говорить глупости, Люба, — остановила ее Татьяна.

— Почему глупости? А вдруг он появится? Чего ты смеешься?

— Чудес, Люба, не бывает.

— Не бывает, — согласилась девушка, ее похудевшее лицо стало грустным, озабоченным, и она, вздохнув, спросила: — Я глупая, правда? Меня, наверно, и в партизаны не возьмут.

Мысль о партизанах не оставляла ее после смерти матери ни на минуту, и она ждала только прихода Жени Лубяна. Каждый день она навещала его семью, которая жила напротив, через улицу, надеясь что-нибудь выведать у них о Жене. Но Лубяниха, старая бабка и даже дети — сестра и брат Жени — подозрительно относились к таким расспросам и всячески ругали своего «непутевого хлопца», который даже заглянуть домой не соберется.

После завтрака староста позвал Карпа работать — чинить мост.

Татьяна принялась купать Виктора. Ребенок весело плескался в корыте и смеялся. Татьяна видела теперь, что он значительно старше, чем она сказала. Несколько дней назад, ползая по полу, он неожиданно поднялся, ухватившись за ножку стола, и пошел к окну. Вскоре мальчик уже легко переходил через всю хату. Татьяне было радостно от этого, но ее постоянно тревожили насмешливые взгляды мачехи. Пелагея в последнее время редко разговари-

вала с ней, а чаще как-то таинственно и зло усмехалась. Эти усмешки раздражали и беспокоили Татьяну. Ее враждебные чувства к мачехе все росли. Она понимала, что это нехорошо, ее мучила совесть, но побороть свои чувства не могла. Ей хотелось с кем-нибудь поговорить об этом, посоветоваться. Но только с кем? С отцом? Отца она боялась обидеть.

Люба тоже не любила Пелагею. Но Пелагею относилась к ней подчеркнуто приветливо. Татьяна сразу разгадала намерения хитрой мачехи: та хотела прибрать к своим рукам Любино хозяйство. Это еще больше настроило девушку против мачехи. «Такой умный человек, а какую глупость сделал!» — часто думала она об отце.

Искушав мальчика, Татьяна забралась с ним на печку.

Люба читала какую-то книгу. Книги были ее единственным спасением: читая, она забывала о своей горе.

Пелагея оделась, собрала изрядный узел и строго наказала девочкам:

— Глядите тут в оба. Я к сестре пойду. — Сестра ее жила в соседней деревне.

Люба подула ей вдогонку и помахала рукой.

— Скатертью дорога! Сами знаем, как глядеть! — Она быстро забралась на печь и обняла Таню.

— Тоска какая, Танюша! И так тяжело мне, если б ты знала! — тихо сказала она. — Скорей бы Женя пришел. Где он?

Татьяна сильнее прижала сестру к себе и промолчала.

— Давай пойдем к ним, Таня.

— Куда? — не поняла Татьяна.

— К партизанам.

— А Витю?

— И Витю с собой возьмем.

— Глупая ты, Люба. Кто же нас возьмет с нами? Да нас и так не возьмут... Что мы там делать будем?

— Санитарками будем. Учили же нас в школе.

— Я крови боюсь, — перешиительно ответила Татьяна.

Люба разозлилась:

— Ты всего боишься... Трусиха! Люди гибнут, а ты дальше своего носа не видишь. Дождешься, пока фашисты придут и убьют тебя и Витю, как маму. — Она расплакалась.

С большим трудом Татьяне удалось успокоить ее. Они еще немного поговорили, потом незаметно уснули, измученные бессонной ночью.

Разбудили их выстрелы. Стреляли с двух концов деревни. Татьяна испугалась, схватила Витю и начала заворачивать его в одеяло.

Люба подбежала к окну и вдруг радостно закричала:

— Таня! Танюшенька! Наши! Милая моя! Посмотри, как удирают полицаи!

По улице на самом деле бежали двое незнакомых полицаев и

Митька Заяц. Они торопливо завернули в переулок, который выходил к приречным кустам.

— Ату, ату! Собаки! — громко закричала Люба. — Смотри, как зайцы, скачут по кустам. Дождались, подлюги! Ага!

Через минуту мимо окон, грохоча по мерзлой земле, пролетела тройка сытых коней, запряженных в длинную линейку. В ней сидели четыре хлопца со станковым пулеметом.

— Партизаны! — вскричала Люба. — Я побегу.

Татьяна хотела было остановить ее, но не успела и слова сказать. Люба в одно мгновение потянула сапоги и в одном платье выскочила на улицу.

В течение нескольких минут со стороны речки раздавались выстрелы. Потом все сразу затихло. И тогда из хат на улицу высыпали люди. Все они — от мала до велика — смело шли в сторону школы, словно кто-то оповестил их, что нужно собраться именно там. Татьяна увидела эту толпу, быстро оделась, взяла Витю и тоже вышла. По дороге она встретила отца.

— А я боялся, как бы у вас чего не стряслось. Стреляли тут... Ну, пойдём скорей. Партизаны приехали, — взволнованно говорил Карп дочери. — Молодцы! И знаешь, кто командует ими? — шепотом сообщил он. — Секретарь райкома... Лесницкий.

Возле школы собралась уже вся деревня. Люди плотно окружили партизанские подводы. Одна из них служила трибуной. На ней стоял Лесницкий в своей старой желтой кожанке, со знакомой всем открытой улыбкой, — как и в те дни, когда приезжал к ним на колхозные сходы и выступал на них. Люди отвечали ему такими же искренними, счастливыми улыбками. Но автомат на груди секретаря райкома и пулемет на подводе у его ног напоминали о том, какое было время. Когда подошли Карп и Татьяна, секретарь райкома уже говорил:

— ...Каждый метр нашей земли горит под ногами ненавистных захватчиков. Тысячи советских людей взяли в руки оружие и поднялись на святую борьбу против ненавистных оккупантов. Партизанские силы растут с каждым днем. Мы не дадим жить фашистам. Они пожнут то, что посеяли. За наши города и села, сожженные ими, за смерть наших детей, за глумление и издевательства над народом мы будем мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Это наша клятва. Но партизанам должен помогать каждый честный советский человек, каждый, кто дорожит родной Советской властью, каждый, кто ждет возвращения своих отцов и сыновей. Не давайте врагу ни килограмма зерна, сала, картошки, ни литра молока. Прячьте все, режьте скот. Помогайте партизанам! Пополняйте наши ряды! Не верьте врагам фашистских выродков и холуев — полицаяв и старост. Это предатели и подлецы! По каждому из них плачет веревка. И они не минуют ее, не уйдут от кары, как не ушли от наших пуль вон те! — Секретарь кивнул головой на крыльцо школы, на котором лежали два убитых полицая.

Он говорил еще несколько минут — коротко, просто, сурово. Крестьяне слушали затаив дыхание. На глазах женщин блестели слезы радости и волнения. Незаметно смахивал слезу и кое-кто из стариков.

Татьяна не сводила глаз с Лесницкого. В ней росло восхищение этим мужественным человеком. «Вот они какие! Вот что делают настоящие советские люди!.. А я? Что сделала для победы я, советская учительница?..» — думала она, и ей стало стыдно за последние четыре месяца своей жизни.

Она оглянулась. Отца уже не было рядом — он протиснулся вперед. Татьяна тоже начала тихо пробираться сквозь толпу, поближе к партизанам. Поднявшись на носки, она увидела на одной из подвод Любу: та сидела около пулемета и о чем-то тихо переговаривалась с молодым партизаном.

«Люба уже у них, — подумала Татьяна, и ей стало еще обидней. — Как я связала себе руки!»

Но в этот момент Витя заплакал, будто подслушал ее мысли и обиделся.

— Тише, мой мальчик, — ласково проговорила она. — Тише, мой галчонок.

Кончив говорить, Лесницкий соскочил с подводы и пошел в толпу, здороваясь со знакомыми колхозниками. Обнимая плачущих женщин за плечи, он утешал:

— Ничего... Ничего, не горюйте. Будет и у нас праздник. Но слезами врага не победишь. Его нужно бить. Бить беспощадно, непрерывно.

— Теперь он спалит нас, — вздохнув, сказал кто-то в толпе.

— Сожгут? Что ж... Волков бояться — в лес не ходить. Сожгут — построим, когда последний фашист ляжет мертвым на наших пожарищах. Он не только сжечь наши дома, он весь наш народ хотел бы уничтожить. Но не удастся ему это. — И, увидев Карпа Маевского, Лесницкий обратился к нему: — Как думаешь, Карп Прокопович? Твою хату он уже спалил...

— Спалил, — усмехнулся Карп. — А я живу и... жить буду. Сына дождусь.

Маевскому хотелось очень многое сказать секретарю, поговорить с ним, посоветоваться, рассказать о своих душевных муках, пригласить его к себе домой. Но Лесницкий пошел дальше. Невнимание партизанского командира обидело старика. «Раньше заезжал на пасеку, интересовался... Самый близкий человек был. А теперь и поговорить не хочет... Не верит он мне, что ли? Кому же тогда верить?» — с огорчением думал он и, повернувшись, вышел из толпы, разыскивая Татьяну.

В эту минуту мимо него быстро прошел молодой партизан и незаметно сунул ему в руки смятую бумажку.

Карп вздрогнул от неожиданности, крепко сжал бумажку в кулаке и поспешил домой. Во дворе он зашел под навес и прочел записку. Потом быстро вошел в хату, надел кожанку, подпоясался ве-

ревкой, заткнул за пояс топор. Он уже собирался выходить, когда вошла Татьяна. Она удивленно оглядела отца и спросила:

— Вы куда, тата?

Он посмотрел на дочь и понял, что обмануть ее не удастся, да и не хватило бы у него сил лгать ей в такую минуту, и протянул смятую бумажку.

«Карп Прокопович! Мне нужно с вами поговорить. Жду сегодня под вечер на Ягодном, у Рога, под дубами. Л.», — прочла Татьяна.

Маевский молча смотрел на дочь.

А она прочла записку еще раз и тихо сказала:

— Как бы я хотела быть с вами там, — и, не дожидаясь ответа, подошла к печке и начала раздувать угли. — Записку нужно сжечь... Люба, видно, с ними поехала, — добавила она.

Когда бумажка вспыхнула, Татьяна тяжело вздохнула.

— А ты пойдешь к кому-нибудь... К Степаниде, к примеру, пожди там. В случае чего — в лес, туда же. — Он помолчал, пробауя пальцем острие топора. — Ну, я пойду...

— Хлеба возьмите, тата.

Когда отец ушел, Татьяна не смогла усидеть одна в хате, снова вышла на улицу и направилась к школе. Но там уже было пусто: партизаны уехали, народ разошелся. Тетка Степанида увидела ее из окна и позвала к себе. Там, к своему большому удивлению, Татьяна увидела Любу. Девушка сидела на кровати с заплаканными глазами.

— Ты не уехала? — обрадовалась Татьяна.

Любе показалось, что Татьяна насмехается над ее неудачей, и она с раздражением набросилась на сестру:

— Уехала, уехала! Тебе бы только зубы скалить. Думаешь, я побоялась? Думаешь, я такая трусиха, как ты? Не взяли они меня... И Женьки Лубяна, говорят, у них никакого нет. А я по глазам видела, что врут. Вот придет только Женька, и я уйду. Не возьмет — следом за ним пойду. Тогда не прогонят, как увижу их лагерь. А то — мала! Какая же я маленькая? А горе у меня самое большое. Мамочка моя родная! — и Люба горько заплакала.

IX

Ягодное — осушенное колхозниками болото — длинной узкой полосой врезалось в лес. Ближайшая к деревне часть его заседалась и давала богатейшие урожаи. Дальний конец болота, который назывался Рогом, не был полностью осушен, его использовали под покосные луга. Лес с обеих сторон луга был по преимуществу ольховый, густой. Стройные ольхи росли группами, на высоких кочках.

Весной и осенью тут нельзя было пройти ни болотом, ни лесом. Но в самом конце Рога, на высоком сухом пригорке, росли уже не ольхи, а могучие столетние дубы. Под дубами густо переплетался

орешник. Летом сквозь эту чащу трудно было пробраться, и сюда мало кто заглядывал, хотя уголок этот отличался редкой красотой и обилием орехов и грибов. Может быть, потому, что всего три года назад волки среди бела дня разорвали тут лесника. Вот сюда и пробирался Карп Маевский, взволнованный неожиданным и таинственным приглашением партизанского командира.

Он вышел из леса на край покосного луга, под дубы, и осторожно оглянулся. Вокруг было пусто и тихо. Только где-то в орешнике жалобно чирикала какая-то одинокая птичка. Оголенный лес неподвижно застыл. Ветер согнал опавшие листья с поляны, и землю под дубами густо устилали желто-зеленые желуди. Желудей было так много, что их можно было брать просто пригоршнями. «Никто не собирает, — подумал Карп, — а напрасно. Нужно будет прийти когда-нибудь. До войны свиней кормили, а теперь и сами поедем». — Он тяжело вздохнул и, нагнувшись, начал было сгребать желуди в кучу. Но потом порывисто выпрямился, снова огляделся вокруг и посмотрел почему-то на небо. По нему медленно проплывали косматые овчины туч. Вечерело. Карпу стало как-то не по себе на открытом месте, и он спрятался в гуще ореховых кустов.

Ждать ему пришлось долго. Старик уже начинало казаться, что Лесницкий не придет; росла тревога за Татьяну и Любу.

«Налетит карательный отряд этого прода, — подумал он о Виженере, — сразу же за них возьмется. Надо идти».

Но уйти, никого не дождавшись, он не мог. Кто знает, будет ли другой такой случай? Эта встреча могла многое решить в его жизни, он понимал это.

Наконец он увидел, как из леса вышли два человека и остановились под дубами.

— Не пришел, — сказал один.

— Не может быть, — ответил второй.

Карп по голосу узнал Лесницкого и смело вышел из кустов.

— А вот и он, — сказал Лесницкий и пошел навстречу.

— Вечер добрый, Карп Прокопович. Медком не угостишь? — шуточно спросил спутник Лесницкого.

Маевский с удивлением узнал в нем председателя райисполкома Приборного.

— Сергей Федотович?!

— Он самый! Удивляешься, старый?

— Как не удивиться! Так... Вместе, значит, воюете.

— А как же иначе! Вместе строили жизнь, вместе и защищать должны, — ответил Приборный. — Ну, присядем, друзья.

Приборный снял с шеи автомат и опустился на землю под дубом. Лесницкий и Маевский сели возле него — один против другого.

— Угости хоть табаком, если медку нет. У тебя ведь все отменное, старый чародей, все первого сорта. Эх, поел бы я сейчас медку! — С удовольствием причмокнул губами Приборный.

— Могу принести, Сергей Федотович, — ответил Карп.
— Да ну-у? Все-таки припрятал?
— Пудиков десять.
— Молодчина! — весело засмеялись Приборный и Лесницкий. Закурили. Немного помолчали. В небе начали загораться первые звезды.

Тишину нарушил Лесницкий.
— Что ж замолчали? Рассказывай про жизнь, Карп Прокопович.

Маевский тяжело вздохнул.
— Что тут рассказывать, сами знаете. Не жизнь, а мука... Пекло! Когда только это кончится?

— Скоро, — улыбнулся Лесницкий. — Но придется повоевать. Ничто не приходит само собой, без борьбы. Тем более победа. Враг у нас сильный, хитрый и безжалостный. Цель его — уничтожить наш народ, захватить нашу землю, наше богатство. В большинстве случаев он берет силой, а там, где оружие бессильно, старается взять хитростью, провокациями. Словом, использует все, что можно. Но народ наш не верит ему. Не должен верить ни одному фашистскому слову. Тогда быстрее будут расти наши ряды. — Секретарь райкома замолчал, а потом неожиданно спросил: — За что они сожгли твою хату?

Маевский рассказал.

Приборный и Лесницкий переглянулись между собой и улыбнулись.

— Просто клад этот хлопец. Никогда ни в чем не ошибается, — сказал Приборный.

— Кто такой? — не понял Маевский.
— Один наш партизан, — ответил Приборный.
— Ваш сосед, — добавил с улыбкой Лесницкий.
— Что-то давно он не появляется у нас. Мои девочки ждут не дождутся его.

— Почему?
— Одна, дочка покойной Христины, до вас хочет с ним пойти, а моя — повидаться со старым знакомым; вместе в школе учились.

Лесницкий спросил:

— Да, раз к слову пришлось: кто муж твоей дочки и где он теперь?

Маевский смущенно закашлялся.

— Кхе-кхе... Как вам сказать? Нету у нее мужа.

— Нет?

— Вы не подумайте чего плохого, Павел Степанович. Дело в том, что дитя это — не ее. — И Карп откровенно рассказал партизанским командирам все то, о чем знали только он да Татьяна.

Командиры слушали с большим вниманием и в один голос высказали свое восхищение девушкой:

— Молодчина! Мужественный поступок. Гордиться надо такой дочкой!

— В самом деле благородно! В таком возрасте — и ребенка усыновить!

Их одобрение растрогало Маевского. Он осторожно кашлянул и тихо сказал:

— Но о том, что это не ее дитя, не знает никто, даже женка моя. Так что...

— Это правильно! Пусть об этом знает возможно меньше людей. Так будет лучше, — ответил Лесницкий и, помолчав, спросил: — Значит, на семью твою можно положиться?

За старика ответил Приборный:

— Как видишь... Женка только у него злая. Не обижайся, старый. Нехорошая баба, глупая. Тут ты большой промах сделал, хоть ты и пчелиный король.

Маевский смутился и ничего не сказал. Все трое помолчали. И вокруг царил полная тишина. Только где-то далеко в лесу выл волк.

Молчание вновь прервал Лесницкий.

— Ну, к делу, — обратился он к Маевскому. — Нам нужна твоя помощь, Карп Прокопович. Говори сразу — согласен? Не боишься?

— Обижаете меня, Павел Степанович. Да я хоть сейчас готов к вам идти. Дочку только позвольте взять с собой и племянницу. Чего мне бояться? Знаю, на что иду...

— Пока что идти никуда не нужно. Останешься дома.

Карп вздохнул.

— Нам нужен надежный человек в деревне, к которому мы могли бы в любой момент обратиться и получить нужную помощь. Понимаешь? Словом, жизнь свою тебе доверяем. Надеемся, не подведешь...

— Павел Степанович, да я...

— Хорошо... Слушай дальше... Героизма никакого не нужно. Револьвер в кармане не носи...

Старик вздрогнул. Он быстро нагнулся к Лесницкому и, запинаясь от волнения, спросил:

— Да вы... вы... откуда знаете? — и рука его машинально вытащила револьвер из кармана полушубка.

Приборный засмеялся, взял из его рук наган и внимательно осмотрел.

— Спрячь в надежном месте, — продолжал Лесницкий. — Конечно, чтобы в нужный момент он был под рукой. Видишь, мы узнали. Могут проведать об этом и гитлеровцы. Не думай, что они дураки. Шпионаж у них первоклассный, набрали себе разной сволочи — старост, полицаев... Ну, да эти на виду. А вот самых хитрых предателей они делают своими тайными агентами. Поэтому нужно держать ухо востро.

Лесницкий помолчал.

— Так вот, твоя задача... Нужно подружиться с новой властью и наблюдать, следить. Особенно за вашим старостой, за Бугаем... Он встречался с нашими и уверял, что ненавидит фашистов. На-

пример, он клялся, что поджог колхозного двора и амбара — дело его рук. Что ты скажешь на это?

Маевский пожал плечами.

— Не верится, а там черт его знает... Я думал, да и все в деревне так думают, что это ваша работа. А теперь — право, не знаю.

— Ну, так вот. Нужно распознавать, кто наши помощники и кто наши тайные враги. Да... Подбирай надежных людей, вовлекай в наше дело. Нужно поднимать народ. Дочку, племянницу привлеки. Пусть ведут агитацию. Все новости мы будем передавать. Но делать все это нужно очень осторожно. О связи с нами — никому ни слова... Вот, кажется, и все... У тебя ничего нет, Сергей?

— У меня? Ничего особенного... Если что такое — к нам... А мед береги для торжественного случая. С твоим медом победу будем праздновать, — снова пошутил Приборный и первым поднялся с земли.

Маевский был очень взволнован встречей.

— Не знаю, как вас и благодарить, Павел Степанович... Сергей Федотович... Сразу все прояснилось. А то жил как в яме какой.

— Ну, ладно, — перебил его Лесницкий. — Еще одна просьба. Связным к тебе чаще всего будет приходиться Лубян... Так ты приглядывай за ним. Очень уж горячая голова. Попадется — не минует петли... А он у нас незаменимый человек. У наших хлопцев будет пароль «Чита». Если же тебе нужно будет срочно передать что-нибудь, иди сюда и по этой просеке — до Сухого болота... Ну, бывай.

Они крепко пожали руку старику и вскоре скрылись в темноте между деревьями... А Маевский еще долго стоял и смотрел в ту сторону, куда они ушли, слушая, как трещат сухие сучья под их ногами.

Лесницкий и Приборный пробирались по узкой тропинке в глубину леса. Уже стало совсем темно. Идти было трудно. Приборный споткнулся, зацепившись за корень, и упал.

— Не раз нос разобьешь, пока до лагеря доберешься, — проворчал он.

— А ты не целуйся с пнями. Они не женщины.

— Ты, комиссар, еще шутить можешь?

— А почему нет? Сделав то, что мы сегодня сделали, можно и пошутить, Сергей...

— Да... Сегодня мы поработали.

— Я думаю, что заездами в деревни, митингами и встречами с Маевским, Романовым и Василенко мы завершили первый этап своей работы — подготовили условия для развертывания настоящей войны. Нужно, чтобы главное пополнение отрядов составляли не окруженцы и не только те, у кого есть личная обида на фашистов, а своевременно подготовленная, организованная масса колхозников и рабочих.

— Жаль, что оружия мало.

— Ничего, Сергей, будет оружие и будут у нас партизанские бригады, дивизии.

Ветка орехового куста больно хлестнула Приборного по лицу. Он громко выругался.

— Комиссар, осторожней с ветками... Чуть глаз не выбил, черт бы тебя побрал...

Лесницкий засмеялся.

— А ты не наступай на пятки...

Некоторое время они шли молча. А потом Лесницкий снова вернулся к прерванному разговору и стал излагать свои планы развертывания партизанского движения в районе. Хотя разговоривали они об этом чуть ли не каждый день, Приборный слушал Лесницкого с неизменным вниманием — каждый раз секретарь райкома высказывал новые, интересные мысли. Приборный восхищался своим комиссаром и часто думал: «Ну и голова! Как он быстро вошел в роль партизанского вожака! Сколько прошло с того времени, когда вот с таким же энтузиазмом он строил и сеял! И ведь войны-то в глаза не видал. Я в гражданскую уже ротой командовал, а ему, поди, тогда не больше десяти лет было! А сегодня — какой солдат! Слово всю жизнь только тем и занимался, что воевал».

X

Ночью выпал снег. Он шел несколько часов перед рассветом и все покрыл белым пушистым одеялом. После долгой серой осени хаты и деревья словно обновились — они освещались мягким, спокойным светом от покрытой снегом земли. От этого, казалось, и рассветло раньше, чем вчера, когда все вокруг было серым и печальным.

Татьяна проснулась, услышав, как обычно, осторожные шаги отца. В комнате было совсем светло.

«Ах, соня-какая я! До этих пор спать!» — упрекнула она себя, но посмотрела в окно, поняла, почему так светло в хате, и на душе у нее стало тоже светло. Даже став совсем взрослой, она всегда с детским восторгом и радостью встречала первый день зимы.

— Снег, тата? — будто не веря своим глазам, спросила она и начала проворно одеваться.

Одевшись, растормошила Любу, спавшую на соседней кровати:

— Любка, снег!

Люба проснулась, прищурившись, посмотрела на окна, зевнула и снова уткнулась лицом в теплую подушку.

Татьяна тем временем схватила ведра и выбежала во двор. С непривычки на снег было больно смотреть, и она зажмурилась. Редкие пушистые снежинки садились на разгоряченное лицо, на руки, приятно освежая кожу.

Забыв на мгновение обо всем, Татьяна смотрела на заснежен-

ные деревья и по-детски счастливо улыбалась. После того как в колодце нашли мертвого кота (говорили, что это дело рук пьяных полицейев), весь переулочек ходил по воду к дальшему колодцу или на речку. До речки было дальше, но Татьяне захотелось пройтись по первому снегу. Она быстро перешла улицу и через двор Лубянихи направилась к речке. Сперва она не думала ни о чем, но постепенно замедлила шаг, а потом, в конце огорода, остановилась и огляделась вокруг...

Позади двумя длинными улицами раскинулась деревня. Над белыми крышами поднимались дымки. В белом убранстве стояли сады. А за садами, сквозь сетку снежинок, вырисовывалась мутно-белая стена соснового леса. Леса огибали село дугой. Ближе к речке хвойник сменялся молодым дубняком. За речкой расстилались поля с разбросанными по ним деревьями, на узкой прибрежной полосе луга стояли стога. А если подняться на пригорок, что за речкой, или тут, на этом берегу, влезть на дерево, то там, вдалеке, на западе, можно было увидеть другие стога — на широких днепровских лугах.

Татьяна посмотрела в ту сторону и тяжело вздохнула. Ей вдруг стало стыдно за свое детское восхищение, за свою короткую радость. Больно стиснуло сердце. Нечему радоваться! Она поставила ведра на снег и еще раз оглянулась. Родная земля! Красивая, любимая! По ней ходили советские люди, по-разному видя и ценя ее красоту: одни пели о ней песни, писали стихи, простые и искренние; другие искали в ней руду, уголь, несли образцы в лаборатории, производили опыты... Но все любили ее, потому что это была земля отцов, земля-мать, она кормила и поила своих детей. А теперь? Чужеземцы топчут ее, оплевывают, поганят.

Татьяна сжала кулаки. Как никогда прежде, ощущала она жгучую боль в сердце, будто не по земле этой, а по ее груди прошли тяжелые грязные сапоги чужих солдат и растоптали все самое дорогое, самое любимое. Она жадно вдохнула морозный воздух. Все ее чувства обострились в эту минуту — она ощутила иную любовь к родине и новую ненависть к захватчикам. Татьяна ненавидела их с первых дней войны, ненависть росла с каждой встречей с ними. Но то, что она ощутила в это мгновение, было действительно другой ненавистью, кипучей, непримиримой. Чувство это требовало действия, немедленной мести тем, кто растоптал ее счастье.

«А что я делала до сих пор? — подумала она. — Ничего... Сидела и ждала, пока другие принесут освобождение». Правда, после встречи с партизанскими командирами отец поручал ей и Любе проводить беседы с женщинами и молодежью, время от времени приносил им сводки Совинформбюро. Эти сводки они переписывали дома в нескольких экземплярах и распространяли потом по деревне. Люба делала это главным образом на вечеринках среди молодежи. Татьяну тоже тянуло к молодежи, ей тоже хотелось побыть на вечеринке, поговорить со своими ровесницами.

Но она не могла этого делать. Женщины сурово осудили бы ее за то, что она оставила ребенка, забыла о муже, который, может быть, в эту самую минуту исходит кровью на поле боя. Имя «солдатка», которым называли ее односельчане, ко многому обязывало жену фронтовика: за ее поведением следили десятки глаз. И Татьяна была вынуждена работать главным образом с женщинами.

«Взялся за гуж — не говори, что не дюж», — думала она.

Женщины уважали ее, верили каждому ее слову, но, слушая невеселые сводки Совинформбюро, тяжело вздыхали, вытирали слезы.

...Весь тот первый зимний день она была взволнованна, часто выходила во двор и оглядывала знакомые просторы. Неведомая сила тянула ее в лес: «Только там их нет. Там земля не истоптана их сапогами. Там — наши люди».

Работа валилась из рук. Оскорбляли придирки мачехи, ее ворчание, на которое Татьяна не обращала раньше внимания.

Маевский заметил волнение дочери и, встретив ее, когда она шла из сада, вполголоса спросил:

— Что с тобой, Танюша?

Она пристально посмотрела ему в глаза.

— А с вами что, тата?

— Со мной? — удивился он. — Да ничего...

Татьяна недоверчиво покачала головой.

— Зачем вы прячетесь от меня, тата? Разве я не вижу? После того как вы встретились с Лесницким... Раньше вы мучились от неизвестности, от бездействия. А теперь вы другой жизнью зажигаете. Ходите по деревне, разговариваете, у старосты начали бывать. Значит, что-то поручили вам... Задание дали. Я же понимаю...

Девушка нагнулась к отцу, заглянула в глаза.

— Тата, поручите и мне что-нибудь... Дайте работу... Я больше не могу сидеть так...

— Я ведь дал тебе работу...

— Какая ж это работа! С женщинами разговаривать... Они лучше меня все понимают, а сводку передать — так это каждый сможет.

— Дурная ты... За это вешают.

— Ну и что с того, что вешают... Но я не могу больше... Не могу! Сегодня вот утром вышла к речке... Снег... лес... земля наша... А как вспомнила, кто топчет ее, — так горько сделалось... И теперь не могу успокоиться. Направь меня к партизанам, тата. Меня и Любу... Не могу я больше, не выдержу, такое что-нибудь сделаю, что... Видеть их не могу... — Она расплакалась.

Маевский успокаивающе дотронулся до ее руки.

— Ну вот и слезы... Куда же это к партизанам со слезами? — Он на секунду задумался и потом тихо сказал: — Обожди немного, Татьяна.

— Обождать? — встрепетнулась она. — А сколько еще ждать, тата?

Маевский улыбнулся.

— Горячая ты... горячая... вся в мать.

Под вечер того же дня, улучив минуту, когда Пелагея вышла из хаты, Люба сообщила:

— Сегодня ночью Женька приходил.

— Ты откуда знаешь? — удивился Карп.

— Знаю... У меня разведка есть... В следующий раз он не убежит от меня! — И обиженно добавила: — Ходят, как волки, ночью.

— А ты хочешь, чтобы они днем приходили? В лапы к полициям?

— Приходили же они раньше...

Карп прошелся по комнате и остановился перед Любой.

— Ты брось эти глупости — следить за такими людьми, да еще детей подговаривать! — сурово сказал он. — Это смертью пахнет... Не маленькая, понимать пора.

Люба покраснела и опустила глаза.

— Кого ты подговорила?

— Ленку, — честно призналась Люба.

— Ну вот... девочке восемь лет, а ты ее в такие дела вместишь. Смотри!

Люба молчала, виновато уставившись глазами в пол. А на следующий день Ленка сама пришла к Маевским. Любы дома не было. Дети Лубянихи не часто посещали Маевских, разве изредка заходили что-нибудь занять по соседству и никогда не задерживались долго. На этот раз девочка ничего не просила. Она, выпрямившись, сидела на скамейке у окна и зорко следила за каждым движением Пелагеи и Карпа. На вопрос Пелагеи, зачем она пришла, девочка стыдливо опустила глаза и ничего не ответила. Татьяна думала, что она ждет Любу.

Когда Пелагея и Карп вышли из избы, Лена быстро подошла к Татьяне.

— Тетя Таня... я... я... — От волнения она заикалась.

Татьяна погладила ее по голове.

— Что, Лена?

Девочка доверчиво подняла глазки.

— Это не я, тетя Таня... Это Женька... Наш Женька... Он сказал, чтобы я ходила к вам и чтобы вы учили меня.

— Что? — удивилась Татьяна.

Лена поймала удивленный взгляд учительницы и снова начала оправдываться:

— Он говорит, чтоб я год напрасно не теряла... А вы... — Девочка замялась и снова опустила глаза.

— Что я?

— Вы, сказал, чтоб не лодырничали. А как, сказал, учить будете, он проверит.

Учительница густо покраснела от этих слов будущей ученицы. Она поняла, что хочет от нее Женька Лубяи, и обрадовалась. Учить детей! Воспитывать в них ненависть к захватчикам и любовь к

родной земле, такую любовь, какую почувствовала вчера сама. Говорить детям суровую правду, а через детей — их родителям.

— Хорошо, Лена. Я буду учить тебя. Сегодня же вечером приходи, — ответила она девочке.

Лена вышла радостная.

Татьяна начала одеваться. Через несколько минут она уже была у Веры Кандыбы, жены директора школы. Сам Василий Васильевич Кандыба, как говорили в деревне, с первых же дней войны пошел в армию. Вера жила у своего отца Ивана Маевского (в деревне добрая треть жителей носила эту фамилию). Хозяева встретили Татьяну приветливо. Беременная Вера бросила шитье и поплыла навстречу подруге.

— Наконец ты заглянула к нам, Таня! А то сидишь там у себя... Старых подруг забыла. Ну садись, садись... Как твой цыганенок поживает? — Она улыбнулась и посмотрела на свой живот. — Скоро и я жду. Мама уже никуда не выпускает меня.

Старый, больной Иван Маевский поднялся, сел на край печи, откашлялся.

— Садись ближе ко мне, дочка, а то я плоховато слышу. Разговаривать с тобой буду.

— Снова ты за свое, кряхтуп старый! Лежал бы уж да молчал, — заворчала Улита.

Иван закашлялся и кашлял долго, утирая полотенцем рот и бороду.

— Лежать я не могу. И молчать не могу. С людьми хочу поговорить перед смертью. От пускай они мне ответят, образованные... Их Советская власть учила, миллионы тратила на них. От пускай и скажут... вернутся наши или нет? — Старик хитро прищурился и наставил ухо. — А-а?

— Я ведь тебе тысячу раз говорила, что вернутся, — ответила Вера.

— Говорила... А что толку в том, что ты говорила? Ты мне докажи почему? Какие основания, как говорят, имеются? Докажи. Я человек темный...

— Ты лучше нас знаешь, тата. Что тебе доказывать? — возразила Вера, которой хотелось поговорить с подругой совсем о другом.

Иван Маевский удовлетворенно улыбнулся.

— Я-то знаю. А вас, видно, напрасно учила Советская власть. Сидишь вот ты теперь и мух считаешь, когда народ в таком горе, когда народу дорого каждое разумное слово. Ты — дочь мне, и я говорю тебе: не слушай матку, иди, говори с людьми, разъясняй. Твоему будущему сыну это не повредит.

Татьяну заинтересовали слова старого колхозника, и она спросила:

— А почему, дядя?

— А-а, почему? — торжествующе улыбнулся он. — Слушай, Верка, разумные слова! Не знаешь сама — спроси старших. Поче-

му? — Он нагнулся с печи и зашептал: — А потому, что поднялся весь народ на супостата. И руководят народом партийные люди, которые жизнь нам дали человеческую. Видали? Павел Степанович Лесницкий. А-а? Сам по деревням в праздник проехался, будто перед посевной кампанией. А еще бают, что вместе с ним и Сергей Федотович Приборный. И так в каждом районе. И секретарь, и председатель, и все работники партийные остались. Вот почему...

— Так это и мы знаем, тата, — откликнулась Вера.

— Знаете... А что толку от этого? Народу это надо говорить. Народу! Эх, кабы не болезнь моя. Да что вам говорить, трещоткам... — Старик почему-то рассердился, махнул рукой и снова улетел на печке.

— Жалеет очень, что не может ходить, — сказала шепотом Вера. — Стариков собирает по вечерам (и твой бывает) и говорит с ними вот так, уговаривает в партизаны идти. А меня мама никуда не пускает. Каждый день ругаюсь с ней. Совестно, что мы и правда ничего не делаем. Скорее бы мне уж родить. — И Вера начала расспрашивать подругу о том, что та испытала, когда рожала.

Татьяна посмотрела на ее живот и усмехнулась. Ничего этого она не испытала... Но, торопливо глотая слова, Татьяна рассказала то, что знала из рассказов других женщин.

Улучив удобный момент, Татьяна изложила свою просьбу.

— Зачем тебе учебники и программы?

— Детей учить.

— Учить? Теперь?

Иван Маевский, услышав это, быстро приподнялся и зло спросил:

— Новой власти угодить хочешь?

Татьяна вскочила с табуретки. Кровь бросилась ей в голову.

— Как вы могли подумать такое, дядя Иван!

Старик хмыкнул.

— Я буду учить детей так, как нас учили. А зачем им год терять? Зачем? Вы ведь сами говорите, что немцы это только так, а жить мы должны по-советски. Мне Евгений Лубян наказал...

— Лубян? — переспросил Маевский, понизив голос. — Тогда дай, Вера, ей учебники.

Когда Вера вышла, старик уже теплым, отцовским тоном посоветовал Татьяне:

— Ты только осторожно, дочка. А то есть собаки. Даже среди наших односельчан могут найтись.

Через полчаса она вернулась домой с пачкой книг, завернутых в салфетку.

XI

С этого дня ее больше не мучило сознание своей бездеятельности. Любимая работа захватила ее. В этой необычной школе было

два класса и в каждом — по одному ученику: во втором — Лена Лубян, в четвертом — брат Лены Сережа. Но это ее не смущало. Она занималась с ними так же, как когда-то с двумя такими же классами, в которых было по пятнадцать человек. Занимались по той же программе. Разница заключалась в том, что занятия длились иногда больше четырех часов, а иногда — полчаса. Только одно обстоятельство сначала тревожило ее — дети не были похожи на тех, которых она учила до войны. Те на переменах бегали, смеялись, шалили, порой на уроках выкидывали какие-нибудь фокусы, — словом, делали все, что делают дети такого возраста. Сережа и Лена все время сидели молча, и в глазах их никогда не появлялось озорного блеска. Они слушали очень серьезно и усваивали все не по-детски основательно. А порой они задавали такие вопросы, на которые трудно было сразу ответить. Постепенно Татьяна привыкла к этому, поняла, что сейчас детям нужно давать больше, чем это предусмотрено программой. Война состарила и детей.

Обычно, когда в хату заходил кто-нибудь из чужих, занятия прекращались и дети делали вид, что просто пришли поиграть. Однажды во время урока вошла Степанида. Ее Татьяна не опасалась и не прервала урока. Она рассказывала своим ученикам про Москву. Будучи студенткой, она ездила в столицу на экскурсию и теперь с увлечением говорила о своих впечатлениях.

И ребята, и Степанида слушали затаив дыхание.

— Теперь, дети, враги подошли совсем близко к этому чудесному городу. Они хотят захватить Москву и уничтожить все созданное нашим народом. Вы знаете, что они уже давно кричат о захвате Москвы. Но Москва стоит. Им никогда не взять Москвы, потому что ее обороняет вся наша Родина, — закончила она дрожащим голосом.

Светлые глазенки Лены наполнились слезами. Сережа посмотрел на нее и толкнул в бок, стыдясь слабости сестры. Но слезы были не только в глазах маленькой Лены. Старая Степанида тоже тайком смахивала их уголком платка.

А на следующий день она привела к Татьяне двух своих внуков и попросила:

— Учи, крестница, и их заодно. Зачем это они будут прогуливать? Пускай ума набираются и знают, за что воюют их батьки. Одному нужно в первый класс, а другому — в третий...

— Пожалуйста, — с радостью согласилась Татьяна.

Но в разговор вмешалась Пелагея.

— Что вам тут, школа или что? — зло бросила она и загремела ведрами. — Черт знает что такое! Ни тишины тебе, ни покоя! Идите в школу и учитесь там.

— В школу нам нельзя идти, — спокойно ответила Татьяна. — Школу превратили в свинарник. А вы не бойтесь, Пелагея Свиридовна, — Татьяна сделала ударение на последнем слове, и имя мачехи прозвучало иронически, — вас они не тронут.

Пелагея даже ведра выронила и, круто повернувшись, подбоченилась.

— Может, ты и меня хочешь учить? — крикнула она. — Больно умная стала. Смотри, как бы тебе за такую учебу шкуру не спустили!

Татьяна больно прикусила губу, чтоб сдержаться и не поругаться с мачехой при детях. Но Люба не сдержалась. Она оторвалась от книги и встала. Пелагея сразу замолчала.

— Вот что, тетечка, — тихо, но решительно и твердо произнесла девушка, — если вам не нравится тут, собирайте-ка свои манатки и пошли прочь из моей хатки. Пока что здесь хозяйка — я. Вот как...

Пелагея проглотила приготовленную для Татьяны колкость и, ничего не ответив, вышла из дома.

Степанида вздохнула.

— Тяжело вам с ней.

— Тане, с ее характером, тяжело, а меня она боится больше, чем пемцев, — усмехнулась Люба. — У меня разговор короткий.

С неделю Татьяна занималась с четырьмя учениками. А потом в один из дней случилось событие, от которого она сначала даже растерялась.

Дома никого не было. Она спокойно вела урок. И вдруг во двор ввалилась целая ватага: шесть мальчиков и две девочки. На крыльце они остановились и, подталкивая друг друга, стали совещаться, кому войти первым. Когда Татьяна вышла к ним, ребята в один голос попросили принять их в школу. Так и сказали: «в школу». Татьяна вздрогнула, услышав эти слова. Ей хотелось ответить, что никакой школы тут нет, и отправить детей домой, но она не могла солгать, да и к тому же она хорошо понимала, что дети пришли не сами, что их прислали взрослые — матери, деды.

Однако, посадив новых учеников за стол, она почувствовала себя связанной... Подъем, увлечение работой пропали. В глубине души росли опасения. Быстро окончив урок, она отпустила детей домой.

«Это может плохо кончиться, надо посоветоваться с отцом...» Но отца не было дома: он с Любой пошел в лес за дровами.

Татьяна с нетерпением ждала их возвращения. Мысль о школе не выходила из головы. Перед глазами стояли серьезные детские лица, пытливые глаза, в ушах звучали нестройные голоса:

— Тетя, примите меня в школу.

— И меня.

— И меня.

«Школа. Советская школа, — думала она. — А там вот, в трехстах метрах отсюда, в здании настоящей школы — полицаи, гитлеровские наймиты... Что-то надо сделать, что-то придумать...»

Нетерпение все росло, и она не выдержала: дождавшись возвращения Пелагеи, пошла в лес, навстречу отцу и Любе, чтобы поговорить с ними там, не прячась от мачехи.

Шел снег, густой и пушистый, он сразу засыпал следы. Татьяна шла быстро. Только на опушке она остановилась, оглянувшись назад и потом уже смело вошла в лес. Покрытый снежным одеялом, лес стоял молчаливый, задумчивый. Только изредка срывающиеся с веток комья снега нарушали тишину. Снег, густой в открытом поле, здесь падал редкими пушинками, большая их часть повисала на ветвях елей и сосен.

В лесу волнение Татьяны понемногу улеглось. Она даже упрекнула себя за трусость и попыталась отогнать тревожные мысли.

«Глупости все! Скажу, что работаю ради куска хлеба. Есть же школы в других деревнях. Учат там детей, — уговаривала она себя и сама же понимала неубедительность своих доводов. — Так они тебе и поверят! Жди... Особенно когда узнают, как я веду эти занятия. Ах, Женя! Почему ты не появишься сам, не посветуешь, как поступить?..»

В этот момент над самым ее ухом что-то свистнуло. От неожиданности Татьяна вскрикнула и рванулась в сторону, но увязла в глубоком снегу. От испуга сильно забилось сердце. На дорожке впереди себя она увидела лыжника. Это он обогнал ее и, не оглядываясь, быстро пошел дальше.

«Кто же это такой?» — только и успела подумать Татьяна.

Пройдя шагов двадцать, лыжник резким прыжком развернулся и направился к ней. Она увидела лукавое лицо Жени Лубяна. Он весело улыбался. Сердце ее забилось еще сильнее — теперь уже не от испуга, от радости.

— Испугалась? — со смехом спросил Женя.

— Порядочные люди начинают с приветствия, молодой человек, — серьезно, даже сердито ответила Татьяна.

Ее суровость смутила Женью, он поздоровался:

— Ну, добрый день, — и, подумав, добавил: — Молодая девушка.

Татьяна не сдержала улыбки, и Женя, увидев это, подъехал к ней и протянул руку.

— А ну тебя, Таня, с твоей серьезностью. Я рад, что мы встретились. А то тебя не поймашь... Прокисла там у себя...

— Сам ты прокис, — обиделась Татьяна. Она все еще не могла простить ему своего испуга.

Женя, очевидно, понял это и сказал уже серьезно:

— Ладно, ругаться будем потом, когда фашистов побьем. Теперь есть дела поважнее.

Татьяна насторожилась.

— Расскажи, Таня, как живешь, что делаешь.

И только теперь она начала с нескрываемым интересом рассматривать того, кого так долго мечтала встретить, о ком столько рассказывали в деревне. Женя был в новом полушубке, в валенках, в теплой заячьей шапке, без оружия, но Татьяна обратила внимание на оттопыренную полу кожаную и на раздутые карманы. У Женьки выросли маленькие усики, они делали его молодое,

почти детское лицо особенно привлекательным и немножко смешным.

«Вот если бы он с такими усиками в школу явился!» — подумала Татьяна и улыбнулась. Женьке, очевидно, стало не по себе оттого, что она так долго рассматривает его, и он нахмурился.

Татьяна опустила глаза.

— Как живу? Плохо живу, — вспомнила она про его вопрос. — Начала детей учить и испугалась. Сегодня вот бросила свою «школу» и убежала в лес.

— Арестовать хотели? — сверкнул глазами Лубян.

— Нет... Просто сама растерялась и не знала, что делать. Я ведь начала учить только ваших, Сережку и Лену, а тут сегодня приходит целая гурьба, просят принять в школу. Понимаешь? Выходит, что я без разрешения властей открыла школу, и не какую-нибудь, а советскую. Что ты скажешь на это?

— Думаю, что они дураки, если не арестовали тебя до сих пор.

Татьяна удивленно подняла брови.

— Серьезно... Конспирация называется! Двух человек учила, а вся деревня знает... Мало того — все знают, как ты их учила. Думаешь, я случайно встретил тебя? Я к тебе ехал по заданию... — он помолчал, обдумывая, как назвать того человека, чье задание он выполнял, — комиссара... чтобы предупредить тебя. Понимаешь?

Татьяна с уважением и благодарностью смотрела на своего школьного товарища.

— Так работать нельзя.

— А что же делать? Не учить?

— Учить надо. Детей нужно воспитывать, иначе им головы забьют всяким фашистским враньем. Кое-где уже пробуют это делать. Понимаешь? Пойдем, а то еще какая-нибудь собака увидит, — предложил Женья.

Они пошли в глубь леса. Она — по дорожке, а он на лыжах — рядом. Татьяна с интересом поглядывала на его красивое лицо со смешными усиками и жадно ловила каждое слово.

— Видишь ли, они хотят показать себя хозяевами и поэтому разрешают такую роскошь, как школы. А мы должны показать, что настоящими хозяевами по-прежнему являемся мы, советские люди. Понимаешь? Пусть будут школы, разрешенные властями! — Он со злой иронией выделил слово «властями». — А в школах должны быть наши учителя, и учить они должны так, как полагается, по-советски. Понимаешь?

Татьяна заметила, что у него все еще сохранилась старая школьная привычка — почти после каждой фразы говорить себе-саду: «Понимаешь?» Бывало, отвечая на уроке, он часто обращался с этим вопросом к учителю и вызывал дружный смех класса.

Она улыбнулась.

Лубян заметил эту улыбку и рассердился:

— Ничего ты не понимаешь. Если бы понимала, не скалила бы зубы. Нечего таращить на меня глаза. Понимаешь?

Она засмеялась.

Евгений наконец догадался, над чем она смеется, и, растерянно улыбувшись, сказал в оправдание:

— Привычка. А ты несерьезной стала... Я даже боюсь поручать тебе...

— А ты очень уж серьезным стал. Надутый, как индюк! Не беспокойся, я все пойму.

Татьяна развеселилась, и ей стало удивительно уютно в лесу, в присутствии этого рассудительного парня...

— Так вот, если бы ты все понимала, то давно сходила бы к старосте и взяла бы разрешение открыть школу... Тебе нужно жить. А у вас все сторело, и у тебя ребенок, и всякое такое. Один умный человек сказал: «Советские школы в тылу врага — наилучшая агитация». Но в этом деле нельзя ворон считать. Понимаешь?

Евгений остановился, посмотрел на девушку и открыто, дружески улыбнулся.

— Вот так... А теперь слушай другое. Вчера получили по радио радостную весть. Красная Армия разгромила фашистов под Москвой, отогнала их на десятки километров на запад и гонит дальше... Гонит, Танюша, понимаешь?! — Радостно-взволнованный, он потянулся к ней и повторил торжественным шепотом: — Гонит, Таня!.. Если бы ты знала, что у нас вчера было! Командир хотел послать к твоему отцу за медом... Комиссар удержал, а то был бы я вчера гостем у вас. Хлопцы сразу же попросились в поход, чтоб отметить этот день... Чтoб и фашисты не забыли его. Так вот... Все это надо передать людям. На. — Он вытащил из-за пазухи несколько отпечатанных на машинке листов бумаги со сводкой Совинформбюро. — Тут подробно...

Татьяна схватила эти дорогие листки и прижала их к груди.

— Вот это радость, Женья!

— И еще какая, Таня.

Как-то незаметно для самих себя они взялись за руки и так долго стояли, пристально разглядывая друг друга. Татьяна не выдержала и опустила глаза.

— Ну, мне пора, — спохватился Евгений и взялся за лыжные палки, но потом поставил правую в снег и протянул руку: — До встречи...

— До встречи, Женья.

Он задержал ее руку в своей и тихо спросил:

— Значит, замуж вышла?

— Вышла. — И у нее почему-то радостно забилося сердце.

— И сын уже?

— И сын.

— Скоро ты.

— Почему же скоро? Когда мы с тобой в последний раз виделись? Года два назад?

Женя кивнул головой.

— А муж как... хороший?

— Муж как муж. — Татьяна засмеялась. Ей вдруг захотелось пошутить, позлить его. — Хороший муж. Лучше, чем ты...

Евгений отпустил ее руку, схватил палку и ловко повернул лыжи.

— А я, кажется, и не набивался тебе в мужья, — буркнул он и, соскользнув с дороги на снег, быстро побежал в лес.

Татьяна смотрела на его широкую спину, мелькавшую среди сосен, и незнакомая раньше грусть, чуть касаясь, легла на сердце. В какую-то минуту ей хотелось крикнуть, вернуть его, но заячья шапка уже скрылась за соснами.

Татьяна вздохнула, огляделась вокруг и, полная новым, одновременно тревожным и радостным чувством, направилась обратно в деревню.

Густой снег засыпал следы.

Вечером, когда Татьяна, воспользовавшись отсутствием Пелагеи, волнуясь, рассказывала отцу и Любе о встрече с партизаном, в хату неожиданно ввалился Ларион Бугай.

— Добрый вечер дому вашему! — Он остановился на пороге, расстегнул кожаную куртку, старательно отряхнул снег с воротника и долго обивал веником валенки.

Татьяне стало холодно, будто этот человек вместе с собой принес в дом декабрьский мороз. Она прислонилась спиной к теплой печке.

Староста, кончив обметать валенки, молча прошел к столу. Под тяжестью его тела закричала табуретка. Татьяна с отвращением и любопытством рассматривала его, как когда-то рассматривала первого немца. До войны она просто не замечала этого человека, не интересовалась им, да и не часто попадался он ей на глаза.

И вот он появился как раз в тот момент, когда говорили о нем, советовались, как пойти к нему, просить о школе. Появился как злой дух, перебил беседу и сам молчит... Тень от него на стене была непомерно большой и страшной. Татьяне казалось, что своим громадным телом он занял всю хату, вытеснил воздух, и от этого стало трудней дышать.

«Вот он какой — предатель, — думала она. — Был советский человек, ходил по одной с нами земле, здоровался со всеми, и ему отвечали, пользовался всем нашим, советским, и вот изменил всему родному, продал себя и других теперь продает. Бродит как тень... Зачем он пришел? И как это до войны никто его не разгадал? Он и в колхоз не хотел вступать, с людьми боялся встречаться. Волк... Теперь это по лицу его можно прочесть. Какая звериная рожа!»

Лицо у Бугая было широкое, квадратное, заросшее густой черной бородой; брови тоже были густые, сросшиеся на переносице, смотрел он из-под них, не поднимая головы. «Как бодливый бык, —

подумала Татьяна. — Недаром и фамилия у него такая — Бугай, бык...»

Староста кашлянул и охрипшим басом сказал:

— Снегу-то лишнего уже навалило.

— Ага... Снежная зима, — согласился Маевский.

Снова помолчали. Татьяна видела, что это вынужденное молчание страшно угнетает всех. Отец несколько раз кашлянул в кулак. Люба нервно постукивала ногой об ногу и не отрываясь смотрела на Татьяну.

— Ну как живешь, Карп Прокопович? — спросил наконец Бугай.

— Да видишь, как живу. В чужой хате.

Староста вздохнул.

— Хорошая женщина была Христина, царство ей небесное...

Ни за что погибла...

«У-у, еще смеет жалеть, гад... иуда!» — подумала Татьяна.

— Что ж, нужно хату ставить, Карп Прокопович. Лес под боком.

— Нет, Ларион Гаврилович... я порешил обождать.

— Пока свои вернутся? — спросил староста.

— Может, и так... У нас с тобой сыновья там. Нам с тобой есть кого ждать.

Староста снова вздохнул.

— Наверно, не вернуться им. Силища-то какая...

— Кто его знает... А я так скажу: не нашего ума это дело. Наше дело — ждать, а что дальше... — Карп махнул рукой. — Я лично так думаю, — закончил он.

— Оно так-то так, да ведь жить надо, как-то приспособиться надо к жизни.

Люба не выдержала:

— Вы-то, пан староста, уже приспособились.

Карп бросил на племянницу предостерегающий взгляд. Бугай не обратил внимания на ее слова и продолжал неторопливо рассуждать:

— Хата, например, своя при всякой власти нужна.

— Но не при той, что поджигает хаты и убивает стариков, — снова не выдержала Люба.

— Что поделаешь, дочка. На войне всякое бывает. И всякие люди на войне. Одни — люди как люди, другие — зверями делаются. Но житье должно идти своим ходом, — философски рассуждал Бугай. — Вот, например, детей учить нужно. — Он повернулся к Татьяне, и она насторожилась. — Когда все это окончится — неизвестно. Дети бегают без всякого присмотра. Вчера снаряд где-то нашли. И где они зимой выкопали его? А если бы в школе были, знали бы свое дело.

Карп, довольный, кивнул Татьяне головой.

Староста помолчал.

— Из нашей деревни что-то мало учителей вышло. Трое толь-

ко. В Залесье, например, целых двенадцать человек. А у нас все командиры. Восемь командиров.

Татьяна снова подумала: «Ишь ты, какие точные сведения собрал, иуда! Сколько ты получил за это?»

— Так вот я и хочу попросить Татьяну Карповну, — он произнес эти слова с поклоном в ее сторону, — начать учить детей наших.

Татьяна почувствовала, как кровь застучала у нее в висках. Она отошла от печки, подошла к столу. Если бы не разговор с Лубяном, не его совет, она плюнула бы в глаза этому предателю в ответ на его предложение. Кто не понимает, что это издевка, что он пришел сюда, проведая о ее работе, о сегодняшнем приходе ребят? Но это был удачный момент, он поможет ей выполнить приказ Лубяна. И Татьяна, сдержав гнев, сказала:

— Но я не знаю немецкой программы и боюсь, что буду учить не так, как вам нужно...

Бугай многозначительно улыбнулся.

— Учи детей читать-писать на их родном языке — и все. Какие там программы!

В разговор вмешался Карп, и с его помощью они договорились. Так как помещение школы было занято полицией, староста отдал под школу бывшую колхозную канцелярию.

Занятия начались через два дня. Детей сначала было мало. Татьяну очень удивило, что дети Лубяники — Лена и Сережа — не явились в школу, но дня через три явились и они. Она поняла причину их отсутствия и неожиданного появления, когда Люба сообщила ей, что в эту ночь приходил домой Женья.

Приход в школу детей Лубяники был словно сигналом для всех остальных. На следующий день на уроках присутствовали все дети, которые должны были учиться.

Первые несколько дней были очень трудными для Татьяны. Вести уроки так, как она вела их прежде, мешали сыновья старосты. Дети предателя! Два маленьких худеньких мальчика, совсем не похожих на своего отца-силача, только такие же черные. Оба они были тихими, очень внимательными и старательными учениками. Своими черными цыганскими глазами они следили за каждым движением учительницы. Татьяна терялась под этими взглядами и ненавидела их. От этого ей было очень тяжело: она всегда любила своих учеников, а тут вдруг — ненависть. Пробовала она убедить себя, что дети не виноваты, не могут отвечать за отца-предателя, но это мало помогало.

Наконец она отважилась рискнуть, и на одном из уроков взяла да и рассказала детям о великом разгроме гитлеровских полчищ под Москвой, рассказала все так же, как перед этим рассказывала женщинам. После того волнующего урока у Татьяны как будто гора свалилась с плеч: самое страшное было позади. Несколько дней она с тревогой ждала ареста и была готова ко всему, но ни-

чего не случилось. Но все же разговаривать с детьми она стала более осторожно.

XII

Генриху Визенеру не повезло по службе. До этого на протяжении всей войны он шел только вверх, правда медленно, но уверенно. А тут вдруг его понизили в чине, не объяснив даже причины. Впрочем, он понял ее сам, как только узнал, что комендантом района вместо него, обер-лейтенанта Визенера, назначили оберштурмфюрера¹ Койфера. Ну, конечно, политика! Дело армейцев — воевать, а о руководстве захваченными районами позаботятся другие. Визенер понимал это и не обиделся, только встревожился: как бы не отправили на фронт. Но этого не случилось. Видимо, его опыт и работу все-таки ценили. Его назначили комендантом села Пригары — важного населенного пункта на пересечении дорог. Гарнизон у него был небольшой, но надежный: старые служаки, еще в Бельгии воевавшие под его командованием. Генрих Визенер убедил себя, что это даже к лучшему. О, он ведь никогда не был карьеристом, как эти политики, и всегда подчеркивал, что он солдат, только солдат — и не более того.

И вот новый начальник вызвал его к себе.

День был морозный. Звонко поскрипывали полозья. Кони, фыркающая, легко бежали по накатанной дороге. На передних санях сидели трое солдат, на задних — четверо; Визенер сидел в средних зеленых санях. Он закутался в большой черный тулуп и с удовольствием затягивался сигарой. Ехали полем — объезжали лес. Снежная гладь слепила глаза сверканием мирнадов серебряных чешуек. Визенер жмурился и любовался ландшафтом. Он вспомнил виденную им в отцовском кабинете старую лубочную картинку. На ней — такое вот зимнее поле и тройка сытых коней, запряженных в большие сани. Тройкой правит молодой краснощекий парень. Одной рукой он держит вожжи, другой обнимает еще более краснощекую толстую девицу. И у парня и у девицы — очень тупые лица. И Визенер с детства представлял себе русских по этой картинке до тех пор, пока не встретился с ними в жизни. Он подумал: «Поле такое же и сани... но люди — нет... не такие. Упорные, дьяволы... Но ничего, мы сломили их упорство. Пусть не радуются победе под Москвой...»

...Комендант принял обер-лейтенанта в его, Визенера, бывшей квартире подчеркнуто вежливо, выслушал короткий доклад о событиях на вверенном Визенеру участке и предложил закусить. Только после этого пригласил в кабинет и приступил к делу.

— Из вашего доклада, господин обер-лейтенант, можно сделать вывод, что в порученном вам районе никакой активности партизан в последнее время не наблюдается. Но это не совсем так... Они

¹ Оберштурмфюрер — старший лейтенант войск СС.

существуют, они действуют. Ни вам, ни мне не удалось уничтожить их. Более того, число их с каждым днем возрастает. Вот что для нас самое страшное.

Генрих Визенер насторожился.

— Этому нужно положить конец! До сих пор мы боролись только с теми, кто ушел в лес, не подумав, что те, кто остались в селах, — тоже партизаны и завтра они могут уйти в лес. Надо отбить у населения охоту уходить в леса. Понимаете? Нужно любыми средствами остановить рост партизанских отрядов. Поэтому предложено провести небольшие профилактические меры... — Койфер порывлся в папках и вытащил оттуда какую-то бумагу. — Невдалеке от вас, господин обер-лейтенант, есть деревня... деревня... — он заглянул в бумагу, — Ореховка. Вы знаете? Это — рассадник партизанской заразы, их гнездо. По неполным данным, оттуда уже ушло в лес семь человек. Вот их имена. Прошу вас записать себе...

Визенер взял бумагу, достал вечную ручку.

— Слушаю, господин оберштурмфюрер.

— Кандыба Василий, Лубян Евгений, Зайчук Алена, Зайчук Иван, Маевский Сергей, Хохлов Петр, Шкаруба Яков... Предложено, — оберштурмфюрер снова порывлся в бумагах, — уничтожить их семьи. Доказано практикой, господин обер-лейтенант, что это наилучший способ заставить остальных подумать. Вам, надеюсь, все ясно?

Визенер встал, показывая этим начальнику, что приказ понял и готов выполнить.

Койфер тоже поднялся.

— Думаю, вы не нуждаетесь в инструкции, как это делать. Срок — трое суток. — И протянул руку.

Снова скрипели полозья и легко бежали кони по накатанной дороге. Визенер молча сидел и думал. Как это сделать: арестовать и потом расстрелять? Где? Нет, это не так подействует на остальных. Арест — дело привычное. Повесить на площади, собрав все население? Он не любил вешать, а особенно женщин и детей. Да с таким количеством солдат, как у него, это рискованно. Он снова вспомнил смерть Редера и, глубоко втянув голову в воротник тулупа, оглянулся на маленькие голые кусты возле дороги. Отвратительный случай! А та девушка в этой же деревне? Хорошо, если она попала в список. Впрочем, список можно увеличить самому. Только как эффектной выполнить приказ?

Визенер любил обо всем подумать, все взвесить. Он был психологом. Он был романтиком. Все нужно сделать таинственно и необычно, так, чтобы основательно подействовать на психику этих животных.

План операции возник неожиданно. «Чудесно! — Обер-лейтенант откинул ворот тулупа. — Чудесно! О, у них пропадет охота уходить в леса!»

Когда давно перевалило за вторую половину зимней ночи, на краю деревни остановились четверо саней, запряженных парами лошадей. Из них выскочили вражеские солдаты. На санях стояли пулеметы.

Пятеро гитлеровцев отделились от остальных и пошли в деревню. У хаты старосты они остановились, постучали в окно.

Ларион Бугай давно уже спокойно спал на теплой печке рядом со своим младшим сыном. Мальчик первый услышал стук и разбудил отца. Староста неторопливо сунул ноги в валенки, стоявшие на лежанке, накинул на плечи кожух и, не спрашивая, кто там, пошел открывать.

Это понравилось Визенеру, и он смело переступил порог. За ним вошли солдаты. Визенер поморщился от теплого, кисловатого запаха и подумал: «Свиньи. Не имеют спальни».

Староста зажег лампу. В хате было чисто убрано, все стояло на своем месте. Кровать была завешена пестрой занавеской. Это тоже понравилось Визенеру. Он сел у стола, зевнул и пальцем поманил старосту к себе. Достав лист бумаги, он ткнул в него пальцем.

— Нужно показать, где живут эти люди.

На бумаге было что-то написано по-немецки.

— Пойдешь вот с ним. — Визенер показал на одного из солдат. — Ефрейтор Курцер!

Ефрейтор вытянулся.

Через минуту они вышли. А еще через минуту обер-лейтенант кивком головы указал другому солдату на дверь. Тот вышел и, прячась, стал наблюдать за старостой и ефрейтором.

Ефрейтор остановился, достал бумагу, осветил ее карманным фонариком и отчетливо произнес:

— Кандыба Василий.

Староста вздрогнул.

«Учитель. Коммунист. На что он им? — подумал он. — Его же нет, он с первых дней на фронте. Хотят арестовать? Кого? Больного Ивана Маевского или его дочку, женку Кандыбы? А она неделю назад родила. Не показывать? А что сказать этому олуху? Да что они сделают им? Покажу...»

Он подвел ефрейтора к дому Ивана Маевского и указал пальцем. Ефрейтор куском мела нарисовал на простенке между окнами крест.

Потом снова достал бумагу.

— Лубян Евгений.

У старосты сильно забилося сердце.

«Хаты партизан», — догадался он и огляделся вокруг. Мелькнула мысль: наброситься на солдата, задуть, а самому в лес. Но вспомнил о тех, что остались у него в хате, о Генрихе Визенере: «Уничтожит семью... Спалит всю деревню... Зверь, а не человек... Что делать? А может, они просто хотят проверить хаты — не дома

ли партизаны? Но почему же они пошли не все, а послали одного и он отмечает хаты?»

Какие только мысли не промелькнули у Лариона. Он опустил голову, сгорбился и понуро поплелся дальше. За ним, опасливо оглядываясь по сторонам, шагала ефрейтор.

«Ну вот, был ты дурнем и сгинешь, как собака, — думал староста. — Предатель! Не был ты им, а теперь стал. Продаешь своих людей... Эх, дурень, дурень, и всю жизнь так».

Ларион Бугай всегда был человеком тихим, нелюдимым, богомольным и, кроме работы, никогда ничем не интересовался. До революции отец его и сам он были бедняками. После революции Ларион, получив землю, стал середняком и даже начал богатеть: хорошо отстроился, нажил тройку добрых лошадей, завел трех коров. Когда проходила коллективизация, он, под влиянием попа, решительно отказался вступить в колхоз. Его дважды обложили твердым налогом; он сам все отдал, но в колхоз не пошел.

А потом, когда он остался единственным единоличником во всем сельсовете, ему стало обидно и одиноко... Бугай смотрел на работу колхозников, на их жизнь и завидовал им. Но тогда уже никто не уговаривал его вступить в колхоз, а сам он не мог пойти и попроситься — стыдился, не хватало решимости. Его старший сын ушел в армию и остался там на сверхсрочную службу. В своих письмах он откровенно писал, что ему, комсомольцу, стыдно ехать к отцу-единоличнику, и просил вступить в колхоз. Впоследствии сын стал командиром, женился и пообещал приехать к отцу в отпуск. Ларион с нетерпением ждал его приезда, надеясь, что сын поможет ему вступить в колхоз.

Но началась война.

Пришли оккупанты, разогнали колхозы и предложили Бугаю стать старостой. Он согласился. Сначала ему показалось, что он оказался более правым, чем все, что верх взяла та жизнь, какой жил он один, а не та, которой жили все и в которой он не нашел своего места. Ему захотелось отомстить людям за свою многолетнюю обиду. «Буду я вам снова нарезать полоски», — думал он тогда со злой радостью.

Но, будучи человеком честным, правдивым, он очень скоро понял, что ошибся. Не хозяином он стал, а холоум у фашистов, которым он нужен в том случае, если будет продавать своих. А этого он не мог делать. Случайно встретившись с партизанами, он связался с ними и честно выполнял их задания. Женя Лубян, в первые дни грозивший повесить его на осине, потом стал заходить к нему, и Ларион полюбил этого смелого, веселого парня, как родного сына.

...Кольнула мысль.

«А вдруг он дома? Он часто навещается». — И Бугай произнес нарочито очень громко: — Хата Лубяна, господин ефрейтор.

Солдат нарисовал крест.

— Зайчук Алена.

«Которая? В деревне две Алены Зайчук. Старая многодетная вдова Алена, по прозвищу Здориха, и врач — Алена Григорьевна Зайчук. Врача нет с первых дней оккупации, говорили, что она эвакуировалась. Дома осталась только одна ее мать. У Здорихи четверо детей и два сына в армии. Какая же из них?.. Покажу дом докторши, — решил староста. — Что они сделают старухе?»

— Зайчук Иван.

«Председатель колхоза. О нем тоже говорят, что он у партизан. А дома больная жена и пятеро детей. Старшая из них — девушка лет восемнадцати, красавица, певунья, артистка...»

Еще перед войной Бугай как-то случайно зашел вечером в колхозный клуб и видел ее на сцене. Она исполняла роль украинской девушки-невесты. На артистке было подвенечное платье и венок. Ее появление встречали аплодисментами. Красота девушки поразила даже его, старого человека. Теперь он представил себе ее и Визенера, издевательства над ней, и ему стало холодно от одной мысли об этом.

«Не покажу!» — твердо решил он.

— Зайчук Иван, — еще раз отчетливо повторил ефрейтор.

У старосты внезапно возникла мысль.

— Тут, — снова показал он на дом Алены Зайчук.

— Was?

— Здесь. — Староста показал два пальца: — Два. Зайчук и Зайчук.

Ефрейтор кивнул головой и нарисовал рядом с первым еще один крест.

— Маевский Сергей.

«А этот на что им?» — удивился староста. Сергей Маевский — вечный пастух. Он сам в прошлом году хвалился, что у него пятьдесят лет пастушеского стажа. Жил он со своей единственной дочкой-калейкой, горбатой от рождения. Его хата стояла рядом с хатой старосты. И если говорить правду, это был единственный человек, кого Ларион Бугай мог бы назвать своим другом. Как соседи, они часто заходили друг к другу, подолгу разговаривали вечерами. И даже теперь, когда все в деревне отвернулось от Лариона Бугая, пастух по-прежнему дружески заходил к нему.

«Какое-то недоразумение», — решил староста, направляясь назад, к своей хате.

Генрих Визенер нетерпеливо поглядывал на часы и начинал нервничать. Староста слишком долго показывал хаты. Запели пестухи. Дальше ждать он не мог. Он встал и вышел с солдатами на улицу. Шпионивший за старостой и ефрейтором солдат подбежал и доложил, что те возвращаются. Внезапно у Визенера родился новый план. Он зло выругал себя за то, что не додумался до этого раньше и зря потерял столько времени.

«Несомненно так лучше. Будет свидетель... Пускай у него спрашивают потом». — И отдал распоряжение солдату-переводчику:

— Староста пойдет с нами.

Генрих Визенер сам настойчиво и требовательно постучал в окно хаты Ивана Маевского. Оттуда раздался женский голос:

— Кто там?

Офицер громко выругался по-немецки, хорошо зная из практики, что это лучший ответ на знакомый русский вопрос.

И действительно, в хате сразу зажгли керосиновую копилку, и почти одновременно загрел засов. Визенер грубо толкнул дверь ногой, но первым не вошел, а пропустил вперед троих солдат.

Староста вошел последним и остановился у двери. По хате испуганно металась старая Маевская. Иван Маевский поднялся и, спустив с печи свои длинные высохшие ноги, болезненно закашлялся. Откашлявшись, он нагнулся и посмотрел на старосту. Бугай не выдержал его укоряющего взгляда и опустил глаза: «Скорее бы кончался обыск...»

Вера лежала на кровати со своим маленьким. Она подняла голову с высоких белых подушек, спокойно, равнодушно посмотрела на солдат и снова легла, заботливо укрыв ребенка.

Визенер подошел к кровати и зло уставился на Веру. Она снова подняла голову, встретилась с его взглядом, и ей стало жутко. Закрыв лицо ладонью, она испуганно закричала:

— Мама!

Мать бросилась было к ней. Но в этот момент Визенер приказал:

— Kurt, beginn! ¹

Стоявший рядом с ним молодой солдат с красивым лицом мгновенно направил маленький пистолет на Веру. Раздался короткий, негромкий, будто шелк пастушьего кнута, выстрел.

— Ма-а... — Не кончила Вера последнего слова, того слова, которое было первым в ее жизни и которое она должна была еще только впервые услышать от своего сына.

Старуха мать, очевидно, не успела понять, что случилось. Солдат повернулся и выстрелил в нее. Она схватилась за грудь и начала медленно падать на бок... Но Иван Маевский понял все при первом же звуке выстрела, словно он предвидел все это. С раздирающим криком «Что вы делаете? Звери!» он спрыгнул с печи и вцепился своими худыми руками в стрелявшего солдата. Тот выстрелил ему в лицо и ударил ногой в живот. Высокий, худой, во всем белом, старик рухнул, ударившись затылком об пол. Голова его едва не коснулась ног старосты.

И только тогда все происшедшее дошло до сознания Лариона Бугая.

«Так вот что они делают! — как в кошмарном сне подумал он и попытался вспомнить имена тех, чьи хаты он показал. — Лубян... Зайчук... Кто же еще? Кто?»

Остальных он не мог вспомнить и беспомощно оглянулся вокруг. Его внимание привлек нож, обыкновенный столовый нож,

¹ Курт, начинай! (нем.)

лежавший на припечке. Он схватил его, перешагнул через труп старого Маевского, напряг всю свою могучую силу и, размахнувшись, всадил нож в шею стрелявшего солдата. Это произошло так неожиданно, что ошеломило остальных. Они застыли, словно в столбняке. Застыл и староста, продолжая держать в руке черенок ножа. И только когда убитый солдат рухнул на пол, Визенер дико закричал и отскочил к стене. Ларион двинулся к нему, но солдат сбоку ударил его дулом автомата по руке и выбил нож. Тогда и Визенер поднял табуретку и ударил ею по голове Бугая. Какое-то время Ларион стоял под градом этих ударов, а потом рванулся к одному из солдат и своим пудовым кулаком со всей силой ударил его в лицо. Солдат упал. Брызнула автоматная очередь. Ларион Бугай взмахнул руками и упал лицом на кровать, на грудь мертвой Веры. По нему продолжали стрелять, но он уже больше ничего не слышал. Не слышал он и того, как закричал ребенок и как Визенер выстрелил в маленькое, еще сморщенное красное личико.

XIV

Татьяна проснулась от какого-то страшного сна (потом она так и не могла вспомнить, что именно ей приснилось) и, как всегда, бросилась к люльке. Мальчик спал спокойно. Она поняла это по его знакомому ровному дыханию. Успокоившись, она села на кровать и задумалась. Ритмично тикал будильник. Храпела на печи Пелагея. В тон ей мурлыкал кот: «мур-р-р... мур-р-р...»

В хате было тепло и уютно, и страшно было подумать, что в эту морозную декабрьскую ночь люди лежат в поле, в лесу, зарывшись в колючий снег. Она вспомнила о боях на фронте, о партизанах. «Где теперь Женя? Где они ночуют?»

После последней встречи она все чаще и со все возрастающей тревогой думала о нем.

Ее мысли перебил скрип снега под ногами на улице. Она подышала на окно, и на замерзшем стекле образовался глазок. Татьяна увидела: к дому Лубянихи подходили люди.

«Партизаны, — подумала она. — И Женя, наверно, там». Ей стало радостно оттого, что он так близко. Но в этот момент до слуха долетели звуки злой немецкой речи, и она узнала голос Визенера — на всю жизнь она запомнила этот голос. Радость сменилась испугом, предчувствием несчастья.

Солдаты вошли в хату Лубянихи.

Татьяна почувствовала, как холодные мурашки пробежали по ее ногам и спине.

«Зачем они пошли туда в такое время? Что им нужно?»

Она оторвалась от окна и быстро подошла к кровати отца. Карп не спал. Он молча наблюдал за дочкой и поэтому первый спросил:

— Что там, дочка?

— Солдаты, тата. И он, комендант. К Лубяням пошли. Что им нужно?

Карп поднялся, стал одеваться.

Татьяна снова подошла к окну. В хате Лубянихи светил огонек. Карп вышел в сени. Татьяна догадалась: пошел за оставленным там револьвером. Карп вернулся и стал рядом с дочерью.

— Что они делают там, тата?

— Обыск, известное дело. Налет. — И, помолчав, добавил: — Хоть бы Жени дома не было.

— Его нет, — почему-то уверенно ответила Татьяна и спросила: — А вдруг к нам придут?

— Не придут. Что им делать у нас?

Карп успокаивал дочь, но сам не верил своим словам.

«Черт их знает чего они таскаются в такую пору. Хлопцам бы теперь дать знать. Они отучили бы их шататься», — подумал он, протирая теплой ладонью стекло.

Солдаты очень скоро вышли из дома Лубянихи и быстро пошли на край деревни.

У Татьяны еще тревожнее забилося сердце.

— Они сделали что-то недоброе, тата. Сходить бы туда...

— Ну что ты, ничего они не сделали. Хотели Женю схватить, да, видишь, пошли не солоно хлебавши. Донесла какая-нибудь сволочь, что он дома бывает.

— А я чего-то боюсь, и меня так и тянет туда.

— Нельзя. Они могли там засаду оставить. Это маневр, может быть...

Она отошла от окна и понемногу успокоилась. Но заснуть долго не могла и все думала о приходе фашистов к Лубяням, о Жене, о партизанах, о далекой родной армии и о жизни вообще. Ее снова потянуло в лес, к партизанам. Она уже не раз пробовала говорить об этом с отцом, но в последний раз он разозлился на нее:

— Хватит пести околесицу! Это боевой отряд, а не цыганский табор, чтобы им еще женщин и детей таскать за собой. Думаешь, легко там?

Татьяна знала, что нелегко. А все-таки она давно была бы там, если бы не Виктор. Но как пойдешь в лес с ребенком, зимой?

«Скорей бы весна, тогда легче будет...» — мечтала она.

Так Татьяна больше и не уснула в ту ночь. Она поднялась раньше всех, почистила картошку, затопила печь и потом до самого рассвета помогала Пелагее по хозяйству. На рассвете она собралась и пошла в пуно за сеном, не ожидая, пока это сделает отец. Пуня находилась за садом, почти у самого леса. Это была маленькая покосившаяся постройка с прогнившими стенами и дырявой крышей.

Татьяна широко открыла ворота, чтобы больше было света, и начала набивать корзину сеном.

И вдруг кто-то тихо позвал ее сверху:

— Таня!

Она вздрогнула, выпрямилась, боясь поднять голову.

— Таня! — окликнули ее громче, и наверху зашуршало сено.

Она переборола страх и посмотрела вверх. Над ее головой, на сене, стоял Женя Лубян. Она разозлилась: второй раз он пугает ее.

«Дурень такой! Все шуточки ему».

— Что ты топчешь сено? Слезай! — крикнула она, даже не поздоровавшись.

Женя спрыгнул к ней. Она посмотрела на него и сразу умолкла. Может быть, первый раз в жизни она не увидела в его глазах знакомых веселых искорок смеха.

— Что у нас, Таня?

Она вспомнила о ночном посещении солдат и почувствовала, как у нее похолодели руки, сжимавшие ключья сена.

— У вас под утро были немцы.

— И что? — Женя нетерпеливо схватил ее за руку.

— Не знаю... должно быть, обыск делали...

— Обыск... Эх! — вздохнул он. — Пойдем!

— Евгений! Никуда ты не пойдешь! — откликнулся кто-то из сена по-русски с волжским выговором. Сверху спустился и стал рядом с ними пожилой уже человек с густой бородой, в немецкой шинели. На шее у него висел автомат. — Не пойдешь... Там, может, засада. Пускай сначала соседка сходит. Хозяйки по утрам часто заходят друг к другу. Иди, девушка, разведай, что там у него дома, — обратился он к Татьяне. — Да смотри хорошенько и скорей возвращайся.

Татьяна, забыв о сене, побежала из сарая. Она пробежала свой двор, пересекла улицу, но во дворе Лубянихи в нерешительности остановилась, ее смутила тишина в хате — такой тишины не бывает по утрам в крестьянских хатах. И печка не топится... «Что же это такое? — с нарастающим беспокойством думала она, боясь подняться на крыльцо. — Где хозяева? Может, домой пойти, отца позвать? Но они же просили скорей... Скорей!»

Она подавила свое волнение, вошла на крыльцо и снова остановилась: двери из сеней в хату были распахнуты.

«Значит, забрали всех. Увели. Но когда? Они так быстро вышли и никого не вели...»

Татьяна вошла в сени и заглянула в хату. Крик ужаса вырвался из ее груди.

Посреди комнаты, раскинув руки, лежала Ганна Лубян, мать Евгения. Лицо ее было в крови. А немного подальше, возле печи, упершись грудью в уклончик, стояла на коленях, будто молилась, старая бабка. На ее белой рубахе, на спине между лопатками, чернело маленькое пятно.

Больше Татьяна ничего не увидела. Почти в беспамятстве она выбралась на крыльцо и, ухватившись руками за столб, остановилась, жадно глотая морозный воздух. Очнувшись, она бросилась бежать.

Татьяна бежала прямо по снегу, спотыкаясь, не замечая дорожки. Сердце ее так билось, что казалось, вот-вот выскочит из груди.

Партизаны заметили ее и бросились навстречу. Женя на бегу схватил ее за руки.

— Что, Таня?

Она судорожно глотала воздух и не могла выговорить ни слова.

— Говори! — крикнул он. — Что?

Таня заплакала. Женя оттолкнул ее и побежал в деревню.

Товарищ Жени Лубяна спросил:

— Их там нет?

— Нет, — наконец ответила она.

Старик партизан побежал за Женей.

Когда Татьяна, шатаясь, снова вошла в хату Лубянихи, там уже были Карп, Люба и старый дед, сосед. Мужчины стояли у дверей молча, с обнаженными головами. Женя стоял на коленях возле матери. Приподняв ее голову, он осторожно вытирал ладонью кровь со лба и шептал:

— Мама! Мамочка... Что ж это они сделали с тобой? Родная моя... У-у, каты! — Он заскрежетал зубами и застонал, а потом поднял голову и горящими глазами посмотрел на присутствующих: — Дядя Карп! Дед Наум, Таня! Что они сделали, а? За что? Мама, бабуля... — Он вдруг вскочил, оглянулся вокруг. — А Сережа? А Лена где? Где они? — и быстро пошел в горницу.

И сразу же оттуда раздался его стон, тяжелый, обжигающий сердце.

В горнице на кровати, откинув головку и свесив ручонку, лежал Сережа.

Женя наклонился и молча поцеловал брата, а потом долго смотрел на его бледное личико с открытыми глазами, в которых застыли удивление и ужас.

В хату входили соседи. Плакали женщины, дети. Сурово молчали мужчины.

Татьяна стояла, прислонившись к стене, и долго ничего не слышала, не видела.

Карп Маевский и бородатый партизан перенесли трупы Ганны и бабки в горницу, положили на лавки.

Женя снова увидел мать и вышел из тяжелого оцепенения, которое овладело им на несколько минут.

— А Ленка где? Лена?

Бородатый партизан заметил кровь на полу: частые капли крови вели от кровати к дверям. Он бросился на кухню и заглянул под печь. Лена лежала там без сознания, но живая. По-видимому, убийцы торопились: пуля легко ранила ее в левое плечо.

Женя подхватил ее на руки, начал целовать.

— Она живая, живая... Перевяжите ее!

Люба сбросила свой полусубок, завернула в него девочку и унесла ее к себе.

А Женя так и остался стоять посреди кухни в расстегнутом полусубке, без шапки.

Татьяна вдруг заметила, что у него белые виски,

«Поседел», — вздрогнула она и, быстро подойдя к нему, коснулась плеча.

— Женя.

Он снял руку с гранаты, посмотрел на девушку.

— Я виноват... Я, понимаешь? Сколько раз Павел Степанович говорил мне, чтобы я не ходил в свою деревню! А я... не послушал его. Что ж я наделал? Мама! Братишка мой! Сережа! Дорогие мои! — Он закрыл лицо руками и, шатаясь, снова пошел в горницу.

В этот момент кто-то принес в хату еще одну страшную весть: в деревне уничтожены еще две семьи — Ивана Маевского, старосты Лариона Бугая — и убита старуха Зайчук.

Женя услышал это и выпрямился. Он посмотрел на людей, которых набралось уже полная хата, увидел, как плачет старая женщина, а рядом с ней — девочка лет десяти, и поднял руку, сжал кулак.

— Не плачьте! Слышите! Не нужно плакать. Бить их нужно! Бить этих проклятых извергов! Жилы рвать! Огнем палить, чтобы и духу их не было на нашей земле. За каждого нашего человека — сотню фашистов! — Он повернулся к убитым и понизил голос: — Клянусь тебе, мама, клянусь тебе, брат, и тебе, бабуля... Клянусь вам...

Больше он не мог говорить, прорвались тяжелые, мучительные рыдания, и он закрыл лицо руками. К нему подошел старик партизан.

Гитлеровцы рассчитывали, что ночные убийства оглушат крестьян, что они превратятся в покорных овец, поняв, какая судьба ждет каждого, кто свяжется с партизанами, кто попытается посягнуть на «новый порядок». И правда, и восьмилетний ребенок, и старенькая бабка поняли, какая страшная опасность и день и ночь висит над каждым человеком, ибо у кого из них не было сына или брата в Красной Армии? У кого зять не был учителем, советским работником, активистом, бригадиром, врачом? Кто не болел душой за свою родную Советскую власть? Не было таких людей! Не было, если не считать пьяницы и злодея Митьки Зайца. Раньше, до этого убийства, люди могли бы еще назвать старосту Лариона Бугая. Но, видно, все ошибались в нем. Видно, не таким человеком был Бугай, если гитлеровцы приравнивали его к Лубяну.

Враг добился одного: он дал почувствовать, что гитлеровский «новый порядок» — это полное бесправие, ничем не ограниченная власть убийц и бандитов. Правда, об этом знали и раньше, но кто мог подумать, что эти захватчики считают преступниками недельных младенцев и будут убивать их на глазах у матерей?

Теперь все это увидели своими глазами. Целый день в хату Ивана Маевского приходили крестьяне из Ореховки, Залесья, Копыловичей — из всех окрестных деревень. Они смотрели на маленький труп с раздробленным личиком. Голосили бабы. Плакали дети.

Мужчины до крови кусали губы и шапками смахивали слезы. А выйдя на улицу, ругались сквозь стиснутые зубы страшными словами, чтобы облегчить душу.

Враг рассчитывал: ночные убийства так запугают людей, что они отшатнутся от партизан, будут считать их виновниками гибели женщин, стариков, детей и впредь будут бояться даже произносить слово «партизаны», что партизанские отряды перестанут получать помощь людьми, продуктами и это все обессилит их.

Но кофферы и визенеры плохо знали людей, о которых имели представление только по лубочным картинкам, висевшим в кабинетах их отцов.

Страшно было видеть уничтоженные семьи, страшно было думать, что их судьба может в любую ночь постичь и тебя. Но очень немногие вели себя так, как хотелось того фашистам, — затаплились, боясь даже на улицу выйти. Большинство, стиснув зубы, повторяло слова Жени Лубяна:

— Бить их! Бить!

На похороны собрались сотни людей. Многие пришли из соседних деревень.

Гитлеровцы не показывались. Даже полицаи с утра куда-то исчезли.

В последнюю минуту на похороны пришел вооруженный отряд партизан во главе с секретарем райкома Лесницким. Кроме секретаря, все остальные партизаны были незнакомые люди разного возраста, по-разному одетые. Они пришли строем прямо на кладбище.

Люди с уважением расступились перед партизанами, пропуская их к братской могиле, возле которой стояли тринадцать свежеструганных гробов разной величины.

Партизаны стояли, сняв шапки. Когда гробы начали опускать в могилу, они поднимали винтовки и автоматы, и три залпа разорвали тишину морозного дня, грозно прокатились над деревней и, ударившись о стену окружавшего деревню леса, коротким эхом снова откатились в сторону Днепра.

Лесницкий нагнулся и поднял горсть земли. В торжественной тишине словно по команде зазвучали слова партизанской клятвы:

— «...За сожженные города и села, за смерть наших людей, за пытки, за насилия и издевательства над моим народом я клянусь мстить врагу жестоко, безжалостно и неустанно.

Кровь за кровь, смерть за смерть!»

Люди слушали эту святую клятву над могилой безвинно погибших, и сердца их наполнялись великой надеждой и уверенностью.

XV

— Люба ушла с партизанами, — сообщила после похорон соседка Маевских.

Пелагея испугалась.

— Ну вот, дождались! Отблагодарила нас за нашу доброту. Жди теперь расправы дни и ночи! — зло кричала она и стала собираться к сестре.

Татьяна с презрением смотрела на суетню мачехи. Весть о том, что Люба ушла к партизанам, взволновала и обрадовала ее.

«Вы хотели, гады, напугать народ? Так вот вам! Сегодня она. А завтра я пойду... Все пойдем...»

Карп Маевский больше всех хлопотал на похоронах, устал и физически, и душевно, да еще и простудился. Он чувствовал себя совсем больным. Неожиданное исчезновение Любы (она никому ничего не сказала) и связанный с этим уход жены вконец расстроили его.

— Куда ты пойдешь, Поля? — ласково уговаривал он жену. — Может, она и вернется еще... Да что тебе до нее? Она — сама себе хозяйка. У нее мать убили...

Пелагея и слушать не хотела его.

— Останься. Вместе будем ждать. От смерти не спрячешься.

Пелагея повернулась, подбоченилась.

— Иди пощи дурней, как ты сам... А я помирать не хочу из-за твоей шальной племянницы.

Татьяне было обидно за отца, унижавшегося перед этой глупой бабой. Долго она молча выносила ее ругань, придирки, но это-го вынести не могла.

— Что вы ее уговариваете, тата? Что у нее с нами общего? Ей давно не место в этом доме. — Татьяна повернулась к Пелагее: — Вон! Чтоб и ноги твоей тут больше не было!

Пелагея, привыкшая к молчаливой покорности падчерицы, вадрогнула от неожиданности, побледнела и несколько минут молча смотрела на нее.

— Вон!

— Не надо, Таня, — попросил Карп. — Что это вы вдруг сцепились?

— Не мешайте, тата! Довольно уже терпеть...

— Ах, так! — только и смогла прошептать задыхавшаяся от ярости Пелагея. Она долго собирала свои вещи, не произнося больше ни слова.

Карп тоже молчал и, стоя у окна, нервно теребил край занавески.

Только уходя, Пелагея бросила угрожающе:

— Ты вспомнишь еще меня, сопливая учителька!

Карп сделал движение, чтобы пойти за ней, но Татьяна решительно остановила его:

— Стыдно, тата!

Отец послушно сел, удрученно покачал головой.

— Эх, Таня, Таня! Зачем все это? Горячая ты! Пелагея со зла может чего хочешь наговорить. Не подумала ты об этом. А теперь придется идти мириться.

Татьяна почувствовала горькую правду его слов, но ничего не ответила.

А под вечер вернулась Люба. Она вошла как ни в чем не бывало и сказала, что ходила со своими школьными подругами в Залесье. Но по ее возбужденному виду, по ее глазам, в которых светилась радость и еще какие-то незнакомые огоньки, Татьяна поняла, что в жизни сестры случилось что-то важное, большое — такое, в чем она едва ли признается даже ей. Поэтому она и не стала расспрашивать Любу: придет время, сама расскажет. И только сказала:

— А Пелагея думала, ты к партизанам ушла, перепугалась до смерти и убежала.

— Куда убежала?

— К сестре.

Татьяна прочла на лице Любы такую радость, что тут же знаками дала ей понять, чтобы она не высказывала своих чувств вслух: Татьяне было жаль отца. Она знала, что за всю свою жизнь отец никого не обидел намеренно, тем более было ему обидеть близкого человека. С Пелагеей он ладил. Говорили, что они никогда не ругались между собой. Она пришла тогда, когда родные дети Карпа разлетелись из отцовского гнезда в разные стороны и старик остался один. Так имела ли право Татьяна, нашедшая приют в отцовском доме в час беды, выгонять эту женщину? «Нет, имею право, — уверенно ответила сама себе Татьяна. — Только вот сделала я это неумно и, пожалуй, в неподходящее время. И отцу больно...» Она знала: он пойдет просить Пелагею вернуться. Он сделает это не для себя, а для того, чтобы не нанести вреда общему делу.

Татьяне было стыдно перед отцом. Но взяло верх чувство удовлетворения оттого, что теперь она была наконец среди своих, среди людей с одинаковыми мыслями, взглядами, жизненными стремлениями, что теперь они могли, не таясь, разговаривать, советоваться обо всем, что их волновало. Да и отец, по-видимому, быстро успокоился и думал уже о другом: приближалась ночь — первая после страшного убийства. Неизвестно, что могло случиться в эту ночь, — теперь всего можно было ждать, ко всему готовиться.

У старика так разболелась спина, что ему трудно было подняться, оторваться от теплой печки. Но Карп переборол свою слабость и сел.

— Так что же будем делать, дети? — спросил он у девушек, тихо готовивших ужин и перешептывающихся между собой. — Не ждать же нам, когда и нас прикончат.

— А я думаю, дядя, — откликнулась Люба, — пока что они никого трогать не будут. Подождут. Они хотели напугать народ, чтобы не шли в партизаны. Теперь они подождут. Они сделали это не только у нас...

— Да ты-то откуда знаешь все? — удивленно спросил Карп.

А Татьяна взглянула на сестру и окончательно убедилась, что та была не в Залесье.

— Люди в Залесье рассказывали.

— Люди. Люди теперь много чего наговорят. А кто знает, что думает зверь, куда он отправится в следующую ночь? — И старик тяжело вздохнул. — Эх, с Павлом Степановичем не успел погуторить. И идти не могу. Совсем разболелся. А надо посоветоваться...

Их разговор был прерван появлением жены председателя колхоза Марьи Зайчук с младшим сыном. У женщины и шестилетнего мальчика были красные от слез глаза. Мальчик прижимался к матери и испуганно шептал:

— Боюсь, мамочка. Мне страшно...

Женщина, войдя в хату, растерялась и не знала, о чем говорить.

— Вы уже и с печкой управились? — обратилась она к Любе. — Хорошо вам всем вместе. Вот и печь вытопили, и ужин готов у вас... А я одна. Одна, а их пятеро... Настя ушла... — Она не сказала, куда ушла ее старшая дочь. — Одна... и ничего не делала еще, руки опустились.

Марья заплакала, а за ней заплакал и мальчик.

Татьяна обняла ее за плечи, подвела к кушетке и усадила.

— Успокойтесь, тетка Марья. Люба, дай воды.

— Не надо, Танечка.

Женщина подняла голову, увидела на печи Карпа и обратилась к нему:

— Что ж это такое, дядя Карп? Что же это они делают? А-а? Как жить теперь людям? Это ж они сегодня и за нами придут, сыночек мой... А батька-то ваш... — Она снова заплакала и продолжала сквозь слезы: — А батька-то ваш наказывал мне беречь вас, ягодки вы мои! А как же я уберегу вас от этих людоедов? Родные вы мои! Куда же нам спрятаться от них? Дядя Карп, родненький мой, посоветуйте вы нам!..

Тяжело было смотреть на эту перепуганную, растерявшуюся мать пятерых детей.

«А что, если все так перепугались?» — подумала Татьяна и почему-то рассердилась на эту женщину за ее слабость.

Наверно, и отец почувствовал то же самое, потому что сердито сказал:

— Перестань, Марья! Слезами не поможешь. А бояться нечего. Сегодня они не появятся, а там поживем — увидим.

— Ой, нет, дядечка, снова придут. Говорят, что каждую ночь будут по столько убивать, аж кудакого никого не останется, — ответила Марья, перестав плакать и вытерев рукавом слезы.

— Не болтай глупостей! Детей не пугай! Так и дадим мы себя уничтожить! Не бойся.

— Да я сама не боюсь. Вот за них дрожу. Мне все одно умирать, а они должны отца дожидаться. Иван, как уходил, говорил: «Береги их, Марья...» Вот я и прошу: люди добрые, помогите мне спрятать моих пленчиков. — Она встала, подошла к печи и зашеп-

тала: — Всех уже рассовала по людям, один вот остался, самый маленький. Дядя Карп? — Она впилась в него глазами.

Карп молчал. Девушки смотрели на него, ждали, что он скажет.

Мальчонка тоже, затаив дыхание, посматривал то на мать, то на Карпа.

— Одна останусь в хате... Пускай уж меня одну... Авось люди добрые не оставят их, и дождутся они своего татку...

Карп задумчиво почесал затылок.

— Видишь ли, Марья... Как тебе сказать? Ты знаешь, мы тоже не из надежных. Я боюсь, что до нас они могут добраться в первую очередь.

— Дядя Карп! Не ищу я надежных, да и не пошла бы к таким. Я к своим людям пришла. Пусть не видят мои глаза смерть детей! — Голос ее зазвучал по-новому — твердо, уверенно.

В разговор вмешалась Люба:

— Напрасно вы, тетка Марья, пугаете детей. Но если уж так — пускай остается... Места хватит. Иди сюда, Игорь. Да нос утри и не плачь! — сурово приказала она мальчику.

Он послушно утер рукавом нос, потом глаза и, оторвавшись от полушубка матери, за который все время держался, подошел к Любе.

Марья закрыла глаза рукой и несколько минут стояла неподвижно, сдерживая слезы. Ей стало жутко оттого, что она осталась теперь совершенно одна и одна должна пойти в свою опустевшую хату и там ждать... Чего? Мысль о том, что она, может быть, в последний раз видит своего ребенка, так испугала ее, что она едва не бросилась к мальчику, чтобы забрать его обратно и с ним переждать эту долгую зимнюю ночь. У нее было легче на душе, когда она выходила из домов, где оставались старшие дети. Но как выйти из этой хаты, где остается ее маленький Игорь?

— Ну, вот и хорошо. Ужинать будем, Игорь, — услышала она голос Любы и, поблуднев, отняла руку от глаз.

— Успокойся, Марья, — тихо и ласково сказал Карп, слезая с печки. — Ничего не случится.

Марья схватила его руку.

— Спасибо вам, дядечка, за ласку, за доброе слово. Простите меня... Доброй ночи вам. — И быстро вышла.

Карп тяжело опустился на табуретку у стола и стиснул руками голову.

— До чего дожили, дети, а-а? — казалось, не сказал, а просто-напел он. — Мать боится оставить детей в родной хате... До чего дожили...

Ему никто не ответил. Он встал, подошел к кровати, на которой забавлялся игрушками, маленький Виктор, посмотрел на него и сказал:

— Ну ничего, внушек... Мы переживем это... Переживем...

...Татьяна теперь не думала о том, чтобы продолжать занятия

в школе. Да если бы она и решилась, никто не пустил бы в школу своего ребенка.

Деревня притаилась, затихла, как в первые дни оккупации.

Неизвестно, кто это придумал, но на следующую ночь в концах улиц — у всех въездов в деревню — засели часовые, по два-три человека. А еще через день пришел слух: каждую ночь на опушке леса стоят партизаны и охраняют деревню. Пусть только теперь сунутся гитлеровцы, в деревне сразу же появятся партизаны.

Конечно, не все поверили этим слухам. В доме Маевских, например, махнули рукой:

— Глулости. Сейчас таких деревень много...

Но людям стало легче дышать. Даже Марья Зайчук перестала отдавать на ночь своих детей в чужие хаты.

А караулить деревню ходили все по очереди. Дежурили целую ночь и Татьяна с Любой, плохо представляя себе, что бы они делали, если бы немцы в самом деле появились.

XVI

Падал густой, мокрый мартовский снег — последний снег зимы. В снежной мгле ночь наступила раньше и окутала все вокруг плотной завесой темноты. С середины улицы нельзя было различить домов, только мерцали тусклые огоньки в окнах.

Человек шел посреди улицы, быстро, пугливо оглядываясь, пряча лицо в воротник пальто. В конце деревни он повернул к хатам и остановился перед одной из них — маленькой, покосившейся, с окнами, заложенными соломенными матами.

Человек оглянулся еще раз и быстро протиснулся во двор через полузакрытые ворота. Окно со двора не было завешено, он осторожно подкрался к нему и заглянул в хату.

У стола, освещенного небольшой керосиновой лампой, сидела Пелагея. Она что-то пила.

Человек тихо постучал.

Пелагея вздрогнула, уменьшила огонь в лампе и подошла к окну.

— Кто там?

— Я. Открой.

— Кто ты?

— Открой, кума. Не узнаешь, что ли?

Она прильнула лицом к оконному стеклу, узнала Матвея Кулеша и удивленно спросила:

— Чего тебе?

— Ну, открывай... Боишься, что ли?

Она открыла. Кулеш зашел в хату следом за ней, у порога стряхнул с шапки и воротника мокрый снег.

— Волком ты живешь, кума. Живых людей бояться стала. Удивляешься такому гостю? Эх, кума, кума! — Он подошел, по-

хлопал ее по крутому плечу, как хозяин хорошего коня, и подмигнул: — Старую дружбу забываешь?

Она поняла его намек, покраснела и уже приветливо пригласила раздеться и присесть. Сама же взяла теплое одеяло, завесила им окно во двор и подкрутила фитиль в лампе.

Кулеш разделся, подсел к столу. Это был высокий человек лет тридцати пяти, с широким лицом и бесцветными, водянистыми глазами. Он всегда как-то заискивающе улыбался и разговаривал тихим голосом, который совсем не вязался с его здоровой крепкой фигурой.

До войны семья Кулеша была в колхозе, но сам он большую часть времени разъезжал — искал легкого хлеба. Работал швейцаром в ресторане, носильщиком на вокзале и еще где-то, жил все время тихо, незаметно и в деревне считался хорошим человеком.

Лет пять назад он такими же вот темными вечерами навещал иногда ласковую вдову Пелагею. Вот почему Пелагея встретила его как старого друга. Ей было скучно и обидно жить одной в своей покосившейся хате, и приход старого приятеля обрадовал ее. Кулеш заметил это и, усмехнувшись, сказал:

— Я тоже, Поля, заскучал один. Тошнота страшная. С женой, ты знаешь, как я живу — как собака с кошкой: нет той минуты, чтобы не полаялись. На улицу вечером выйти — и то страшно: идешь будто по вымершей деревне.

— Напугались люди, — сказала Пелагея, поправляя подушки и разглаживая одеяло.

— Напугались. Да напрасно, я думаю, остальные боятся. Не будут они трогать простых людей. Не пошли же они ко мне, например, хоть я и на железной дороге служил. Что им до меня? Я работал для своей пользы, для того, чтобы жизнь свою устроить. Я человек простой. Мне все одно, какая власть, главное дело — был бы у меня кусок хлеба. Да и к другим таким не пошли. Небось знали, кого выбирать. Этот сопляк Лубян с гранатами по деревням шляется, машины немецкие на шоссе подрывает. А Кандыба, говорят, командиром у них, у партизан... А власть, она, брат, есть власть, беспорядков не любит. Но что это мы принялись о политике рассуждать, как на сходке какой? Не нашего разума это дело, кума. Мы люди темные, нам бы только деньги да водка. Так, что ли? — Он заискивающе засмеялся и, подойдя к своему пальто, висевшему на крючке у дверей, вытащил из кармана бутылку самогону. — Вот это для нас.

Пелагея вскочила, забежала по хате.

— А я сижу, как дура. Потчевать же надо дорогого гостя. Прости меня, Матвей Денисович...

На столе появилась закуска.

— Садись ближе, Поля, — попросил Кулеш.

Она села рядом с ним. Он налил. Чокнулись, выпили. Кулеш понюхал корку хлеба.

— Хороша самогоночка? Правда? Своя. Сам гоню.

Он закусил хлебом и салом, обнял правой рукой Пелагею за плечи, притянул к себе ее здоровое, разгоряченное тело, поцеловал в щеку.

— Эх, Поля! Выгнал тебя старый Мосол (это была кличка Карпа Маевского). Но ты не горюй.

Пелагея отодвинулась. Лицо ее густо покраснело.

— Да кто это тебе сказал, что он меня выгнал?

— Люди.

— Люди... Ты у меня спроси, коли пришел ко мне. Сама я его бросила. Карп — человек как человек, жить можно. Он уже приходил просить, чтоб я вернулась. Да дочка у него больно умная, учителька эта. Такая заноза. Подцепила где-то еврейчика и нянчится с ним, за сына выдает.

— Что ты говоришь? — удивился Кулеш. — Значит, она замужем не была?

— Да черт ее знает. Может, она десять раз замужем была. Но дитя это не ейное. Хотела она мне голову задурить, да я не из таких: с первого дня разгадала, в чем дело. Она: «Сыночек, сыночек» — и так и сяк, а у самой молока-то нет и не было. И запеленать ребенка не умела и чем кормить не знала, а дитя имя свое долго не понимало — не то имя. Да и слепому видно, что это еврейское дитя. Только дурной батька не догадывается и все еще верит ей.

Кулеш довольно засмеялся и, подвинувшись ближе к Пелагее, снова обнял ее.

— Умная ты, Поля. Тебя вокруг пальца не обведешь.

— А ты хотел обвести? Мало каши съел!

— Что ты! Чего нам дурачить друг друга? Мы с тобой по-свойски, по-семейному, как говорят. Правда ведь? — Он налил еще. — Слушай... к слову пришлось... Болтают в деревне, что к Мослу заходят партизаны. Правда это?

— Сам же говоришь, что болтают. Значит, болтовня и есть, — ответила Пелагея, насторожившись. — Никаких партизан я не видела, да и не было их. Думаешь, Карп такой дурак, чтобы связываться с каким-нибудь Лубяном? Он поумней тебя: припомни, когда и кто обдурил его? А никогда. То-то и оно. А вот у племянницы его, Христиныной дочки, так партизаны с языка не сходят: все грозится к ним уйти. Из-за этого я и сбежала от них. Кто-то сказал, что с похорон она к партизанам ушла. Ну, я и струхнула. Думаю: чего это я буду из-за какого-то лысого черта свою голову подставлять?

Кулеш слушал ее очень внимательно и понимающе кивал головой.

— А она никуда не ушла, только балабонит да людей с толку сбивает.

— Жалко тебе Мосла? Скучаешь? — с иронией спросил Кулеш.

Пелагея засмеялась.

— Было бы по чему скучать! Только и название, что муж...

— Ох и баба! — с восхищением воскликнул Кулеш и погасил лампу...

Он вышел от нее в полночь, когда только в бывшей школе, у полицаев, светил огонек — он никогда у них не гас. Снег перестал идти. С запада дул влажный ветер и приносил с собой характерный запах близящейся весны.

Кулеш на этот раз не оглядывался и шел не так быстро. Ему не хотелось возвращаться домой, где, он знал, жена встретит его руганью. Ей очень не по душе были эти ночные отлучки, исчезновения на два-три дня и особенно то, что он приносил домой деньги и вещи, не умея объяснить, откуда все это берется. Совсем недавно он «искренне признался», что связан с партизанами, жена немного успокоилась, но потребовала, чтобы он рассказывал, где был, где что взял.

«Дура! — со злобой вспомнил он последний разговор с женой. — Отродье Маевских! Погоди, мое возьмет, я с тобой рассчитаюсь! Я покажу тебе партизан!..»

Но, пройдя несколько шагов, он с тревогой подумал:

«А возьмет ли? Черт их знает! Хвалились, кричали, что Москву возьмут, а им, рассказывают, морду под Москвой набили... Однако разумный ты человек, Матвей Денисович, — спустя минуту решил он, довольно потирая руки. — Голова! Правильную дорожку выбрал. Кто проиграет, кто выиграет — черт с ними!.. А ты всегда в выигрыше будешь... Тонко... Хе-хе... — Он посмотрел на школу: — Вас, голубчики-зайцы, как вернутся советские, — на первую осину... А Матвей Денисович в самую последнюю минуту может туда, в лесочек, податься — исполнить желание жены, — и его примут. А теперь? Кто вы даже и теперь? Пешки, чурбаны, холуи. А я? Я управляю вами. Одно мое слово — и вас не будет тут. Меня сам господин комендант приглашает присесть, шоколадками и сигаретками угощает, каждого совета слушается. Ну а что вы делаете, зайцы? Самогонку пьете и за свою шкуру дрожите. А кто партизан выследил? Я... все я... Вот, к примеру, сегодня... Пустяковое дело, конечно... Но вы полгода торчите тут и не видите, что у вас под носом жиды растут. Хе-хе... За твою ласку, Полечка, я окажу тебе услугу. Денька через два-три учительшу эту с ее приемным за ножки повесят. Вот так... Кхе...»

Страшный человек шел ночью по деревенской улице, страшнее тех, что сидели в школе, и даже тех, которые были в комендатуре. То — открытые предатели, открытые враги, а это свой односельчанин, Матвей Кулеш, которого все считают тихим, хорошим. И никто не знает, что человек этот всю жизнь думал только о себе, о своей шкуре и за право существовать готов продать родного отца. Когда его односельчане, товарищи, родной брат умирали за Родину, он трое суток пролежал в Черниговских болотах и дождался немцев. Он сам пошел к ним, предложил свои услуги, поставив только одно условие — работать он будет тайно. Они охотно со-

гласились и целый месяц обучали его в специальной школе. И вот он работает, служит...

XVII

В печке ярко горели дубовые дрова. Красно-синее пламя гудело, облизывая толстые поленья. Свет от печки падал на пол конусом, освещал противоположную стену. По стенам прыгали причудливые тени.

Перед печкой, на полу, расположились трое полицаев. Двое сидели друг против друга, поджав под себя ноги, третий лежал на животе, раскинув руки.

Спертый воздух комнаты был наполнен парами спирта, запахом грязного человеческого тела, прелых портянок и гнилого дерева.

Митька Заяц сидел в одной нижней рубашке. Его собутыльник, полицай Храпкевич, был в кожаной куртке и непрерывно икал. Между ними лежала черная классная доска, и на ней стояли три бутылки самогону, в беспорядке валялись хлеб, сало, луковицы, немецкие сигареты, обрывки бумаги.

От света печки лица полицаев казались неестественно красными, черты расплывались, и они были странно похожи друг на друга, как двое близнецов.

— Оттащи ты эту свинью. Воняет, — сказал Митька Заяц товарищу.

Храпкевич посмотрел на лежащего, брезгливо поморщился и ответил:

— Да ну его к черту! Напился — пускай подыхает, — но, подумав, повернулся и, упершись ногами лежащему в бок, откатил его от себя, а потом взял кожаную куртку и накрыл им следы рвоты.

Заяц засмеялся.

— Вытри все его кожаной курткой, пусть завтра чистит, свинья этакая. Не умеет пить... А пить нужно уметь. Пускай у меня поучится, сопляк. Я ведро выпиваю. Во-о-о! — Он взял бутылку и, откупорив ее, направил горлышко в свой широко открытый рот.

Забулькала жидкость. Судорожно задергался острый кадык.

— У-у, был какой! Налей и мне.

Заяц протянул ему бутылку. Храпкевич налил себе в консервную банку, поднял ее и горько усмехнулся:

— Жри, Степан, все одно сдохнешь. Это мой покойник батяка всегда так говорил. И подох на Соловках.

— Ну, мы на Соловки не попадем!

— Нас тут повесят, как собак. Как старосту Липского — на колодезном журавле.

— Пошел ты... гад!.. — закричал Заяц. — Пока меня, так я раньше их...

— Фьють! — свистнул Храпкевич. — Руки коротки!

— Не коротки.

— Коротки, дружок. Всех их не перевешаешь. Слышишь? Поймай их в лесу! А они все в лес уйдут. Эх, ты! Не понимаешь ты этого и ничего не видишь за бутылками. А я вот понял после случая с Бугаем... Если и Бугай был за них, так кто ж тогда не за них? Кто? Скажи мне!..

— Покончат с теми, замолчат эти, душа из них вон! Замолчат. Новая власть наведет порядок. А пока что пей, гуляй, Митька! Слышишь ты, икалка?

Заяц схватил новую бутылку, но Храпкевич протянул руку и придержал ее.

— Наведут порядок... На-ве-е-ду-ут,— протянул он.— Ценой наших голов. Вот затолкали нас в эту щель — и жди, как вол обуха. Жди, когда Лесницкий перережет нам глотки. Что мы? Горстка! А ты — «пере-ве-шают»! Дурень! Перевешай их! Эх!..

— Замолчи ты, баба! — крикнул Заяц и ударил кулаком по доске.

— Не могу я молчать! Ты боишься смерти, и я боюсь. Я жить хочу, жить. Слышишь ты? Я одиннадцать лет ждал этого часа. Я хозяином хочу быть! А теперь я кто? Холуй. Фрицы мной от партизан загородились. А я жить хочу!

— Так иди ты к черту, на все четыре стороны! Кто тебя держит? И не растравляй мою душу! Я гулять хочу! Пить! Я хочу так пожить, чтобы искры посыпались, чтоб на том свете не гнить. Наплевать мне на все! Дай бутылку! — Заяц выхватил бутылку и, откупорив ее, снова начал пить.

Храпкевич замолчал и внимательно посмотрел на него. Когда Заяц кончил пить, он, уже спокойно, сказал:

— Я, может, и ушел бы, если б не Лесницкий. Понял? Одиннадцать лет я охотился за ним. Два раза стрелял. И вот снова он. Опять не дает мне жить. Опять я боюсь его. А ты говоришь — наша взяла. Моя возьмет тогда, когда я увижу его на осине. Посмотрел бы и ушел. Хозяйством бы обзавелся. Жил бы, как папаян мой. Только не дожидаться мне этого, нет, не дожидаться. Задавят они меня...

— Дождешься,— буркнул Заяц, разрывая зубами большой кусок мясного сала.

— Не-е,— протянул Храпкевич и наклонился к Заяцу: — Слушай... Третью уже ночь, когда стою часовым, белого котика вижу: подбежит и мяукает возле ног. Я его сапогом — не попадаю, штыком — не достаю. Я даже стрелял по нему... Помнишь, вчера тревогу поднял? Не попал. Что это такое?.. А-а?.. Что? Смерть это моя, смерть.

— Замолчи ты, псина! Пошел вон, гад! — испуганно закричал Заяц и, схватив кружку с самогоном, бросил ее в Храпкевича. — С тобой не гуляешь, а... панихиду служишь по самому себе. Не задушил он тебя, этот кот, труса такого!

Храпкевич поднял кружку, поставил ее на доску, немного помолчал, а потом засмеялся неприятным, злым смехом.

— Хи-хи... Боишься? Боишься... Вот тебе и наплевать на жизнь... Эх ты, Заяц! — Он перегнулся через доску, наклонился к Митьке и злорадно зашептал: — Мы все боимся... Мы все зайцы... И фрицы боятся... И не знают, что делать! Дураки! Да разве ж это работа — детей по ночам расстреливать? Это все равно что бомбами пожар тушить. Их гладить нужно, голубить... Знаешь, как коня ловят? Кось, кось — да и за гриву. А потом можно уже и по морде. Вот как. А мы боимся и потому не можем поймать... А вот он не боится... Он нас не боится.

— Кто он? — пьяно покачивая отяжелевшей головой, спросил Заяц.

— Батрак мой, Пашка Лесницкий. Сидит себе в лесу и о каждом нашем шаге знает.

Заяц схватил Храпкевича за воротник. Тот увидел его пьяные, налитые кровью, как у быка, глаза, испугался и, медленно опустив свою руку на его сжатый кулак, тихо попросил:

— Брось, Митя! Чего ты бесишься? Брось... Давай лучше выпьем. Я тебе интересную новость расскажу... Ну?..

Митька неохотно разжал пальцы, выпустил его воротник.

— Ну?

— Что ты занукал?

— Новость говори.

— Новость? Слушай... Знаешь ты Карпа Маевского? Из вашей деревни?

— Пасечник?.. Кто его не знает!

— Вот,— Храпкевич сделал длинную паузу, а потом наклонился и таинственно прошептал: — Еврей прячется у него.

Митька Заяц даже подскочил.

— Брешешь, гад!

— Сам слышал в комендатуре. Завтра приедут за ним. Правда, маленький... Дочка Карпова, учительша, принесла...

— А-а-а,— многозначительно протянул Заяц и быстро поднялся. — Пошли!

— Куда?

— Туда.

— Слушай, Митька, пельзя... Завтра сам комендант придет, а мы можем спугнуть птичку. Как бы не улетела...

— От кого? От Митьки улетит? Эх ты, гад ты, гад, плюгавец, сухотка несчастная!.. Улетит! Сам ты улетишь к своей прабабке! Давай кожух!

Он накинул кожух на плечи и в одной нижней рубаше с оторванным рукавом, без оружия, вышел из здания школы, оттолкнув стоявшего у дверей полицая — часового.

Храпкевич захватил револьвер, подпоясавшись широким немецким ремнем и уже на улице догнал Заяца.

— В рукава хоть вдень... Власть!.. — проницески бросил он.

Заяц не обратил внимания на его слова и размашистой, пьяной походкой продолжал свой путь.

Был тот час вечера, когда в деревне, поужинав, укладывались спать — при оккупантах долго не засыживались: не было керосина.

Калитка у Маевских была заперта. Но это не остановило Зайца. Он отступил шага на два назад и с размаху ударил по ней своим тяжелым сапогом. Затрещали доски. Он ударил еще раз.

От этих ударов в хате все насторожились.

— Кто там? — спросил больной Карп и в одном белье быстро слез с печи.

Люба растерянно оглядывала хату, выискивая подходящее место, чтобы спрятать томик Маяковского, который она читала.

Татьяна мыла посуду. Услышав удары, она вытерла полотенцем руки и направилась к дверям.

— Куда ты? — остановил ее отец.

Она вернулась и пристально посмотрела на него.

— Я открою им двери.

— Я сам, Таня.

— Одевайся. Я знаю; — сказала она и, снова взглянув на отца, вышла в сени. Там она нагнулась, подняла половицу, достала из-под нее что-то завернутое в промасленную тряпку, развернула и спрятала под платок.

Громко застучали в дверь. По ругани Татьяна узнала голос Зайца. Она быстро отодвинула засов и стала за дверью. Полицай, не заметив ее, стремительно вошли в хату. Она пошла за ними.

Заяц, не останавливаясь, направился к кровати, откинул одеяло и, грубо схватив сонного ребенка за ручку, поднял его. Мальчик проснулся, личико его перекошилось от боли, он беспомощно взмахнул другой ручкой, засучил ножками.

Люба первой бросилась к полицая, ухватила за Виктора.

— Пусти ребенка! Пусти! — закричала она. — Что ты делаешь?

Карп положил свою жилистую руку на плечо полицая и приказал спокойно, но сурово:

— Положи ребенка! Вояка!

Митька свободной рукой сильно толкнул старика в грудь.

— Прочь! Нам за таких, как ты, не раз голову намыливали... Покоя нет. Я вас всех!.. — Он с ожесточением выругался и тряхнул ребенка.

Татьяна, незаметно обойдя незнакомого полицая, стоявшего молча посреди хаты, подошла к Зайцу и, высунув из-под платка руку, поднесла к его лицу револьвер.

— Отпусти, сволочь! — тихо сказала она.

Митька от неожиданности икнул, вытаращил глаза и разжал свои железные пальцы. Люба подхватила Виктора, и он закричал, как кричат дети от очень сильной боли. Этот крик ножом полоснул по сердцу Татьяны. Она не помнила, как нажала спусковой крючок, не услышала даже выстрела: в это мгновение сзади раздался грохот. Она обернулась. По полу катались, сцепившись, отец и второй полицай. В руке полицая был зажат револьвер. Но старик

крепко держал эту руку, не давая полицая поднять ее и выстрелить. Татьяна ударила по ней сапогом. Полицай застонал и выпустил оружие. Она ногой оттолкнула револьвер к дверям. Увидев это, Карп отпустил полицая и начал подниматься, тяжело дыша, держась рукой за сердце.

Татьяна на мгновение растерялась. Возможно, она и не решилась бы выстрелить во второй раз, если б не тихое приказание отца:

— Стреляй гада!

Храпкевич дико закричал. Она выстрелила три раза и увидела, как тело его сначала подскочило, потом судорожно задергалось и вытнулось.

Татьяна застыла, не в силах отвести взгляда от убитого. Пальцы ее сами собой разжались, и револьвер стукнулся об пол. Этот стук заставил ее очнуться, она оглянулась и услышала голос отца:

— Собирайся скорей, Таня... Скорей!

Старик торопливо одевался; Люба укутывала Виктора.

— Двух человек... сразу... я...

Карп бросился к дочери, схватил ее за плечи.

— Нелюди!.. Нелюди это! Собаки... А собакам собачья смерть. Собирайся скорей! Слышишь ты?

Люба протянула ей полушубок, платок. Татьяна сразу все поняла. Она подняла револьвер, сунула его в карман полушубка, оделась и взяла с кровати уже закутанного Виктора.

Карп молчал, пистолет полицейского, осмотрел его и тоже положил в свой карман.

Люба вышла первой, все разведала и через минуту позвала их. Но уже на огороде, возле сарая, она вдруг остановилась.

— А корова как?

— Да брось ты корову! — махнул рукой Карп. — Не до коровы теперь.

— Ну, нет. Корову я им не оставлю, холера им в бок. Да и Вите нельзя без молока. — И Люба быстро пошла обратно.

Они ждали ее у сарая. Вскоре она вернулась, ведя на веревке корову.

С крыши сарая падали крупные капли. Западный ветер бил им в лицо густой влажной струей, принося запахи близкой весны.

Корова глубоко увязала в рыхлом мартовском суге. С трудом переводил дыхание больной Маевский. Татьяна поддерживала отца под руку.

Дойдя до леса, они вышли на дорогу, по которой всю зиму ездили за дровами.

Карп с облегчением вздохнул — и оттого, что идти стало легче, и оттого, что опасность оставалась позади, там, в деревне, в поле, а тут, в лесу, — хозяева они: ни полицай, ни гитлеровцы сюда не рискнут сунуться.

Татьяна чувствовала какую-то необычную легкость на душе — где-то в глубине рождалось и быстро росло великое и радостное

ощущение свободы. Она наклонилась к мальчику, слушала его ровное дыхание и счастливо улыбалась.

«Вот мы и на воле, сыночек... как птицы... К своим придем... Спи, мой птенчик...»

Глухо стонали высокие сосны.

«Повернем по дороге на Ягодное, а там к Рогу и по линии — к своим», — думал старый Карп и время от времени просил:

— Не спеши, Люба.

Неожиданно Люба, которая шла впереди, повернула совсем в противоположную сторону.

— Ты куда? — спросил удивленно Карп.

— Они теперь за Горелыми болотами, на Лосином острове. Там у них зимний лагерь, — ответила девушка.

Никто не спросил у нее, откуда она это знает.

Карп вздохнул:

— Далековато.

Татьяна снова взяла отца под руку.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I



Два дня шел теплый апрельский дождь. Он смыл весь снег, и сразу разлились реки, озера и болота, затопив обширные просторы приднепровской земли. Лосиный остров был отрезан половодьем от всего мира. Остров этот не походил на обычную болотную гриву, покрытую низкорослым, чахлым от излишка влаги сосняком. Это был узкий и длинный выступ большого леса. С трех сторон его окружало непроходимое болото, тянувшееся на десять с лишним километров в сторону Днепра. От леса выступ был отделен небольшой, но сильно заболоченной речкой. По берегам ее рос густой ольшаник, обвитый хмелем. Весной речка заливала ольшаник, и выступ превращался в настоящий остров. На острове рос смешанный лес, в котором причудливо перемежались могучие старые дубы и молодые высокие сосенки.

На третий день ветер разогнал тучи, и выглянуло ласковое весеннее солнце.

В партизанском лагере началась нормальная жизнь. Люди вышли из землянок и рассыпались по лесу. Одни вычерпывали ведрами скопившуюся в землянках воду, другие собирали сухие дрова и сушили их у кухни.

На краю болота группа молодых партизан во главе с Женей Лубяном обучалась меткой стрельбе из винтовок и автоматов. Это была специальная снайперская группа, созданная по инициативе Лубяна, первоклассного снайпера, еще до войны получившего второй приз на республиканских соревнованиях стрелков-осовахиимовцев. Пули Лубяна снимали вражеских часовых и полицейских с такого расстояния, что фашистам часто не удавалось даже определить направление выстрела... Это его пуля попала на полном ходу машины в висок офицера-карателя. За восемь месяцев пребывания в партизанском отряде на личном счету Лубяна было уже около тридцати убитых оккупантов и полицейских. Все молодые партизаны завидовали ему. Серьезно и старательно обучая своих товарищей снайперскому искусству, Женя Лубян сам все время тайне мечтал о снайперской винтовке с оптическим прицелом. Ни разу не довелось ему увидеть у гитлеровцев такую винтовку, а то быть бы ей в его руках...

После гибели семьи у него, двадцатилетнего юноши, поселили

виски, он похудел, вытянулся, стал молчаливым и хмурым, но не потерял своей обычной подвижности. Единственной целью его жизни была теперь месть врагу, и он мстил беспощадно, жил только мстью, подавив все остальные чувства.

В середине лагеря вокруг двух длинных столов разместилась другая группа партизан — более многочисленная, чем группа Лубяна. На столах лежали мины — разной величины, разных марок и систем. Это занимались подрывники. Тут были люди разных возрастов — безусые юноши и такие, как Карп Маевский. Да и сам командир этой группы, Свирид Захарович Гнедков, был пожилой человек с рыжей длинной бородой. Говорил Гнедков волжским окающим говорком — он был потомственным рабочим из Горького. Война застала Гнедкова в служебной командировке в западных областях Белоруссии. Он не успел выехать — фронт обогнал его. Пробираясь на восток, он набрел на партизанский отряд Приборного и остался в нем. Механик по специальности, Гнедков скоро разгадал секреты мин и снарядов и стал командиром группы подрывников.

Рядом с подрывниками, в самой просторной и чистой землянке, занималась с санитарями врач Алена Григорьевна Зайчук. Среди ее учеников была и Татьяна Маевская: правда, обучалась она санитарному делу без особой охоты и очень часто, когда не была занята в сангруппе, присаживалась к подрывникам, поглядывая с завистью и в ту сторону, где занимались разведчики. Татьяна была бы не прочь перейти в одну из этих групп, но приказ есть приказ. Дисциплина в лагере была суровая. Маленький Витя уверенно, как хозяин, шагал по партизанскому госпиталю и уже несколько раз подходил к дощатой перегородке, за которой помещались раненные, и стучал кулачком в дверь:

— Ту-ту... Дай, дай...

Но, пока шли занятия, его туда не пускали: в палате сразу поднялся бы шум — раненные любили играть с забавным малышом. Наконец кто-то из раненых все же открыл ему дверь, и мальчик незаметно проскользнул за перегородку.

Возле Алены Григорьевны сидела худенькая девочка лет девяти. Это была Лена Лубян, только что оправившаяся от раны.

Остальные партизаны были заняты в глубине леса обычным солдатским делом: учились перебегать под огнем, переползать, окапываться, преодолевать препятствия, бросать гранаты. Командовал ими молодой высокий командир в военной форме, со знаками различия старшего лейтенанта — Алексей Иванович Павленко. С группой бойцов он примкнул к партизанскому отряду еще осенью.

В этот день не занималась только одна группа партизан, носившая название специальной, или агентурной, — занятия с ней всегда проводили командир или комиссар отряда. Почти вся она дней десять назад во главе с комиссаром отряда ушла из лагеря. Куда — об этом в отряде не знали.

Единственный оставшийся в лагере представитель этой группы Петро Майборода, скучая без работы, лежал на куче свежих хвойных веток и мастерски выводил на трофейной губной гармошке веселые мотивы.

Время от времени он переставал играть и, не отнимая гармошки от губ, подолгу смотрел на небо, на проплывавшие по нему белые облака. Иногда он тяжело вздыхал, и тогда из гармошки вылетал протяжный, грустный звук; вздохи эти как-то не вязались с его веселой, залихватской игрой. Но игра игрой, а вздохи вздохами. Майборода не мог сдерживать их, когда смотрел на небо, потому что всю свою жизнь он мечтал быть летчиком. Были у него и другие причины, чтобы вздыхать. Он был обижен и оскорблен тем, что комиссар отказался взять его с собой на это исключительно важное, опасное и, судя по всему, интересное задание. Даже эту новенькую — Любу — взял, а его — старого, опытного разведчика — не взял. Только улыбнулся в ответ на его просьбу и сказал:

— Фантазия у тебя, Борода, очень уж богатая, и рисковать ты большой охотник.

«Фантазия! При чем тут фантазия?» — Майборода снова вздохнул. Гармошка издала грустный звук. Хлопец удивленно посмотрел на нее и спрятал в карман.

«Эх, скорей бы Андрей возвращался! Тогда бы мы снова показали, на что способны... Фантазия!..»

Из землянки вышел командир отряда Сергей Федотович Приборный; осмотрев лагерь, он шумно вздохнул и направился в лес к группе Павленко. Увидев Майбороду, остановился и несколько минут с улыбкой наблюдал за хлопцем: «Вот лентяй». Петро, не замечая командира, снова вытащил гармошку, но не заиграл, а запел:

Когда б имел златые горы
И реки, полные вина...

— Что б ты сделал с ними?

Майборода испуганно вскочил, вытянулся перед командиром, поправляя измятый бушлат.

— Виноват, товарищ командир! Вино, конечно, я пил бы и друзей поил... А золото! — Он задумчиво почесал затылок. — Что мне золото? Нет, постойте... Знаете, на золото я подкупил бы нескольких гитлеровских генералов, чтобы они Гитлера к его прабабке отравили. А за золото они родного батьку продадут, не только своего вонючего фюрера.

Майборода весело оскалился, обнажив красивые белые зубы. Глядя на него, не удержался от улыбки и командир.

— Глупостями ты занимаешься... Делать тебе нечего... Гитлера мы и без них прикончим, собственными руками, да и генералов этих заодно с ним. Идем, лучше воду вычерпай из моей землянки, лентяй.

— Всегда готов, товарищ командир. Я — как пионер... Помню...

— Ты поменьше разговаривай. А то комиссар и в другой раз тебя на задание не возьмет. Он не любит болтунов.

Приборный, идя впереди, хитро посмеивался, зная, что попал в самое больное место парня. И действительно, Майборода сразу умолк и уже до самой землянки не произнес ни слова.

Командирская землянка находилась в центре лагеря, под могучим дубом. Стены, потолок и пол в ней были сделаны из гладко выстроганных сосновых досок. За зиму доски прокоптились, потемнели. У дверей стояла железная печка. Такие печки были во всех партизанских землянках лагеря; партизаны нашли их в эшелоне, который они пустили под откос. Очевидно, немцы везли их на фронт, для своих солдат. И не довели.

Посреди землянки стоял хороший дубовый стол — работы Карпа Маевского, его подарок комиссару и командиру. У стен — два топчана, заменявшие кровати. На стене висели карты Советского Союза и Европы. На столе лежали книги. В углу, на тумбочке, стоял радиоприемник — единственный в лагере. Он уже две недели не работал — сели аккумуляторы.

Майборода остановился около приемника, с нежностью посмотрел на поблескивавшие ручки регуляторов настройки, вздохнул. Командир понимающе улыбнулся.

— Ничего, Петро, скоро он снова заговорит.

— Комиссар принесет?

Приборный погрозил пальцем.

— Не будь чересчур любопытным: много будешь знать — скоро состаришься. Давай-ка лучше за работу возьмемся.

Весенняя вода просачивалась сквозь доски, заливала пол. В одном углу надоедливо журчал ручеек.

— Залезь под топчан и заткни глотку этому комару, Петро, а я тем временем подниму половицу.

Когда первая часть работы была закончена, принялись за вторую. Приборный наливал воду в ведра, Майборода выносил их из землянки. Но не в характере Майбороды было работать молча. Рассуждать, фантазировать было для него первой жизненной потребностью, и, если не случалось под рукой собеседника, он разговаривал и даже спорил с самим собой... А тут случился очень интересный собеседник. Пока командир наполнял очередное ведро, Майборода присел на дубовую колоду, лежавшую у печки, и начал:

— Есть у меня, товарищ командир, одна гениальная идея...

— Прямо-таки гениальная? — поднял голову Приборный.

— Гениальная, товарищ командир. Зародилась она у меня давно, и вот я ее вынашиваю, как женщина ребенка. И она все растет, растет... Теперь это уже не идея даже, а план, в котором все уже детально разработано. Эх, товарищ командир! Если бы мы его осуществили! Прославились бы на весь мир, во всех учебниках

истории про нас написали бы, через тысячу лет бы вспоминали, как о каком-нибудь Юлии Цезаре.

— Хм, здорово... Неси! — неожиданно приказал командир, окончив наполнять ведро.

Майборода, огорченный тем, что его перебили на самом интересном месте, неохотно поднялся и понес тяжелые ведра из землянки.

Приборный смотрел ему вслед и весело улыбался. «Ну и воображение! Так и прут из него эти выдумки. Погоди же, я тебя удивлю!..»

Хлопец вернулся в землянку, поставил перед командиром пустые ведра и снова беззаботно уселся на прежнее место.

— Значит, ты предлагаешь послать Андрея, после его возвращения из Москвы, в Берлин с заданием уничтожить Гитлера? Так? — спросил Приборный, как о чем-то самом обычном, давно известном, не подняв даже головы.

Майборода даже привстал от удивления.

— Да вы-то как узнали об этом? Я же не рассказывал вам.

— Мне — нет, а всему отряду давно рассказал...

— Ну и что? — заговорщицки прошептал хлопец и наклонился к командиру.

Приборный поднял голову и рассмеялся звонко и весело.

— Ну и глупости. Я даже не понимаю, как это такой серьезный человек, как партизанский разведчик Петро Гаврилович Майборода, может заниматься такими глупостями.

— А почему глупости? Почему? Смог же Андрей проникнуть в штаб противника, выкрасть важные документы и угнать штабную машину. Проехал же он до линии фронта под видом немецкого солдата. Почему же он не может переодеться офицером и поехать в Берлин? Почему?

— Неси! — перебил его командир. — И знай, голова еловая, что о нас будут вспоминать дольше и лучше, чем о твоём Юлии Цезаре.

Майборода вздохнул и понес последние ведра. Они были значительно тяжелее предыдущих, потому что командир вместе с остатками воды зачерпнул и немало песка.

II

Оставшись в землянке один, Приборный подумал о тех, кого в эту минуту не было в лагере. Многие были в дороге, выполняли боевые задания. Он с отцовской тревогой в сердце думал о каждом из них. Но больше всего он тревожился об Андрее:

«Где он, наш легендарный Андрей? Почему долго не возвращается? Добрался ли он?»

Об Андрее Буйском думал не только один командир. Его возвращения из Москвы нетерпеливо ожидали все сто пятьдесят человек в отряде. Ждали уже два месяца... Часто по вечерам или за

обедом в партизанских землянках можно было услышать разговоры о нем:

— Эх, братки, где это наш Андрей сейчас?

— Гуляет по Москве. Где-нибудь в театре или в кино...

— Ну, времени у него там не будет шляться по кино.

— А ты что думаешь: попасть сейчас в Москву и не побывать в кино?.. Нет, братцы, кто как, а что до меня, так я не удержался бы от такого соблазна.

— А вдруг он...

— Что «вдруг»? Терпеть не могу людей, которые всю жизнь во всем сомневаются. Андрей не такой, как ты, раззява... Он через огонь и воду пройдет и сухим выйдет... Вот что значит наука! А я, лентяй, учиться не хотел. Семь классов окончил и решил, что я самый ученый человек на свете...

— А ты думаешь, что и ты таким бы, как Андрей, был? Не так твоя голова устроена. На это, брат, нужен особый талант.

Андрей Буйский был светлой сказкой в их трудной лесной жизни. Отряд жил надеждой на его возвращение из Москвы. Он был их посланцем в столицу. Правда, еще осенью из отряда послали пять человек в Москву, но, видно, погибли хлопцы, потому что уж сколько времени прошло, а о них никаких известий. И вот два месяца назад послали Андрея — одного. И все были твердо уверены, что он дойдет и вернется обратно. Не мог такой человек погибнуть! Все помнили, как он и Майборода появились в отряде.

Однажды утром, перед октябрьскими праздниками, группа партизан набрела в глубине леса на сверкавший лаком лимузин. Появление такой машины в этом глухом месте просто ошарашило их. Но, подойдя к машине, они удивились еще больше: на переднем сиденье, у руля, лежал человек в обыкновенной засаленной одежде, а на заднем — немецкий офицер. Мундир, ремни, погоны — все на нем было с иголочки. Партизаны сначала подумали, что оба они убиты, но когда попробовали открыть дверцу машины, офицер вскочил и направил на них парабеллум. В ответ партизаны показали ему несколько гранат. Тогда он весело рассмеялся и начал трясти за плечи того, кто лежал на шоферском сиденье.

— Вставай, Борода, приехали, — сказал он на чистейшем русском языке.

Нежданных гостей обезоружили и машину торжественно вкатили в лагерь.

Сначала, конечно, не верили тому, что рассказывали о себе пленные. Но того, который был в офицерской форме, неожиданно узнала партизанка Рита Песоцкая.

— Да это же аспирант нашего университета. Я его знала, еще когда он студентом был. Фамилия его Буйский. Вот гад! Значит, он был шпионом!

— Никаким он шпионом не был, гражданочка. Был он хорошим советским человеком и до смерти останется им, — обиделся за товарища второй, как впоследствии выяснилось, шофер такси Пет-

ро Майборода. По документам, которые они привезли, Лесницкий и Приборный поверили им, их рассказу.

Андрей Буйский хорошо знал немецкий язык. И это стало его оружием. А фантазер Майборода — лучшим помощником. Переодеваясь в форму немецкого офицера или солдата, Андрей приставал к вражеским частям, забирал оружие, устраивал диверсии и бесследно исчезал. В последний раз он, в форме офицера фельдсвязи, явился в железнодорожную комендатуру, остался там на ночь, вечером выпил как следует с комендантом, а ночью придушил пьяного немца и, забрав все документы, уехал на его машине. Майборода ждал его в условленном месте. В то время они уже знали, что в ближайших лесах действует большой партизанский отряд, и решили во что бы то ни стало найти его. Разыскивая партизан, они ездили по лесу два дня, пока не сожгли весь бензин. Тогда-то и набрали на них партизаны Лесницкого.

В отряде друзья стали разведчиками. Правда, Лесницкий не позволял Андрею производить диверсии под видом гитлеровца.

— Этот маневр надо оставить для более важного дела, — объяснял он Приборному, который тоже был любителем рискованных действий.

Таким первым важным делом и явилась командировка Буйского в Москву.

И вот теперь все с нетерпением ожидали его возвращения. Но вероятно, больше всех волновался за него все-таки Приборный. Он тревожился о Буйском не только как командир, который дал солдату опасное задание и для которого очень важны результаты выполнения этого задания, потому что связь с Москвой нужна была отряду как хлеб и воздух, но и как-то еще по-другому, — возможно, так, как волнуется отец за сына. Приборному немного не повезло: было у него шесть дочерей и ни одного сына. И он всегда, а особенно в последние годы, завидовал отцам, у которых были сыновья. А этот Андрей — он как-то особенно запал в его душу.

«Ах, Андрей, Андрей! Где ты, сыне, сейчас?»

Он встал из-за стола и прошелся по землянке. Снова под досками захлопала вода.

«Черт бы ее побрал! И откуда только она берется? И место как будто высокое... Нужно будет канаву выкопать, как Карп возле своей землянки».

В дверь постучали. Вошел Майборода и торжественно доложил:

— Прибыл комиссар, товарищ командир.

Приборный торопливо набросил на плечи полушубок и вышел из землянки.

Они обнялись и крепко расцеловались. Потом командир подошел к разведчикам и пожал каждому из них руку. Все они едва держались на ногах от усталости. А Люба присела на землю, прислонилась спиной к толстой сосне и сразу закрыла глаза.

Лесницкий построил разведчиков и поблагодарил за успешное выполнение задания.

— Служим Советскому Союзу! — нестройно, но твердо, как настоящие солдаты, ответили уставшие партизаны.

Войдя в землянку, Лесницкий сразу спросил:

— Андрея нет?

Он хорошо знал, что его нет, потому что, если бы Буйский вернулся, комиссару сказали бы об этом еще часовые, да наконец он и сам бы его увидел — Андрей непременно бы вышел встречать разведчиков, ведь он же был их командиром. Поэтому, не ожидая ответа, он начал быстро раздеваться.

Лесницкий сбросил с себя всю одежду, сапоги, белье — все было мокрым.

— Ты передай Алене — пусть хлопцам спирта даст. Нитки сухой не осталось. Половодье страшное. Еле добрались. — Он стоял голый и, вздрагивая от холода, старательно растирал тело сухим полотняным полотенцем. — Растапливай скорей, а то обледенею.

— А ты глотни разок — сразу кровь разгорится, — предложил командир и, достав из тумбочки флягу, налил полстакана мутноватого спирту. — Лучшее средство от всех болезней.

Лесницкий выпил, поморщился и, закусывая сухой коркой хлеба, начал одеваться. Он надел сухие валенки, накинул на плечи длинный кожаный, присел перед печкой и, помолчав, сказал:

— Знаешь, там начинают бояться за него. Они направили несколько групп из разных отрядов. Но, как я заметил, Ружак больше всего надеется на нашего Андрея. Связаться с Москвой, ты знаешь, вот как нужно! Весна — время великих событий. А радиосвязи нет уже с декабря, когда их запеленговали и окружили. Рассказывают, жарко у них тогда было. Низкий был ранен, два работника обкома и несколько партизан убиты. Потеряли рацию. И ты понимаешь, ни одна из посланных групп не возвращается. Ружак так и сказал мне: «Вся надежда на вашего Буйского. Но будем ждать еще не больше чем полмесяца».

— А потом что же, похороним и его? — нахмурился Приборный. — Рано мы хороним людей! Не думаем о том, что перейти линию фронта, добраться до Москвы, договориться обо всем и вернуться назад — на это все-таки нужно время, как ты думаешь? Он же не святой дух, а живой человек.

— Прошло два месяца, Сергей.

— Пройдет три, а я все равно не перестану верить, что он вернется! Вернется, говорю тебе! — Приборный взволнованно прошелся по землянке. — Андрей всех гитлеровских фельдмаршалов вокруг пальца обведет. Руки короткие у них взять такого разведчика.

В дверь землянки постучались. Они прервали разговор. Вошла Таня Маевская — принесла обед. Она тихо поздоровалась, поставила кастрюлю на стол, достала из тумбочки тарелки.

Землянка наполнилась вкусным запахом борща. Татьяна раз-

лила его в тарелки, нарезала хлеба. Все это она делала не спеша, как умелая хозяйка. Лесницкий закутался в кожаный, отошел от печки и некоторое время молча наблюдал за ней. Потом сел за стол напротив нее.

— Ну, как живется вам в нашей семье, Татьяна Карповна?

Она взглянула на него, приветливо улыбнулась.

— Очень хорошо, Павел Степанович.

— А сын?

— И сыну хорошо.

— Отдохну — зайду посмотреть. Я же еще и не видел его. Вы пришли, а я ушел.

— Будем рады, — снова улыбнулась она.

— Начинай, Сергей, пока не остыло. — И Лесницкий с аппетитом набросился на еду. — Со вчерашнего дня не ели. В Межах поужинали, а с собой ничего не взяли. Дня через два межәне нам продуктов подбросят. Я договорился со старостой, чтобы собрал.

— С Гаруном?

— Да... Хитрый дядька. Здорово фашистов за нос водит!

Помолчали. Потом Лесницкий снова обратился к Татьяне:

— Похвалитесь же, Татьяна Карповна, вашими успехами в санитарном деле.

Татьяна усмехнулась, не спеша закончила раскладывать в тарелки гречневую кашу и только тогда ответила:

— А я уже как-то говорила Сергею Федотовичу, что всю жизнь не любила медицины.

— Вот тебе и на! — удивился комиссар. — А что же вы хотели бы делать у нас?

Она сначала смутилась, опустила глаза, а потом, посмотрев на Лесницкого, смело попросила:

— Переведите меня в разведчики, Павел Степанович! Мне стыдно... Люба моложе, но вы взяли ее. Поймите же, что я хочу бороться активно. Я имею право на это!

Комиссар и командир переглянулись.

— Я больше, чем кто-нибудь другой, видела войну, страдания наших людей... — У нее дрогнул голос, порозовели щеки. — Видела, как они...

Лесницкий перебил ее:

— Подожди, Татьяна, — он не заметил, что в первый раз обратился к ней так же просто, как обращался ко всем в отряде. — Стать разведчицей ты сможешь в любой момент, когда это потребуется. А нужда такая будет часто, не сомневайся. А вот с санитарями у нас трудно. Алена одна не может справиться. Она сама выбрала вас с Лидой и, конечно, не ошиблась. Мы с командиром поэтому и поддерживали ее выбор. А из Любы не вышло бы медсестры — слишком уж она горячая. — Он ободряюще улыбнулся. — Санитары нам нужны особенные — жизнь людей для нас дороже всего. И хороший госпиталь в наших условиях — великое дело.

Татьяна почувствовала силу его простых, скупых доводов.

Возможно, сила эта заключалась не столько в самих словах, сколько в ясном взгляде его карих глаз, в теплой, открытой улыбке. От приготовленных ею давно доказательств ничего не осталось: они показались вдруг наивными и смешными. Все-таки она попробовала возражать:

— Но если у меня нет склонности к этому делу?

Приборный глубоко вздохнул:

— Эх, дочка! У нас не было склонности воевать. На кой черт нам нужна была эта война! Жили, работали, строились, богатели с каждым годом... Но когда на нас напали, когда вздумали нам ярмо на шею надеть, — он возбужденно повысил голос и встал из-за стола, — мы все стали солдатами. И склонность у нас одна сейчас — уничтожить захватчиков, что пришли на нашу землю. Вот! А ты о склонностях! Какая там, к черту, склонность!.. — Его лицо озарилось по-отечески доброй улыбкой.

Татьяна почувствовала себя неловко. В конце концов, просьба ее и в самом деле наивная. Не к лицу ей, учительнице, серьезному человеку, отказываться от порученной в отряде работы. Что было бы, если бы все делали только то, что им хочется. Анархия. Извинившись, она торопливо вышла.

Лесницкий проводил ее взглядом и повернулся к Приборному:

— Вidel, как люди рвутся в бой? Какая у них ненависть! А сколько таких на нашей земле! Сколько таких семей, как Мавеские! Наше дело — поднять их, всколыхнуть, организовать на борьбу...

Но Приборный перебил его:

— Что ты меня все агитируешь, Павел? Ты лучше расскажи о деле. Что там было?

Лесницкий, засмеявшись, посмотрел на друга, потом быстро поковырял с кашей, вытер полотенцем руки и губы и ответил:

— Было там, Сергей, заседание подпольного обкома. И обсуждали один вопрос: о разворачивании массового партизанского движения. Время пришло, Сергей. — Глаза его загорелись. — Пора подымать весь народ. Не удивляйся: нас критиковали. Во-первых, за слабую политическую работу с населением, а во-вторых, за плохое руководство другими отрядами, действующими на территории района. Очень хорошо, конечно, что отряд наш — высококвалифицированная боевая единица, что у нас и разведка хорошая, и снайперы, и пулеметчики. Но это — единицы, а нужна массовость, нужно, чтобы в борьбе участвовал весь народ, и участвовал организованно. Никаких «диких отрядов». Райком должен руководить каждой группой. Поднимали вопрос о создании партизанских бригад. И правда, стыдно, что до этого времени мы не возобновили даже выпуска районной газеты. Шрифт у нас есть, да и в отряде Кандыбы хранятся шрифты двух районных типографий. Нужно будет привыкаться за дело не откладывая... Обком утвердил новый состав бюро нашего райкома. Секретарем подпольного райкома комсомола утвердили Лубяна. Хорош будет?

— Безусловно! Лучшей кандидатуры не подобрать!

— Работа с молодежью, с интеллигенцией, вовлечение их в отряды — одна из главных задач. Сейчас мы должны направить десятки агитаторов в разные стороны, во все деревни. Нужно добиться, чтобы к маю месяцу у нас уже сформировалась настоящая бригада. С наступлением весны, несомненно, активизируются фронты, и мы тоже должны активизировать наши действия, чтобы жизни не было этим гадам, чтоб били их на каждой дороге, в каждой деревне. Главным объектом должна стать железная дорога. Немецкий фронт задохнется, если мы не пропустим туда эшелоны с танками, орудиями, с живой силой. Вот так, товарищ командир. — Лесницкий встал. — Вот какие новости, Сергей. Одним словом, начинается новый этап нашей борьбы. Начинаем и мы настоящую войну.

III

Комендант района оберштурмфюрер Койфер был спокойным и веселым человеком. На жизненном пути его не встречалось никаких помех. Сын директора одного из крупнейших заводов Крупа, он никогда ни о чем не заботился: ни о куске хлеба, ни об образовании, ни о карьере, ни даже о своих политических взглядах. Все делалось само собой, благодаря деньгам и имени. Койфер никогда и мысли не допускал, что ему может в жизни не повезти, даже слов этих не было в его лексиконе. Ему всегда везло. Объяснял он это тем, что он, Вилли Койфер, всегда прекрасно понимал смысл жизни и цель ее.

«Не нужно никогда вылезать вперед, но не нужно и отставать. Нужно идти оглядываясь» — такова была его философия.

И он шел «в ногу с Германией» — как любил говорить его отец. Когда захватили Польшу, Койфер, тогда имевший звание штурмфюрера, приехал «осваивать новые земли». Будучи комендантом одного из районов Варшавы, он получил несколько благодарностей и Железный крест.

В день нападения на Советский Союз отец сообщил ему, что он назначен директором крупного московского завода, который должен перейти в их концерн. В этом была конечная цель войны для Вилли Койфера, и он с нетерпением ждал захвата Москвы.

Вилли Койфер попросил перевести его на восток, в Россию, ближе к его цели. Но зимой эта цель внезапно отодвинулась от него не на одну сотню километров. Удар был ошеломляющим, однако Койфер утешал себя тем, что этот удар получили все, и даже сам фюрер.

Комендант приднепровского района начал делать все необходимое, чтобы помочь армии вернуть потерянное и тем самым приблизиться к своей цели. Однако вскоре на него градом посыпались другие удары. За короткое время Вилли Койфер получил несколько выговоров, предупреждений и даже угроз. И все это за одно —

за слабые действия против партизан, за неумение остановить рост партизанского движения, которое все ширилось и ширилось, и, как назло, особенно в его районе. Оберштурмфюрер принимал самые жестокие меры. Но теперь уже ничто не помогало — ни имя отца, ни его связи, ни деньги. Прежняя жизненная философия потеряла свою былую привлекательность. У него осталась теперь только одна цель: спасти свою жизнь, вырваться живым из этого ада. Он написал и больше месяца носил в кармане письмо к отцу, в котором просил помочь ему перевестись в тыл — хотя бы на старое место, в Варшаву. Обычной полевой почтой он боялся посылать такое письмо, потому что хорошо знал, как работает военная цензура, и ждал удобного случая.

Но после одного происшествия Койфер превозмог страх перед цензурой и послал письмо.

...Это случилось первого мая. Накануне он получил печное письмо от жены; в апреле почти совсем не поступало сведений о деятельности партизан. Все это, вместе взятое, подняло его настроение. Первого мая он проснулся очень рано — на восходе солнца. Окна его спальни выходили на восток, и вся комната была залита красным светом первых солнечных лучей. Он надел халат и направился во двор. Но, открыв дверь, комендант в ужасе отшатнулся: на ступеньках крыльца лежал, распластавшись, убитый часовой.

Вплли Койфер долго смотрел на восковое лицо убитого, потом закричал, бросился обратно в комнату и по привычке схватился за телефонную трубку. На его счастье, телефон работал. Он вызвал караул. Через минуту солдаты окружили дом и увидели над крышей красный флаг. Громадное полотнище, прикрепленное к блестящей дюралюминиевой штанге, купалось в лучах восходящего солнца.

Увидев своих солдат, Койфер в одном халате выскочил во двор и бросился бежать от дома.

— Дом заминирован! Там мины! — крикнул он на бегу.

Солдаты бросились в разные стороны.

Генрих Визенер, который случайно заночевал в районном центре с небольшим отрядом своих солдат, остался на месте и спокойно, пряча проницательную улыбку, приказал солдатам осмотреть дом и снять флаг.

Солдаты не нашли ничего подозрительного ни в доме, ни около дома, кроме следов босых ног, посыпанных и политых чем-то таким, от чего собаки-ищейки сразу потеряли способность идти по этим следам. Но когда солдат по приказу Визенера поднялся на крышу, чтобы снять флаг, в воздухе внезапно просвистела пуля, и солдат грохнулся вниз. Выстрел прозвучал откуда-то издалека, с окраины города. Звук его едва докатился до того места, где пуля попала в цель. Никто из солдат и офицеров не смог точно указать направление выстрела.

Подняли тревогу. Затрещали моторы автомашин и мотоцик-

лов, испуганные и озверевшие от страха солдаты помчались по улицам сонного городка.

Койфер зашел в караульное помещение и не выходил оттуда. Всем командовал Визенер. Наблюдая через окно, с каким спокойствием он это делал, комендант района возненавидел офицера.

Наконец ему удалось преодолеть свой страх, и он вышел из помещения, приказав ординарцу принести мундир. Но в этот момент второй солдат, влезший на крышу за флагом, был ранен в руку. Всем показалось, что выстрел прозвучал уже совсем с противоположной стороны.

Флаг сбили длинной пулеметной очередью.

Тех, кто стрелял, не нашли, хотя и перевернули весь городок.

По приказу Койфера взяли нескольких мирных жителей, мужчин и женщин, и расстреляли их, хотя Визенер высказался против этой меры.

А спустя несколько часов в комендатуру пачали поступать одно за другим сообщения о действиях партизан в разных пунктах района. В одном — разгромлен полицейский гарнизон, в другом — повешен староста, в третьем — сожжена станция, взорваны железнодорожный мосты и шоссе, перебиты охрана...

У Койфера голова кружилась от этих известий.

Визенер, забыв о всякой субординации, зло обратился к нему:

— Я предупреждал вас, господин оберштурмфюрер. Нужно было ожидать, черт возьми, что они именно так отметят свой праздник. А мы ловили ворон, утешали себя тем, что они перед праздником на несколько дней успокоились. Нужно было понимать!

Подавленный Койфер молчал.

Однако вскоре после разговора появились четыре солдата из отряда Визенера и сообщили о разгроме гарнизона в Пригарах. Четверо — это все, что осталось от сорока солдат и полицейских, оставленных Визенером в деревне. Обер-лейтенант побледнел. На этот раз злорадно усмехнулся Койфер: в глубине души ему хотелось, чтобы произошло что-нибудь подобное и он смог бы в свою очередь упрекнуть Визенера. Когда солдаты и дежурный офицер вышли, Койфер с ядовитой иронией сказал:

— О, я прекрасно вас понимаю, господин обер-лейтенант, вы знали или догадывались об этом налете и, чтоб спасти свою жизнь, удрали из деревни...

Визенер вскочил как ужаленный; лицо его налилось кровью. Его взбесило, что этот тупой, как он всегда думал, эсэсовец разгадал его маневр.

— Я не позволю! — закричал он.

Койфер тоже вскочил, ударил кулаком по столу:

— Вы трус! Я вас под суд отдам!.. Вы не имели права бросать гарнизон.

Визенер зло засмеялся,

— Это еще нужно доказать, господин оберштурмфюрер. А вот вас... вас все видели, когда вы в одном нижнем белье удирали из пустого дома.

Комендант обмяк, устало опустился в кресло, вспомнив свой позорный испуг.

С этого дня Койфер потерял последние остатки душевного равновесия. Он не спал по ночам: все время ему мерещилось, что кто-то крадется в темноте к дому, режет часовых и пытается проникнуть к нему в комнату через окно. Он в испуге оглядывался на часового, дежурившего в спальне, и, убедившись, что его неподвижный силуэт на месте, закрывался одеялом с головой, но тогда его начинали преследовать звуки — выстрелы, крики.

Днем он бродил как тень. Его изобретательность окончательно иссякла, и он уже не мог придумать ни одной новой меры против партизан. Как-то само собой получилось так, что все комендантские обязанности добровольно взял на себя Визенер. Выполнял он их ретиво. Койфер убедился в этом, когда прочитал приказ Визенера о том, что тот, кто поймает бывшего секретаря райкома партии Лесницкого, получит от оккупационных властей пятнадцать тысяч марок, двадцать пять гектаров земли, трех лошадей, пять коров и другое имущество. Койфер удивился, как это он сам не додумался до такой простой вещи, и примирился с деятельностью своего добровольного заместителя, даже постарался забыть тот оскорбительный разговор, который произошел между ними первого мая.

Каждый вечер Визенер докладывал ему о событиях дня. События бывали разные, значительные и мелкие. Но из всего того, что рассказывал Визенер, комендант понимал только одно: с наступлением весны партизанские агитаторы наводнили все деревни, весь район и ведут свою работу, мобилизуя народ в отряды. Отряды эти вырастают в огромную невидимую и неуловимую армию, ставшую необычайно опасной силой для немцев... Партизаны становятся настоящими хозяевами в районе, находящемся в глубоком немецком тылу, а он, комендант, представитель гитлеровской Германии, присланный, чтобы установить здесь «новый порядок», вынужден защищать самого себя и постоянно дрожать за свою жизнь. Положение было унизительно обидным. Какие меры еще можно изобрести для борьбы с партизанами? Несколько раз он хотел было спросить совета у Визенера, но гордость не позволяла ему сделать это.

Его вывел из затруднения секретный приказ фельдкоменданта. Приказ привез ему офицер фельдсвязи, приехавший под усиленным конвоем — легковую машину эскортировал грузовик с солдатами. Увидев из окна кабинета такой конвой, Койфер преисполнился величайшим уважением к неизвестной еще бумажке и ждал ее с надеждой и страхом. Волнуясь, он разорвал конверт и несколько раз перечитал все от первого до последнего слова. Лицо его озарилось торжествующей улыбкой, он выпрямился, величест-

венно прошел от дверей, где он встретил офицера фельдсвязи, к столу и сел в кресло, закинув ногу на ногу.

— Чудесно!

В одно мгновение он снова превратился в сурового оберштурмфюрера, бога и царя вверенного ему района. Властным кивком головы он пригласил офицера сесть и затем спросил его:

— Вы знакомы с содержанием приказа?

— Да. В случае... у меня все было подготовлено, чтобы уничтожить его.

— Гениально! — Койфер с упоением ударил ладонью по бумаге. — Гениально!

— Но успех будет зависеть от столь же гениального исполнения приказа, — осторожно заметил офицер фельдсвязи.

— Я, — Койфер поднялся, офицер связи тоже вскочил, — сделаю все, чтобы выполнить этот приказ. Передайте фельдкоменданту, что приказ будет выполнен в точности. Хайль Гитлер! — отсалютовал комендант.

— Хайль! — ответил связист.

Когда офицер уехал, Койфер вызвал к себе Визенера. Оберлейтенант, едва взглянув на своего начальника, сразу почувствовал перемену и, насторожившись, поправил ремень.

Комендант дал ему прочесть приказ и, когда тот окончил чтение, сказал:

— Я поручаю организацию всего этого вам, господин оберлейтенант. Надеюсь на успех!

Поручение понравилось Визенеру. В этой новой работе было много рискованного, увлекательного, а самое главное — открывалось широкое поле для его собственной инициативы, что его всегда особенно привлекало.

Остаток дня они провели за общим столом, разрабатывая детальный план выполнения приказа.

Конец работы ознаменовали хорошим обедом и изрядной выпивкой. Пили за успех.

IV

Луна заливала матовым светом бескрайние просторы поля. Было так светло, что можно было даже читать. От этого света терялось ощущение расстояния: близкие предметы казались далекими, а дальние, наоборот, приближались, расплываясь, как в тумане, приобретая необычные, фантастические очертания.

Был конец мая. Травы наполняли воздух густым ароматом. На молодую зелень легла роса, чистая и сверкающая, как алмаз. Месяц выткал на росе серебряные стежки. По одной из них, навстречу луне, шли два человека. Впереди — мужчина, одетый в обычную крестьянскую одежду, следом за ним, шагах в трех, — женщина в темном платье, плотно облегавшем ее стройную фигуру. Они старались идти быстро, но их ноги устало цеплялись за

неровности почвы, за траву, а на межах женщина несколько раз спотыкалась. К счастью, поле было чистым и ровным и даже, несмотря на такое позднее время, большей частью еще не вспаханным. Только кое-где встречались узкие полосы яровых посевов. Всходы доходили уже почти до колена, и ноги спутников были мокрыми от росы. Мужчина остановился и предложил:

— Давайте, Татьяна Карповна, разумеся. Так будет легче, а то я едва иду.

Она молча нагнулась и ловким движением сбросила туфли, стукнула ими одна о другую, чтобы отбить налипшую землю.

— Готово, Павел Степанович.

Лесницкий сел на росистую траву и начал стягивать намокшие сапоги. Сняв их, он стал растирать сухим концом портянки уставшие ноги.

— Шел и все время о земле думал, полоски считал... А сердце кровью обливалось. Это земля колхоза «Воля». Крупнейший и богатейший колхоз. На этом вот поле все лето работали два трактора. В прошлом году тут нельзя было найти и клочка незасеянной земли. А сейчас... полоски, будто двадцать лет назад... Сколько нужно будет труда положить, чтобы вернуть земле довоенную силу! Кровью полили, придется еще и потом немало полить... Ну, ничего, мы народ жилистый. Вытянем.

Он замолчал и долго о чем-то думал. Татьяне показалось, что комиссар задремал, и она тихонько дотронулась до его плеча.

— Павел Степанович, нам надо спешить.

Он вскочил и пошел вперед. Татьяна едва успевала за ним. Они прошли поле, пересекли дорогу и вошли в молодой хвойный лес. Пахнуло теплым, напоенным запахом сосны воздухом. На секунду у Татьяны захолонуло в груди. А потом по всему телу разлилась приятная усталость, мускулы ослабли, слипались веки. Татьяна смочила росой руку и протерла глаза. Лесницкий остановился, по маленькому ручному компасу проверил направление.

— Не заблудиться бы нам в этой чаще, — тихо сказал он.

Сосняк становился гуще. Хвойные иглы больно кололи руки, лицо, и они вынуждены были идти, низко нагибаясь.

Наконец они выбрались на узкую лесную дорожку и по ней вскоре снова вышли в поле.

— Вот и пришли, — сказал Лесницкий, зорко вглядываясь в даль. Впереди, в мерцающем свете лунной ночи, вырисовывались туманные и, казалось, необычайно большие силуэты зданий. Там, очевидно, была деревня, но ничто не выдавало присутствия людей. Стояла мертвая тишина.

— Куда же мы отклонились? Где тут гумно? — спросил Лесницкий, оглядываясь.

— Вон там какая-то постройка, — указала Татьяна налево, где почти у самой стены сосняка виднелось что-то большое и черное.

Они отошли назад, в тень деревьев, и стали осторожно подкрадываться к гумну. Недалеко от него остановились. Лесницкий

долго и напряженно прислушивался, потом трижды тихо свистнул. В ответ с гумна хрипло закукарекал петух.

— Так... свои... Но на всякий случай достаньте гранату, — приказал он Татьяне и сам вытащил из кармана пистолет. Зажав его в руке, он смело пошел к гумну.

От гумна отделился силуэт человека и направился навстречу Лесницкому.

— Женья? — шепотом спросил человек.

Лесницкий сунул револьвер в карман. Татьяна с гордостью подумала о секретаре подпольного райкома комсомола: «В каждой деревне его знают. Как только он справляется?»

— Я за него, — отозвался Лесницкий.

Молодой хлопец (он уже был так близко, что можно было разглядеть его лицо) растерянно остановился с протянутой для приветствия рукой. Он, очевидно, не решался сделать еще шаг, чтобы подать руку.

Комиссар шагнул к нему и пожал протянутую руку.

— Вы-ы? Товарищ Лесницкий? — взволнованно и радостно спросил хлопец. — Вот это хорошо! Вот это да! А то знаете что сегодня было? Староста наш приехал из районного центра и божится, что видел, как вас, арестованного, вели под конвоем целой роты солдат.

Лесницкий засмеялся:

— Целой роты? Здорово же они боятся меня, если думают конвоировать целой ротой... Ну, к делу... Сколько собралось?

— Шестнадцать человек.

У ворот гумна стоял часовой.

Они вошли в гумно, потом через очень узкий проход, напоминавший нору, влезли в овин. Его черные продыmlенные стены и потолок освещались тонким языком пламени маленькой керосиновой лампы, подвешенной высоко на стойке. Нижняя часть овина была в тени, и Лесницкий с Татьяной сначала никого не заметили. Но их увидели сразу, и молодежь взволнованно зашептала:

— Лесницкий!..

— Секретарь райкома!..

— Павел Степанович... Здорово! Значит, набрехал подлюга староста...

Лесницкий взял в руку лампу, присел с ней и увидел группу юношей и девушек, сидевших на глиняном полу.

— Узнали? — улыбнулся он. — Ну, здорово, друзья! Удивляетесь? А вы поменьше слушайте фашистское вранье, тогда и удивляться будете меньше и бояться не будете.

— А мы и так не боимся, — откликнулась высокая девушка, сидевшая впереди.

Лесницкий сразу узнал ее: «Доярка этого колхоза Гаша».

— Правильно, Гаша! — сказал он. Комсомольцы переглянулись, удивленные тем, что секретарь знает даже имя их подруги. — Бояться нам нельзя. Трусость — наш злейший враг. Пускай

гитлеровцы боятся нас. Однако расскажите-ка, как вы живете. А потом я уже буду говорить.

С минуту длилось неловкое молчание. Лесницкий всматривался в молодые лица, изучая и запоминая их черты.

«Какая красавица! — подумал он, остановив взгляд на девушке лет шестнадцати с длинными косами. — И еще совсем дитя».

Действительно, Маша Плотник казалась самой молодой из всех шестнадцати комсомольцев.

И неожиданно для него первой заговорила именно она:

— Да что нам рассказывать, Павел Степанович! Мы все понимаем и готовы хоть сейчас идти за вами. Ведите нас...

Комсомольская организация этой деревни возобновила работу в апреле, после того как деревню навестил Евгений Лубян. Тогда на этом же месте он собрал первое собрание, обсудившее только один вопрос: задачи комсомольцев в борьбе против оккупантов. С той дождливой апрельской ночи прошло не более полутора месяцев, а организация уже многое сделала. Это были уже не растерявшиеся в первые дни оккупации от неожиданно нагрянувшей беды юноши и девушки, а смелые борцы, готовые по первому зову взять оружие и присоединиться к партизанам. Они уже и оружие подготовили себе: нашли пять винтовок и украли у оккупантов два автомата и ящик гранат.

Комсомольцы все больше смелели и уже просто, как старшему товарищу, рассказывали Лесницкому все деревенские новости, едва ли подозревая, что сообщают комиссару очень важные для него сведения о друзьях и врагах.

Но время шло. Приближалось утро. Лесницкий вынул карманные часы, взглянул на них. Комсомольцы, сразу все поняв, замолчали.

За всех них сказал секретарь организации Иван-Сумах:

— Одним словом, товарищ Лесницкий, все мы готовы сейчас же уйти с вами.

Лесницкий взглянул на Татьяну, молча сидевшую на соломе, и удовлетворенно улыбнулся.

— Нет, друзья мои, — тихо начал он. — Сегодня мы не пойдем вместе, но не больше чем через неделю часть из вас должна будет стать бойцами наших отрядов. Я говорю «часть», потому что всем идти нельзя. Нужно, чтобы организация в деревне существовала, действовала, пополняла свои ряды. Вот когда вы снова вырастаете хотя бы до такого же количества, тогда опять сможете дать нам пополнение. Но помните, друзья: те, что останутся в деревне, тоже являются нашими бойцами! Работы для них хватит, и работы не менее важной. Партизанское командование, подпольный райком надеются на вас, — Лесницкий на минуту умолк, обвел всех изучающим взглядом, — и поэтому дают вам самые ответственные задания. Несколько таких заданий вы получили раньше. Сейчас я ставлю перед вами более сложную задачу. — Он понизил голос: — Ваш староста — предатель. Суровая рука наро-

да должна уничтожать таких мерзавцев, чтобы они не поганили нашу землю. Всем им уже вынесен приговор народа. Вы должны привести в исполнение этот приговор. Продумайте все. Нужно, чтоб это было не просто убийство, а кара, которая постигнет каждого предателя! И еще. Будьте осторожны. Нам очень дорога жизнь каждого нашего бойца. Вот и все. А нам пора. — Он поднялся.

Татьяна отвернулась, вытащила из-за пазухи пачку бумаг и протянула их Сумаху.

— Наша газета. Возьмите, читайте, передавайте другим.

— Так. И пишите нам в газету, — добавил Лесницкий. — Ну, всего хорошего, товарищи. Через неделю ждите в гости. Пошли, Татьяна Карповна. — Он направился к выходу, но у дверей остановился, повернулся к комсомольцам и тихо спросил: — Хлопцы, у кого-нибудь краюхи хлеба не найдется? А то мы со вчерашнего дня постимся.

Ребята растерянно зашептались. Хлеба ни у кого не было.

— Что ж это вы? Собрались в поход и по куску хлеба не припасли? Ну и солдаты! — пошутил Лесницкий.

— Мы сейчас принесем, товарищ комиссар. Обождите минуту, — отозвались несколько человек и приготовились было бежать в деревню.

Лесницкий покачал головой:

— Плохие еще вы конспираторы, — и первый быстро вырнул в тесный квадрат выхода.

V

Они снова молча шли полем. Лесницкий — впереди, Татьяна — за ним. Но шли они теперь много медленней, устало согнувшись, не обращая внимания ни на луну, опустившуюся ниже и ставшую белее, ни на ночной аромат майского поля. Только Лесницкий время от времени оглядывался назад, на восток, где небо постепенно светлело, и каждый раз убыстрял после этого шаг. Но усталость вскоре опять побеждала.

У Татьяны слипались глаза. Были минуты, когда она совсем засыпала и ей казалось, что тело ее проваливается в какую-то пропасть. Вздрыгнув, она открывала глаза.

Дорогу им преградил глубокий полевой ров. Крутые обрывы его густо поросли кустами шиповника, малины, ольхи и черемухи.

Не останавливаясь, они стали спускаться вниз, с трудом продираясь сквозь густой колючий кустарник, раздирая до крови лицо и руки об острые колючки шиповника. На дне рва ласково журчал маленький ручей.

Лесницкий опустился перед ним на колени, потом лег, напился и окунул голову в холодную воду. Татьяна тоже присела на мокрый песок и, черпая воду пригоршнями, утолила жажду, промыла глаза. Вода освежила ее и разогнала сон, но встать не хотелось,

трудно было даже шевельнуться. Хотелось хоть одну минуту посидеть вот так, неподвижно, — от усталости ныло в груди.

Лесницкий положил голову на землю, прижался щекой к холодному песку.

— Одну только минуту, Танюша. Только ты не усни, пожалуйста, — чуть слышно прошептал он и закрыл глаза.

Она подумала о том, что вот уже сколько раз за эту ночь он называл ее так просто, ласково, чего раньше почти никогда не делал. И ей стало почему-то жаль этого сильного умного человека.

«Я без колебания отдала бы жизнь, чтобы спасти его, — подумала она, и от волнения на ее опущенных ресницах показались слезы. — Ему так трудно... Труднее, чем любому из нас, его бойцов. Сколько он ходит, сколько работает!.. А за ним охотятся сотни врагов. Нет, не взять вам такого человека! Мы живой стеной окружим его...»

Перебил ее размышления соловей. Он неожиданно защелкал над самой головой.

Она посмотрела вверх, и радостная улыбка осветила ее лицо. На какое-то время Татьяна забыла обо всем и жадно слушала его пение. Давно уже не приходилось ей слышать соловья. С прошлого года. Легкая грусть о чем-то неосознанном, но близком и необходимом для жизни и счастья коснулась ее сердца.

Соловей разбудил и Лесницкого. Он открыл глаза, посмотрел в ту сторону, откуда доносились его звонкие трели. Певца он не разглядел, но увидел поблекшие звезды и молодое деревцо, четко выделявшееся на фоне посветлевшего неба, — одна из звезд, казалось, зацепилась за самую вершину рябины и висела крупной недозревшей ягодой, — почувствовал запах отцветающей сирени и аромат луговых цветов. Все это почему-то напомнило ему его безрадостную батрацкую молодость и единственное счастье в ней — светлую любовь и женитьбу. Но счастье его было коротким: жена умерла от первых родов. В отчаянии он бросил деревню, ушел в город.

Прошли годы. Бывший батрак получил образование, стал секретарем райкома, но свою первую любовь не забыл и никак не мог завести семью.

...Лесницкий посмотрел на Татьяну, и что-то теплое, хорошее наполнило его сердце. Ему показалось, что она очень похожа на его жену. И может быть, поэтому ему захотелось взять ее за руку, притянуть к себе, прижать к груди и рассказать о своей жизни, о давней любви. Иногда возникает у человека такая потребность. Но он умел себя сдерживать.

«Нет! — И снова прижался к земле. В голове шумело. — Идти нужно, идти...» Но подняться было трудно, усталость побеждала, слипались тяжелые веки...

Впоследствии он и сам не мог понять, то ли это был сон, то ли мечта. Ему отчетливо представился его рабочий кабинет в райкоме. Он работает — готовится к очередному докладу. Раздается теле-

фонный звонок. Он берет трубку и слышит укоряющий голос Татьяны:

— Павел, мы начинаем терять терпение. Когда же ты наконец придешь обедать?

— Иду, иду, Танюша, — ласково отвечает он, собирается и торопливо идет домой.

Там, за столом, сидят Таня и мальчик, очень похожий на самого Лесницкого. Мальчик с упреком качает головой и смешно так говорит:

— Опаздываете, товарищ секретарь...

— Мы опоздаем, Павел Степанович, — произнес другой голос, и чья-то рука коснулась его плеча.

Лесницкий открыл глаза и некоторое время не мог понять, где кончились его мечты и началась реальность.

— Идемте, Павел Степанович. Уже светает, — наконец дошли до его сознания слова Татьяны.

Он встал, перескочил через ручей и бодро поднялся по крутому склону рва. Уже в поле, вспомнив о своих мечтах, он тихо засмеялся.

— Что вы, Павел Степанович? — спросила Татьяна.

— Просто так, Танюша, — уклонился он от ответа, но, подумав, сказал: — Представил себя в будущем. Интересно это. Большая сила — мечта. Человек без нее — ничто.

VI

В час, когда небо на востоке стало ярко-красным, а последние звезды погасли, они пришли в Межи.

Это большое село, растянувшееся на два километра, одним своим концом упиралось в бор. Крайние хаты стояли почти под самыми соснами — так, что шишки и хвойные иглы залетали в дворы.

Они вошли в лес, залегли в канаве, служившей границей между полем и бором, и прислушались. Было тихо. Только где-то на другом краю деревни часто и как-то тревожно мычала корова.

Лесницкий насторожился.

— Не нравится мне эта тишина, — сказал он. — Обычно в это время деревня уже просыпается — скрипят журавли, постукивают ведра, перекликаются соседки. Так? А тут что-то... — Он посмотрел на восток и еще раз прислушался. — Я же сам, в сущности, межанин. Семь лет батрачил тут у кулака, папаша того самого Храпкевича, которого вы отправили на тот свет.

Для Татьяны это было новостью.

— А потом я его раскулачивал... Но надо идти, — оборвал он рассказ. — Вон в той, третьей от края, хате живет одна вдова. Я к ней каждый раз захожу. У нее дочка, ваша сверстница и тезка. Наша связная. Они меня каждый раз гречневыми блинами потчуют, да так, что потом три дня есть не хочется.

Лесницкий вылез из канавы и направился через огороды к хате Улиты Гребневой.

Но уже в огороде до их слуха долетели обрывки странных звуков — будто кто-то поблизости голосил.

Лесницкий вздрогнул, остановился, дал Татьяне знак лечь в канаву и лег сам. Они затаили дыхание и явственно услышали, что голосят в хате Улиты.

— Что это там у них такое? — вслух подумал Лесницкий.

— В доме — покойник, — первой догадалась Татьяна.

— Покойник? — Лесницкий поднялся и быстро пошел к дому.

Двери в сени были открыты, и они бесшумно вошли туда. В это мгновение женщина снова заголосила. Комиссар узнал голос Улиты и побледнел.

Страшная догадка мелькнула в его голове, и он остановился, не решаясь войти в хату. Наконец он осторожно приоткрыл дверь и сразу почувствовал, как часто забилося сердце... Да... На двух сдвинутых скамейках, там, где обычно стоит в хате стол, лежала Таня — он сразу узнал ее, хотя и не видел лица покойницы. Улита стояла перед дочкой на коленях и причитала. Горела свеча. Пахло растопленным воском и... кровью.

Какая-то женщина заметила Лесницкого и удивленно сказала:

— Павел пришел.

Улита повернулась, узнала его, бросилась снова к дочке, обняла ее и заголосила еще громче:

— Ой, моя же ты доченька, ой, моя ж ты травиночка! Видишь ли ты, кто к нам пришел? А ты ж ждала его день и ночь. Вспоминала утром и вечером. Вспомнила ты его и там... А теперь ты не видишь и не слышишь... Солнышко мое, мое дитятко единственное! Подымися же ты да погляди на нас в последний разочек, на ясный денечек да на белый свет...

Словно в тумане, Лесницкий подошел к скамейкам и молча поцеловал девушку в белый холодный лоб.

Тогда Улита, причитая, обратилась к нему:

— Видишь, Павлик, что сделали с твоей разведчицей? А говорят, сделали это твои хлопцы. Почему ж ты их не сдерживал? А знали ли они, на кого поднимали руку?

Не сразу смысл этих слов-причитаний дошел до потрясенного нежданным горем комиссара, а когда слова дошли до его сознания, он вздрогнул, как от удара.

«Что она говорит?.. Мои хлопцы... наши партизаны убили Таню Гребневу? Что за страшное недоразумение!» — чуть не крикнул он, но вовремя опомнился, кивком головы пригласил одну из женщин следовать за ним, вышел из хаты и сел на ступеньки крыльца.

Татьяна, у которой с трудом сдерживаемые рыдания горьким комком застряли в горле, тоже вышла за ним и машинально опустилась рядом. Он посмотрел на нее и горько произнес:

— Вот какие дела, Танюша!

На крыльцо вышла женщина.

— Что случилось, тетка Параска? — вполголоса спросил Лесницкий.

Старуха тяжело вздохнула.

— Э-эх, и не спрашивай, Павлик. И сама не знаю. О-хо-хо... Горе наше, горе! — Она потрясла головой, вытерла концом платка глаза. — Вчера под вечер приехал в деревню отряд. Жовны какого-то.

— Жовны? — удивился Лесницкий. — Ну-ну?

— Ну... приехали, собрали всю деревню на площадь перед сельсоветом и читают приказ, будто тобой, Павел, подписанный. Приказываешь ты мобилизовать всех молодых хлопцев в партизаны, а тех, кто не хочет идти, записывать в десертиры, в предатели и расстреливать на месте... Вот так. О-о-ох... Кончил он это читать, а Таня и крикнула ему: «Пускай тот, кто подписывал этот приказ, сам придет, да и поговорит с нами». Тут ее первую и вывели из толпы, около стены поставили. А потом спрашивают: «Кто хочет в партизаны? Выходи...» Молчат люди. Бог их ведает, кто они такие: может, партизаны, а может, полицейские. Ну и молчат люди. Тогда они подходят к двум братьям Мартыновым, спрашивают: «Вы хотите?» А старший, Василий, разозлился да ему в ответ: «Может, пойдем, да не в ваш отряд». Взяли и их, рядом с Таней поставили. А потом так же спросили Дубодела Игната и сына учительки Веры Федоровны. Ну и эти не согласились. Тогда этот... как его... Жовна этот из пулемета... О-хо-хо! Так все они, пять сокольников, и повалились. — Старуха опять вытерла слезы, помолчала. — Перед всем народом, около сельсовета. Слышишь, Павел? Народ кинулся кто куда. А они стрелять вдогонку. Еще троих убили: старую Шуриху, дочку Семена Бороздецкого и Веру Федоровну. Она, бедная, к сыну бросилась... Горюшко наше, горе! Что делается на белом свете?! А что после было... Насильничали, грабили, били, ломали... Да может ли поверить народ, что это ты приказал, Павел?! Господи, как поверить!.. Разве не знаем мы тебя?.. Полицаи это были? А, Павел? Павел!

Лесницкий поднял голову.

— Да, это были полицаи! — твердо сказал он и, поднявшись, направился к калитке.

Старуха догнала его, вцепилась мозолистыми пальцами в рукав его рубашки.

— Павел! Покарай этого убийцу! Найди его. За слезы наши, за кровь, за горе наше! — Голос ее дрожал.

Лесницкий стремительно повернулся, схватил руки женщины. В глазах его блеснули слезы.

— Я... я клянусь... Кто бы это ни был — нашей кары ему не миновать. — Он повернулся, быстро вышел на улицу.

Татьяна должна была почти бежать, чтобы не отстать от него. Он где-то оставил шапку и шел с непокрытой головой, посередине улицы. Легкий майский ветерок шевелил его льняные волосы.

Татьяна заметила, что из каждого окна, из каждого двора за ним следят десятки глаз.

«А вдруг в каком-нибудь дворе полицаи?» — подумала она и бросилась к Лесницкому.

— Павел Степанович! Что вы делаете? Смотрите, за нами следят...

— Кто?

— Люди... Из каждого двора. Но могут быть и полицаи... Павел Степанович!

Он на минуту остановился, огляделся вокруг и снова быстро зашагал вперед.

— Вот только до той хаты... К старосте. Один вопрос выясню. А смотрят — это свои люди. Не бойся...

Староста Гарун, увидев их через окно, выбежал навстречу, испуганный, растерянный.

— Павел Степанович! Доброго утра, доброго здоровьечка! Отец ты наш родной! А у нас тут такое случилось... И рассказывать тяжело.

— Ты Жовну знаешь? — сразу спросил Лесницкий, не ответив на его приветствие.

— Жовну? Федора Жовну? А как же! Я же в его отряде зимой был. Помните? Вас же провожал туда... Это было в марте, помните? Так, так... Федора Жовну? Знаю, знаю... Хорошо знаю.

— Он?

Маленький, щуплый староста стал как будто еще меньше — он весь сжался.

Лесницкий заметил это, и его обожгло внезапное подозрение: «Предатель?!»

Гарун зашептал:

— Не знаю... Не видел... В лесу был. Под просо корчевал... со всей семьей...

Лесницкий не сдержался — схватил его за ворот рубахи.

— Врешь! Лучших людей продал, а сам в лесу прятался, иуда! Гарун схватил его руку.

— Павел Степанович... родненький, богом клянусь, детьми своими, не виноват я! — Он рванул рубаху, оголив волосатую грудь и белый живот. — На-а! Стреляй, на месте убей! Как перед богом — чист я...

Лесницкий разжал пальцы, повернулся к Татьяне:

— Ничего... Виновных найдем... Дорого они заплатят за кровь этих людей. Пошли, Таня!

Он направился через двор к огороду, но у сарая остановился и подозвал старосту.

— Немцы в деревне есть?

— Нет.

— Что говорят люди?

— Разное, Павел Степанович. Разное. Но, известно, никто не верит, что это партизаны. Полицаи, их работа.

— Ладно. Узнай обо всем. Расспроси. Вечером пришло связного.

Теперь они уже не чувствовали ни усталости, ни голода и шли, все прибавляя шаг.

То, что они услышали от Параски, встревожило и взволновало комиссара бригады, а в Татьяне вызвало растерянность и даже страх. Она впервые осознала, какой суровой и полной опасностей жизнью они живут.

«Смерть может настичь тебя в любое время, в любом месте, где ее и не ждешь совсем, — подумала она и испуганно оглянулась на кусты на опушке. — Неужели этот Жовна и правда предатель? А как же люди его? Неужели у него в отряде все изменники? Нет, не может того быть! Нет, нет! — успокаивала она себя, но сразу мелькнула новая, еще более страшная мысль: — Вдруг он приведет эсэсовцев в лагерь? Он же знает все ходы, все дорожки. А в лагере Витя...»

Она представила себе страшную картину: огромный эсэовец держит высоко над головой ее маленького Виктора и собирается швырнуть его на землю. Татьяна едва не вскрикнула от ужаса и испуганно позвала: «Витя!»

Лесницкий остановился и удивленно посмотрел на нее.

Татьяна подбежала к нему и взволнованно заговорила:

— Павел Степанович, а вдруг он приведет их в лагерь? Там ведь сейчас никого. Все на заданиях. Одни раненые и дети.

Лесницкий нахмурился.

— Глупости! Жовна не предатель! На его боевом счету — сотни врагов. Такой человек не может предать! Да как вы не можете понять, что это очередная фашистская провокация? — сурово спросил он. — Нельзя быть такой доверчивой! Они хотят подорвать наш авторитет среди населения и проводят бандитские налеты под видом партизан. Понимаете?

Его слова убедили и успокоили девушку, но значительно труднее было ему успокоить самого себя. Лесницкий был твердо уверен, что кровавое преступление в Межах — дело эсэсовцев. Но зачем им понадобилось имя Жовны? Почему именно Жовны? Этого командира комиссар бригады видел только несколько раз и знал о нем мало. Небольшой кавалерийский отряд Жовны числился в составе бригады, но действовал все время самостоятельно, часто уходя далеко на юг — под Чернигов, на Украину. В таком далеком рейде, разрешенном месяц назад самим Лесницким, находился отряд и сейчас... И вдруг именем Жовны подписываются под такой страшной провокацией... Какая тут связь? Почему они выбрали именно Жовну, а не какого-нибудь другого партизанского командира? Эти вопросы не давали покоя комиссару. На душу его легла непонятная тяжесть, что-то похожее на чувство личной вины перед Таней Гребневой и другими погибшими.

Комиссар шел и безжалостно ругал себя за то, что близко не познакомился с этим командиром, не узнал его как следует.

В лесу Лесницкий и Татьяна встретили партизан из отряда Кандыбы. Усталых, мокрых, но веселых и шумных людей вел с задания сам командир. В отличие от своих хлопцев он шел молчаливый и хмурый. Василий Кандыба и раньше был не очень разговорчивым человеком, а после гибели семьи и вовсе стал мрачным. Даже улыбка редко появлялась на его темном, похудевшем лице.

Но на этот раз, увидев Лесницкого, он улыбнулся весело и открыто.

— Павел Степанович, поздравьте! Какой эшелончик мы сегодня под откос пустили! И знаете где? На Мироновом мосту. И эшелон, и мост — сразу! Одних танков насчитали тридцать восемь. Шесть цистерн с бензином и два вагона живой силы — человек пятьдесят солдат. Все сгорело... Трое суток лежали в этом чертовом болоте, а своего добились. Это пятый на нашем счету. Скоро догоним Гнедкова.

— Поздравляю, друзья! — искренне обрадовался Лесницкий. Татьяна пошутила:

— Зато вряд ли вас Гнедков ласковым словом помянет! Он ведь два месяца зубы точил на этот мост. Они там с моим отцом какие-то новые мины изобрели.

— О минах мы уже слышали, — откликнулся Кандыба и обратился к Лесницкому: — Я послал к ним своих людей, товарищ комиссар, чтоб поучились...

Дальше пошли вместе.

Лесницкий рассказал о событиях в Межах. Партизаны возмущенно зашумели:

— Сволочи! Вишь куда бьют!

— Душегубы проклятые!

Кандыба нахмурился и замолчал. Они с Лесницким отошли в сторону.

— Что ты думаешь о Жовне? — спросил комиссар. — Ты ведь встречался с ним.

Кандыба задумался.

— Черт его знает. Смелый, веселый хлопец, боевой командир. В марте мы вместе роту гитлеровцев разгромили. Но не так давно меня смучила одна деталь. Правда, тогда я не придал ей никакого значения, а теперь, может, стоит и подумать. Вы сами, кажется, говорили, что он окруженец, командир казачьего взвода. И мы все так думали. А я вот случайно узнал, что он и не командир совсем, а вплоть до самой войны работал в Чернигове. И знаете кем? Буфетчиком! Такой здоровяк — и буфетчиком. Будто и работы другой не нашлось в Советском Союзе для таких рук. Да и голова не пустая.

— Ты откуда это узнал? — удивленно спросил Лесницкий.

— У меня в отряде есть машинист Черниговского депо.

— Где он сейчас?

— Должен быть дома. — Кандыба называл домом партизанский лагерь.

— Покажешь мне его. Хотя я и не верю, что Жовна предатель, но проверить нелишне.

Подходили к лагерю отряда.

— Вот что, Кандыба. Нам здесь задерживаться нельзя. Подготовь пару добрых коней, а мы пока перекусим, и я поговорю с машинистом. Нужно срочно принять меры — чем черт не шутит, как говорят... Ты тут тоже держи ухо востро. Усиль охрану, пошли во все стороны разведчиков. И в первую очередь в Межи. Пусть один из них осторожно — только очень осторожно — наведается к Гаруну. А вообще больше не доверяй ему. Очень не понравился он мне сегодня. Понимаешь сам, как важно для нас возможно скорее ликвидировать этот бандитский отряд, кто бы там ни был — Жовна, эсэсовцы или хоть сам черт... Ну! Попадись он мне в руки!.. — Лесницкий сжал кулаки.

VII

Приборный был веселым, жизнерадостным человеком. Редко какая неудача могла заставить его опустить голову, и никто из партизан никогда не видел его грустным, сумрачным. Но, увидев Лесницкого и Татьяну на загнанных, покрытых грязной пеной лошадях, он остановился, протяжно свистнул и не двинулся им навстречу. В первый раз за все время лицо его не озарилось при встрече радостной улыбкой. Он понял, что не слишком приятные события заставили их так гнать лошадей. А плохих новостей и у него было достаточно.

Только когда навстречу Татьяне из землянки, торопясь, выполз маленький Виктор и с криком «Мама!» бросился к ней, спотыкаясь и падая, Приборный не сдержал улыбки.

Татьяна подхватила мальчика на руки, поцеловала.

— Сыночек мой! Галчонок! Как я соскучилась по тебе...

Затем она повернулась к командиру, поздоровалась.

— Мама, дед... бух-бух... ва-ва... — озабоченный чем-то, лепетал малыш и тянул мать к землянке-госпиталю.

Командир и комиссар вопрошающе смотрели друг на друга. Приборный попробовал шутить:

— Вижу, не много приятного ты привез, — но, встретив встревоженный взгляд Лесницкого, спросил, понизив голос: — Что случилось, Павел?

— А у тебя что?

— У меня? У меня, черт возьми, прямо голова кружится. И от плохого, и от хорошего. Но начнем с хорошего. Пойдем...

Они вошли в командирскую землянку, и Лесницкий остановился, удивленный и обрадованный. На столе стояла новенькая, поблескивавшая краской радиостанция — их общая мечта. На кровати комиссара, спрятав лицо в подушку, спал человек.

— Андрей? — У Лесницкого радостно сверкнули глаза.

Приборный отрицательно покачал головой.

— Нет. Самого еще нет. Задержался в Москве. Но посылочка эта от него. Добрался, жив-здоров. Несколько дней назад обком получил трех радистов с радиостанциями. Нам — в первую очередь. Понимаешь, что это значит?

— Это значит, Сергей, что мы теперь живем! Теперь будем вооружены самым сильным оружием, самым необходимым в нашей суровой борьбе, — связью! Связью с Москвой, с партией, со всей страной. Помнишь, я говорил тебе — придет такое время! — Лесницкий обнял друга и радостно засмеялся, забыв даже на мгновение о кровавом событии в Межах. Но только на мгновение. Он тут же спросил: — А что плохого?

— Плохого, брат, больше, будь оно неладно! И нужно же было этому случиться именно теперь! Началось с того, что операция Гнедкова провалилась, и не только провалилась, но и вылезла боком. Получилась осечка с миной. Хлопцы со злости обстреляли вагоны. А эшелон был с живой силой. И видно, стреляные воробы ехали. Должно быть, эсэсовцы, земля им колом! Остановили эшелон — и в бой. Чуть не окружили хлопцев. Четыре человека убито, девять ранено, в том числе Гнедков и Маевский. Что ты скажешь! Просто выть от отчаяния хочется... В такое время, в самом начале, почти вся группа подрывников вышла из строя. А виноваты мы с тобой, комиссар.

Лесницкий поднял голову.

— Понимаешь, почему? Тактика неправильная... Тактическая ошибка. Нельзя подрывников на такие операции посылать одних — нужно их прикрывать, защищать... А мы все на «ура» привыкли. Все на панику врага надеялись.

Лесницкий молчал. Это были самые тяжелые потери за все время существования отряда, и они больно поразили его. Перед глазами встал образ убитой Тани Гребневой.

«Ошибка... Тактическая... А кто давал нам право делать такие ошибки? Тут — ошибка, Жовну плохо знаем — ошибка. Ошибка за ошибкой». В глубине души росла злость на себя и Приборного. Чтобы сдержат себя, Лесницкий сел, но пальцы нервно барабанили по футляру радиостанции.

— Партия нас не для того здесь оставила, чтобы мы делали ошибки.

Приборный с удивлением посмотрел на него.

— На войне не бывает без ошибок.

— Гнилая теория! Не нам с тобой на нее ссылаться. Мы большевики. Тяжело ранены Гнедков и Маевский?

— Не тяжело, но из строя вышли. Месяц проваляются... Маевский ранен в голову осколком мины, Гнедков — пулей в руку. — Приборный улыбнулся: — Сегодня Алена уже жаловалась на них. Покоя не дают — и в госпитале мастерят свои мины. Чего доброго, взорвут еще все медицинское хозяйство.

Лесницкий подобрел, услышав про Гнедкова и Маевского, и уже спокойно сказал:

— Ладно, Сергей. Тактическую, как ты назвал ее, ошибку мы исправим. Подрывников будем прикрывать. А вот как нам наш народ прикрыть? Женщин, детей? — Голос его дрогнул. — Вот что...

Приборный не понял и перебил его:

— Погоди... Я еще не обо всех несчастьях рассказал тебе. Осталось главное и самое отвратительное. Просто язык не поворачивается, чтобы рассказать об этом. На вот, читай! — Он протянул комиссару лист бумаги — донесение разведчиков. Стукнув кулаком по столу, Приборный громко выругался: — Блюдолиз фашистский!

Радист проснулся, поднял голову и удивленно посмотрел на них.

Лесницкий прочел донесение. В нем сообщалось, что бандитский отряд во главе с каким-то Жовной расстрелял в деревне Любовка одиннадцать человек, а в другом месте скосил пулеметом стадо коров и сжег полдеревни.

Комиссар отложил в сторону бумагу и тихо продолжил сообщение:

— В Межах они по-бандитски убили восемь человек и учинили грабеж. — Он выделил слово «они». — В числе убитых — Таня Гребнева. Но я, — он стремительно встал перед Приборным, — я не верю, что это Жовна. Жовна тут ни при чем. Зря ты возмущаешься... Это работа эсэсовцев. Заметь, все это делается под маркой принудительной мобилизации в партизанские отряды. Читается приказ от моего и твоего имени. Они хотят очернить нас в глазах народа, подорвать наш авторитет. Тупоголовые идиоты! Они не могут понять, что партизаны и народ — это одно неразрывное целое, что Лесницкий и Приборный — это представители большевистской партии, а в партию наш народ никогда не потеряет веры. Вот уж поистине — утопающий хватается за соломинку. Тоненькая соломинка — этот их отряд! Напрасные усилия...

Приборный перебил его:

— Все это я хорошо понимаю. Но почему ты уверен, что они не использовали для такого дела Жовну?

Лесницкий укоризненно покачал головой.

— Плохо ты, товарищ командир бригады, знаешь своих подчиненных.

Приборный покраснел.

— Ты меня не упрекай. Ты его тоже не лучше знаешь. Тебе известно, что три дня назад отряд Жовны был в районе Лоева, а мы с тобой до сего дня ничего не знаем о его возвращении. Это — раз. — Он загнул палец. — Второе: все мы не раз слышали, что Жовна — окруженец, кадровый командир, а на самом деле — он буфетчик. А-а? Об этом тебе известно? Два...

— И это я слышал. Но я думаю, что надо потерять здравый смысл, чтобы поверить в измену командира, который уже почти

год беспощадно бьет врага. Подожди... Не перебивай... Да, Жовна некоторое время был буфетчиком. Но перед этим он был главным кондуктором, и даже лучшим кондуктором. Буфетчиком он стал, когда заболел язвой желудка и не мог больше ездить. И без работы не мог сидеть. Вот ему и предложили... Да наконец при чем тут профессия! А имя его эсэсовцам понадобилось как имя командира маневренного отряда. Посмотри, какова «география» их преступлений: где Любовка, где Косино и где Межи? — Лесницкий повернулся к карте Приднепровья: — Треугольник. Тридцать — сорок километров от пункта до пункта. Ясно? А Жовна скоро появится, я не сомневаюсь. И не будем зря время тратить, лучше обмозгуем, как быстрее ликвидировать этот бандитский отряд. А уничтожить его нужно немедленно, да так, чтобы ни один из этих негодяев живым не вышел. Я думаю, начнем дело с экстренного выпуска газеты. Дадим шапку: «Не верьте фашистской провокации! Очередные преступления гитлеровцев и предателей народа». Если мобилизуем все силы, до утра выпустим двойной тираж. По мере выхода газеты будем рассылать агитаторов во все стороны. В деревни, где произошли эти кровавые события, направим группы во главе с опытными товарищами. Ну, например, в Косино пойдет Лубян, Межи поручим Залесскому — ему ближе, и он хорошо знает село. В Любовку пойду я сам. Вот так.

Лесницкий повернулся к радисту, который уже сидел на кровати и с интересом прислушивался к этому не совсем понятному для него разговору.

Алексея Гончарова совсем недавно выпустили из специальной школы. И вскоре его, вместе с двумя другими выпускниками, посадили в самолет и сбросили с радиостанцией в глубокий фашистский тыл. Они быстро нашли того, кого им нужно было найти, и удивились, узнав, что попали сразу к секретарю подпольного обкома партии. Два его товарища остались при обкоме, а его направили в партизанский отряд «Днепр».

Теперь, затаив дыхание, Алексей прислушивался к разговору и снова удивлялся; в голове рождались разные романтические планы.

— Товарищ радист, подите найдите партизана Евгения Лубяна! — приказал комиссар.

Он вскочил, торопливо одернул гимнастерку, поправил ремень.

— Есть, товарищ комиссар, найти партизана Лубяна. Можно идти? — Лихо козырнув, он щелкнул каблуками и быстро убежал.

Лесницкий с удовольствием посмотрел ему вслед, улыбнулся:

— Здорово! Люблю дисциплину, — и, снова повернувшись к Приборному, понизил голос: — Садись и слушай... Одновременно нам нужно попытаться заслат в этот отряд своего человека, чтобы легче было накрыть бандитов...

— Это идея! Но кого? — сразу поддержал его Приборный.

— Я думаю — Майбороду.

— Майбороду?

— Что ты удивляешься? Наилучшая кандидатура для такого дела. Смелость, сообразительность, любовь к приключениям, умение играть любую роль. И даже эта губная гармоника, знание блатного языка и песен... А способность выпить литр самогону и не пьянеть, а? Это очень хорошие при таких обстоятельствах качества. Наконец, он не местный, и это исключает всякую возможность случайных встреч. Словом, хлопец, как говорят, кругом шестнадцать...

Вошел Жения Лубян. Он тоже только этим утром вернулся с задания и привел в отряд двадцать комсомольцев. Он, по-видимому, отдыхал — лицо у него было заспанное, волосы спутаны. За последнее время Жения очень похудел, болезненно пожелтел. Лесницкий заботливо спросил его о здоровье.

— Ты не болен, Жения?

— Ничего, товарищ комиссар, это от недосыпания. Я ведь три ночи не спал.

Комиссар подавил вздох. Жаль хлопца.

«Эх, у такого парня отняли молодость! Учиться бы ему сейчас, любить... А тут...»

Комиссару трудно было сказать Жение, что и эту ночь ему спать не придется, а завтра на рассвете нужно будет отправиться за тридцать километров. Он спросил:

— Знаешь о событиях в Любовке и Косино?

Жения утвердительно кивнул головой и, немного подумав, сказал:

— Нужно газету выпускать, товарищ комиссар. Я тут уже немного подготовил, — и он достал из кармана несколько листов бумаги, исписанных мелким почерком.

Волна отцовской нежности к этому неутомимому юноше захлестнула комиссара. Он встал, сделал шаг к Жение, но сдержал свой порыв и, даже не спросив, когда же он успел сделать все это, просто сказал:

— Вот и хорошо. Садись. Почитаем, подумаем. Дopiшем остальное.

Через несколько минут появился Майборода. Коренастый, широкоплечий, с лицом, налитым здоровым румянцем, он был полной противоположностью Лубяну. Казалось, что в его сильном теле звенит каждый мускул, а в глазах никогда не гаснут искорки веселого смеха.

Лесницкий немного недолюбливал этого беззаботного шутника и фантазера. Майборода знал это и старался меньше попадаться комиссару на глаза.

Он с удивлением выслушал задание комиссара. До этого времени он был твердо уверен, что комиссар никогда не поручит ему серьезного дела, которое могло бы прославить его, ученика Андрея Буйского. И вдруг... Он сразу понял необычность и огромную важ-

ность задания — важнее этого, возможно, была только командировка Андрея Буйского в Москву — и растерялся от неожиданности.

Комиссар отрывисто спросил:

— Выполнишь?

— Я? Товарищ комиссар! Да я всех своими руками передавлю, как клопов.

— Ну-ну, начинается! — сурово перебил его Приборный.

Майборода понял свою ошибку, вытянулся, стал сразу серьезным.

— Выполню, товарищ комиссар. Все, как прикажете.

Лесницкий засмеялся:

— Садись. Обсудим детали.

Их разговор прервал быстрый конский топот. Все насторожилось.

Всадник резко осадил коня у самой землянки. Было слышно, как он соскочил на землю и как тяжело хрипела его уставшая лошадь.

Приборный хотел было посмотреть, кто приехал, но не успел. Низкую и узкую дверь землянки заслонила крупная фигура человека.

Все узнали Жовну и почему-то встали. Только Лесницкий продолжал сидеть и, улыбаясь, разглядывал нежданного гостя.

— Вот он, легок на помине.

...А через час, когда они вышли из землянки, Жовна отозвал Лесницкого в сторону:

— Есть одно важное дело, Павел Степанович.

Они сели на свежий бруствер окопа.

Жовна долго молчал, задумчиво постукивая хлыстом по голенищу сапога. Потом, подняв голову, пытливо посмотрел комиссара в глаза.

— Чи не думаете вы, Павло Степанович, що воны взяли мое имя, бо я беспартийный?

Лесницкий едва заметно улыбнулся:

— Не думаю.

— А я думаю, Павло Степанович. Бо воны хоч и дурни дурнями, но все же добре знают, що такому поклепу на коммуниста никто не поверит.

— Да откуда же пароду знать?

— Нет, не говорите, Павло Степанович. Народ, он хорошо знает, кто партийный, а кто — нет. — Жовна помолчал, потом добавил: — Не подумайте, Павло Степанович, что я только сейчас додумался... Не-е... Я ще до войны собирался... Но все спрашивал себя: «А достоин ли ты, Федор?» И все казалось, что не дорос еще... Как вы думаете?

— Думаю, что теперь уже дорос. Выполняйте задание, товарищ Жовна, и приезжайте на бюро.

Жовна с благодарностью пожал комиссару руку.

Мощный гул двух моторов мешал сосредоточиться, он словно заглушал мысли. Напрасно Николай старался заставить себя думать об одном, самом главном — о задании, о своей новой жизни, которая началась с той минуты, когда самолет оторвался от бетонной дорожки аэродрома и взял курс на запад. У него сильно забилося сердце, когда он увидел, что сигнальные огни аэродрома погасли.

«Когда я увижу их снова? — подумал он и почувствовал, что волнуется. — Плохо начинаешь, товарищ партизан, — укорял он себя. — Еще от Москвы не отлетел, а уже волноваться начал. А как же будет, когда выбросишься из этой кабины и будешь опускаться — возможно, прямо на голову врага?»

— Ну-ну, перестань дурить! — вслух приказал он сердцу и разозлился. — Перестань же, черт возьми!..

«Умение владеть собой — главное в вашей работе», — вспомнились напутственные слова генерала. «Самое главное. Да...»

По мере того как самолет набирал высоту, сердце начинало биться все чаще и чаще. Кровь стучала в виски, шумело в голове.

Николаю очень хотелось увидеть лицо спутника, узнать, как чувствует себя этот опытный разведчик. Но в кабине было темно.

«Сколько раз тренировался — и ничего. А тут... Что за черт? Неужели я трус? — От этой мысли он начинал еще больше волноваться. — Не умею, оказывается, владеть собой... Да, видимо, это не по горам лазить... Трус... Трус!..» Это слово, казалось, стучало в виски.

Николай закрыл глаза. В эти минуты он ненавидел себя.

«Дурак, столько добивался — и вот тебе...»

Прикосновение чужой руки оторвало его от мучительных мыслей.

— Маевский, спите?.. Смотрите, фронт! — Голос Буйского, перекрывший рев моторов, раздался у самого уха Николая.

Николай повернулся к окну и увидел впереди на земле огненный ручей. К югу ручей разливался в целое озеро — там шел ночной бой, била артиллерия, пылали деревни. В другой стороне было тихо, линия фронта терялась в черноте лесов, и только изредка тут, то там эту сплошную черноту прорезали разноцветные струи трассирующих пуль. Когда самолет пролетал над этим ручьем, нити трассирующих пуль протянулись к нему. Засверкали букеты разрывов; небо лизнул длинный язык прожектора.

— Бьют по самолету! — крикнул Буйский.

Николай оторвался от окна, когда под ними снова поплыла однообразная чернота почной земли.

«Земля, захваченная врагом», — подумал он и вдруг ощутил, что ни волнения, ни головной боли больше не чувствует, а с ними ушло и недовольство собой. Осталось одно только: ненависть к

врагу, та великая святая ненависть, которую испытывал в те дни каждый советский человек.

Маевский представил себе родную деревню и немцев в ней, отца с его ульями, которые, наверно, больше ему не принадлежат, сестру Татьяну и издевательства немцев над ней и чуть не застал от боли. Эта боль не оставляла его почти год.

Теперь ему уже не терпелось поскорее покинуть тесную казину, спуститься в родные леса, найти партизан и вместе с ними беспощадно уничтожать фашистов.

Он представил себе, как спасет Татьяну, отца, как приведет их к партизанам.

...Николай долго мечтал о партизанском отряде, долго добивался, пока наконец не добился своего.

На фронт он попросился уже на второй день войны, но в военкомате ему ответили, что геологическая разведка не менее важна, чем разведка войсковая. Скрепя сердце он согласился с этим. Но когда враг захватил его родной край и до Урала дошли первые вести о героической деятельности партизан, Николай с новой силой почувствовал, что его место там, с ними, в лесах родной Белоруссии. Он написал в ЦК, в Генеральный штаб, позднее — в Центральный штаб партизанского движения. Отослуду ему вежливо отвечали примерно то же, что и в военкомате. Он не отступал, и наконец лед тронулся... В феврале его вызвали в Москву, в ЦК, поговорили с ним и направили в специальную школу.

Три месяца он учился там старательно и терпеливо, вдохновленный уверенностью, что из школы есть только один путь — на запад, через линию фронта, в тыл врага.

Пять дней назад курсанта Маевского вызвали в Центральный штаб. Принял его заместитель начальника штаба и сразу же познакомил с молодым человеком в штатской одежде, который сидел в мягком кресле и читал журнал.

— Знакомьтесь, Андрей Буйский... Разведчик партизанского отряда «Днепр», которым командует Приборный. Знаете Сергея Федотовича Приборного? — Генерал хитро сощурился.

— Председателя райисполкома? — удивился Николай и обрадовался внезапной догадке. — Как же не знать? Да он был председателем еще в то время, когда я учился в средней школе.

— Вот и хорошо... Старые знакомые, значит. Полетите с товарищем Буйским в свой район, в бригаду Приборного. Им сейчас очень нужны хорошо подготовленные люди.

В тот же день Николай переселился из школы в гостиницу, где жил Буйский. Партизан сразу понравился Маевскому эрудицией ученого и пытливостью разведчика. Но сойтись с ним ближе, познакомиться Николай так и не успел. Буйский уходил утром и возвращался, утомленный, поздно вечером. Куда он ходит и что он делает — Николай не спрашивал, чувствуя, что это тайна разведчика. За пять дней он только всего и узнал, что Буйский находится в Москве приблизительно столько же времени, сколько и он,

Маевский, что он в совершенстве владеет немецким языком и что именно это обстоятельство позволило ему пробраться в Москву. Но Николай не знал, что все эти месяцы, вплоть до последнего дня, Буйский, так же как и он, а может быть, и более напряженно, учился и что сейчас он возвращается обратно во вражеский тыл разведчиком большого масштаба, с чрезвычайными заданиями.

...Пилот дал сигнал подготовиться. Николай встрепенулся. Так быстро? Он нагнулся, зажег карманный фонарик, посмотрел на часы — они летели два часа.

Буйский встал, отыскал его руку, крикнул:

— До встречи на земле!

В этот момент пилот подал новый сигнал. Буйский схватил наушники шлемофона.

— На земле два условных сигнала вместо одного. Что будем делать?

Андрей передал это Маевскому и, подумав, крикнул и ему и пилоту:

— Прыгаем! Между двумя огнями. Местность знаем оба. — И выпрыгнул первым.

Николай выбросился вслед за ним — спокойно, выполняя все правила, которым его учили в школе во время учебных полетов.

Самолет сделал над ними круг, прощально мигнул сигнальными огнями и, набирая высоту, полетел обратно.

Земля казалась черной и неуютной. На мгновение стало страшно спускаться в эту черноту. А тут еще огни с двух сторон. Ясно, что возле одного из огней — враг. Но возле какого? Николай снова почувствовал, что волнуется.

Приземлился он удачно — на небольшую лесную полянку. Правда, парашют зацепился за сучья и Николай два раза ударился о сосну, но это, вероятно, и смягчило приземление. Не медля ни минуты, Николай обрезал стропы и отскочил в сторону. Прислушался. Вокруг было тихо, только шумели деревья — будто перешептывались между собой тысячи людей, и шепот этот сливался в один однообразный и могучий шум. По этому шуму Николай понял, что находится в гуще большого соснового бора. Немного подождав, он крикнул по-совиному — дал условный сигнал Буйскому. Ночной лес поглотил этот грустный звук. Он крикнул еще несколько раз. Снова тихо. Где же искать Буйского? Как пробраться к Лосиному острову? В детстве он слышал о нем, но дороги туда не знал. Придется, наверно, идти на запасную явку. «Что ж, это еще лучше, сразу узнаю о своих», — обрадованно подумал он, вспомнив слова генерала: «Ореховка. Степанида Зайчук. Только ночью». У него и тогда радостно забилося сердце — ему так хотелось, чтобы это и была главная явка, чтобы можно было сразу прийти к тетке Степаниде, в родную деревню, и все узнать о близких: об отце, Татьяне, об Алене. Он и гордился тем, что старая колхозница выполняет такие, чрезвычайной важности,

партизанские задания, и одновременно волновался и ревниво жалел, что явку устроили у Степаниды, а не у его отца.

Но чтобы определить, как добраться в Ореховку, нужно было ждать утра, и Маевский, отойдя в сторону от места посадки, улегся под густой елью и беззаботно уснул.

Проснулся он, когда уже взошло солнце и лес наполнился веселым щебетом птиц. И на душе у него было тоже светло и радостно. Наконец-то он в родном лесу, недалеко от родной деревни, от семьи, от партизанского отряда. Остается только установить свои координаты или, может быть, опознать место — и можно отправляться в деревню.

Он пошел по компасу на запад, не думая об опасности, чувствуя себя полным хозяином в этом лесу.

Николай часто останавливался, с интересом оглядывал могучие ели и дубы, слушал пение птиц и время от времени мастерски передразнивал их. Он с детства отличался необыкновенной способностью к звукоподражанию, но в последние годы не было ни времени, ни настроения заняться этой когда-то любимой забавой, и теперь он с удовольствием прислушивался сам к себе. Вспоминая свое душевное состояние и мысли в первые минуты полета, он удовлетворенно улыбнулся. «Ничего, Николай Карпович! Ей-же-ей, из тебя неплохой партизан выйдет».

И вдруг он метнулся в сторону, спрятался за толстый дуб и выхватил из кармана пистолет.

Из-за другого такого же дуба за ним следила пара настороженно блестящих глаз. Он заметил их, не дойдя двадцати — двадцати пяти шагов до дерева.

Николай стоял неподвижно, прислушиваясь к сильным, частым ударам сердца, и обдумывал, как поступить.

«Досвистался, черт возьми...»

Впереди крикнули:

— Эй, ты, там, за дубом! Выходи! Нас больше! — и из-за деревьев на мгновение высунулись три головы.

Николай молчал.

— Товарищ, брось дурака валять. Мы свои и ищем тебя. Я — командир одного из отрядов бригады Лесницкого, — произнесший это человек смело вышел из-за дуба, супул немецкий парабеллум в кобуру.

— Пароль? — сурово спросил Маевский и, выглянув из-за дерева, направил на него пистолет.

Человек бросился за дуб и злобно выругался.

Николай сильнее сжал в руке пистолет. Тут что-то не так. Ищут его, а сами не знают условного пароля? Он понял, что перед ним враги.

«Будьте очень осторожны, когда расстанетесь с Буйским», — вспомнил он предупреждение генерала. «Пожалуй, тут всегда нужно быть осторожным. С Буйским и без Буйского. Вот и сейчас обмозгуй, как выкрутиться».

А перед ним был действительно враг, и враг серьезный. Человек, назвавший себя командиром партизанского отряда, на самом деле был Гансом Гопкелем, главарем бандитского отряда «Кугель» («Пуля»). Визенер лично руководил ежедневными операциями этого отряда, сам планировал очередные провокационные налеты.

Гопкель был немец-колонист с Украины, давний агент немецкой разведки. Но лет за шесть до войны оборвались нити его связей. Советской контрразведкой были арестованы все связанные с ним лица. Испуганный, раздавленный морально, он притаился и с ужасом ждал ареста. Ему повезло. Но гитлеровское правительство не могло простить ему шестилетнего бездействия. После вторжения фашистов в СССР ему пришлось долго пресмыкаться, выполнять самую черную работу, самые грязные задания. Назначение его командиром отряда «Кугель» открыло наконец перед ним большие возможности — он надеялся оправдаться перед начальством, доказать, что он стоит большего, чем оно предполагает.

Прошлой ночью Визенер по телефону сообщил Гопкелю о том, что партизаны в лугах раскладывают огни, — судя по всему, ждут самолет, — и приказал ему выложить такие же огни на Пригарском поле. Ночью они действительно слышали самолет, который кружил над лесом, — по-видимому, сбросил парашютистов.

Утром они начали поиски.

И вот совсем случайно, возвращаясь из штаба Визенера в лагерь, он встретил свое счастье, свою карьеру — парашютиста.

Гопкель сразу понял, что это тот, кого он ищет, и решил назваться партизанским командиром. Ему нужно было захватить парашютиста живым, но брать его силой не хотелось. Он в сто раз лучше любого Визенера знал характер людей, которым партизанское командование поручает ответственные задания, недаром же он изучал их чуть ли не четверть столетия.

Но первая его хитрость не удалась. Парашютист оказался более умным и опытным, чем он предполагал. Гопкель спрятался за дуб и напряженно соображал.

За вторым дубом стояли двое — Петро Майборода и Матвей Кулеш.

Когда Маевский на мгновение показался из-за своего укрытия, Кулеш наклонился и таинственно прошептал:

— А я знаю его.

Майборода насторожился.

— Он из нашей деревни. Маевский — его фамилия. Его батька и сестра двух полицаяв зимой уколошили и убежали к партизанам. Слышал, может? А он — инженер. До войны, говорили, где-то на Урале работал.

— Ну и что с того? — раздраженно спросил Майборода. За четыре дня он люто возненавидел этого человека, всегда появлявшегося перед ним в самые ответственные и критические минуты со своей лстивой, омерзительной улыбкой.

Даже и здесь Кулеш умудрился стать с ним за одно дерево, и теперь Майборода с отвращением ощущал его дыхание на своем затылке. От этого дыхания по телу Майбороды пробегала неприятная нервная дрожь. Он хотел было оттолкнуть его от себя, подставить под пулю незнакомца, но последние слова Кулеша остановили его. Майборода сразу забыл о его омерзительном дыхании — стало не до того. В душе хлопца поднялась буря.

«Брат Татьяны... Сын Карпа Маевского. Татьяна рассказывала о нем... Как же он попал сюда? Неужели на самом деле ночным самолетом? Ну, врешь, Ганс Гопкель! Пока я тут живой — твои штучки не пройдут».

— Слушай, товарищ, — крикнул в этот момент Гопкель, — пароль нам еще не принесли! Нам сообщили по телефону, что вы спустились в нашем районе. Мой отряд в полукилометре отсюда. Тут — партизанская зона. А взять вас мы все равно возьмем, живого или мертвого, будьте уверены. Нас четверо тут. И через две минуты после моих первых выстрелов здесь будет до полсотни всадников. Давайте лучше по-мирному.

Маевский молчал.

Тогда заговорил Майборода:

— Николай Карпович! Брось ты, правда, ломаться. Своих не узнаешь, что ли? Вот твой односельчанин Матвей Кулеш, — и он вытолкнул Кулеша из-за дуба, потом вышел сам. — А вот и я, твой старый приятель. Узнал? На одной парте сидели, а ты уже забыл. Зазнался, лихо на тебя!

Николай не знал этого краснощекого парня, который был заметно моложе его, но Кулеша узнал сразу и вышел, держа пистолет в руке.

Гопкель даже крикнул от удовольствия. Этот парень — просто клад. Напрасно он, Гопкель, не доверял ему, а вчера, за выпивкой, даже ударил, когда тот очень уж назойливо начал предлагать, как поймать Лесницкого: у Гопкеля тогда зародилось серьезное подозрение. Но теперь... Теперь хотелось расцеловать Майбороду. «Помогай, помогай, Борода, твоей услуги я не забуду».

Гопкель первый протянул Маевскому руку.

— Федор Яковна, командир отряда.

— Маевский, партизан отряда П.

Гопкель лукаво прищурился, погрозил пальцем.

— Знаю. Но пошли в лагерь. Там и поговорим.

Майборода подхватил Николая под руку.

— Да ты как будто все еще не узнаешь меня? Микола! Проспись, черт! Петьку Майбороду не узнаешь? Вот тебе и на! Да мы когда-то еще соперниками были. Забыл? За Ленкой Зайчук стреляли. Помнишь? Но ты победил меня. Ты всегда у баб успехом пользовался! — Майборода весело захохотал.

Николай пристально посмотрел в глаза Майбороте, недвусмысленно давая понять этим взглядом, что он, Николай, абсолютно уверен в том, что они видятся впервые.

Майборода сверкнул глазами в сторону Гопкеля и незаметно приложил палец к губам: молчи и соглашайся.

Николай насторожился еще больше. Каким-то внутренним чутьем он понял необходимость подчиниться этому веселому, разговорчивому хлопцу с ясными глазами.

— Эй, ты! — крикнул Гопкель Кулешу, таинственно подмигивая при этом (от Николая не ускользнуло это движение глаз). — Беги скорей в лагерь. Скажи, чтоб нам хорошее угощение приготовили. Быстрей только.

Кулеш исчез за деревьями.

Майборода с силой сжал локоть Николая и замедлил шаг, дав возможность Гопкелю опередить их.

— Да... Ну, давай, друже, закурим для встречи. Затянемся, чтоб дома не журились. У тебя небось махорочка есть? Есть? Что же ты молчишь, лихо на тебя? У меня аж душа завяла. Уж и не помню, когда курил. Доставай скорей!

Николай достал махорку. Майборода вытащил из кармана припасенную на курево немецкую газету. Они остановились, чтоб свернуть сигарки. Дали закурить молчаливому человеку, который все время шел сзади, и пропустили его вперед. Поднося Николаю зажигалку, Майборода прошептал:

— Немец. Я — его. Вы — этого.

Гопкель остановился и подождал их, но, когда они приблизились, повернулся и пошел дальше. Его спутник свернул с тропинки и подождал, пока они пройдут мимо, чтобы снова быть позади них. По-видимому, начальник знаками приказал ему следовать сзади.

Поравнявшись с ним, Майборода толкнул Николая локтем.

— Ну?

Они выхватили пистолеты и выстрелили одновременно.

Гопкель круто повернулся, вытянул руки и пошел на них. Майборода еще раз выстрелил ему в грудь. Бандит упал.

— Николай Карпович! Бегите. И будьте осторожны. Вы чуть было не попали к немцам. Быстрей! Я буду стрелять... по вас.

Николай быстро сбежал с тропинки, тут же скрылся в густых зарослях осинника.

Майборода торопливо обшарил карманы убитых, забрал у Гопкеля какие-то бумаги, брезгливо поморщился.

— Допрыгался, сукин сын.

Потом, став за дерево, бросил в чашу гранату, дал автоматную очередь.

— Чисто сработано, товарищ Майборода.

Партизан едва не закричал от неожиданности и круто повернулся. Перед ним стоял Матвей Кулеш с угодливой улыбкой на побледневшем лице.

Майборода рванул автомат.

Кулеш подскочил к нему, схватил за руки.

— Что ты, что ты! Я — свой... свой! — Лицо его еще больше побледнело, и он весь дрожал как в лихорадке. — Эх, ты! Своих не узнаешь! Да если бы я тебя продать хотел, давно продал бы. Я заметил тебя еще тогда, когда вы с Лесницким на похороны приходили в Ореховку. Зимой, когда немцы расстреляли семьи. Помнишь? А сейчас! Я ведь за сосной стоял и все видел. Одним выстрелом мог бы тебя...

Аргумент был убедительный. Действительно, мог продать, убить, а не продал, не убил. Значит, можно верить. И Майборода опустил автомат, схватил Кулеша за ворот, притянул к себе и, оглядываясь, торопливо зашептал:

— Если так, тогда слушай. Беги сейчас же на Клецов хутор. Третья хата от леса. Найдешь там дивчину. Да ты знаешь ее... Люба Кучерявенко. Передай: через два часа я выведу эту банду к Белой протоке. Понял? Смотри! Если что — из-под земли достану! На кусочки разорву! От меня ты нигде не спрячешься...

Появились первые бандиты — одни верхом, другие пешие. Кричали и стреляли в белый свет, по невидимому врагу.

Майборода остановил эту бессмысленную стрельбу.

— Прекратить огонь! Куда палите, сволочи? — крикнул он и, выйдя из-за дерева, подошел к телу Гопкеля, медленно снял шапку.

Бандиты тоже снимали шапки. Он поднял голову, обвел их тяжелым взглядом и глухо сказал:

— Пьяницы несчастные! Сколько вас нужно было ждать! Пол-часа прошло! Визенер душу из вас вытянет, — и, выругавшись по-немецки, круто повернулся и быстро пошел по направлению к лагерю.

Они проводили его испуганными взглядами, потом переглянулись. Кто-то тяжело вздохнул:

— Эх, жизнь паша копеечная!

Другой голос предложил:

— Пошли, хоть самогонку допьем.

В лагере они слышали, как Майборода говорил по телефону. Никто не заметил, что телефонный провод был перерезан, а так как ни один из них не знал немецкого языка, они так и не догадались, что Майборода бросал в трубку случайные, не связанные между собой слова, которым когда-то научился у Буйского. Но тот факт, что Майборода разговаривает с Визенером по-немецки, окончательно убедил их в том, что он — агент Визенера и теперь будет их командиром. Поэтому никто из них не возразил ни слова, когда Майборода встал перед ними и отрывисто сказал:

— Эй вы! Лягушатники! Сони! Слюнтяи! Пьяницы! Визенер передал, что всех повесит, если мы не поймем парашютистов. Далеко они не убежали. Командовать отрядом комендант приказал мне. — Многозначительно помолчав, он громко скомандовал: — По коням! — и повел их.

Матвей Кулеш выполнил задание Майбороды. В этом был точный расчет предателя. Визенер силой отправил его в особый отряд, принудил ежедневно рисковать жизнью. А разве для этого он пришел к фашистам в первые дни оккупации и предложил свои услуги? Нет! Он сделал это для того, чтобы спасти свою жизнь, иметь возможность жить тихо и спокойно. Он хочет служить, работать, но только так, чтоб никто, ни один человек, не знал об этом, чтобы на всякий случай он так и оставался в глазах односельчан просто Матвеем Кулешом, незаметным, маленьким человеком, обыкновенным крестьянином. А разве он мало сделал для захватчиков, работая так? Так нет же, мало ему, этому ненасытному Визенеру! Ему захотелось, чтобы Матвей Кулеш вместе с этими «зайцами» — полицейскими разъезжал по деревням, убивал людей, чтобы все его видели и чтобы за ним начал охотиться сам Лесницкий. А от такого охотника не убежишь, не спрячешься — Кулеш хорошо это знал, и при мысли об этом ужас сковывал его сердце. Но и отряд бросить он не решался — боялся, что Визенер найдет его и повесит. И он мучился сомнениями, не умея найти выход. Появление в отряде Майбороды обрадовало его. Кулеш разгадал маневр партизан и не выдал их разведчика. Он хотел убить двух зайцев сразу: освободиться от отряда и заслужить доверие партизан. И он ни на шаг не отставал от Майбороды, следил за ним день и ночь, искал случая поговорить с ним, упорно добивался его доверия...

Хитрость выручила его еще раз. В то время, когда его дружки, как глупых баранов, повели под пули, он, Матвей Кулеш, стал связным — своим человеком у партизан. Ловко!

Матвей Кулеш от радости безжалостно бил коня рукояткой пистолета и что-то беззвучно напевал.

Передав удивленной Любе все, что приказал ему Майборода, и отдав ей, по ее требованию, коня, Кулеш изо всех сил бросился бежать обратно. Восемь километров он пробежал за час и, обессиленный, упал на пороге кабинета Визенера.

— Господин комендант! Спасайте, спасайте отряд, — едва переводя дыхание, сказал он и бессвязно рассказал об убийстве Гопкеля, о парашютистах и Майбороде — естественно, не совсем так, как это происходило на самом деле. — Ну вот, и повел он нас, будто бы по вашему приказу, ловить парашютистов. И завел в такую чащу, что у меня волосы дыбом встали. Тут я и почувствовал недоброе... Отстал, незаметно слез с коня и удрал... К вам прибежал... Нет, нет, господин комендант, клянусь вам... я не вру. Может быть, я ошибся, но... клянусь! — закричал он, увидев, что Визенер вздрогнул, тяжело поднялся и направился к нему.

Но Визенер не тронул его. Он подошел к окну и долго молча смотрел на лес.

Кулеш успокоился, осмелел и прошептал:

— Нужно послать солдат, господин комендант.

Визенер повернулся — лицо его было перекошено.

Кулеши в испуге отшатнулись.

— Es ist spät!¹ — выкрикнул Визенер, сел на диван и, сжав ладонями виски, прошептал: — Spät, spät!

...И действительно, было поздно.

Полтора часа Майборода водил отряд по лесу, а затем вывел его в приднепровские луга, к Белой протоке. Это была узкая полоса воды, отделенная с одной стороны от реки полуостровом, похожим на вытянутую подкову.

— Напоить коней! — приказал Майборода и завел отряд на полуостров.

А как только бандиты, обрадованные тем, что вырвались наконец из леса, соскочили с коней, чтобы размять ноги, сзади, из лозы, нежданым смертельным ураганом налетели на них конники Жовны.

Заблестели под июньским солнцем веселые зайчики на клинках.

Рубили беспощадно.

Ни один из тридцати семи бандитов не успел даже сделать выстрела или бросить гранаты. Несколько человек бросились в Днепр. Их расстреляли из винтовок. Через пять минут все было кончено. Федор Жовна вытер саблю о гриву коня.

— Це вам за муки людей наших, за кровь, що вы пролили, за слезы, за издевательство над моим именем. Земля вам колом и вечное проклятие! А тоби, братку, от души спасибо, — обратился он к Майборде и крепко пожал ему руку.

Дождавшись на лесной опушке ночи, Николай Маевский ползком пробрался к хате тетки Степаниды.

Старуха встретила его, как родного сына, со слезами радости, поверила ему без всяких паролей и сразу же начала кормить и рассказывать о родных. Он жадно ловил каждое ее слово и с аппетитом поглощал холодную картошку с кислым молоком.

В полночь Степанида куда-то сходила и привела Настю Зайчук, которая, увидев Николая, сначала растерялась, потом обрадовалась и обняла его просто и искренне.

Степанида смотрела на них с умилением.

— Ну, поняла теперь, для чего тебе приказали быть все время при мне? Вот. Надо вести его на Лосиний.

— Вы одни, Николай Карпович? — спросила Настя.

— Нет. С одним товарищем. С Буйским. Знаете?

— С Андреем? — Настя на мгновение замерла. — Где же он? Николай коротко рассказал, как он потерял Буйского.

Часа в два они вышли.

Был конец июня, стояли самые короткие летние ночи. Уже через час небо на северо-востоке начало светлеть и серебряная по-

¹ Поздно! (нем.)

лоса поползла к востоку, постепенно расширяясь, розовея. Лес оживал. Первыми затрепетали чуткие листья осины. Но все еще молчали величественные дубы. Умолкла сосна. Летом, в безветрие, сосна шумит ночью и стоит неподвижная в жаркие дни.

Воздух струился широкими потоками: то теплый, напоенный запахом смолы и ароматом трав, то влажный, пахнущий болотной гнилью, наполняющий грудь неприятным холодом.

Допевали свои ночные песни соловьи. На сухих вершинах дубов просыпались и недовольно каркали вороны.

Николай и Настя шли молча по едва заметной тропинке сквозь чащу орешника.

Николай с радостью узнавал места, по которым они проходили. С каждым из них были связаны волнующие и счастливые воспоминания детства. Особенно хорошо помнил он этот старый лес: могучие ели, дубы и березы, а под ними — густой орешник. Место тут неровное — то высокая горка, то глубокая низина; славилось оно орехами, грибами, ягодами.

В предрассветном мраке белели на соснах раны старой подсеки. Николаю почему-то стало по-детски жаль этих старых пораненных сосен.

Вот знакомая поляна. За ней — молодой ольшаник. Они вышли на просеку, разделявшую лесные кварталы. Над головой пролетели утки, наполнив воздух шумным свистом крыльев. Звучно шлепнулись на болото в ольшанике, закрикали.

Настя остановилась, дождалась Николая.

— Что ж это мы молчим? — спросила она.

— Я сам удивляюсь, почему это ты молчишь, такая говорунья, — ответил он.

Настя негромко засмеялась.

— Думаю.

— Интересно, о чем?

— Мало ли о чем может думать человек, а такой, как я, да еще в такое время, — особенно.

Николай поравнялся с ней, и они пошли рядом. Он почувствовал у своей руки ее теплую руку, и теплота эта приятным волнением разлилась по всему телу. Он замедлил шаг, но разговор все равно не клеился. Николай пошутил:

— Что ж, ты будешь молчать, а я буду слушать? Интересное занятие — нечего сказать!

— А я не люблю говорить, я люблю петь. Вот и сейчас мне хочется петь. Знаете, у меня на сердце сейчас так весело и хорошо. Ну, прямо душа поет!

— Я что-то не вижу причин для такой радости, — усмехнулся Николай.

— А я вижу. Да как не радоваться, скажите! Если бы вы знали, как чудесно жить, жить и бороться. Бороться и... — Она сделала паузу, потом выдохнула: — Любить...

— Понятно, — с насмешливой серьезностью ответил он, — Да,

причина серьезная, чтобы радоваться. Влюбленному всегда хочется обнять весь мир. Но сейчас обнимать его не стоит. В объятия могут попасть враги. Радуйся про себя...

— А я хочу, чтоб радовались все.

— А если у меня нет причин для этого?

— Значит, вы плохой человек.

Николай не мог ответить на эти простые слова и промолчал. Замолчала и Настя. Но скоро она снова заговорила:

— Я не люблю людей, которые вешают нос. Грусть рождает неуверенность в своих силах и даже, если хотите знать, трусость. Не спорьте со мной, пожалуйста. Я вот расскажу вам... С того дня, как расстреляли семью... Вам рассказывала Степанида? Так вот... моя мама не дает детям оставаться на ночь дома. Зимой разводила по соседям, а теперь в хате и вовсе никто не спит — спят где попало: в саду, в сарае, на чердаке... И этот ежедневный страх, постоянное ожидание смерти — страшнее всего... Сам себя начинаешь ненавидеть... Ух как глупо и отвратительно! Я не хочу так жить! И не буду! — повысила она голос, и щеки ее покраснелись, под легкой кофточкой затрепетала высокая девичья грудь. — Разве это жизнь? Я и маму за это не люблю... И как я рада, как я рада, что в такое время полюбила! Знаете, в душе такое сейчас... Наплевать мне на смерть! — но, взглянув на Николая, она осеклась. — Что вы смотрите на меня так? — И, помолчав, добавила с обидой: — Эх, вы! — и, выпустив его руку, снова пошла вперед.

Николай понял смысл этого «Эх, вы», и ему стало стыдно. Он догнал ее и попытался сгладить неловкость шуткой:

— Интересно, в какого же счастливца ты влюбилась?

Настя сверкнула красивыми глазами и переменяла тему разговора.

Но он еще долго думал об этом.

«Как это хорошо у нее: «Жить, бороться и любить...» Да... Бороться и любить», — несколько раз повторил он про себя эти три слова, и у него стало светлей на душе, как будто он вдруг сразу постиг истину, на выяснение которой он потратил много сил и времени.

В девятом часу утра они подошли к Лосипому.

День начинался ясный, жаркий — ни облачка на небе, ни дуновения ветерка. Жаждающие влаги деревья опустили листья.

У речки их остановил часовой, но, узнав Настю, сразу пропустил, шепнув ей что-то на ухо. В ответ она задорно засмеялась.

В лагере было тихо и безлюдно. Никого больше не встретив, они прошли в самый центр лагеря и остановились у землянки-госпитали.

— Ну, кого-то мы сейчас увидим, — улыбнулась таинственно Настя.

Николай с интересом оглядывал лагерь. В этот момент двери землянки открылись, и он увидел сестру. Татьяна держала на руках черноволосого, кудрявого мальчугана и, наклонившись к нему,

что-то с улыбкой говорила. Она не замечала Насти и брата до тех пор, пока не поднялась на последнюю ступеньку лестницы. Татьяна не поверила своим глазам и остоленела от удивления.

— Ну вот, говорила я! Целуйтесь же скорей! — радостно засмеялась Настя.

Только тогда Николай бросился к сестре, схватил одной рукой мальчугана, другой обнял ее.

— Коля, родной! Откуда ты? Как ты попал к нам? — плакала и смеялась Татьяна.

Услышав шум, из землянки выскочила Люба, бросилась к Николаю и крепко его обняла.

— Так вот он — представитель! — воскликнула она и, взяв его за руку, закружила вокруг себя.

— Так это ты? Ты — представитель? — спрашивала Татьяна.

Она не думала раньше, что представителем будет Николай; и Буйскому, и Майбороде Лесницкий приказал пока что не называть имени представителя — не хотели волновать раненого Карпа Мавевского, да и вообще считали самым благоразумным молчать о нем, пока он где-то блуждает.

— А тебя весь отряд ищет. И комиссар пошел, и командир, и Андрей. Все, все...

Вокруг них собрались партизаны.

Николай увидел их приветливые, светлые улыбки, радостные лица и почувствовал себя счастливейшим человеком. А когда из землянки вышел отец с забинтованной головой и, молча обняв сына, заплакал, Николай тоже не смог сдержать слез.

Только один человек не вышел навстречу гостю — врач Алена Григорьевна Зайчук. Увидев его через открытую дверь, услышав знакомый голос, она зашла за перегородку и, побледнев, неподвижно стояла в углу. В эти минуты перед ней, как на экране, проплыла вся ее жизнь, ее любовь, ее молодость.

...Началась она, их любовь, еще в девятом классе, когда они сидели на одной парте. С чего началась — трудно сказать. Они ходили в школу за семь километров. И вот в один из дней, когда других учеников из их деревни в школе не было и они возвращались домой вдвоем, Николай начал говорить о своей любви. Говорил он, правда, очень туманно и ни разу не упомянул слова «любовь», но она поняла все. Тогда Алена ничего ему не сказала, но с того дня смотрела на него совсем другими глазами. И началась для них не жизнь, а сказка, песня. Что им было до насмешек товарищей и взрослых! Они слушали и только радовались, что люди говорят о их любви. Они считали свою любовь необычной, самой красивой и лучшей на свете.

Так прошло полтора года. Потом разъехались: она уехала в Минск, он — в Ленинград. Четыре года они жили письмами и ожиданиями летних каникул, радостных встреч в Ореховке. Последние каникулы были самыми счастливыми, светлыми днями их жизни. Но когда он уехал на Урал, на работу, письма стали при-

ходить все реже, становились все холоднее, в одном из них он как-то написал об одной девушке-геологе из их партии, пожаловался, что с трудом вспоминает лицо Алены, движения, голос. Все больше места в его письмах занимали его дела — незнакомый ей мир геологических изысканий. И она — сперва невольно, потом нарочно — стала отвечать ему короткими, сухими записками, в которых он мог бы, если бы захотел, прочесть отчаяние, беспокойство за будущее, гаснущую надежду. Но он ничего не замечал или не хотел замечать. Оскорбленная, она не ответила на одно письмо, показавшееся особенно равнодушным, потом на второе... Переписка оборвалась. И вот теперь судьба свела их снова. Они должны встретиться. Как?

В землянку ветром влетела Люба.

— Где Алена? Что это ты стоишь тут в углу? Не слышишь ничего, что ли? Николай Маевский пришел. Это ж он прилетел с Андреем. Идем скорей! А то в землянке тут ничегошеньки не видно. — И с веселым смехом она схватила растерявшуюся Алену за руку и почти силой вытащила на улицу.

Алена взяла себя в руки, спокойным движением поправила смявшийся халат и тихо поздоровалась:

— Доброе утро, Николай Карпович. И вы к нам?

Он не удивился, когда увидел Таню, Любу, так как знал, что они тут, — о них рассказали ему Степанида и Настя. Об Алене же никто ничего не сказал, и встреча с нею взволновала его не меньше, чем ее.

«Так вот тут что», — вспомнил он слова Майбороды и протянул ей руку.

— Доброе утро, Лена.

Он сказал это так, как будто они расстались накануне вечером, и вдруг, неожиданно для самого себя, а еще больше для нее, обнял и поцеловал ее в губы.

Она освободилась из его объятий. Густая краска залила ее лицо. Чтобы скрыть свое смущение, она шутливо сказала:

— Хватит вам угощать его одними поцелуями, — и пошла в землянку.

Вскоре все они сидели за столом в тени горбатого дуба-великана.

На столе стояло все лучшее, что нашлось на продуктовом складе: сало, лук, банка рыбных консервов и даже большая черная с серебряной головкой бутылка «Советского шампанского».

Вокруг, под деревьями, стояли партизаны, главным образом молодежь.

Николай оглянулся и удивился: какой мирной и радостной выглядела эта встреча. Все вокруг смеялось: и тонкие лучи солнца, пробившиеся сквозь листья дуба, и деревья, и люди. Совсем не верилось, что еще вчера утром он так близко заглянул в лицо смерти, а все эти девушки и юноши каждый день встречаются с нею.

Он вспомнил, что почти вот так же собирались они в Ореховке,

у них в саду, когда он приезжал на каникулы. Вот так сидела Таня, так же громко смеялась Люба — тогда еще совсем девчонка, и так же задумчиво улыбалась Лена. Над столом звенели пчелы, привлеченные запахом меда. И прямо на стол падали с яблони золотые спелые яблоки.

Татьяна, по-видимому, тоже вспомнила те встречи. Она наклонилась и тихо, но так, чтобы слышала Алена, спросила у брата:

— Помнишь, как мы собирались в нашем саду? — и вздохнула. — Вырубили наш сад...

Люба возмутилась:

— Что вы там шепчетесь? Где больше двух — говорят вслух. Ешьте-ка лучше быстрее, да пусть он начинает рассказывать. Сколько людей ждет!

Николай улыбнулся.

— О чем мне рассказывать? Вам, поди, Андрей уже все рассказал.

— Да мы его еще и не видели как следует. Он пошел тебя искать. Нет, ты нам обо всем расскажи: о Большой земле, о Москве, о делах на фронте.

— Трудно рассказать обо всем сразу, друзья мои. Много времени нужно для этого.

— Вы скажите, очень они Москву разрушили? Они кричат тут, что всю в руины превратили, — спросила незнакомая девушка и, покраснев, объяснила, как бы оправдываясь: — Я в Москве училась.

Николай оглядел своих притихших слушателей. Пытливые, ждущие молодые взгляды скрещивались на нем, счастливом человеке, который еще два дня назад был в Москве.

Он понял чувства партизан.

— Я в Москве бывал и раньше. И теперь вот почти всю зиму жил там, но разрушений никаких не видел. Все на своем месте. Дворцы, метро, Кремль. Сердце нашей Родины бьется ровно, уверенно.

— А правительство вернулось в Москву? — спросила Алена.

— Комитет Оборона все время был в Москве.

— А что ты делал в Москве всю зиму? — спросила Люба.

Николай улыбнулся.

— Учился партизанить.

— Прилетел бы к нам — мы бы тебя быстрее научили...

— Шутки шутками, друзья. Но скажу вам по секрету: большие дела там делаются. Могу вас заверить, близок день, когда и у нас будут садиться самолеты, когда мы получим не только винтовки, автоматы, патроны, но пушки, возможно, даже и танки. Все будет, друзья мои. Все! Весь народ поддерживает нас. Наши земляки шлют вам искренние горячие приветы. Дней пять назад, перед вылетом к вам, у меня была одна необыкновенная встреча — встреча, которую я всю жизнь не забуду. — Николай отодвинул тарелку и повернулся к большой группе слушателей.

В этот момент налетел ветерок, колыхнул сосны. Николай посмотрел вверх, и все перевели туда свои взгляды.

— Как я рад, друзья мои, что я на родной земле, что слышу шум вот этих сосен! Великий земляк наш, с которым я встретился, весь вечер с огромным волнением и нежностью говорил мне о родном крае и, между прочим, о шуме родных лесов. Сердце его рвется сюда, под эти сосны. Только возраст не позволяет ему быть среди нас.

— Кто? — тихо спросила Татьяна.

— Купала. Я встретился с ним в гостинице. Узнай его по портретам, поздоровался. Он обрадовался земляку. Наш вылет держался в секрете, но ему я не мог не сказать, что лечу в родной край. Как он обрадовался, если бы вы видели! На прощание он обнял меня и сказал: «Летите, сыны мои, поднимайте народ! Надеюсь, верю, что в скором времени встретимся в Минске». И подарил мне два своих стихотворения. Вот послушайте.

Он достал из сумки старательно завернутые в непромокаемую бумагу листки с текстом стихов. Все придвинулись ближе к столу. Он поднялся и снова вспомнил, что там, в отцовском саду, он всегда читал стихи. Но то были стихи о весне, о цветах, о любви и голубых девичьих глазах, читать их было легко и радостно. А тут его голос в самом начале задрожал, постепенно наполнился звонким сталью:

Партизаны, партизаны,
Беларускія сыны!
За няволью, за кайданы
Рэжце гітлерау паганых,
Каб не ускрылі век яны.

Он сделал паузу, глубоко вздохнул и посмотрел на партизан. Они застыли в напряженном молчании, жадно ловя каждое слово. Только сосны шумели под свежими порывами ветра.

Он читал дальше не останавливаясь. Но когда дошел до слов: «Смерть за смерть и кровь за кровь», кто-то громким шепотом повторил эти слова. Все обернулись и увидели незаметно подошедших Евгения Лубяна и Приборного.

Николай узнал председателя райисполкома и потянулся ему навстречу — поздороваться, доложить. Но Приборный остановил его:

— Читайте до конца, Николай Карпович.

Снова зазвучал взволнованный голос Николая:

Так ад нечыспяў ачысім
Нашы нівы і лясы,
Фашыстоўскіх псоў панішчым,
І схінуцца, як калісьці,
Для нас нашы каласы.

— Зашумят колосся! — подхватил Приборный. — Еще как зашумят! Полетишь снова в Москву — так и передай дорогому Ку-

пале. А теперь поцелуемся, крылатый вестник радости. Мы тебя два дня искали. — И командир бригады обнял Николая.

IX

Работа санитарки не удовлетворяла Татьяну. Она чувствовала в себе неведомую доселе силу, душевный подъем, и ее беспокойное сердце жаждало подвига. Ей казалось, что она ничего еще не сделала для победы, завидовала и Любе, и Жене, которые почти каждый день ходили на задания, и отцу, который, даже раненый, ни минуты не сидел без дела. Для Карпа Маевского все счастье было в труде. Партизанскую жизнь он не представлял себе без упорной, напряженной, самоотверженной работы. Старый колхозник с одинаковым вдохновением подрывал вражеские поезда и рыл окопы вокруг лагеря, делал мины и вырезал деревянные ложки, строил землянки и шел посыльным в самые далекие отряды и деревни. Он не искал для себя никаких особенных занятий, делал то, что поручали, и все считал важным и необходимым.

Он с неодобрением относился к таким, как Майборода, который, кроме разведки и диверсий, ничего не хотел знать, уваливал от физической работы и часто, когда другие трудились, грелся, как кот, на солнышке и непрерывно играл на своей губной гармошке.

— Лентяй! — коротко и уничтожающе говорил о нем Карп.

Не похвалил он и дочку, когда она как-то откровенно призналась, что недовольна своими обязанностями.

— А это потому, что бездельничаете вы там, в госпитале своем, — сурово сказал он. — Одна Алена трудится за вас. Она небось довольна. Сколько работы вокруг, а ты сама не знаешь, чего хочешь.

Ей стало стыдно. Она хотела быть такой, как отец, уметь в любой работе находить счастье и удовлетворение. Но душа ее требовала другого.

«Три месяца называюсь партизанкой, а ни одного выстрела не сделала», — с досадой думала она и продолжала добиваться участия в выполнении боевых заданий.

— Все мое время, Татьяна Карповна, — спокойно и добродушно отвечал на ее просьбы Лесницкий. — Подвигов хватит и на вашу долю. А пока начнем с самого скромного.

И он то направлял ее в качестве пропагандиста в какую-нибудь далекую деревню — распространять партизанскую газету, то поручал провести беседу с населением. Она успешно выполняла эти задания.

А как-то он взял ее с собой в поход по району. И хотя им не пришлось нигде стрелять, нападать или обороняться, все-таки эта работа захватила девушку и одновременно дала ей возможность увидеть всю трудность их суровой борьбы. А события, которые произошли в конце путешествия, окончательно выветрили из ее головы всякие остатки ложной романтики. Она ясно поняла тогда,

насколько опасен и важен даже, казалось бы, самый скромный участок партизанской борьбы. С того времени Татьяна старалась подражать отцу.

Но у нее была еще и другая сторона жизни, глубоко интимная — та, которая связана с Витей. Чувства, ею порождаемые, были еще более сложными и непонятными.

Она говорила, «мой сын», и все здесь, в лесу, были уверены, что это ее ребенок. Иллюзия материнства была такой сильной, что временами она и сама твердо верила, что это так.

А мальчик рос. Татьяна с материнской нежностью и умилением смотрела, как он уже самостоятельно выползал из землянки, потом поднимался, важно шагал по лагерю и с каждым встречным разговаривал на своем особенном детском языке. Она, как и каждая мать, даже ревновала, когда он забывал ее, долго не приходил, а гулял где-нибудь с партизанами. И сердце ее захлестывал прилив материнских чувств, когда после долгого путешествия по лагерю он с радостным криком бросался к ней и, прижавшись головкой к ее груди, щебетал:

— Ма-ма... А я у дя-ди был. Дядя Витю пух-пух...

Но мальчик вызывал и другие чувства. Однажды ей приснилось, что она родила ребенка, тоже сына. Во сне она почувствовала приятную тяжесть в груди, как будто грудь налилась молоком. И странно, эта тяжесть осталась и после того, как она проснулась. С того дня она начала замечать, что на ней все чаще скрещивались взгляды молодых партизан. А немного позже Люба со смехом назвала нескольких человек, которые вздыхают по ней.

— Украдут они тебя у мужа. Ей-богу! Ну и везет же тебе, Танька! Хоть бы и в меня кто влюбился. Так нет же. Все счастье одной тебе, — смеялась она.

Татьяна сердито отмахнулась от нее, но сон не выходил из головы. И все чаще приходила мысль о настоящем материнстве. Она стыдливо отгоняла ее, злилась на себя:

«Ух какая я противная! Все девчата как девчата, а я... бесстыдница».

В конце концов после долгих терзаний она нашла оправдание своим чувствам. Все это — жажда любви. Ведь она никого еще настоящему не любила.

Сердце ее начинало биться сильнее, когда она думала о Жене Лубяне. Она часто вспоминала их встречу в зимнем лесу, когда он с грустью, да, конечно, с грустью, спросил:

— Значит, замуж вышла?

Но Женья теперь стал другим, совсем не похожим на того веселого, смешливого хлопца. Теперь это был мужчина, худой, молчаливый. И встречались они всегда как чужие, говорили только о делах, да и то редко. Он все время был на заданиях: ходил по деревням, создавал подпольные комсомольские организации, приводил в отряды молодежь или своими сверхметками пулями снимал часовых, наводя ужас на оккупантов.

Приезд брата, его рассказы о Большой земле, о героической борьбе людей фронта и тыла еще сильнее разожгли в Татьяне жажду сражаться с врагом на железных дорогах, в гарнизонах, а не в госпитале.

Но его приезд обострил и те, другие ее чувства. Николай сделал их лесную жизнь более интересной и разнообразной. Сам того не замечая, он объединил вокруг себя молодежь. Сначала собирались послушать его рассказы о Москве. Потом эти сборища превратились во что-то похожее на литературные вечера: читали стихи, отрывки из книг, пели; если позволяли обстоятельства, слушали радио. В конце концов эти вечера стали привычкой, жизненной необходимостью. Собираться продолжали и тогда, когда Николая не было в лагере.

Николай Маевский был утвержден начальником штаба бригады.

Это назначение очень обрадовало Карпа. Старик гордился тем, что его сын будет правой рукой таких людей, как Лесницкий и Приборный. Татьяна тоже искренне поздравила брата. Только Люба проворчала:

— Хуже всего иметь начальником близкого родственника. С ним никогда по-человечески ни о чем не договоришься.

Карп рассердился на племянницу.

— Типун тебе на язык, болтуня. Не договори-и-ишь-ся... О глупостях, конечно, не договоришься, а о деле завсегда договоришься. Да и о чем тебе договариваться, я не знаю. Твое дело солдатское: делай, что приказывают.

Люба не стала с ним спорить, так как в это время подошел Николай.

Старый Маевский хитро улыбнулся, подумав: «Ась, что? Прикусила язык?»

Дело было в обеденный час.

С первых же дней партизанской жизни в лагере Карп сам получал пищу из партизанского котла, и обедали они по-домашнему — все вместе, степенно, не спеша, без лишних разговоров, как и принято в хороших крестьянских семьях. Старик не любил, если Люба, находясь в лагере, нарушала это правило. А Люба возмущалась и говорила Татьяне:

— Не понимаю твоего беспокойного старика. Как будто и человек хороший, а живет как куркуль какой. Даже стыдно. Скажи ты ему, будь ласкова. А то, если я стану говорить, поругаюсь.

Но Татьяне правилось, что отец и здесь, в отряде, чувствует себя главой семьи. Правилось это и Николаю.

В этот день они обедали в сосняке, у болота. Когда все расселись вокруг разостланной на земле скатерти, Карп смущенно почесал затылок.

— Оно не мешало бы и по чарке в такой день. Как ты, сын? Николай засмеялся.

— Что ж, давай, коли есть у тебя.

Карп достал немецкую фляжку, отвинтил крышку, налил в нее и первым выпил сам, потом поднес сыну. Девчатам не предлагал: не девичье это дело — пить, да еще трофейный спирт.

Выпили по второй, и старик заговорил:

— Эх, дети, кабы знали вы, как я рад, что все мы тут, вместе, — против лиходеев. Да оно и не могло быть иначе в нашей семье. Маевские всегда были первыми. На работе в колхозе, в учебе... Первыми мы будем и тут. Николай, сынок, ты знаешь, кто ты с сегодняшнего дня?

— Знаю, отец.

— То-то... Знай, что ты народный командир. Правая рука Лесницкого. А Лесницкого знает весь народ, все Приднепровье наше... Значит, и тебе народ поручил свою судьбу. Ты теперь и наш командир, семьи нашей. И я, твой батька, буду подчиняться тебе, как солдат, и гордиться тобой. Велика моя гордость. Не люблю я хвалиться, а вот тобой хваюсь все эти дни, как ты прилетел к нам. Большое счастье для батьки иметь таких детей. Теперь уж ты командуй мной. И гляди, чтобы никакой там скидки или поблажки не давал ни мне и никому из нас. Но чтобы и фанаберии никакой не было, чтобы, не дай бог, не оторвался от народа...

— Ну что ты, отец! — слегка обиделся Николай.

— Знаю, что сам это понимаешь... Но я — чтобы липший раз напомнить. Ну, добре. — Он пытливым взглядом обвел всю семью и снова повернулся к сыну: — Ты мне, товарищ начальник штаба, дозволей еще одну. Но тебе не дам: слаб ты... И так глаза посоловели.

Люба захохотала, даже слезы брызнули из глаз. Глядя на нее, засмеялся и Витя, потешно сморщив личико.

Карп отставил фляжку и с укором посмотрел на племянницу. — Злой у тебя язык, Любовь. Злой... Но это еще ничего... Я любил твою мать за душевную простоту. Мать твоя уважение к людям имела, а ты не имеешь его. Нет для тебя ни старших, ни младших... Над всеми ты насмехаешься. Однако бог с тобой. — И, налив чарку, сказал с неожиданной веселостью: — За твое здоровье!

Теперь засмеялись и Татьяна, и Николай. Все разговорились, начали шутить. Никогда еще не было так весело и шумно за обедом у Маевских. Когда кончили обед и успокоились, Карп тяжело вздохнул и сказал:

— А все же скучаю я, дети. Тяжело мне без сада, без ульев моих. Тянет меня в деревню, хочется побывать на родном пепелище, поглядеть хоть на все.

— И на Пелагею, — прошептала Люба Татьяне.

Но старик услышал этот шепот и спокойно сказал:

— И к Пелагее хочется сходить... честно признаюсь. — Карп вздохнул. — Сурово вы осуждаете меня, дети! Ох как сурово! А знаете ли вы, как тяжело человеку жить одному? Вы разлетелись из моего гнезда во все стороны. Остался я один с таким хозяйством. Сам за всем присматривай, сам вари и сам исподники стирай. Да

и вообще... Человек перестает быть похожим на человека, когда живет один. Дикарь... Что же мне было делать?

— Да мы ничего не говорим, отец, — отозвался Николай, бросив на Любу укоризненный взгляд.

— И теперь... Кончится война, и снова вас не удержишь. Кто куда... А я куда? Вот и надо мне сходить к Пелагее, помириться с ней. Она не станет нам поперек дороги... не бойтесь.

— Но она встала уже, тата, — тихо сказала Татьяна. — Как подумаю — не лежит у меня душа к ней...

Карп помрачнел и ничего не сказал. А Татьяне запали в голову отцовские слова: «А знаете ли вы, как тяжело человеку жить одному?»

«Тяжко одному... Отец старый и тот думает о будущем, верит, что еще вернется к своей привычной жизни. А я? Почему я так мало думаю о нем? Трудно жить одному... Конечно, трудно. Нужно идти навстречу ему, другу жизни, искать его. Кто ты? Кто?»

Она стояла вечером около землянки, прислонившись спиной к теплой сосне, всматривалась в темноту, где шумели невидимые деревья, и ей хотелось крикнуть, позвать его...

Х

— Фу, черт! Все-таки Кулеш не выходит у меня из головы...

— Все не веришь?

— Сомневаюсь.

— Выбрось ты это из головы, Павел. Зацепиться ведь не за что. Никаких следов какого-нибудь продуманного плана — простая случайность, какой стороной ни поверни. Не могли же они знать, что мы забросим к ним своего человека. А пожертвовать таким отрядом, такой находкой!.. Для чего? Чтобы заслать к нам Кулеша! Это можно было бы сделать значительно проще. Нет, нет!.. И думать даже перестань. Наш он человек, конечно. А попасть к этим шакалам, разыскивая нас, мог каждый. Я верю ему...

— Но почему он не установил связь с Майбородой сразу?

— Ну, на самом деле у тебя, Павел, ум за разум зашел. А вдруг Майборода оказался бы перебежчиком, предателем? Положение, брат, было у него сложное.

— Это правильно, — согласился Лесницкий и, подумав, сказал: — Но в отряд все-таки мы его не возьмем. Подождем! Базу нашу он не должен знать. Проверим его там, в деревне. А сделаем мы это так: Хадыку заберем в отряд и распустим слух, что староста убит партизанами, Кулешу ж предложим занять его место.

Через несколько дней после этого разговора Карп Маевский получил задание отправиться в Ореховку.

Перед выходом из лагеря он сказал Татьяне:

— Иду в Ореховку, Таня. Павел Степанович задание дал.

— Один? — спросила она.

— Один.

— Тогда и я пойду с вами, тата. Боюсь я...

— Ну, еще что выдумашь? Что это ты! В первый раз, что ли? Мало я на железную дорогу ходил! Я такой же партизан, как и все.

— Когда на железную дорогу, я ничего не боюсь. Но в деревню... Мне так и чудится, что нас подстерегают там на каждом шагу... Я попрошу Лесницкого, тата. — Она хотела бежать к землянке командира.

Но отец остановил ее:

— Ты подведешь меня, дочка. Он приказал никому не говорить о задании.

Татьяна молча проводила его за лагерь и долго смотрела вслед.

В деревню Маевский пришел в полночь. На опушке леса остановился, прислушался. Кругом стояла тишина.

Карп направился к своей усадьбе — неведомая сила тянула его туда. В свое время односельчане рассказывали ему, что после их ухода в лес полицаи уничтожили сад, разобрали овин и спалили все постройки. Тогда он не пожалел ничего, как когда-то не пожалел сожженной хаты. Но теперь захотелось увидеть все собственными глазами.

Только по двум обгоревшим березам, что когда-то стояли перед хатой, старик узнал место, где прожил всю свою долгую жизнь.

«Что это они березы не спилили? Добрые дрова были бы», — подумал он, подходя к тому месту, где еще год назад расцветал лучший в деревне сад, которому завидовал не один хозяин.

От всего огромного сада остались только три вишни. Словно для издевательства и насмешки оставили их полицаи. Они стояли в самом конце сада, сиротливо прижавшись одна к другой, как дети на могиле своей матери. Под ними росла густая трава, лопух.

Вид этих вишен больно ранил сердце хозяина. Карп подошел, заботливо осмотрел их, и ему стало как-то стыдно перед ними, потому что раньше он пренебрегал ими, не ухаживал — они почти никогда не давали плодов. Старик погладил рукой шершавую кору одной из вишен и почувствовал, что по щеке его поползла горячая слеза. Он вытер слезу рукавом, махнул рукой и быстро зашагал обратно в лес.

«Чего пожалел!.. Глупости. Не такое гибнет».

Лесом он прошел на другой конец деревни и тихо подкрался к хате Матвея Кулеша. Постучал в окно. Ничего не спрашивая, из хаты вышла жена Матвея, Ганна, в длинной белой рубашке. Увидев чужого человека, она испуганно вскрикнула и отшатнулась. Но, узнав Карпа (он приходился ей двоюродным дядей), остановилась, торопливо прикрыла ладонями грудь и удивленно спросила:

— Вы, дядя Карп?

— Я, Ганна. Дома Матвей?

— Нема. С утра ушел. Сказал — в лес. Может, и не вернется. Он теперь часто не ночует дома...

— Жалко, — вздохнул Карп. — Ну что ж... ничего не попишешь. Будь здорова, Ганна.

Она сделала шаг к нему и спросила тревожным шепотом:

— Скажите, дядечка, бывает он у вас?

Карп на минуту растерялся, задумался.

— Бывает.

Она с облегчением вздохнула.

— Так зайдите хоть в хату, перекусите чего-нибудь... Поди, не сладко живется вам там, в лесу?

— Спасибо, Ганна. Ничего... Перекусить, правда, я не прочь, но тороплюсь... Гляди, и светать скоро начнет.

— Ну, так я хоть вынесу вам чего-нибудь. В дороге перекусите.

— Нет, не нужно. — На прощание он пожал ей руку и пошел в сад.

Через несколько минут он огородами подкрался к другой хате. Хата эта стояла на голом месте: около нее не было ничего — ни сада, ни даже хлева, и соседние постройки как бы отодвинулись от нее в сторону. Поэтому Карп вынужден был пригнуться ниже обычного, чаще останавливаться и прислушиваться. В последний раз он остановился уже около самой стены хаты, чтобы оглянуться, перед тем как перелезть во двор. Неожиданно он услышал за стеной разговор. Разговаривали, по-видимому, в каморке, отгороженной в сенях, в которой обычно почуют в летнюю жару. Стена тут была неплотная, и Карп сразу узнал по голосам Пелагею и Матвея Кулеша.

У Карпа дрогнуло сердце. Он прислонился к стене, прислушался.

— А давно ли ты говорил совсем другое? — спрашивала Пелагея.

— Ну так что!.. Не сразу же человек все понимает. Я только теперь понял... Великая это сила — партизаны. — Кулеш что-то неразборчиво зашептал.

Но Пелагея снова сказала громко:

— Везет бедной бабе: муж — в лес, любовник — в лес. Что хочешь, то и делай одна... Дай хоть намиловаться вволю...

Карп услышал звук поцелуя. Ему стало стыдно и гадко. Он тихо плюнул и пошел по меже назад, неслышно ступая по мягкой росистой траве. Через несколько шагов чувство гадливости сменялось злостью. Старик сжал кулаки.

— Будь ты проклята, старая кляча! Скотина ненасытная! Век уж свой доживает, а все еще паскудит... Да и он, дурак этаким, нашел кого! Годов, поди, на десять старше его. Женки ему мало. Пойти вот сказать Ганне, нехай хоть погоняет его.

Только за огородами, возле ручья, он остановился, вспомнив, что не выполнил задания комиссара. Проще было бы сказать, что Кулеша не было дома. А как сказать теперь, когда Карп был в двух шагах от Кулеша, слышал его голос? Солгать он не мог, сказать правду — тоже тяжело. Да и смешная это была бы причина

для невыполнения задания. Нужно идти назад. Но и назад идти было тяжело.

Карп устало опустился на мокрую траву под вербой, сжал виски ладонями. За несколько коротких минут он вспомнил всю свою жизнь. Вспомнил он и жену-покойницу. Вспомнил и в первый раз заплакал по ней. На похоронах не плакал, а теперь, через двенадцать лет, заплакал, оскорбленный и униженный другой женщиной.

Потом он вспомнил слова дочки: «Не лежит у меня душа к ней», и эти слова всколыхнули его. Он поднялся и снова направился к Пелагеиной хате.

«Хорошая у тебя душа, дочушка, — думал он о Татьяне. — Недаром не лежала она к этой старой паскуднице. Вон из моего сердца, вон навсегда! Не место тебе больше в нем!»

Уже не озираясь, подошел он к хате и постучал в дверь.

Из хаты долго не откликнулись, видимо испуганные неожиданным стуком.

Карп постучал еще раз.

— Кто там? — дрожащим голосом спросила Пелагея.

— Открой.

Она открыла, вскрикнула и хотела было обнять мужа.

— Карп, родненький!

Он отвел ее руки и спокойно попросил:

— Позови Матвея!

— Какого Матвея? Что ты мелешь?

— Матвея Кулеша из твоей каморки. Мне надо говорить с ним. — И, увидев, что она окончательно растерялась, позвал сам: — Матвей Денисович, будь ласков, выйди на минутку.

Пелагея обиженно пожала плечами.

— Так зайди уж в хату. Там и поговорите.

Карп молча отошел в сторону и стал ждать.

Кулеш собирался очень долго, наконец вышел.

Карп даже при лунном свете увидел, что лицо его было необычно белым, а нижняя губа нервно дрожала.

— Отойдем, — сказал Карп и пошел первым.

Кулеш перелез через загородку и споткнулся.

— Я дальше не пойду.

Карп понял, что тот боится, и разозлился на него.

— Не бойся. Иди сюда. — Он присел на грядку, в высокую ботву. — Что ж, поговорим и тут. Я коротко. Меня направило к тебе наше командование.

Лицо Кулеша заметно потемнело.

— Ты, может, знаешь, что старосту вашего, холоуя этого, наши хлопцы поймали и по приговору суда расстреляли как предателя Родины. Немцы назначат нового старосту. Было бы очень хорошо, кабы ты сделался им. Великое дело иметь своего человека на такой должности — ты же сам понимаешь...

Обрадованный Кулеш схватил руку Маевского и пожал ее.

— Карп Прокопович, от всего сердца спасибо... всем вам... за доверие, за то, что не забыли мою услугу. Эх, давно уж я с вами душой и сердцем. Неделю искал вас по лесу, а попал к чертям лысым. Хорошо, что вашего хлопца узнал, а то пришлось бы и мне вместе с этими бандюгами ни за что ни про что удобрять мать-земельку. Как подумаю, аж мороз по коже дерет. Но зато я еще больше уверился в вашей силе. Как вы здорово их, хи-хи... И я... я хоть сегодня, хоть сейчас в отряд с тобой пойду. Первым партизаном буду. Но для такого дела не подхожу я, Карп Прокопович. Не выйдет у меня. Артист я плохой. Боюсь — сам провалюсь и других провалю. Да и люди загрызут меня, женка живым съест. Не могу.

— Бойшься? — коротко спросил Карп.

— Боюсь... но не за себя, Карп Прокопович. Не за себя... За дело.

— Ну что ж, я свое выполнил. Так и скажу начальству. — Карп быстро поднялся, оглянулся и сказал: — Бывай, — и пошел навстречу туману, что неожиданно выплыл из стоявших у ручья ольховых кустов и белым одеялом застил низину за огородами.

Кулеш догнал его и попросил:

— Проведи меня в отряд.

— Не имею на это дозволения. Прикажут — в любое время проведу. Обожди.

С минуту Кулеш шел с ним рядом.

Маевский остановился.

— Ну, куда ты?

— Карп Прокопович... того... простп, брат. Я тут ни при чем. Соблазнила чертова баба, силком затащила. Началось с чарки, а кончилось...

Маевский только махнул рукой, повернулся и скрылся в тумане.

Не видел и не догадывался партизан, что почти до самого лагеря за ним шел предатель.

XI

Никто из партизан не знал, какие задания выполняет Андрей Буйский после возвращения из Москвы. Знали только, что он занят чем-то очень важным, необычайно ответственным. Он неожиданно исчезал из лагеря и неожиданно возвращался обратно.

По приказу командира бригады для него была построена отдельная землянка. В его отсутствие она была заперта на громадный замысловатый замок, ключи от которого хранились у Лесницкого.

Вернувшись с задания, Андрей обычно один-два дня не выходил из своей землянки. Что он там делал — никто точно не знал. Входить к нему в такое время было запрещено — об этом комиссар бригады предупредил партизан перед строем.

Но обычно спустя несколько дней Андрей выходил из землянки сам и сразу становился снова близким для всех человеком. С ним советовались, ссорили, заставляли его читать вслух поэмы Лермонтова, монологи из «Бориса Годунова» и удивлялись его памяти. А память у него и на самом деле была феноменальная.

Молодые партизаны мечтали во всем быть похожими на Андрея и подражали каждому его движению, даже манере разговаривать. Петро Майборода все больше и больше восхищался и гордился своим другом.

— Ух! Ка-ка-я это голова! Вам не понять, что это за голова! — говорил он обычно и, собрав вокруг себя молодежь, начинал рассказывать о бесчисленных приключениях, которые будто бы случались с ним и Андреем в первые месяцы их скитаний.

Большинство слушателей понимали, что Петро бессовестно врет, выдумывает, но слушали его с интересом и то хохотали до колик в животе, то чувствовали, как волосы шевелятся у них на голове и по спине пробегают мурашки.

Однажды он сказал:

— Андрей посмотрит на человека и видит его сразу насквозь, как на рентгене: все его думы, чувства, переживания, чем он дышит...

Услышавшая это Настя Зайчук горько улыбнулась:

— Ничего не видит твой Андрей. Слепой он, как котенок.

Будто бомба разорвалась в кружке слушателей Майбороды. Они вскочили, возмущенно зашумели. А сам рассказчик важно приблизился к Насте и сказал, пренебрежительно цедя слова сквозь зубы:

— Хлопцы, дайте мне микроскоп, я разгляжу эту бактерию, — и грозно повысил голос: — Вот что, уважаемая! Только ваш пол и прочие там женские качества не дают мне права сделать из вашего курносого носа свиную отбивную.

Настя шутливо дунула на него и быстро отошла, зашумев своим шелковым платьем, которое она обычно надевала, когда приходила в лагерь.

У нее были серьезные основания говорить так. Девушка любила, любила впервые и была оскорблена тем, что тот, кто задел ее сердце, не догадывается о ее чувствах.

На следующий день после стычки с Майбородой она сказала Татьяне:

— Пойдем проведем Буйского. Мне нужно поговорить с ним.

— К нему нельзя заходить, когда он работает, — ответила Татьяна.

— Вот еще ерунда какая! Зайти к человеку нельзя. Выдумали!

— Павел Степанович приказал.

— Я не слышала, когда он это приказывал, значит, мне можно. Но я одна стесняюсь, а мне очень нужно. Пойдем... Сделай это для меня, Таня. Я очень прошу тебя. — И она ласково обняла подругу.

Татьяна взглянула на Настю, и у нее мелькнула смутная догадка. Отказать она не могла: в красивых Настинных глазах горели необычные огоньки.

На их стук Андрей вежливо ответил:

— Пожалуйста.

Но, увидев неожиданных гостей, он удивленно блеснул очками и, торопливо собрав со стола какие-то бумаги, положил их в ящик.

Они в первый раз увидели его в очках. Насте стало стыдно за слова, которые она сказала Майборode.

Она покраснела, растерялась, но глаз с Андрея не сводила. Он поймал ее взгляд, снял очки и сказал, словно оправдываясь:

— Не могу уже долго читать без них. Развивается близорукость. Но что же я... Присаживайтесь... будьте гостями.

— Мы помешали вам, Андрей? — спросила Татьяна.

— Честно говоря, да.

— Так мы пойдем.

Настя бросила на подругу сердитый взгляд.

— Нет, нет! Что вы! Посидите. Поговорим. Мы теперь очень редко видимся. Ну, садитесь же... На кровать или на книги. Табуретка у меня одна.

Они присели на кровать и с любопытством оглянулись. Их удивило количество книг в этой маленькой землянке. Нигде, во всей бригаде, они не видели такой массы книг. Половина их была на немецком языке.

Настя с трудом прочла несколько заголовков и поморщилась.

— И вы читаете всю эту погань?

Андрей вздохнул.

— От такой погани, как вы выразились, действительно иногда бывает противно. — Он оттолкнул от себя книгу в черном переплете. — А вообще я люблю читать. Такая уж у меня профессия — иметь дело с книгами разных времен и народов. У меня с детства была склонность к языкам. Когда я учился в младших классах, я мечтал изучить языки всех народов земли. Позже, конечно, я понял, что это невозможно, но все же изучение языков стало моей профессией. Я готовился стать ученым-языковедом. — Андрей на мгновение задумался, и лицо его озарилось улыбкой. Он задумчиво повторил: — Ученый-языковед. Да... — Андрей снова посмотрел на девушек. — Это ведь очень интересно — язык народа. Очень сложная вещь. Язык народа — это его жизнь во всех ее проявлениях. И знаете, очень горько, что и в наш век живут варвары, ставящие своей целью уничтожение целых народов, уничтожение языков. Тупоголовые дикари! Пока что они добились только одного — испоганили свой собственный язык. Прекрасный немецкий язык, на котором говорили Гёте и Гейне, Маркс и Тельман. Знаете, я работаю над темой «Фашизм и деградация немецкого языка». Интересная работа. Я начал ее еще в Москве, когда впервые познакомился с их литературой. Иногда работаю и здесь, но очень редко. Только в минуты особого, как говорят, творческого вдохновения.

А сколько таких минут бывает у меня? Две в месяц, как говорит Майборода. Да я и не жалею, что не могу писать сейчас. Напишу после войны.

Настя с таким откровенным восхищением посмотрела на него, что Татьяна, перехватив этот взгляд, все поняла и, нежно пожав Настину руку, улыбнулась.

— Глупышка.

Настя вспыхнула. Андрей посмотрел на них, остановил свой взгляд на Насте и удивленно взмахнул бровями.

Настя вскочила.

— Пойдем, Таня. А то мы мешаем человеку работать.

— Подождите. Куда же? Странные вы гости! Неожиданно пришли, неожиданно и уходите. Скучно со мной, да?

— Очень скучно. Все языки да языки, — засмеялась Настя и быстро выбежала из землянки.

Татьяна попросила извинения у растерявшегося Андрея, поблагодарила за гостеприимство и вышла вслед за подругой. Та стояла под соснами и смотрела на голубое высокое небо, по которому плыли маленькие, белые, похожие на кудрявых ягнят облака. Лучи солнца пробивались сквозь ветви сосны, и Настя стояла вся в светлых солнечных пятнах. Со стороны казалось, что все ее молодое, гибкое тело смеется. Но лицо Насте было грустным и озабоченным, а на ресницах блестели слезы.

Татьяна ласково упрекнула ее:

— Что это ты?.. Правду говорят, что влюбленные как дети: смеются и плачут одновременно.

Настя снова засмеялась.

— Таня, какой он, а? Знаешь, я мечтала о нем, еще когда не знала его. Еще до войны.

— Как же ты могла мечтать?

— Не знаю. Но мечтала. Представляла его себе именно таким. А как увидела в первый раз, так сердце и дрогнуло: он.

Татьяна взяла ее за руки.

— Я завидую тебе, Настя...

— Стыдно тебе, Таня, завидовать чужой любви. У самой такой уже сын! Вы ведь любили друг друга? Любили?

Татьяна грустно улыбнулась.

— Любили. А теперь хочется полюбить другого.

Настя очень удивилась и с укором покачала головой.

— А я бы никогда, никогда даже не посмотрела на другого, если бы только знала, что он меня любит. Как же ты можешь? А вдруг он в эту минуту лежит где-то, раненный, и думает... думает о тебе... А ты... У-у, какая ты... Я и не думала!

— Не сердись. Пойдем, я расскажу тебе о своей любви.

Ей вдруг захотелось, чтобы Настя узнала всю правду. Да и к чему теперь ее тайна? Она только не дает возможности доверить никому свои девичьи мысли, мечты, часто такие мучительные и непонятные. А доверить их кому-нибудь нужно. Конечно, не отцу

и не брату. Любе — тоже нет, она вряд ли что-нибудь поймет. Можно Алене или Насте. Сейчас лучше Насте...

Посещение девушек озадачило Андрея. Он вспомнил восхищенный, лучистый взгляд Насте и то, как она смущенно покраснела, встретившись с ним взглядом. Так вот оно что! Почувствовав волнующую теплоту в груди, он встал, обошел вокруг стола, не замечая, что ступает по книгам. Вспомнились все прежние встречи с Настей. Их было немного, но он помнил, о чем они говорили, помнил даже выражение ее глаз. Все подтверждало его догадку. И в груди с нарастающей силой забилося новое чувство. Чувство это было ему хорошо знакомо — он влюблялся не один раз, а однажды любил серьезно. Это было еще в университете. Но все испортила его чрезмерная поглощенность наукой. Выучить к двадцати двум годам четыре иностранных языка, а в двадцать пять защитить кандидатскую диссертацию — на это понадобилось немало сил и времени. Из-за этого он неделями не виделся с девушкой. Она не раз выговаривала ему за это — и ласково, и с обидой. Он виновато соглашался, но проходило несколько дней — и снова все шло по-прежнему. Кончилось тем, что она встретила более внимательного парня и вышла замуж. Андрей тяжело пережил измену. Но случай этот помог ему постепенно приобрести самое дорогое человеческое качество — внимание к людям.

А после смерти матери, у которой Андрей был единственным сыном, он почувствовал потребность в собственной семье и начал серьезно подумывать о женитьбе. Да и пора уже было: ему шел двадцать шестой год. Друзья частенько подшучивали над ним, да и сам он завидовал своим одногодкам, имевшим свой угол, детей.

За время войны он ни разу не подумал об этом, но иногда чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. И вот сегодня неожиданно понял это... Понял и другое... «Да, очень хорошо сейчас иметь сына или дочку... Могу погибнуть... Что останется после меня?» — трезво, впервые с такой солдатской простотой и суровостью подумал он о своей жизни.

Андрей оттолкнул ногой книги и выскочил из темной землянки — захотелось ему же минуту увидеть Настю, поговорить с ней.

...Вечером их видели вместе, веселых и счастливых. И весь лагерь заговорил об их любви...

XII

Это была очень беспокойная почва.

Татьяна не находила себе места. Отказ Лесницкого взять ее на эту важную операцию, в которой участвовала почти вся бригада, расстроил и взволновал ее.

И ночь была, как ее настроение, тревожная и темная. На западе непрерывно вспыхивали зарницы, расписывая черные тучи удивительными узорами. Сосны на какое-то мгновение застыли в напряженном молчании, а потом сразу зашумели испуганно

и тревожно. Шум этот постепенно перешел в однообразный тяжелый гул, который катился по чаще и где-то там, на западе, сливался с глухими раскатами грома.

Приближалась гроза.

Татьяна стояла на лесной опушке, возле болота, и, закрыв глаза, представляла себе, как разворачивается сейчас бой за Буду. Станцию эту и местность она хорошо знала.

«Хорошо, что гроза,— думала она.— Это даст им возможность подойти незаметно».

Она тревожилась за отца, за Женю, за Лесницкого... За всех.

«Хоть бы никого не убили,— подумала она и рассердилась на себя.— Дурная! Трусиха! Наверно, в бою только и думала бы, убьют или нет. Пусть убьют... Что ж, лучше погибнуть за счастье всех, чем... Кто это сказал: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»? Долорес Ибаррури? Да. Ибаррури. В самом деле, лучше умереть, чем жить так, как мы жили в деревне. Но лучше не думать об этом...» И она начала думать о Насте и Андрее. Думать о них было приятно, потому что это жизнь и... счастье. Татьяна представила себе, как удивится и всполошится Марья Зайчук, когда они зайвятся к ней в дом и Настя скажет (а она обязательно так скажет): «Ну, мама, жарь яичницу — угощай зятя».

Внезапно налетевший ветер ударил в лицо крупными каплями дождя.

Над головой сверкнула молния, и громадная изломанная огненная стрела упала где-то совсем близко, в болото. Загремел гром. Зашелестели листья на дубах. Пошел дождь.

Татьяна быстро побежала по знакомой тропинке к землянке.

В железной печурке ярко горели дубовые дрова. Татьяна поставила стерилизовать хирургические инструменты, наклонилась над печкой, выкала подол платья, встала у раскрытой двери и снова прислушалась.

А в это время Алена Зайчук ползла по болоту с санитарной сумкой за плечами. При каждой новой вспышке молнии она плотней прижималась к земле. Сухая осока и ветки до крови резали руки, царапали лицо. Мучительно ныла спина, от напряжения болела шея. Иногда Алена касалась руками лаптя человека, который полз впереди: она не знала, кто это был — Карп Маевский, Гнедков или Майборода. А ползший позади нее время от времени касался ее ног. Кто это — она тоже не знала: за ней должен был идти почти весь отряд Павленко. Вот наконец и условный сигнал — тонко пропищала ночная болотная птица. Дальше двигаться нельзя. Дальше поползут только те трое, что были впереди нее.

Алена прижалась щекой к колючей кочке, подумала: «Почему среди тех троих старики Карп и Гнедков? Неужели не могли выбрать помоложе?» Но тут же она вспомнила, что Лесницкий приказал сделать в лагере высокую насыпь и в течение целой недели каждую ночь тренировал партизан: учил их бесшумно снимать с насыпи часового. Часовым чаще всего стоял он сам и отсылал

с тренировки каждого, кому не удавалось снять его незаметно. В последнюю ночь среди тренировавшихся оставалось уже не больше десяти человек. Из их числа и были выбраны эти трое, которым поручено было снять часового.

Так же, как и они, ползком к станции, окружая ее, стягивались почти все отряды. Алена знала, что это была самая крупная и самая сложная из всех операций бригады. Нужно было разгромить станцию, которая находилась под охраной многочисленного, вооруженного до зубов гарнизона. Операцию эту готовили долго и тщательно, все до мельчайших деталей было заранее продумано и разведано...

Человек, который полз за нею, тронул рукой ее ногу, потом подполз и лег рядом, плечо в плечо. Она узнала его и вадрогнула.

— Что ж, начальник штаба бригады для тебя не авторитет? Да? — едва слышным шепотом спросил Николай.

Алена не ответила, поняла, что поступает глупо, и разозлилась и на него и на себя. За час до этого он приказал ей остаться на опушке, возле партизанской батареи, которая должна была в случае необходимости поддерживать отряды своим огнем. На батарее находился командный пункт. Алена, всегда строго подчинявшаяся дисциплине, на этот раз не выполнила приказа только потому, что приказывал он, Николай... Ей показалось, что он просто хочет, чтобы она была подальше от опасности.

— Хорошо, поговорим завтра в штабе. Я это так не оставлю, — снова услышала она его голос.

Алена почувствовала, что кровь бросилась ей в лицо. Она представила себе, как ей, главному врачу бригады, придется стоять перед осуждающими взглядами Павла Степановича, Приборного и Николая. Что она скажет в оправдание?..

Блеснула яркая молния, осветившая на близкой уже насыпи фигуру часового. Над головой тяжелыми бревнами прокатился гром. Упали первые крупные капли дождя. А через минуту могучий ливень заглушил своим шумом все звуки, которыми была наполнена эта ночь.

Шепот Николая стал громче:

— Хорошо. Природа работает на нас. А фрицы — дураки... Самоуверенные... Я бы на их месте это болото все-таки заминировал.

— Перестань. Еще накаркаешь! — зло прошептала Алена и удивилась, что ответила ему так резко и грубо. Она подумала, что по военной субординации ей следовало бы обращаться к нему на «вы», а она вот как!

Николая тоже смутил ее ответ. Он замолчал, потом снова зашептал:

— Слушай, Лена. Давай попробуем разобраться в наших отношениях. Вот уже два месяца, как я прилетел, и все не могу поговорить с тобой один на один.

— И решил это сделать сейчас?

— Да.

— Не нужно, Николай,— попросила она.— Я не могу. Через минуту, может быть, будут умирать наши люди.

— Возможно, и мы... Но если все время думать только о смерти — значит, не верить в жизнь. А я верю... В счастье верю, в наше с тобой счастье, Лена... Почему ты не отвечала на мои письма, Алена?

Она повернулась к нему и зло приказала:

— Замолчи, Николай! Я не хочу тебя слушать. Да как тебе не стыдно говорить об этом сейчас? Там твой отец, старик... А ты... Почему ты не пошел вместо него?

— Мне не разрешили командир и комиссар бригады. Я — не ты, дисциплину не нарушаю,— уже другим голосом ответил Николай и, помолчав, добавил: — Хорошо, я больше никогда не буду говорить с тобой об этом, раз тебе это неприятно.

В сердце Алены что-то с болью оборвалось. Может быть, надежда, которая два месяца теплилась в душе.

— Но пойми одно...

Он не кончил: нечеловеческий вопль вдруг перекрыл шум дождя.

Николай зло выругался и тихо скомандовал:

— За мной!

Алена вскочила и, низко пригнувшись, побежала за ним. Через несколько минут ее обогнали другие партизаны.

Это было направление главного удара. От удачи зависел общий успех операции.

С западной стороны станции, сразу же за последней стрелкой, железную дорогу перерезала небольшая речушка. По обе ее стороны до самого леса тянулось кочковатое болото. И болото, и речка за лето пересохли.

Гитлеровцы, очевидно, понимали, что это — самый удобный и самый близкий путь для нападения на станцию, и охраняли его особенно тщательно. Насыпь около моста имела пятиметровую высоту, и в ней, под полотном железной дороги, они построили дот. Он выступал с обеих сторон насыпи уродливыми железобетонными наростами и слепыми глазами амбазур смотрел в лес. Метрах в ста от моста, в большом здании бывшей лесоконторы, разместилась охрана. Разведчики подсчитали, что тут живет примерно половина гарнизона станции.

Вот почему командование бригады и решило нанести главный удар именно с этой стороны.

План был простой, но в этой простоте и была его сила.

Опытные пластуны должны были бесшумно снять часовых — их было двое: один стоял на мосту, другой — около казармы. После этого по сигналу пластунов отряд блокирует казарму. За несколько минут станция окажется, в сущности, без охраны.

Лесничий очень серьезно подбирал людей для выполнения этой задачи. На учебной насыпи лучше всех часовых снимал Майборода — он ни разу не засыпался.

— Черт, а не человек! — с восхищением говорили о нем партизаны.

Другим таким опытным пластуном оказался командир подрывной группы Гнедков и третьим, на удивление и в укор молодым, — старый Маевский. Он полз дублером Гнедкова до казармы. Майборода от помощника отказался.

...Когда хлынул дождь, они поднялись и во весь рост побежали к железной дороге, уверенные, что дождь заглушит звуки их шагов.

Маевский еле поспевал за своим командиром.

Выполняя самые опасные задания, Карп никогда не чувствовал страха — это чувство было незнакомо ему. Но в таких случаях он неизменно вспоминал о своем возрасте и жалел, что ему не двадцать три года, как этому зубоскалу — Майборде, или хотя бы сорок, как Гнедкову.

Около насыпи они залегли, прислушались и внезапно услышали шаги. Над их головами по подотну дороги по направлению к мосту прошли, тихо разговаривая, два солдата.

У Карпа тревожно забилось сердце.

«Все провалится... Если Майборода уже снял часового, они накроют его...» Стало обидно за хлопца. Вспомнились слова Павла Степановича: «Операция будет иметь не только тактическое, но и громадное политико-моральное значение. Она поднимет окружающее население на еще более активную борьбу. Нам станут помогать гораздо больше. А фашисты по-настоящему почувствуют партизанскую силу».

И вдруг такая операция провалится. И из-за чего? Из-за простой случайности. Нет, не может быть!

Шли минуты.

На мосту было тихо, только шумел дождь. Но вскоре снова слышались шаги — солдаты прошли обратно.

У старика словно тяжелый камень свалился с сердца.

Гнедков шепотом спросил:

— Ну а нам что делать?

Карп удивился:

— Как что? Продолжать свое дело.

— Ситуация изменилась, Карп Прокопович. Это патрули, о которых мы ничего не знали. А часового около казармы, видать, нет, иначе он окликнул бы их. Нужно снять этих. Справишься?

И они шепотом начали обсуждать план действий.

— До моста больше их допускать нельзя — там уже, наверно, часовым стоит Петро...

Они вползли на насыпь и, стиснув в руках ножи, залегли на краю, около самых шпал.

Минут через пять послышались шаги. Карп снова заволновал-

ся: сможет ли он, хватит ли сил? И от этого впервые стало страшно.

Вот шаги и чужой говор уже над самой головой.

Гнедков толкнул старика в бок, и Карп сделал все, что нужно: напал на солдата, зажал рот, и рука его не дрогнула. Но тот неожиданно рванулся и закричал нечеловеческим голосом. На помощь Карпу подскочил Гнедков, и через минуту все было кончено. Но было уже поздно. На станции прогремел выстрел, поднимая тревогу. Ракета прорезала заслон дождя, зашипела в вышине и погасла. С разных сторон затрещали выстрелы.

Карп мгновенно понял все, что случилось, но не растерялся.

— Быстрее!.. Казарму... гранатами! — крикнул он Гнедкову и бросился к казарме, до которой было не больше пятидесяти шагов.

Там уже слышались крики; через щели плохо замаскированных окон пробивался свет.

Маевский бросил гранату в одну из светящихся щелей. Взрыв. В темноту вырвался сноп яркого света, через распахнутое окно были видны немцы. Карп бросил вторую гранату. Открылись двери — туда третью. Из казармы долетали панические крики, ругань. Звенели стекла, трещало дерево: очевидно, солдаты выскакивали через окна с противоположной стороны дома. На станции началась беспорядочная стрельба. Время от времени в небо взлетали ракеты. Карп и Гнедков отбежали к насыпи и легли в канаве между пустыми бочками.

— Сейчас наши двинутся... Как бы почапни не задела... Пуля — дура. Смотри, сколько я шуму наделал! — Карп тяжело вздохнул: — Рука, значит, ослабла. Не те годы. Зря ты брал меня, Свирид Захарович. Видно, пора мне в обоз.

— Не горюй. Не всегда, браток, в таком деле получается, как думаешь...

На насыпь выскочили люди. Послышалась сочная русская ругань, знакомая команда. Карп узнал голос сына.

— Наши!

Но в этот момент около казармы застрочили вражеские автоматы, над головой запели пули.

— Ложись!

Кто-то вскрикнул, застонал.

— Эй, санитары!

— Махотка! Казарму прочесать и сжечь! — голос Николая был ровный, казалось, даже немножко равнодушный.

— Гнедков! Живы?

— Живы!

— Что это вы шуму столько наделали? Не могли без шума, горе-пластуны седобородые...

Слова сына укололи Карпа в самое сердце.

«Вот из-за меня люди гибнут...»

Они переполали через линию железной дороги и встретились с Николаем лицом к лицу.

— Гнедков! Собирай своих подрывников. Взорви сперва мосты, потом — водокачку и стрелки. Только быстрее давай, а то копаешься тут...

Он говорил зло, грубо. Ругался — раньше никто от него не слышал таких слов. В любое другое время Гнедков и особенно Карп почувствовали бы себя оскорбленными, но сейчас они молча выполняли приказы.

На станции гремели взрывы, трещали автоматы. Партизаны отряда Павленко добивали остатки гарнизона. Организованное сопротивление гитлеровцы оказали только за деревней, с другой стороны станции, где действовал отряд Кандыбы. Но это сопротивление далеко за пределами станции только облегчало действия тех партизан, которые были уже у цели. Загорелся бензосклад — главный объект нападения. Пробитые пулями цистерны разбрызгивали бензин, и он горел громадным огненным фонтаном, освещающая все окружающее. Через минуту бензосклад взорвался со страшной силой, разбрасывая пламя по всей территории станции — на постройки, вагоны, склады.

Подрывники разрушали то, чего не смог уничтожить огонь. Взлетел на воздух мост, покачнулась и осела водокачка. Лесничий, неожиданно появившийся у подрывников, приказал положить под нее еще один заряд.

— Свалить обязательно! От станции должно остаться голое место!

«Для политико-морального значения», — подумал Карп. Он действовал спокойно, аккуратно и старательно — делал все по-хозяйски, внимательно наблюдая за молодыми подрывниками. Но мысль о том, что операция началась не так, как была задумана, и поэтому потребовала, очевидно, лишних жертв, не давала ему покоя. Ни одну неудачу он еще не переживал так мучительно, как эту.

От второго взрыва водокачка рухнула. Вся станция горела, и дождь был бессилен залить это море огня.

В воздух взлетели три ракеты: белая, красная, зеленая — сигнал отхода.

Через то же сухое болото отряд Павленко отошел на лесную опушку. В отряде было только четверо раненых. Операция удалась. Партизаны полностью разгромили станцию, вынесли много трофейного снаряжения и взяли в плен девять гитлеровцев, в том числе начальника станции.

Узнав об этом, Карп немного успокоился и не обижался на веселые шутки партизан, даже на Майбороду, который больше всех донимал их.

— Я думал, они в свинарник залезли — такого шуму наделали. Вот, думаю, практичные люди в первую очередь о колбасе подумали, — смеялся он.

«Что ж, возраст... И вправду, видать, пора в обоз», — думал старый Карп, слушая эти шутки.

Но утром в лагере он снова прибодрился. Командир и комиссар бригады объявили благодарность всему отряду и отдельно троим — Майбороде, Гнедкову и ему, Маевскому. И Карп подумал: «Нет, в обоз еще рано. А снимать часовых надо подучиться. В нашем деле все пригодится».

XIII

Молодой высокий дуб с густой шапкой листьев стоял на берегу Днепра, на небольшом луговом пригорке. Под ним теснилось несколько полувзросших ореховых кустов. А кругом растлались обширные просторы заливного луга с многочисленными ручьями, озерами и зарослями густого лозняка. Дуб стоял, словно часовой этих просторов, гордо оглядываясь вокруг. Позади него, за лугом, чернела стена леса, впереди виднелась песчаная коса, река, а за рекой, на высоком крутом берегу, — дома рабочего поселка.

Солнце палило нещадно, высушивая июльские травы. Над лугом плыли волны нагретого воздуха и, казалось, колыхали прибрежный лозняк.

Почти на самой вершине дуба сидел Евгений Лубян. На груди у него висел бинокль, а на толстом суку, под рукой, лежала новенькая снайперская винтовка с оптическим прицелом — подарок Андрея Буйского, привезенный из Москвы. Женя внимательно следил за движением на том берегу и только изредка оглядывался вокруг. Но его мало интересовали фигуры косарей, что мелькали у леса, важные аисты на скошенном лугу и одинокий чели на Днепре.

Он не сводил глаз с противоположного берега и часто подносил к глазам бинокль. Но, увидев там солдата, который прошел по улице, деревенскую повозку с хлебом или девушку с ведром, разочарованно опускал бинокль и вытирал рукавом пот со лба.

Сидел он тут уже второй день. В первый день, когда стемнело, он спустился, переночевал в стогу сена, а на рассвете снова забрался на дуб.

...За день до этого Люба, вернувшись с очередной разведки, донесла: комендант района оберштурмфюрер Койфер перенес свой штаб на лесопилку и там часто купается в Днепре или загорает на крыше склада. Не забыла она, между прочим, упомянуть и об этом дубе, хитро взглянув при этом на Лубяна. У снайпера загорелись глаза.

— Пойду, — сказал он комиссару, как только Люба кончила докладывать.

— Далековато. Я знаю этот дубок. Километр, а то и с гаком, — усомнился Лесницкий.

Но мысль, подсказанная Любой, была уж очень заманчива. За комендантом партизаны охотились с самой весны, но охранял он себя очень тщательно, особенно после того, как 1 мая Майбо-

рода и Люба убили часового и вывесили на крыше его дома красный флаг.

...Лубян терпеливо ждал. Он знал, что по непосредственному приказу Койфера были уничтожены семьи партизан, и решил не возвращаться, не убив коменданта.

Во дворе лесопилки, над обрывом, ходил часовой и никого не подпускал к реке. На крыше склада лежало зеленое одеяло и подушка. Это позволяло надеяться, что рано или поздно Койфер появится или на крыше, или на берегу.

У Лубяна все было подготовлено и рассчитано. Правда, девятьсот пятьдесят метров многовато и для очень искусного снайпера, но, даже зная это, он ни на минуту не терял веры в успех.

Время тянулось медленно.

«Скорей бы вылезал этот гад, а то завтра в Рудне собрание. Хлопцы ждать будут».

Мысли сменяли одна другую. Вспомнил Буйского, подумал о Москве. Пожалел, что до войны ни разу не побывал в столице, хотя и была возможность.

«Многого мы не понимали в мирное время. Часто за повседневными делами не видели и не чувствовали самого главного. Тогда и мысль не приходила в голову о том, чтобы так, без надобности, поехать в Москву. А вот теперь... Теперь на крыльях полетел бы...»

Потом как-то незаметно начал думать о себе. Подумав о сестре, он упрекнул себя за то, что очень редко видит Лену. Сколько раз она подбегала к нему, радостно прижималась, ласково заглядывала в глаза и тихонько спрашивала:

— Где ты был, Женя? Расскажи мне.

Он никогда ничего не рассказывал ей. Каждый раз горький ком слез сжимал ему горло, и он, положив руку на ее головку, долго молчал, а потом, проглотив слезы, тихо говорил:

— Иди гуляй, Лена.

Она опускала головку и нехотя отходила от брата. А в последнее время стала подходить к нему все реже и реже, и он уже около недели вообще не видел ее.

Слезы затуманили ему глаза, когда он вспомнил об этом. Он вытер их рукавом рубашки.

«Хорошо, что Алена и Таня присматривают за ней, как за родной. Хорошие они... И им хорошо. Живут дружной семьей... Маевские даже обедают всегда вместе, как дома. А я?.. Я почему-то в стороне от всех. В борьбе вместе со всеми, может быть, даже впереди, в деревнях — друг всем комсомольцам, а в лагере — один. Сестру и ту по неделе не вижу. Нехорошо это. Секретарь подпольного райкома комсомола должен быть душой всего, а я с молодежью только в бою... Коллектив художественной самодеятельности организовали без меня. Майборода там заворачивает... Этого «любителя амурных дел», как называет его Павел Степанович, девочки обмывают и обшивают, он каждый день подворотнички

меняет. А у меня полгода уже носовых платков нет», — он горько улыбнулся и покраснел, вспомнив, как он сам стирает себе белье, забираясь для этого в потаенные места, в чашу, и какое застиранное и рваное оно у него.

Ему стало обидно за себя. «Надо будет в деревню к тетке сходить — попросить пару белья».

Потом он вспомнил Татьяну и тяжело вздохнул.

О Татьяне он думал часто, но боялся свое чувство к ней назвать любовью. Да и какое он имеет право любить замужнюю женщину?

«Глупости это все — встряхнул он головой, словно хотел вытрясти из нее все эти навязчивые мысли. — Вот как уничтожим фашистов, тогда и люби кого хочешь... А сейчас не об этом нужно думать».

Женя снова внимательно огляделся вокруг — косарей у леса уже не было.

«Видно, обедают», — мелькнула мысль, и он сам почувствовал голод.

Солнце было в зените — стояло высоко над рекой и пекло так, что даже листья стали горячими.

Вдали, у самого конца поселка, где недавно проплыл челн, теперь купались дети.

Женя растроганно улыбнулся.

«Как мирно кругом, будто и нет ее, войны...»

Достав из кармана краюху хлеба, он медленно, но с аппетитом начал есть, смакуя каждый откушенный кусочек. Очень хотелось пить. «Вот дурак, флягу не взял. Сиди теперь весь день без воды».

И вдруг краюха выпала из его рук: на крыше склада показался человек.

Женя схватил бинокль, но, разглядев на человеке обычную солдатскую форму, выругался, пожалев об уроненном хлебе.

Солдат поднял одеяло, вытряс его, снова старательно разостлал и покрыл белой простыней. Безусловно, все это готовилось для Койфера... У снайпера сильнее забилося сердце.

Волнуясь, он достал памятку, еще раз проверил расчеты поправок (в снайперском деле он был чрезвычайно тонким математиком), чистой марлей старательно вытер стекло оптики. Проверил прицел.

Солдат исчез. А минуты через три на крыше появился толстый человек в одних зеленых трусиках и в соломенной шляпе. Он потянулся, закинув руки за голову, оглянулся на реку и лег плашмя. Крыша склада имела скат в сторону реки, и Женя хорошо видел широкую спину откормленного фашиста, словно тот нарочно подставлял ее под пулю.

У хлопца задрожали руки.

«Э-э, да так ты не попадешь... Спокойно, спокойно, дурень ты этакий. — Он прижал винтовку к груди, нежно погладил ее. — Ну,

родненькая, не подведи и на этот раз. Пусть сгорит этот гад под нашим солнцем...»

Постепенно руки перестали дрожать. Он прицелился в шляпу, так как знал, что винтовка всегда бьет немного ниже. Сделав глубокий вздох, он плавно нажал спусковой крючок...

Выстрел...

Даже не вздрогнув, снайпер продолжал смотреть через оптический прицел.

Голое тело коменданта подскочило, перевернулось и проползло около метра по наклонному скату крыши, а потом недвижно застыло с раскинутыми в стороны руками.

Радостный крик вырвался из Жениной груди. Другого выстрела не требовалось. Но он не удержался и выстрелил в часового, который застыл над обрывом, очевидно в изумлении. Часовой упал, но сразу же вскочил и быстро побежал в глубину двора. Там замелькали фигуры солдат, прозвучали первые выстрелы.

«Жаль, что по этому промахнулся», — пожалел Женя, с ловкостью белки прыгнул вниз, в ореховый куст, и, пригибаясь к земле, побежал к ближайшим зарослям. В лозняке он засмеялся счастливым смехом и поцеловал теплый затвор винтовки.

XIV

Генрих Визенер со злостью выключил радиоприемник. К черту все это! Его не радовали крикливые сообщения об успешном наступлении войск фюрера на юге, об их приближении к Волге. Чего стоит это наступление, когда тут, в глубоком тылу, за сотни километров от фронта, настоящее пекло! Хуже всякого фронта. «Завоеванная земля!..» Черта с два! Пусть придут сюда берлинские крикуны и попробуют навести порядок на этой «завоеванной земле». А он, Визенер, уже пробовал это сделать и сыт по горло. От всего отряда «Кугель» не осталось в живых ни одного человека. Из ста двадцати человек гарнизона Буды уцелело только семь. А между тем там были доты, укрепления, пулеметы, минометы...

Партизанская бригада!.. До этого он сомневался, что у партизан есть такие большие соединения, как бригада. После налета на Буду он убедился в этом и растерялся. Что может сделать против бригады его неполная рота?

Он вскочил, пробежал по просторной комнате из угла в угол, остановился у окна, посмотрел на лес. «Чертово гнездо! Кругом леса, гарнизон оставлен на съедение партизанам. Странно, что они до сих пор медлят?»

— Идите же, черт возьми! — в отчаянии крикнул он и стукнул кулаком по подоконнику. — Идите! Я жду вас. — И, минуту помолчав, прошептал: — Не хотите? Медлите? Так ждите меня! Я знаю, где вы!

Да, Визенер знал главную базу партизан — лагерь на Лоси-

ном. Он не поверил, что Кулеш спасся от судьбы, которая постигла весь отряд «Кугель», именно так, как он сам рассказал об этом. Визенер хорошо знал этого проныру, потому что видел в нем многие черты своего собственного характера. Возможно, только это и спасло Матвея Кулеша от неминуемой смерти. Но Визенер сказал ему:

— Тебя надо расстрелять... Нет! Повесить. — Кулеш бросился ему в ноги. — Но я дарю тебе жизнь. Да, дарю... С условием: разыскать лагерь этого... Лесницкого, его главную базу. Теперь ты легко можешь это сделать. Не вдумай перебежать к ним. Я сделаю с твоими детьми то же, что сделал со всеми теми, кого ты выдал.

И Кулеш разыскал лагерь. Но Визенер боялся нападать на лагерь только силами своего гарнизона, он даже и мысли такой не допускал — зачем ему рисковать! Он просил помощи — не меньше батальона. Только с такими силами он мог бы отважиться идти в этот страшный лес, в эти непроходимые болота.

Но с присылкой подкрепления медлили, и он бесился от злости на начальство, ругал его последними словами, каждый день писал рапорты и звонил Койферу. До него дошли слухи, что партизаны готовят удар по его гарнизону; он понимал, что должен напасть первым — от этого зависела его жизнь. Нервы его были напряжены до крайности. Он не спал ночей, много курил и пил...

— Да, я знаю, где вы! Держитесь, геноссе Лесницкий! — процедил он сквозь зубы и, вернувшись к столу, начал писать еще один — последний — рапорт. «Помощи! Подкреплений!» — истерично взывала каждая строчка этого рапорта.

Зазвонил телефон.

Визенер подбежал к столу, быстро схватил трубку.

— Комендант Пригар обер-лейтенант Визенер, — механически сказал он и, внезапно побледнев, едва слышно спросил: — Что-о?

Он с минуту слушал, все больше и больше бледнея, потом, ничего не сказав, тихонько отнял трубку от уха и осторожно, словно она могла взорваться, начал класть ее на стол и... положил мимо. Трубка брякнулась на пол. Визенер испуганно подпрыгнул, какое-то время стоял неподвижно, а потом шепотом повторил то, что услышал по телефону:

— Два часа назад снайперским выстрелом из-за реки убит оберштурмфюрер Койфер. Фельдкомендант назначил комендантом района вас... Что? А-а, меня... Меня? Нет! Нет! — и он вдруг замал перед собой руками и начал отступать в угол комнаты, словно у него перед лицом кружились пчелы. Глаза его наполнились ужасом и страшно расширились — вот-вот вылезут из орбит. Впервые он, трезвый, увидел перед собой маленькую пулю, которая медленно приближалась к его голове. Отступая от нее, он споткнулся о кушетку и упал, дико закричав.

В комнату вбежали солдаты, дали ему воды, вызвали ротного доктора.

Через некоторое время он успокоился, но продолжал симулировать болезнь.

«К черту это назначение! Не хочу я быть комендантом в этом пекле, — думал он, лежа на кушетке. — Тут охотятся за мной день и ночь. Сегодня — Койфер, завтра — обязательно я. А я хочу жить! Жить! Я не хочу умирать. Я достаточно послужил фюреру, чтобы заслужить жизнь. Пусть послужат столько другие. А я устал, заболел. Мне нужно отдохнуть, переждать и добиться перевода в другое место, где меня не знают. Там я буду умнее. А тут пусть другие становятся на мое место и дослуживаются хоть до фельд-маршала. Я не буду завидовать им, когда я буду живым, а они — мертвыми... Да, самое разумное — заболеть, переждать и добиться перевода...»

И через час Визенера как тяжело больного отправили в областной центр. Несмотря на усиленную охрану, он дрожал всю дорогу — до тех пор, пока не лег на госпитальную койку. Только там он почувствовал себя в безопасности.

XV

В сентябре бригада ждала первый самолет из Москвы. Посадочную площадку готовили в районе Меж, километров за двадцать от Лосиног острова. Туда были стянуты почти все силы бригады. В лагерях остались только часовые, раненые, женщины и дети.

Фашисты разведали, что партизаны готовятся к чему-то серьезному, и, собрав силы, повели наступление на этот район.

Посадка самолета в такое время имела для партизан огромное значение. Она давала возможность систематически получать с Большой земли оружие, боеприпасы, взрывчатку, медикаменты. Одновременно она нанесла бы уничтожающий удар по лживой пропаганде врагов о том, что Красная Армия обескровлена. Эту пропаганду гитлеровцы повели с новой силой в связи с их наступлением на юге, на сталинградском направлении.

Это хорошо понимало командование бригады и, чтобы не задерживать прилет самолетов подготовкой новой площадки, решило оборонять подготовленную. Для этого нужно было не только отразить наступление противника, но и разгромить наступающие части, чтобы они больше не осмелились лезть в этот район.

Штаб бригады находился в Межах. Гитлеровцы были остановлены километрах в двух от деревни, на реке Вутянке. Партизаны сожгли мост и успешно отражали все попытки врага переправиться на другой берег. Нельзя сказать, что попытки эти были очень активными. Против партизанской бригады сражались саперный батальон и какие-то полицейские отряды. В батальоне была рота словаков. На вторую ночь словаки прислали своего парламентаря, который заверил партизан, что большинство словацких солдат будет стрелять вверх, а по возможности, в спину немцам. Значитель-

но большую опасность представляла четырехорудийная батарея, в первый же день обстреливавшая Межи и вызвавшая в деревне пожар. Но и она существовала недолго: Ночью Жовна с группой партизан своего отряда пробрался в тыл врага, перебил прислугу батареи и вывел из строя пушки. Батальон после этого, в сущности, был обессилен, и его не трудно было разгромить.

Но внезапно партизанские разведчики принесли весть о появлении в районе боев батальона эсэсовцев с танками, артиллерией и минометами.

Батальон прибыл рано утром и остановился в деревне Лемехи, километров за двенадцать от Меж. Эсэсовцы с места в карьер перепились, начали грабить население и насильничать. Было очевидно, что они не особенно торопятся в бой, видимо уверенные, что партизаны никуда не денутся.

Нужно было опередить их.

Приборный, Лесницкий и Николай Маевский разработали план разгрома этого батальона, а заодно саперов и полицаев.

По этому плану отряд Павленко должен был совершить тридцатикилометровый обходный марш через леса и болота, пересечь шоссе, подойти к Лемехам со стороны приднепровских лугов и ночью неожиданно напасть на эсэсовцев. Кавалерийский отряд Жовны в свою очередь должен был предпринять обходный маневр и зайти в тыл части, стоявшей на Вутянке. Отрядам Кандыбы и Ивана Плющая предстояло переправиться через реку и вести наступление в лоб. Время начала боевых действий всех отрядов было назначено на два часа ночи, с тем чтобы появиться неожиданно и одновременно со всех сторон.

Собрали командиров и комиссаров отрядов, объявили им боевую задачу.

Во время этого короткого совещания в комнату вошел радист и подал начальнику штаба радиogramму. Николай Маевский мгновенно расшифровал ее и, заметно взволнованный, встал. Командиры с нетерпением и даже завистью следили за ним: ведь он первым читает вести из Москвы!

— Товарищи! Москва спрашивает: можем ли мы принять самолет сегодня ночью?

Командиры вскочили с мест, возбужденно зашумели. Кто-то крикнул «ура».

Лесницкий поднял руку.

— Рано радоваться, товарищи! Нужно подумать, что ответить Москве. Готовы ли мы к принятию самолета?

— Готовы, Павло Степанович, что же вы! Готовы, черт возьми! — закричал Жовна.

— Самолет сядет, а эсэсовцы в это время танки пустят, артиллерийский обстрел начнут. Позиции их недалеко, надо иметь это в виду. — Лесницкий махнул рукой в сторону, откуда слышались выстрелы.

— Так от цих сучих сынов тильки мокрое место останется,

Павло Степанович. Вы же сами тильки казали, — не унимался Жовна.

— Самолет прилетит, безусловно, раньше, чем мы нанесем удар.

Поднялся всегда спокойный, дисциплинированный Павленко.

— Я предлагаю назначить удар на двадцать два ноль-ноль.

Лесницкий посмотрел на часы.

— Сейчас тринадцать. Раньше чем через час отряды не выступят. Сможет ли головной отряд проделать обходный марш за восемь часов?

— Сможет! — уверенно заявил Павленко.

— Сможет! — подтвердил Приборный. — Я сам пойду с ними.

Так и решили. Москве ответили: «Ждем». А через час отряды незаметно снялись с позиций на Вутянке и выступили... Перед маршем Павленко подошел к Лесницкому и несмело попросил:

— Товарищ комиссар, дайте мне моего командира пулеметного взвода.

Комиссар бригады нахмурился.

— Слушай, Павленко, можно сказать раз, два... Ты ведь взрослый человек. Какого ты дьявола надоедаешь мне? Пулеметчики у тебя есть, снайперы ночью тебе не нужны... А оставить отряд без комиссара я не могу.

Комиссар отряда Кандыбы, Залесский, был болен, и Евгений Лубян временно замещал его. О нем и шла речь.

С отрядом Жовны поехал начальник штаба бригады Николай Маевский.

Лесницкий остался в Межах и сразу же начал подготовку к ночному бою. Обошел отряды, побеседовал с партизанами, проверил состояние оружия и количество боеприпасов. Потом долго советовался с командирами, вырабатывая подробный план операции. Делать все это было легко и приятно, потому что он знал тут каждую ямку в реке, каждый пригорок и ложбину.

Неожиданно явилась Люба. Как только стало известно о прибытии эсэсовцев, ей поручили следить за ними. И вот она почему-то быстро вернулась обратно, усталая, бледная. Лесницкий с первого взгляда догадался, что случилось что-то необычное, и отрывисто спросил:

— Что?

— Эсэсовцев нет в Лемехах. Я не застала их там.

— Где же они?

— Никто не может сказать ничего определенного. Я даже поймала полицая. И тот ничего не мог сказать... прикончила его... Трудно было вести.

— А с лемеховцами ты разговаривала?

— Человек десять спрашивала. Одни говорят — поехали на Рудню, другие — к Днепру. Вот тут и гадай. Я лично верю и тем и другим. Эти гады затеяли какую-то хитрость.

Лесницкий задумался. Положение сразу осложнилось. Маневр

отряда Павленко потерял смысл. И комиссар, не медля ни минуты, направил человека вдогонку отряду. «Решайте, действуйте сами по обстановке,— написал он Приборному.— Но главная ваша задача сейчас — прикрыть наш тыл. Не исключена возможность, что эсэсовцы сунулись в лес».

Люба ждала, не сводя с него глаз.

— А мне куда?

— Не устала?

— Устала, но сидеть все равно не могу.

— Хорошо. Иди в лес. Зайдешь в Рудню,— сказал ей Лесницкий.— Любими средствами нужно найти этот батальон. Куда он мог исчезнуть? Словно сквозь землю провалился.

Оставшись один, комиссар взволнованно ходил из угла в угол по просторной классной комнате школы.

Положение было серьезным.

Он вызвал командиров и комиссаров отрядов, чтобы выслушать их мнения, посоветоваться.

Но раньше командиров в комнату вошел радист.

— Товарищ комиссар, радиogramма Центра.

Лесницкий жадно схватил листок, начал расшифровывать и вдруг обессиленно опустился на табуретку.

«Приборному. Лесницкому.

Вашу главную базу знают немцы... Атакуют сегодня батальоном СС. Сведения получены от Профессора», — несколько раз перечитывал он радиogramму, потом дорасшифровал ее:

— Сведения получены от Буйского. Эх, Андрей, Андрей! Большое ты дело сделал, но кто-то из вас опоздал — ты или штаб... Поздно... Поздно, товарищи.— Комиссар бригады сжал руками голову и тихо застонал.— Тридцать человек раненых... Женщины, дети. Все имущество, весь боевой запас... почти без всякой охраны,— шептал он.— Так вот он где, этот проклятый батальон! В самое сердце ударил... Как же мы проворонили его? Раззявы! — Некоторое время он сидел неподвижно. Потом вскочил, ударил кулаком по столу.— Нет, не поздно! Вы дорого заплатите за лагерь! Лубяна ко мне! И как можно скорее! — крикнул он связному и начал торопливо писать новую записку командиру бригады.

Лубян и Кандыба появились через пять минут.

Ничего не говоря, Лесницкий подал им расшифрованную радиogramму. Женя подался вперед:

— Я... Павел Степанович!

— Да, ты! На мотоцикл — и лети пулей. Может быть... Все может быть... Тогда пусть отходят через болото, уничтожая за собой кладку. А ты... ты один знаешь, как это сделать. Взорви!.. При любых обстоятельствах... Понял?

Лубян круто повернулся.

— Подожди,— Лесницкий обнял его, крепко поцеловал в губы и прошептал, словно это была тайна: — Я сам приду туда с отрядом Павленко, сейчас же догоню их.

Женя ответил:

— Встретимся, Павел Степанович! Встретимся! Не может быть... — и выскочил из комнаты.

XVI

По узкой извилистой лесной дороге мотоцикл мчался с такой скоростью, с какой, пожалуй, даже по асфальтовым магистралям не ездил ни один мотоциклист. Достаточно было одного неточного или запоздавшего на десятую долю секунды поворота руля, чтобы мотоциклист и машина разбились вдребезги. Но Женя не думал об опасности. Одна только мысль напряженно билась в его мозгу в ритм мотору: «Скорей! Скорей! Скорей!»

Выехав из леса, он увидел, что в деревне Хвостичи, через которую лежал его путь, бушевал пожар. Блеснула другая мгновенная мысль: «Фашисты!»

Но он не остановился...

В деревне действительно были немцы. Они проводили промелькнувшего мимо мотоциклиста ошалелыми взглядами и опомнились только тогда, когда он был уже далеко за деревней.

Над головой партизана засвистели пули, но родной пригорок прикрыл его.

Увидев знакомый лес, он подумал: «На опушке обязательно должна быть охрана». Не доехав с километр, он остановился и соскочил с мотоцикла. В нем больше не было надобности. Дальше нужно было пробираться через болото и лесную чащу.

Заглушив мотор, Женя услышал стрельбу. Ошибки быть не могло — стреляли на Лосином. Его опытное ухо различало даже виды оружия: станковые пулеметы, автоматы... А вот и миномет. Радостное восклицание вырвалось из его груди: «Держатся! Родные, милые! Держитесь! Держитесь, товарищи!» Затачив машину в кусты, чтобы никто не нашел, он во весь опор побежал к лесу. На опушке над его головой снова засвистели пули, но он не обращал на них внимания. Сердце его неудержимо стучало. «Скорей! Скорей!»

Эсэсовцам не удалось напасть на лагерь неожиданно.

Матвей Кулеш, который привел их, плохо знал законы партизанской жизни. Он не догадывался, что на опушке, за три километра от Лосиного, на одной из сосен сидел часовой. Партизан увидел эсэсовцев еще тогда, когда они были далеко от леса, и по телефону сообщил в лагерь.

Кроме того, все видимые дорожки, которые вели к Лосиному, были заминированы, и эсэсовцы наскочили на первые же мины.

Осколком мины был легко ранен и Кулеш. Напуганный до смерти (предатель не подумал, что смерть может его настичь и под охраной батальона эсэсовцев), он притворился тяжело контуженным. Обозленные неудачей, солдаты оттащили его к опушке и, даже не перевязав раны, бросили в кусты, откуда он и удра

домой, обрадованный, что имеет дело не с Визенером (он еще не знал об исчезновении коменданта).

Эсэсовцы, превозмогая страх, всегда овладевавший ими в лесу, начали осторожно пробираться сквозь чащу, но вскоре снова наскочили на мины. Потом попали под пули невидимых стрелков. Все же, хотя и с большими потерями, им удалось прорваться к лагерю.

Алена Григорьевна созвала совещание. В нем приняли участие она, Татьяна, командир лагерной охраны молодой партизан Иван Сумак и Маша Плотник — та самая девушка, красота которой поразила когда-то Лесницкого.

— Главная наша задача, — сказала Алена, — вынести раненых. Понесем их через Гнилое — в приднепровские лозняки. Сумак, выделите шесть бойцов.

Командир охраны возмутился:

— Ни одного человека не дам! Мое дело — оборонять лагерь, и я обороняю его! — Голос его срывался: Сумак был очень взволнован. В сущности, это было его боевое крещение, а он уже должен был не только сам участвовать в бою, но и командовать другими. Парень и гордился, и побаивался.

Врач не на шутку рассердился.

— Я тебе такого «не дам» покажу, что ты и внукам своим постесняешься рассказывать! — вспыхнула она. — Шесть человек для переноски раненых и двух — самых выносливых, ловких — в Межи, в штаб бригады. Таких, чтобы за час там были. Понял? А сам с остальными — умри, а удержи эту саранчу... — И вдруг совсем другим голосом: — Мы скоро придем тебе на помощь. Давай, Ваня.

Сумак бросился выполнять приказ.

Алена вернулась к девушкам.

— Ну, девчата, набирайте воздуху полную грудь. Работы нам — ой-ой!

— Я останусь тут. Я ведь пулеметчица, — решительно заявила Маша.

Алена гневно блеснула глазами и стукнула ладонью по кобуре револьвера.

— Расстреляю каждого, кто не выполнит моего приказа.

Татьяна вздрогнула. Никогда еще не видела она мягкую, ласковую Алену такой суровой и решительной.

Маша повиновалась.

Но когда они вошли в госпиталь и рассказали раненым о положении в лагере, случилось что-то неожиданное и поразительное: врача перебил комиссар одного из отрядов, старый учитель Григорий Петрович Залесский, только что начавший поправляться после воспаления легких:

— Подождите, Алена Григорьевна, я скажу. — И он обратил-

ся к раненым: — Товарищи, все, кто может встать, идти или даже ползти, — за оружие и за мной!

Раненые начали быстро собираться. У большинства из них оружие было при себе. Они сами добывали его в боях и не выпускали из рук до самой смерти.

Из двадцати восьми раненых выносить пришлось только одиннадцать.

По непроходимой трясине Гнилого болота еще весной были проложены жерди. Это была потайная и самая короткая дорога из лагеря в приднепровские луга. По этой дороге и вынесли раненых на песчаную косу среди болот, заросшую густым лозняком. Около раненых оставили Лену Лубян и маленького Витю.

Первая атака была отбита легко и с большими потерями для противника. Увидев лагерь, пьяные эсэсовцы бросились к нему все сразу и столпились на мостике, не желая мочить ног в речке. Там и встретил их дружный залп. Партизаны стреляли с небольшого расстояния, из траншеи, вырытой на подступах к лагерю, и поэтому почти ни одна пуля не пролетала мимо. Эсэсовцы отошли за речку и ударили из станковых пулеметов. Над головами партизан засвистели пули. С деревьев посыпались срезанные ветки, полетели щепки.

— Спокойно, хлопцы, спокойно! — командовал Залесский, переползавший по траншее от одной группы партизан к другой. — Пусть эсэсовцы гонят злость. А мы зря не будем тратить патроны. Только следите внимательно.

Обжегшись на первой атаке, эсэсовцы поняли, что прямая дорога на остров обороняется надежно, и, разделившись на две группы, пошли в обход по болоту. Одна из групп сразу увязла и вернулась назад, другая хоть и медленно, но начала продвигаться. Залесский вынужден был раздвоить силы. Это ослабило оборону.

Во вторую атаку эсэсовцы пошли одновременно с двух сторон рассыпной цепью, перебегая от дерева к дереву, от куста к кусту. Отбить такую атаку было трудно. Некоторые из немцев подкрались так близко, что им удалось бросить ручные гранаты и ранить нескольких партизан. К счастью, в этот момент подоспела Алена со своим отрядом.

Фашисты снова откатились.

Татьяна, прыгнув в окоп, начала перевязывать раненых. Но руки ее нервно дрожали, ноги подгибались, перед глазами плыли зеленые круги.

«От бега», — подумала она.

Над ней наклонился Залесский и крикнул, всерьез или в шутку — она не поняла:

— А вы, Карповна, скучали по настоящей войне! Вот она, любуйтесь!

Незнакомый вой заглушил ее ответ. Она выпрямилась — хотела посмотреть, но Залесский рванул ее за руку па дно окопа.

— Ложись, мина! — крикнул он.

Сзади раздался взрыв. Воздушной волной швырнуло в траншею землю, сухие ветки, листья. От сосны отлетел большой сук и повис над головой.

Взрывы гремели один за другим. Непрерывно осыпались листья и хвойные иглы. Упали и накрыли траншею две тонкие сосны.

Захлебывались вражеские пулеметы. Теперь их было уже не два, а много. Били они трассирующими пулями, и цветные струи впивались в покалеченные тела сосен, в бруствер окопа.

В лагере загорелись землянки. Едкий дым ел глаза.

Залесский долго смотрел в сторону лагеря, потом крикнул Алене:

— Не понимаю, отчего загораются землянки! Смотрите — одна за другой. Мины там не падают... — Он приказал молодому партизану: — Ползи-ка, браток, проверь, что там такое.

В этот момент мина упала в окоп, и осколками ранило двух человек.

Татьяна бросилась к ним, сделала перевязку.

«Боюсь я или не боюсь?» — думала она и поднялась во весь рост. Ей давно хотелось испытать себя, узнать, как она будет вести себя в бою. Это был подходящий момент. Но бой был совсем не похож на те бои, которые она представляла себе. И роль ее в этом бою была совсем другая.

Почему так часто и больно стучит сердце? Все еще от недавнего бега или уже от страха? Но она же совсем не думает о смерти! Нет, она не боится!

Большинство мин падало на краю болота, где находился с небольшой группой партизан Иван Сумак.

Залесский предложил Татьяне вместе с ним сходить туда.

— Там у них настоящее пекло. Как бы чего не случилось.

Она первая быстро пошла по извилистому окопу.

А мины все выли и выли, расщепляя деревья, отсекая сучья, вспахивая землю.

«Как хорошо сделали, что вырыли траншею вокруг всего лагеря!» — подумала Татьяна и вспомнила, что тогда многие партизаны, да и сама она, не понимали, зачем это делалось, и очень неохотно шли после утомительных ночных походов на рытье траншей. Но Лесницкий неумолимо требовал, чтобы весь лагерь был опоясан ходами сообщения.

«Где они теперь — Павел Степанович, Женя, Николай? Знают ли они о нашем положении?» Татьяна не успела додумать мысль. Волна горячего воздуха ударила в лицо, сбила с ног. Она сразу же поднялась, бросилась вперед, но вдруг отшатнулась, увидев ужасную картину: развороченный окоп, искалеченные тела убитых, красные корни сосны, которые сначала показались ей кусками человеческого тела. Ей стало дурно. Она услышала стоны, узнала голос Маши и, преодолевая слабость, бросилась к ней.

Рядом с Машей лежал убитый Иван Сумак. Немного дальше стонал раненый. Толстый сук придавил ему ногу.

Григорий Петрович вытащил его из-под сука и, обессиленный, упал сам.

Татьяна кинулась к нему. Но в этот момент замолчали пулеметы, реже стали бить минометы. Эсэсовцы пошли в третью атаку.

Залесский вскочил, бросился к ручному пулемету, из которого до этого стрелял Сумак.

— Карповна, берите автомат. Подавайте мне диски. — Он и в бою оставался вежливым, спокойным учителем.

Татьяна взяла автомат и стала рядом с ним.

Головная группа уже отбивала атаку. Эсэсовцы шли с гиканьем и криком, непрерывно стреляя из автоматов. Но те, что залегли на болоте, долго не поднимались, возможно ожидая результатов атаки в лесу.

Татьяна стиснула автомат так, что вся дрожала. Сейчас она забыла обо всем на свете и думала только об одном, хотела только одного: убить как можно больше фашистов. «Что же вы не лезете, гады? Поднимайтесь!» И когда они наконец поднялись, она сразу выпустила весь диск. Автомат замолк. Она растерянно оглянулась. Раненая Маша Плотник протянула ей заряженный диск. Татьяна наклонилась, чтобы взять его, но в этот момент сверху, со стороны лагеря, в траншею свалился человек. Она инстинктивно отшатнулась и увидела Женю Лубяна. С радостью она бросилась к нему:

— Женя! Вы пришли?

— Стреляй! — крикнул он в ответ и, сняв шапку, не спеша, старательно вытер песок со своей снайперской винтовки. Потом поднялся, посмотрел на эсэсовцев, которые лезли через болото, и выстрелил в сторону, в вершину высокого дуба на краю болота. С дуба хлопнул на землю солдат — очевидно, корректировщик минометного огня.

Эсэсовцы на болоте залегли.

Атака была отбита и около реки.

На мигу стало тихо.

Залесский, оторвавшись от пулемета, радостно протянул Лубяну руки.

— Евгений Сергеевич! Подмога?

— Слабая... Я один. С приказом. Забирайте раненых. Пошли.

— Куда?

— К той группе.

— А как же тут?

— Да тут они так скоро не пройдут. Вон около того куста такая жила, что затянет их с головой.

— Глупости — эта твоя жила, если по ним не будут стрелять, — запротестовал Залесский.

— Григорий Петрович! Выполняйте приказ комиссара бригады. Забирайте бойцов и уходите.

Когда все ушли, Женя стал на колени, поцеловал Ивана Сумака.

— Эх, Ваня! Друг ты мой!
Потом положил убитого под стену окопа, быстро засыпал землей.

— Чтобы не издевались над ним. А после мы вас похороним, товарищи...

В головной группе он также приказал похоронить убитых, потом подозвал к себе Алену и Залесского и сказал им:

— Отступайте через Гнилое. Последние разберут кладку. Я останусь тут и задержу эсэсовцев.

— А лагерь? — спросила Алена.

— Лагеря больше нет, если его знают враги. Лагерь я уже поджег. Видите? Уничтожу и остальное.

Татьяна наклонилась к нему и спросила с тревогой в голосе:

— А сам потом как?

Женя разозлился:

— Что вы рассуждаете, черт возьми! Мой приказ — приказ комиссара бригады. И пусть кто-нибудь попробует не выполнить его! Понятно? Сейчас же выступайте! Нельзя терять ни одной минуты.

Никто больше не сказал ни слова. Да и говорить стало трудно: противник усилил обстрел, и мины начали рваться чаще и ближе. Залесский, взяв пакет с документами, обнял и молча поцеловал Женю.

XVII

И он остался один.

«Ну, Павел Степанович, большую часть приказа я выполнил. Выполню и остальное. Все выполняю, Павел Степанович. Дорого обойдется фашистам наш лагерь. А теперь, пока есть время, поохотимся».

Он спял с плеча винтовку и, удобно устроившись, начал высматривать между деревьями эсэсовцев. Опытный глаз снайпера быстро находил их почти за каждым кустом, за каждой кочкой возле реки.

Он снимал их по очереди, одного за другим.

Разозленные эсэсовцы ответили ураганным пулеметным и автоматным огнем. Но били они вслепую и еще больше выдавали себя. Ни один выстрел партизанского снайпера не пропадал даром. Каждая пуля находила врага.

«Только бы задержать их наступление, дать возможность вывести раненых. Быстрее, товарищи, быстрее!»

И вдруг он увидел Татьяну. Она бежала к нему по окопу, низко нагнувшись, с ручным пулеметом в руках. У него дрогнуло сердце от мысли, что случилось какое-то несчастье. Иначе зачем бы она вернулась? Но, увидев ее лицо, он без слов понял, что ошибся, и сердито крикнул:

— Почему ты вернулась?

Она подбежала, схватила его руку и ответила беззвучно, одними губами:

— Я буду с тобой, Женя!

— Я приказал уйти всем!

— Я не могла, Женя. Я помогла вынести раненых и вернулась, чтобы быть с тобой. Как же я могла покинуть тебя одного в такой опасности? Пойми же ты! Там все поняли и согласились.

Да, она пришла, чтобы в тяжелую минуту быть с ним и, если нужно будет, умереть вместе. Она решила так в тот момент, когда он приказал им выходить, вдруг поняв, какой он близкий и родной для нее человек. Чувства, которые долгое время вспыхивали в душе отдельными искрами, в эту минуту загорелись ярким пламенем — стали определенными, ясными. Она почувствовала себя счастливой, встав рядом с ним перед многочисленными врагами, перед лицом смерти.

За разрывами мин он не все понял, что она говорила, но в ее глазах он увидел что-то такое, что когда-то видел в глазах матери, когда та провожала его в лес, и растерялся. Спросил:

— Где остальные?

— Все ушли. И кладку разрушили.

— Стреляй!

Женя выпустил из пулемета всю ленту, затем вытащил замок, повесил на шею винтовку и, схватив Татьяну за руку, побежал по траншее по направлению к болоту.

Татьяна подумала, что он хочет вывести, спасти ее, и испуганно вырвала руку.

— Дай замок! Я останусь одна.

Женя рванул ее к себе.

— Не рассуждай! Беги быстрее!

Позади дико закричали — эсэсовцы пошли в атаку.

Женя и Таня перебежали на край болота, к противоположному концу острова. В этом месте от центрального окопа отходил в сторону, в сосняк, узкий окопчик. Кончался он небольшой землянкой; дверь этой землянки раньше всегда была заперта на замок, и в лагере мало кто знал, что в ней скрывалось. Не знала этого и Татьяна.

Женя остановился перед землянкой. Двери ее были открыты, и Татьяна увидела там какие-то ящики и динамо-машину, похожую на те, которые использовались в немых кинопередвижках.

— Следи! — приказал Женя, показав на лагерь. — Когда они подойдут к огневому складу и мастерской, крикнешь мне. — И полез в землянку.

Татьяна высунулась из окопчика, легла на бруствер. В лагере горели почти все землянки. От них загорались деревья, сухой валяжник, листья. Пожар полз во все стороны. Только склад боеприпасов и мастерская по изготовлению мин и другого оружия, стоявшие отдельно и окруженные глубокой канавой, еще не горели.

Вскоре в дыму, среди пылающих землянок, замелькали мно-

гочисленные фигуры вражеских солдат. Вот они перескочили канаву, кинулись к складу, к мастерской, начали разбивать прикладами запертые двери.

У Татьяны сильно забилося сердце. Она поняла назначение землянки и намерение Жени и ждала, когда к складу подбежит побольше эсэсовцев. Но некоторые из них обходили склад и бежали дальше — к болоту, к ним. Тогда она свесилась в окоп и громко крикнула:

— Бей, Женья! Бей скорее!

Огромный столб огня рванулся в небо. Пошатнулись сосны. Тяжело вздрогнула земля. Гроыхнул короткий мощный взрыв. Засвистели осколки. А потом затрещало, загудело, посыпалась земля, доски, сучья, сажка.

Волна горячего воздуха сбросила Татьяну с бруствера в окоп. Там ее подхватил Женья, поставил на ноги, крикнул:

— Бежим!

Болото в этом месте у берега было сухое, заросшее высокой густой травой и чахлыми низкорослыми сосенками.

Они пробежали метров тридцать от острова и легли в траву.

— Сюда они не полезут! — спокойно сказал Женья.

На месте склада полыхало пламя. Все еще продолжали рвать патроны, бухали мины. Столб черного дыма поднимался над лесом и стелился по болоту густой копотью.

— Жаль лагеря, — вздохнул Женья. — Мы с Павлом Степановичем строили его еще до прихода врага... Базу создавали. Сколько мы тогда всего навезли сюда! Весь район, кажется, перевезли, и все по ночам. — Он минуту помолчал, а потом добавил уже более бодро: — Но ничего... Свое он отслужил и умирает со славой, как герой. С музыкой... Эх, Таня! Всех бы гитлеровцев так, на воздух! Скорей дожить бы до того дня. А я доживу, Таня, доживу. Я и сегодня верил, что выйду живым. И Павлу Степановичу на прощание сказал: «Встретимся, Павел Степанович! Встретимся!» Вот и встретимся. Как он обрадуется! — К болоту подбежало несколько эсэсовцев. Они остановились и начали стрелять из автоматов по камышам, кустам. Но дальше не пошли. Постреляли, постреляли и повернули назад, громко переругиваясь между собой.

Татьяна стиснула свой ручной пулемет и прошептала:

— Ударить бы по ним сейчас, Женья.

Он толкнул ее локтем.

— Дурная. Не нужно. Зачем рисковать попусту? Ну, убьем человека пять, а потом они нас — обязательно. Тут уж не спрячешься. А так мы будем жить и бить, бить и бить их, Таня. Сколько мы их с тобой еще уничтожим! Ого-о! Теперь мы с тобой сто лет проживем, раз сегодняшнее пережили. Понимаешь?

Он повернул голову, и она увидела на его худом грязном лице веселую, озорную улыбку. Такую улыбку она видела у него последний раз зимой, когда они встретились в лесу. И ей тоже стало радостно. Радостно оттого, что они сегодня одержали победу

(она только теперь это поняла), что вышли из этого боя живыми — Женья и она — и что лежат вот рядом. И возможно, еще оттого, что в первый раз за полгода она увидела на его лице знакомую улыбку и снова узнала Женью Лубяна, своего веселого, озорного и неутомимого на выдумки школьного товарища. Сразу же как-то забылось то большое, серьезное чувство, которое заставило ее остаться в опасную минуту с ним. Снова захотелось пошутить над ним, подразнить, поспорить, как когда-то в школе. Почувствовав это, она засмеялась.

— Чего ты? — удивился Женья.

— Очень уж ты красивый. Размалеван, как индеец.

— Сажка, — серьезно ответил Женья, и на лицо его снова легла тень озабоченности.

К берегу опять подошли эсэсовцы. Снова прочесали болото.

Женья показал им кукиш.

— Натё, выкусите, гады! Ловите ветер в поле!

Солнце, которое весь день скрывалось за тучами, в последние минуты дня пробило их и брызнуло на землю красными лучами. Золотом загорелись вершины сосен. Но через мгновение все погасло, потемнело. Только ярче заблестели огни догорающих землянок.

— Ну, сейчас они драпанут из лесу, — сказал Женья.

И правда, как бы в ответ на его слова, около речки взлетела в небо зеленая ракета и послышалась громкая команда. Эсэсовцы спешили до наступления темноты уйти из лесу.

Когда начало смеркаться, Женья и Татьяна вышли из болота. Молча походили по лагерю, посмотрели на пепелища землянок, вздохнули, вспомнив, какие они были уютные, их землянки, словно дом родной. Попробовали сосчитать кровавые пятна на земле, но скоро сбились со счета.

— Ишь сволочи, всех убитых подобрали. Ну, все равно им не вынести их из нашего леса. Павел Степанович с отрядом уже недалеко. Долго будут помнить наш лагерь. А что захватили? Пепелище. Правда, и нам тяжело будет. Сколько боеприпасов погибло!.. Но ничего... Ничего... — Он задумался, потом встрепнулся: — Да, мы же ночью самолет будем встречать! Таня! Эх, черт! Я и забыл совсем. Пошли быстрее! Ну и денечек сегодня! — Он поднялся (они сидели около огня), но, о чем-то вспомнив, снова сел. — Таня, перевяжи мне ногу. Понимаешь; осколком мины парануло, когда я к вам лез. Голенище пробило и икру задело. Тогда не болела, а сейчас почему-то разболелась.

Рана было неглубокая, но загрязненная. В сапог натекла кровь и запеклась там. Татьяна разрешила сапог, тщательно промыла рану спиртом и залила йодом. Делала она все это не спеша. Впервые ей было приятно делать перевязку.

Новое чувство, не такое суровое и глубокое, как то, что заставило ее остаться с ним, но и не такое, какое она испытала на болоте, охватило ее. Это было чувство горячей нежности, ощущение

ние его близости и восхищения им. Очень хотелось прижать его к груди, приласкать. А потом сидеть вот так всю ночь, слушать тревожный стон покалеченных сосен, взволнованные удары его и своего сердца и молчать, забыв все муки и ужасы.

Возможно, что и Женя думал о том же, так как он долго молчал, прислонившись плечом к сосне, а потом тихо спросил:

— Таня, скажи мне, почему ты вернулась?

Она совсем не ожидала такого вопроса и не знала, как на него ответить. С минуту она молчала, всматриваясь в его лицо, освещенное красным светом пожарища. Он ждал ответа.

— Не могла я покинуть тебя... Я же думала, ты атаку будешь отбивать. Один.

— Если бы быстро пошли, пришлось бы.

— Ну вот видишь... Какие ж были бы мы друзья, если бы покинули друг друга!..

— Тебе нельзя рисковать, Таня... У тебя муж, сын. Ты должна беречь себя для них. С кем останется Витя?

Татьяна выпрямилась, укоризненно посмотрела на него и с обидой ответила:

— Я пришла сюда не для того, чтобы спастись от смерти. Я пришла бороться, мстить врагу, а не беречь себя для мужа. Стыдно тебе говорить так... Да и вообще ты дурень. — Она усмехнулась. — Боже мой, какой ты дурень! Весь лагерь давно уже знает, что никакого мужа у меня нет и не было и что Витя не родной мой сын. Это еврейский мальчик, которого я взяла на дороге, когда шла с запада. Его мать эсэсовцы убили на моих глазах. Я и...

Он не дал ей закончить. Быстро наклонился, схватил ее руки и больно стиснул их.

— Почему же ты не сказала этого раньше?

— А разве сейчас поздно?

Он сильнее сжал ее руки.

— Да нет же... Почему поздно? Не поздно... Но это так неожиданно! Понимаешь, я просто растерялся...

— Почему? — хитро улыбнулась она.

— Почему, почему... Потому! — Он выпустил ее руки и сказал уже серьезно и без смущения: — Потому что я все время... думал о тебе и... жалел, что ты замужем. Понимаешь?

В ответ она обняла его за шею и крепко поцеловала в сухие, обветренные губы.

— Не жалею же больше, дурной мой. Не жалею...

Заставила их очнуться стрельба, неожиданно вспыхнувшая за лесом.

Женя вскочил.

— Отряд! Наш отряд добивает эсэсовцев! Бежим скорей.

Они взяли за руки и торопливо пошли через лес знакомыми партизанскими тропами.

В чаще на полдороге их остановил суровый окрик:

— Стой! Кто идет?

Женя узнал голос Лесницкого и бросился вперед.

— Свои, Павел Степанович! Свои!

— Евгений Сергеевич! Женя!

Комиссар бригады обнял его и долго молчал, стыдясь своих слез, которыми он наверняка выдал бы себя, если бы сказал хоть слово. Наконец он ласково отстранил Женю и, увидев молча стоявшую в стороне Татьяну, удивленно спросил:

— Татьяна?

А возле леса отряд добивал остатки эсэсовского батальона.

XVIII

Партизаны были в том состоянии усталости, когда человек может уснуть на ходу. Трудно в таком состоянии одному. В одиночку человек не поборол бы такой усталости. Но триста человек победили ее и быстро шли напрямик через лес, тяжело шагая по слежавшимся мокрым листьям, не тронутым в этой чаще ни ветром, ни зверем, ни человеком.

Одежда на людях была мокрая, грязная от прилипших к ней комьев земли, торфа, речного ила. Казалось, что они только что проползли через топкое болото или вылезли из грязной речки. Оружие и мокрая одежда тяжело давили на плечи, пригибали людей к земле.

Лес был уже голым, по-осеннему понурым и молчаливым, хотя ветер и раскачивал обнаженные вершины деревьев. Только сосны и ели по-прежнему однообразно шумели да на молодых дубках трепетали засохшие коричневые листья, упорно не желавшие расставаться с родными ветвями. Такие листочки иногда и зимуют, а осыпаются уже весной, когда начинают набухать почки.

Над лесом, едва не касаясь деревьев, плыли тяжелые тучи, угрожая обрушиться на усталых людей холодным дождем.

Партизаны не только устали, но были еще и голодны. Проходя под дубами, многие из них наклонялись за желудями. Колонна растягивалась. Впереди шел Приборный с Николаем Маевским. Лесницкий и командир отряда Павленко шли позади, следя за тем, чтобы кто-нибудь не отстал, и подбадривая тех, кто совсем выбивался из сил.

Отряд возвращался из предоктябрьского рейда. В заключение рейда был нанесен могучий комбинированный удар по железной дороге. Это была хорошо подготовленная и удачно проведенная операция. В ней приняли участие не только все отряды бригады, но и несколько тысяч колхозников, мужчин и женщин, из ближайших к железной дороге деревень. В деревнях этих в течение нескольких дней работали партизанские агитаторы. В вечер перед операцией туда ворвались отряды, навели там свой порядок и создали сходы, на которые явились все, от старого до малого. На сходах объявили о мобилизации всех трудоспособных на «ремонт железной дороги». Погнали даже старост и захваченных полицаяв,

сохранив им на этот раз жизнь. Все делалось будто бы в принудительном порядке, чтобы освободить население от ответственности за диверсию. Но крестьяне хорошо понимали смысл этой принудительности и шли с большой охотой. Даже старики и подростки не хотели оставаться в опустевших деревнях.

Одновременно другие отряды произвели налет на станцию, разгромили фашистский гарнизон и очистили от охраны большой участок дороги.

Работали всю ночь. Партизаны взорвали станционные будки, два железнодорожных моста, стрелки. Колхозники разобрали километров десять путей. Рельсы при этом были заброшены в болото и речку, а шпалы частично сожжены, частично сплавлены вниз по реке.

Гитлеровцы выслали к месту диверсии бронепоезд. Но, не дойдя километров пятнадцати, он скатился под откос, в болото, подорванный группой Гнедкова.

На рассвете все было закончено. Размеру диверсии удивлялись даже сами партизаны.

— Вот это подарочек фрицам, — удовлетворенно посмеивался Приборный. — Пусть облизываются. Будут помнить наш праздник. Жаль, что нельзя поблагодарить колхозников. А то, может, митинг закатим? А, комиссар? Ну-ну, знаю сам, что нельзя. От принудительности тогда ничего не останется.

Еще до рассвета отряды один за другим незаметно отошли от железной дороги и направились в свои постоянные лагеря — встретить праздник, отдохнуть.

Головной отряд снялся последним.

Теперь ему предстояло проделать тридцатикилометровый марш.

...В дубняке густой запах прелых листьев и желудей опьянил уставших, голодных людей. У самого комиссара бригады кружилась голова, и ему все время казалось, что пахнет вокруг не прелыми листьями, а только что вынутым из печки горячим хлебом. Он шел и поражался силе и выдержке женщин — за них он боялся с самого начала марша, но, к его удивлению, ни одна из них не отставала.

Первым сдал молодой боец — юноша лет семнадцати. Он присел под дубом и сразу же закрыл глаза. Лесницкий и Павленко наклонились над ним.

— Эх, Опанас, Опанас! Что же это ты, брат, спасовал?

— Я немножечко посижу, товарищ комиссар. А потом я догону вас, — не открывая глаз, попросил боец.

Павленко подхватил его под руки, приподнял и с силой встряхнул.

— Держись, Опанас, сейчас придем в Выселки и как следует подкрепимся. Люди там гостеприимные...

Хлопец повертел головой, поморгал глазами, отгоняя сон, и, улынувшись, стал догонять колонну.

Но вскоре начали отставать другие. Приборный и Павленко настаивали на том, чтобы остановиться в Выселках — небольшой деревне, приютившейся у самого леса, отдохнуть там и накормить людей. Об этом условились еще утром, и в деревню была выслана конная разведка. Разведчики должны были поговорить с крестьянами и подготовить обед на триста человек. Партизаны знали об этом и теперь ускоряли шаг. Но разведка неожиданно обнаружила в Выселках значительные силы врага.

Партизанских командиров удивило, что это — регулярная часть мотопехоты: по всем разведанным, таких частей в этом районе не было.

Командиры собрались, чтобы посоветоваться, что делать: вести ли дальше уставших и голодных людей, в обход врага, или вступить в бой?

— Надо обойти, — предложил Лесницкий. — У нас мало боеприпасов.

— Да... Но что это за часть? Откуда она взялась? Мы не имеем права не узнать этого, — заспорил Приборный. — Может, это каратели против нас? Может, они идут по нашим следам? Надо во что бы то ни стало взять пленных!

— Если это можно без боя... Поручим разведчикам захватить «языка»...

— Среди белого дня — «языка»? — усомнился Павленко. — Все равно боя не избежать, но тогда нападать будут они, немцы... Мы окажемся в невыгодном положении. Лучше уж атаковать нам!

Так и решили — дать бой. Объявили об этом отряду. Лесницкий боялся, что уставшие, голодные люди начнут роптать. Но партизаны единодушно поддержали это решение, и ему стало стыдно.

«Плохо, товарищ комиссар, знаешь своих людей, плохо», — подумал он, недовольный самим собой.

Начали занимать боевые порядки: расходиться по взводам, по группам.

До сих пор шли кто где мог и кто с кем хотел — согласно личным симпатиям. Евгений Лубян, например, всю дорогу не разлучался с Татьяной. Шли они впереди отряда, бодрые, счастливые, поглядывая друг на друга, улыбались, наверно, забыли, что две ночи не спали и вторые сутки ничего не ели. А как вообще изменился после боя на Лосином Лубяи, как ожил! Не все даже догадались сразу, что с ним случилось. Первым, конечно, догадался Лесницкий еще тогда, когда встретил их после боя в лесу и по-отцовски тепло порадовался за своего любимца, хоть в душе было немного больно.

Утром, когда двинулись в поход, Приборный, любуясь Евгением и Татьяной, пошутил:

— Лихо на тебя, Павел, какую дивчину проморгал!

— Перестань, Сергей, об этом, — очень серьезно попросил Лесницкий.

— Болит?

— Не люблю, когда ты говоришь глупости. Не солидно это для командира бригады.

— Ну-ну, начинается... В том, что солидно, а что нет, разберусь как-нибудь без твоей помощи, будь уверен.

Они шли, переругиваясь, и им обоим стало легче от дружеской перебранки.

Дружба их началась еще до войны. Война закалила ее и сроднила на всю жизнь этих двух людей с такими разными характерами. Правда, Лесницкому не всегда нравились шутки командира и особенно чрезмерный интерес Приборного к его личным переживаниям. Злило то, что этот проницательный человек умел распознавать его чувства раньше, чем он сам начинал понимать их. Так случилось и с его отношением к Татьяне. Он еще ни о чем не думал, ничего не знал и, ему казалось, не чувствовал, когда Приборный начал бросать камешки в его огород.

Только после того как прошел с Татьяной по району, он отдал себе отчет в своем чувстве. И хоть оно радостно взволновало его, он сдержал свои порывы — подумал, что в такое время нет им места в сердце. Теперь, когда Лесницкий узнал о любви Татьяны и Лубяна, шутки Приборного его особенно сердили. Лесницкий искренне обрадовался, увидев, какое чудодейственное влияние оказала эта любовь на посуровевшего от горя юношу, как она осветила его красивую и чистую, как кристалл, душу. Сердце его наполнилось отцовской нежностью к ним обоим — веселым, жизнерадостным, немного наивным в своей простой и чистой любви, и он с легкой грустью подсмеивался над своим памятным сном в овраге. Он восхищался ими не меньше, чем Приборный, но теперь его шутки начали обижать и сердить его.

...Когда двинулись в обход деревни, к Лесницкому подошел Петро Майборода. До этого он все время смеялся и шутил с девушками, а теперь, получив особое задание — захватить поселиднее «языка», — сразу стал сдержанным и серьезным.

— Павел Степанович, — пожалуй, впервые обратился он не официально, а так вот просто, по-домашнему, — остановите вы эту женщину... Хватит и без нее бойцов...

— Кого?

— Буйскую.

— Буйскую?

— Да, Настю.

— А где она?

— Пошла с разведчиками.

— Верните ее и пришлите ко мне. Все девчата разбежались, никого при медпункте не осталось. Вот народ!

Майборода, этот зубоскал, насмешник и подчас грубиян, уже давно с необычной для боевой жизни заботой оберегал Настю от всякой опасности. Когда только можно было, он не отходил от

нее ни на шаг. Она иногда подшучивала над ним, но не сердилась за это ухаживание.

Сначала хлопцы пытались было шутить: не влюбился ли, слушаем, и он? Петро сразу же оборвал их:

— Дурни! Она — жена Андрея. Не забывайте об этом, пустомели! От ее здоровья и жизни зависит успех его работы. Вы знаете, где он сейчас? Не-ет! То-то же...

И хлопцы будто воды в рот набрали: так всех тронула эта забота его о жене друга.

...Выселки потому и назывались так, что деревня эта, как шутило до войны районное начальство, была «забыта богом и людьми». И в самом деле, людей будто выселили в лес, на поляну в две сотни гектаров песчаной худосочной земли за пятнадцать верст от центра сельсовета. Но крестьяне жили тут до войны неплохо: обеспечивали все ближайшие рынки бочками, колесами, дугами, не говоря уже о грибах и ягодах. Одним словом, кормились с леса, как говорится, дарами природы.

Лес окружал деревню с четырех сторон, и отряд без труда обошел ее. Но нигде лес не подступал к самой деревне, между ним и хатами, гумнами широкой полосой лежало совсем голое и ровное поле, без кустика, без канавки. Партизаны рассчитывали, что, начав наступление одновременно со всех сторон, им удастся захватить фашистов врасплох и ворваться в Выселки. Долго из лесу наблюдали они за деревней, сосчитали все машины, что стояли на улице, но не заметили ни одного часового. Изредка между машинами пройдет солдат, не скрываясь, во весь рост, без опаски. Поэтому все решили: немцы просто отдыхают после долгой дороги, уверенные, что днем никто на них не нападет.

Лесницкий стоял на опушке, в сосняке, откуда начинала наступление группа Лубяна — самые молодые и ловкие. Отсюда было ближе к школе, у которой скопились почти все машины и в которой наверняка отдыхали офицеры. Это и было, по существу, направление главного удара.

Лесницкий внимательно рассматривал в бинокль деревню, поглядывал на часы и изредка на хлопцев, что лежали на земле в ожидании команды. Комиссар все еще волновался и чего-то побаивался, хоть Приборный, Павленко, Лубян убедили его, что все будет как нельзя лучше. Наконец он, будто на старте, резко махнул рукой, и хлопцы рванулись все сразу, рассеиваясь по полю веером. Лесницкий спешным шагом пошел за ними, инстинктивно нагибаясь, как и все.

Тишина. Хорошо. Так, так... Метров сто пробежали... Еще метров двести, а там — гумно, стог сена, плетень... И вдруг: «та-та-та...» Что это? Пулемет с чердака школы... Комиссар рванулся вперед, закричал:

— Ложись! — и упал сам в борозду.

«Ну вот... все к черту! Ах какие мы самоуверенные! Какой я дурак... Зачем было соглашаться на эту авантюру?.. После такой

операции, перед таким праздником — раненые, убитые, горе, слезы...»

Ему стало не по себе. Вслед за пулеметом застрочили автоматы, а где-то с другой стороны, где наступала группа Приборного, засвистела и тявкнула мина.

— Ну вот тебе... старый авантюрист! — выругал Лесницкий друга.

Хлопцы залегли и отвечали одиночными выстрелами — это Лубян и его товарищи-снайперы пытались снять вражеских пулеметчиков.

Вдруг в шуме перестрелки послышался рев мотора. Через минуту Лесницкий увидел, как на поле, слева от них, выползла самоходка, черная, тупорылая; остановилась, повертела своим хоботом во все стороны, словно принюхиваясь, и плюнула огнем в направлении леса. Лезть на такую вражину было бы сумасшествием, и Лесницкий выпустил в пасмурное небо две красные ракеты — сигнал отхода. К счастью, немцы не осмелились сунуться в лес, и группы отряда скоро собрались вместе, углубились в заросли, за болото. Партизаны горько шутили:

— Вот и выпили и закусили...

Приборный и Павленко виновато молчали. Лесницкий с болью в сердце ругал и их и себя: затея эта стоила жизни молодому партизану, шесть человек было ранено. Потом вдруг обнаружили, что исчез Петро Майборода. Партизаны заволновались.

Разведчик все время был с группой Лубяна, и Лесницкий сам видел, как он отползал вместе со всеми. Неужели же был ранен и промолчал, а сейчас истекает где-нибудь кровью? Комиссар с группой молодых партизан вернулся искать его.

Майбороду они повстречали на болоте. Но прежде чем увидели его самого, услышали из-за кустов голос разведчика:

— Ежели ты не перестанешь брыкаться, швайн ты этакая дойч, я тебя, как щенка, утоплю в болоте. Я, я, кофф васэр... головой в воду... Понял? Смотри же, паскуда, лежи тихо... Я тебя, дрянь ты этакая фашистская, несу на плечах со всем комфортом, а ты брыкаешься, будто кабан. Ду ист хунд!.. Никакой в тебе благодарности нету, хам ты этакый... Я двое суток не ел, несу тебя, а ты еще не доволен... Выберемся из болота — я тебя заставлю, чтоб ты меня нес. Я, я...

Хоть положение было не из веселых, Лесницкий не мог удержаться от смеха, услышав эти слова и увидев, как Майборода несет на плечах связанного, с кляпом во рту немца. А партизаны — те весело захохотали, увидев своего. Петро сбросил немца в воду и вытер со лба пот. Фашист испуганно таращил глаза.

— Стоит всыпать тебе, Петро, что без разрешения исчезнешь, — незлобиво погрозил Лесницкий.

— Как это без разрешения, товарищ комиссар? Я же выполнял приказ — захватить «языка».

— Приказ был дан в другой обстановке...

— Самая лучшая обстановочка, товарищ комиссар! Я знал, что они обязательно будут осматривать опушку — нет ли там раненых, или еще чего. Потому я и зашел в сльничек, где начинают заросли, и сам в своем камуфляже — на ель. А под елью разбросал разные вещички — портсигар, губную гармошку, платок, обойму и, чтобы издали белело, повесил на сук тряпки... И этот, верный сын своего фюрера, клюнул-таки на такую приманку, как мои грязные тряпки! Подошел и, понятно, сразу нагнулся за портсигаром... Серебряный! А я ему — на голову... Вот только щеку ободрал, как прыгал... Сапогом по затылку — и ни одного лишнего звука... Но, паскуда, когда опомнился, никак не хотел идти. Упрямый, дьявол... Пришлось пестить, а потому и задержался...

Гитлеровец в самом деле оказался очень упрямым. Правда, увидев целую группу партизан, он как-то притих, согласился идти и не пытался кричать, хоть кляп изо рта ему вынули. Но на все вопросы Жени отвечал одно и то же:

— Нихт ферштеен.

Партизаны шутили:

— Плохо ты, Жени, немецким языком владеешь.

Алена Григорьевна знала язык хорошо и всегда была за переводчицу, однако и на ее вопросы фашист не отвечал. А командирам очень хотелось дознаться, что это за часть, почему она тут...

— Ничего, заговорит потом...

В отряде обрадовались возвращению Майбороды с такой добычей, а рассказ Петра, как он поймал и нес фашиста, всех развеселил. В приподнятом настроении партизаны двинулись дальше, к лагерю, не обращая внимания на дождь и уже сгустившиеся сумерки.

...В землянке было влажно и душно. Жарко горело в печурке. Командиры сушили свою одежду и обсуждали операцию на железной дороге и бой у Выселок. Накормили пленного. Попробовали допросить его еще раз. Но фашист не отвечал ни на один вопрос. Упорный. Смотрит волком. Сказали, что, если он даст показания, его отправят в советский тыл как пленного, будет молчать — расстреляют.

— Стреляйте! — истерично закричал он.

— Ничего, заговорит, — уверенно сказал Лесницкий.

— Ну что ж, пусть посидит, подумает... Может, поумнеет.

В землянку вошел радист.

— Радиogramма из штаба соединения.

— Поздравляют с праздником, — высказал догадку Приборный.

— Нет, кажется, что-то другое, шифр «Б», — ответил Николай, принимаясь за расшифровку. Расшифровывал он минут пятнадцать, не меньше.

Приборный и Лесницкий молча стояли около печки, не сводя с него глаз, и нетерпеливо ждали. Наконец он поднялся.

— Слушайте! «Командиру и комиссару бригады «Днепр». Шестого и седьмого в районе Лоева через Днепр переправляется партизанская рейдовая армия генерал-майора К. Приказываю вам силами всей бригады прикрыть переправу с севера. Парализуйте железную дорогу, оседлайте все дороги на правобережье, установите связь с К. Ружак».

Лесницкий быстро подошел к Николаю, взял радиogramму, прочитал ее и передал Приборному. Потом, встав рядом, они долго перечитывали ее вместе.

— Партизанская, товарищи! — взволнованно воскликнул комиссар, обводя друзей радостным взглядом.

— Рейдовая, Павел Степанович, рейдовая, — добавил начальник штаба.

— Армия! Армия, хлопцы! С этого начинайте! — пробасил командир. — Теперь и загадка появления немцев понятна... Та-ак... Все ясно... Они хотят помешать движению армии... переправе. Не выйдет... Пиши приказ, начальник штаба. Составляй диспозицию. — Он открыл дверь и громко крикнул: — Дежурный! Павленко сюда! Пулей!

Его бурная радость передалась Лесницкому и Маевскому.

— Вот это праздничный подарок!

— Внимание, товарищи! Начинаем думать о размещении отрядов. Прошу к карте, — весело попросил Маевский.

Прибежал запыхавшийся Павленко. Приборный, возбужденный, взволнованный, поднялся навстречу ему.

— Накормил своих орлов? Дай им три часа поспать. Да, да, только три. Не удивляйся. Через три часа выступаем. На вот, читай!

Павленко пробежал глазами радиogramму и, удивленно посмотрев на командира бригады, начал читать снова — медленно, внимательно.

— Подробности пока что не рассказывай. Но объясни людям чрезвычайность этого ответственного задания. Выяви больных, выбившихся из сил. Подготовь три пары конных посыльных.

— И сейчас же направь сюда всех коммунистов, — добавил Лесницкий и снова склонился над картой Приднепровья, по которой безостановочно сновал красный карандаш начальника штаба.

XIX

Был совсем обычный день, но для партизан он был необыкновенным, потому что в их суровой жизни дни такие — редкость. В этот день только несколько разведчиков были на задании. Все остальные отдыхали, и отдыхали уже третьи сутки. Это был самый долгий отдых за все время существования бригады. Партизаны заслужили его. Почти месяц бригада находилась в непрерыв-

ных боях и походах, и силы ее были напряжены до крайности. Особенно тяжелыми были последние бои, когда бригада прикрывала переправу рейдового соединения украинских партизан.

Гитлеровцы старались любыми средствами сорвать переправу. «Днепровцы» приняли на себя их главный удар, грудью своей прикрыли украинских братьев. Много мужественных бойцов потеряла бригада во время этих боев. Много было раненых и больных, а остальные партизаны были донельзя утомлены, обессилены. Поэтому и на третий день отдыха в лагере было тихо. Люди спали. Только медленно расхаживали часовые да около госпиталя сустились санитары. Земля была скована морозом. В воздухе время от времени начинали кружиться снежинки — вестники близкой зимы, но ветер не давал снеговым тучам сгуститься и упрямо отгонял их куда-то вдаль, на восток.

— А все-таки почью снег выпадет, — заметил Приборный, войдя со двора в командирскую землянку.

Лесницкий поднял голову, взглянул в узкую щель оконца.

— Идет?

— Не идет, но пойдет. Ну как тебе? Лучше? Дышал ты, кажется, легче, когда спал.

— Немного лучше. Но все еще жжет. Первый раз в жизни так болею.

— А тебе надо было плыть! Додумался, будь ты неладен, в ноябре переплывать Днепр!

— Рассуждать было некогда, Сергей. В таком положении через вар поплывешь, не то что через Днепр — от этого зависела жизнь наших людей. Ты же понимаешь: если бы они напали нечаянно, они не только могли бы уничтожить отряд Плющя, но и напортить на переправе. А так попали в ловушку...

Лесницкий с удовлетворением улыбнулся, вспомнив, как отряд разгромил гитлеровцев, которые неожиданно появились на восточном берегу, намереваясь через лес пробраться к переправе. Но для этого ему самому нужно было немедленно переправиться через Днепр, чтобы предупредить Плющя. Лодки под руками не было, и он пустился с группой партизан вплавь, хотя по реке уже шел битый колючий лед.

— Однако давай отхватим минут по двести заключительных, до обеда времени еще много, — предложил Приборный, укладываясь на свой топчан.

На полу, на сене, покрытом трофейными палатками, спали Николай Маевский и Павленко. Спали они крепко и сладко.

— На кухне смеются над Майбородой. Рассказывают, проспал двадцать шесть часов не просыпаясь. Представляешь? Алена даже испугалась, пошла пульс щупать. А потом полведра каши съел. Вот уж любитель рекордов. Удивляюсь, как он машину не разбил, когда был шофером. Однако спать, спать, спать... — И через какие-нибудь три минуты Приборный захрапел на всю землянку.

Лесницкий посмотрел на него, удивленно покачал головой: как быстро человек умеет засыпать!

Самому ему не спалось. В голову то и дело приходили разные планы будущих операций. Он пробовал отгонять их: ну что путного можно придумать с больной головой? Но чтоб отогнать одни мысли, нужно, чтобы пришли другие, а других, не связанных с их борьбой, у него не было, да и не могло быть в такое время.

«Интересно, что сейчас у Сталинграда?» — подумал он и, вспомнив, что не читал вчерашней сводки, осторожно поднялся, чтобы не разбудить друзей, тихо открыл дверь и пальцем поманил к себе дневального:

— Передай радистам, чтобы принесли вчерашнюю сводку.

Когда сводку принесли, он перечитал ее несколько раз и долго вдумывался в скупые слова сводки, словно хотел увидеть между ними что-то более значительное. Из головы не выходили слова Верховного Главнокомандующего: «Скоро и на нашей улице будет праздник». Очень хотелось скорее услышать про этот праздник. Народ ждет его с нетерпением...

Он размышлял долго, а потом как-то неожиданно заснул глубоким, крепким сном. Он не слышал, как в землянку вошла Алена Григорьевна, пощупала его лоб, послушала пульс и сказала:

— Кажется, кризис.

Разбудил его шепот. Тихий шепот часто действует на спящего хуже самого громкого разговора — сразу будит.

Лесницкий открыл глаза и увидел, что все три командира куда-то собираются и шикают друг на друга, показывая на него. Он поднял голову.

— Вы куда?

И тут же увидел около дверей человека с завязанным лицом, а за ним — вооруженного партизана. У задержанного из-под куска грязной плащ-палатки выглядывала длинная седая борода.

— Развяжите ему глаза.

Часовой развязал пленному глаза, и Лесницкий узнал в нем старого днепровского рыбака, деда Лаврена, который до войны, да и теперь не раз, перевозил секретаря райкома через Днепр.

Приборный тоже узнал его и засмеялся:

— Старый хрен. Столько шуму наделал!

Старик старательно протер шершавыми пальцами натертые повязкой глаза и, разглядев Лесницкого, степенно поздоровался.

— Вот хоть и с завязанными глазами, а нашел, кого искал. — И, подойдя ближе, повернулся к Приборному: — А ты не ругайся, Сергей Федотович, у меня, может, большое дело есть. — И снова к Лесницкому: — Да ты, соколик мой, хворый, а-а?

— Ничего, дед Лаврен, уже поправляюсь.

— Слава богу, слава богу! Где тут у вас можно присесть?

Николай встал и подал ему деревянный чурбан, на котором только что сидел.

Старик сел и, достав свою огромную трубку, стал набивать ее

самосадом, да таким, что некурящий Павленко начал чихать. Потом дед долго высекал кремнем огонь.

— Отсырела немецкая культура, мать ее так...

Приборный, смеясь, подал ему бензиновую зажигалку-конструкции Гнедкова. Дед закурил и сказал, обращаясь ко всем:

— За правдой пришел до вас. Вот что. Да чуть нашел. Два дня по лесу плутал. Позавчера это, значаца, началось. От кого пошло — не скажу, бо сам не ведаю. Но вся деревня заговорила, что немца на Волге побили.

Командиры удивленно переглянулись между собой.

— Да не просто побили, а так, говорят, дали, что и живых мало осталось, вот что. А какие остались — так бегут оттуда без оглядки, а их догоняют и еще бьют... Говорят, что одного уже в наших краях видели. Душа у него еле держится со страху. Ну, старики и начали ходить ко мне... «Ты, — говорят, — Лаврен, с разумными людьми знаешься». Они, значит, уверены, что я связь с вами держу. Что я мог им ответить? А тут, как назло, и ваши хлопцы сколько дней носа не кажут. Подумал я и пошел искать вас, чтобы точную правду узнать.

Командиры снова переглянулись. Приборный спросил:

— Кто читал сегодняшнюю сводку?

— Вот она, у меня, — отозвался Лесницкий, протягивая листок желтой бумаги.

Командиры втроем долго и внимательно читали сообщение Совинформбюро. Старик посмотрел на них и тяжело вздохнул:

— Значит, нема ничего такого?

Все обернулись к комиссару. Лесницкий на мгновение задумался: что сказать старику, который пришел с таким необычным вопросом от имени народа?

— Да пока что нет такого сообщения. Но оно будет, дед Лаврен, и будет скоро. Народ ждет этого праздника и уверен, что он скоро будет... День-два... Поверьте моей интуиции.

Неизвестно, каким образом разговор этот облетел весь лагерь. Через несколько минут уже никто не спал, и у каждой землянки, у каждого шалаша горячо обсуждали слух, принесенный старым рыбаком, и слова комиссара: «Еще нет, но будет, скоро будет».

Волнение охватило всех. Партизаны забыли об усталости и начали проситься на задание, хотя время, предназначенное для отдыха, еще не кончилось. Приборный разрешил идти только подвыпившим. Остальные продолжали отдыхать.

Вечером коллектив самодеятельности под руководством Майборода давал октябрьский концерт, который из-за боев не могли дать в праздничные дни. Концерт затянулся — программа была большая. Недаром Майборода готовил ее почти полгода. В заключение хор исполнил песню «Священная война». Величаво и грозно в эту ноябрьскую ночь звучали в старом бору суровые слова песни. Звучали, как гимн, как великий призыв. И партизаны слушали ее стоя, в напряженном молчании.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

В бледном свете двух фонарей причудливыми мотыльками кружились снежинки.

Внезапно песню прервал громкий и радостный крик:

— Есть, товарищи! Есть!.. Правильно говорил дед!

Хор замолк.

Из темноты в полосу света выскочил радист Алексей Гончаров и стал впереди хора.

— Вот оно, товарищи! Началось. — Голос его дрожал от сильного волнения. — Вот... Слушайте. «В последний час. Успешное наступление наших войск в районе города Сталинграда».

Люди подались к нему, замерли. А когда он кончил читать, возбужденно заговорили, засмеялись. Но Майборода дал хору команду, и все звуки потонули в могучей боевой песне, которая призывала мстить врагу, вдохновляла на подвиги.

Когда песня кончилась, партизаны закричали:

— В поход! В поход, товарищи!

— Товарищи командиры! Вперед!

— Сергей Федотович!..

— Комиссара сюда!

На руках вынесли из землянки завернутого в кожу Лесницкого, на руках подняли его вверх. И он сказал самую короткую за всю свою жизнь, но самую взволнованную и горячую речь:

— Товарищи, началось великое наступление!

— Смерть фашистским оккупантам!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I



Зима Сталинграда была периодом мощного роста партизанских сил, их победного наступления.

Бригада «Днепр» очистила от противника большой район, и ее отряды всю зиму разме-

щались в деревнях.

Некоторое время штаб бригады находился в Ореховке, и Маевские жили в родной деревне, в Любиной хате. А напротив, в просторном доме Лубянов, находился госпиталь, и хозяйничали там Алена Григорьевна и Лена Лубян. Только Женя ни разу не ночевал дома — он все время был на заданиях.

В партизанский район аккуратно прилетали самолеты с Большой земли. Частыми гостями в отрядах стали представители ЦК партии и комсомола, журналисты и кинооператоры. В январе в Москву вылетел Андрей Буйский. Обрато он не вернулся, только с очередным самолетом прислал письма Насте и Лесницкому. Насте он писал, чтоб не волновалась и верила в то, что он вернется, а комиссара бригады просил не оставлять жену, помочь ей (в то время уже все знали, что она ожидает ребенка). В феврале вызвали в Москву и Лесницкого, но он вскоре вернулся. Вместе с ним прилетел представитель Центрального штаба и привез партизанам награды — ордена и медали. Вручение наград проходило торжественно, во многих отрядах — в присутствии населения.

Ореховцам награды вручали в родной деревне. Женя Лубян, Алена Зайчук и Николай Маевский были награждены орденами Ленина, Люба и Настя — Красного Знамени, а Татьяна и Карп — Отечественной войны.

Пока полковник называл имена других награжденных, Татьяна радостно смеялась и аплодировала вместе со всеми. Чувство огромного счастья наполнило ее, когда орден вручили Жене. Вот он какой, ее любимый! Получил тот же орден, что и комиссар и командир бригады! Татьяна не сводила с него глаз. Ей так хотелось хотя бы взглядом поздравить его! Но он стоял далеко, вторым с правого фланга, и не смотрел в ее сторону. Его невнимание немного сердило девушку. «Неужели не может хоть разок посмотреть сюда...»

А как красиво и торжественно было вокруг! Яркое светило мартовское солнце. С крыш падали крупные капли, срывались и со-

звоном разбивающегося стекла рассыпались намерзшие за ночь сосульки. Горели на солнце красные ленты на шапках партизан. И все вокруг счастливо смеялись и аплодировали.

Но когда полковник назвал ее имя, Татьяна от неожиданности растерялась и забыла, что нужно делать.

Тетка Степанида легко толкнула ее в спину.

— Скорей же ты... Ждут тебя.

Она подошла и молча взяла орден, не переставая думать: «А мне за что? Что я сделала?»

Ее поздравляли. Женщины обнимали и целовали. Подбежала возбужденная, раскрасневшаяся Люба, обняла ее и, заглянув в лицо, рассмеялась.

— Что это ты нос повесила? А? А я знаю. Сказать? — В глазах ее горели лукавые огоньки.

Татьяна знала, что Люба способна сказать такое, от чего может стать еще более неловко, поэтому отвернулась, незаметно выбравшись из толпы и пошла домой.

Успокоил ее Женя. Он заметил, что она раньше времени ушла с площадки, где после вручения орденов начались танцы и игры, и пошел за ней.

Татьяна призналась, что ей стыдно перед партизанами, получившими меньшие награды. Ничего она такого особенного не сделала.

Он ласково обнял ее.

— Чудная ты, Танюша. Я прямо не понимаю тебя. Какая-то ты беспокойная. Как же это зря? Кто не заслужил, того не награждают, будь уверена. А мы с тобой заслужили, Танюша. Воевать нам еще долго.

Татьяна прижалась к нему, прошептала:

— Только ты береги себя, Женек.

Он сжал ее плечи. Ведь точно так когда-то говорила мать каждый раз, когда провожала его в лес. Он вспомнил ее и долго молчал. Потом с нарочитой шутливостью сказал:

— Меня, Таня, ни одна пуля не возьмет. Я замороженный.

Она с укором покачала головой.

— Замороженный! Кто это заморозил?

— Ты!

За окном послышались шаги. Пришел отец. Женя встал, чтобы выйти, но Карп задержал его.

— Куда, Евгений Сергеевич? Сегодня я буду тобой командовать. — И, взяв хлопца за руку, Карп усадил его на скамейку.

Старик был радостно взволнован и счастлив. Раздевшись, он с нежностью погладил орден, расправил усы... Казалось, он помолодел на много лет.

Татьяна с улыбкой сказала ему об этом.

— А что ты думаешь, дочка! И помолодел! Да как не помолодеть, глядя на вас? Эх, дети! — В глазах его блеснули слезы счастья. — Как не помолодеть! Вчера приняли в партию, а сегодня

орден дали. Вот они, Маевские! Вся семья — коммунисты, орденосцы! Дожить бы только всем до конца...

— Доживем, дядя Карп.

— И я говорю: доживем, сынок. И счастье свое построим заново. Будут у нас и сады, и пчелы, и все, что нужно человеку для счастья.

Карп сел рядом с Женей, и они разговорились. Разговаривали серьезно, степенно, как солидные хозяева и близкие люди. Обсудили положение на фронтах, потом свои партизанские дела, события последнего дня.

Татьяна слушала с радостным волнением.

Ей было приятно смотреть, как они сидят рядом, отец и ее будущий муж (она уже не стеснялась мысленно так называть Женю).

Но вскоре отец заторопился:

— Заговорились, а скоро гости придут. Где это Люба? Любу сейчас со свечой не найдешь. Просил прийти, а она хоть бы что... Нужно же готовиться. Сходите-ка вы, принесите столы от соседей.

Но когда они направились к дверям, Карп остановил их, подошел и взял за руки.

— А может, дети, заодно и свадьба ваша, а? Нехай бы радость за радостью...

Татьяна вскинула, опустила глаза.

— Что вы, тата...

— А ты не стесняйся, дочка.

— Нет, дядя Карп. Мы условились — после победы, — просто и серьезно ответил Женя. — Только после победы.

— Что ж, дело ваше, — согласился Карп и, почувствовав неловкость перед ними, быстро отошел к столу.

— Ну, идите, идите...

Выйдя во двор, они посмотрели друг на друга и засмеялись, охваченные чувством светлой радости.

II

Готовясь к летнему наступлению в районах Курска и Орла, гитлеровское командование решило любыми средствами укрепить свой тыл, обеспечить коммуникации. Особенное значение имели для них железнодорожные линии Белоруссии и северной Украины — кратчайший путь из Германии к месту готовящегося наступления. Поэтому весной гитлеровское верховное командование выработало план больших карательных экспедиций. Ставилась цель — полностью задуть партизанское движение. На помощь тыловым охранным частям были брошены лучшие кадровые дивизии с танками и авиацией под командой опытных генералов.

Карательную экспедицию в Приднепровье возглавлял генерал-майор фон Адлер. У него был большой военный опыт, и его счи-

тали лучшим стратегом и тактиком борьбы с партизанами. Было известно, что он дважды командовал карательными экспедициями против украинских партизан в восемнадцатом году, хотя об этих походах сам генерал вспоминал не очень охотно. Он воевал в Испании, в районе Бильбао, где борьба в горах тоже напоминала партизанскую войну. Ему удалось провести удачную операцию против югославских партизан. За эту операцию он получил Железный крест и благодарность фюрера. Его награждали, но не повышали. Друзья объясняли это тем, что там, наверху, не могут ему простить пренебрежительного отношения к святой святыне немецкой армии — уставу. Действительно, на войне он действовал по-своему, редко придерживаясь нерушимых параграфов устава. Но сам он понимал, что дело не в этом. Просто старых кайзеровских офицеров постепенно заслоняют и вытесняют молодые нацисты. И это очень возмущало фон Адлера. Разве он не патриот Германии? Разве меньше предан своему фюреру? Никто другой, как такие, как он, выкормили фюрера и привели его к власти. Разве это не обидно? Но генерал терпел, уверенный, что справедливость в конце концов победит.

Он гордился своим происхождением, своими военными знаниями, претендовал на признание его собственной стратегии. Гордился он и своей фамилией — Адлер — орел, считал ее символической. Интересно, что внешне он и правда напоминал орла: высокий, с горбатым носом, черными хищными глазами, сильный и подвижный, несмотря на свои шестьдесят лет.

В состав экспедиции входила дивизия СС, и это особенно нравилось фон Адлеру: впервые ему дали эсэсовцев. Теперь он покажет им, что такое искусство старого генерала! Он был твердо уверен в превосходстве своей тактики. На самом деле тактика его была весьма примитивной; эта давно всем известная тактика основывалась на двух принципах: на неожиданности и теории «мертвой пустыни».

«Там, где мы пройдем, должна остаться пустыня, должна прекратиться всякая жизнь», — говорил фон Адлер своим офицерам и солдатам. Вместе с тем он стремился нанести удар неожиданно. Но здесь, в Приднепровье, это ему не удалось. Партизаны узнали о карательной экспедиции, как только первый эшелон дивизии вступил на белорусскую землю: брестские партизаны поймали одного эсэсовца и вывели у него все необходимое.

Штаб партизанского соединения подготовил план разгрома карателей. Бригада «Днепр» должна была навязать бой первому эшелону карателей, захватив инициативу, и этим дать возможность маневрировать другим бригадам соединения, которые должны были нанести окончательный удар.

В середине мая начались жестокие бои. Они продолжались с нарастающим напряжением дней десять. Бригада заняла все опорные пункты, важнейшие дороги и преградила врагу путь в партизанский район. Озверевшие каратели сжигали деревни, рас-

стреливали женщин, детей, безжалостно уничтожали все живое на своем пути.

Десятки тысяч людей искали пристанища в лесных чащах и там ждали конца нашествия, победы партизан.

Но фон Адлер бросал в бой все новые и новые силы. Ему удалось завязать бои с партизанскими частями, которые шли на помощь «днепровцам», задержать их.

Обессиленная тяжелыми боями бригада не выдержала натиска и начала отступать.

III

Николай Маевский с пятью молодыми партизанами остался прикрывать отход головного отряда, который днем последним незаметно снялся с позиций.

— Продержитесь только один час. Через час мы будем в Борщовском лесу, — сказал на прощание Лесницкий и крепко пожал руку начальнику штаба.

В глазах комиссара Николай прочел беспокойство. «Может быть, в последний раз видимся», — подумал Николай. Но Лесницкий ничем не выдал своей тревоги. Он только посмотрел вокруг и уверенно сказал:

— Хлопцы вы надежные, и позиция у вас надежная. До встречи, товарищи!

Позиция, которую они занимали, и правда была удачной. Группа залегла на дамбе. С двух сторон было болото, поросшее осокой и наполненное весенними водами. На обход болота, если бы эсэсовцы попробовали это сделать, потребовалось бы не меньше часа — время, достаточное для того, чтобы отряд дошел до леса.

Шестеро партизан были вооружены ручными гранатами, пулеметами и противотанковой пушкой.

Эсэсовцы уже предприняли в этот день три атаки. Ожидалась четвертая, судя по всему, самая решительная.

Вечерело. Дым догорающей вдали деревни застилал майское солнце. Но на востоке небо было чистым, темно-голубым, без единого облачка.

Николай сел на обочину дороги, разулся и с наслаждением опустил затекшие ноги в теплую воду канавы. Хотелось лечь, вытянуться и уснуть, не вынимая ног из воды. В голове шумело от недавней стрельбы и бессонницы. Усталость сковывала тело, даже думать было трудно. И совсем не хотелось вести этот неравный бой.

«Хорошо, если бы больше не атаковали», — подумал он и оглянулся на партизан, которые сидели у пушки и по очереди курили одну самокрутку. Это были молодые хлопцы, двое из них — совсем еще подростки. Они добровольно остались с ним, хотя и знали, что могут погибнуть на этой дамбе. Николай заметил, что ребята

немного волнуются — это было видно по тому, с какой жадностью они глотали табачный дым.

Он встал и подошел к ним.

— А обо мне вы забыли? Дайте и мне затянуться разок.

— Для вас, товарищ начштаба, есть отдельно на сигарочку.

— Нет. Вы мне дайте общую. И ту крутите, вместе раскурим. Обжигая пальцы, он потягивал окурки до тех пор, пока не стало горячо губам. Новую сигарку он курил первым.

Хлопцы повеселели, заулыбались.

— Молчат, гады, — сказал Тимофей Буров, самый молодой из пяти, кивнув в сторону врага.

Остальные посмотрели туда же. Николай понял, что они хотят услышать его мнение о непонятном молчании противника.

Он встал и начал в бинокль рассматривать место, куда откатились после последней атаки эсэсовцы.

Впереди, за болотом, тянулась полоса ольховых кустов, через которые протекал ручей. Там партизаны в течение многих дней держали оборону. За ручьем начинались приусадебные участки. Длинные и узкие, пестрые от разных посевов, полосы поднимались на крутой пригорок и заканчивались садами. На самом верху пригорка была расположена деревня. Но теперь там не было ни садов, ни хат. На фоне голубого неба чернели обгоревшие деревья и два ряда закопченных печей с покосившимися трубами.

За печами притаились вражеские пулеметчики. Основные же силы противника находились за деревней, в низине. Оттуда они и начинали свои атаки. Огороды были усеяны серо-зелеными кочками — трупами карателей.

— Да, молчат. И пусть подольше молчат. Для нас это лучше. Мы подождем еще с час и пойдем догонять отряд. — Маевский отнял от глаз бинокль, повернулся к хлопцам.

— А обойти они нас не могут, Николай Карпович?

— Обойти? Нет. Трудно им обойти. На Рудненской дороге тоже засада. Но там, слышите, тоже тихо. В лес пусть попробуют сунуться. В болото они тоже не полезут. Боятся они наших болот и лесов.

— Больно только видеть такое, товарищ начштаба. — Тимофей Буров показал на сожженную деревню. — Сердце кровью обливается. Никогда этого нельзя простить.

— Мы и не простим, — сказал Николай.

Партизан Притыка несмело спросил:

— А скажите, товарищ командир, дойдем мы до Германии?

— Обязательно.

— А так не может случиться, что они, как в прошлую войну, мира попросят, чтобы спастись от расправы?

— Ну, нет! Этому не бывать! — горячо воскликнул Тимофей Буров.

— Да этого и не будет. Война эта не похожа на все предыдущие войны. Мы должны уничтожить гитлеровское государство,

уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей. Понимаете? Мы должны разрушить ненавистный «новый порядок» в Европе. На нас смотрит весь мир. На нас ждут порабощенные народы...

— А союзнички наши не могут помешать нам? — хитро прищурившись, спросил Вася Плющай, брат командира отряда. — Капиталисты с капиталистами быстро договариваются, товарищ начштаба. Одна шайка.

Николай улыбнулся. Разговор ему нравился. Слушатели были любознательные.

— Во многом ты, Вася, прав. Капиталисты при любых обстоятельствах остаются капиталистами. Еще Маркс сказал, что это люди без совести и чести. Но народ... Дело в том, что война многому научила народы. И никаким капиталистам не остановить их похода против фашизма. Все будет решать народ.

Их беседу прервал далекий гул моторов. Партизаны насторожились, прислушались.

— Опять летят. Отползем в кусты, чтобы не заметили нас, — приказал Николай.

За последние дни самолеты уже много раз бомбили партизанские позиции, и бойцы привыкли к ним. Но сейчас гул все усиливался, а самолеты не показывались.

Николай поднял бинокль и увидел: на горизонте одно за другим выползали четыре черных чудовища. Они на мгновение останавливались возле печей, а потом быстро поползли по склону огорода к кустам, направляясь к дороге.

— Танки! — громко прошептал он.

И сразу же около него оказались все партизаны. Они не сводили с командира глаз, взглядами спрашивая, как действовать. С танками они встречались впервые, а все неизвестное всегда кажется страшным.

Николай заметил, как побледнели лица этих, уже не раз смотревших в лицо смерти, хлопцев, а у Тимохи заметно задрожала нижняя губа. Да и у него по спине пробежал неприятный холодок, но он уверенно сказал:

— Ничего, хлопцы! Танки не страшней самолетов. Дайте мне гранаты и вот тот кусок телефонного провода. — Он быстро связал вместе несколько гранат. — Вот так же свяжите несколько букетов. Скорее! Так! Коньков и ты, Ваня, ползите вон к тем кустам. Остальные останутся со мной. Мы будем бить из пушки. Быстрей, хлопцы!

Танки подошли к ольшанику и остановились, по-видимому озадаченные молчанием партизан. Потом их башни брызнули огнем. Прогремели пушечные выстрелы. Снаряды разорвались в ольшанике.

На пригорке появились эсэсовцы. Затрещали автоматы. Серо-зеленая лавина стремительно катилась вниз по склону. Танки скрылись в кустах, а спустя минуту первый из них появился на дамбе и помчался прямо на пушку.

Николай сам встал за наводчика. Прогредел выстрел. Второй... Третий... Танк не останавливался.

«Спокойно, спокойно», — успокаивал себя Николай, стараясь прицеливаться возможно точнее. Но от напряжения все тело дрожало, мелко стучали зубы, а в душе нарастала волна неудержимой ярости. В эту минуту уже не существовало его собственной жизни с разнообразными чувствами, ощущениями и инстинктом самосохранения. Все его существо было охвачено одним желанием: остановить это черное чудовище. И если б для этого нужно было зарядить пушку собственным телом, он не задумываясь сделал бы это.

Внезапно из-под гусеницы танка вырвалось пламя и черный столб земли и дыма. Машина содрогнулась, круто повернулась и полезла в кусты. Там прогредел еще один взрыв. Танк остановился, неуклюже уткнувшись носом в канаву.

Николай понял, что танк подорвали Коньков и Ваня Телеш, и, радостно прокричав что-то непонятное, выстрелил в башню уже неподвижной машины. Снаряд, по-видимому, пробил броню, потому что танк взорвался... Осколки металла просвистели у самой пушки. В это мгновение на дороге показались остальные три танка. Они шли один за другим, но не с такой скоростью, с какой мчался навстречу своей гибели первый. Передовой танк бил из пушки, но снаряды падали далеко за спиной у хлопцев, где-то в болоте.

Николай сделал несколько выстрелов — теперь уже более спокойно и уверенно. Разрывы трижды закрывали цель, — очевидно, снаряды попадали в танк, но он не останавливался. Его снаряды падали все ближе и ближе. В лицо бойцам ударял горячий воздух, над головой свистели осколки.

— Последний снаряд, товарищ Маевский! — крикнул Плющай.

— Как последний? — обернулся удивленный Николай. — Почему последний?!

— Последний. У нас ведь их было шестнадцать.

— Э, все равно пользы мало от этой пукалки. Готовьте гранаты!

Николай сделал последний выстрел и плашмя упал на землю: в этот момент над головой запели пули. Передний танк остановился около подбитого и поливал обороняющихся пулеметным дождем. Пули жужжали вокруг, ударялись о пушку и с визгом рикошетили. Нельзя было поднять головы.

— Ползи в канаву и по канаве — вперед! — закричал Николай лежащему около него Плющай.

Притыка на мгновение поднял голову и тут же уронил ее. Из-под черных волос потекла по виску тонкая струйка крови. Тело его вытянулось.

Николай подполз к пулемету, отодвинул убитого и, дрожа от злости, начал стрелять. Танк снова устремился вперед.

И в этот момент Николай увидел Плющай. Вася поднялся во весь рост и, держа в обеих руках над головой гранаты, побежал навстречу танку.

Николай перестал стрелять и закричал, сжав кулаки:

— Нагнись! Нагнись, Ва-ася!

Плющай упал, не успев бросить гранат, и связка разорвалась у него в руках.

Танк приближался. До него оставались считанные метры. Медлить нельзя было ни секунды. Николай, пригнувшись, вскочил, приблизился к танку и бросил одну, а потом и вторую связку гранат. Перед глазами сверкнуло пламя. Что-то горячее, как струя кипятка, обдало лицо, и чем-то острым больно ударило по ногам. Он упал, чувствуя, что летит в черную пропасть. Но через мгновение перед его глазами снова проплыла синь неба, и он, осознав все, что случилось, рванулся в сторону, чтобы не быть раздавленным танком. Чьи-то руки удержали его. Он оглянулся и увидел Тимофея, который лежал рядом и держал его.

— Живы?! Товарищ начштаба?! — обрадованно вскрикнул хлопец. — А я уж думал...

— Где танк?

— Танк вы подбили... Другие повернули обратно. Немцы залегли. Не поднимайтесь!

Николай только теперь услышал стрельбу и свист пуль над головой. Ослабшей рукой он достал из кармана часы. Прошло немного больше часа с момента отхода головного отряда. Можно отходить и им.

— Отступать. Пора отступать. Кто жив?

— Все погибли, товарищ начштаба.

— Подорви пушку и пулемет. Возьми автоматы. Ползем до поворота, а там побежим.

Он попробовал повернуться, чтобы ползти, и застонал от жгучей боли в ногах. Обе его ноги ниже колен были в крови.

— Посекло вам ноги. Перевязать нужно, — вздохнув, сказал Тимофей.

— К дьяволу! Никаких перевязок! Скорей! — Николай превозмог боль и пополз по болоту, по грязной воде, между ольховых кустов, иссеченных пулями и взрывами снарядов.

Тимофей догнал его уже там, где дорога делала поворот. Они выползли из болота на дамбу. Николай попробовал подняться, но не удержался на ногах. От боли закружилась голова. Он почувствовал, что еще одно такое усилие — и он потеряет сознание. Ему стало страшно. Теперь, когда задание было выполнено, совсем не хотелось умирать — очень хотелось увидеть товарищей, родных, Алену... Он стиснул зубы от боли и отчаяния.

«Врешь! Теперь ты меня не возьмешь! Теперь я сумею победить тебя!» — погрозил он мысленно смерти и, оглянувшись, приказал растерявшемуся партизану:

— Тани, Тимоха, меня вон туда, в лес.

С нечеловеческим напряжением, выбиваясь из сил, юноша нес командира через болото. На дамбе снова зарычали моторы танков, загрели пушечные выстрелы, закричали эсэсовцы. Но партизаны не обращали больше на них внимания.

«Держись, начштаб! — подбадривал себя Николай. — Твоя жизнь еще понадобится. Ого! Мы еще повоюем. Мы еще покажем им!» Но все-таки, несмотря на все старания сдержаться, стоны время от времени вырывались из его груди.

— Ничего, Тимоха, не обращай внимания. Тяни. Как тебе удобней... хоть за ноги! Подожди. Послушай, не бегут ли собаки по нашему следу? Тихо? Пускай попробуют догнать партизан! Пусть ищут ветра в поле. Нам с тобой только доползти бы до своих. Тогда мы еще повоевали бы, Тимоха. Мы отомстили бы им за жизнь Васи Плющая, Притыки, всех...

Сначала он говорил безостановочно, но постепенно начал умолкать, чаще стонал, становился все тяжелее.

Выбравшись на сухое место, Тимофей упал на траву и долго лежал неподвижно. Раненый тоже молчал. Повернувшись на спину, он смотрел в небо. Заходило солнце. Дым, который плыл с запада, стал розовым. Боль в ногах утихла, и на какое-то мгновение все тело охватила приятная истома. Но потом вдруг зашумело в голове и почудилось, что с неба прямо на него стремительно падает большое красное полотнище. Он поднял руки, чтобы схватить его, и потерял сознание.

IV

Тимофей Буров нашел штаб бригады только на рассвете. Часовые привели его к Лесницкому, который спал под елкой, накрывшись старым плащом. Хлопец сначала растерялся, не зная, как разбудить комиссара, но, вспомнив, с чем пришел, опустил на колени и взволнованно зашептал:

— Товарищ комиссар! А, товарищ комиссар!

Лесницкий сразу открыл глаза и, узнав бойца, вскочил.

— Буров? А Маевский где?

— Ранен, товарищ комиссар. — И он, заикаясь от волнения и усталости, коротко рассказал про ход боя, про смерть товарищей и про ранение начштаба. — Я его нес на себе, пока уже совсем вечером на опушке не встретил деда Лаврена. Он помог мне перенести начштаба в деревенский лагерь; в лесу — вся деревня, с коровами, со всем добром. Товарищ начальник штаба сказал мне, когда ему стало лучше и он узнал, где находится: «Иди, Тимофей, найди штаб, передай обо всем...» И я пошел, долго шел, всю ночь блуждал...

— А теперь сможешь пройти?

— Теперь пройду. Лугом надо... лозняками.

— Хорошо...

Лесницкий быстро поднялся и торопливо зашагал между де-

ревьями, переступая через спящих людей. Остановился он перед зеленой палаткой, которая была ловко прилажена среди ореховых кустов и сливалась с ними. Он тихо позвал:

— Алена Григорьевна!

Из палатки выглянула заспанная Татьяна.

— Разбудите Зайчук.

— Я тут, Павел Степанович, — слышался голос за спиной Татьяны.

Алена вышла из-за дерева, одетая в темную крестьянскую свитку.

— Идите и вы сюда, Татьяна, — позвал Лесницкий и, когда она подошла, пристально посмотрел ей в лицо. — Не пугайтесь, ранен Николай Карпович.

Он увидел, что она едва заметно побледнела.

— Ничего страшного. Только пока не говорите ничего отцу, старик и так волнуется. Вы сейчас же пойдете к брату. Вы и врач Тарасевич. Алена Григорьевна, обеспечьте их всем необходимым. Вот с Буровым. — Лесницкий говорил коротко и быстро и совсем не был похож в эту минуту на себя, всегда сдержанного, спокойного.

Его возбуждение и стремительность передались Татьяне, но еще больше взволновали Алену, о чем он даже и не подозревал.

— Павел Степанович, пойду я, — тихим, но каким-то особенным, незнакомым голосом неожиданно сказала Алена.

Он быстро повернулся, удивленно посмотрел на нее.

— Нет! Нельзя. Без вас мы как без рук. А неизвестно еще, что ожидает нас сегодня.

— Павел Степанович! — Голос Алены дрогнул и оборвался, как перетянутая струна.

Лесницкий не знал об их отношениях, а Николай, живя все время с ним в одной землянке, ни разу не заикнулся об этом. Но необычные интонации в голосе Алены вызвали внезапную догадку и одновременно недовольство собой.

«Как же это я ничего не видел? Старую, наверное, раз такого не заметил».

— Нельзя! — решительно отрезал он, но, повернувшись, добавил мягче: — Трудно мне вас отпустить.

Татьяна задержала его, дотронувшись до рукава ватника, попросила:

— Товарищ комиссар, разрешите ей... Понимаете, ей... ей очень нужно там быть...

Просьба сестры раненого тронула его. Сомнения относительно их отношений уже не могло быть. Он внимательно посмотрел сначала на Алену, потом на Татьяну, укоризненно покачал головой и ласково сказал:

— Что ж... идите. Но передайте ему... — Не досказав, что передать, он махнул рукой, отошел и издали крикнул: — Возьмите все необходимое!..

Николай то приходил в себя и тогда ясно все понимал и даже разговаривал с женщинами, не отходившими от него ни на минуту, с дедом Лавреном, который шепотом, но сурово командовал женщинами, то вдруг снова терял сознание, бредил, метался, звал друзей.

Он продолжал бредить и тогда, когда к нему подошли Алена и Татьяна. Но когда Алена взяла его руку и начала слушать пульс, он замолк, взгляд его постепенно становился более ясным, над бровями появились морщины глубокого раздумья. Наконец он узнал Алену и удивленно, обрадованно, но неуверенно прошептал:

— Лена?..

— Я, родной, я. И Таня тут.

Татьяна наклонилась над братом. Слезы затуманили ее глаза, не давали возможности говорить.

Счастливая улыбка появилась на измученном лице раненого. Он поднял руку, нежно дотронулся до щеки Алены, словно хотел удостовериться, что перед ним не привидение, а действительно она, Алена.

— Ну, вот и чудесно! Теперь я уж не буду бояться за свою жизнь. Теперь она в надежных руках. Да? — Голос его был уже почти обычный, только хриплый, как у простуженного.

Алена поняла его душевное состояние и пошутила:

— Да, теперь единственный и безжалостный начальник над тобой — я. Держись! Ну, давай твои ноги, посмотрим раны.

Татьяна развязала полотенца, которыми его перевязали женщины; полотенца уже пропитались кровью и присохли. Когда она отдирала их, Николай не удержался и застонал. Алена вытерла марлей его вспотевший лоб, ласково улыбнулась.

— Терпи, казак, атаманом будешь.

Она наклонилась над ранами и сразу же выпрямилась. Лицо ее побелело.

Николай внимательно следил за ней. Затаив дыхание, смотрели на нее Татьяна, Тимофей, дед Лаврен и женщины, стоявшие поодаль.

Она почувствовала эти скрестившиеся на ней взгляды и снова наклонилась, дотронулась пальцами до его ног. Нет, ошибки быть не могло! Это очень просто и знакомо. Не первый раз уже видит она эту синюю опухоль с газами под кожей и чувствует этот гнойный запах.

Подняв голову, она встретилась глазами с вопрошающим взглядом Николая.

— Что? — одними губами спросил он.

Алена поняла, что обманывать поздно, да и не нужно, и сказала спокойно и прямо, только немного больше обычного растягивая слова:

— Газовая гангрена.

Николай шумно вздохнул, поморщился, как от приступа боли, и, помолчав, спросил:

— Что может спасти мне жизнь?

Она ответила механически, не задумываясь, как отвечают на экзамене на очень хорошо знакомый вопрос:

— Ампутация.

— Делай.

— Я? — только теперь до ее сознания дошел смысл этого страшного слова.

— Ты. Кто же, кроме тебя, может это сделать? Ты, конечно.

Алена беспомощно огляделась вокруг и задержала взгляд на Татьяне, словно прося у нее совета. Но Татьяна не сводила глаз с брата, а он смотрел на Алену. Она чувствовала на себе его суровый взгляд и боялась повернуть голову, чтобы не встретиться с этим взглядом.

«Такую операцию — ему? Нет!.. Не поднимутся руки. Не смогу! Не смогу!» — кричало в глубине ее души.

Николай угадал ее мысли и рассердился.

— Что? Не хватает духу, товарищ главный врач бригады? Да? Так зачем же вы шли сюда? Чтобы отдать меня в лапы смерти? Не-ет! Я без боя не сдаюсь. Я жить хочу! Жить и бороться! А жить нельзя без головы, без ног жить можно. И бороться можно. Слышите? Делайте операцию! Я приказываю!

И это решительное «я приказываю» отрезвило ее. Она посмотрела на измученное лицо Николая, выдержала его суровый взгляд и почувствовала, что его душевная сила передалась ей. В одно мгновение она снова сделалась главным врачом бригады, спокойным, опытным хирургом. Не впервой ей делать операцию в таких условиях! За два года она научилась такому, чему в обычное, мирное время нельзя было бы научиться и за десятилетие.

Алена огляделась вокруг, остановила взгляд на повозке, которая стояла под сосной, и, повернувшись к Татьяне, приказала:

— Готовьтесь к операции! Больного на повозку! — Затем повернулась к деду Лаврену: — Разожгите огонь и достаньте хорошую ножовку.

— Пилу? — не понял старик.

— Да, пилу.

Дед поднял руку, чтобы в раздумье почесать затылок, но Алена заметила и предупредила это движение.

— Из-под земли достаньте, но чтобы была! — Голос ее сурово зазвенел.

— Слушаюсь, — по-военному ответил старик и, отойдя, сердито зашипел на баб и разослал их в разные стороны.

...Операция длилась полтора часа.

Женщины отступили подальше от повозки и неподвижно стояли плотной стеной, закрывая собой детей. Только один раз они испуганно отшатнулись — когда Алена начала пилить оголенную кость ноги.

— Боже мой, что это делается на белом свете! — прошептала одна старуха.

— Говорят, что она — его женка, а та, другая, — сестра.

— Что ты, милая! Окстись! Разве будет женка такое делать?..

— А что вы думаете, бабуля? По-вашему, пускай лучше помирает человек?

— Вы слышали, что он говорил? Не беспокойтесь, такой человек и без ног будет жить, да еще с такой женой.

— Нехай бы мой Митя без ног приехал, я его на руках бы носила, — сказала молодая женщина с грудным ребенком.

— Господи, да какое же сердце надо иметь, чтобы сотворить такое над близким человеком!..

Лаврен, который стоял впереди, ближе к повозке, повернулся и погрозил бабам кулаком. Они послушно замолчали.

Закончив операцию, Алена сорвала с лица Николая хлороформную маску и, шатаясь как пьяная, пошла на людей. Женщины с уважением расступились перед ней, но она не видела их. Она не видела ничего и шла до тех пор, пока дорогу ей не преградила сосна. Тогда она подняла голову, обхватила дерево руками и по нему сползла на землю, оцарапав щеку и руки о шершавую кору.

— Воды! Воды! — закричал на испуганных баб дед Лаврен.

Она жадно напилась из кувшина. Потом закрыла лицо руками и долго сидела неподвижно, прислонившись к сосне. Сначала в голове ее была какая-то звенящая и болезненная пустота, не было ни одной мысли. Потом она почувствовала огромную усталость, физическую и душевную, безразличие ко всему окружающему и подумала: «Вот она и кончилась, молодость».

И сразу же воспоминания, думы, давние мечты вихрем закружились в голове.

Да, была молодость, веселая, счастливая, была радость первой и единственной любви, боль разлуки, разочарование, ревность, муки, неожиданное его появление, единственный бурный разговор в памятную грозовую ночь, новые муки на целый год. Все это было, и все это имело право называться молодостью. И было в последнее время еще одно, самое дорогое, — надежда. Она ее отгоняла, сердилась, но надежда не покидала ее, ласково заглядывала в глаза и шептала: «Жди, жди... Он еще придет...»

И если бы он пришел, как в ту ночь, она, возможно, все простила бы ему. Возможно... Но он не пришел...

А что теперь? Что осталось теперь?

«Куда этот суровый дед отнес его ноги?» — подумала она и отняла от лица руки.

Около повозки, склонившись над Николаем, стояла Татьяна. Алена вдруг позавидовала ей. Пусть бы и она была его сестрой! Тогда все было бы так просто и ясно и не было бы этих мук. Ну, было бы жаль его, безногого, но все равно он остался бы для нее любимым братом. А так... Что так?.. А так... он станет чужим, далеким, ненужным?..

Она стиснула ладонями виски и застонала от боли. Но через минуту подняла голову. Нет, не сдаваться!

Она снова почувствовала себя молодой.

«Чужой? Почему чужой? Почему далекий? — сурово спросила она у самой себя. — Нет! Теперь он все такой же, родной, близкий... Теперь он мой, только мой. Теперь я сама пойду к нему. Как это он сказал? Нельзя жить без головы, а без ног жить можно. Да, мы будем жить, родной мой, любимый, будем...»

VI

Бригада несла тяжелые потери, отступая под натиском в десять раз превосходившего численностью противника. Обстановка усложнялась с каждым днем. Кое-кто уже начал поговаривать о распылении на отдельные отряды и группы, чтобы спрятаться в лесах. Но это означало отказаться от организованного сопротивления карателям. Штаб соединения не пошел на это и, изменив первоначальный план, дал приказ переправиться через Днепр и идти в глубь больших лесов, заманивая туда карателей.

Чтобы облегчить переправу, навстречу «днепровцам» был послан партизанский отряд Сивака, который подготовил все необходимое — построил паром, стянул лодки. В течение одной ночи бригада должна была исчезнуть из-под носа фон Адлера, показав ему кукиш, как шутил Приборный. Но фон Адлер тоже не дремал. С помощью разведки он разгадал этот маневр. Дав возможность отрядам бригады подтянуться к переправе, он неожиданно нанес удар по небольшому отряду Сивака, разгромил его и занял противоположный берег.

Бригада была окружена и прижата к реке.

Завязались жестокие бои.

Партизаны занимали двухкилометровую полосу вдоль Днепра. К счастью, участок этот был сильно пересеченный, лесистый, что значительно облегчало оборону и усложняло задачу карателей.

Бои развивались с нарастающим напряжением. В первые дни гитлеровцы кидались в бешеные атаки по пять-шесть раз в день, но каждый раз позорно откатывались назад, оставляя сотни убитых. Как только наступала ночь, оружие и боеприпасы убитых немцев переходили к партизанам — их собирали смельчаки-пластуны.

Третий день фон Адлер обстреливал партизан из артиллерийских орудий и бомбил с самолетов.

А под вечер гитлеровцы через рупоры предложили партизанам сдаться, обещали всем сохранить жизнь. Им ответил в берестяной рупор Петро Майборода. Он послал столько «горячих пожеланий» фон Адлеру и Гитлеру, что немцы сразу же прекратили свою пропаганду и начали стрельбу, чтобы заглушить его слова.

В последующие дни фон Адлер снова атаковал партизан с упрямством сумасшедшего, не обращая внимания на огромные

потери в частях. Артиллерия и авиация непрерывно обстреливали берег, скашивая деревья и кусты. Казалось, что после такого огня на этом небольшом участке не должно было остаться ни одной живой души. Но как только эсэсовцы поднимались в атаку и приближались к партизанским окопам, их встречал смертоносный ливень пуль, мин, гранат и снарядов. Фон Адлер шалел от злости. В конце концов он прекратил атаки — слишком дорого они стоили. Новый план его состоял в том, чтобы продолжительной блокадой и ежедневным артобстрелом обессилить партизан, взять их голодом. Он предполагал, что, отступая, партизаны не захватили почти никаких продовольственных запасов.

И это было так на самом деле. Того, что случайно оказалось на обозных подводах, едва хватило на два дня. На четвертый день блокады Лесницкий и Приборный дали приказ убивать лошадей и кормить людей кониной.

Оттого, что приходилось есть одно мясо, порой порченное, так как погода стояла жаркая, и от недоброкачественной воды многие заболели. Партизаны настойчиво просились идти на прорыв.

Но командир и комиссар бригады понимали, что идти на прорыв, не разведав обстановки и сил врага, без поддержки, означало — вести полторы тысячи человек на верную смерть. Да и штаб соединения по радио приказал держаться до прихода отрядов, которые шли на выручку «днепровцам» с двух сторон и которые должны были оттянуть главные силы карателей.

Лесницкий день и ночь ходил из отряда в отряд, из взвода во взвод и неутомимо говорил с людьми, подбадривал их:

— Ничего, товарищи! Сталинградцы держались и не при таких обстоятельствах. Голая узкая полоска в каких-нибудь шестьдесят метров. А у нас — лес и такая ширина! Выстоим! Москва знает о нашем положении и поможет нам. Вот и сегодня получили радиোগрамму: «Держитесь, сделаем все необходимое». И безусловно, сделают. Там слова на ветер не бросают.

Ходил он по лагерю не один, а вместе с Карпом Маевским и маленьким Витей, который, в отсутствие Татьяны, ни на шаг не отходил от деда, чувствуя в нем заботливого и надежного защитника. И правда, мальчику было неплохо с ними. Он не голодал, как голодали все в лагере. В передовых окопах у кого-нибудь из партизан всегда находилась для него галета, плитка шоколада, кусочек сахара — то, что добывалось ночью из ранцев убитых немцев.

В первый день блокады Карп Маевский как-то случайно остался посыльным при комиссаре. Лесницкий сразу же понял, что лучшего посыльного и помощника, чем этот рассудительный и трудолюбивый старик, ему не найти, и больше не отпускал Маевского от себя.

Особенно нравилось Лесницкому то, что и в тяжелой блокадной жизни он на все смотрел по-хозяйски, заботился о каждой вещи, которая могла понадобиться в дальнейшем. Старик умел замечать

многое, что другие в таком положении не видели. Однажды он сказал Лесницкому:

— Раненых, Павел Степанович, надо перенести на поляну. Там и снарядов меньше падает и, главное, комаров меньше. А то от них спасу нет.

В другой раз он предложил постронть несколько лодок — «на всякий случай» — и сам возглавил эту работу. За день были построены две лодки и небольшой плот.

День и ночь он был на ногах — работал, ходил, заботился о том, чтобы накормить комиссара хотя бы кониной и щавелем. Ни при каких обстоятельствах он не унывал, оставался жизнерадостным и бодрым. Но Лесницкий знал, что старик постоянно думает о детях: живы ли они?

О Николае, Татьяне и Алене не переставал думать и сам комиссар. Но разговора о них избегал.

Наконец однажды ночью, лежа около огня в чаще ольшаника, Карп не выдержал и, вздохнув, сказал:

— Не могу заснуть... Как закрою глаза, так сразу и вижу их, детей. Что с ними? Павел Степанович, тяжело был поранен Николай?

Лесницкий поднял голову.

— Не знаю. Но думаю — ничего с ними не случится. Они среди своих.

— А у меня душа горит.

С той ночи они стали часто говорить о них. Старик чаще, чем в другие отряды, заглядывал в отряд Жовны. Сам Федор Жовна был тяжело ранен, и его отрядом командовал Женья Лубян. Он каждый раз с молчаливой радостью встречал Карпа. Брал на руки Витю, подбрасывал его. Потом они садились с Карпом на дно окопа, курили. Говорили мало. Только однажды, встретив Лесницкого и Карпа, Женья возбужденно спросил:

— Люба вернулась? Да?

— Нет. Откуда ты это взял? — удивился Лесницкий.

— А мне сказали, что вернулась, — разочарованно объяснил он, и глаза его снова наполнились глубокой грустью.

Люба пошла в разведку в первую блокадную ночь. Вернее, она не пошла, поплыла через Днепр. После нее этой же дорогой поплыли еще несколько человек, но ни один из них не вернулся назад, и никто не знал, удалось им выбраться из окружения или их поглотили глубокие днепровские ямы.

VII

На девятый день съели последних лошадей. В этот же день случилось самое большое несчастье: снарядом была разбита радиостанция. Эта весть молнией облетела весь лагерь. Лесницкий и Приборный с разных сторон бросились к месту происшествия.

Командир бригады увидел испорченную рацию, убитого радииста и схватился за голову.

— Сволочи! Сразу и оглушили, и ослепили!

Лесницкий спокойно приказал всем разойтись по своим местам. А когда они остались одни, сказал Приборному:

— Не паникуй, Сергей.

— Что ты меня утешаешь? — возмутился Приборный. — От такой потери плакать хочется, не только что...

— Конечно, потеря тяжелая. Но если мы с тобой заплачем... Что из этого получится? А-а? Пища для паникеров. Вот что.

Приборный махнул рукой.

— А ну тебя! Придираешься к каждому слову. Какие там, к дьяволу, паникеры! Никаких паникеров у нас не будет, можешь быть спокоен.

— Не думай только, что у нас и на самом деле нет трусов. В семье не без урода. Я за одним больным два дня наблюдаю. Очень подозрительно болеет человек.

— Кто такой?

— Кулеш.

— Опять ты за Кулеша... По твоим подозрениям, его давно уже надо было расстрелять. А он ведь целую зиму с нами пробыл...

— Я не утверждаю, что он предатель. Но трус и паникер — наверняка. Болеет от страха...

— Ну и черт с ним! Среди наших людей один заяц паники не делает. Не те люди, Павел...

Лесницкий немного помолчал и уже другим, более мирным голосом ответил:

— Это правильно. В это и я верю. Но нам с тобой сейчас, как никогда, надо быть бдительными.

— А поэтому нам нужно быть вместе.

Во время блокады они встречались только тогда, когда была необходимость что-нибудь обсудить. А обычно находились на разных участках обороны, в разных отрядах: нужно было вдохновлять людей, руководить обороной, тем более что в самом начале блокады были тяжело ранены два старых командира отрядов: Жовна и Плющай. Но Приборный без настойчивого и рассудительного Лесницкого чувствовал себя как-то неуверенно.

Конец этого дня они провели вместе. Побывали в отрядах, осмотрели позиции, навестили раненых и больных, подсчитали боеприпасы. Основательно взвесили свои силы. А когда стемнело, пришли на берег и сели среди ветвей поваленной снарядом сосны, накинув сверху трофейную плащ-палатку. После долгого и душного дня вечером прошумела гроза, небо затянулось тучами и пошел мелкий, теплый майский дождь. Он ласково барабанил по парусине, шумел на реке.

Воздух был наполнен ароматом смолы, запахом сухих листьев, речной тины и гнилого дерева.

— Единственное место, где, кажется, не пахнет кровью, — заметил Приборный.

Лесницкий не ответил.

Было спокойно. Только за спиной у них щелкали редкие выстрелы да иногда густую темноту ночи прорезали немецкие ракеты. Где-то залаяла собака, заржала лошадь. Как бы в ответ на эти звуки кинжал прожектора лизнул поверхность реки и в течение нескольких минут осторожно ощупывал партизанский берег. Потом, когда он потух, с другой стороны долетела пьяная песня.

— Пируют, проклятые. Здорово они прижали нас, — снова начал разговор Приборный.

— Да-а... И очевидно, нам нужно вырываться своими силами. Приборный вздохнул.

— Двести раненых, столько же больных. По двадцать патронов и по две гранаты на здорового бойца и полсотни снарядов на всю бригаду.

— Но и помощи ждать рискованно. Если Адлер снова начнет атаковать нас с такой же силой, как в первые дни, — мы не выдержим. Будем смотреть правде в глаза. Нужно прорываться...

— Где? Где у них слабое место? Куда бить? — вслух размышлял Приборный. — Никогда еще мы не были такими слепыми. Ни один разведчик не возвращается. Неужели все погибли? А знаешь, все может быть. Эсэсовцы могли километров на десять по течению часовых поставить. Хитрый дьявол — Адлер этот. Недооценили мы его...

— Но — душа из него воп! — нас ему не перехитрить, — Лесницкий нервно сломал толстую ветку, она треснула, как пистолетный выстрел. Приборный даже вздрогнул от неожиданности. — Не родился еще такой немец, которого русский человек не смог бы перехитрить.

— У тебя есть план, Павел?

— Будет. Должен быть. Будем думать! Созовем командиров и комиссаров отрядов, посоветуемся с ними. Что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем. Махорочка еще есть у тебя?

Лесницкий думал напряженно, жадно глотая дым гнилой махорки. Растерянности не было, но мучительная боль за погибших, за провал операций мешала думать.

— Узнать бы, где задержался Крушина...

Приборный в ответ выругался:

— Холера его знает! Хоть бы прислал людей для связи. Того и гляди, блокаду прорвет, а связного все-таки не шлет. Куркуль чертов! Все хочет сам сделать...

План родился среди ночи, с возвращением первого разведчика.

Приборный уже дремал и видел какой-то тяжелый сон, когда перед ним, словно из-под земли, внезапно вырос Петро Майборода. Разбуженный командир бригады не верил своим глазам.

— Ей-же-богу, этот парень родился в рубашке!

— Садись, Петро, садись! Рассказывай скорей, — торопил его Лесницкий. — Что там?

— Сегодня эсэсовцы с того берега перебросили на этот около батальона пехоты. А с этого на тот — батарею. Поставили ее на

поляне — напротив нас. Завтра нужно ждать гостинцев... — Майборода рассказывал тихо и коротко. Ему казалось, что ничего ценного на этот раз ему разведать не удалось, и был он необычайно серьезен и грустен. — Пехоты у них там мало осталось. Видно, что-то готовят. За Синим берегом души живой нет. Я весь вечер там ходил.

— Высадиться там можно? — почти одновременно спросили и Лесницкий и Приборный.

— Если доплыть на чем-нибудь — это ведь против течения, — так хоть сейчас. А что?

— Так, ничего... Пока что ничего... Так что ты приляг вот тут, отдохни, а мы походим, подумаем, — ласково сказал Лесницкий.

Они молча направились к реке.

— Наверно, мы думаем с тобой об одном и том же, — прервал молчание Приборный. — Выслать группу под его командой на тот берег. Так? Она пойдет в тыл противнику...

— И начнет там демонстративную атаку!

— Когда?

— Завтра вечером. Адлер, конечно, знает, откуда прорывается Крушина. И вдруг появление новых партизанских сил там, где он их не ожидает. Это нарушит его план. Он вынужден будет ночью снять части с этого берега и бросить на тот. И вот в этот момент мы сделаем скачок назад — в Борщовский лес.

— Почему в Борщовский? Идти так идти. А то там нас легко окружить снова.

— Далеко идти мы не сможем — не хватит сил. А в Борщовском лесу пусть окружают. Там — другое дело. Там ему придется растянуть свой фронт на десятки километров, а мы будем как дома. Сможем маневрировать. Кроме того, в лесу скрываются борщовцы со скотом и хлебом, они поддержат продуктами. А там и Крушина подойдет. Согласен?

— Согласен-то согласен, но Адлер может начать наступление утром. Уж очень подозрительна их перегруппировка. Туда — батарею, сюда — пехоту...

— И в этом случае Майборода с хлопцами будет кстати. Мы им дадим сигнал, они начнут демонстрацию атаки во время адлеровского наступления и сорвут его. Так что давай срочно подбирать людей. Наш «флот» человек двадцать потянет, так? А почка сегодня чудесная, другой такой не дождемся. Послушай, как дождь шумит. И темень — хоть глаз выколи...

VIII

В это же время в каких-нибудь двух километрах к югу от того места, где сидели Лесницкий и Приборный, по прибрежным зарослям полз человек в форме немецкого солдата. Около самого берега он спрятал комплект офицерской одежды и пополз обратно. Через несколько минут он уже быстро шел по дороге на север.

Когда его останавливали часовые, он сразу же называл им пароль, а подойдя ближе, ругался и говорил на чистом пемецком языке:

— Линия где-то порвалась, черт ее побери! Ищи теперь в темноте, — и, закулив с часовым, шел дальше.

Так он быстро обошел то место, где были окружены партизаны, и стал подходить к Днепру с другой стороны. Но тут он сошел с дороги и снова очень осторожно пополз через кусты. Время от времени он останавливался и прислушивался. Часто и громко стучало сердце, толчки крови больно отзывались в висках. Человек злился на собственное сердце. Никогда еще оно не мешало ему так, как в этот раз. Ценой очень больших усилий он добрался до реки. Тут он осторожно разделся, накрутил одежду на тяжелый телефонный аппарат и, войдя по грудь в воду, опустил сверток на дно реки, а сам тихо поплыл. И тогда его сердце перестало биться так испуганно. На середине широкой реки, над многометровой глубиной, над черными омутами, он почувствовал себя спокойно и уверенно. Как всякий опытный разведчик, он начал вспоминать и детально анализировать сделанное — нет ли где, случайно, ошибки? Вспомнил все — каждого человека, каждый разговор.

...Генерал встретил его улыбкой.

— Опять не удалось вам отдохнуть. Не везет.

— Точнее говоря, везет, — поправил он.

— Да, верно, — согласился генерал. — Однако к делу. Есть очень ответственное и, не скрою, сложное задание. Гитлеровское командование организовало большую карательную экспедицию против приднепровских партизан. Необходимо проникнуть в штаб командующего экспедицией и помочь партизанам разгромить карателей. Такова общая задача.

Генерал замолчал, и Андрей быстро спросил:

— Детали?

— Торопитесь, молодой человек. В нашем деле это не годится, помните. Не думайте, что мы вас сбросим — и все. Кое-что подготовлено. Дней семь назад минские партизаны поймали в черте города пьяного немецкого офицера. Он оказался кинооператором, агентом Геббельса. Командирован в ставку верховного комиссара, но побывать там не успел, в комендатуре тоже не отметился.

Генерал порылся в ящике, достал документы.

— Вот его документы. Уже со всеми необходимыми отметками. А вот бумага, в которой говорится, что отдел информации ставки командует кинооператора Адольфа Рехнера в штаб командующего экспедицией генерал-майора фон Адлера. Будете снимать. До ночи позанимаетесь с опытным кинооператором. Он расскажет вам устройство аппарата.

— Я знаю.

— Не вредно повторить, тем более что ваш аппарат будет иметь некоторые особенности.

Он понял. Генерал улыбнулся.

— Но главное — разведка и только разведка. Связь с бригадой Крушины и с бригадой Приборного, с вашими старыми знакомыми. Через них — с нами. Других явок нет. В этом — сложность.

Потом у других людей он выяснил все подробности. Деталей разговора с ними он в точности сейчас не помнил, они были долгими и по-дружески простыми, но суть их и содержание помнил хорошо. Сначала все шло так, как было разработано им вместе с генералом и его помощниками. Да, так шло до тех пор, пока он не выполнил первую часть операции — не проник в немецкий штаб. После этого весь план был сломан. Он узнал, что одна из бригад, с которыми он должен был согласно заданию установить связь, а именно бригада Приборного, окружена карателями. У разведчика дрогнуло сердце. Бригада была его родной семьей. В одном из отрядов — его жена. «Живы ли они там, Настя, Павел Степанович, Петька?.. Только бы были живы...»

Спасти бригаду — вот что стало для него теперь главным. Но не надеяться бы в спешке ошибок — уж слишком он волнуется. Для разведчика — это страшнейшая опасность...

Андрей Буйский перевернулся на спину и, тихо подгребая под себя воду, начал обдумывать детали своей задачи, которая не была предусмотрена раньше. Сложная задача...

IX

Не кончили еще Лесницкий и Приборный подбирать людей в группу Майборода, как посыльный из отряда Евгения Лубяна попросил их срочно пойти на берег.

— Кто-то приплыл. Под корнями вывороченной сосны ждет...

Не дойдя до берега, Лесницкий встретился лицом к лицу с человеком, закутанным в плащ-палатку.

— Павел Степанович!

— Андрей?!

Они обнялись. Мокрое тело Андрея Буйского пахло рекой.

Подскочил Приборный.

— Подожди, кто такой? Андрей, Андрюша? Снится мне, что ли? Откуда ты свалился? Да дай ты мне, комиссар, обнять его. Вот же какой жадный человек!

— Дайте, товарищи, надеть что-нибудь. Замерзаю.

Приборный снял свою шинель и накинул на Андрея.

— На, на... И скорей рассказывай... Откуда? Как? Какой бог послал тебя к нам?

Андрей оглянулся.

— Лишнего никого нет?

— Нет, нет. Место надежное. Смело говори. — Приборный весь дрожал от напряженного ожидания.

Они сели на мокрые ветки.

— Подождите, все расскажу. Скажите только, — он сделал ко-

роткую паузу, словно задохнулся, и стиснул руку командира, — Настя... жива?

— Жива, Андрюша, жива!

— Можно позвать ее сюда?

— Евгений Сергеевич, сходи к раненым. Она где-то там, с детьми... Скажи, что я зову, — сказал Лесницкий.

Женя молча поднялся и нырнул в темноту. По шагам было слышно, что он побежал.

За рекой взлетели и рассыпались ракеты, но их свет не достиг этого берега. Когда ракеты потухли, низко над рекой повисли цветные нити трассирующих пуль. Пули впились в обрывистый берег. Донесся глухой треск пулемета.

— Пугают, — заметил Лесницкий.

— Боятся, как бы вы вдруг не исчезли посреди ночи. Фон Адлер держится за вас как черт за душу. Разгром вашей бригады — его слава, его успех, новый крест и, возможно, наконец-то повышение в звании. Он сам все время тут находится. Его командный пункт в Богунях, в школе. Он уверен, что вас тут не меньше пяти тысяч. Первые дни атак стоили ему восьмисот человек только убитыми... Однако по порядку... — И он шепотом рассказал все, что они должны были знать. — И вот я уже три дня снимаю фон Адлера. Генерал, между прочим, большой любитель съемок, очень хочет попасть на экран. Это облегчает мою задачу. Я счастлив, друзья, что мне удалось связаться с вами. Давайте мне Москву...

Приборный и Лесницкий одновременно вздохнули.

— У нас разбита рация.

— У-у, черт! Неудача за неудачей! — Андрей задумался, потом тихо сказал: — Что ж, я и это имел в виду. Будем думать сами, если нельзя спросить совета. Решим сами.

— Теперь мы решим быстро! — весело воскликнул Приборный.

— Тише. Ты готов уже кричать, горячая ты голова, — упрекнул его Лесницкий.

— Да, нужно быть крайне осторожными, товарищи. Их разведка не дремлет, не забывайте об этом. Но ближе к делу... Коротко о вашем положении. Бригада Крушины, которая шла к вам на выручку, задержана при переходе через железную дорогу и ведет там тяжелые бои... Обрадованный успехом Адлер назначил за послезавтра решительное наступление. Выдержите?

— Если он назначил наступление на послезавтра, нам не придется его выдерживать. Наступление начнем мы. — И Лесницкий рассказал Андрею о только что выработанном плане.

Андрей молча слушал и, когда Лесницкий кончил, сказал:

— Что ж, план реальный. Но я сюда шел, чтобы предложить вам другой план, мне кажется, более смелый. Я хотел еще раз согласовать его с Москвой, но, раз это невозможно, давайте обсудим сами... Дело вот в чем... Завтра, или, правильней, уже сегодня, в двадцать два ноль-ноль фон Адлер созывает совещание старших офицеров. Говорят, у него есть нерушимое правило: перед каждой

серьезной операцией — совещание и в конце его «семейный ужин». Я, конечно, буду снимать все это. И я сниму их...

От волнения Приборный и Лесницкий затаили дыхание.

— Моя роль хороша тем, что в аппарате скрыта мина большой разрушительной силы. Во всяком случае, достаточная для того, чтобы поднять их на воздух. Понимаете?

— Подожди, Андрияша! А сам-то ты как потом? — в один голос спросили они его.

— Себя, конечно, я взрывать не думаю, — ответил Андрей. — Убежать мне будет не трудно. Дороги для отступления я уже разведать. За меня вы не беспокойтесь. Обдумаем главное... Если диверсия удастся (будем надеяться на лучшее), каратели лишатся головы. Части останутся без старших офицеров... В результате — паника, деморализация.

— И в этот момент должны ударить мы, — перебил Андрея Лесницкий. — Ясно! Ясно, Андрей, как среди бела дня. Ударим!

— И так ударим, что искры из глаз посыплются у гадов.

— Да, и бейте прямо на Богуны. Начинайте, как только услышите взрыв. Нет, увидите. Из школы видны сосны около ручья.

— Сделаем! Все сделаем, Андрей! В нас можешь быть уверен. Было бы только у тебя все хорошо.

— Я уверен, но на войне всякое бывает. Ждите не дольше чем до часу ночи. Будет тихо, давайте Майбороде сигнал и выполняйте свой план. Но все равно прорывайтесь на Богуны. Может быть, тут и не самое слабое место, но я его хорошо разведать. — Он подробно рассказал о размещении артиллерии и пулеметов на этом участке, при свете фонарика начертил схему.

Это заняло много времени, и он, кончив, встрепнулся.

— Однако мне пора... Где же Настя? Так долго...

Они прислушались.

Шумел дождь, барабанил по палатке. Через этот шум из лесу долетали глухие голоса, стоны раненых, звуки шагов.

Потом слева, над рекой, где оборону занимали жовновцы, кто-то неожиданно затянул веселую песню... Эсэсовцы сразу же ответили дружной пулеметной стрельбой.

Приборный засмеялся.

— Вот черти эти жовновцы: минуты покоя фридам не дают.

Наконец послышались близкие шаги и хриплый голос Насти:

— Все равно я не поеду, зря он беспокоится.

Андрей вскочил. Сильно билось сердце, пересохло во рту. Настя остановилась перед ним и, не узнав, сказала:

— Товарищ комиссар, я знаю, зачем вы меня позвали, и...

Андрей не дал ей кончить.

— Настя! — едва слышно прошептал он.

Она рванулась вперед, узнала мужа и испуганно отшатнулась, видимо не веря своим глазам. Только когда он снова позвал ее, она обхватила руками его голову и приблизила его лицо к своему.

— Андрейка, любимый, это ты?

Он молча обнял ее.

Лесницкий толкнул локтем Приборного. Они поднялись и незаметно отошли в сторону.

— Дай мне поглядеть на тебя, родной мой. Господи, какая темнота! Ничего не вижу... Какой ты? И не думала встретить тебя.

— Что ты, Настенька, милая! Когда это ты потеряла веру?

— Ой, не могу, Андрей... Не могу. — Она прижалась лицом к его груди и заплакала. — Сердце горит... Сколько людей кругом умирает!...

Он не знал, какими словами утешить ее, и молча гладил ее мягкие волосы.

— Но теперь я не боюсь, милый. — Она перестала плакать, подняла голову и заглянула ему в лицо. — Боже, как внезапно приходит счастье! Теперь я ничего не боюсь, раз ты со мной... Теперь мы все время будем вместе, мы ни на шаг не отойдем друг от друга. Правда, Андрейка? И смерть, если нужно, встретим вместе.

Он вздохнул и с силой сжал ее плечи.

— Ты уходишь?! — почти крикнула она в отчаянии.

— Да, через минуту я пойду... Поплыву... Но завтра в это же время, а может, и раньше мы снова встретимся и уже не в этом проклятом котле, а там — в родном лесу... И тогда я долго буду с тобой, пока не появится он, наш маленький... А потом... Ну, потом я еще выполню несколько заданий... А будет конец... Будет победа, Настенька! Слышишь? И как славно мы будем жить с тобой! — Он не знал, для чего все это говорил, просто ему хотелось утешить ее, приласкать, успокоить.

— Куда ты идешь сейчас? — спросила она.

— Завтра ты будешь все знать, моя родная. Но... мне пора. Будь здорова, любимая. — Он поднялся, поднял ее, прижал к себе и, не сдержавшись, громко прошептал: — Иду снимать фон Адлера.

В ту же ночь, под утро, приплыли на лодке со старым рыбаком дедом Лавреном Тимофеем Буров и Алена Григорьевна.

— Вот правду говорят — не бывает горя без радости. Ай да дочка, дочка темная, дождливая! От души тебя благодарю, — обрадовался Приборный. — Ну, рассказывай. Что с Николаем?

— Жив. Приходит в себя, — Алена вздохнула, — но без ног. Ампутировала я ему ноги.

— Обе?! — вырвалось у Лесницкого.

Она не ответила, и с минуту тянулось неловкая тишина.

— Ну что вы молчите, как при покойнике! Жить нельзя без головы, а без ног жить можно. Будет жить. И бороться будет, — сурово сказала она. — Татьяна там с ним осталась. Нас нашла Люба и обо всем рассказала. Вот мы и поехали. Ну а у вас тут как? Тяжело? Раненых много, да?

— Да, раненых много. И тяжело было, очень тяжело. Но сейчас ничего. Сегодня, Аленушка, мы — победители, — таинственно прошептал Приборный.

Дед Лаврен недоверчиво и укоризненно покачал головой.

Матвей Кулеш проклинал судьбу. Нигде ему не удавалось спрятаться от смерти. Она ходила за ним по пятам, находила всюду.

После смерти Койфера и исчезновения Визенера ему казалось, что наконец-то она отстала от него. Притаившись, он выжидал и нарочито долго лечился от легкой раны, которую получил, когда вел карателей на Лосиный.

А зимой верх взяли партизаны. Они заняли целый район, в том числе и Ореховку. Партизанское командование верило ему, Матвею Кулешу, — он ведь оказал им немалую услугу. Кулеш стал своим человеком у партизан, но по-прежнему вел себя очень осторожно. Свои симпатии к партизанам высказывал только надежным людям. Хорошо ему жилось в эти зимние месяцы! Впервые за всю войну у него были дни, когда он не думал о смерти и она не висела над ним страшным призраком. Теперь ему хотелось так прожить до самого конца. О, Матвей Кулеш был не дурак, он предвидел, каким будет этот конец. Сталинград и успехи партизан многому научили его. И его охватил еще больший страх за свою жизнь.

«Куда спрятаться? Где переждать все это?» — с ужасом думал он. И когда партизаны весной отступили из Ореховки, он, притворившись больным, остался в деревне, затаился, отрастил бороду, во всем угождал жене, старательно работал по хозяйству и помогал солдатам. Но вдруг однажды вечером, когда он вернулся с поля, его встретил знакомый человек с сизым лицом и приказал явиться в комендатуру. Волосы встали дыбом на голове Кулеша. Смерть снова заглянула ему в глаза...

В это время уже действовала карательная экспедиция. Кругом горели деревни. Люди уходили в леса. И Кулеш не пошел в комендатуру. Несколько дней он, как голодный волк, блуждал в лесу. Случайно его встретили знакомые партизаны, предложили идти с ними. У него не хватило храбрости отказаться. Вместе с ними он попал в окружение.

Нигде и никогда еще Матвей Кулеш не смотрел так близко в лицо смерти, как тут. Он все сделал бы, чтобы спасти свою жизнь! Но как спасти ее? Как? Перебежать к гитлеровцам? А что сказать им, чтобы оправдать свою связь с партизанами? Теперь уж обязательно нужно принести им полезные сведения. «Да, да, нужно найти, подслушать такие сведения и продать их за право существовать на земле. Потому что тут, в блокаде, все равно смерть. Выхода из этой ловушки нет. А там можно будет уехать с немцами, убежать, спрятаться».

И Кулеш снова начал хитрить. Когда в лагерь пришли болезни, он «заболел» одним из первых и тяжелей всех: стонал, ползал, корчился от боли. Ему верили и заботливо лечили, прятали от пуль и комаров. Он напряженно прислушивался и присматривался ко всему, чтобы не пропустить удобный момент для получения важных сведений.

Услышав, что Женя Лубян срочно, посреди ночи, зовет Настю к комиссару бригады, он пополз следом за ними и подслушал разговор Насти с мужем. У него даже голова закружилась, когда он услышал шепот Андрея: «Иду снимать фон Адлера».

Да, Кулеш знал, что за птица муж Насти Зайчук, он слышал о нем еще зимой и видел, с каким почетом проводили его в Москву. Он хорошо знал, и что такое Адлер. Наконец! Наконец он сделал первый шаг к спасению. За такие сведения ему, безусловно, простят все и даже могут помочь выехать куда-нибудь, спрятаться.

Только как выбраться отсюда? Как передать все это?.. Он бросился к реке и долго смотрел на темные волны. Но тут он снова увидел смерть — Днепр смотрел на него черными, бездонными ямами. Он отскочил от воды. Нет! Нет! Какой из него пловец! А тут такие ямы, такое течение!

До рассвета он ползал по лагерю невидимой гадюкой, в разных местах приближался к передовым окопам, и всюду его встречал суровый оклик часовых:

— Стой! Кто идет?

Он быстро уползал в кусты, чтобы его не заметили, не узнали.

«Не спят! Всю ночь не спят! На каждом шагу часовые. Муха не пролетит, мышь не прошмыгнет». Матвей Кулеш едва не вылет отчаяния и страха. Теперь, когда была возможность спастись, мысль о смерти казалась еще ужаснее.

На рассвете он увидел на берегу небольшую рыбачью лодку. Она не была привязана, а лежала в кустах вверх дном, даже часового не было вблизи нее. Кулеша начало трясти. Почему он ночью не нашел этой лодки? Как она появилась тут?.. Из разговора двух появившихся на берегу партизан он узнал, что на ней приплыла врач Алена Григорьевна.

«Сама приплыла в это пекло? — Кулеш даже на какое-то мгновение растерялся, не понимая, что заставило ее явиться сюда, где все ждет смерть. — Дураки, сумасшедшие! Пусть лезут хоть черту в зубы, а я хочу жить. Жить!.. Мне нужна эта лодочка».

Когда партизаны ушли, он залез в ветви поваленных деревьев и весь день не сводил глаз с лодки. Его трясло от напряжения как в лихорадке; а день тянулся бесконечно долго.

«Только бы никто не забрал ее, не оттащил бы... Только бы, только бы...» — шептал он одни и те же слова. Его не интересовало, что делалось в лагере, он даже перестал обращать внимание на разрывы снарядов и лишь с удовольствием отметил, что под вечер все реже и реже появлялись люди на берегу.

«Слава богу, слава богу! Все бы они ушли отсюда».

Наконец стемнело.

Кулеш вылез из своей берлоги и долго-долго полз к лодке, останавливаясь на каждом шагу и прислушиваясь. Он дотронулся дрожащими руками до скользкого, покрытого тиной дна лодки.

Тихо...

Перевернув лодку, он стал подталкивать ее к реке. Где-то зат-

решали выстрелы. Это ничего, ничего. Пусть теперь стреляют больше, громче...

И вот лодка закачалась на воде. Он прыгнул в нее, оттолкнулся. Течение подхватило и понесло лодку от берега.

Тихо...

Матвей Кулеш закрыл ладонями рот, чтобы не закричать от животной радости, а потом зашептал, захлебываясь:

— Вот он, Матвей Кулеш! Посыпьте теперь ему соли на хвост. Пропадайте там все! А я еще поживу! По-о-о-живу!

XI

Сколько раз Алена принимала роды! И каждой роженице, когда той становилось особенно трудно, она ласково говорила:

— Кричи, милая, кричи! От этого легче будет! — И каждый раз ее сердце в эти минуты наполнялось волнующей гордостью за мать и новорожденного. Она не жалела рожениц за их муки: это были муки во имя будущего счастья. Порой она даже завидовала им.

И вот первый раз в жизни она вынуждена говорить побледневшей от родовых схваток женщине:

— Молчи, Настенька. Терпи, милая, терпи.

От этого у нее самой больно сжималось сердце, и она думала: «Как это все некстати! Где это, какой акушерке или врачу пришлось принимать роды на ходу? А тут, возможно, придется. Только двинемся, и может начаться».

Настя, словно отгадав мысли Алены, прошептала:

— Как это все не ко времени!

Она лежала на самодельных носилках, и тело ее, покрытое влажной простыней, корчило от боли. Она кусала край простыни, затыкала ею рот, чтобы не закричать.

Плотно обступив носилки, стояли женщины. А вокруг, по всему сосняку, в воронках от бомб и снарядов, на сучьях упавших деревьев и просто на земле под соснами, лежали, сидели и стояли партизаны. Вся бригада была стянута сюда, в это место. Больные и раненые, те, что не могли передвигаться самостоятельно, лежали на самодельных носилках.

А немного впереди, в окопах на краю сосняка, разместился ударный отряд, собранный из лучших и наиболее сильных бойцов. У них, кроме оружия, не было никакого груза. Эти триста человек под командой командира и комиссара бригады должны были осуществить прорыв.

Влажный, густой ветер раскачивал омытые дождем вершины деревьев. Стонали раненые сосны. Над лесом стремительно пронеслись тучи, ветер сердито гнал их на восток. Временами он разрывал полог туч, и тогда сквозь движущиеся просветы гаснущими искрами падали на землю звезды. Темнота все сгущалась. Становилось холодно. Люди в мокрой одежде дрожали от озноба, тесней прижимались друг к другу.

Время от времени у реки вспыхивала редкая стрельба. Это группы прикрытия тревожили врага, отвлекали его. Никто из партизан не обращал внимания на выстрелы. Все молча смотрели вверх, на вершины старых сосен, возвышавшихся над всем сосняком. Там сидели наблюдатели.

Люди напряженно ждали.

Большая классная комната была залита ярким электрическим светом. Ток давала динамо-машина, которую генерал всегда возил за собой вместе с кухонной посудой и столовыми сервизами. Двигатель динамо-машины приглушенно пыхтел под окном.

Составленные столы образовали паучий знак — свастику.

Бокалы, вазы и рюмки отборного хрусталя переливались всеми цветами радуги. Искрилось вино.

Вокруг столов, вытянувшись, стояли офицеры. В центре, на скрещении лап свастики, — генерал-майор фон Адлер, рядом с ним — два полковника, дальше — майоры, штурмбанфюреры войск СС и другие «фюреры» — человек двадцать.

Это были старшие офицеры частей, которым утром предстояло начать решительное наступление на окруженных партизан и разгромить их. Только что закончилось совещание, где были обсуждены и уточнены все детали завтрашней операции.

Совещание состоялось в кабинете командующего, и кинооператор Адольф Рехнер не присутствовал на нем. Зато теперь он усердно бежал из угла в угол по классу и беспрерывно снимал это торжественное вступление к «семейному ужину».

Фон Адлер обвел комнату, столы и офицеров довольным взглядом. В его глубоких глазах хищника мелькала хитрая улыбка, но лицо было торжественно-неподвижным. Он посмотрел на кинооператора и выбросил руку вперед для фашистского приветствия.

— Хайль Гитлер!

Двадцать рук как по команде взлетели вверх.

— Хайль!

Это было сделано специально для кинооператора, чтобы запечатлеть для экрана патриотизм и преданность фюреру.

— Господа офицеры! — фон Адлер сделал длинную паузу, и офицеры затаили дыхание. — Общими усилиями мы закончили крупную операцию. Я говорю «закончили» с уверенностью, которая всем вам должна быть понятна. Мы доказали, что лесные бандиты, несмотря на их фанатизм и дикие способы ведения войны, — ничто по сравнению с мужественными, отважными немецкими солдатами. Позвольте же мне первый гост поднять за нашу победу.

Зазвенели бокалы. Затрещал киноаппарат. Комната наполнилась сдержанным шумом. Пили за фюрера, за великую Германию, за решающий год войны. Об этом решающем годе фон Адлер сказал, таинственно и хитро прищурившись, но его поняли, бурно зааплодировали и выпили с особенным подъемом.

Пили усердно. Гул усиливался. Уже кто-то среди молодежи пьяно смеялся и, очевидно, пытался сделать что-то такое, от чего его со смехом удерживали.

Фон Адлер, удовлетворенно улыбаясь одними глазами, повернулся к кинооператору:

— Господин Рехнер! Хватит вам снимать! Остальное уже не представляет интереса для истории. Садитесь.

Рехнер нравился генералу, хотя он обычно плохо относился к людям этой категории — операторам, артистам, журналистам. Он считал их людьми низшего сорта, которые по своим интеллектуальным и всяким иным качествам стоят значительно ниже их, военных, кадровых офицеров. Но этот поразил генерала своей всесторонней образованностью, культурой и, что особенно важно, разумными убеждениями истинного патриота великой Германии.

Фон Адлер с удовольствием, какого не испытывал уже давно, несколько раз разговаривал с кинооператором. Ему понравилось даже то, что этот маленький человек отважился (правда, очень вежливо) спорить с ним, генерал-майором фон Адлером. А когда, в довершение ко всему, ему доложили об исключительной храбрости Рехнера, которую тот проявил, снимая бой на железной дороге, генерал сказал ему при очередной встрече:

— О-о, господин Рехнер, я хотел бы, чтобы Германия имела побольше таких людей, как вы.

Теперь, за столом, он покровительственно кивнул ему головой и тихо сказал:

— Завтра у вас будет очень много интересной работы, господин Рехнер.

Рехнер вежливо поклонился.

— Разрешите задать вам один вопрос, господин генерал, что вы будете делать с пленными партизанами?

Маленький полковник, с необычайно красным носом, оседланным пенсне, засмеялся.

— Вы спросите об этом штурмфюрера Ганса. Это входит в его обязанности. — И он неожиданно позвал: — Штурмфюрер Ганс! Господин кинооператор интересуется, что вы будете делать с пленными партизанами.

Большой рыжий эсэсовец, с красным лицом и бычьей шеей, пьяно захохотал в ответ:

— Завтра я покажу вам, что я буду делать с ними. Приглашаю вас в мою роту. Вот где у вас будет настоящая работа!

Рехнер улыбнулся, но на неумовимое мгновение лицо его изменилось, а рука сползла вниз и пальцы сильно сжались в кулак.

— Меня особенно интересуют только двое из них, — сказал фон Адлер. — Это их командиры — Лесницкий и Приборный. Так, кажется, капитан? Их я хотел бы увидеть перед собой живыми.

Беседу прервал резкий, тревожный телефонный звонок, который заставил всех, даже пьяных, умолкнуть и насторожиться. Адьютант генерала, красивый молодой капитан, подскочил к ап-

парату, который стоял на подоконнике, схватил трубку, потом вернулся к фон Адлеру:

— Командир шестой роты настойчиво просит лично вас, господин генерал.

— Что он лезет через голову, черт возьми! — проворчал один майор.

— Говорит, дело чрезвычайной важности.

Фон Адлер тяжело поднялся, по-видимому недовольный тем, что его беспокоят, и не спеша подошел к телефону.

У Андрея тревожно екнуло сердце. Он понял, что случилось что-то такое, что может выпудить офицеров внезапно оставить этот зал, и тогда... тогда все провалится. Нельзя терять ни минуты. Он встал одновременно с генералом, быстро подошел к аппарату, делая вид, что собирается снимать. Едва слышно тикал часовой механизм заведенной мины.

Андрей смотрел на часы. До взрыва оставалось четырнадцать минут. Слишком много! За это время они все могут выйти. Что делать? Он поднял голову и увидел, что фон Адлер вдруг круто повернулся к нему. Их взгляды встретились. Лицо генерала сразу стало серым, глаза хищно загорелись, задрожала рука, которой он крепко прижимал к уху телефонную трубку.

Чутьем опытного разведчика Андрей понял, что фон Адлеру докладывают о нем.

«Предал кто-то, — молнией блеснула мысль. — Удирать? Поздно... Да, поздно... Бросятся, свалят аппарат, испортят механизм или обо всем догадаются...»

Не сводя глаз с генерала, выдерживая его пронизывающий взгляд, он пащупал среди многочисленных винтиков и шурупов на корпусе аппарата знакомую кнопку, вытащил предохранитель.

«Прости, милая Настенька, что я солгал тебе, когда говорил, что мы встретимся сегодня. Мы никогда не встретимся. Прощай, родная. Прощайте, товарищи... Павел Степанович, Сергей Федотович! Прощай, моя Родина! Вспоминай своего сына. Желаю тебе скорой победы и счастья». И он увидел ее — победу: залитая солнцем праздничная Москва, миллионы людей, знамена, Красная площадь...

«Прощайте...» — он не успел закончить мысли.

Фон Адлер оторвал от уха телефонную трубку, указал ею на него:

— Взяты!

Андрей усмехнулся.

— Поздно, генерал! Последний снимок. — И палец нажал кнопку взрывателя мгновенного действия.

— Взрыв! — одновременно сообщили все наблюдатели.

Люди в лесу вскочили.

Через несколько секунд докатился глухой гул взрыва. И вслед

за ним ударили партизанские орудия, посылая на врага последние снаряды, застрочили пулеметы, автоматы, винтовки.

Загремело «ура».

Ударный отряд пошел на прорыв.

Те, кто остались в лесу, напряженно ждали. Стрельба и крики быстро удалялись.

Наконец раздалась команда раненым:

— Впе-е-ред!

Женщины подхватили носилки, на которых лежала Настя. Алена наклонилась над ней, провела по ее горячему лицу ладонью и возбужденно крикнула:

— Кричи, Настенька, кричи! Так будет легче!

XII

«Кто мог предать Андрея? Кто?!»

Приборный взволнованно ходил взад и вперед возле почерневшего дубового бревна, на котором молча сидели Лесницкий, Лубян и Павленко. Командир бригады во время прорыва был ранен в руку и теперь держал ее на широком вышитом полотенце, которое висело у него на шее. Лицо его осунулось, потемнело, заросло во время блокады густой бородой, но глаза лихорадочно блестели. Высокий, сутулый, он делал шагов десять в одну сторону, останавливался в задумчивости, потом внезапно, по-военному четко поворачивался и шел обратно тяжело, с хрипом дыша. Время от времени он здоровой рукой потирал лоб, ерошил волосы.

— Кто мог предать Андрея?

Женя внимательно следил за каждым движением и оттенком выражения лица командира. Ему тоже не сиделось на месте — слишком велико было волнение.

Только что допросили пленных. Два раненых офицера, чудом уцелевшие и выкопанные из-под развалин школы, рассказали об обстоятельствах героической смерти Андрея. Пленный телефонист уточнил их рассказ, сообщив содержание телефонного разговора между командиром шестой роты и покойным Адлером. Командир роты доложил генералу, что от партизан приплыл перебежчик, который утверждает, что в штабе экспедиции находится известный советский разведчик. Ночью разведчик приходил в партизанский лагерь, и перебежчик сам слышал, как он на прощание сказал жене: «Иду снимать фон Адлера».

После допроса стало очевидно, что Андрей погиб в результате измены, и это угнетающе на всех подействовало.

Павленко сидел неподвижно, закрыв руками лицо.

Лесницкий рассматривал захваченные документы, фотоснимки, но руки его заметно дрожали, а на высоком чистом лбу и висках вздулись вены, и дышал он так, словно ему не хватало воздуха среди этих громадных просторов леса, наполненного гомоном майского утра.

Он напряженно вспоминал все самые незначительные подробности последней встречи с Андреем, все события той ночи. Не кто предал, а как предал — вот с чего, казалось ему, нужно было начинать, чтоб распутать весь этот проклятый узел. Как предатель мог подслушать их и, главное, передать все немцам? Да еще в самую последнюю минуту?

Во время прорыва блокады шестнадцать человек пропало без вести. Сначала и он, Лесницкий, думал, что предатель мог быть в числе этих шестнадцати. Но следствие, которое они только что провели, установило, что всех этих людей видели перед самым взрывом — все они были в ударном отряде. Тела убитых были уже найдены, раненые подобраны. А больше, как показал подсчет, ни один человек из отрядов не исчез. Но пленный телефонист сказал: «Приплыл перебежчик...» Именно перебежчик, а не их агент: какой-нибудь «27» или «359». Кто же это мог быть? Почему подсчет не устанавливает этой проклятой «единицы»?

И вдруг блеснула мысль: перебежчик мог в разгар боя вернуться к партизанам. Лесницкий ухватился за эту мысль: «Да, да... Вполне возможно. Шестая рота карателей стояла на левом фланге. Удар по ней нанес Лубян. Отряд его находился в арьергарде — он должен был защищать раненых и больных. В бой он вступил последним, когда мы уже переправились. В отряд влилось много больных и раненых. И вот среди них...»

— Кто из раненых и больных появился в отряде во время боя? — спросил Лубяна Лесницкий.

— Всех не назову, Павел Степанович. Много незнакомых, из чужих отрядов. Из тех, кого знаю: Лемцов, Рута, Крапивин, Борозна, Лопатина Вера из отряда Кандыбы, Кулеш...

— Кулеш?..

— Кулеш. — Женя перестал перечислять, посмотрел на комиссара и догадался, о чем тот подумал.

— Нет, не думаю, Павел Степанович. Я его увидел сразу, как только вышли из сосняка, и послал связным вместе с Махоткой.

Приборный, продолжавший нервно шагать по поляне, не слышал этого короткого разговора. Он подошел к Лесницкому, кивнул на разложенные перед ним папки.

— Брось ты эту погань! Что ты колдуешь над ними? Ни черта ты не наворочишь тут! Идем лучше к людям, спросим у них. Народ найдет предателя.

Павленко отнял руки от лица.

— Да, нужно объявить об измене в отрядах.

Лесницкий бросил папки с документами, выпрямился.

— Нет. Это — крайность. Сделать это сейчас — значит дать возможность предателю удрать. У нас хватит сил найти его другим способом. От нас он нигде не спрячется. А чтобы он еще не нагадил, нужно быть более бдительными. Доверчивыми мы стали в последнее время, вот в чем наша ошибка. Иди сюда, Сергей. Что ты шатаешься, как маятник?

Приборный послушно подошел и сел рядом с комиссаром.

Лесницкий положил ему руку на плечо, заглянул в его измученное лицо и заботливо спросил:

— Болит рука? Что сказала Алена?

Приборный поморщился.

— А, не до руки тут! Душа болит, Павел. Кровью обливается за Андрея. К Насте не могу подойти: что ей скажешь?

Все молчали. Потом Лесницкий тихо сказал:

— Но пора, товарищи, подумать и о дальнейшем. Горе горем, а дело делом. Живые обязаны думать о живых. Я предлагаю примерно такой план. Обескровлены мы, конечно, здорово. И главное — связаны большим количеством раненых. Да и без радиостанции, без связи, действовать сейчас нам трудно. Это не сорок первый год. Пойдем на соединение с бригадой Крушины. Поможем им разбить остатки карателей. А самое главное: во-первых, свяжемся со штабом соединения и с Москвой, вызовем самолеты, чтобы эвакуировать тяжелораненых; во-вторых, вернемся в свой район, это даст нам возможность разместить остальных раненых в деревнях; в-третьих, снова приблизимся к железной дороге, займем на ней свое место. Практика у нас в этой области богатая. Вот так... Это пока в общем, без деталей... Давайте ваши соображения.

— Мне кажется, товарищ комиссар, пока что рискованно идти в этом направлении, — первым откликнулся Павленко. — Туда отступили главные силы карателей. И нельзя сказать, что они уже разгромлены окончательно.

— Да, они еще окончательно не разгромлены, но положение у них такое, что теперь они вынуждены будут обороняться, а не наступать. Теперь мы будем наступать! — Голос комиссара зазвучал решительно, твердо. — И каратели будут разгромлены. Однако... давайте ваши предложения. Подумаем, взвесим... Как ты, Сергей?

— Я согласен с тобой. Только не спеши выступать. Нужно дать людям отдых. Я сам едва на ногах держусь.

— Выступим вечером. А сейчас нужно будет послать за Маевским, забрать Николая. Его эвакуируем в числе первых на первом же самолете. — Лесницкий обратился к Павленко: — Алексей Иванович, подбери десяток наиболее сильных бойцов и отправь их с дедом Лавреном. Чтобы им не возвращаться, пусть ждут нас в Борцовском лесу.

Павленко встал и пошел в глубь леса, где слышались голоса партизан и горели огни.

— Ну а нам с тобой, Евгений Сергеевич, тоже придется поработать. Редактор наш ранен, типография растеряна, а газету выпустить мы все равно должны. Надо рассказать народу о разгроме карателей и о смерти этого сукина сына Адлера. Пусть порадуется народ и еще раз убедится в нашей силе, в нашей непобедимости. На наше счастье, в одной из захваченных машин есть килограммов сто бумаги. Так что давай подумаем над материалом. Фаши-

сты раззвонили во все колокола о нашем уничтожении, а мы вот возьмем да и воскреснем.

Они пододвинулись друг к другу и склонились над листом бумаги, лежавшим в развернутой папке на коленях у Лесницкого.

Подошла Алена. Она была в окровавленном халате, лицо бледное, застывшее. В каждом ее движении чувствовалась усталость.

Она подошла неслышно как тень и молча села на колodu.

— Что мне сказать ей? Покоя не дает, спрашивает, где Андрей. Где он? Знаете вы? — Голос ее был безразличным, усталым и глухим, словно доносился из глубокой ямы.

Она вовсе не надеялась услышать ответ, да и тревоге Насте особенного значения не придавала. Мало ли что приходит в голову роженицам, особенно после таких мучительных родов! Тем более что во время родов она ни разу не вспомнила о нем, а теперь вдруг: где Андрей да где Андрей.

— Андрей погиб, — тихо ответил Лесницкий.

Алена порывисто повернулась к нему. Безразличие и усталость исчезли с ее лица.

— Погиб? — У нее даже захватило дыхание. — Как?! Что же мне теперь сказать ей?

Лесницкий встал.

— Пошли, товарищи, все к ней. Пошли, Сергей.

Бригада размещалась в самой чаще дубового леса. Партизаны спали кто где: на подводах, в захваченных автомашинах и просто на земле под дубами. Не спали только тяжелораненые да часовые и дежурные по кухням. Кашевары готовили пищу из захваченных у немцев продуктов. В выкопанных ямах горели огни, и над ними висели котлы.

У одного из костров сидели Матвей Кулеш и Петро Майборода. Петро только что вернулся из разведки и не мог уснуть от возбуждения: ему не давал покоя вопрос: кто взорвал штаб? Жив ли тот разведчик? Никто из рядовых партизан ничего толком не знал, каждый высказывал свои собственные предположения.

Увидев командиров, Майборода догнал Женю, шедшего позади.

— Женя, будь другом, скажи: кто взорвал штаб? Люба, да? Но только откровенно.

Женя грустно улыбнулся.

— После, Петя, после. — И быстро пошел догонять командира и комиссара.

Разведчик осуждающе покачал головой.

— Эх ты, зазнался! В командиры вылез.

Предатель сидел молча. Он был ошеломлен тем, что случилось. Как хорошо началось, плохо кончилось! Не ожидал он такого конца. Предатель пытался осмыслить события ночи и не мог — все вертелось с бешеной скоростью... После взрыва в штабе и атаки партизан среди немцев поднялась страшная паника. Кулеш увидел подобных себе, понял, что рано или поздно эсэсовцы сорвут на нем злость, и, воспользовавшись паникой, удрал. У предателя

едва не выскочило от страха сердце. Но вскоре он понял, что ему повезло: в лагере никто не заметил его отсутствия и все думали, что он был с партизанами с самого начала. Женя Лубян даже направил его связным в штаб бригады. Все командование теперь считало его активным партизаном, который в решающий момент забыл о своей болезни и шел в бою плечом к плечу с другими. Теперь он догадался, что Андрей погиб, и радовался этому, потому что трус всегда радуется смерти героя, возможно, считает это победой трусости над отвагой и мужеством.

...Настя лежала под развесистым дубом, заботливо отгороженная со всех сторон трофейными палатками. Для нее и поворожденного партизаны нашли все необходимое: подушки, одеяло, чистые простыни, полотно на пеленки, лучшие продукты и даже свежее молоко. Она была обессилена тяжелыми родами. Лицо и руки ее были белее простыни, а глаза стали еще более голубыми и выразительными. Она смотрела на небо, на листья и повторяла горячим шепотом:

— Где ты, родной мой, любимый? Где ты?

Потом повернулась к ребенку, нежно прикоснулась губами к красному лобику.

— Сыночек мой! Где твой тата? Почему они все молчат? Что они скрывают от нас? Нет, нет... Не бойся, сынок. Не может этого быть! Он жив, жив. Он придет. Андрейка, любимый мой, приди!.. Посмотри на сына. Глянь, какой чудесный у тебя сын!

Она встрепенулась, когда услышались шаги и кто-то откинул полог палатки.

«Он», — подумала.

Но, повернувшись, она увидела Лесницкого и Приборного и, быстро откинув одеяло, села, протянула к ним руки.

— Наконец-то вы пришли! Где Андрей? Сергей Федотович! Где Андрей?

Приборный подошел и, взяв ее бледные руки, сжал их в своих.

— Дочка моя!.. Андрей... — Но голос его задрожал и сорвался, он закрыл рукой глаза и прижался лбом к шершавой коре дуба.

Настя схватила обеими руками руки командира, закричала!

— Говорите! Я не боюсь!

— Андрей погиб смертью героя, чтобы спасти бригаду. Он взорвал штаб карателей и не смог уйти, — медленно, растягивая слова, проговорил Лесницкий.

Настя разжала руки, привычным движением поправила волосы и осторожно, словно боясь ушибить больное место, легла.

Алена подбежала к ней, но она едва заметным кивком головы попросила ее отойти.

Лежала она неподвижно, взгляд ее голубых глаз застыл на какой-то одной точке, на одном листе дуба. Но она не видела ни листа, ни голубизны неба — ничего. Она попыталась представить

себе лицо Андрея и не смогла. Перед глазами проплывали лица матери, братьев, товарищей по отряду, а его лица не было.

Сколько месяцев она не видела его при дневном свете! Какой короткой была их последняя встреча! «Завтра мы снова встретимся...»

Что он говорил еще? Она больше ничего не могла вспомнить. Больно кольнуло в сердце — хотелось кричать от этой боли. Она стиснула зубы, посмотрела на присутствующих, увидела, что комиссар что-то шепнул Алене и повернулся, чтобы незаметно выйти.

— Павел Степанович! — остановила его Настя. — Куда же вы? Что же вы не посмотрели моего сына... сына Андрея?

Она быстро приподнялась, взяла ребенка на руки.

— Смотрите, какой он, мой Андрей!

Ребенок заплакал.

— Не плачь, мой сыночек, не плачь! Не будем плакать. Он погиб, чтобы спасти нас, чтобы мы жили. Не плачь же, не плачь, мой маленький Андрейка!

XIII

Ганна Кулеш полола гряды и тихо напевала. Хорошо было на душе у женщины — такая же ясность, теплота и свежесть, как вокруг. Не к лицу грустить в такое время. Да и чего ей грустить? Наоборот, радоваться нужно.

Она подняла голову, запачканными землей руками поправила пряди волос, выбившиеся из-под платка.

Палило солнце. Горячим паром дышала земля, недавно напоенная щедрым дождем. Плыл нагретый воздух. Пахло пепелищем.

Женщина посмотрела на почерневшую печь, на обгоревшие яблони и вишни и отвернулась. К чему горевать об этом? Не у нее одной такое горе. Из всех строений деревни чудом уцелела только школа, а так все сожгли проклятые каратели. Да ничего, отстроится, были бы только живы и здоровы. А в ее семье, слава богу, все здоровы; да и вообще в Ореховке обошлось на этот раз благополучно — никого больше не убили, как в других деревнях. Люди переждали беду в лесу и дождались радостных вестей: позавчера из соседней деревни им передали зачитанную, помятую партизанскую газету. В ней писалось о разгроме карателей и об убийстве главного их генерала, душегуба этого. Туда ему и дорога! А для людей это был самый радостный день. Все вышли из лесу, вернулись на родные пепелища, и никто даже не заплакал при виде одиноко торчавших печей и обугленных деревьев.

Но для Ганны особенно радостным был вчерашний день: с отрядом партизан-конников в деревню наведася Женя Лубян; проезжая мимо Ганны и увидев ее на огороде, он заскочил на минутку и весело поздоровался:

— Добрый день, тетка Ганна! Привет от Матвея. Жди скоро в гости.

Как радостно стало у нее на душе! Наконец-то ее непутевый муж вместе со всеми людьми, вместе с Лесницким, с Женей, с Маевским! Теперь ее уж не будут мучить сомнения. А то как она изводилась из-за него: неизвестно почему вернулся из армии и дома жил не как все — неожиданно исчезал, неожиданно возвращался, приносил деньги, вещи. А когда она начинала расспрашивать его и отказывалась от чужого добра, злился, ругался и даже пробовал бить. Разные мысли, одна страшней другой, появлялись тогда у нее. Правда, в последнее время он был тихим, покорным и ласковым, но от этого было не легче. А вот теперь сразу на душе стало легко и ясно. Теперь и она может гордиться своим мужем и считать себя солдаткой, как и все женщины.

— Мамочка, что это ты задумалась? Смотри, я перегнала тебя. Ганна вадрогнула. С соседней грядки на нее смотрела дочь Клава и весело щурилась.

— Смотрела, смотрела я на тебя, мамочка...

Ганна виновато улыбнулась и принялась быстро полоть. Медлить было нельзя, и так, пока они были в лесу, сорняки заглушили весь огород. «Нужно хоть тут навести порядок, в поле почти ничего не посеяно, придется жить с огорода. Но и это ничего, вернутся свои — не пропадем. А что до зимы они вернутся — об этом уже уверенно говорят все. Скорей бы пришел конец этим мучениям. Довольно натерпелись люди».

На этот раз ее мысли перебил пятилетний Дениска. Он подбежал и потянул мать за юбку.

— Ма, смотри!

Она обернулась. От реки через ее огород шел человек в длинном пальто. Шел он не по меже, как ходят все порядочные люди, а напрямик — по посевам, и уже одно это испугало Ганну.

У незнакомца было чисто выбритое, синеватое лицо с красными мешками под маленькими водянистыми глазами. Он не поздоровался, когда подошел, а сел молча на грядку прополотых огурцов.

Клава болезненно сморщилась и сжала кулачки. Человек оглянулся вокруг, остановил тяжелый взгляд на детях и хриплым голосом проговорил:

— Дети пусть отойдут.

Но Клава и Дениска смотрели на мать, ожидая, что скажет она.

Ганна молчала, исподтишка разглядывая этого страшного человека и поглядывая, далеко ли работают соседки.

— Ну!

Дениска шмыгнул носом — вот-вот заплачет.

— Клавуся, нарвите телянку травы, — наконец сказала мать.

Когда дети отошли, сизолицый обратился к Ганне:

— Ты — жена Матвея Кулеша?

Она кивнула головой.

— Где твой муж?

— Я не знаю, где мой муж. Он не говорит мне, куда идет.

— Бреешь ты, стерва!

Оскорбленная Ганна вспыхнула и попыталась было отойти к соседкам, которые работали неподалеку и теперь с любопытством поглядывали в ее сторону. Но незнакомец удержал ее за руку. Она с отвращением вырвала руку.

— Ну-ну... подожди... Я тебе скажу, где он, если ты не знаешь. У партизан. Это нам точно известно. Хочет замазать следы, проныра чертов. Да промахнулся. Не выйдет. У нас хватит силы, чтобы заставить его работать. Передай ему, что, если он в течение пяти дней не явится к нам в комендатуру, на шестой его повесят партизаны, потому что им станет известна вся его служба у нас. Все... И то, как он выдал семьи партизан, и дело Маевских, и лагерь на Лосином, да и еще кое-что... Поняла?

Ганна не сводила глаз с этого человека, который принес ей самую страшную из всех возможных вестей.

Незнакомец встал, презрительно улыбнулся.

— Само собой понятно: если хочешь, чтобы твой ненаглядный муженек остался жив, держи язык за зубами, никому ни гугу. Вот так... Торопись разыскать его. — Он повернулся и быстро пошел обратно, поглядывая по сторонам.

Крик отчаяния едва не вырвался из ее груди. Она сдержала его, зажав рот ладонями, и, обессиленная, опустилась на межу.

Подбежали дети. Клава спросила:

— Мамочка, что он сказал тебе? Почему ты так испугалась?

— Ничего, ничего, Клавуся. — А сама думала: «Так вот откуда деньги и вещи! Продавал людей, родных, своих... Продавал Маевских, Лубянов... детей... А-а!.. Недаром я боялась, недаром чуяла недоброе. Будь же проклят ты, пуда, собственными детьми!»

Возможно, последнюю мысль она высказала вслух, потому что Клава бросилась к ней, обхватила руками ее шею.

— Мамочка, скажи, что он сказал.

— А-а!.. — Ганна зажала дочери рот. — Молчи, доченька, молчи. Пошли, дети. — Она встала и пошла в конец огорода, где начинались ольховые заросли.

Дениска ухватился за ее подол и шел рядом, Клава — позади.

Соседки проводили их удивленными взглядами и собрались вместе, чтобы обсудить происшедшее.

— Видать, с Матвеем что-то случилось, — сошлись все на одном.

...Ганне казалось, что достаточно войти в лес, чтобы без особенного труда найти партизан. Но они проблуждали несколько часов, забрели в незнакомые места, в темную чащу и не встретили ни одной живой души. У Ганны заболели плечи и руки от Дениски, которого она все время держала на руках. Клава устала, исколола босые ножки, начала отставать. У матери сердце разрывалось от боли и отчаяния. Несколько раз она намеревалась закричать, позвать партизан, но не было голоса — из груди вырывался только хрип, который пугал детей. Хотелось заплакать, чтобы слезами вылить горе, но слез тоже не было. Нестерпимая боль жгла грудь.

«А может, не выдавать? Может, молчать? Пусть это лучше сделают другие. Пусть не я сама убью отца своих детей... Ой, деточки, деточки! Сиротинки мои! А если этого никто не сделает? Если он еще других наших людей продаст фашистам и останется жив? И придет жить со мной?.. Жить с ним, зная все? Нет, нет, лучше теперь, чем тогда... Лучше сразу, чтобы не ждать, не мучиться... Да он же может продать всех партизан. Пускай же сгинет один нуда, чем сотни честных людей».

И ее решимость найти партизан во что бы то ни стало росла с каждой минутой.

Вечерело.

Заплакал Дениска:

— Я хочу есть. Ийдем домой.

— Потерпи, Дениска, немного, потерпи, мой маленький... Скоро придем к партизанам, и они тебе всего дадут.

— И татка там, у них? — с живостью спросил мальчик.

Ганна застонала.

— Ножку сбила, мама, да? А ты потихонечку иди.

От заботы ребенка ей стало еще больней.

Стемнело.

Они сели под густую ель. Мальчик снова заплакал.

Ганна рассердилась:

— О господи! Где я тебе возьму хлеба? Спи ты, неугомонный!

Дениска еще некоторое время похныкал и уснул.

Клавя не могла заснуть очень долго, по лежала молча, делая вид, что спит. Мучительная тревога охватила ее детскую душу, и, когда мать особенно тяжело вздохнула, она не выдержала, вскочила и обняла ее.

— Мамочка, ну скажи ты... С таткой случилось что?..

— Спи, Клавуся, спи. И молчи хоть ты.

Девочка умолкла, но, заснув, плакала и стонала во сне.

Ганна просидела над детьми всю ночь. Вспоминала свою жизнь. Только и было радости в ней — дружная, веселая работа в колхозе да вот они, дети. А от Матвея она радости особой не видела никогда. Всю жизнь где-то шатался, все искал, где полегче да получше. И вот до чего доискался — своих людей начал продавать!

«Как найти партизан? Где они?» — думала она и только теперь поняла, что совершила ошибку, что не таким путем нужно было их искать. Нужно было обо всем рассказать надежным людям, посоветоваться с ними. Есть же в деревне люди, которые знают, где партизаны. Обязательно есть.

На рассвете она разбудила детей и пошла обратно. Но утро было пасмурное, и Ганна совсем заблудилась и снова долго и безрезультатно плутала по лесу. Она никогда не думала, что лес настолько велик, что можно идти и день и ночь и все-таки не найти конца его. Ее охватил страх за детей, за то, что она может опоздать, страшный незнакомец предупредит Кулеша и тот избежит справедливой кары, да еще совершит какое-нибудь злодеяние.

Она закричала. Глухое короткое эхо откликнулось ей. Прислушавшись, она услышала какой-то далекий шум.

— Да это ведь поезд, мамочка! — первой догадалась девочка.

Ганна с облегчением вздохнула и торопливо пошла в сторону железной дороги, чтобы спросить там, как пройти в Ореховку, и потом уже другим способом попытаться найти партизан.

Но внезапно раскатистый взрыв прервал приближающийся шум поезда. Что-то загремело, залязгало.

Послышалась стрельба.

— Партизаны! Деточки, скорей бежим! Это же они!

Ганна подхватила Дениску и побежала в сторону выстрелов. «Держитесь, родные, держитесь», — беззвучно повторяла она, пробираясь сквозь чащу.

Но чья-то сильная рука схватила ее за плечо.

— Куда ты лезешь, чертова баба?! Убьют там!

Она обернулась и увидела бородатого человека с автоматом на груди. Он ласково улыбался и укоризненно качал головой.

— Ганна? Ты как попала сюда? — Из-за деревьев вышел Карп Маевский, который с удивлением рассматривал ее. — С детьми? Что случилось?

Она бросилась к нему:

— Дядя Карп!

— Семья Матвея Кулеша, — объяснил Маевский бородатому.

Ганна закрыла руками лицо и заплакала.

XIV

Весь лагерь возмущенно шумел.

Партизаны плотно окружили большой шалаш, около которого стоял часовой, никого не подпускавший к нему.

В шалаше шел допрос предателя.

Кулеш стоял, втянув голову в плечи. Его всклокоченные волосы шевелились от страха, как у зверя. На шее и на висках вздулись вены. Под глазами — синие кровоподтеки. Рубашка на нем была порвана в клочья, и через нее виднелось синее поцарапанное тело. Перед этим Кулеш побывал в руках Петра Майбороды. Разведчик чуть не убил его, узнав, что он предал Буйского. Если бы Лесницкий опоздал на одну минуту, все было бы кончено — суду нечего было бы делать. Но комиссар сурово остановил самосуд, а Майбороду посадил под арест в пустую землянку.

За столом суда сидели Лесницкий, Гнедков, Павленко, Карп Маевский и Лубян. Приборный взволнованно ходил взад и вперед, стиснув кулаки. В душе он поддерживал Майбороду и даже поругался с Лесницким из-за его ареста. Зачем еще тратить время на этого негодяя! И без суда и следствия все ясно.

Следствие вел Гнедков и делал это по всем правилам судебного производства. Кулеш ответил на несколько вопросов, потом вдруг упал на колени, запричитал:

— Простите, простите!.. Сжальтесь!.. Пожалейте детей!..
— Нет у тебя детей, подлюга! — крикнул Приборный. — Жена и дети прокляли тебя.

— Сжальтесь! Делайте, что хотите... В тюрьму, на каторгу, в кандалы... Куда хотите... Только не убивайте! Не у-убивайте-е! У-у-у! — завыл он.

Женя Лубян направил на него пистолет.

— Поднимайся, а то застрелю.

Кулеш глянул в черный глаз пистолета и быстро вскочил, выпрямился, колени его мелко дрожали.

Живая стена партизан около шалаша колыхнулась, расступилась и пропустила Настю Буйскую с ребенком на руках. Она только что вернулась из леса и узнала о предателе. Часовой пытался остановить ее, но она спокойно отвела его руку и вошла.

Гнедков замолчал, растерянно взглянув на Лесницкого.

Настя остановилась перед предателем, с отвращением посмотрела на него и тихо, но отчетливо сказала:

— Так это ты предал Андрея? Червяк ты несчастный! — и она с омерзением плюнула ему в лицо. — Пошли, сыночек, подальше от этой погани. — Она повернулась к выходу, но остановилась, оглянулась на судей и добавила: — Что вы тянете с ним? Повесить его, собаку, вон на той сломанной осине!

Кулеш дико завыл, понимая, что это — приговор.

XV

На большой поляне колоннами пострядно выстроилась вся бригада.

На востоке и на юге гремела артиллерийская канонада.

Низкое осеннее солнце катилось на запад, навстречу ветру, нывая в косматые клочья разорванных туч. Тревожно гудел бор. Раскачивались вершины дубов, постукивая голыми сучьями. Над поляной кружился золотой рой кленовых листьев. Они застилали землю, шелестели под ногами. Пахло всеми запахами лесной осени: сыростью, прелыми листьями, желудями, рябиной, сухими травами и дымом.

Вокруг поляны, около землянок и шалашей догорали огни.

Из большого шалаша вышла группа командиров. Первым шел широкоплечий человек в новом мундире с полевыми погонами генерал-майора. Это был командир партизанского соединения Ружак. За ним шли его адъютанты, Лесницкий, Павленко, который командовал теперь бригадой «Днепр» вместо раненного в последних боях и эвакуированного в тыл Приборного.

Командиры прошли вдоль строя. Отряды встретили их дружным «ура». Глаза партизан сияли торжественно и радостно.

Генерал Ружак, веселый, улыбающийся, дружески махал им.

Вернувшись обратно, на середину строя, он легко вскочил на высокий пенек, поднял руку. Строй затих.

— Товарищи партизаны и партизанки! Герои всенародной борьбы! Друзья мои! Слышите гром канонады? Красная Армия пришла на нашу родную белорусскую землю, чтобы окончательно очистить ее от фашистской нечисти...

Тысячеголосое «ура» прервало его речь.

— Долго мы ждали этого дня. Нет! Мы не просто ждали его, не сидели сложа руки. Мы шли навстречу нашей армии, помогали ей быстрее разгромить ненавистного врага! Тяжел был наш путь, так же как и путь Красной Армии. Он полит слезами и кровью нашего народа. Десятки тысяч героев отдали свои жизни за счастье, свободу и независимость нашей Родины. Но ни на минуту не теряли мы веры в победу. И мы победили! Товарищи! Вспомните свой боевой путь!

Генерал сказал несколько слов об истории зарождения и развития всенародного партизанского движения, вспомнил боевые дела бригады, ее лучших людей и тех, кто пал смертью героев.

— И вот мы со славой заканчиваем наш великий поход. Позавчера и вчера доблестные части Красной Армии переправились через Днепр и успешно очищают от врага Правобережье. Вы слышите, где гремит бой. Вашей бригаде выпала почетная задача: помочь Красной Армии осуществить одну большую и важную операцию по окружению противника. Смысл и значение ее вы узнаете немного позже. Призываю бойцов и командиров мужественно и самоотверженно выполнить последнее партизанское задание. Покажем, товарищи, силу народных мстителей!..

...Вскоре отряды один за другим начали выступать на запад. Лагерь быстро пустел.

На краю поляны, около землянки, стояла небольшая группа партизан. Эти люди оставались в лагере, чтобы дожидаться прихода Красной Армии. Тут были женщины, раненые, старики, дети и среди них — Карп Маевский, Татьяна и Николай. Тогда, весной, после операции, Николай Маевский решительно отказался эвакуироваться. Отлежавшись в деревне под надзором Татьяны, он вернулся в бригаду и продолжал выполнять обязанности начальника штаба. С большой грустью провожал он сейчас своих друзей. Очень хотелось ему быть с ними в этом последнем бою. Но ничего не поделаешь!.. Нужно мириться с судьбой.

Быстро подошел Лесницкий.

— Ну, друзья, ждите. Ждать вам осталось недолго. Но будьте бдительны. Хотя и надежное у вас место, но отступающие гитлеровцы могут случайно и сюда забрести. Они разбегаются во все стороны: бьют их со всех сторон. Ведите разведку, выставляйте часовых... Тебя, Николай, назначаю последним комендантом лагеря. — Комиссар взял начальника штаба за руки. — И еще раз прошу... Я могу задержаться, могу пойти с армией дальше... Не знаю, куда направит партия... Одним словом, ты первым придеешь в освобожденный район. Сразу же, засучив рукава, берись за работу. Конечно, пришлют нового секретаря, председателя райисполкома...

Но пока это они познакомятся с районом! А тебе все знакомо. Ты знаешь, где что закопано, запрято, знаешь всех людей, люди знают тебя. От тебя они и потребуют в первую очередь помочь им наладить жизнь... Так что смотри не подкачай, друг...

— Будь уверен, Павел.

Лесницкий повернулся к Карпу:

— Ну, старина, повоевали мы хорошо. Иди берись за свои ульи, засаживай сад. Соскучился по ним, да?

— Не с ульев нужно будет начинать, Павел Степанович, — вздохнул Карп.

— Это верно... Не с пчел. — Он дважды повторил: — Да-а, не с пчел. — Но через мгновение весело сверкнул глазами: — Но и пчел не будем забывать. Скоро и за них возьмемся...

Подошли Люба, Женья Лубян и Алена Григорьевна.

— Смотри, Карп Прокопович, как выросла твоя семья. Целый колхоз. И какие герои все! Один к одному. С такими можно горы своротить! Просто завидую тебе, — с улыбкой сказал Лесницкий. — Не красней, Евгений Сергеевич, все равно давно уже все знают, что ты член этой семьи. А на свадьбу придем к тебе всей бригадой. Так и знай... Ну, до свиданья, товарищи! Мне пора...

Он обнял и поцеловал Николая, Карпа, Витю, Настю Буйскую и ее маленького сына, остальным пожал руки и пошел на середину поляны, где его ждали командиры.

Алена, не стесняясь присутствующих, обняла мужа.

— Смотри береги себя.

— Ты береги себя, Лена. Со мной уже ничего не случится. А вот за тебя мне еще придется поволноваться.

— А ты не волнуйся. Жди. Я скоро вернусь.

— А меня скоро не ждите, — звонко и весело сказала Люба, обращаясь ко всем сразу. — Я без пересадки до Берлина. На меньшем не помирюсь. Только оттуда согласна вернуться назад.

Татьяна и Женья незаметно отошли в глубь леса и попрощались без свидетелей.

XVI

Через два дня лагерь опустел.

Маевские покидали его последними.

Ночью гремел бой около Днепра, и они всю ночь не спали, напряженно прислушивались: стрельба постепенно удалялась на север, затихала. Начался новый день — день на освобожденной земле. Утро было ясное и морозное. Иней посеребрил поляну, шалаши и деревья. Пуща затихла, как затихает толпа в первую минуту торжества. Смело постукивал дятел, снова почувствовав себя хозяином в этой тишине. Жалобно чирикала какая-то маленькая птичка — наверно, искала своих подруг или детей.

Маевские долго стояли на поляне, молча слушали эти знакомые, родные звуки.

Николай снял шапку.

— Прощай, пуща! Послужила ты нам честно.

И по узкой, засыпанной листвою дорожке они двинулись на восток.

Николая везли в специальной коляске, мастерски сделанной Карпом и Гнедковым из трофейных велосипедов. В лагере он обычно легко и быстро передвигался на ней сам при помощи ручных педалей. Но на такую длинную дорогу у него не хватило бы сил, и коляску толкали Карп и молодой партизан из лагерной охраны.

Впереди на коляске сидел Витя, закутанный в большой кожаный. Виднелась только его голова, обвязанная теплым платком. Его черные живые глазенки с интересом поглядывали по сторонам. Сидеть ему, видно, было не очень удобно, и он то и дело ворочался, пытаясь выбраться из кожаного.

Николай придерживал его рукой, ласково ворча:

— Сиди тихо, попрыгун, а то выкину. Будешь бежать следом.

— Ух, ты! Мамка тебя выкинет... Лаз-лаз... и бух-бух.

— Очень я боюсь твоей мамы!

У всех было праздничное, торжественное настроение. Никому не хотелось молчать. Николай даже почувствовал потребность запеть и был уверен, что такую же потребность испытывали и все остальные. Говорили обо всем сразу: вспоминали минувшее, мечтали о будущем, говорили о знакомых людях, и о дубе-великане, что встретился на дороге, и о замерзшем грибе боровике, и о дятле, и о переспевшей бруснике.

Настя шла впереди и разговаривала со своим сыном. Тяжело ей было с ним в лесу! Но к матери она не могла пойти, так как в деревне все хорошо знали о ее работе у партизан. Попробовали было оставить ее в чужой деревне у надежного человека, но она выдержала там только неделю и вернулась обратно в лес.

— Наконец-то, сынок, ты будешь как все дети, а не «маленьким партизаном». Нет, нет, всю жизнь будь партизаном и гордись этим. Расти таким, как твой папа: таким же умным, отважным и честным. Так же люби все то, что любил он и за что погиб... Но это потом, когда ты вырастешь, Андрейка. А сейчас придем к бабуле, она молочка тебе найдет, в люльку положит... Покачает... Лю-ли, лю-ли... Спи, — нежно шептала она и ежеминутно проверяла, не задувает ли где под одеяло ветер, хотя ветра и не было.

Николай всю дорогу говорил с сестрой, говорил с возбуждением счастливого человека.

— Нет, ты пойми, как выросли люди в борьбе. Словно огнем выжгло все мелкое, никчемное, ненужное и осталось все истинно человеческое. Помнишь, у Горького? «Человек — это звучит гордо». Да. А наш советский человек — это звучит не только гордо, но и величественно. Это настоящий человек с большой буквы. И когда видишь таких людей, как Лена... Ты не смейся. Ты пойми, какой это человек, какая душа!.. Я взял ее в пример, потому что она показала мне, каким должен быть я сам... Я виноват перед ней... Но

не подумай, что я по ней одной делаю такие глубокие выводы. Нет... А Леспицкий, а Женья, Андрей или вот Настя?.. Сколько их! Какие золотые люди! — Он долго с увлечением говорил о людях, потом высказал свою мечту, свой жизненный план: — Поеду в Москву, сделаю протезы... И начну новую жизнь, новую работу... Новое счастье, Таня...

Под вечер они вышли из пущи, подошли к Днепру. Переночевали. А на рассвете знакомый рыбак с радостью перевез их на родной берег, как называл его Карп.

На восточном берегу они вскоре вышли на большую прифронтовую дорогу.

По обе стороны дороги, в канавах, лежали сожженные вражеские танки, разбитые орудия, машины, повозки, убитые лошади и посиневшие трупы гитлеровцев. А по расчищенной дороге двигалась на запад могучая техника победителей.

С грохотом прошли танки. Танкисты выглядывали из люков и весело махали руками и шлемами саперам, ремонтировавшим дорогу. Фыркая и сигналив, промчались штабные машины, и все с уважением уступали им дорогу. Один за другим шли грузовики, прижимая к юветам обозные повозки. Обозники ругались и грозили шоферам кнутами.

Смеялись. Кричали. Пели...

Самая обычная картина прифронтовой дороги, но как она взволновала партизан! Как завороженные стояли они у леса, не дойдя шагов двадцати до шоссе, и смотрели на этот непрерывный поток людей и машин. Вот оно, освобождение! Вот он, день, о котором мечтали они два года! Возможно, никто из них не представлял этот счастливейший миг таким. Как все просто и как величественно!

Настя беззвучно плакала, склонившись над сонным ребенком. Она вспомнила Андрея. Она слышала его голос. Он слышался ей в песне проехавших на грузовике солдат, в грохоте прошедших самоходок. Вот оно, счастье! «А его нет!.. Нет!..»

— Андрей!.. Андрейка!..

Николай обнял одной рукой сестру, другой смахнул слезу, но, взглянув на Настю и увидев ее мокрое от слез лицо, нарочито весело и громко сказал:

— Что ж это мы остановились? Попили, друзья!

Они вышли на дорогу.

И сразу же около них остановилась трехтонка, нагруженная ящиками и мешками. Из кабины выглянул старшина — молодой парень с красивыми черными усиками.

— В какую сторону?

Карп кивнул головой в сторону, противоположную той, куда шла машина.

— Жалко, — искренне пожалел старшина, но кабины не закрыл и продолжал разглядывать их.

Его заинтересовала эта группа людей. Они были не совсем похожи на всех тех, которых он встречал на разбитых дорогах войны.

На лицах этих людей не было следов пережитых ужасов и мук. Наоборот, он увидел знакомые черты победителей: уверенность, гордость. Особенно поразило и заинтересовало старшину безногий. На его худом, чисто выбритом лице с чертами решительного и мужественного человека, в его умных глазах сияла теплая и счастливая улыбка. Одет он был в хороший кожаный, из-под которого выглядывал воротник новой офицерской гимнастерки.

Старшина выскочил из кабины, подошел ближе и вежливо обратился к Николаю:

— Позвольте поинтересоваться: кто такие? куда и откуда?

— Кто? — Николай улыбнулся. — Лично я — начальник штаба партизанской бригады. А это — партизаны той же бригады...

Старшина привычным движением поправил ремень, подтянулся и козырнул, как бы прося извинения.

— Если вас интересуют родственные связи, так это — мой отец, это — сестра и ее сын, а это — партизанская разведчица, жена Героя Советского Союза... Из леса — в деревню, к мирной жизни, к труду. — Николай не мог удержаться, чтобы не сказать первому же встретившемуся бойцу о том, что они не сидели тут сложа руки, а помогали активно завоевывать победу.

— Позвольте... И далеко вам идти?

— Километров двадцать еще.

Старшина повернулся к машине и приказал:

— Яша! Поворачивай машину.

Пока шофер разворачивался, старшина представился:

— Гвардии старшина Синицын, Анатолий Савельевич, москвич, — и крепко пожал руки всем, даже Вите. — Моя обязанность — довести вас до места. Нет, нет, и не думайте спорить, товарищ начальник штаба! Простите, машиной командую я. Везу я продукты, а не боеприпасы и, будьте уверены, не опоздаю, даже если сделаю еще сто километров лишних. Садитесь.

Николая и Настю с ребенком он усадил в кабину, а сам с остальными сел в кузов, на ящики.

Через полчаса они приехали в Ореховку, или, вернее, на то место, где когда-то была Ореховка. Теперь тут не было ни одной постройки. После весеннего пожара люди вырыли землянки, а кое-кто успел поставить даже сруб. Но немцы превратили деревню в мощный узел обороны, и все снова было уничтожено — в этот раз огнем советской артиллерии, «катюш». Даже обгоревшие весной деревья мало где уцелели. Каждый метр земли был перерыт снарядами и минами. Зеркальными пятнами первого льда сверкали воронки от бомб.

Николай не узнал родной деревни и, растерявшись, остановил машину около леса.

— Дальше, дальше, сынок, — сказал Карп. Он узнал место своей хаты по двум обгорелым березовым пням да по трем вишням, уцелевшим в конце бывшего сада, на развороченной, покалеченной земле.

Нежное и радостное чувство тронуло сердце старика, когда он увидел эти вишни. Карп повернулся к дочери, в его глазах блеснули слезы.

— Вишни... Наши вишни, Танюша. Стоят... Скажи ты, какие живучие!

Татьяна поняла чувства отца и растроганно ответила:

— Как мы, тата.

Машина остановилась.

Старшина молча огляделся вокруг. Когда все слезли, он вздохнул и тоже соскочил на землю.

— И-да-а... Как же вы жить будете? Ни одной избы...

— Ничего, сынок, лес у нас под боком. Проживем. Мы многому научились, не хуже вашего брата солдата. И не такое видели.

Синицын полез в машину и, сбросив оттуда мешок и большой ящик, смущенно обратился к Николаю:

— Примите, товарищ начштаба... Мешок сухарей и концентраты...

— Не стоит, товарищ старшина.

— Нет, нет!.. Не могу я бросить вас так. Вы же с голыми руками на голом месте. Вы понимаете, да мне майор... не знаю что делает, если я брошу вас так. У него семья на Брянщине погибла.

— Что ж, душевно благодарим, — сказал Карп, принимая подарок. — Но есть у меня до вас, дорогой товарищ, еще одна просьба... Вы уж извините... Если только есть у вас, дайте лопату. Очень пужная вещь!

— Есть у нас лопата? — спросил старшина у шофера.

— Есть ли у нас лопата? Что за вопрос, товарищ старшина! У хорошего шофера все есть. Топор, пила и лопата. Без этого далеко не уедешь. Где сидеть — там и слезешь на таких дорогах. — Шофер покопался под сиденьем, потом в кузове и торжественно вручил Карпу Маевскому пилу и лопату (топор у Карпа был свой, с ним он не расставался никогда — всегда носил за поясом).

— Вот за это не только от себя, но и от многих вдов и сирот большое спасибо... Теперь я, как говорят, кум королю и первый богатей на деревне.

Они распрощались, как старые знакомые и самые близкие люди.

— Счастливой дороги до Берлина!

Машина отошла.

Маевские смотрели ей вслед и прощально махали руками до тех пор, пока она не скрылась в лесу. Потом все повернулись к Карпу.

Он поплевал на ладони, глубоко копнул лопатой старое пепелище, откинул землю в сторону и сказал:

— Ну, дети, будем строиться!



ТОРГОВКА И ПОЭТ

ПОВЕСТЬ

Авторизованный перевод
с белорусского Т. ШАМЯКИНОЙ

© Перевод на русский язык. Издательство «Советский писатель», 1977



Отец Ольги был кожевником, из семьи потомственных минских кожевников, которые в давние времена выделывали кожи кустарно, а при Советской власти работали на заводе. Ольга в детстве не особенно любила отца, может, потому, что, когда он возвращался с работы, от него неприятно пахло; но боялась она отца меньше, чем матери: он никогда не ударил ее и даже ругал редко, вообще человек был мягкий, покладистый, не пил, как некоторые соседи, разве что в праздники или в гостях мог опрокинуть рюмку-другую, но всегда знал меру, пьяниц ненавидел, сына старшего невзлюбил, когда тот приохотился к проклятому зелью.

Михаила Леновича на Комаровке уважали, но считалось, что благосостояние семьи, даже значительный по тем временам достаток, вызывающий зависть соседей, держится не заработками кожевника, хотя мастер он хороший, а трудом и торговлей Леновичихи, известной тетки Христи, избранной, но общепризнанной старостики всех комаровских торгов. Ее даже милиционеры боялись: друживших с ней она щедро угощала, тех же, кто стремился ущемить ее личные интересы или интересы всей «торговой корпорации», могла обесславить не на один рынок — на весь город.

Дом Леновичей в тихом переулке, очень грязном весной и осенью, выглядел не лучшим в этом районе стародавней частной застройки — обычный комаровский, почти сельский, деревянный дом. Однако дом этот ломился от добра: лучшая по тому времени мебель, ковры на стенах, одежда в трех огромных, как контейнеры, шкафах, различная посуда, швейная машина, два велосипеда, самовары... А сколько всего скрывалось в двух больших погребах и на чердаке! И все нажито Леновичихой, ее потом, мозолями, ее хваткой ловкой коммерсантки. «На заработки моего старика с голodu пухли бы», — подвыпивши, хвалилась Христи соседкам, а выпивала она чаще мужа: то кого-то нужно было «подмазать», то согреться зимней и осенней порой, когда от холода пальцы деревенели и не могли покупателю отсчитывать сдачу — медяки. Но и трудилась она как невольница, рабыня. От темна до темна. При доме был неплохой огород, соток двенадцать. Комаровские огороды вообще славились не только до войны, но долгое время и после войны, пока вместо деревянных хибар не выросли многоэтажные здания — новый город.

Хозяйство тетка Христя вела на уровне высших агрономических достижений. Мало кто тогда имел теплицы, а у нее они были. Самые ранние редиска и салат на рынке появлялись на прилавке Леновичихи, и клиенты у нее были постоянные, сам Якуб Колас покупал, чем она часто хвасталась. Она первой выносила на рынок и огурцы, картошку, помидоры, одного разве только не умела — чтобы яблоки созревали раньше, чем у других. Но не только на огороде копалась она и на рынке простаивала, призывая покупателей и расхваливая свой товар остроумнее всех — на ее звонкий голос, шутки, веселый смех действительно шли охотно. Дома ее поджидало еще одно хозяйство — живое. В хлеву, в загончиках, всегда хрюкали два кабанчика, побольше и поменьше, одного закалывали — на его место тут же покупался подвенок, конвейер не прерывался. Кудахтали куры, сердито бормотали индюки, а позже, когда по радио начали агитировать колхозников заняться кролиководством, Леновичиха завела кроликов и скоро убедилась, что это действительно выгодное дело — животные быстро плодятся и быстро растут, хотя, правда, мясо кролике покупали неохотно. «Некультурные вы люди», — говорила она тем, кто, бывало, скалил зубы: «А не коты ли это, тетка?» Иных она не просто обвиняла в отсталости, хлестала жестко: «А такого дурака только котятиной и кормить!» Потом она договорилась и сдавала кроликов в столовую на Пушкинской улице, откуда брала помой для свиней, — в столовке студенты все съедят. В те предвоенные годы не очень сытно было.

Детей Леновичиха любила и жалела по-своему — тем, что жила, работала для них, не для себя, сама только в праздники позволяла себе нарядиться так, чтобы соседки лопались от зависти, а в будни ничем не выделялась среди других комаровских баб. Для них, детей, старалась накопить как можно больше добра. Во всем остальном была безжалостна. Работать детей заставляла, как только они становились на ноги. Первое, что Ольга помнила в жизни, — это как петух сбил ее с ног, когда она кормила кур. Сколько же ей было, что петух мог свалить? Может, годика три, не больше.

Детей было немного для такой семьи — всего трое; старшая дочь умерла от скарлатины, остались два парня и Ольга — самая младшая. Естественно, что старая Леновичиха больше любила единственную дочь. Но не баловала, — наоборот, Ольге доставалось, пожалуй, больше, чем мальчикам, ведь те раньше вылетели из родного гнезда, а Ольгу, даже когда замуж вышла, не повезли в «чужую сторону» — зять пришел в дом примачком. До самого замужества дочери Леновичиха не стеснялась погулять по ней и розгой, и фартуком, и стеблем подсолнечника — что попадалось под руку, да и слова не подбирала, такие иногда выдавала, что лошади на рынке краснели. Соседи слушали и смеялись: «Христя своих христит». Михаил уговаривал жену: «Людей постыдишь!» Впрочем, поругав, Христя могла тут же с гордостью похвалить-

ся дочерью: «Вся в меня, зараза». Для нее не дочь — сыновья оказались отрезанными ломтями. Она-то мечтала, что они останутся при хозяйстве и по-своему, по-мужски, продолжат ее дело, приумножат добро, накопленное ею для них каторжной работой. Нет, не прельстило их это. Правда; старший, Казимир, потянул свою долю из нажитого, да еще и недоволен остался. Но Леновичиха не могла ему простить, что женился на разведенке, в примаки к ней пошел на Грушевский поселок. А младший, Павел, тот вообще после седьмого класса подался в военное училище, в далекий Саратов уехал. Отцу это понравилось, но с мнением его мало кто считался, а она, мать, назвала Павла дураком, на дорогу денег не дала. Отец втайне от жены собрал сына, проводил на вокзал. Но когда Павел через три года вернулся лейтенантом-артиллеристом, Леновичиха, нарядившись в лучшую одежду, с гордостью обошла вместе с сыном чуть ли не весь город — пусть смотрят люди! Даже в оперу пошла, где отродясь не бывала. По Комаровскому рынку в дни, когда гостил сын, ходила как богатая покупательница и только ловила то насмешливые, то завистливые улыбки подруг и рыночной прислуги.

Училась Ольга до седьмого класса неплохо, а в восьмом, когда засели в голове мысли о парнях, двойки начала приносить. Теперь Леновичихе хотелось, чтобы дочь пошла в науку, стала культурной. Времена менялись, дети многих комаровских старожилів оканчивали институты. Чем же ее дети хуже? Пыталась заставить Ольгу учиться все той же розгой, отцовым ремнем. Не помогло. Ольга действительно упорством пошла в мать и после восьмого класса школу бросила. Год помогала матери торговать, потом пошла работать в трамвайное депо.

В восемнадцать лет Ольга вышла замуж за вожатого трамвая Адама Авсюка. Зять правился старой Леновичихе, хотя и был голдранцем — пришел в дом с одним маленьким чемоданчиком. Но веселый, не гнушался никакой работы, даже не стеснялся продавать на рынке опаленных кур, капусту, свинину. Было в его характере что-то от самой Леновичихи, потому и сошлись они. Только пьяный Адам делался дурным — лез в драку и не однажды возвращался домой с фонарями. Старому Леновичу очень не нравилось, что вожатый трамвая напивается до бесчувствия. «Как ты завтра людей будешь возить? Еще ненароком зарежешь кого. Если бы я был вашим начальником, то и близко не подпускал бы таких к вагону».

И бывают же такие неожиданные, просто какие-то фатальные совпадения! В темное ноябрьское утро, когда выпал первый, мокрый снег, старый кожевник не смог втиснуться в переполненный трамвай, повис на подножке, сорвался или, может, столкнул кто-то, попал под колеса, и ему отрезало ноги; на другой день он умер в больнице.

Вагон вел не Адам, но все равно среди комаровских обывателей, как круги по воде, пошли самые невероятные, дикие сплетни,

дошли до Ольги, до ее мужа, до старой Леновичихи, всех их больно ранили.

Кажется, без особой любви и привязанности жили Леновичи. Христия отзывалась о своем Михале с этаким скептической снисходительностью, очень редко советовалась с ним о своих делах. Дети признавали больше ее авторитет, отец всегда находился как бы в тени. А не стало его — осиротел дом и сама Леновичиха как-то сразу поблекла, осунулась, притихла, утратила интерес к нажитому — к никелированным кроватям, полированным шкафам, густо обсыпанным нафталином шубам. Одним еще только жила — нетерпеливым ожиданием будущего внука или внучки от Ольги. Детей Казимира от разведенки не любила, почему-то внуки казались ей чужими.

Но то, что после смерти мужа покидало постаревшую мать, с молодой силой и энергией рождалось, нарастало в Ольге. Работу в депо она бросила и почти целиком взяла на себя бывшие материнские обязанности. Разница, пожалуй, была только в одном: работала она не с такой одержимостью, как мать, умела всю черную работу на Адама взвалить. Но на рынке вела себя еще более умело, оборотисто и в то же время осторожно, с учетом изменившейся конъюнктуры: холодная и голодная зима 1939/40 года, когда шла финская война, — это не времена напа, во время которого разворачивала свою коммерцию ее еще молодая тогда, полная сил мать. Но и в тех не лучших рыночных условиях комаровские торговки быстро признали молодую Леновичиху своей заводилой. От матери и имя перешло к ней — Леновичиха, хотя и была она Авсюк. Молодая Леновичиха. А старая постепенно утрачивала это известное всей Комаровке имя, теперь для соседей она была просто Христия, или Крисия, так некоторые сокращали ее имя на польский манер; Ленович считался католиком, но в костел никогда не ходил и венчался в церкви — Христина была из православной набожной семьи.

Внучки Христина не дождалась. Весной, когда начались работы на огороде, вышла она копать под грядки — беременной Ольге нельзя было, — да так и осела в борозду. Соседка через забор приметила неестественность ее положения. Подняла тревогу. Выбегала из дому Ольга, а мать уже мертвая. «Легкая смерть, — говорили на похоронах ее подруги, вытирая скупые слезы. — Где всю жизнь проработала, там и умерла — на земельке нашей комаровской».

В июле Ольга родила девочку и назвала ее Светланой, еще до рождения назвала, модным тогда было это имя. После появления ребенка сделалась Ольга еще более похожей на мать — одержимостью в работе, шумной энергией, настырностью, часто граничившей с наглостью, особенно там, где нужно было отстоять свое. О, за свое, за одно перышко лука она могла горло перегрызть. Авсюку, портрет которого висел в трамвайном парке на Доске стахановцев, часто бывало неловко за жену, он пробовал

укорять ее: «Оля, нехорошо так. Теперь люди этим не живут, не то время. Со мной Зенчик, секретарь наш партийный, говорил, чтобы я в партию готовился...»

Но и в этом, в отношении к мужу, она становилась похожей на мать. Там, на работе, в трамвайном парке, он, может, даже обязан работать по-стахановски, вступать в профсоюз, в партию — куда хочет, не отставать же от людей, а тут, дома, полновластная хозяйка она и поступать будет, как ей нравится, как она считает нужным для блага семьи, для дочери своей и будущих детей, поэтому лучше пусть он не мешает ей, если хочет, чтобы между ними было согласие. Так и сказала мужу, правда не так грубо, как говорила когда-то мать отцу, более деликатно, даже ласково, но с твердостью не меньшей. А Адаму такой твердости не хватало. Пьяный он еще мог замахнуться на жену, погрозить кулаком, даже поставить под глазом фонарь, но трезвый потом просил прощения, часто на коленях. Кстати, это она, Ольга, заставила его еще при жизни матери упасть на колени и поклониться, что пальцем ее никогда не тронет. Клятву свою он изредка нарушал, но знал уже, как замолить грех — стать на колени и вновь клясться. Ольге такой «шпиктакль» нравился, особенно когда Адам представлял его при ее ровесницах-соседках или при своих друзьях трамвайщиках.

Месяца за полтора до начала войны Адама взяли на военные сборы, и Ольга осталась одна с дочкой, не очень горюя: на огороде все было посеяно, посажено, ей оставалось только выносить на рынок редиску, салат, лук. Работа не тяжелая, и время теплое, дешёвотимесячную Светланку можно брать с собой; так часто и привозила в одной коляске ребенка и редиску и убеждалась, что малышка неплохо помогает в торговле: интеллигенты не пройдут мимо, чтобы не заинтересоваться хорошенькой розовощекой девочкой и ее не менее привлекательной мамашей, и покупают не торгуясь, платят, сколько скажешь, да еще, бывает, и сдачу не берут. Ольга никогда не обманывала покупателей — таково было завещание матери, — но когда кто-то сам, засмотревшись на ее глаза, становился щедрым, от копеек его не отказывалась, полагая, что интеллигентам деньги достаются даром: иной, кроме пера, тяжелее ничего в руки не берет или языком перед студентами потреплет — и ему сотни отваливают, а она всю весну лопату да мотыгу из рук не выпускала, с ребенком вынуждена на рынок ходить, за такой труд не грех и лишнюю копейку взять. Вообще самыми приятными покупателями были для нее интеллигентные мужчины, каждый из них вызывал ее интерес: что за человек? где он работает? С ними она была весела, тактична. А вот женщин, одетых интеллигентно, не любила, считала такими же бабами, как сама, и злилась на их бережливость и скупость — иная за копейку полчаса будет торговаться; всегда отвечала им грубо, на «ты», а иногда не стеснялась и послать так, что соседки по прилавку хватились за животы: «Во-Леновичиха режет! Вся в мать!»

Война Ольгу не очень испугала, даже о муже и брате она подумала не сразу. В первую очередь вспомнила материнские рассказы, что во время войны сильно дорожают продукты. Прикидывала, какую цену брать, чтобы не продешевить, когда через неделю, в следующее воскресенье, вынесет на рынок первые, из теплицы, огурчики. Уверена была, что ее огурцы обязательно будут первыми на Комаровке, только около Червенского рынка живет дед, у которого такая же теплица, покойница мать конкурировала с тем дедом, но и училась у него.

Правда, на второй день войны, когда соседки проводили в военкомат мужей и сыновей, Ольга искренне поголосила вместе с ними: Адам ее и брат Павел, лейтенант, в армии и, может быть, уже на фронте, воюют.

Сильно испугалась она, когда Минск начали бомбить, — за дочь испугалась: куда прятаться с ней? Но, понаблюдав, где падают бомбы — бомбит в первую очередь железную дорогу, штаб округа, центр города, учреждения, — рассудила, что и бомбы не так уж страшны: во дворе был хороший цементированный погреб, где на зиму прятали картошку, бочки с квашеной капустой, огурцами — для себя и на продажу, — в погребе можно пересидеть бомбежки — не будет же война тянуться полгода, до холодов.

А дня через три она чуть ли не сама лезла под бомбы — от жадности своей.

Началось с того, что мальчишки закричали на всю улицу: «На Комаровке лавки разбивают!» — и побежали туда, на рынок. За ними бросились взрослые. Естественно, услышав такое сообщение, Ольга не могла усидеть дома. Отнесла малышку к соседке, хромой тетке Мариле, и кинулась туда же, на рыночную площадь, которую окружали различные лавчонки, ларьки, лотки — торговые точки, как их называли. Но пока она добежала, уже все растащили, довершался разгром магазина хозяйственных товаров. Краснолицый, с неприятным, облупленным лицом мужчина, с которым Ольга не была знакома, но которого не один раз видела на рынке пьяным, вытянул целую гору чугушков, кастрюль, штук десять топоров, пилы, задвижки, лопаты и сторожил это добро, ожидая кого-то, кто, наверное, помог бы поднести. В самом магазине можно было подобрать разве что какую-то мелочь — недобитые лампы или тарелки. Сердясь на себя, что опоздала, проморгала более ценную добычу, и на всех тянувших отсюда, — злодеи, грабители! — Ольга кинулась к мужчине, который вывалил полмагазина. В конце концов, в этом она находила и некоторое моральное оправдание себе: ведь была воспитана так, что никогда чужого не брала, — мол, не сама крала государственное имущество, а отняла у ворюги.

— А ну, морда, поделись с людьми! — сказала она мужчине и тут же начала откладывать в сторону свою часть.

— Пошла ты!.. Не тронь!

Но она послала его еще дальше.

— Ты со мной, паразит, не заедайся. Ты ведь меня знаешь. У меня тут вся милиция своя, а тебя, я видела, милиция под ручки водила.

— Кончилась твоя милиция. Пятки подмазала. Догоняй под Москвой.

Ольгу ошеломило это и испугало больше, чем бомбы. На какое-то мгновение она смутилась и забыла о вещах, готовая отступить. Но тотчас подумала, что, если в самом деле и милиции уже нет, власти то есть, в дураках же она останется, когда из-за честности своей ворон будет ловить в то время, как другие наживаются. Со школьной скамьи знала, что все добро — народное. А раз народное, рассудила она, то, значит, и ее. Разве она не народ? Разве мало потрудились отец ее, муж, братья? Да и сама она не барыней по Минску ходила. Не отдавать же все вот такому лодырю и пьянчуге, как этот красномордый. Мародер, видно, и в самом деле хорошо знал молодую Леновичиху, потому что хотя и матерился страшно, и обещал перебить ей ноги, но вынужден был уступить какую-то часть своей странной добычи. В конце концов, десять лопат или дюжина чугушков и правда на черта ему...

Ольга отнесла этот железный клад домой и тут же, попросив соседку присмотреть за дочкой еще какое-то время, кинулась промышлять дальше. Не упустить бы момент! Она и так, кажется, уже многое проворонила, прячась от бомб в погребе.

Выбежала на Советскую улицу — только там, на центральной магистрали, можно узнать, что же творится в городе. После утренней бомбежки в центре и около вокзала полыхали пожары. Милиции и впрямь не было видно. Прошла воинская часть, какой-то полк, солдаты, усталые, запыленные, некоторые с окровавленными повязками на головах, на руках. Неужели оставляют город? Слухи о наступлении немцев ходили самые невероятные и противоречивые: одни говорили, что немцы уже под Минском, другие — что обошли Минск, заняли Борисов, а Ольгина школьная подруга, работница типографии имени Сталина Лена Боровская, горячо доказывала, что все сплетни о разгроме Красной Армии под Гродно и Барановичами распускают фашистские шпионы. Но что наши отступают, это, пожалуй, и из передач по радио можно понять: не говорят, что наши наступают — только ведут упорные бои. Откуда же идет полк? Боя за Минск не слышно, одни бомбежки беспощадные, да прошлой ночью стреляли из пистолетов и винтовок где-то на болотной станции.

Красноармейцев Ольга пожалела. И женщин, которые испуганно уходили с детьми, с узлами, своих нелюбимых покупательниц, тоже пожалела. А вот к сидевшим в трех легковых машинах, что промчались мимо, почувствовала злость.

— Драпают начальнички, — злобно сказал какой-то мужчина, стоявший рядом с Ольгой в подвезде шестизэтажного Дома коммуны, и подчеркнуто издевательски пропел: — «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим...»

Ольга засмеялась от этих слов и по-мальчишески, чего не делала со школьных лет, свистнула вслед легковушкам. Но когда этот лысоватый, хотя и нестарый еще, тип, аккуратно побритый, наодеколоненный, в чистой, вышитой васильками рубашке, почуствовав, очевидно, в ней единомышленницу, попробовал доверительно заговорить, Ольга ответила ему так, что его поблекшие глаза на лоб полезли.

Она смотрела на беженцев, некоторые — видно было по ним — шли издалека, и злость ее на тех, кто уезжал на машинах, росла. Вместе с ней, со злостью этой, росло бешеное желание, которое прежде никогда не возникало, пробуждалась какая-то дикая сила — ломать, крушить, разбивать, жечь все, что оставалось, делалось ничейным. Правда, силе этой Ольга не дала вырваться, направила ее на иное, на свое, более выгодное, — стала убеждать себя, что раз те, кто имел власть, убегают, а она никуда удирать не собирается, потому что некуда ей уходить, то хозяйка тут она и все добро принадлежит теперь ей. Уверенная, что не одна она такая умная, другие тоже не дураки, так же рассудят, кинулась искать, где и чем можно пожить. И быстро нашла. На улице Куйбышева грабили гастроном, правда, несмело еще — вырвали решетку и выставили окно со двора; молодые мужчины, среди которых она узнала одного своего, комаровского, подавали друг другу ящики с водкой и вином. Женщин, видно жителей дома, не подпускали, те хватали по бутылке из вынесенных ящиков. Но Ольга смело вошла в магазин через то же окно. Грабители, хозяйничавшие там, растерялись от такой ее смелости, хотя и глотнули уже из бутылок. Но тот, знакомый, с Комаровки, крикнул им:

— Это же Ленивичиха!

Имя как бы все разъяснило, и ее не только тут же приняли, но считали уже, пожалуй, заводилой; арестуй их в тот момент милиция, непременно все эти «смельчаки» показали бы на нее: она первая! Ольга почувствовала это, поняла и ни в какой шайке-лейке быть не желала — ненавидела пьяные морды, презирала их, считала бандитами, которым лишь бы водки наладиться. А себя оправдывала тем, что берет не для пьянства, не для забавы — кормить ребенка, кормиться самой. Иначе кто же теперь о ней позаботится, когда муж воюет, брат воюет? Впрочем, опыт коммерсантки подсказывал, что в будущем очень ценным продуктом станет именно эта мерзкая горькая, проклинаемая многими женщинами. Поэтому, как это делали и мужчины, она в первую очередь схватила ящик водки, вскинула на плечо. А в магазин через разбитую витрину уже лезли женщины, дети, и Ольга поняла, что, пока она отнесет водку домой и вернется назад, в гастрономе ничего не останется. А тут ведь и еще кое-что есть! Попробовала на другое плечо взвалить ящик рыбных консервов, но почувствовала, что два ящика не донесет. Попался на глаза неполный мешок макарон — удобней нести. Нет, мало. Конфеты! Остаются конфеты. Насовала конфет всюду, откуда они не могли высцать-

ся, даже в рукава, в рейтузы. Семь потов продила, пока дотянула все домой по июньской жаре. И сразу же бросилась назад.

В гастрономе были уже выбиты двери, но женщины расходились с пустыми руками. Ольга вбежала в магазин, не очень задумываясь, почему люди так странно ведут себя, и... увидела милиционеров. Испугалась. Вот те и нет власти! Их было двое, милиционеров. Старшина стоял перед компанией человек в пять пьяных грабителей и, сжимая в опущенной руке наган, спокойно, устало просил:

— Граждане! Прошу — разойдитесь. Буду стрелять. Ей-богу, буду стрелять...

Мужчины хотя и пьяные, а револьвера испугались, сбились в кучу, как телята, матерились, давили сапогами витринное стекло. Не выходили, видимо опасаясь поворачиваться спиной к оружию, но и не наступали агрессивно на милиционера. Но именно неуверенность хранителей порядка вновь возмутила Ольгу: ведь власть рушится, так какого дьявола два дурака разводят тут антимонии! И она бросилась вперед, закрывая собой грабителей, рванула кофточку, специальную, на кнопках, чтобы удобнее было кормить дитя, и кофточка расстегнулась, обнажив полные груди.

— На, стреляй, убивай своих, падла ты! Начальнички твои пятки подмазали, а тебя, дурака, оставили стеречь добро. Для кого? Для немцев? Для Гитлера? А не шпион ли это переодетый?

Подбодренная пьяная компания с возмущением загудела.

— А ну, поговори, поговори, зараза! Заучил одно: «Буду стрелять...» Я тебе стрельну! Маму родную забудешь!

Поблудневший старшина начал отступать ближе к дверям, которые выходили во двор, а товарищ его, так и не доставший из кобуры наган, сморщился, бросил ей с болью:

— Застегнись, дура, — и пошел на улицу.

Не обращая внимания на милиционера и на осмелевшую благодаря ее выпадку пьяную компанию, Ольга подошла к прилавку, взвалила на печи брошенный кем-то ящик с консервами да еще прихватила плетеную бутылку с растительным маслом.

Вышла уверенно и так же уверенно, твердо пошла дальше, но на улице вдруг показалось, что дуло револьвера нацелено ей в затылок. По спине заструился ледяной пот, онемели ноги. Чувствовала, что, если обернется, с ней случится что-то страшное, позорное. Как в кошмарном сне, до сознания вдруг долетели спасительные голоса женщин, на которых она почему-то боялась глянуть:

— Одним можно, другим нельзя. Одна шайка. Спекулянтка эта давно с милицией снюхалась. Ишь сиськи показывает, бесстыдница!

Оглянулась она только в безлюдном переулке. Никто за ней не шел, лишь навстречу пробежала бабка, спросила удивленно, как спрашивали до войны:

— Где дают?

Ольга опустилась на песок, села, как курица, нехорошо засмеялась. Хотела крикнуть женщине, пробежавшей мимо: «Беги, беги, старая раззява, дадут тебе фигу!» — но силы хватило только на то, чтобы с песка пересестись на ящик, закрыть его юбкой. Слова застряли, слиплись в пересохшем горле. Не сразу сообразила, почему так безлюдно вокруг, пока над головой не заревели самолеты. Они шли очень низко, черные, с желтыми крестами на крыльях, точно драконы из страшной сказки или сна. Ольга сжалась, втянула голову в плечи, с ужасом ожидая, что вот-вот посыплются бомбы. Но прятаться не побежала — бежать надо было в чужой двор. С такой добычей — в чужой двор? Перед теми, кто грабил вместе с ней, перед милиционерами стыдно не было, а вот перед людьми, которые прячутся где-то на своих огородах от бомбежки, она не могла явиться с награбленным — им же объяснять все придется. О том, чтобы бросить ящик и бутылку на улице и скрыться самой, даже и не подумала. Самолеты прошли быстро и сбросили бомбы где-то за городом, — по-видимому, на военный городок или радиостанцию.

Первые дни небо укрывали разрывы зениток, это успокаивало — их, горожан, защищают. Сейчас не отозвалась ни одна зенитка, город как бы замер. Ольга впервые почувствовала приближение чего-то страшного.

Ноша ее стала такой тяжелой, что Ольга едва дотащилась с нею домой. И сразу же схватила на руки Светлану, прижала к груди, целовала со слезами радости и умиления пухленькие щечки, ручки, ножки. Малышка весело смеялась, радуясь материнским ласкам, и на своем детском языке с десятком смешных слов, которыми овладела в год, жаловалась на бабушку за то, что та носила ее в темный и сырой погреб. А тетка Мариля, прожившая в бедности, но имевшая свои радости, поняла, почему Ольга так набросилась на ребенка, представила, что она могла пережить в магазине или под бомбежкой, — из погреба не очень разберешь, где бомбили, далеко или близко. Сказала, кивнув на консервы, то, о чем думала Ольга там, в переулке, когда над головой летели самолеты:

— Осиротишь ты ребенка из-за своей жадности. Что я буду делать с ним?

— Не пойду больше, тетка Мариля. Не пойду, — поклялась Ольга. — Пусть оно пропадет все пропадом. Такого страха натерпелась. Там дурак милиционер стрелял. — Теперь уже ей казалось, что милиционер действительно стрелял в нее. — А потом самолеты... так низко летели, что чуть за трубы не задевали. Где наши зенитки? Где наше войско?

Слух, что Леновичиха таскает в дом награбленное добро, быстро разлетелся по улице. Одни позавидовали ее проворству: «Вот баба, нигде не устареется — ни на войне, ни в пекле». Другие осудили: «Ненасытная! На войне и то нажиться хочет. Ой, вылезет ей все это боком!»

Пришла Лена Боровская, по-дружески упрекнула:

— Олька! Что это ты делаешь, дуреха? Да ты знаешь, что по военным законам за это расстрел? Во все времена за мародерство расстреливали.

Ольгу, которая только что клялась тетке Мариле и себе, что никуда больше не пойдет, пусть там хоть золото лежит, слова по-другому вдруг опять разозлили.

— Кто это меня расстреляет? Ты?

— Не я. Власть Советская. Армия.

— Где она, твоя власть? Наплевать ей на нас с тобой! Это только такие дуры, как ты, комсомолки, пели, что разобьем врага на его земле! Разбили? Дойдем до Берлина! Дошли? Армия меня расстреляет? Нет, армии не до меня! Пусть армия немцев остановит, тогда я грабить не буду! А так иди послушай: люди говорят, немцы не сегодня, так завтра Минск займут... Для кого же вы добро стережете?

— Какие люди? Шпионы? Паникеры? Кого ты слушаешь, Ольга? — Лене до слез стало обидно и страшно. Что же это происходит? Отчего столько злости у ее школьной подруги, когда-то веселой девчонки, хохотушки? С кем же она дружила? С врагами? С кулаками? Не случайно они торговлей занимались. Ишь очерилась, как тигрица, даже побелела от злости.

— Не захватят немцы Минска! Не дойдут! — закричала Лена с решительной убежденностью. — Руки короткие!

— Ох, длинные у них руки, Леночка! Да не в погреб ли ты сидишь все время? Ничего не знаешь, не слышишь, ничего не видишь...

— Да уж не бегаю магазины грабить.

— А ты меня не упрекай! Не упрекай! Я о ребенке своем думаю. Ты о нем не подумаешь! И начальники твои, которые драпают, не подумают.

Поссорились они шумно, по-бабьи. Ольга ругалась грубо, материлась, к чему Лена не привыкла, хотя и жила на Комаровке, и это ее очень обидело. Выбежав на улицу, она, как маленькая, заплакала навзрыд. Но и у Ольги было не легче на душе. Завела ее Лена, растравила свежие раны, она еще больше рассердилась, а на кого — сама не понимала: на Гитлера, на свою армию, на Лену, а может, на самое себя — за свой страх и отчаяние? Но страх постепенно отступил и вновь появились шальная смелость, азарт охотника на дикого зверя, желание рискнуть еще разок. Опять не сиделось дома, неизвестная сила, какой-то душевный протест, а может, просто жадность, за которую люди упрекали еще ее мать, тянули на улицу, на поиски брошенного добра и новостей.

Под вечер, после грозового дождя, она опять вышла за добычей. Шла, как кошка, которая знает, чувствует, что рядом собаки. И вокруг все насторожилось, даже небо, затянутое облаками и дымом от притушенных июньским дождем пожаров. Отвратительно пахло какой-то гарью, будто горел скот или склад шерсти.

И дым этот не поднимался вверх, а стлался по земле, по улицам и переулкам. Город притаился, обезлюдел, редко появлялся такой же, как она, настороженно-испуганный прохожий. Даже на Советской и Пушкинской, где никогда не останавливалось движение, где с началом войны все гудело и дрожало от танков и грузовиков, теперь не было ни машин, ни людей. Гул стоял где-то далеко за городом, на Логойском тракте, будто опять приближалась гроза. Не знала Ольга, что не на западе, не под Дзержинском или Раковом, а на севере, под Острошицким городком, шел последний тяжелый бой за Минск, бойцы и командиры сотой дивизии преграждали дорогу немецкой танковой колонне, рвавшей на Московское шоссе, чтобы замкнуть кольцо вокруг города.

Опустевшие улицы пугали Ольгу, и она готова была уже вернуться домой. Но подбодрили ее дети, мальчишки: в песчаном переулке за католическим кладбищем они сооружали на дождевом ручейке плотину, старались остановить напор быстрой воды, стекавшей с Долгобродской улицы. Дети подтверждали, что жизнь идет, не останавливается и ничто не может ее остановить — в это Ольга твердо верила. А значит, и самой нужно жить, растить дочь. Для этого необходимо иметь хлеб или на хлеб. Только подумала о хлебе — и он тут же возник перед глазами. Не воображаемый, настоящий. Двое, мужчина и женщина, тянули тачку, на ней — мешки с мукой, да не с ржаной, с белой, пшеничной: видно было по тому, как эти двое запылились, будто мельники, — так пылит только мука тонкого помола.

Ольга сразу же бросилась к ним:

— Откуда?

Они не таились, ответили просто:

— С хлебозавода. Спешим, может, захватим.

Ольга тут же забыла обо всех опасностях, какие могли подстерегать в обезлюдевшем городе, не устрашилась даже хорошо слышной артиллерийской канонады где-то со стороны Жданович.

Ворота на завод были раскрыты. В цехах с мертво застывшими печами, мешалками, конвейерами, с широко распахнутыми дверями и окнами Ольга сделала не просто страшно — жутко. Игравшие на улице дети подбодрили. А тут дохнуло самым страшным, что несла война: замерла основа жизни — остановилась выпечка хлеба. Пахло мукой, кислым тестом, печи были еще горячие, пахло хлебом, но хлеба не было, валялось только несколько буханок, кощунственно втоптаных сапогами в пыль и грязь. И нигде — ни живой души. Ольга подобрала две такие буханки, сдула с них песок, вытерла платком. Цену хлеба в свои двадцать лет она знала хорошо, хотя и не помнила, чтобы в их доме когда-нибудь не было на столе краюшки, даже в начале тридцатых годов, когда ввели карточки. Отец получал карточки на заводе, а мать добывала хлеб из травы, как она иногда шутила, вынося овощи на рынок.

С этими буханками Ольга намеревалась кинуться назад, потому что было здесь действительно жутко, среди кафельной и муч-

ной белизны, загрязненной множеством людей, видимо недавно, после дождя уже, побывавших тут. Как можно опоганить такое святое место! Но вдруг она услышала приглушенный гул толпы где-то во дворе и, подбодренная присутствием людей, побежала туда. В дальнем углу двора, около склада, стояли люди, стояли почти тихо, в очереди; склад не разговаривался — хлеб раздавали четверо мужчин, из них двое в красноармейской форме. И это как-то сразу успокоило Ольгу и даже погасило ее злость на власти, ибо двое в гражданском имели вид, стать, голоса начальников, хотя и были запылены мукой. Давали на человека мешок, не больше. Когда какой-то мужчина начал требовать больше, военный соскочил с площадки вниз и повел его в сторонку, к ограде. Люди притихли, ожидая, что того расстреляют. А Ольге хотелось кинуться на выручку. Разве можно молча смотреть, как убивают человека! Кто имеет право убивать за то, что человек попросил хлеба? Но военный вскинул винтовку на плечо и просто, даже весело, дал жадное коленкой под зад. Толпа засмеялась, видно было, что люди все больше проникались уважением и доверием к тем, кто раздавал муку. Когда подошла Ольгина очередь, она все еще держала в руках, прижимая к груди, помятые буханки, и поэтому полный начальник удивленно посмотрел с высоты на ее занятые руки и спросил:

— Донесешь?

— Кто это хлеба не донесет! — ответила Ольга.

— Это правда, — согласился он и сам ловко перекинул тяжеленный мешок на край разгрузочно-погрузочной бетонной площадки.

Ольга зажала буханки подмышкой, повернулась спиной и, схватив защитный мешок за угол, легко вскинула его на плечо. И легко пошла.

По дороге несколько человек спрашивали у нее так же, как спросила она у тех, что везли мешки на тачке: «Откуда?» Ей сказали правду, она правды никому не сказала, потому что решила вернуться назад. Чего же звонить? Чтобы туда сбежалось полгорода? Такая новость разлетится быстрее, чем по радио, быстрее воздушной тревоги. Ей захотелось, чтобы началась тревога, заревели сирены, чтобы никто-никто не вылезал из бомбоубежищ, из погребов, чтобы даже те, около склада, разбежались: тогда там могла бы остаться мука только для нее, а так растащат, живодеры, — те, с тачкой, вон целых два мешка везли. Разве не вернутся еще раз?

Мешок был все же тяжелый, не по ее женской силе. Сбросив его дома, Ольга обессиленно повалилась на кровать и несколько минут лежала неподвижно, даже к дочке не кинулась, как обычно, хотя малышка звала ее, тянулась ручками. Не видела Ольга, как тетка Марилия, глядя на нее, укоризненно качала головой, но уже ничего не говорила, поняла, что упрекать Ленивичиху — напрасно тратить слова.

Но лежать не было времени. Вскочила, бросилась к клетке. Там стояла тачка на резиновом ходу, сделанная когда-то еще отцом, чтобы матери было легче возить на рынок зелень, картошку и мясо заколотых кабанчиков. Прихватила дерюгу — накрыть добытое, чтобы не каждому бросалось в глаза, что она везет.

Проходя с тачкой мимо дома Боровских, Ольга вспомнила свою утреннюю ссору с Леной, почувствовала вину перед ней и неловкость за свою скаредность: никому из соседей про муку не сказала, а им же тоже есть хочется, у многих не по одному ребенку и отцы в армии. Рассудила, что кричать о муке на всю Комаровку — дурой надо быть, но Лене стоит сказать и таким образом помириться с подругой: пусть знает, что она, Ольга, не злопамятная, а заодно и оправдаться перед своей совестью — не одна пользовалась, другим сказала.

Забегала во двор, в дом не вошла, полезла в куст сирени, осыпавший ее буйной росой, добралась до окна. Постучала. Выглянула старая Боровская.

— Лену!

Лена вышла заплаканная, с красными глазами.

— Чего ты реवेशь? Что случилось?

— Боже мой! Ты не знаешь, что случилось!

«Вспомнила комсомолка бога», — немного злорадно подумала Ольга.

— На хлебозаводе муку раздают. Пойдем. Не лови ворон. Свои же раздают.

Лена как-то странно вздрогнула от этой новости, будто испугалась очень, и глянула так, что Ольге на миг сделалось нехорошо, какую-то виноватость почувствовала свою в этом крушении привычной для Лены жизни. Но тут же разозлилась на себя. А ее жизнь разве не рушится?

— Не пойдешь? Дура! Ну и реви о своих партиях! Они о тебе не подумают. — И даже плюнула со злости на сирень, роса на которой загорелась каплями крови в лучах вечернего солнца, вдруг пробившегося через тучи и дым.

...Канонада, грохотавшая где-то у Заславля, стихла. Только со стороны Логойска все еще слышался странный гул, приглушенно-тревожный, точно лесной пожар.

Народу на улицах стало больше, чем два часа назад, и все куда-то спешили, при этом как бы таясь друг от друга. На Горьковской мимо Ольги промчались три всадника в казацких бушлатах. Один из них развернул коня и направил прямо на нее. Она испугалась, но казак крикнул:

— На Московское шоссе не ходи! На Могилевское... на Могилевское пробивайся! — и помчался догонять товарищей.

Ольгу тронула забота красноармейца, дрогнуло сердце, задело, натруженное, сдавило горло: свои, родные отступают. Но че-

рез минуту мысли приняли другое направление: подумалось, что всадник посчитал ее беженкой. Ругала себя. Как это она раньше не додумалась пойти с тачкой? Сколько можно было взять в гастроне! Покрыть дерюжкой, запылиться... Никто бы не остановил беженку, не стал бы проверять, что в тачке.

Муку, конечно, раздали без нее. Но несколько мужчин и женщин все еще шныряли по складам, по цехам, по остывшим печам. Какая-то старуха нагребла два красных пожарных ведра прокисшего теста. Тесто Ольгу не соблазнило — на день-два поросенку, стоит ли из-за этого рисковать?

Мужчины разбили ящик с сухими дрожжами. И бросили. Дрожжи мужчин не интересовали, они не понимали их ценности. Ольга подождала, пока они разойдутся, и собрала дрожжи. Потом в углу цеха нашла соль, высыпанную из разорванных мешков, смешанную с грязью. Вспомнила: когда два года назад начался поход в Западную Белоруссию, мать ее и все комаровские в первую очередь покупали соль, мешками таскали. Соли у нее дома был порядочный запас, но все равно упорно ползала на коленках и собирала соль пригоршнями, пока не испугала ее, да и всех остальных, пулеметная очередь. Стреляли где-то близко. Уж не в Веселовке ли? Некоторые и пожитки свои бросили. Ольга не бросила. Бегом катила тачку с солью и дрожжами. Но уже у самого дома ее ограбили трое франтоватых бандитов. Хорошо одетые, в черных костюмах, даже культурно говорили, не матерились. Но когда она попробовала по-бабьи запричитывать, один показал револьвер и пригрозил:

— Молчи, а то разложим под забором. Больше потеряешь. Скажи спасибо, что времени нет.

При всей своей смелости и беспабашности она со школьных лет больше всего боялась насилия, смерти так не боялась, как позора.

Спросила примирительно:

— Да зачем же вам соль с песком да дрожжи?

— Нам все пригодится, — сказали бандиты и покатали тачку не в тихий переулочек, не во двор, а на Советскую улицу. Выходит, никого и ничего не боялись.

Произошло это, когда не совсем еще стемнело, из окон наверняка смотрели люди. Но Ольга и не надеялась, что кто-то выйдет защитить ее. Защитить мог только тот казак, который позаботился о ее пути. А что же будет ночью? Впервые подумала, как страшно, когда город и люди остаются без власти, некому будет пожаловаться, не у кого искать защиты.

На другой день она узнала, что в Минск вступили немцы. И недели не прошло, как началась война, отметила в мыслях Ольга уже без злости на армию, в которой служили муж и брат. Она не понимала, что случилось. От этого становилось страшно не только

за себя, за своего ребенка, но и за что-то значительно большее, — возможно, за всю страну или за самую жизнь. Однако чувство это было еще довольно смутным, неопределенным, осмыслить всего она не умела. Представления о происходящем в стране, на фронте, в мире были у нее примитивные, комаровские. Как обороняли Минск наши войска и как захватили город гитлеровцы, она тоже не знала. Вчера ее испугало безвластие, поэтому хотелось, чтобы какая-то власть, порядок были, хотя вместе с тем не оставляла мысль, что было бы недурно в шуме и суматохе добраться еще до какого-нибудь склада или гастронома.

От матери, от отца, от соседей — в дни ее детства это было главной темой у собравшихся посудачить комаровцев — она слышала рассказы, как в ту войну (войны империалистическая и гражданская в ее представлении сливались в одну войну) Минск занимали немцы, потом белополяки. Были насилия, издевательства, расстрелы, но из рассказов неизменно вытекало: простой народ все может пережить. Потому и теперь у нее не угасала молодая, может, даже легкомысленная вера, что она, Леновичиха, как и мать ее, со своей хваткой и изворотливостью тоже все переживет — и немцев, и черта лысого. И перехитрит всех.

Конечно, в первый день было страшно: какие они, немцы, и как ведут себя?

В жаркий июньский день комаровцы не выходили из домов или, во всяком случае, из своих крепостей — дворов и огородов, тихонько переговаривались через плетни. Выжидали. Ольга тоже не отваживалась выходить.

Немцы появились в полдень: проехали мотоциклисты в зеленых касках, с закатанными рукавами, с автоматами на шее. Ехали тихо, даже пыль не поднимали. В конце улицы прострочили из автомата. Это испугало. Но быстро через ограды дошло известие: стреляли по курам, копошившимся в песке. Новость эту комаровцы передавали друг другу весело, будто чему-то радуясь. Ольгу это тоже развеселило и успокоило. Правда, ночь потом была беспокойная, более тревожная, чем ночи перед вступлением немцев: несколько раз где-то совсем близко, тут, на Комаровке, слышалась стрельба, а под утро загорелся завод «Ударник». А ведь это рядом, и все не спали, сидели с ведрами воды, следили за головешками и искрами, боялись, что пожар может уничтожить весь их деревянный район. И не потушишь — пожарная команда не придет. Но не зря, видно, молились старики, бог был милостив и Комаровке.

Днем снова было тихо. Появилась новая власть — полицейский с черной повязкой на рукаве светлого гражданского костюма. Прошел, как на похороны. И повесил распоряжение, в котором на белорусском языке, немного странном, неестественном, немецкие власти гарантировали жителям безопасность, разные права, но приказывали сдать оружие, радиоприемники, автомашины, мотоциклы и вернуться всем на места своей работы и просто так,

будто между прочим, предупреждали: в случае неповиновения — расстрел. «Все равно что «за нарушение — штраф», — подумала Ольга, вспомнив рыночные объявления.

В другие параграфы она вчитывалась не очень внимательно, но один запомнила — давалось право на торговлю. И она решила использовать это право — не из жадности, знала, понимала: зарабатывает она в это время — как Заблочкий на мыле, — но из интереса хотела быстрее разузнать, что и как, какая она, новая власть.

Нарвала луку, редиски, салата, нарезала пионов и... пошла на рынок, правда, едва преодолевая страх, шла и ноги дрожали. Соседи, не отходившие в этот день от окон и щелей в заборах, очень удивились, когда увидели ее с корзиной зелени, с цветами. Передавали через заборы эту новость так же, как то, что немцы вступили в Минск: «Леновичиха на базар пошла!» Одни хвалили ее за смелость. Другие бранились: «Курва! К фашистам подлизаться хочет. Ишь ты, цветочки понесла! Дать бы хороших розог по толстой...» — «Таким не дают... Такие всегда, как дерьмо, наверху, при любой власти...»

Ольга пришла на рынок и... немного удивилась и разочаровалась: не она первая, на пустой рыночной площади уже было несколько человек. И что особенно удивило — не ее давние приятельницы, а люди, которые при Советах ничем не торговали, но большинство из которых были ей известны — здешние, комаровские, часто шлялись по рынку, по лавкам. Людей этих она вмиг возненавидела — и не как своих конкурентов, а как тайных врагов — за то, что тогда они сидели тихо, а сейчас вылезли первыми. Иное дело она сама — какая была, такой и осталась, как торговала в прошлое воскресенье, в день начала войны, так торгует и теперь, когда весь свет, как сказала тетка Мариля, перевернулся вверх ногами. И они, клопы эти, что повылезали из щелей, потянулись к ней, потому что признавали ее рыночный авторитет. От них она услышала: можно хорошо пожить в квартирах партийцев, убежавших из города, немцы, мол, глядят на это сквозь пальцы. Обо всем знали седенький дедок, одетый в чистенький полотняный костюм, и его не то дочь, не то невестка, худая, как щука, баба лет под сорок. Они принесли на продажу красивые цветы, у Леновичей никогда такие не росли, мать Ольги все умела выращивать, цветы же не умела.

Ольга когда-то слышала, кажется, от отца, что дедок этот из немцев. Она догадывалась, что сами они, эти обрусевшие немцы, боятся пойти шнырять по квартирам, потому и хотят подстрекнуть ее, пусть она получит немецкую пулю. Закипела против них гневом, но смолчала, понимая, что с такими лучше не заедаться теперь.

Покупателей, конечно, не было. Какому дураку придет в голову пойти на рынок в такое время! Люди по улице боятся ходить. Но Ольга все-таки дождалась тех, кого ждала со страхом и любопытством, — немцев. Их пришло сразу шестеро в незнакомой чер-

ной форме, потом Ольга узнала, что это военная жандармерия, эсэсовцы. Они сразу окружили прилавок, за которым разместились первые торговцы. Седой иконоподобный дедок заговорил по-немецки — вероятно, приветствовал их, — и подарил высокому, в фуражке с кокардой, по всему видно офицеру, цветы.

Двое подошли к Ольге. Похвалили:

— Хандаль? Гут!

Ольга через силу улыбнулась — выжимала из себя улыбку. Один немец белым платочком вытер редиску и вкусно захрустел. Другой оглядел не редиску — ее, Ольгу, оглядел оскорбительно, как цыган кобылу, которую хочет купить, кажется, вот-вот схватит за хвост и заставит оскалить зубы, чтобы посчитать года. Тот, кто хрустел редиской, снова похвалил:

— Гут!

Другой засмеялся и, наверно, сказал, что не редиска гут, а фрау гут, потому что слегка похлопал Ольгу по щеке, потом по плечу, если бы не прилавок, то, наверно, похлопал бы и ниже, по мягкому месту. О, если бы это сделал кто-то из своих, пусть хоть сам генерал, какую оплеуху он бы заработал! Ольга могла пошутить, бывало, на вечеринках разрешала знакомому парню обнять себя, за что Адам не однажды ревновал. Но чтобы кто-то ее хлопнул, как кобылицу по крупу... Ну, нет!

Подошел офицер и сказал что-то строгое, потому что солдат положил редиску назад и отступил. За офицером подбежал иконный дедок. Перевел:

— Господин офицер хотел бы, чтобы добрая пани подарила ему цветы.

— Господин офицер может купить, господин богатый, а пани бедная, ей детей кормить надо, — серьезно, без улыбки, сказала Ольга.

Дедок вылупил глаза, не сразу отваживаясь перевести ее слова. Но офицер так глянул на фольксдойча, что тот понял: приказывают переводить точно. Офицеру, видимо, показалось, что молодая русская сказала что-то оскорбительное для великой Германии или фюрера. Дедок перевел, и офицер весело засмеялся. Потом сказал что-то солдатам. И тогда тот, кто грыз редиску, сгреб и редиску, и лук, а второй, кто трепал по щеке, — цветы.

«Ну и гады, злодеи, разбойники!» — подумала Ольга, но решила смолчать, утешившись тем, что хотя они и грабители, но не такие страшные, как говорили про них в первые дни войны, жить можно.

Впрочем, офицер не торопясь достал кошелек и дал ей бумажку — чужие деньги.

Дедок будто на небо взлетел, кажется, даже нимб засиял вокруг его головы.

— Господин офицер щедро заплатил пани. Пани должна благодарить.

— Спасибо, — коротко сказала Ольга.

Это «спасибо» старик перевел, может, двадцатью словами, льстиво заглядывая офицеру в глаза.

Когда гитлеровцы пошли, он сказал с восторгом:

— Вот они, немцы! Культура!

«В чем же эта культура? — подумала Ольга. — Пошел ты, старая падла!» Но хлестнуть сильным словом этого прихвостня, как хлестала таких раньше, побоялась.

По дороге домой бумажка в десять оккупационных марок — совсем мизерная плата, как она узнала потом, — жгла ладонь; за пазуху, куда всегда клала деньги, ее не положила, это было бы как прикосновение к ее груди лапы чужого солдата. Хотелось швырнуть бумажку, втоптать в песок или в засохшую после позавчерашнего дождя грязь. Но, воспитанная в бережливости, сдержалась: теперь это деньги, их нужно знать, к ним нужно привыкнуть. Однако весь тот день на душе было погано от этой первой встречи с оккупантами, от своей, казалось, удачной торговли, будто продала не лук, а совесть. Не покидало чувство, что кого-то или что-то предала, но ясно определить это чувство не умела. Поэтому злилась. От злости она всегда, еще с детства, делалась отчаянной, бешеной. Вспомнила слова дедка, что можно пожить в опустевших квартирах, и не столько из жадности, сколько из непонятного протеста решила рискнуть еще раз.

Первую вылазку совершила в дом, где жили офицеры штаба округа, рассудив, что семьи военных наверняка уехали. В доме, видно было, похозяйничали до нее, но и она еще навтыгивала из комодов немало постельного белья, детской одежды, вилок, ложек — ничем не брезговала.

Выходя из квартиры на третьем этаже, встретила на лестнице немцев, четырех немолодых уже тыловинов, видимо квартирмейстеров, — они заглядывали в квартиры, осматривали их, о чем-то спорили друг с другом.

Ольга обомлела. Вот, влипла так влипла, с первого раза, будь он проклят, тот дед, что подстрекнул. Вспомнила слова Лены Боровской: за мародерство во всех армиях расстреливают. А что им? Шлепнут тут же — и все, кто их осудит, никто даже не узнает, где она погибла. И никто не пожалеет — сама полезла. Правда, паспорт она взяла с собой на всякий случай, долго думала, брать или не брать советский паспорт, и решила, что иметь документ, который свидетельствует, что она минчанка, излишне. Стояла, боялась пошевелиться, ждала, когда немцы дойдут до нее. Подготовила паспорт. Себя не жалела, про себя думала безжалостно: «Так тебе, дуре, и надо!» Свету жалела. Куда ее денут? Казимир добрый, не бросит. Но несчастной будет сирота, которой придется жить у Анюты, у их невестки, — неприязнь к ней осталась в наследство от матери.

Немцы поднялись выше, один что-то спросил у нее по-немецки. Она заморгала глазами, закивала головой. Немцы засмеялись и, обойдя ее, вошли в квартиру, из которой она только что вышла.

Даже не посмотрели, что у нее в узле: наверное, подумали, что она здешняя жиличка и выселяется, а это им и нужно — очистить дом от жильцов. Как бы там ни было, но от встречи такой, от безнаказанности Ольга совсем осмелела. Тянула все, что попадалось под руку. Висел приказ сдать радиоприемники, а она с Революционной улицы, чуть ли не через весь город, принесла завернутый в простыню радиоприемник домой.

С такими же, как она, рискованными личностями облазила разбомбленные дома. В одном дворе взрывом бомбы перевернуло машину, в кабине остался убитый шофер. Они и машину эту «почистили», нашли в кузове советские деньги и почтовые марки. Труп уже начал разлагаться, в такую жару это недолго, но Ольга усмотрела на нем новенькую кобуру и тайком от остальных «чистильщиков» обрезала ее и спрятала в узел, завернув в кусок сукна. Понимала, что если немцы осмотрят ее добычу, — а уже случалось, что осматривали, — и найдут советский пистолет, мало ей не будет. Но удержаться от искушения не могла. Возможно, не столько револьвер ее привлекал, сколько желтенькая кобура, дочь кожевника знала цену хорошей коже. А может, жило в ней что-то озорное, мальчишеское: а почему бы не взять такую игрушку?! Ни один из комаровских парней не прошел бы мимо, а у нее же всегда была мальчишеская удаль. Или подсознательно рождалось что-то более серьезное: а вдруг в той неизвестности, что ждет впереди, понадобится и пистолет?

Прекратила она свои вылазки после того, как в руинах большого дома на Комсомольской немцы обстреляли их из автоматов. Без всякого предупреждения. Компаньонка по поискам добычи, немолодая женщина со Сторожевки, вскрикнула и ткнулась головой в щбенку. Ольга скатилась по ступенькам лестницы, как неживая, разбила голову, пообдирала колени. На животе, будто раненая кошка, выползла из того злосчастного дома.

Вот они какие, немцы! Могут не обратить внимания, когда ты тянешь на плечах приемник, и могут начать стрелять просто так, для забавы, что ли. Кстати, в тот день было ей уже одно предупреждение: на ее глазах на Немиге застрелили старого еврея. Одетый в замусоленный скюртук, он шел с новеньким кожаным чемоданом, который очень уж не подходил к его внешности, к его бедности. Двое гитлеровцев в черной форме подошли к еврею, один взял его за бороду, ничего не сказав, достал пистолет и выстрелил старику в... шею, в кадык. Ольга увидела, как брызнула кровь, и чуть не потеряла сознание. Конечно, после того случая нужно было к дьяволу бросить все тряпки — ведь в тот день они и вправду подбирали одно тряпье, ничего хорошего уже не осталось, — бросить и бежать домой, к Светке, и жить как Лена Боровская, как другие соседи: никуда не выходить, ждать... Но по-обывательски рассудила: то был еврей, немцы не любят евреев, а она белоруска и ничего плохого не делала — будто знала, что тот старик сделал что-то плохое.

— Драники! Драники! Горячие драники!¹ — кричала Ольга, хлопая в ладоши и пританцовывая от холода.

Но в тот день и на такое лакомство, как горячие оладьи, не особенно бросались, не так, как раньше, когда на рынке начали торговать едой, которую можно было тут же съесть. Голод, лучший экономист, подсказывал тем, у кого было что продать, как это сделать выгоднее всего. При Советах вареным и жареным не торговали — нужды не было. Кто бы это стал есть на рынке? Разве что пьяница какой-нибудь. Правда, Ольге рассказывала мать, что при напе тут, на рынке, стояли жаровни, на них жарились колбаса, верещака², пеклись блинцы... Но тогда напманы просто искали, чем привлечь покупателей. Теперь же, в оккупации, такая торговля от голодухи. Ольга одна из первых сообразила, что нужно людям, которые бродили по рынку и даже на кочан капусты смотрели голодными глазами. Если бы кто-то упрекнул ее, что она обирает голодных, она бы плюнула тому в глаза. Нет, она помогает людям, пусть скажут спасибо, что ей удалось и картофеля накопать, и муклой запастись, и маслом. В конце концов, продать это все можно, не выходя из дому, теперь любые продукты с руками оторвут, спасибо скажут. А она печет эти драники, сама же и дрова покупает тут, на рынке, а потом стоит на холоде, дубенеет. Ей не приходило в голову, что без торговли она уже не может жить, что торговля стала для нее потребностью, главной целью существования. В натуре всех примитивных людей — искать своим поступкам благородные оправдания: одни их объясняют большой политикой, своей верой в национальные, расовые, религиозные идеи, другие — желанием помочь ближним не умереть с голоду, кормить детей и так далее.

То, что не бросались на драники, не хватало их, Ольгу не очень беспокоило: не пропадет ее товар, продаст, голод, как говорится, не тетка.

На рынке в тот день было пусто. Сильно похолодало. Захолодало рано — середина октября всего, в прошлые годы в такое время еще сверкало золотом бабье лето. А тут, как назло тем, кто сейчас где-то в окопах, уже три ночи здорово подмораживало. Но позавчера и вчера еще пригревало скуное осеннее солнце, а сегодня по небу летели тяжелые, темные снежные тучи, раза два сыпалась снежная крупа, потом тучи разорвало, подул порывистый ветер, поднимая на рынке песок, засыпая глаза. Было неуютно, грустно и тревожно. Рынок опустел, наверное, и по другой причине: вчера была облава, некоторых подозрительных схватили полиция и гестапо. Облава Ольге не понравилась. Если они и дальше начнут превращать рынок в ловушку, то какой дурак будет ходить

¹ Драники — картофельные оладьи.

² Верещака — национальное белорусское блюдо.

сюда и что тогда останется от свободной торговли, которую новая власть декларировала... За себя она не боялась, у нее были знакомые и в полиции, и даже среди немцев, — легко заводить знакомства, если есть чем угостить, сами липнут, как мухи на мед.

Подошел высокий мужчина с аккуратно подстриженными усами, одетый немного странно — в старой, помятой шляпе и в новом кожаном, красном, расшитом желтыми нитками. Вид его Ольгу не удивил: теперь многие так одеваются — половина убранства городского, половина деревенского. Но на кожанок она позарилась — подумала, что расшивка на нем женская, зачем мужчине такие галуны, ей бы они больше подошли.

- Почем драники, красавица?
- Три марки за пару.
- Ого, кусаются же они у тебя!
- Так их же кусать можно, потому и они кусаются.
- А ты веселая.
- А чего мне бедовать?
- И правда, зачем нам бедовать, когда можно торговать?

Он почти пропел эти слова, и тон его обидел Ольгу. Но она научилась молчать. А то еще нарвешься на какого-нибудь агента гестапо. Обиду высказала осторожно:

— Стань на мое место, покалей тут... А картошку — иди купи ее, привези в город...

Мужчина засмеялся.

- Возьми меня в примак, буду снабженцем.
- Много вас набивается в примак. У меня муж есть.
- Не везет, — причмокнул он.
- Так давать драники?
- Не заработал я на них.
- Продай дубленку.
- А сам в чем пойду? Зима наступает.
- Я тебе шинель дам. Кило сала. Литр самогонки. И накормлю от пуза.

Он весело свистнул. С иронией сказал:

- Неплохая цена.
- Разве мало даю?
- Да нет, щедро. Но шинель мне пока не нужна. — Он нахмурился и распрощался: — Будь здорова, торговка.

Слова этого «торговка» Ольга не любила. Сама торговля не оскорбляла, работа не хуже любой другой, так считала ее мать, так и она считает, а слово обижало — при большевиках оно звучало ругательством.

Подошел знакомый полицейский — Федор Друтька.

«Появился нахлебничек, нигде без вас не обойдется», — подумала Ольга, но без злости, потому что Друтьку этого считала человеком: не нахал, не хапуга, ласковый, добрый, а главное — молодой и красивый. Ольга не любила стариков. Но и к ласковости Друтькиной относилась осторожно.

— Не замерзла?

— Не-ет...

— Кровь у тебя кипит. А я околел, пальцы не могу разогнуть. Откуда он, такой холод? Рано же еще.

Ольга незаметно вздохнула: знала, чего ждет полицейский, когда жалуется на холод. Нагнулась над прилавком, не вынимая бутылку из корзины, накрытой платком, налила в кружку, протянула Друтьке. Тот как-то стыдливо оглянулся, но соседки-торговки отвернулись: они, мол, не видят, у кого угощается пан полицейский. А пан очень быстро, с-размаху, выплеснул полкружки вонючей самогонки в пасты. И застыл, будто прислушиваясь к сигналу далекой тревоги, потом весело крикнул:

— Вот когда, падла, дошла до жилочек! Огонь! Пламя!

Ольга перед этим подумала: «Жри, чтоб тебе внутренности сожгло!» — но от похвалы засмеялась, ведь скупой она никогда не была, угостить человека ей всегда было приятно.

Развернула старое одеяло, достала из кастрюли вилкой два драника и опять подумала: «На, живоглот, закуси».

Полицай захихнул в рот сразу два драника, проглотил не жуя. Похвалил:

— Вкусное у тебя все, Ольга. Хорошая ты хозяйка. Бери меня в примак.

Ольга весело крикнула соседке:

— Слышала, тетка Стефа? Еще один примак! Вот везет мне! — и повернулась к полицаю: — Тут перед тобой, посмотрел бы, какой пан напрашивался в примак. Ого! Мужчина — во! А какой кожанок на нем. Чудо!

Друтька нахмурился.

— Из панов не бери. Из нас, мужиков, выбирай.

— О чем это вы болтаете? У нее муж есть, — защитила Ольгу соседка.

— Где он, ее муж? — Самогонка ударила в голову, и Друтька, сразу побагровев, угодливо улыбнулся: хотелось еще выпить, и он немного потоптался перед Ольгой, но вымогать не стал, пошел искать других, кто платил дань такой же жидкой натурой.

— Вот новадились, как татары, — сказала Стефа, когда полицай отошел.

Через некоторое время они, четыре опытные торговки, стали обсуждать размеры взяток, которые следовало давать полицаям и немецкому патрулю, — кому сколько, чтобы была одна норма, одна тактика.

В разговоре Ольга не заметила, как перед ее прилавком появилась Лена Боровская, или просто не сразу узнала подружку, когда та подходила, не обратила внимания. С того времени, как поссорились в начале войны, они не разговаривали и видели друг друга издали.

Лена была в стареньком пальто, слишком легком для такой погоды, голова обернута клетчатым, как плед, платком, теплым, но

старомодным, такие платки разве что еще до революции носили. Правда, теперь, в оккупаций, никакая одежда не удивляла, из сундуков вынималось все старье — старые шубы, куртки, сарафаны, армяки, поневы, их носили, торговали ими, выменивали на продукты. Но Лену платок этот очень старил, она выглядела в нем пожилой женщиной. Ольга даже растерялась, когда наконец узнала ее, отметила про себя: Лена очень похудела, лицо вытянулось, пожелтело, нос удлинился, а под когда-то красивыми голубыми глазами легли черные тени, точно после болезни. Из гордости Ольга глядела на Лену молча — ожидала, чтобы она, Лена, поздоровалась первая.

Лена не сказала «здравствуй», но улыбнулась посиневшими губами по-дружески примирительно и, съевшись, пожаловалась:

— Х-холодно...

Этого было достаточно, Ольге стало жалко подругу, хотя семью их осудила: «Дураки они, эти Боровские. Как дети. Все же дома — и старик, и мать, и братья. И ничего не умеют сделать, чтобы не голодать».

— Драника хочешь? — неожиданно для себя спросила Ольга.

— Хочу, — просто ответила Лена.

Откусывала она маленькими кусочками, согревая теплым драником руки и смакуя его, как самое дорогое лакомство. Глаза ее, как бы потухшие, застывшие, бесцветные, сразу ожили, приветливо улыбнулись, и в них засветилась прежняя голубизна. Ольга тоже оттаивала, радовалась, что школьная подруга после долгой ссоры пришла к ней первая и так хорошо улыбается.

— Дать еще драник?

— Если не жалко.

— Тебе не жалею.

— Не боишься, что сама останешься без картошки?

— Не боюсь.

— Запасливая ты.

— Да уж, ворон не ловила. — Это был явный упрек им, Боровским, но то ли Лена не поняла, то ли решила не обращать внимания на такой упрек, или, может, голод привел к мысли, что жить нужно иначе. Во всяком случае, Ольге все больше и больше нравилось, что Лена такая кроткая, покорная, без гонора своего комсомольского, который она часто проявляла и в школе, и работая в типографии, и особенно в начале войны.

— Домой не собираешься? — спросила Лена, доев вторую пару драников уже торопясь, не так, как первую.

Ольга догадалась, что Лена хочет что-то сказать, о чем тут, на рынке, говорить не отваживается.

— А правда, какая торговля в такой холод! — И, удивив соседок, поставила завернутую в одеяло кастрюлю в корзину, вскинула ее на плечо. Лене сунула клеенчатую сумку с самогонкой и свеклой.

Друтька, которому не удалось больше ни у кого поживиться,

увидев, что Ольга уходит, разочарованно раскрыл рот и какое-то время шел следом.

Может, потому, что увидели за собой полиция, хотя и на значительном расстоянии, или потому, что грязь за день оттаяла и нужно было идти гуськом, след в след, наступая на одни и те же кирпичи и кладки, чтобы не попасть в лужи, они долго шли молча. Когда вышли на свою, более сухую, песчаную улицу, пошли рядом, не сговариваясь, обернулись: полиция отстал, у него еще оставалось немного совести, чтобы не идти за вторым стаканом самогонки в дом.

Ольга спросила:

— Что ты делаешь, Лена?

— Работаю.

— Где?

— В типографии.

— В немецкой? — очень удивилась Ольга.

— Нужно же как-то жить.

— Вот это правда! — Ольга чуть не крикнула от радости. —

Нужно как-то жить. А ты меня упрекала.

Лена смолчала, не напоминая, за что она упрекала подругу и за что могла бы и сейчас осудить. Но неожиданно попросила:

— Слушай, заведи одного человека из лагеря в Дроздах.

— Как же я заведу его?

— Как мужа. Женщины забирают мужей...

Ольга знала: некоторые минчанки и жительницы пригородных деревень выкупили и своих мужей, если кому-то из них посчастливилось очутиться тут, близко от дома, и чужих. Ольга тоже ходила в Дрозды, в Слепянку, ездила в Борисов — искала своего Адама. За хороший выкуп немцы отдадут пленных красноармейцев, комиссаров не отдадут.

— У меня есть муж. Что скажут соседи?

— Ты только выкупи его да выведи из лагеря, а там уже не твоя забота.

— Ага, чтобы охрана подстрелила? Было ведь уже, говорят, такое, что начали стрелять в баб. Положишь голову неизвестно за кого.

Лена остановилась, схватила Ольгу за ладканы пальто, глаза ее горели, щеки болезненно румянились.

— Ольга, это очень нужный человек.

— Кому нужный? Тебе? Так ты и забирай.

— Народу... народу нужный, — странно, как бы захлебываясь, прошептала Лена.

— О милая моя! — легко засмеялась Ольга. — Что мне думать о народе! Народ обо мне не думает.

Лена рывком притянула ее к себе и горячо зашептала в лицо:

— Ольга! Нельзя так... Нельзя... не думать о народе. Когда-нибудь у нас спросят... дети наши спросят... что мы сделали, чтобы освободиться от нечисти этой... Ты хочешь, чтобы твоя Света вы-

росла в рабстве? И вырастет ли вообще!.. Ты еще не узнала, что такое фашизм!

— Если я буду жива, то вырастет и моя дочь. А если ты меня втянешь в партизаны и меня повесят, как тех, в сквере, то о ребенке моем никто не подумает. Никто!

— Я тебя не втягиваю в партизаны. Я тебя прошу спасти человека.

— На хрена мне твой человек!

— Эх, Ольга, Ольга! — легонько отпихнув Ольгу, с печалью и разочарованием сказала Лена, повернулась и побежала с середины улицы ближе к заборам, будто испугалась или искала убежища от чужих глаз.

«Ну и пошла ты...» — в первый момент хотелось крикнуть Ольге и добавить базарное слово. Но Лена уходила медленно, маленькая, сгорбленная, как старушка, в старомодном платке. И Ольге вдруг до слез стало жаль ее. И себя. И еще о дружбе с Леной пожалела, почувствовала, что если сейчас крикнет так, то разойдутся они тогда навсегда, на всю жизнь врагами станут. А врагов хватает чужих.

Но не только это остановило. Было много другого. Поднялась целая буря чувств, самых противоречивых. Целый день потом, хозяйничая в доме, она старалась навести порядок в душе своей, в сердце... Действительно, разве пришельцы в зеленых и черных мундирах, с чужим языком друзья ей? Зачем же еще и своим становиться врагами? Хватит этой гадости — полицаи будто звери. Не к полицаям же ей, Ольге, тянуться, хотя и вынуждена иногда угощать их. А к кому, к кому тянуться? К таким, как Лена? Но очень уж похоже на то, что эта одержимая комсомолка связана с диверсантами, с партизанами, которые действуют тут, в городе, о которых шепчутся люди, а немцы вывешивают приказы, грозят всем, кто бандитов поддержит, смертью, и уже повесили несколько человек в сквере около Дома Красной Армии, виноватых или невиновных — неизвестно, может, просто для устрашения. Нет, с Леной ей не по пути. Но вместе с тем люди, такие, как вся семья Боровских, которые живут в голоде и холоде, но не склоняют головы перед врагами, впервые как-то совсем иначе, не по-обыкновенно, чтобы пережить им косточки с соседками на рынке, заинтересовали Ольгу, более того — она почувствовала к ним уважение, и от этого самой сделалось страшно. Если о них с уважением думать, то и полюбить их можно, восхищаться ими и пойти за ними, на смерть пойти. Лучше было поссориться с Леной, пусть бы немного поскребли кошки на душе, но зато потом она жила бы спокойно, не признавая никаких Боровских, и ничего бы не боялась. В конце концов, и при немцах жить можно, если не быть дураком, торговле даже больший простор, чем при Советах. Можно свою лавчонку иметь, о чем, между прочим, она мечтала, ради чего собирала марки: не нужно будет тогда колотиться на рынке от холода и страха, сиди себе в тепле, отмеривай и отвешивай товар,

на который получишь разрешение, а к тебе с уважением будут: «Пани Леновичиха...»

Нет, в ту ночь не уважение к таким, как Лена, не восхищение ими определили ее решение. Иное. Ольга думала о том, что все чаще и чаще к ней заглядывают полицаи и, подвыпив, липнут со своими мерзкими ласками. От полицаев она пока что отбивалась: кому вынуждена была подарить поцелуй, как надежду на большее, лишь бы сейчас отцепился, а кому оплеуху и тумака — не лезь в чужое. Но вот вместе с полицаями стали заходить немцы и тоже посматривают, как коты на сало. А эти гады не будут переμονяться, надругаются на глазах у ребенка, у старой Марили, в душу наплюют, ославят на весь город. Этого она боялась, как смерти. Так почему бы ей не взять в дом мужчину? Взяли же некоторые бабы, а ведь у них мужья, как и у нее, на войне. При мужчине, да еще если он назовется мужем, не отважатся приставать. Адам? Что ж, если он вернется (боже мой, когда это может случиться?!), она покается... Хотя, возможно, и каяться не нужно будет. Нет сомнения, что Лена имеет задание спасти не лишь бы кого, а наверняка командира или комиссара, коммуниста, видимо уже немолодого человека. Такой, даже живя с ней в одном доме, никогда не станет посягать на ее женскую честь. А если уж случится грех — сама она не выстоит, — то пусть это будет с одним, со своим человеком, по-доброму, по согласию. Что это будет за человек, чем займется на воле — об этом не думала, далеко не заглядывала.

Фашисты не скрывали лагеря военнопленных, умышленно, для устрашения, конечно, устраивали их на видных местах, рядом с шоссе, железными дорогами. Дулаг в Дрездах был основан в первые же дни оккупации в каких-нибудь двух километрах от города, рядом с деревней Дрозды — на противоположном, левом берегу Свислочи, между двумя холмами. На одном, как на кладбище, росли сосны, другой был голый, словно бубен. С холмов этих, со сторожевых вышек на них, хорошо просматривалась вся окрестность, на пустом осеннем поле был виден каждый человек.

Лена Боровская не раз уже ходила в этот лагерь, знала, откуда, с какой стороны, подпускают к колючей проволоке, даже имела знакомых охранников, если считать знакомством то, что несколько немцев уже знали молодую женщину, настойчиво искавшую брата, потому что, говорят, брата ее видели тут. Они, немцы, были в определенном смысле доверчивы — верили, что она ищет брата, — но посмеивались над такой наивностью: брат ее, конечно, мог быть здесь, но совершенно естественно, что он давно уже, видимо, лежит в общей могиле, где таких тысячи и где его никто не найдет — ни сестра, ни мать, ни суд истории.

Ольга и Лена шли полевой тропинкой в стороне от гравийки. Тропинка эта была протоптана горожанами и подводила к тыловой ограде лагеря — к тем «воротам», через которые женщины

узнавали своих. Здесь они подходили к колючей проволоке, и здесь же разрешали собираться пленным. Отсюда реже отгоняли, чем от настоящих ворот, что у самого шоссе. Так охрана, видимо, скрывала торговлю пленными от начальства. Но и в нарушении инструкций немцы любили порядок: тут, около проволоки, узнавай своих, а договариваться, обойдя далеко по полю, иди к проходной.

Охрана не любила, чтобы ходили вдоль ограды, — по таким нередко стреляли без предупреждения или науськивали овчарок. Минчанки об этом знали — знали все неписанные правила. Мужчикам вообще было опасно к лагерю подходить, к ним фашисты относились особенно подозрительно.

После сухих холодных дней, когда мороз по-зимнему сковал землю, снова наступила грязная осень, земля оттаяла. Шел дождь попеременно со снегом. Было ветрено. Сильный ветер бил в лицо, мокрый снег залеплял глаза, набивался под платки, за воротники. Женщины, прикрываясь от ветра, от снега, шли по тропинке одна за другой. Лена — впереди. Не разговаривали. Да и о чем было говорить? Все обговорили вчера у Лены. Тогда Ольга была возбуждена, пожалуй, даже обрадована своим неожиданным дерзким решением. Само такое решение — взять в дом человека, «нужного народу», — как бы очищало ее от всей скверны, что прилипала ежедневно в ее коммерции, не обходившейся без обмана, без взяток полициям и немцам. Но снег, дождь и ветер остудили те хорошие, теплые вчерашние чувства. Ольга шла раздраженная, обозленная на свою глупость: зачем согласилась? На Лену — навязалась на ее голову! Разве мало баб в городе? Пусть бы попросила кого-то другого! Еще при выходе из Минска, за Сторожевкой, где патруль довольно придирчиво проверил их документы — советские паспорта с допиской и штампом городской управы, — Ольга сказала Лене:

— Ох, вижу, тянешь ты меня в омут.

Зная характер подруги, ее изменчивое настроение, Лена испугалась, начала просить:

— Олечка, человека же от смерти спасем. Разве из-за этого не стоит помучиться? Ты же в бога веришь. Иисус Христос за людей мучился и нам наказывал.

— Ты же в бога не веришь.

— И я верю, Олечка, верю. Теперь все верят, — на все соглашалась Лена, лишь бы умиливать подругу, не дать ей передумать и повернуть назад, не совершив доброго дела.

По скользкой тропке женщины вышли на пригорок. Им предстояло перейти ложбину и на косогоре, где росли редкие сосны, подойти к тем условным воротам, к колючей проволоке, куда охрана с выгодой для себя подпускала женщин поискать среди пленных близких. Сквозь снежную завесу они увидели, что в ложбине работает множество людей, — белые как привидения фигуры, казалось, не ходили, а плавали в воздухе, и нельзя было издали по-

нять, что они делают. Но ближе, у подножия того пригорка, на котором они остановились, очень ясно вырисовывались черные, будто снег сразу таял на них, фигуры с автоматами и такие же черные собаки, огромные, с настороженными ушами — эти уши слышат человека за версту.

Женщин заметили. Сразу двое навели на них автоматы. Но, кажется, не стреляли, только пугали, потому что ни Лена, ни Ольга выстрелов не услышали. Пригнувшись, они бросились бежать уже не по тропке, а по полю, увязая в мягкой почве, будто так легче было спастись. Вначале им казалось, что сзади, запылавшись, лают овчарки, как хакают гончие, когда гонят зайца. Да, наверное, то свистел ветер и стучали их сердца.

Потом Ольга не могла себе объяснить, почему они не побежали назад, к городу, в сторону реки. Может, потому, что в пойме реки росли кусты, стояли голые вербы, а на той стороне стояли дома, жили люди. Нет, желания за что-то спрятаться или добежать к людям у нее не было. Просто она побежала за Леной. А та, одержимая, возможно, схитрила: знала ведь, чувствовала, что если приблизятся к городу, то Ольгу назад уже не вернуть, не уговорить. Ольга и так, почувствовав себя в безопасности (вокруг царил тишина, и снова посыпал густой мокрый снег, за сотню шагов ничего не было видно), сказала настойчиво и даже зло:

— Ты, дорогая подружка, как хочешь, ты птица вольная, а я буду спасать себя, у меня ребенок остался.

Но Лена так просила за того незнакомого человека, как за отца родного, со слезами на глазах, что Ольга вновь согласилась выйти на дорогу, где ходят люди и машины, и подойти к центральным воротам, куда приходили все, кто не знал условных ворот.

Ольга успокоилась, увидев, что они не одни тут: за баракom, которого не было в августе, толпились с десятком женщин. А на той стороне, за проволокой, стояли сотни две пленных, страшных призраков, завернутых в шинели, рваные ватники, одеяла, мешки. Они стояли в трех шагах от проволоки, и никто не отваживался переступить эту узкую полосу, никто не мог дотянуться до женщин, чтобы взять кусок хлеба или картофелину. На страшной полосе этой лежали двое мертвых. На спине у одного, на белой от снега гимнастерке — ничего более теплого на несчастном не было, — алела свежая кровь. Его убили недавно. Может, оттого некоторые женщины испуганно отступали от проволоки и незаметно исчезали.

Переступая через мертвых, будто это были не трупы, а бревна, спокойно, казалось равнодушный ко всему, что здесь происходит, ходил немец, поднимая воротник зеленой шинели и опустив наушники папки на уши. Руки его в перчатках небрежно лежали на автомате. Он как бы прогуливался, хотя на самом деле внимательно следил за каждым движением пленных и женщин. Передавать ничего нельзя было — за это смерть, — а договариваться можно. Очень может быть, что охранник понимал по-русски. А если не

знал языка караульный, то наверняка находился агент среди пленных. Возможно, не только ради того, чтобы нескольких человек выгодно продать действительным женам, матерям или тем, кто назовет себя женой или сестрой, но и ради того, чтобы иметь определенную информацию и показать населению, как много взято пленных и в кого превращаются бойцы Красной Армии, какими послушными делаются они под дулами немецких автоматов, пустить в народ самые невероятные слухи, коменданты дугагов и шталагов не запрещали пока странные свидания пленных с женщинами.

Ольгу очень поразила неподвижная стена призраков — только по блеску глаз, лихорадочных, горячих, было видно, что люди эти еще живые. В августе, когда она наведлась сюда впервые, пленные были иные: голодные, обессиленные, раненные, они бросались на проволоку, вырывали из женских рук любую еду, кричали, стояли, плакали, матерились, проклинали немцев, бога, черта...

А эти молчали, говорили только их глаза.

Не сразу Ольга разглядела, что за стеною живых и в стороне от них по всей лагерной площади, побеленной снегом, лежали люди. Сначала она подумала: «Почему им приказали лежать?» Но потом заметила, что на руках, на непокрытых головах тех, лежащих, не тает снег, они давно остыли. Скорее всего их убил неожиданно сильный мороз в прошлые ночи, дождь и снег в эту сегодняшнюю ночь. В той части лагеря, куда они с Леной хотели вначале подойти, работали тысячи людей — распирали лагерь, строили бараки. Там же стояли грузовики, и такие же призраки, что и неподвижно стоявшие здесь, сносили к машинам засыпанные снегом трупы.

Ольгу, которая не боялась ни крови, ни мертвых, охватил такой ужас, что на короткое время она будто потеряла сознание. Во всяком случае, какой-то миг ничего не видела, не слышала. Только перед глазами плыла муть, не снежная, не белая — кроваво-красная и зеленая.

А потом... потом страстно захотелось обязательно спасти хотя бы одного из этих несчастных. Если бы в тот миг ей сказали, что для спасения любого из них она должна пожертвовать своей жизнью, она и на это согласилась бы.

Лена кинулась к колючей проволоке, закричала пленным:

— Авсюк! Есть Авсюк? Позовите, пожалуйста. К нему пришла жена! Жена! Господин начальник! Фрау! Жена! Адам!

Караульный, казалось, не слышал ничего, не обращал внимания, но, когда Лена схватилась за проводку, он наставил на нее автомат и коротко, будто дал очередь, сказал:

— Цурюк!

Только тогда, когда Лена крикнула: «Адам!», до Ольги дошло, что та зовет ее мужа, что Лена без ее согласия так договорилась с пленным, заранее решив, что заберет его как мужа она, Ольга, и никто другой. Потому и просила ее так настойчиво. Такая хит-

рость Лены в другом месте, наверное, возмутила бы, но здесь волновало другое, и теперь уже хотелось, чтобы Лена нашла того человека.

Пленные молчали. Это были новички, не знавшие никого из старожилов и вообще не освоившие еще тайных лагерных законов, лагерной солидарности. Никто даже не поспешил, чтобы пойти искать Авсюка.

Лена двинулась вдоль проволоки и уже называла другую фамилию — Харитонов, возможно, настоящую фамилию того человека, в отчаянии со слезами просила, чтобы кто-нибудь искал Владимира Харитонова.

А Ольга, приблизившись к самой оgrade, смотрела на двоих. Они стояли шагах в трех от нее, такие же неподвижные, как все, и очень не похожие друг на друга, хотя обычно пленные становились похожими, как братья. Высокий, немолодой с виду, лет под тридцать, мужчина, заросший черной бородой, смотрел с надеждой, с мольбой, с жадностью голодного и с верой, что он один имеет право на жизнь, на спасение. Сосед его, ниже ростом, очень худой, был совсем молодой юноша, у него и борода еще не росла, а потому пожелтевшее лицо просто светилось. И глаза странно горели, голубые, издали было видно — голубые. Смотрел он без надежды, но с каким-то радостным, детским интересом, будто увидел, неожиданно открыл совсем иной мир, иных людей, каких никогда и не мечтал увидеть, и это дало ему величайшую радость перед смертью. Он надсадно закашлялся, отчего в глазах его засверкали слезы, а щеки болезненно заалели. Кашляя, он прикрывал рот ладонью, будто находился в утонченном женском обществе, в хорошей компании и стыдился своей слабости, потом поправлял закрученную на шее черную обмотку так, как, наверное, поправлял когда-то красивый шарфик. После того как он закашлялся, как бы стесняясь при этом, Ольга смотрела только на него, другого не видела.

— Женщина, возьми меня, я все умею делать, я столяр, слесарь, сапожник, — глухим, простуженным голосом попросил бородатый, когда караульный отошел в сторону.

Но Ольга уже знала, что взять она может только молодого, который кашляет и весь светится, как святые мощи, и который, без условно, еще одной ночи в этом холодном аду не проживет. Она попросила его глазами: «Скажи что-нибудь, хотя бы одно слово». Он сказал:

— Меня не бери. Я ничего делать не умею.

Тогда она закричала, будто опомнившись, закричала так, что охранник, до этого неторопливо-спокойный, стремительно повернулся к ней:

— Адасть! Адасть! Роденький мой! Что же с тобой сделалось? Беденький мой! А тебя же доченька дома ждет! — и показала караульному так, как учила ее Лена: — Пан! Пан! Муж! Муж!

Прибежала Лена, бродившая вдоль ограды. Увидела, что Ольга

показывает на совсем постороннего человека, непонимающе, удивленно, испуганно и даже сердито посмотрела на подругу: зачем она ломает их план?

Юноша растерялся, даже отступил, будто хотел спрятаться за спины других. Да его выручил бородатый — начал тормозить, как сонного, бить по плечу, отчего тот болезненно передергивался.

— Радуйся! Черт! Адасть! Авсюк! Счастливчик!

А к Ольге моментально вернулись ее обычная энергия, проворство, изворотливость, смелость — все, чем она славилась среди комаровских торгов. Не обращая внимания на растерянную Лену, она начала тут же действовать так, как учила ее подруга. Подбежала к проходной, позвала начальника.

Вышел немец, говоривший по-русски с польским акцентом. Она объяснила, что нашла своего мужа и просит отпустить его домой, совала свой паспорт, показывала штамп загса о браке.

— Комиссар?

— Что вы, пан начальник, какой он комиссар! Четыре класса окончил. Трамвай водил.

Потом подумала, что о том, где работал Адасть, не стоило говорить: ведь если спросят у того несчастного, он об этом не скажет, не сможет сказать и раскроет ложь, сам себя загубит и ее подведет. И она принялась твердить, что муж ее на заводе работал простым рабочим. Почему-то была уверена, что тот парнишка городской, а если городской, то уж наверное работал на заводе. Со слезами рассказывала, что родители ее умерли перед самой войной и она осталась одна с маленьким ребенком. Заголосила:

— Кто же ее кормить будет, мою сиротиночку?

Немец слушал терпеливо, внимательно, напряженно всматривался в ее лицо, стремясь, видимо, понять, правду женщина говорит или лжет. Выслушал и заключил:

— Нельзя. Он воевал против немецкой армии и должен понести наказание.

— Да разве же он по своей воле? Погнали его. Сталин погнал!

Она наслушалась на рынке, где гремели громкоговорители, фашистской пропаганды и знала, чем можно завоевать у гитлеровцев расположение. Но на охранника, который ежедневно видел тысячи смертей и, конечно, сам убивал или отсылал людей на смерть, ничего не действовало. Или он просто набивал цену, потому что на корзинку ее, покрытую рушником, посматривал без интереса. Когда он повернулся, чтобы уйти, Ольга вдруг упала перед ним на колени и заголосила громко, по-бабьи, как голоса по умершему. Это, возможно, произвело впечатление. Охранник повел ее в барак. В комнате, в которой горела чугунная печь и было душно, представил Ольгу толстому начальнику, по-военному коротко доложив о ее просьбе. Потом уже не по-военному, по-свойски, они что-то обсуждали и смеялись, будто забыв о ней.

Ольга ждала со страхом, стоя на пороге. Страх ее перешел в ужас, когда толстый, повернувшись к ней, расстегнул ремень

и с силой френч, оставшись в одной коричневой рубашке, которую широкие подтяжки прижимали к большим, как у бабы, грудям.

Лихорадочно проносились мысли, кружились и не находили выхода. Отбиваться — смерть неминуемая, это не полиция, которым можно было дать тумака или туманное обещание. Неужели нужно пережить страшное насилие, чтобы спасти человека? А как отступить? Как спасти себя?

В рот будто ваты сухой напихали, и она никак не могла проглотить эту вату. Печь чадила, от духоты и чада кружилась голова. Подумалось, что хорошо было бы потерять сознание, — может, это остановило бы насильников или во всяком случае она бы ничего не видела, не чувствовала. Зажмурила глаза, готовая упасть на пол. Но страшного не случилось, судьба была милостива к ней. Она услышала знакомые уже слова: «Вас ист гир?» — и открыла глаза.

Фашист стоял перед ней и толстым пальцем показывал на корзинку. Обрадованная, Ольга наклонилась, отвернула рушник и выхватила бутылку водки, взболтнув, показала наклейку:

— «Московская»!

— О, «Московская»! — Толстый схватил бутылку, подбежал к тому, что говорил по-русски, и долго что-то весело разъяснял ему, поворачивая бутылку и повторяя то «Москау», то «Московски» — почти чисто по-русски.

А Ольга, осмелев, подошла к забрызганному чернилами, некрашеному столу и начала выкладывать из корзинки сало, колбасу, сыр, блинчики, которые утром напекла из пшеничной муки.

Толстый, как кот, обошел вокруг стола, осмотрел принесенное, плотнобно облизнулся, но тут же сморщился и покрутил головой.

— Мало, — сказал переводчик.

Ольга полезла за пазуху, достала платочек, зубами развязала узелок и протянула два золотых червонца, царские.

У немца загорелись глаза. Схватив золото, кинулся к френчу, который висел на спинке стула, достал из кармана очки, долго и уже молча, без смеха и слов, принялся рассматривать червонцы. Потом повернулся к переводчику и крикнул что-то, как будто ругнулся.

— Мало, — снова сказал тот.

«Чтоб вас разорвало, гады вы не насытны, бога у вас нет, мучаете людей, да еще хотите заработать на этом», — подумала Ольга и развела руками: мол, больше ничего нет.

— Мало, — повторил переводчик почти с угрозой.

Ольга поняла, как здорово они напрактиковались зарабатывать на людях. Но торговаться и она умела, знала многие, самые тонкие, секреты торгового дела. Задумалась, что еще она может предложить. Вспомнила и «обрадовалась» — подмигнула толстяку. Сдвинула платок, отцепила из ушей серьги, золотые. Такие она не носила не только теперь, при немцах, но и раньше, до войны, в праздники изредка надевала. Но на рынке она узнала немецкую

жадность, их торговую хитрость и потому захватила серьги, посветовавшись с Леной, на тот случай, если потребуют большей платы: вот, мол, последнее отдаю, с ушей снимаю.

Толстый фашист сразу спрятал серьги туда же, куда и червонцы, — в нагрудный карман, застегнул пуговицу и прижал карман подтяжкой, чтобы грудью ощущать золото. На этом успокоился — поверил, что больше ничего ценного у женщины нет. Но потребовал документ. Ольга дала паспорт.

Переводчик переписал из паспорта в книгу ее фамилию, имя, спросил имя мужа, заглянул на ту страничку, где стояли советский и немецкий штампы о прописке. Тем временем толстый взял корзину и начал складывать в нее выложенные на стол продукты.

«Не нужно им сало и блинцы, им только золото подавай», — подумала Ольга и порадовалась, что хотя бы что-то останется, продукты сейчас дороже золота, а ее уже немного скребнула обычная ее жадность: слишком дорого пришлось заплатить неизвестно за кого, даже не за того человека, который так нужен Лене. Почему этот мальчик так бросился в глаза? Почему так разбередил душу? Куда она денет его? Того где-то устроила бы Лена. А этого не заберет. Зачем ей, Лене, такой доходяга, дитя безусое? Лене и ее друзьям, конечно, нужен был какой-то командир или комиссар, может большой большевистский начальник.

Но Ольга тут же отогнала все сомнения. Лена будет недовольна? Ну и пусть. Сама наделала хлопот. Не было бы больших...

Нет, немец не вернул ей продукты. Он забрал все — и корзину, и ружье, спрятал за шкаф. Ольге даже весело сделалось от такой алчности толстого паразита. Она вдруг почувствовала, насколько она лучше их, этих пришельцев, кричавших во все горло о своем превосходстве над другими народами. Покойницу мать и ее, Ольгу, некоторые соседи, знакомые, в том числе Боровские, обвиняли в жадности. Старый Боровский когда-то сказал: «Леновичиха за копейку в церкви пукнет». Но тут Ольга подумала, что ее жадность по сравнению со скаредностью этих ненасытных ублюдков, зарабатывающих на крови и смерти, — мелочь, безвредная человеческая слабость, и ей сделалось особенно хорошо от своего поступка. Зачем теперь думать о том, что будет завтра? Важно, что она сделала доброе сегодня — не пожалела ни продуктов, ни золота и ничего не побоялась, чтобы спасти человека. Действительно, такой поступок как бы очистил ее душу, возвысил над той грязью, в которой она ежедневно копошилась, к которой привыкла в борьбе за сытую жизнь.

Теперь она разве только одного боялась — что, забрав выкуп, охранники не отдадут пленного; от фашистов можно всего ожидать.

Отдали. Через полчаса переводчик вывел парня из того же барака и пихнул в спину так, что бедняга упал в грязь, ей под ноги. Разозлился, что ли, что жертва вырывается на волю? Или мало досталось ему платы за проданного?

Ольга опустилась перед пленным на колени, вытерла ему лицо уголком платка и поцеловала в горячие губы. Парень и вправду был болен, его палил жар. Он уткнулся лицом в ее плечо и заплакал глухо, судорожно.

— Не нужно, родненький мой, не нужно, — зашептала ему Ольга. — Быстрее пойдем отсюда! Быстрее!

Ему самому хотелось скорее уйти из этого жуткого лагеря, где — он это знал, чувствовал — смерть ожидала его, обессиленного, больного, в одну из ближайших морозных ночей, может, даже в самую ближайшую. Поэтому он вскочил с земли с проворством здорового человека. Но осторожная и хитрая Ольга не дала ему побежать. Она взяла его под руку и повела по грязной, разбитой грузовиками дороге. Однако, отойдя так, что бараки и колючая проволока скрылись за пригорком, не выдержали оба — свернули с дороги, по которой могли идти... не люди, фашисты, и побежали по вязкому полю, по низине, не понимая, что рисковали гораздо больше — по ним мог ударить пулемет с вышки. Но в тот миг рассудительная Ольга забыла обо всем, в том числе и о том, что все равно придется выходить на дорожку, идти через песты и на городских улицах встретить их, немцев, несчетное количество. Но тех, в городе, она так не боялась. На рынке, например, она вообще не боялась немцев, больше обирали свои — полиция, с немцами она научилась договариваться, законы их охраняли ее, торговку, комиссариатку.

Сил у парня хватило ненадолго, он споткнулся. Когда Ольга бросилась помочь, попросил виновато, как-то очень интеллигентно:

— Простите. Позвольте посидеть, — и так глянул своими огромными голубыми глазами, что у Ольги сердце сжалось. «Как он просит «позвольте»... Дорогой ты мой, кто тебе может не позволить, когда у тебя действительно не хватает сил...»

— Вот там стожок, солома лежала, — сказала Ольга и помогла ему встать на ноги, обняв за плечи, привела к запорошенному снегом подстою.

Садясь на мокрую солому, он снова виновато разъяснил:

— Дышать тяжело, знаете ли. Не хватает воздуха. — И грустно унынулся. — В таком просторе человеку не хватает воздуха. Парадокс.

Последнего слова Ольга не поняла — ученое какое-то слово. Вообще ее странно смущала его интеллигентность. Подумала: как обращаться к этому парнишке — на «вы» или на «ты»? Хотелось как-то сразу упростить отношения, тогда они быстрее поняли бы друг друга, для такого упрощения у нее было проверенное средство — грубая шутка. Но как, над чем можно пошутить тут?

Парень сидел на снегу, снег таял под ним, а он будто и не чувствовал сырости. В обычных условиях можно было пошутить над этим. Но подумала, что, промокший до костей, больной, в горячке, он действительно уже не чувствует ни сырости, ни холода — ниче-

— го. От этого и самой сделалось нестерпимо забюко, хотя перед этим и нагрелась, пока бежала.

Обессиленный юноша закрыл глаза, — кажется, засыпал, потому что покачивался. Ольга испугалась, что он может умереть тут, в поле, только что вырвавшись из пекла.

— Давно ты у них?

— А-а? — Он вздрогнул испуганно, но моментально пришел в себя. — Нет, тут недавно, всего четвертый день. Хотя вы не можете представить, что такое эти дни. Меня взяли в плен три недели назад. Под Вязьмой. Всю нашу редакцию. Мы попали в окружение. Василий Петрович застрелился. А мы... я... не смог, знаете, не хватило духу... Трус! Ненавижу себя за это. Очень хотелось жить... Я... я ведь молодой. Я... я не имел права так жить! Вы не представляете, что я пережил за эти три недели... Это невозможно рассказать.

Слово «редакция» еще больше смутило Ольгу, но то, что рассказывает он складно, не бредит, порадовало: нет, не умрет, только бы добраться до дому, а там она его обогреет и откормит.

— Как зовут тебя?

— Меня? — Его, кажется, испугал такой вопрос, он задумался, как бы вспоминая свое имя; это тоже насторожило Ольгу: не плохо ли у него с головой? — Алесь... Саша. Мама называла Саней, а в школе — Шурой. Но вы можете называть Алесем. А фамилия Шпак. — По непонятной самому причине он не сказал своей настоящей фамилии — Гопанюк — может, потому, что не любил ее, сказал поэтический псевдоним, который в плену, наоборот, скрывал.

— Ты здешний?

— Как вы понимаете здешний? — И снова будто испугался, горячие глаза внимательно следили за Ольгой.

— Алесь — это по-белорусски. И выговор у тебя наш.

— Я с Полесья.

Ольга усмехнулась.

— Везет мне: муж мой тоже с Полесья. На фронте где-то.

Парня немного смутило, что женщина так сказала о муже и о нем — «везет». В чем везет? Но то, что муж ее фронтовик, в какой-то степени и сближало их. Может, поэтому он спросил:

— У вас нет хлеба? Если бы я съел хлеба... знаете... я окреп бы.

Ольга провела застывшими руками по карманам пальто. Ничего не было. Как она могла забыть, что заберет из лагеря изголодавшегося человека? Что он может подумать о ней? Почему-то стало вдруг очень важно, чтобы он не подумал о ней плохо. Она объяснила:

— Все забрали фашисты проклятые. Как волки. Продукты прямо с корзиной забрали, все до крошки. И золото...

От слова «золото» глаза у юноши расширились. А Ольга уже не могла сдержаться, у нее была своя логика, своя мера ценностей и, главное, свой, базарный язык:

— Я за тебя золотом заплатила. Думаешь, так отдали бы? Ого! Держи карман шире! Такие живоглоты! На всем заработать умеют!

Парень страшно смутился, даже глаза потухли. Или, может, неудобно было ему смотреть на эту женщину, заплатившую за него, такого ничтожного, жалкого, золотом?

— Зачем? — прошептал он.

— Что зачем? — не поняла Ольга.

— Зачем я вам? Я ничего не умею делать.

— Научись! — уверенно заключила Ольга. — Были бы руки да голова. Есть захочешь — всему научишься.

Ольга плюнула бы тому в глаза, кто сказал бы ей, что словами своими она заставляет юношу страдать не меньше, чем от холода и голода. А между тем это было так. К физическим мукам он привык, понимал их неизбежность — сам же писал о зверствах фашистов — и готов был к смерти, другого выхода не видел. Но чтобы его продали за золото молодой красивой женщине — о таком и не снилось, и подумать не мог ни сам он и никто в армейской редакции. Да там, на фронте, и сказать было нельзя, что гитлеровцы продают пленных женщинам. Правда, тут, в лагере, он узнал: случается изредка, что пленного отдают жене, матери, но у него жены не было, а мать далеко. О том же, что могут человека продать чужой женщине, никто не говорил. Безусловно, любой пленный посчитал бы за счастье такое спасение. Он поначалу тоже очень обрадовался. Но теперь от того, что услышал, радость померкла, появились новые душевные муки: его, знавшего еще совсем недавно только один плен — своих возвышенных мечтаний, теперь продают, как невольника, раба. Чего доброго, патрицианка эта может и перепродать его с выгодой для себя.

Неизвестно, как пошел разговор дальше, если бы их не нашла Лена. Прибежала, запыхавшись, и тут же набросилась на Ольгу:

— Посадила человека на мерзлую землю! Сама небось не села. Пусть бы нагрела место своей толстой... — Лена, всегда отличавшаяся деликатностью, не постеснялась при незнакомом парне сказать такие грубые слова. Она подняла пленного с земли, отчего тот снова-таки очень смутился.

Ольга понимала, из-за чего Лена злится, и не обиделась на ее упреки, даже засмеялась, кротко попросила:

— Не злись, Леночка. Не было же того. А этот так понравился мне! Ты посмотри, какой он, — краснеет от каждого слова, как девочка!

Лена, не слушая Ольгу, не отвечая ей, взяла пленного под руку и повела в сторону города, на знакомую ей тропинку. Ольге не понравилось, что Лена так бесцеремонно захватила освобожденного, будто это она выкупила его, появилось знакомое чувство собственности: «Моего не трожь!» Но она понимала, что глупо ссориться с Леной в присутствии этого парня, почему-то при нем ей захотелось быть доброй, душевно красивой.

— Ты хотя бы накормила человека? — все еще сурово спросила Лена.

— Так все же забрали, гады. С корзинкой. С рушником.

Тогда Лена остановилась и достала из-за пазухи теплую краюшку хлеба и луковицу.

Алесь, забыв о только что пережитых душевных муках, выхватил из ее рук хлеб и тут же жадно вгрызся белыми зубами в корку. Глотал не жуя.

— Ешь луковицу, — сказала Лена, — в ней витаминов много.

Откусил лук, и из глаз его посыпались крупные слезы. Они принимали, что не только от лука эти слезы, от лука так не плачут. А ему, наверное, было легче думать, что слезы от луковицы, он пытался даже улыбнуться освободительницам. Но они старались не смотреть на него, как он ест: известно — ест голодный человек не всегда красиво.

Лена тяжело вздохнула.

Ольга, упрекая себя, думала с новой ревностью, что Лена проявила большую практичность — не забыла, что освобожденного нужно накормить, иначе можно не довести, не близко от Дроздов до Комаровки.

Запыхавшись от еды, как от тяжелой работы, Алесь спросил у Лены:

— Ты искала кого-то другого?

Лена кивнула.

— Утром расстреляли шестерых. Перед строем. Они хотели убежать... как будто...

Ольгу снова ревниво задело, что они так, сразу, сошлись, Лена и он, этот выкупленный ею парнишка, что с Леной он, интеллигентик, сразу на «ты», как с давней знакомой.

III

Ольга вошла в дом и на кухне застучала смерзшимися сапогами о пол, обивая снег, подышала на окоченевшие руки. Не открывая двери в комнату (услышала, что к ним притопала Светка и звала маму, — не простудить бы ребенка!), сказала громко, чтобы услышал жилец:

— Настоящая зима. Это же надо — так рано. Как на горе...

— Кому на горе? — спросил Алесь и позвал малышку: — Светик, иди сюда, а то там зюзя, Дед Мороз отморозит пальчик.

Но девочка барабанила кулачками в двери и требовала:

— Дай, дай! — что означало: «Дай маму!»

Ольга притихла, застыла с поднятыми руками, развязывая платок, прислушалась. Ей показалось, что голос парня послышался не с того места, где надлежало быть больному, — не из спальни ее родителей с их широкой деревянной, занимавшей половину тесной комнатки, кровати, а где-то ближе, сразу за дверью, в зале, где топала Светка.

Ольга сбросила холодное пальто, осторожно приоткрыла две-

ри в зал и не подхватила, как обычно, Светку на руки, потому что очень удивилась. Действительно, больной стоял перед зеркалом большого, красного дерева, шкафа и брился.

Его военную гимнастерку, рваную, грязную, она обдала кипятком, чтобы убить вшей, выстирала, выутюжила, пока он лежал без сознания, и без его разрешения продала на толкучке, рассудив, что военное ему теперь не нужно, более того — ходить в нем по городу опасно, выбросить же жалко, у нее ничего не пропадало зря. Когда больной пошел на поправку, Ольга дала ему одежду мужа, но при ней Сапа еще ни разу не одевался.

А сейчас он стоял перед зеркалом в желтых башмаках, в черных мужниных брюках, в белой сорочке, великоватой ему, потому казалось, что там, под сорочкой, нет тела, один воздух. Да и вообще весь он как бы просвечивался и излучал сияние — сорочкой, смертельно бледным лицом, белыми волосами. Если бы не старая, отцовская бритва в его руке, Ольге, немного набожной, могло бы показаться, что в образе спасенного ею человека бестелесный ангел. Не сразу она сообразила, что такой неземной вид у него не только оттого, что исхудал, совсем высох, бедненький, но и от света, дававшего из окон через тюлевые гардины. Ночью выпал снег, и сильно подморозило. Неожиданная зима в начале ноября. Снег покрыл землю, осеннюю черноту ее. Ольге с самого утра казалось, что снег прикрыл всю грязь, весь ужас, какой сотворили на земле люди. Поэтому такой ангельский вид у жертвы этого ужаса.

Алесь смущенно и виновато улыбнулся ей:

— Прости, я взял бритву без разрешения... твоего. — Он говорил ей уже «ты», но каждый раз как бы конфузился при этом.

Ольга сразу взволновалась, встревожилась, как только увидела его на ногах:

— Зачем ты встал? Нельзя же тебе еще. Такой слабенький — мог бы потерять сознание, упасть... с бритвой... А тут ребенок...

— Да нет, ничего, как видишь, стою. Вначале голова кружилась.

— Не ложится тебе...

— Праздник же сегодня, Ольга Михайловна.

— Какой праздник?

— Как какой? — удивился и как-то странно опешил и растерялся парень. — Великого Октября... — Ему даже представить было трудно, что кто-то из советских людей мог забыть об этом празднике, где бы он ни встречал его — на фронте, в оккупации, в лагере пленных. И его страшно потрясло, когда Ольга равнодушно протянула: «А-а...» — и занялась малышкой, подхватила на руки, вытерла ей носик подолом юбочки.

Не заметила Ольга, каким он сразу стал, опустив руку с бритвой, бледный, внезапно обессиленный, и впрямь мог упасть — кровь ударила в голову, зашумело в ушах. Нет, у него хватило силы положить бритву на стол, рядом с блюдцем, где помазком

вспенивал малюсенький кусочек мыла. Прозрачно-бледные, впалые щеки загорелись болезненным огнем — не пунцовым, фиолетовым каким-то.

— Нелзя так, Ольга, нелзя!

А она уже и забыла, о чем речь, и не поняла сразу:

— Что нелзя?

Алесь шагнул к ней, поднял руку, будто замахиваясь на нее, но только мягко и ласково дотронулся до ребенка.

— Нелзя забывать о том, что для нас самое дорогое. О празднике нашем самом великом и... обо всем, за что воевали наши отцы... Нелзя! За это отдали жизнь лучшие люди рабочего класса... Ленин... Что у нас тогда останется? За что будем воевать с фашизмом? С чем пойдем в бой?.. Что останется ей, если мы обо всем этом забудем? — Протянул он руку к девочке, а той показалось, что он зовет ее к себе, и она потянулась к нему, согласна была пойти от матери...

Ольга застыла, ошеломленная его словами. Она слышала подобные слова, но никто и никогда не говорил их так, как он, этот больной юноша, так горячо, так страстно. Чаше слова такие говорили с трибун, по радио, а он говорил их ей одной, и его даже лихорадило, даже загорелся весь, и голос дрожал от слез. Услышала она в его словах и другое: он бросал ей упрек за жизнь ее такую, за торговлю. Упрек звучал во много раз повторенном: «Нелзя так». Что нелзя? А что можно? На минуту Ольга разозлилась: вот он как отблагодарил за то, что она сделала для него! Ах ты, козявка! Хотелось ударить словами: «Пошел ты, недоносок! Почему же тебя твои лучшие люди не спасали? Почему они драпанули, народ в беде оставили?»

Но он продолжал говорить все так же горячо. Нет, он не упрекал ее, он просил, молил понять, что так нелзя, нелзя склонять голову и ждать, когда тебе на шею наденут ярмо, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, так сказала Долорес Ибаррури. Ольга вспомнила, она слышала эти слова, когда еще училась в школе, когда фашисты напали на испанский народ... Хотя их часто повторяли, тогда они не трогали ее, а сейчас, услышанные из уст человека, который едва выкарабкался, едва спасся от смерти, как-то непривычно, по-новому взволновали. Безусловно, фашисты звери, жить под их гнетом все время она тоже не согласна. Чтобы Светку ее, когда вырастет, повезли на чужбину невольницей, надели хомут... О нет! Но пусть их разобьет наша армия, без армии никто ничего не сделает, думала она.

Слова Алесевы взволновали еще и потому, что горячность довела его до изнеможения и он пошатнулся, наверное, упал бы, если бы она не подхватила.

С ребенком в одной руке, обняв его другой, повела в боковую.

— Ох, горечью мое! Говорила же, что не надо было подниматься. Видишь, снова жар. Сколько там того тела, нечему и гореть,

Алесь послушно прилег на кровать и посмотрел на нее уже другими глазами, виноватыми, попросил:

— Простите, — снова на «вы».

Ольга привыкла к его извинениям, но, пожалуй, ни одно не смутило ее так, как это.

Не зная, что ответить, спросила шутя:

— Побриться-то успел?

Алесь утомленно прикрыл веки.

— А я думала, что ты и не бреешься еще. Потому и не предлагала бритвы. Казалось, ничего же не растет. Так, рыженький пушок. А побрился — и правда похорошел. Хоть жени тебя.

Но глаза у него потухли. Не до шуток ему было. Ольга каждый раз пугалась, когда после возбуждения, лихорадочного блеска глаза у него вот так угасали, как у неживого.

Ольга разула его, он не сопротивлялся.

— Штаны помочь снять?

— Нет, нет... что вы! Я сам.

Ольга помнила, как страшно он сконфузился, когда очнулся и понял, что столько дней она ухаживала за ним, как ухаживает санитарка в больнице за тяжелобольным. Такая юношеская стеснительность умиляла Ольгу, она снисходительно разрешила, как маленькому:

— Ну хорошо, полежи так. Отдохни. Я накрою тебя одеялом. Не так тепло у нас, чтобы лежать в одной сорочке после такого воспаления... Я тебе Адасев свитер дам, раз ты уже поднимаешься.

То обстоятельство, что парень этот в первый же день на воле серьезно заболел (безусловно, он был и раньше болен, только держался в лагере из последних сил: ведь там свалиться — смерть), в чем-то помогло и Ольге, и ему, как говорится, не было бы добра, да беда помогла. Такой больной паренек (под одеялом — совершенный подросток), четыре дня не приходивший в сознание, незаметно и как-то естественно прижился у нее. Полидай, заглянувший в тот день за калымом — за стаканом самогонки, — возможно, увидел у постели больного смерть, дежурившую там неотлучно, потому и не стал расспрашивать, удовлетворился коротким объяснением: «Родственник приехал из деревни и заболел. Боюсь, как бы не тиф». Услышав о тифе, Друтька не задержался в доме.

Соседи, правда, втайне шептались, что Леновичиха подобрала красноармейца, умиравшего уже и потому выброшенного немцами из лагеря — бери, кто хочешь (люди еще верили хотя бы в крошечную человечность фашистов), — и теперь выхаживает смертельно больного человека, как собственное дитя.

Одни не сразу верили этому, другие удивлялись, третьи похвалили, сказав, что давно замечали: душевные качества у Ольги не материнские, отцовские, в него пошла, а старый кожевник Ленович прожил свою жизнь честно, коммерцией и плутнями не занимался и всегда старался помочь людям. Во всяком случае, Оль-

гин поступок был оценен высоко, он в каком-то смысле реабилитировал ее в глазах тех, кто тихонько бросал ей вслед, когда она шла нагруженная узлами, на рынок: «Торговка! Немецкая шлюха!»

Впрочем, приведи она в дом здорового мужчину, еще неизвестно, что могли сказать и подумать, скорее всего вряд ли поверили бы в спасение пленного из патристических побуждений. А тут поверили — ведь тетка Мариля рассказывала, в каком состоянии парень и как Ольга лечит его.

Стыдно было Ольге думать об этом, но действительно получалось так, что Алесева болезнь помогала ей, потому, наверное, и рождалась необычная привязанность к нему, своеобразная благодарность. Все так хорошо складывалось, будто он приносил счастье. Другу она сказала про родственника просто так — от неожиданного появления полиция, можно сказать со страху, побоялась признаться, что взяла человека из лагеря. Рассказала об этом Лене, а та через два дня принесла справочку на имя Александра Леновича, уроженца Случчины, что он будто лежал в больнице с очень непонятной болезнью, написанной по-латыни. Теперь Ольге необходимо было объявить, что это и впрямь ее родственник, что лечился он в гражданской больнице, но с наступлением морозов там оказалось так холодно, что парень в довершение к своей болезни схватил крупозное воспаление легких. Такой диагноз поставил доктор, которого Лена приводила, — воспаление и сильная дистрофия.

Другу спросил на рынке:

— Как твой родственник? Выздоровел?

— Не выздоровел, но, слава богу, не тиф, воспаление.

Полиция, целых трое, в тот же день прицепились за угощением. Посмотрели на Алесю, который уже очнулся, но от слабости едва мог слово выговорить, подбодрили:

— Ничего, будешь жив. Поправляйся. В полицию возьмем. Люди нам нужны.

Ольга от радости угостила их щедро. Подвыпили, но с лапами не лезли, стыдно все же им, паразитам, при больном человеке нахальничать, тетки Мариля не стыдились, а больного постыдились. И это тоже понравилось Ольге и добавило еще крупинку чего-то доброго к больному — благодарности, симпатии.

Удивили его горячность в разговоре о празднике и обида, что она забыла о таком празднике, самом великом, самом дорогом для него. Удивили и взволновали.

Впрочем, удивляет он не впервые. Несколько дней назад, когда немного оправился, во всяком случае глаза стали нормальными, не с того света смотрели на нее, Ольга спросила у него мимоходом, как спрашивают у всех больных, когда замечают, что они поправляются:

— Может, тебе еще что-нибудь надо? Говори, не стесняйся, Саша.

Больной на минуту задумался.

— Книги. Есть у тебя книги?

— Книги?

Она очень удивилась. Сразу не поверила даже, чтобы у человека, который едва выкарабкался из небытия, первой потребностью стали книги.

Книг у Ольги не было, одно евангелие материнское осталось, но эту книгу она предложить не посмела, чувствовала — обидится парень, комсомолец же, конечно. Были в доме школьные учебники, журналы советские, она сожгла их в печке, подальше от греха, а то еще, чего доброго, прицепятся немцы, прятать же не стала, хватает более ценных вещей, которые пришлось закапывать темными ночами в огороде и делать для них тайники в погребках. Не до книг было, что для нее книги!

Между прочим, Алесь ничего не сказал, но по глазам увидела, удивился, что в доме нет ни одной книги. Ольгу даже немного обидело это его удивление: подумаешь, счастье — книги!

— Какие тебе книги нужны? — спросила она.

— Хорошо было бы поэзию. Классику. Пушкина. Лермонтова. За классику не бойся.

О желании его Ольга сказала Лене. И снова ее задело за живое, что Лене это нисколько не поразило, будто она знала наперед, что может понадобиться такому парню.

Через день или два Лена принесла книгу — толстый томик в самодельной, из желтого картона, обложке, на ней химическим карандашом было написано: «Александр Блок».

Ольга не слышала раньше о таком писателе.

— Немец, что ли? — спросила она у Лены.

— Да нет, нап, русский. Но символист, — ответила Боровская.

Ольга вспомнила, что, кажется, в восьмом классе учитель литературы, сам поэт, что-то рассказывал им про каких-то символистов, но прошло так много времени, случилось так много событий в жизни, что она все забыла, для нее это пустой звук — символисты, реалисты.

Алесь спал, когда Лена приходила. Ольга потом, вечером, с некоторой даже торжественностью, как подарок имениннику, поднесла ему книгу.

Обложка, возможно, его немного смутила. Но развернул книгу — и будто встретился с давним своим другом, засиял весь.

— Блок! Боже мой! Блок! Дореволюционное издание... Спасибо вам!

Ольге была приятна такая его радость, и она не призналась, что книгу принесла Лена Боровская, пусть думает, что не кто иной, сама она выбрала как раз то, что ему нравится, что и она не какая-нибудь безграмотная торговка, а знаток книг.

А потом он удивил ее еще больше. Дня три назад. Когда сильно уже подморозило, прибежала она с рынка, окоченев от холода, чтобы накормить дочку и больного. Марилю теперь не приглашала,

чтобы лишнее не платить; хотя Алесь и лежал еще, но уже мог оставаться вместо няньки, играл с малышкой, которая сама влезала к нему на кровать, и у него хватало силы переодеть ее в сухие штанишки.

В тот день Ольга продавала свеклу. Остатки, которые не успела продать, поручила соседке — была у торговков, как в каждом цехе, своя солидарность и взаимовыручка. Но все равно приходилось спешить: на рынке остались корзины, мешки, их нужно забрать, ноябрьский день короткий, скоро полиция начнет всех разгонять, а соседка по рынку живет на другой улице, далеко.

Алесь ел сам, сидя в кровати, под спину ему Ольга подсунула подушку, чтобы легче было сидеть.

Ольга второпях накормила дочь и подсвинка, которого прятала в хлеву, за штабелями наколотых дров, и за которого очень боялась: если немцы не ограбят (из-за кабанчика она улещивала и немцев, и полицаев), то свои могут украсть, голодных в городе тьма.

Заглянула в родительскую спальню, чтобы забрать тарелку, и увидела, — забыв о еде, Алесь читал. Упрёкнула:

— А ты уже читаешь?

Он посмотрел на нее влажными глазами и вдруг попросил:

— Посиди со мной минутку. Я читаю тебе стихи. Послушай, какая это красота.

— Не до стихов мне, — отмахнулась она.

— Нельзя же жить... — Ольга догадалась, что он хотел сказать, но не сказал, поправился: — Нельзя же весь день на ногах. Я не представляю, когда ты отдыхаешь. Даже ешь стоя.

Такая неожиданная его просьба, и забота о ней, и то, что он впервые заговорил с ней просто, без вымученного «ты», как всегда обращался к Лене, сразу необычно, тревожно и радостно, взволновали Ольгу. Она послушно села на кровать у его ног, по-крестьянски положила огрубевшие от работы, красные от холода руки на колени.

Сначала он читал стихи о любви, не по порядку, выбирал их из разных мест книги.

Для кого же ты была невинна
И горда?

Ольгу стихи такие сначала не тронули, она подумала с грубоватым озорством: «Ишь ты, на ладан дышит, а о любви думает». Но потом случилось что-то невероятное. Стихи, как домашнее тепло или хорошее вино, понемногу размягчали ее застывшую душу, вдруг вспомнилось детство, потом все близкие, родные, никогда они так не вспоминались ей — все сразу: и родители покойные, и Адашь, и Павел — фронтовики (живы ли они?), и Казимир, который пошел работать к немцам и страшно ругался за пленного, говорил, что, когда немцы возьмут ее за жабры, пусть не надеется

на его помощь, но она ответила, что никогда не рассчитывала на старшего брата, не ждала, что он чем-то поможет... Сделалось грустно. От воспоминаний или от стихов? Такого она, пожалуй, еще не переживала, чтобы так быстро, как во сне, одни чувства сменялись другими; она привыкла к тому, что чувства, как и взгляды, у нее были стойкими, постоянными, а тут все вдруг будто перемешалось, забурлило, точно в котле, на поверхность всплывало то одно, то другое — то легкая печаль, то тревога, то непонятная радость, то острая боль, то страх...

Почти ужас охватил, когда Алесь шепотом прочитал:

Плачет ребенок. Под лунным серпом
Тащится по полю путник горбатый,
В роще хохочет над круглым горбом
Кто-то косматый, кривой и рогатый.

Представилось косматое страшилище, с появлением которого наступит конец света. Стихи разбудили и религиозные представления. Но вместе с ними возникали и гражданские: хотя книга и старая с виду, но очень может быть, что человек этот, поэт, был пророком и смотрел далеко вперед. Может, он сегодняшнее страшилище видел, когда плачет ребенок и ветер молчит, но близко труба, да ее не видно в темноте. Ой, не видно! Пусть бы затрубила быстрее!..

А потом грустное и светлое, будто Алесь говорил о своем — что дорога его тяжелая и далекая, а конь устал, храпит и неизвестно, где родное пристанище, но где-то далеко-далеко, за лесом, поют песню, и от этого легче дышится, если бы не было ее, песни, то и конь бы упал, и он никогда не доехал бы, а так верит — доедет. Куда? К чему? Все равно. Лишь бы была вера! Лишь бы была вера! Во что? Она сама хорошо не знала, во что верить ей, она просто никогда серьезно не задумывалась над этим. А стихи, странные, малопонятные, заставили задуматься. Действительно, во что ей верить? В бога? В Сталина? В неизвестного трубача, который даст сигнал и поднимет народ?

Возможно, она что-то сказала, или подумала вслух, или, может, вид у нее сделался необычный, потому что Алесь вдруг перестал читать и внимательно всмотрелся в нее.

— Читай, Саша, — пошевелила она губами, которые вдруг заперклились, будто их опалил жар.

— Нравится? — радостно спросил он.

Тогда Ольга встрепенулась: очень уж удивительно и непривычно ведет себя она! Стихами может увлекаться он, юноша, интеллигент, у него мать учительница, а ей при ее положении смешно так раскисать от стишков. Скажи пожалуйста, как убаюкал, даже душа оттаяла, действительно чуть не до слез довел! А ей такая мягкотелость совсем ни к чему, тут только покажи слабость, тебя сразу съедят, вокруг волки, чтобы с ними жить, нужно по-волчьи выть, а не порхать пташечкой и не заливаться песнями.

— Он что... в бога верил? — спросила она вдруг.

— Кто?

— Да этот... Блок.

Алесь смутился, не ожидал, что из услышанных стихов женщина сделает такой странный вывод.

— Да как сказать... Тогда еще многие верили... Но Блок принял революцию.

— Вот видишь: кто в бога верил, тот и писать хорошо умел, — назидательно, как мать сыну или учительница ученику, сказала она.

— Ну, знаете ли, — несмело возразил Алесь, — это не совсем так. Многие великие писатели не только нашего столетия, когда изобрели радио и человек взлетел в воздух, но и жившие раньше, например в средние века, были убежденными атеистами.

— Кем?

— Неверующими. Сервантес... Бернс... Вольтер...

— Прочитай еще, — прервала она. — Ты хорошо читаешь. У тебя хороший голос. Девичий.

— Это от слабости.

— Тебе тяжело читать?

— Нет, нет, читать не тяжело, — будто испугался он и начал быстро листать книгу, выискивая, что еще почитать ей; конечно, хотел найти такое, что тронуло бы ее.

Почему он остановился на этом произведении? Совсем же не хотел убедить Ольгу, что Блок и впрямь был набожным человеком. Или, может, ему показалось: именно это стихотворение поможет ей понять, что дело не в словах, даже не в сюжете, великие художники прошлого писали на библейские сюжеты, а в действительности отражали свою эпоху и людей, которые жили с ними рядом. Так и в этих стихах: ангел-хранитель — живой человек, женщина. Он прочитал несколько строчек про себя, шевеля губами, потом с усилием проглотил сухую слюну. Ольга посмотрела на его щею, она такая худая и белая, что казалось, просвечивала насквозь и было видно не только то, как он глотает, но и каждое выговоренное им слово, и какие они, его слова, — круглые, острые, легкие, тяжелые...

Люблю тебя, ангел-хранитель во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле.

Прочитал и остановился будто в нерешительности, или, может, спазма стиснула горло.

Первые строчки Ольга выслушала равнодушно, только улыбкой подбодрила: читай, мол, дальше. Что-то, как тяжелая льдина, стонулось в душе, когда он все еще шепотом прочитал:

За то, что нам долгая жизнь суждена,
О, даже за то, что мы — муж и жена!

Но пока что это только напомнило о той неизвестности, что ждала их в недалеком будущем, о чем она уже думала и тревожилась, волновалась: чем оканчивается ее необдуманный поступок? кем этот парень станет в ее доме, когда поправится?

Она вздрогнула, когда голос его вдруг как будто вырвался из-под подушки, которой был зажат, зазвенел решительно и гневно:

За то, что не любишь того, что люблю.

За то, что о нищих и бедных скорблю.

За то, что не можем согласно мы жить.

За то, что хочу и не смею убить —

Отмстить малодушным, кто жил без огня,

Кто так унижал мой народ и меня!

«Боже мой! — подумала Ольга. — Так это же он о нас, о себе и обо мне... что мы о разном думаем... и по-разному прожить хотим...»

На какое-то мгновение даже усомнилась, что в книге так напечатано. Уж не выдумал ли он сам все, пока лежал тут один? Это ее почему-то особенно взволновало, но и испугало. Она обернулась на окно, на грушу, к веткам которой примерзли редкие почерневшие, сморщенные листья. А он даже раскраснелся и ничего уже не замечал вокруг себя, обо всем забыл, и голос его — о нет, совсем не девичий, не слабый! — становился с каждым словом громче, и ничто его не могло остановить. Только в одном месте он вскрикнул, на словах: «Люблю я тебя и за слабость мою». За свою собственную слабость тоже любит... Это правда, бывает и так. Недаром бабы говорили: слабый любит крепче. Но больно ему, что слабый он, недужный.

Окончил он не шепотом, а громко, но голос его слабел с каждым вопросом:

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?

Вдвоем — неразрывно — навеки вдвоем!

Воскреснем? Погибнем? Умрем?

Может, ему хотелось плакать, потому что он зажмурил глаза. И книга обессиленно упала ему на грудь, прикрытую одной белой сорочкой. Часто-часто билось его сердце. Как часто оно билось, Ольга видела по пульсу на его худенькой, с-тростиночку, шее.

Ольга осторожно взяла книгу, но та закрылась, и женщина, развернув ее, не могла найти тех стихов, а листать шумно не отваживалась, не хотела нарушать внезапно наступившую тишину, потому что появилось в ней, в тишине, что-то таинственное, загадочное, непонятное, но желанное.

В тишине они и раньше часто сидели, когда больной был еще совсем слабым и ему тяжело было говорить, но, если он не спал, Ольга не охраняла эту тишину — быстро двигалась, гремела, стучала, говорила о его болезни, о погоде, о новостях, услышанных на рынке, считала, что больному на пользу такая жизнедеятель-

ность ее. А тут сердцем почувствовала, что ему теперь нужна не тишина одиночества, а ее молчаливое присутствие. Да и у самой появилась потребность помолчать после только что услышанных слов. А что это за слова? Она так легко запоминала все, а тут не может вспомнить ни одной строки этой чудесной песни или молитвы, помнила только смысл простых слов да чувствовала сложную музыку их, все еще звучащую в голове, в сердце.

Оглянулась — почему не слышно Светки? Очень удивилась: дочь спала в зале на ватном одеяле, там же, где играла с деревянными кубиками. Но удивило не то, что дочь спит, дитя есть дитя, его то не уложишь, то засыпает неожиданно. Удивило, что заснула в странном положении, в сущности сидя, положив голову на большого, полинявшего уже плюшевого мишку. Ольга принесла его из чужой квартиры в первые дни войны и почему-то не любила, а Светка любила. Почти с суеверным страхом подумала: неужели и дитя он убаюкал этой молитвой? Наслушалась комаровских баек про книги-магии, каждое слово которых имеет чудесную силу — завораживает, привораживает, лечит, заживляет раны. Потому подумала: уж не такая ли и эта книга? Он ожил за какие-то три дня, получив книгу. А ее заколдовал за полчаса.

Нужно уложить Светку в коляску. Прикатить коляску к его кровати, чтобы покачал, если ребенок будет просыпаться. И скорее бежать на рынок — за мешками и корзинами... Но Алесь лежал с закрытыми глазами, обессиленный магическим чтением, и она не решалась пошевелиться.

Потом прозрачная рука его начала искать на груди книгу, — значит, не слышал, как Ольга брала ее. Не вышел — удивился, раскрыл глаза, посмотрел на Ольгу виновато и смущенно.

Она сказала, как маленькому:

— Спи.

— Нет, я не засну.

— Покачай Свету. А то вон где заснула. — И пошла к дочери.

Остаток того дня, весь долгий осенний вечер и ночь Ольга думала о стихах, ей даже приснилось что-то необыкновенное, таких снов у нее никогда раньше не было: светлые хоромы, дворец или храм, множество людей, все держали такие же книги, как молитвенники, и все шептали красивые слова, одна она без книги, обиженная каким-то неизвестным, который раздавал книги и не дал ей, мучилась от обиды, жадно ловила знакомые слова, но — новая мука! — не могла повторить их, не запомнила ни одного, а ей так хотелось повторять эти слова. Ходила среди людей с книгами и искала его, знала: если найдет, то сразу вспомнит все слова, без которых ей невозможно дальше жить; на мгновение он появлялся, но тут же исчезал, не прятался, а как бы таял или закрывался белым туманом. А потом ее схватил в объятия полицейский Друтька и начал домогаться срамного, угрожал, что если она не ляжет с ним, то он донесет немцам, кого она прячет у себя, и их обоих повесят на Комаровском рынке.

Проснулась в холодном поту. Колотилось сердце. Но вспомнила сон и повеселела, показала Друтьке фигу, вдруг убедившись, что теперь любые домогания всех друтьков будут напрасны, нет, не только потому, что в доме живет он, — у нее самой появилась какая-то неизвестная до этого сила.

Утром, когда Алесь еще спал, Ольга тихонько взяла книгу, нашла стихотворение «Ангел-хранитель». Прочитала раз, другой, третий... Закрывает книгу и очень обрадовалась, что почти все запомнила, еще раз два заглянула в книгу и выучила наизусть, так быстро и в школе не выучивала. Радовалась, как дитя, что у нее хорошая память, что не оправдался страшный сон и что никакой магии нет, обычная книга.

На другой день, согреваясь на рынке у жаровни, предложила подругам-торговкам:

— Хотите, бабы, расскажу стих? Со школы помню.

— Давай, Ольга, повесели, может, душа оттаяет, а то примерала к ребрам.

Не поняли бабы серьезности слов, которые она читала с заметным волнением, посмеялись; одна сказала, что такое может придумать только тот, у кого нет мужской силы. Ольга обиделась, ей показалось, что слова торговки оскорбляли Алесь, больного человека. А потом испугалась, когда старшая из торговки, полька Регина, спросила у нее таинственно, один на один:

— Это он написал такое, твой?

— Нет, это не он. Это Блок...

— Какой блок? Что ты несешь? — И еще больше напугала, посоветовав: — Никому, глупая, не рассказывай свои стихи. А то вылезла посреди рынка. Смотри, как бы под веревку не подвела и его, и себя. Люди теперь хуже собак. Брякнет который, а ветер разнесет...

Пришла Лена Боровская. С тех пор как они не виделись, за неделю, она похудела еще больше и одета была уж совсем не по-девичьи: солдатские кирзовые сапоги, на голове не платок, а одеяло какое-то, только пальто все то же, ветром подбитое. И впрямь не девушка, а старушка. Наверное, приличную одежду выменяла на продукты. Известно, когда голодаешь, ничего не пожалеешь, не до нарядов тогда. Но Ольга убедилась, что об одежде и еде сейчас лучше не говорить: люди обижаются и злятся. Лена тоже, был у них уже такой разговор. Потому Ольга сделала вид, что ее не интересует внешность Лены. Но и радости при появлении подруги не проявила. Поздоровалась сдержанно.

Вначале согласно посетовали на раннюю зиму. Но потом Лена вдруг сказала:

— Но зато и фашисты почувствуют, что такое русская зима. По улицам не ходят — бегают с подскоком, как гончие. Весь форс утратили.

Ольга спросила, как чувствуют себя старшие Боровские. Лена помрачнела и ответила почти с укором:

— Пришла бы, проведала. Мама часто вспоминает тебя.

Ольга подумала, что нет, не пойдет она к Боровским, хватит того, что Лена ходит к ней. Вообще стоило бы как-то прервать такую дружбу — ради безопасности своей. Ради ребенка своего и его, Алесевой, безопасности. Он тянется к этой комсомолке. Поссориться с ней, что ли? Но не здесь. Хорошо было бы на людях, на рынке например. Конечно, совсем терять дружбу с Леной не стоит, немало она сделала и полезного — повела ее в лагерь, помогла со справкой для Алеси, достала книгу, — но Ольге не нравилось, что подруга навещает Алесю, и тот радуется ее приходу, и они как-то ближе друг другу, чем она, Ольга, и он. За несколько дней необычное действие стихов, смягчивших душу, ослабло, и она вновь сделалась прежней Леновичихой и любила себя именно прежнюю, хотя знала, что люди ругают ее и некоторые называют очень жестоко — волчицей. Но это не особенно огорчало ее. Она верила, что, только будучи такой, пусть себе и волчицей, можно прожить, не очень горюя.

Слова Алеси о празднике и о том дорогом, за что не следует жалеть жизни, только на миг вознесли ее над грязной и суровой обыденностью. Но слова те и испугали. Страх почему-то появился в погребе, куда поехала за продуктами для обеда и где у нее были спрятаны самые дорогие вещи. Вот почему появление Лены в такой день не понравилось. А когда Лена, поговорив с ней для приличия минутку, пошла из кухни в комнату — к нему, конечно, пошла, — Ольга просто возмутилась, закипела гневом. Скажи пожалуйста, как хозяйничает в чужом доме! Ревизор объявился! Хотя бы разрешения попросила или придумала для предлога что-нибудь: как, мол, там Светка?

Подумав, Ольга разрешила себе остыть, чтобы и правда не поссориться с Леной. При нем. При нем ей совсем не хотелось показывать худшее в своем характере. При нем хотелось быть доброй, покладистой.

Да, Лена была у него, сидела там же, на кровати, в ногах, где сидела она, Ольга, когда он читал стихи. Такая их близость опять отозвалась у Ольги знакомой ревностью: «Ишь ты, где уселась! Как своя!» Но, увидев, что у парня мокрые глаза, поразились. Мужчина плачет? Отчего? Что Лена сказала такое? Какие у них могут быть секреты?

Накинулась на Лену будто шутя, но слова были жесткие и голос холодный, как осенний ветер:

— Приходишь и расстраиваешь мне больного человека! Хватит у нас своих бед, нечего нам плакать над твоими. Плачь над ними сама, в подушку, если хочешь, чтобы на сердце полегчало. Теперь слезы на люди не выносят. Холодно. Замерзнут...

Лена лучше, чем кто-нибудь другой, знала молодую Леновичиху, со школьных лет много раз с ней ссорилась, мирилась и при-

выкла уже не придавать особого значения ее словам, которые Ольга бросала везде с базарной легкостью, всем отмеряла и давала сдачу. Но эти слова, не такие уж и грубые, смугили и обидели девушку. Бледное лицо ее загорелось, она не находила, что ответить, какой тон выбрать. Не ссориться же! Не унижаться же перед торговкой! Но и смолчать нельзя! Выручил ее Алесь — с детской простотой и простодушием признался:

— Своих бед Лена не приносила. Радость принесла... С праздником поздравила; победы пожелала. Потому я растрогался. Не обращайтесь внимания на мои слезы. Я сентиментальный.

О самом главном, что вызвало радостные слезы, не сказал: Лена сообщила о вчерашнем торжественном заседании в Москве, на котором выступал Сталин.

Слова его примирили женщин. Лена порадовалась, что то главное, о чем она сообщила ему тайно, шепотом, он не выдал, как бы подтвердив этим свое согласие бороться и проявив необходимые качества подпольщика. А Ольгу тронули его и впрямь детская непосредственность и прямодушие. Помня, как он говорил о празднике, она поверила, что само поздравление могло его растрогать, и такая чистота, так же как и стихи, и слова его о революции, Родине, снова как-то по-хорошему очистила ее самое — посветлело на душе, будто загорелись там торжественные праздничные огни. Правда, укусила и ревность: она даже забыла об этом их празднике (так и подумала — их, все еще отделяя себя), а вот Ленка эта, изнуренная, изголодавшаяся, в которой кожа да кости остались, не забыла, безусловно, нарочно пришла, чтобы поздравить. Вот что, выходит, их связывает, сближает! Но это и успокоило — ведь сближает их не что-то другое. Странные. Дети. Опасно это теперь. Впрочем, дети часто тянутся к опасному. А разве она не рисковала, когда брала его из лагеря?

Еще как рисковала!

Очистившись от нехороших, базарных чувств и мыслей, Ольга сразу повеселела, и ей тоже захотелось сделать что-то необычное, доброе. Она предложила:

— А знаете что? Давайте отметим его, праздник, как до войны. Обед парский приготовим. И выпьем хорошенько! Сказать, что у меня есть?

— «Московская»? — обрадованный ее порывом, ее солидарностью, немного нервно засмеялся Алесь.

Ольга погрозила ему пальцем.

— Ша! Болтун! «Московская» — само собой. — И сообщила таинственным шепотом: — «Советское шампанское»!

— О боже! Чего у тебя нет! — проглотила голодную спазму Лена.

— А у меня все есть. Иначе не была бы я Леновичиха! — Шаловливо, на одной ноге, крутнулась Ольга. Сказала Лене: — Пойдем, поможем мне. А ты лежи, не поднимайся, пока не позовем, — приказала Алесю.

Алесь удивляли и Ольгина щедрость, всегда неожиданная, и ее скарденность, более постоянная, но не менее непонятная. У нее был керосин, запаслась в начале войны, всем запаслась, что в оккупации приобрело особенную цену, но жечь не давала даже ему, гостю, а ему так хотелось почитать вечером. Книги по его просьбе находила и приносила, но по вечерам командовала, как строгий старшина: «Спать!»

Электроэнергию оккупанты давали только в центр города — в учреждения, на вокзал, в дома, где размещались немцы. Окраины жили в темноте, с керосиновыми лампами и лучиной. А вечера ноябрьские длинные. И сон не приходит так рано. В это время мозг возбужден как никогда, голова переполнена впечатлениями дня, воспоминаниями и мыслями, бесконечным течением мыслей, водопадом их. В темноте необычайно обостряется слух, и Алесю казалось, что он слышит весь город — не только свист далеких паровозов, лягз буферов, грохот ночного грузовика или тайка, выстрелы, крики, топот ног, но и то, что слышат немногие, — крик боли, стои, плач, рыдания, предсмертный вздох, страшный смех, проклятия и пьяный содом убийц. Поэт слышал все сердцем. И оно болело не меньше, чем если бы Алесь слышал все это своими ушами, видел воочию.

За деревянной перегородкой в соседней комнате не спала Ольга, ворочалась, вздыхала, чаще, чем нужно, поправляла одеяло у дочери. И это его тоже волновало и тревожило — ее вздохи. Он все еще никак не мог понять эту женщину. Зачем взяла его? Почему так заботливо выхаживает? Когда и какую плату потребует за то, что сделала для него?

Молодой романтик, не знающий страха после всего пережитого, он не думал и не представлял, что в долгие бессонные вечера и ночи над всеми Ольгиными чувствами господствовало одно — злот самый страх; он заглушал все другие человеческие желания и мысли, как бы замыкал их в темную и тесную камеру, где они трепетали, бились, как пойманные птицы, и не могли найти выхода. Раньше такого страха не было, он появился, пожалуй, после празднования Октября и приходил, когда женщина ложилась в кровать. Она мучилась многие часы, пока, наконец устав, не забывалась беспокойным сном. А наступал день — и все ночные страхи казались если не смешными, то, во всяком случае, сильно преувеличенными. Днем Ольга жила обычной жизнью, действенной, активной. Такая жизнь казалась единственным спасением. О богатстве она думала теперь меньше, но голодать, как Боровские, не хотела, кроме того, была убеждена, что безопасность зависит и от благосостояния: одному гаду дашь в лапу, другого подпоишь...

Ей очень хотелось в такие вечера дольше посидеть с Алесем, послушать, как он читает стихи, объясняет их, как говорит... Но... во-первых, действительно жаль было керосин. Нет, обманывала

она себя и его, прикрывалась жадностью. Причина была иная. Бояться она стала его слов о Родине, о народе, об их бессмертии, о победе, которой не может не быть рано или поздно. Боялась потому, что не могла уже не слушать его, не могла приказывать замолчать или хотя бы скептически улыбаться: мол, пусть потешится мальчик, ведь иных радостей у него нет. Нет, он заставлял ее слушать серьезно, с волнением, и она испугалась, в глубине души понимая, что это может сломать ее привычную жизнь, нарушить душевное равновесие. А потом начала принимать страх как божескую кару за свою несправедливую жизнь, за неразумные поступки и грешные мысли. И — свыклась с этим чувством, оно казалось совершенно нормальным в ее положении. Если бы страх вдруг исчез в один из вечеров, Ольга, наверное, испугалась бы еще больше.

Они лежали в смежных комнатах, каждый со своими мыслями, и, конечно, машину слышали одновременно, как только она въехала в их переулок, куда на машинах даже днем заглядывали редко. Машина была не тяжелая, шла медленно. В одном месте, кажется на замерзшей луже, забуксовала, и мотор завыл с надрывом, разбудив, наверное, всех, кто спал в это позднее время.

Ольга, едва живая от страха, молилась, чтобы их пронесло мимо. Пускай останавливаются около Кудлача... Нет, Кудлача, кажется, проехали уже... Около Кацманов... Кацманов еще в сентябре загнали в гетто... Около кого хотят пусть останавливаются, только не у ее дома.

Сноп света ударил по окнам зала. Машина остановилась у самых ворот.

Ольга вскочила с кровати с единственной мыслью — спрятать Светку! Но куда спрятать? Лучше ребенка не трогать. Растерянно остановилась в дверях спальни в одной сорочке, напряженно прислушиваясь, что они будут делать, с чего начнут. Не слышно, чтобы прыгивали на землю солдаты, громыхали в ворота. Да и откуда прыгивать? Ясно же, что это легковушка... Но оттого, что подошла легковая машина, сделалось еще страшней. Что им нужно? Кто нужен? Этот больной бедняга, что едва не отдал богу душу?

Алесь с осени сорокового служил в кадровой армии, в артиллерии, только в начале войны перешел в газету, в которой раньше печатал стихи. Во время учебных тревог он умел первым одеваться и первым выбегать на линейку. Первым же он выскочил из землянки и тогда, когда редакцию окружили немцы. Привычка армейская осталась и тут, в Ольгином доме: как только выздоровел, складывал свою гражданскую одежду около кровати так, что мог в темноте одеться за какие-то секунды. О том, зачем это, не думал — знал, что убежать или спрятаться, пожалуй, невозможно. Просто хотел опасность и даже смерть встретить в подобающем виде, чтобы ничто не унижало человеческое достоинство.

Они еще не успели постучать в ворота, а он уже был на ногах и одет. Не сомневался, что приехали за ним. Не испугался. Но до слез стало обидно, что так и не успел ничего сделать. Хотя бы

одного фашиста убил! О, если бы у него была граната или пистолет! Нет, ничего бы он не сделал ни гранатой, ни автоматом — в доме женщина и ребенок... Ребенок! Об этом нельзя забывать! У него осталось одно: подбодрить Ольгу и поблагодарить, пусть увидит и рассказывает потом, как мужественно идут на смерть советские воины! Во всяком случае, слабости он не должен показать ни ей, ни врагам!

Ступил в зал, увидел в двери белую фигуру женщины. Нельзя, чтобы она предстала перед ними в таком виде.

— Оденьтесь, Ольга Михайловна!

Пока он зажигал лампу, она надела на сорочку старое пальто и снова стала на пороге спальни, босая, взлохмаченная. Он догадался, что она загораживает ребенка. Как птица. Это растрогало. Если они тронут ребенка, он бросится на них и будет грызть зубами. Пожалел, что не положил близко топор. Ольга раньше клала его на стул около окна — от грабителей. Он сказал: теперь одни грабители — с автоматами, топором от них не оборонитесь.

— Спасибо вам, Ольга Михайловна. — Вот это нужно было сказать обязательно, без этого он не мог бы оставить дом. — Дадите мне что-нибудь надеть, самое старое, ненужное.

Она вскрикнула.

Заколотили в двери. Калитку Ольга не могла не закрыть, значит, кто-то из них перескочил через забор. Она бросилась было, чтобы открыть, но Алесь остановил ее, позаботился о ее ногах:

— Обуйтесь. — И крикнул им: — Айя момент!

Они уже грохотали сапогами или прикладами так, что звенели стекла.

Алесь отодвинул задвижку, и они с такой силой распахнули дверь, что она ударила его по ногам, по коленям, от боли он едва не потерял сознание. Их ворвалось трое. Но его не схватили — сразу бросились в дом. На какое-то мгновение он остался один в коридоре. Перед крыльцом никого не было, за забором мирно урчал мотор автомашины. Подумал, что ему можно выйти, броситься на огород, перелезть в чужой двор... Нет, не мог он и это сделать — оставить ее одну, чтобы они издевались, мучили ее и ребенка за то, что он убежал.

Он вошел следом за ними в освещенный лампой зал. Все трое были в черных кожаных пальто с меховыми воротниками и высоких фуражках со свастикой на кокарде, высокие ростом, будто нарочно подобранные, — молодые, красивые. Алесь еще в лагере удивляло и оскорбляло, что фашисты бывают внешне красивыми, не соответствовало это их душевному облику и поведению. Один держал пистолет, угрожал им Ольге и повторял одно слово:

— Гольд? Во ист гольд? Гольд!

Очень знакомое слово, но что оно значит, Алесь никак не мог вспомнить, словно отшибло память.

Ольга стояла там же, в дверях, заслоня собой спальню, где осталась Света, Запахивала пальто обеими руками, сцепив их на

груди. Она так и не успела обуться, стояла босая, и Алесь обратил внимание на ее ноги, неестественно белые. Неужели от страха белеют ноги? Лицо не было белым, только посинели губы и шевелились беззвучно, без слов. Ольга пожимала плечами, не понимая, чего от нее требуют.

Тем временем двое открыли большой зеркальный шкаф и начали перебирать многолетний нажиток семьи Леновичей — пальто, шубы, костюмы, кофточки, белье. При этом очень тренированно, как шпики или профессиональные грабители, обшаривали карманы, ощупывали швы, вещи бросали на пол. Но тот, кто стоял с пистолетом, наиболее ценное отбирал и складывал на стол.

«Гольд? Гольд? — вспоминал Алесь. — Кажется, деньги. Какие деньги? Зачем им деньги? Чуть какая-то». Подумал со страхом, что в голове туман, каша, все перемешалось, как в страшном сне, и если его заберут, ему не выдержать пыток, чувствовал себя еще больным.

Ольга, сбросив вдруг оцепенение, сорвалась с места, со своего поста у двери, кинулась к комоду, где стояла посуда, из фарфоровой салатницы достала пачку документов, начала показывать их гестаповцу с пистолетом, громко и смело, как на рынке, объясняя, что все у нее есть — справка на родственника, который выписался из больницы, на право торговли и что налог она уплатила, тыкала пальцем на немецкие печатки на бумагах.

— Вот, пусть пан посмотрит! Все по закону! По немецкому! Я люблю немецкий порядок! Гут дойче! Гут! Сталин капут!

Больше, чем само появление гестаповцев, Алесь испугали Ольгины слова. Что она говорит? Разве можно такой ценой спасать его? Это же предательство! Не нужно ему такое спасение! Хотелось бросить им в лицо другое: «Гитлер капут! Да, здравствует Сталин!» Но снова-таки подумал, что не одного его хочет Ольга спасти — себя и ребенка, возможно, в первую очередь, поэтому имеет право на любые средства, и тут он вынужден молчать.

Гитлеровец глянул на документ, даже немного удивился:

— Хандаль?

— О да, пан офицер! Гандаль! Гандаль! Я ист гандаль!

Но документы их мало интересовали. Они искали другое. Показывая документы, Ольга забыла о своей одежде, пальто распахнулось, и открылась сорочка, правда, непрозрачная, ситцевая, но отделанная сверху, на груди, и снизу, на подоле, кружевом, через которое просвечивала полная грудь, еще недавно кормившая ребенка. Один из тех, кто перебирал одежду, бросил свое занятие и жадными глазами уставился на ее грудь.

Алесь так внимательно следил за ними, что сразу заметил этот взгляд фашиста, его глаза, мгновенно ставшие масляными, хищными. Немец бросил платье и, ступая по куче одежды, пошел к Ольге. За короткую минуту Алесь пережил, возможно, наибольший страх в своей жизни и наибольшую решительность, отчаяние, высокий порыв — заслонить собой женщину, жизнью своей защи-

тить ее достоинство. Если дотронутся до нее, он бросится тигром, он вцепится зубами! Нет, лучше вырвать пистолет у того, кто рассматривает документы и не обращает внимание на Ольгину грудь. Да, спасти ее можно, захватив пистолет; не иначе! И Алесь тоже ступил к столу вместе с гитлеровцем, шаг в шаг, рассчитывая каждое свое движение. Но тот через стол показал пальцем на грудь и выкрикнул:

— Золёто!

Почему-то, увидев женскую грудь, немец вспомнил, как по-русски называется то, ради чего они совершили налет.

Тогда и тот, что стоял с пистолетом, тоже встрепнулся, обрадовался:

— О-о, золёто! Во ист золёто?

— Ах золото?! Вам нужно золото? — обрадовалась Ольга, что наконец поняла немцев, даже шире распахнула полы пальто, но, вспомнив, что под ним одна сорочка, быстренько закрылась, застегнулась на пуговицы и воротник подняла. — Так сразу бы и сказали. А то кто вас знает, что вам нужно!

Она наклонилась, открыла нижний ящик комода, выхватила оттуда картонную коробку, поставила на стол и начала выкладывать из нее серебряные ложки, вилки, позолоченные ложечки, кольца, брошки, иную мелочь. Все трое немцев наклонились над столом, взвешивали каждую вещь в руках, смотрели на свет, прикидывали ее ценность и о чем-то горячо спорили.

Алесь обессиленно опустил руки: угроза самой Ольге, кажется, миновала. Из разговора их со своим школьным знанием языка ловил только отдельные слова, да и то не очень напрягался, чтобы понять. В конце концов, это будет редкий и, пожалуй, счастливый случай, — для него и Ольги счастливый! — если гитлеровцы ограничатся одним грабежом.

Но ненасытности их, алчности нет предела. Ольге они, конечно, не поверили, что выложено все. Снова потребовали, повторяя уже по-русски в два голоса (третий немец молчал, он больше действовал):

— Золёто. Во ист золёто?

— Нид нема, пан. Впистко, — почему-то по-польски объясняла им Ольга, показывая руки: мол, раз на пальцах нет даже колечка, значит, нет больше ничего.

Они искали. Вывернули все из шкафа, из комода, распоролли диван. Полезли в спальню. Ольга попыталась броситься раньше их, чтобы взять сонную Светку, — ей загородили дорогу.

— Ребенок! Ребенок там! — в тревоге объясняла она.

— Киндер! — сказал Алесь.

Услышав от него немецкое слово, они выглянули с удивлением. Но все же поняли. Что-то человеческое в них, видно, еще осталось: разрешили взять из кровати ребенка. Малышка проснулась и заплакала. Ольга прислонила ее головку к плечу, старалась, чтобы она не увидела этих страшных людей, которые переворачивали по-

стель и вещи. Вышла со Светой в зал, хотела идти дальше от ерлаша, на кухню, — ее не пустили.

К счастью, девочка вновь заснула. Чувствуя детское тепло, родное дыхание, Ольга успокоилась, снова появилась уверенность, что все как-нибудь обойдется. При всей торговой алчности случались у нее и раньше моменты, когда она ничего не жалела, никакого добра. Но в такие моменты и сама себя не жалела. А тут было иначе: на безжалостный, хуже пожара, разгром в доме смотрела совершенно спокойно, но молилась богу, чтобы они не затронули ни его, Алесь, ни ее дочери. Впервые не разумом еще, сердцем, она объединила дитя, себя и его в одно нераздельное, с родным отцом ребенка никогда так душевно не объединялась; правда, тогда, в мирной жизни, не случалось, чтобы угрожала такая опасность.

Когда обыскивали кухню, уже спешили, офицер с пистолетом посматривал на часы; спешили, видимо, потому, что просигналила машина, — их звал кто-то старший. Но когда нашли лаз в погреб, выкопанный под кухней, насторожились, как ренжеры, почувствовав близкую добычу, заболботали что-то по-своему, видимо решая, кому спуститься в подполье. Фашист с хищными глазами глянул на Ольгу, явно намереваясь заставить лезть в погреб ее, а он, возможно, полез бы следом. У них были карманные фонарики, освещивая ими, шарили в спальне; но, направляясь на кухню, вспомнили о лампе и приказали Алесю захватить ее из зала. Пока они шаряли по шкафчикам, заглядывали в плиту, Алесь держал лампу и чувствовал себя от этого уверенней — все-таки какое-то оружие в руке.

Он поставил лампу на плиту и, не ожидая приказа, полез в погреб. Когда сверху осветили фонариком, удивился простору в подполье и количеству дубовых бочек — их стояло штук восемь, многоведерных. Вкусно пахло квашеной капустой, укропом, дубовым листом, но чувствовался и запах склепа, прелости и еще чего-то едкого, как аммиак, отчего слезились глаза.

Молчаливый гитлеровец, спустившийся следом, приказал ему наклонить бочку. Но Алесь не смог даже сдвинуть ее. Немец пренебрежительно смотрел, как он напрягается, и так грубо отпихнул парня, что тот больно стукнулся головой о бетонную стену погреба. Легко, одной рукой, немец перевернул бочку с огурцами, рассол облил Алесю ноги, огурцы рассыпались по бетонному полу, захрустели под сапогами у фашиста, он давил их нарочно, с наслаждением.

Алесь стоял, прислонясь к стене, вспотев от боли и слабости, и в бессильном гневе сжимал кулаки.

Другую бочку немец наклонил, но не перевернул, потому ли, что ему что-то сказали из кухни, — возможно, поторанивали, — или потому, что фонарик его осветил в углу, за бочками, бутылки с «Московской» и консервы. Впервые за время обыска он довольно воскликнул: «О-о!» — и засунул бутылки в карманы брюк и пальто. Взял банок пять консервов, Алесю приказал взять остальное.

Кроме водки и консервов фашисты забрали вилки, ножи, под-
стаканники, вышитые рушники, столовое белье — скатерти и сал-
фетки, — Ольгино приобретение первых дней войны, и все меха,
даже старые: пальто старой Леновичихи из рыжей лисы, Ольгину
чернобурку, детскую цигейку, выменянную недавно за продукты у
какой-то голодной беженки.

Забрали все самое ценное. Ольга попыталась было выпросить
детскую шубку, больше всего ее пожалела: до этого часто любова-
лась ею, примеряла на Свету; шубка была еще великовата, но Оль-
га представляла, как дочь будет выглядеть в ней — в черненькой,
как уголь, отороченной снизу белым, по образцу северных наря-
дов, — такие шубки Ольга видела в книгах и в кино. Но в ответ на
ее просьбу старший, который наконец-то спрятал пистолет, убе-
дившись, что опасности нет, произнес сердитую речь. Можно
было понять, о чем гитлеровец говорил, потому что несколько раз
он повторил «золото», наверное, угрожал: за то, что не отдала зо-
лота, она и муж ее заслуживают кары большей, чем конфискация
вещей для великой армии фюрера.

Не будь на руках ребенка, Ольга просила бы более настойчиво,
может, даже заголосила бы в отчаянии, во всяком случае слезу
пустила бы, со своими людьми это помогало. Но от ее слов про-
снулась Светка, чужие, немецкие слова, громкие, страшные, не
будили малышку, а материнские разбудили, и Ольге пришлось
петь необычную колыбельную:

— Спи, моя детка. Спи, мой котик. Все котики уснули. И ма-
ленькие мышки спят. И детки спят. Одни тигры гуляют... двуно-
гие... Зер гут, господин начальник. Зер гут. Мне ведь ничего не
жаль. Чтоб вы подавились. Чтоб мое добро вам поперек горла стало.
Зер гут.

— Зер гут! — вдруг похвалил старший и ткнул Алеся кулаком
в живот, правда, не больно, показывая со смехом Ольге, чтобы она
лучше кормила мужа: возможно, тот, что лазил в погреб, сказал,
что русский не смог даже перевернуть бочку. А может, увидев, что
в доме много капусты, немец советовал кормить его капустой. Им
хотелось под конец пошутить, хотелось быть добрыми. Они ве-
рили, что они добрые. Самые добрые. И самые остроумные. Не то
что эти полудикие славяне.

Старший и самый «добрый» даже погладил детскую головку,
шелковистые беленькие Светины волосы. Жест его, когда он вдруг
протянул руку, испугал и Ольгу, и Алеся. Но он действительно
погладил ласково и сказал что-то насчет немцев и белорусов, на-
счет арийцев. Уж не доказывал ли, что белорусы принадлежат к
арийской расе? Набивался в свои. Немец был политик. А поли-
тические, газетные слова Алеся понимал лучше, чем бытовые. На
прощание этот «политик» снова сказал речь, много раз повторив
уже знакомое «данке», — конечно, не их благодарил, не та интона-
ция, скорее всего советовал, чтобы они поблагодарили за такое хо-
рошее, мирное ограбление. И Ольга впрямь повторила:

— Данке, данке, пан начальник. Пусть пользуются твоей детки,
чтобы на них короста напала...

Когда немцы наконец вышли и машина отъехала быстрее, чем
подъезжала, сильно грохоча по мерзлой земле, Ольга и Алеся долго
молчали. Стояли и не смотрели друг на друга, будто кто-то из них
был виноват в случившемся. Но теперь, когда его не тронули,
Алеся не чувствовал своей вины, вот если бы, разгромив все, нем-
цы и его увезли, в таком случае он считал бы себя виновным: ду-
мал бы, что принес горе женщине, которая так много сделала для
него.

Нет, Ольга не молчала, очень тихо, с особенной нежностью, она
укачивала ребенка, но колыбельная была без слов — древний, зна-
комый всем матерям света мотив, музыка сердца.

Никто из них не пошел закрывать ворота, двери. Зачем? Дру-
гие грабители не придут.

Малышка уснула, и Ольга отнесла ее в спальню, допела колы-
бельную там. Привычно заскрипела деревянная кровать-качалка.

Выйдя из спальни, Ольга спросила у него не шепотом — почти
во весь голос, показывая глазами на разбросанные по всему залу
вещи:

— Что же это такое?

Он ответил гневно:

— Фашизм! Фашизм это! А вы... вы хотели с ним жить... тор-
говать! Теперь вы видите... видите? Но это что! Цветочки! Мелкий
грабеж! Вы видели бы, что они делают там!.. Нет! Бить, бить их
нужно! Чтоб земля под ними горела! Как Сталин говорил...

Последние слова он почти выкрикнул. И Ольга вдруг сорвалась
с места, кинулась к нему, схватила за голову, закрыла рот ладонью
и зашептала так же гневно:

— Замолчи! Замолчи немедленно! Зараза! Большевицкий
ублюдок! — и с силой оттолкнула его от себя.

Поворот был таким неожиданным, что ошеломил Алеся до оне-
мения. Знал ее настроения, знал, что не лучшая она советская граж-
данка — торговка, мещанка, — хотя в то же время поступки ее,
такие, как выкуп его, необычные сестринские заботы о больном,
празднование Октября, удивляли, были непонятны. Но такое —
«большевицкий ублюдок», — такого он не ожидал, не укладыва-
лось это ни в какие психологические противоречия характера, ос-
корбляло самое лучшее из того, чем он жил. Была б у него своя
одежда и не будь на улице ночь, когда далеко не пройдешь без
специального аусвайса, он тут же оставил бы этот дом.

Ольга тоже почувствовала, что ударила слишком больно, и
подумала, что, оскорбленный, он может уйти, а этого она боялась.
Несмотря на то что была босая, она выбежала и закрыла калитку,
закрыла двери, одни, другие — из сеней на улицу и из кухни в сени.

Вернулась — начала собирать вещи, но делала это будто нехо-
тя, возможно не соображая, как навести порядок после такого раз-
грома. А может, наклонилась просто, чтобы не глядеть в глаза

Алесь. Он тоже молчал, не зная, что можно сказать после ее оскорбительных слов. Но когда вдруг Ольга села на пол, на кучу одежды, и заплакала, закрыв лицо помятым платьем, ему стало жаль ее: в конце концов, он не может не считаться с тем, что она простая, малосознательная женщина, и было бы неумно не попробовать развить лучшее в ее характере.

Алесь подошел к ней и миролюбиво сказал:

— Не надо плакать, Ольга Михайловна. О чем горюете? Что вы потеряли? Шубы? Ложки? Разве такую трагедию переживают миллионы людей? Они теряют сыновей, отцов...

Она открыла лицо, подняла глаза и сказала, правда, уже не зло:

— Не топчись по одежде.

Не замечая всех этих разбросанных по полу тряпок, он нечаянно наступил на какую-то кофточку. Увидел свою промашку — растерялся, почти испугался.

— Извините.

Ольга вздохнула.

— Взяла я тебя на горе себе...

Новый удар, не менее болезненный, — и это на его попытку сблизиться, дать ей понять, что, несмотря на обидные слова, он по-прежнему считает ее человеком. Все остальное можно простить разгневанной и напуганной женщине. Но спокойное заявление, что на горе она взяла его, пленного, — это уже даже не оскорбление, а деликатная форма безжалостного: «Пошел вон из моего дома!»

Что ж, этого можно было ожидать. Пусть она будет благодарен за то, что она спасла его от мучительной смерти и дала месяц жизни и тепла. Дальше он должен сам позаботиться о себе. Собственно говоря, забота у него одна — быстрее вернуться в строй, найти свое место в войне с фашизмом. Теперь, когда он выздоровел и находится на воле, это, кажется, нетрудно будет сделать. Как говорят, свет не без добрых людей. И в Минске их немало, добрых людей. Помогут.

Осторожно сойдя с одежды, он сказал:

— Простите. Завтра утром я уйду. Спасибо вам.

Ольга не сразу отреагировала на его слова. Поднялась, сгребла с пола кучу одежды, кинула на стол. И вдруг повернулась к нему с сухими, горячими глазами, без тени растерянности, уверенная, властная, — такой Алесь знал ее целый месяц, как только очнулся.

— Куда это ты пойдешь? Никуда ты не пойдешь! Никуда я тебя не пушу!

Не думала она, не представляла, что сильнее всего ранит парня этими добрыми словами, тяжелее всего оскорбляет. Ему хотелось крикнуть: «Думаешь, если ты заплатила за меня золотом, так я твой вечный раб?» Но она опередила, спросив почти с угрозой:

— К Лене Боровской собрался?

Алесь смутился, потому что и вправду в первую очередь вспомнил о Лене, думая о людях, которые могут помочь ему.

— Что вы!.. Почему к Лене? Зачем мне к Лене?..

Тогда случилось совсем невероятное, чего он, поэт, мечтатель, ни разу не представлял себе, хотя и давал волю фантазии в бессонные ночи. Ольга вдруг кинулась к нему, охватила его голову руками, стала целовать в лоб, в щеки, в губы и горячо зашептала:

— Никуда я тебя не пушу! Никому не отдам. Я люблю тебя! Люблю, глупенький ты мой... Мужа так не любила...

Такого он действительно не придумал бы, даже не для себя — для героя будущей поэмы, которую мечтал написать после войны, если останется жив. О себе, правда, изредка думал с тревогой: не хочет ли практичная торговка присвоить его как собственность? Это немного волновало — все-таки женщина она привлекательная, и ребенка он полюбил. Но над перспективой такой он смеялся, твердо уверенный, что перед любым подобным искушением выстоит, хватит у него и силы, и характера, и вообще не об этом сейчас думать надо.

Неожиданные Ольгины поцелуи и признание в любви после всего, что случилось, после жестоких слов ее смутили Алесь, как семиклассника, он не мог вымолвить слова, не знал, что сказать, как поступить в такой ситуации. Как тут проявить силу и характер, не обидев, не оскорбив женщину? Сказать, что не любит ее и никогда не полюбит? Но честно ли это? Не обманет ли он ее и самого себя? Что теперь не до любви? Не поймет. Да и сам уверен, что даже война не может убить лучшие человеческие чувства, самые высокие и прекрасные. Однако же и таять он не может — не имеет права! — от женских поцелуев. Нужно оставаться мужчиной!

— Ольга Михайловна! Пожалуйста, не нужно. Прошу вас... Неуместно это все. Нет, я благодарю, конечно, вас. Но лучше займемся делом — наведем порядок в доме...

Должно быть, ей тоже сделалось стыдно за свой неожиданный порыв. Отступила от него. Не смотрела в глаза. Тяжело вздохнула. Села на испорченный диван, кутаясь в пальто, будто ей сделалось холодно. А он стоял напротив и впервые рассматривал ее очень внимательно, раньше так не отваживался — боялся, чтобы она не подумала ничего предосудительного. Хотелось наконец понять эту женщину, загадочную с того момента, как взгляды их встретились через колючую лагерьную проволоку, на удивление противоречивую, такой противоречивости в человеческом характере он не встречал за свои двадцать лет, а это возраст, когда человеку кажется, что он познал все тайны мироздания. Что же она такое? Кто она? Торговка? Мещанка? Или Человек и Мать? Ему, возвышенному романтику, два слова эти всегда хотелось писать с большой буквы. И произносить их торжественно.

Конечно, на лице ее Алесь ничего не прочел, ни одной загадки не разгадал, только с новым, незнакомым волнением заключил, что Ольга действительно красива (это он отмечал и раньше, но не так определенно и не в таком сочетании мыслей и переживаний) и что в такую женщину не грешно влюбиться. Но тут же напом-

нил себе, что такая роскошь и такое легкомыслие ему не позволены, ведь так можно очутиться в обывательском болоте, а ему нужно воевать, мстить врагу, у него одна судьба — сгореть в борьбе, другой быть не может.

Ольга, сидевшая понурясь, подняла голову, посмотрела на шкаф и засмеялась — увидела себя в зеркале.

— Посмотри, какая я! Как огородное дугало! Не помню, когда надела это пальто. И воротник подняла... И в таком виде признаюсь...

Осеклась, не сказала, в чем признается. Но тут же смутила Алесь другим. Вдруг вскочила, сбросила пальто, правда стоя к нему спиной, и натянула лучшее зеленое платье, из тех, что подняла раньше и положила на стол.

Алесь не смотрел на нее, когда она переодевалась. Когдаглянул, Ольга стояла уже в платье, в туфлях на высоких каблуках и, подняв руки, закручивала в узел волосы. Будто до этого ничего не случилось и они собрались в гости. Это ее переодевание и вообще какое-то странное преобразование, которое отразилось на лице, в движениях, еще больше испугало беднягу.

— Думаешь, я плакала потому, что мне жаль добра? Не такая я дура, как думали они и думаешь ты. Все лучшее я закопала так, что найду ли сама потом... И серебро. И золото. И лучшие шубы. Вот им, гадам. — Она сложила фигу и показала в окно. — Все не стала прятать, иначе не поверили бы. Соседи, как собаки, всю жизнь вынюхивали, что Леновичи покупают. И есть такие, что полный список немцам, наверное, передали. Потому всего и не спрятала. Нужно же чем-то откупиться. Пусть они подавятся старыми шубами, злодеи! А еще кричат — культурная нация! Бандиты! Грабители! — Но говорила это без той злости, которую хотелось бы услышать Алесю; так, многословно, по-базарному, без ненависти, которая кипела в нем, она ругала фашистов и раньше. Полицаяев почти так же ругала прямо при них — пьянчугами, живодерами, бабниками, — а те только смеялись, беззастенчиво угрожали посадить ее в тюрьму за оскорбление власти, но, мол, не делают это только из жалости к ребенку. Алесь промолчал.

Молчание его задело Ольгу.

— Что ты стоишь, как святой Макарь? Иди сюда, посидим рядом, поплачем или посмеемся — как нам захочется. — Она снова села на диван и, увидев его нерешительность, засмеялась. — Иди сюда. Садись. Не бойся. Не укушу.

Не принять такое ее приглашение было бы нелепо. Алесь решительно сел рядом.

Тогда она заговорила совсем иначе — без игривости, серьезно, доверительно, понизив голос до шепота:

— Я от страха плакала. Если бы ты знал, как я передрожала! Душа все время, пока они шарили, не тут была, а тут. — Она дотронулась до каблука туфли. — Пока я не поняла, что это не те, не из гестапо. Эти из лагеря, от того толстого хмыря, что взял зо-

лото за тебя, он адрес мой записал... Ишь на водку как нажились, обормоты. Если бы они были натренированы на обысках, то знаешь, что могли бы найти? Всем бы нам труба! — Ольга наклонилась идохнула Алесю в ухо: — Радиоприемник... И пистолет...

— У тебя есть пистолет? Где ты взяла?

— Тише ты! Сняла с убитого в начале войны.

Ни тогда, когда Ольга выкупила его из лагеря и они бежали по полю, чтобы быстрее покинуть жуткое место, ни на октябрьский праздник, когда она предложила торжественный обед, ни тогда, когда Лена Боровская тайком сообщила, что в городе есть коммунисты и комсомольцы, организованные для борьбы, ни несколько минут назад, когда Ольга так неожиданно призналась, что любит его и никому не отдаст, никогда сердце его не билось так сильно, так взволнованно, тревожно и радостно, как от сообщения, что в доме есть пистолет.

V

После обыска Ольга оживилась, осмелела, избавилась от ночного страха и торговать стала с еще большей активностью. Только изменила характер торговли. Наблюдая жизнь и рынок, она уже давно начала задумываться, как все повернется, и поняла, что в будущем, зимой и весной, приобретут особенную ценность хлеб, картошка, свекла, не говоря уже о сале. Ум у нее был коммерческий, конъюнктуру рынка, как говорят экономисты, она не только хорошо знала, но и умела прогнозировать. Возможно, что ночной налет фашистов, их поиски золота, радость от найденной водки и консервов явились толчком для пересмотра ею собственной торговой политики. Определенное значение имел и разговор с Алесем, ее признание, оно укрепило надежду на новое женское счастье. Одним словом, выносить продукты на рынок стала редко — лишь бы напомнить о себе, отвести душу с прежними подругами, посканить зубы с полицияями. Теперь она чаще заглядывала на барахолку. Продавала и покупала сама. Покупала вещи небольшие, ценные — серебряные, золотые, которые легко можно было бы спрятать.

И продукты она теперь чаще покупала, чем продавала. Но не на рынке. За продуктами ходила в пригородные деревни, там у крестьян на кофточки, сорочки, юбки и соль выменивала ветчину, сыр, сало, крупу домашнего изготовления, обрушенную в ступах.

Такая широкая торговая деятельность Ольге нравилась. Было в ней больше разнообразия, азарта, выдумки, хорошо нужно было шевелить мозгами — как, где, что наиболее выгодно купить, продать, перепродать, спрятать. Нравилась барахолка, которой мать ее когда-то пренебрегала, считала, что там толкуются только две человеческие породы — мошенники и дураки. Теперь, при немцах, нужда, голод заставили появляться там всех, даже тех, кто раньше не знал, где находится эта обдираловка. На таком рынке как-то

теряешься среди людей. Даже с полициями реже встречаешься и реже платишь калым. Стоило ей исчезнуть со своего привычного места в продовольственном ряду на Комаровке, и «бобики» не так часто стали заглядывать в дом. На толкучке люди смелей высказываются, там больше можно услышать о городских новостях, о немецких приказах и даже о своих — как они там воюют, где.

И в деревни интересно ходить, поговорить с крестьянами, хотя тут опасность большая и поборы большие — на контрольных постах немецкие солдаты, с ними бывает нелегко договориться. Однажды Ольга предложила им кусок сала, а они отобрали всю котомку, а ее грубо толкнули, паразиты. Но в этой опасности было что-то новое, притягательное, она будто участвовала в чем-то более значительном, чем обычная мена, будто совершала какой-то маленький подвиг. Во всяком случае, если о своих успехах на барахолке рассказывала очень скупно — десяток слов между прочим, знала, что Алесю не нравится ее занятие, — то про походы в деревни рассказывала охотно, подробно.

О ее неожиданном признании после обыска они ничем не напоминали друг другу. Она, Ольга, больше проявляла женской стыдливости, чем раньше. Но еще более внимательна стала к его желаниям. Приносила книги. Покупала их, не жалея денег. Однажды принесла «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Алесь удивился и испугался, когда она сказала, что купила книгу на барахолке. Кто ее мог продавать? Человек, который не понимал, что это за книга? Или патриот, бросающий вызов врагу? А вдруг провокатор, чтобы засечь того, кто купил книгу?

Чаще приносила поэзию, зная, как он любит стихи. И кажется, сама полюбила их. Нередко по вечерам просила, чтобы он читал ей Блока, Лермонтова, Купалу, Богдановича. Даже керосин теперь не жалела. Кстати, Богдановича принесла Лена, и Ольгу снова ревниво задело, почти разозлило, что небольшая книжечка обрадовала Алесь больше, чем некоторые толстые, в красивых обложках, которые приносила она, обрадовала так же, как когда-то Блок. Из книжек, купленных ею, Ольгой, он так радовался разве что Лермонтову. Ольга помнила со школьных лет «Смерть поэта», отдельные строки. Прочитала наизусть:

Погиб Поэт! — невольник чести —
Пад, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Понижув гордой головой!..

Алесь даже прослезился. И ей было радостно от его слез. Потом Алесь несколько раз тайком наблюдал по утрам, как Ольга брала книжки и, непричесанная еще, босая, без кофточки, читала стихи, как молитву, — шевелила губами, потом закрывала книгу и, подняв голову, шептала строки, если не помнила, заглядывала в книгу. А потом днем или вечером, хлопоча на кухне, тихо, на свой мотив, пела отдельные строки:

У родным краю ёсць крыніца
Жывой вады,
Там толькі я магу пазбыцца
Свайй нуды.

Или, укладывая Светку, пела на мотив колыбельной, но, безусловно, не для дочери — для него, чтобы сделать ему приятное, помнила, какие стихи он читал на память:

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

«Зорку Венеру» Ольга пела в школьном хоре. Не знала, однако, не помнила, что слова написал Богданович, о несчастной судьбе которого Алесь долго и интересно рассказывал. Между прочим, только такое вступление заставило ее слушать стихи из книги, которую принесла Лена и которой Алесь обрадовался больше, чем ее книгам. Когда он дочитал до «Зорки...», Ольга пропела эту песню. Растрогала парня. Кажется, именно тогда он сказал:

— Учиться тебе нужно, Ольга.

Был один приятный итог того вечера и ее признания: теперь он всегда говорил ей «ты», и это определенным образом сближало их при всей сдержанности и взаимной неловкости.

— Когда учиться? Сейчас?

— Не сейчас, конечно. После войны. Почему ты не училась?

Ольга посуровела, даже обозлилась.

— Легко тебе говорить — у тебя мать учительница. А у меня — торговка. А после войны... Боже мой, ты, правда, не от мира сего. Как ангел. Неужели не знаешь, что будет после войны?

— А что будет?

— Голод будет. Нужда. Не до учебы тогда будет.

— Мы победим — не будет голода, не будет нужды.

— Победим... Когда это будет? Немцы под Москвой. Вон кричат из репродукторов на всех рынках, что завтра Москву возьмут...

— Все равно мы победим! — Щеки у парня зарделись, глаза заблестели, голос задрожал. — Ты не веришь в победу?

Ольга знала, как мучительно он переживал такие разговоры. Полиции как-то были, пили в зале, кричали, что скоро Гитлер сделает Сталина капут, так после таких разговоров его, беднягу, всю ночь лихорадило, он даже бредил; она, Ольга, испугалась, что он опять тяжело заболел.

— Верю, верю...

Вообще она стала удерживаться от слов, которые могли бы его обидеть, оскорбить, и все еще чувствовала свою вину за «большевистского ублюдка».

Ее словам, что она верит в победу, Алесь не очень поверил и начал горячо доказывать, что без такой веры нельзя жить, что если бы он утратил веру в победу, то не жил бы ни одного дня, не

цеплялся бы за жизнь — какой смысл в ней, когда грязный солдатский сапог фашиста растопчет, испоганит все дорогое, ради чего стоит жить.

Ольгу все еще пугали эти его слова. Нет, пожалуй, не столько сами слова, сколько то, как он их говорит, с какой горячностью. Но теперь она не возразила. Даже не отважилась попросить, чтобы никому другому он об этом не говорил. Сила его духа покоряла. Ольга чувствовала, что власть, которую она имела над ним, большим, кончается; все идет к тому, что властелином — не имущества, нет, этого она не боялась, — мыслей, чувств ее становится он. Вот этого боялась, но странно — все слабее сопротивлялась.

Случалось, она прибегала с рынка, довольная удачной куплей-продажей, полная молодой энергией, здоровья, видела порядок в доме, — став на ноги, Алесь стал неплохим помощником ей; во всяком случае за малышкой смотрел лучше, чем тетка Мариля, — и у нее появлялось желание сделать ему приятное. Хватала Светку, кружилась с ней, пританцовывала, пела:

Я калгасніца маладая...¹

Сначала Алесь насторожился: уж не издевается ли она над радостью той жизни, которая дала вдохновение великому песняру, а ему, молодому поэту и воину, дала силы не согнуться под грозным ветром военных горестей? Но Ольга повторила песню раз, другой... без иронии, искренне, с явным намерением порадовать его. И он действительно порадовался тому, что у нее появились желание и смелость петь эту песню. Ведь убедить, переломить самое себя — это тоже немало, боец начинается с песни, от того, что он поет, зависит его боевой дух. Так говорил редактор их армейской газеты, старший батальонный комиссар Гаврон. Он застрелился, чтобы не попасть в плен, когда немцы окружили редакцию. Алесь видел его смерть и считал ее проявлением высокого мужества, которого не хватило ему, отчего он душевно мучился и в лагерях и тут, у Ольги, во время болезней. Теперь он стал думать иначе. Кому была бы польза, если бы он сгнил в земле? Немцам. А так он может еще повоевать. Даже если убьет только одного фашиста, то и ради этого стоило перенести все муки, бороться до последнего вздоха.

Да, он жил совсем иной жизнью, чем Ольга. Превращенный в няньку, он готовил себя к иному — к выполнению присяги, которую принял год назад. Закалял свои убеждения, свой высокий идеал, чтобы ничто уже не могло поколебать их, и свою волю, чтобы не отступить перед любой опасностью, не дрогнуть перед смертью, под дулами вражеских автоматов, перед виселицей. Для такой закалки использовал все: поэзию в первую очередь, свои воспоминания, мечты, мысли о матери и даже заботы о ребенке, отец которого в армии, свою любовь к Светке; она, любовь к конкрет-

ному ребенку, как-то материализовала его любовь к жизни вообще, к людям и напоминала о смысле борьбы и о смысле жертв в этой борьбе. Одно только не помогало в этой душевной подготовке — противоречивость отношений и чувств к Ольге. Понимал, что у него не хватит ни времени, ни умения перевоспитать ее, сделать иной, отвадить от торговли, накопления богатства. Чувство собственности, жадность — самые прочные пережитки. Как-то Ольга в порыве искренности проговорила, что мечтает открыть свою лавочку, немцы охотно дают разрешение. Как ей доказать, что за такое ей придется отвечать перед советским законом? У каждого спросят: «Что ты делал во время войны? Кому помогал? Кого кормил или одевал — своих или врагов?»

В бессонные ночи он обдумывал разные варианты своего вступления в строй активно действующих борцов. Сначала чаще переходил линию фронта, потом, после разговора с Леной, шел в партизаны, действовал тут, в Минске. Случалось, слишком возносился, давая волю фантазии, представлял себя великим, неуловимым героем, но тут же спускался на землю, безжалостно высмеивал бесплодные мечтания. Разве фронтовая жизнь не доказала ему, что сделаться героем в такой войне очень не просто? Да и вообще не о героизме и славе — надо думать об исполнении своего воинского долга.

Хотя ничего определенного Лена Боровская еще не сказала, но самые реальные мысли о вступлении в борьбу связывались с ней, она рассказывала о партизанах в окрестных лесах и о людях, что организуются в Минске.

Ольгино признание в любви и сообщение, что у нее есть радиоприемник и пистолет, начали снова настраивать его разгоряченную, нетерпеливую фантазию на высокие волны. Временами Ольга превращалась в таинственную личность, — например, в оставленную нашими разведчицу высокого класса. Но, рассудив, приходил к выводу, что думает ерунду: не той жизнью жили Ленивичи до войны, чтобы молодая женщина с ребенком, которую все тут знают, могла выполнять такое задание. И не такие взгляды надо иметь. И не такой трусихой быть.

Как-то вечером уложили вместе Светку, которая разгулялась и долго капризничала, и остались вдвоем, чувствуя некоторую неловкость. Алесь спросил шепотом:

— Он исправен?

— Кто?

— Приемник.

— Наверное, исправен.

— Давай послушаем Москву.

У нее сделались круглые, с яблоко, глаза.

— Ты что, дурак, на виселицу захотел?

Вот тебе и разведчица...

¹ Строка из стихотворения Янки Купалы.

О пистолете не отважился спросить, где спрятан, хотя пистолет, как ничто другое, лишил сна. Думал о нем день и ночь. Видел его, чувствовал холодок рукоятки, ласково гладил вороненое дуло. Когда оставался днем с ребенком, искать не отваживался, считал позорным воровски обыскивать чужой дом, самое большее — мог заглянуть в шкаф или открыть ящики комодов и столов. Даже в погреб в отсутствие Ольги ни разу не спустился. Но ходил по дому, останавливался в углах, прикидывал, где можно хитро спрятать небольшую вещь, чаще, чем нужно, наступал на скрипучую половицу, которая, наверное, поднималась. Каким-то таинственным чувством ощущал близость оружия, и это волновало. Знал, как неожиданно просто, недалеко, но хитро, умеют прятать вещи женщины, мужчины обычно прячут дальше, но тайники их находят легче. Ольга спрятала недалеко, он понял это из ее признания, что она передрожала, пока гитлеровцы искали золото. Значит, пистолет где-то тут, в доме, иначе не дрожала бы, будь он закопан в саду или в хлеву.

Почему-то был уверен, что в какой-то момент неожиданно придет просветление и он догадается, где спрятан пистолет. И вооружится. И убьет первого гитлеровца. Кончатся муки от того, что за три месяца пребывания на фронте, тяжелого отступления с армией он лично не убил ни одного фашиста; трижды попадая в окружение, он ни разу не стрелял в упор, так, чтобы видеть, что именно твоя пуля скосила врага.

Оставаясь один, Алесь писал стихи, писать начал, едва оправившись от болезни, когда еще не очень верил, что выживет. Хотелось что-то оставить после себя. В плену он потерял все написанное раньше. Захваченное немцами исчезнет, конечно, бесследно. Писал не для литературы, чтобы осталось — об этом он не думал. Для матери. Чтобы она знала, чем он жил в последние дни.

Записывал стихи в ученическую тетрадь и прятал ее под матрац. Гитлеровцы перевернули его постель, хорошо, что тетрадь не заинтересовала их, а то прочитали бы о его гневе и ненависти. После обыска, заучив стихи на память, он сжег тетрадь в печке, чтобы не подвести Ольгу. Желание оставить после себя слабые стихи (на счет их достоинств иллюзий не было) теперь казалось наивным. За время болезни он возмужал и посуровел больше, чем в плену. Другими стали мысли, стремления. Но не писать не мог — душа горела.

Единственное, что он брал без Ольгиного разрешения, — это клочья какой-нибудь бумаги: листки порванного учебника, старой тетради, куски обоев. На них записывал стихи, пока сочинял их. Потом выучивал и бумажки сжигал. Не оставляя никаких следов. Только Светка иногда рассказывала матери, показывая пальчиком на печку:

— Жи-жа...

Да Ольга не понимала, считала, что дочь просит разжечь огонь. Хотелось на улицу, погулять, укрепить свои ослабевшие ноги.

Ольга долго не разрешала выходить, будто боялась, что, вырвавшись из дома, он не вернется. Конечно, он мог бы выйти сам, если бы не нужно было просить у нее пальто. Наконец наступил день, когда Ольга дала ему кофух, отцовский. Разрешила выйти, только попросила дальше своей улицы не ходить.

Вышел под вечер. Город окутался морозной мглой. На деревьях вырос иней, и в таком уборе деревья были сказочно красивы. Алесь всегда любил иней и много писал о зимнем очаровании. Над трубами деревянных комаровских домов совсем по-деревенски поднимался дым, который почему-то особенно растрогал. Вспомнилась грибоедовская строка: «И дым отечества нам сладок и приятен». И вправду, он был сладкий, этот дым, он очень вкусно пах, даже там, где топили торфом.

А вообще такая мирная идиллия и тишина пугали. Не сама тишина, а то, что он залюбовался ею, поверил в нее. Жадно, будто вышел из подземелья, вдыхал морозный воздух так глубоко, что кружилась голова. Преодолея слабость, пошел по улице. И вдруг красота померкла. Подумал о другом: «Где дом Лены Боровской?» Лена давно не появлялась. А именно теперь хотелось поговорить. Хотя точно не знал, что конкретно мог бы сказать ей, но верил, что от разговора их могло проясниться его положение после выздоровления.

Когда вернулся домой, подмывало спросить у Ольги, где живут Боровские, но просто так спросить не отважился, подступил издалика:

— Почему-то Лена не заходит...

— Заскучал? — спросила Ольга проищески и настороженно, потом сурово разъяснила: — Не до гулянок ей, на хлеб нужно зарабатывать, семья голодает.

Но ему повезло. В третий свой выход он встретил Лену на улице. Мороз в тот день крепчал, небо очистилось и горело на западе зловещей краснотой, под ногами звонко скрипел снег. Лена естественно и просто обрадовалась, что он гуляет:

— Уже выходишь? Ой как хорошо!

Раньше они разговаривали как давние друзья, у которых было что сказать друг другу, теперь же от неожиданности встречи растерялись, не знали, с чего начать. Разговор пошел нормально, когда Лена спросила, что он думает теперь делать, где работать, какая у него специальность. Погрустнела, услышав, что специальности у него никакой нет, не успел приобрести, с третьего курса пединститута забрали в армию. Но, узнав, что в армии он работал в редакции, повеселела. Предложила:

— Приходи к нам в типографию. Я поговорю с начальником. Он добрый, наш Ганс.

— Ваш Ганс? Добрый? — насторожился и усомнился Алесь.

Лена поняла его, усмехнулась.

— Мы зовем его Иваном Ивановичем. Ему нравится. Правда, он добрый и... доверчивый. Хорошо, что доверчивый.

Зная, что такое типография, Алесь мог представить, как можно использовать доверчивость немца-начальника. Возможно, представил даже больше, чем могли сделать Лена и ее друзья в то время.

— Как там наши? — спросил шепотом, оглянувшись.

Лена вздохнула.

— Целую неделю не имеем сводок.

Алесь понял, почему она вздохнула — что-то случилось с приемником, — и неожиданно для самого себя сказал:

— У одного человека есть приемник.

— У Ольги? — сразу догадалась Лена, ибо о ком еще мог знать этот паренек, возможно впервые вышедший на улицу после болезни. Глаза у Лены заблестели не простым любопытством. — Вы слушаете?

— Чтобы Ольга отважилась слушать...

— О, от Ольги можно ожидать чего хочешь!

— Но не героизма.

Алесь рассказал, после какого случая Ольга призналась, что у нее есть приемник. О пистолете смолчал.

Руководитель группы предупреждал, что даже с таким пленным нужно быть крайне осторожной — слишком легко его отдал из лагеря. Но согласиться с ним Лена не могла, ведь знала, как парень болел, слышала, что, едва очнувшись, он слабым голосом вот так же спросил: «Как там наши?» А как обрадовался октябрьскому поздравлению и Ольгиному предложению отметить праздник! Потому без всякой конспиративной хитрости сказала:

— Нужно забрать у нее приемник.

— Как?

— Подумай. Это твоё первое боевое задание.

Лена представить не могла, как взволновали Алесь слова «боевое задание» — очень многое они раскрывали. От своего имени Лена так бы не говорила. Когда-то она сказала ему, больному, что в городе есть люди, коммунисты, готовые подняться на борьбу. Значит, теперь она говорит от имени тех людей, они и дают ему боевое задание! И он обязательно должен выполнить это задание! Сначала оно не казалось сложным. Если хорошо попросить Ольгу... Но Лена предупредила, что Ольге не следует говорить, от кого просьба, да и про их встречу лучше промолчать; за приемником, когда они договорятся, придет кто-то другой. Тогда он понял, что непростое у него задание, нелегкая задача.

С Леной ему было хорошо, просто, по-свойски как-то, как с сестрой. Но они быстро распрощались.

— Не надо, чтобы обратили на нас внимание. Комаровские сплетницы тут же разнесут, как сороки. А Ольга ревнивая. Никому не позволит зариться на то, что она считает своим. — Лена улыбнулась не очень весело, пожалуй, серьезно, как бы подчеркивая, что не шутит.

Алесь смутился, как девушка, ему показалось, что Лена знает о разговоре между ним и Ольгой после обыска.

Он намеревался поговорить с Ольгой в тот же вечер. Но она вернулась из какого-то своего торгового похода не в настроении, злая. Раньше он попробовал бы поднять ее настроение — стихами, возней со Светкой. Но теперь отношения их еще более усложнились. После ее признания появилась какая-то особая настороженность и боязнь. Да, он боялся ее силы и своей слабости, а потому волновался и конфузился больше, чем тогда, когда лежал больной. Как же сказать о приемнике? Для такого разговора необходим какой-то иной душевный контакт. Но какой и как его наладить? Только вечером следующего дня показалось, что Ольга добрая, немного как бы грустная, но душевно мягкой, ласковая. Да и сам он убедил себя за день, что откладывать нельзя, не для забавы необходима вещь — для борьбы, в таком деле не только день, каждый час дорог.

За столом, когда ужинали, Ольга всмотрелась в его лицо, спросила:

— Почему ты слабо поправляешься? Одни глаза блестят. Плохо я тебя кормлю, что ли? Ешь больше.

— Спасибо. Ем. Больше некуда.

— Сушат тебя мысли.

— Сушат, — согласился он, сразу сообразив, что от такого разговора можно перекинуть мосток к другому.

Ольга вздохнула, догадалась, наверное, какие у него мысли.

— Мыслей много... Но теперь я все думаю о твоих вещах...

— О каких?

Он оглянулся на темное окно, без слов давая понять, о каких вещах пойдет разговор.

— Зачем ты их прячешь? Налетят опять фашисты, перевернут все и найдут. Знаешь же немецкие постановления на этот счет. Попады не жди. А у тебя ребенок... Загубить себя из жадности...

О жадности не стоило говорить. Ольга откинулась на спинку стула, глубоко вздохнула, и ноздри у нее хищно раздулись. Но спросила пока что спокойно:

— Куда же мне их деть?

Алесь предвидел этот вопрос и готовил на него разные ответы. Был вариант предложить ей продать приемник. Лена прислала бы покупателя. Но вдруг понял, что любая хитрость тут не к месту. Только искренность, только полное доверие могут подействовать на эту женщину, покорить ее. Так ему показалось.

— Есть люди, которым очень нужен приемник.

Ольгино лицо сделалось некрасивым из-за странного оскала — хотела улыбнуться и... не смогла, не получилась улыбка, застыла, омертвела. Поднялась со стула осторожно, будто у нее что-то заболело, и спросила сначала тихо:

— Кому... кому нужен? Лене?

— Не одной ей. Не музыку слушать.

Улыбка наконец пробилась через тяжелую маску, но недобрая, злая. Ольга зашипела:

— Быстро же вы снюхались! Два раза вышел погулять — и уже встретились, договорились... Или она бежит к тебе, когда меня нет? Застану — ноги поломаю! — Это уже был крик, она сорвалась, закричала во весь голос, показала фигу в темное окно с большей злостью, чем показывала ее немцам. — Вот ей, а не приемник! Сломано! Сожгу! Закопаю! А ей не дам! Скрутит она голову и без моего приемника! Ишь ты, борец! Теперь я знаю, за кого она борется!

Алесь подскочил к ней, схватил за плечи, гневно зашептал:

— Замолчи! Сейчас же замолчи! На кого ты кричишь? Почему ты кричишь? Люди жизни не жалеют... Люди хотят знать правду, чтобы народу рассказать. Хотят помочь Красной Армии. У тебя там муж, брат. А ты... ты о чем думаешь? О богатстве? Об утробе своей? Мещанка!

Сказал это и... оторопел, понял, что перебрал, умолк, ожидая, что в ответ Ольга сейчас такое понесет... Но она молчала. Смотрела на него широко раскрытыми глазами, и светилась в них не злость, не возмущение, а, пожалуй, удивление. А ему стало тяжело дышать. Вспышка отняла силу, которой он немного накопил. Понурясь, Алесь тихо сказал:

— Не нужен нам твой приемник. Без него обойдемся.

И пошел из кухни в свою темную комнату. Сел на кровать. Кружилась голова. Снова, как после обыска, когда она оглушила «большевистским ублюдком», подумал, что, если у него есть хотя бы капля гордости, он должен тут же оставить этот дом. Но опять же был вечер, хотя и не такой поздний, как тогда, но как раз в такое время патрули проявляют свою бдительность. Без пропуска не пройдешь. Да и одежда... Он вынужден будет просить у нее... Чтобы перебежать к Боровским, пожалуй, не нужно ни пропуска, ни теплой одежды. Но где их дом? Где-то в соседнем переулке, однако ни названия переулка, ни номера дома он не знает, у Лены не успел спросить, у Ольги — не отважился. Безусловно, не все люди ходят с пропусками. Но в таком случае нужно знать город и иметь определенную цель, определенный адрес, куда идти. Он же города не знает, и, кроме Лены Боровской, у него нет ни одного знакомого, который мог бы приютить в зимнюю ночь.

Мучился не только от безысходности своего положения, от унижительной зависимости, но и оттого, что сказал Ольге обидное слово. Несмотря ни на что, он не может не быть благодарен ей. Мечтал не так проститься. Мечтал низко поклониться ей, поцеловать руки и слова сказать особенные. А сказал вон как! О том, что жестокие и гневные слова его не обидели Ольгу, не мог и подумать.

А между тем это было так. Привыкнув в своем базарном окружении и не к таким словам, Ольга совсем не обиделась за «мещанку» и за все упреки, брошенные им. Об утробе думает? А кто не думает? Сколько их таких, как он, святых? Короткая у них жизнь в такое суровое время. Как у мотыльков. Только под крылом ее мещанским он может прожить дольше. Вот о чем она думала все время. А вспышка его даже обрадовала. Как он схватил ее за пле-

чо, как встряхнул, зашипел! Может, впервые она почувствовала в нем мужчину.

Но, вспомнив обыск и его намерение уйти, испугалась. Поняла: не он оскорбил, а она оскорбила чувства его высокие, его стремления. И он может уйти. Этого она боялась. От мысли такой холодела не одну ночь. Страшно остаться одной. Чтобы снова нахально приставали полицаи... Но даже и не поэтому. Может, главное в том, что с ним она почувствовала себя как бы богаче и... чище. Душевно чище. Раньше никогда не думала, что кроме того богатства, которое можно купить и продать, есть еще и такое, душевное, не покупаемое ни за какие деньги, но, когда есть оно, с ним легче жить. Теперь даже к торговле своей, к приобретению продуктов, дорогих вещей, она относилась иначе, начала сознавать, что все это может понадобиться не ей одной. Кому и зачем это может понадобиться, пока что ясно не представляла, но мысли такие как бы очищали. И все это от него, от этого большого парня. От стихов его. От высоких слов про Родину. От порывов, над которыми сначала хотелось посмеяться: мол, хотя и двадцать лет тебе, а мысли детские, начитался книжек, а жизни не знаешь, а она, жизнь, совсем иная, чем в книжках. Но теперь выходит, что и ее чем-то захватила эта книжная, выдуманная, как она считала, жизнь. А может, не такая она выдуманная? Может, правда, нужно жить иначе? Нет, о том, чтобы изменить свою жизнь теперь, во время войны, Ольга, безусловно, не думала. Не будет она голодать, как Боровские, и ребенка голодом морить не собирается. Но о соединении одного с другим, своих рыночных дел с необычностью, красотой вечернего отдыха, — об этом начинала думать. Чтобы он тихим, но дрожащим от волнения голосом читал вот такое:

Таварышы-братцы! Калі наша родзіна-маці
У змаганні з нядоляй-патрадцёй апошнія сілы,—
Ці хвапе нам духу ў час гэты жыццё ёй аддаці,
Без скаргі палеч у магілы?!¹ —

а она сидела бы, подперев рукой щеку, смотрела на его бледное лицо, на его и впрямь ангельский вид, и ей хотелось бы плакать от этих жалостных слов, от своего умиления им, от страха за него... от всего сразу. Нет, пусть она будет искренней сама с собой: думала она не только о духовной близости... Не постеснялась признаться, что любит его и никому не отдаст. И любовь ее теперешняя совсем не похожа на ту, что была к Адасю и до замужества, и после, во время их совместной жизни. Она, эта новая любовь, — как у того Блока, которого они читали вместе, а потом она по утрам читала одна, почему-то не желая, чтобы Алесь видел это, стеснялась. Только ревность ее была прежняя, такая же, как и ко всем тем женщинам, которые иногда заглядывались на ее Адася. Когда-то она избила кондукторшу трамвая, когда сама увидела, что та би-

¹ Стихи Максима Богдановича.

леты продавать забывает, а стоит около вагоновожатого и балаболит ему на ухо. Да еще и у начальства трамвайного парка требовала не направлять такую на линию: она не хочет, чтобы муж ее попал в тюрьму, чтобы на его совести была человеческая жизнь, хватит того, что отец ее под трамваем смерть нашел.

Никаких других отношений между молодым мужчиной и молодой женщиной Ольга признавать не хотела. Потому и поверить не могла, что у Лены иной интерес во встречах с Алесем. Считала, что у любой бабы, какую бы должность она ни занимала, что бы ни делала, в голове одно — мужчина.

Была уверена, что Лена связана с теми, кто взорвал офицерское кафе на Комсомольской улице, подпалил склад на товарной станции, о ком немцы вывешивают приказы — пойман, расстрелян, но ревность от этой уверенности не уменьшалась. Пожалуй, наоборот: думала, что поскольку и он рвется туда же, то такая общность взглядов и порывов обязательно сблизит их.

Ольга долго сидела на кухне, опечаленная, кляла свой дурной характер и свою сиротскую долю.

В зале постояла перед зеленой плюшевой занавеской — дверьми в его комнату. Хотела, чтобы Алесь отозвался. Но он молчал, его не было слышно — притаился. Тяжело вздохнула, пошла к себе. Заснуть не могла. Ворочалась, вздыхала: пусть слышит, может, поймет, что и она переживает, он добрый, смягчится, пожалеет.

После своего признания, смутившего парня, сколько раз Ольга порывалась пойти к нему ночью. Но каждый раз сдерживала себя. Не из стыдливости. Нет. Никогда не стыдилась взять то, что считала принадлежащим ей. Сдерживало иное. Дала зарок не делать первого шага, не ронять женского достоинства. Добиться, чтобы пришел он. Только в таком случае счастье ее будет полным.

Но теперь, когда возникла угроза, что утром он может уйти навсегда, — к Лене уйти! — стало не до тонкостей, нужно отважиться на такое, что привязало бы его навсегда. Это будет очень нелегко. Раньше самоуверенно полагала, что ни один мужчина не в силах устоять перед ее чарами. Но в отношении Алеся такой уверенности не было. Необычный он, одержимый какой-то. Да и слабый еще, выздороветь выздоровел, а сил не набрался.

В полночь, услышав в тишине ночи, как он повернулся и вздохнул, — не спит, мучается, бедняга! — Ольга наконец решилась.

Пошла в одной сорочке, босая. А он лежал на незастланной постели, поверх одеяла, нераздетый. Ольга на мгновение растерялась. Но в ноги тянуло от холодного пола. Да и не отступала она никогда от того, что задумывала. И она забралась под край ватного одеяла, на котором он лежал.

Алесь отодвинулся, но не поднялся и ничего не сказал. Это ее подбодрило. Однако Ольга ждала, чтобы первым заговорил он, пусть скажет хотя бы одно слово — и все станет ясным. Но он молчал, даже дышать перестал. «Испугался», — подумала Ольга, и ей стало весело, захотелось смеяться.

— Ты обиделся?

— Не-ет. За что?

Хорошо, что он отвечает, но плохо, если считает, что на нее не стоит даже обижаться.

— Я тебя люблю.

Он не ответил. Это задело ее женское самолюбие, она спросила с иронией:

— Скажи мне, ты мужчина или не мужчина?

— Я никогда не крал чужое.

Тогда она повернулась, приподнялась, наклонилась над ним, ощущая близость его губ, зашептала:

— А это не чужое. Твое!.. Все тут твоё! Любимый мой, славный и глупый! Какой же ты ягненок неразумный! Не бойся. Полюби меня, и я все отдам тебе! — и зажала ему рот губами, чтобы он не сказал, что ему ничего не нужно. Целовала горячо, жадно...

А потом была бессонная и очень короткая ночь. Они говорили без конца. Они как бы спешили высказать все, чего не могли сказать друг другу больше чем за месяц жизни под одной крышей.

Конечно, Адасевой силы у него не было. Но было иное, чего она не знала раньше, — необычная нежность и в словах, и в поцелуях, и в трепетной взволнованности, даже в ударах сердца, которые она слышала, прижимая его к себе.

Алесь признался, что до этого не знал ни одной женщины, она первая. Ольгу растрогало это и наполнило еще большей влюбленностью и радостью. Все, что произошло между ними, казалось совершенно чистым, безгрешным, и совесть не тревожила ее, не чувствовала она вины ни перед Адасем, ни перед дочерью. Вину чувствовал он. Сказал об этом. Ольга ответила поцелуями.

— Не думай, не думай... не нужно. Не твоя вина, моя. Я грешная... Но я не боюсь греха, потому что люблю тебя.

Попробовала попросить, чтобы никуда не рвался, ни в какую борьбу не вступал, пережил войну у нее, и она даст ему все, что нужно для счастья. Сказала — и сразу почувствовала его молчаливую настороженность и... отчужденность; он будто резко отстранился, хотя в действительности не пошевелился, только замер в неподвижности. Опомнилась и зареклась: не говорить больше об этом, пусть все идет как идет. И чтобы вновь приблизить его, сказала:

— А приемник... правда, зачем он нам, если все равно послушать радио нельзя?.. Пусть Лена забирает... Только, если что, не сказала бы, у кого взяла...

— Не скажет, Лена не скажет, — быстро и горячо зашептала Алесь.

— Ты так говоришь, будто знаком с ней с пеленок. Я ее лучше знаю, — сказала между прочим, без определенного оттенка, сама довольная, что прежней ревности нет. Откуда ей быть, той ревности, когда парень принадлежит ей и она знает, какой он действительно ягненок.

Но вместе с тем этот кроткий юноша стал ее властелином, и она отдавала ему все, открывала все тайны. Даже призналась, где прячет пистолет. Сама сказала. В старой иконе, что висит на кухне. Покойница мать сделала в иконе тайник еще во время гражданской войны, когда в Минске по два раза в год менялась власть.

За приемником приехали на грузовике, с камуфляжно, немецки, раскрашенной кабиной и бортами. Машина испугала Ольгу. Она только что вернулась с барахолки, где натерпелась страху. Немцы устроили первую массовую облаву. Окружили весь рынок, выпускали через трое ворот, проверяли документы, вещи, обшаривая даже карманы. Ольга не боялась ареста. За что ее могут арестовать, известную всей полиции, да и некоторым немецким жандармам, торговку? Но испугалась, что лишится добра. В тот день коммерция ее шла выгодно. Она продала муку, соль и нутряное сало не за марки — в оккупационные марки слабо верила, — за перстни золотые и ручные часы, при этом, что важно для душевного спокойствия, не боялась, что ее обманули, подсунули вместо золота начищенную медь: со старым профессором в золотом пенсне, которому очень нужно было поддержать больную жену, она договорилась еще два дня назад. Растроганная его непрактичностью и беспомощностью, дала старику дополнительно фунт пшена, хотя могла бы и не давать. Доброта ее была вознаграждена: за остаток сала и пшена купила отрез чудесного, тонкого сукна. А потом еще больше повезло. На глаза попался тот-усатый, красивый мужчина, подходивший к ней еще осенью, в первые холода. Тогда он был в добротном, вышитом золотыми нитями кожаном, шутил, набиваясь в примки. Сейчас он мало походил на жениха: похудел, усы отросли и обвисли, как у старика, порыжели, будто подпаленные; одет он был в замызганный ватник, на голове облезлая заячья шапка. Но на руке у него висел все тот же кожанок, привлекая уже не золотом вышивки, а густой шерстью. Наверное, мужчина запрашивал приличную цену, потому что покупатели сразу отстали.

У Ольги даже екнуло сердце: вот оно, торговое счастье, весь день не изменяет, два месяца назад привлек ее этот кожанок, разгорелся зуб купить его, и вот он сам просится в руки. Может, теперь кожанок и не так уж входил в ее коммерческие расчеты. Но сам факт, что вещь, которая когда-то понравилась, снова попала на глаза, принуждал обязательно купить ее. Нужно показать гонористому пану, кто тут хозяин, в этом людском водвороте, — он, полинявший, или она, по-прежнему краснощекая. Так и подумала с веселой игривостью: «Сейчас ты увидишь, кто здесь шука, а кто карась».

— Продаешь?

Он тоже узнал ее, засмеялся.

— А ты, красавица, повсюду. Где же твои драники?

— Дров нет, чтобы печь, — засмеялась и Ольга.

— Жаль. Как бы я съел сегодня горячий драник! — Мужчина сглотнул слюну и постучал сапогом о сапог — замерзли ноги.

Тем временем Ольга развернула кожанок и по-мальчишески свистнула: красная и золотая краска сильно загрязнена как раз спереди, где вышивка, будто в кожанке грузили дрова или ползали по земле.

— Сбил пан цену своему товару.

— Я дам рецепт, как почистить.

— Сам почистил бы.

— Не хватает времени.

— Какой занатой пан!

— Да уж...

Ольга вернула кожанок, давая понять, что в таком виде он мало интересует ее. Посочувствовала, как хорошему знакомому, без насмешки:

— Напрасно не продал тогда. Я хорошо заплатила бы.

Но ему явно не хотелось говорить с привлекательной торговкой серьезно, он паясничал:

— Если бы согласилась взять в придачу...

Ольга вспомнила Алеся, необычность его ласк и не меньшую необычность своих чувств и засмеялась, глядя на рыжие усы.

— Если бы у пана не было таких усов... Я боюсь уса-тых.

— Для такой женщины головы не пожалеешь, не то что усов.

— Теперь уже поздно.

— Вот как? Повезло же кому-то! А мне усы, выходит, помешали. А я на них такие надежды возлагал...

Ольга подумала, что кожанок и в таком виде пригодится Але-сю. После воспаления легких ему нужна теплая одежда. А что загрязненный, то это, пожалуй, хорошо — меньше будут внимание обращать. Такому, как он, лучше быть незаметным. Снова взяла кожанок, пощупала шерсть.

— Что просишь?

— А что дашь?

— Сало. Самогонку.

— Марки. Мне нужны марки. Фабрику хочу купить.

— А пан веселый.

— Вижу, пани тоже не унывает.

Веселый, веселый, а за цену стоял упорно, не хотел уступить и десятки. Ольга недовольно подумала: «Ишь ты, торгуется лучше нас, базарных баб».

Но опять же уплата марками вышла ей на счастье. Бутылка самогонки осталась нетронутой и помогла ей выскочить из обла-вы. Отдала бутылку знакомому полицая, и тот вывел ее из окру-жения через тайный, известный только им, полицаям, лаз в до-щатом заборе. Каждый что-то выгадывал себе в этом вертене: нем-цы — себе, полицай — себе — за счет таких, как она, у кого было чем откупиться. Конечно, ее не арестовали бы, тех, кто имел аус-вайсы, отпускали, но кошельки многих и даже карманы пустели.

Во множестве приказов и постановлений расписывалось, чем можно торговать, а чем нельзя. Постановления часто противоречили друг другу. Этим пользовалась если не сама СД, то те, кто помогал ей, — солдаты охраны тыла, полиция. Во время облав нагло грабили и подозрительных, и неподозрительных. И никто не жаловался. Кому пожалуешься? И на кого? Лучше подальше от лиха.

Домой Ольга вернулась довольная — торговля вышла удачнее, чем она надеялась, и из облавы выскочила без особенных потерь. Рассказывала Алесю о кожухе, о его бывшем хозяине и об облаве весело, со смехом. А потом, спохватившись, спросила тихо, с тревогой:

— Не привезжали?

— Нет.

Ей не понравилось предупреждение Лены, что за приемником приедут на машине в воскресенье: казалось, было бы проще Лене перенести его к себе как-нибудь вечером — на комаровских улицах патрули редко ходят.

Больше, чем немецкий грузовик, испугало Ольгу то, что из кабины выскочил и пошел к воротам тот усатый, у которого она три часа назад купила кожухок.

Вошел он смело, с грохотом, как странствующий портной, только, открывая двери, вежливо попросил разрешения:

— Можно?

Увидел Ольгу, удивился, сделал большие глаза, комично восторжничал усы, коротко хохотнул.

— Ай да встреча! Везет мне.

Но застывшее Ольгино лицо — не веселая торговка, а сурово озабоченная и встревоженная хозяйка стояла перед ним — заставило его виновато понуриться и тихо сказать пароль:

— Привет вам от Фаины. Она просила забрать ее чемодан.

— Как там племянник растет?

— Петька? Начал ходить.

Алесю, который из романов знал пароли замысловатые, с глубоким смыслом, такой бытовой пароль-диалог показался наивным, неумелым, и это его немного встревожило. Не понравилось, как усатый хохотнул, сразу выдав знакомство с Ольгой. Но сам человек понравился. Особым чутьем солдата Алесь почувствовал в нем командира, волевого, опытного, и решил, что это не кто иной, как руководитель подпольной группы, таким его себе и представлял.

Алесь выступил вперед, протянул руку:

— Добрый день, товарищ. — Голос его дрожал от волнения.

— Добрый день, — сказал усатый не как приветствие, а как похвалу дню и сжал хилую, немужскую Алесеву руку так, что тот едва не ойкнул от бели; весело блеснув глазами, гость объяснил, почему он добрый, день: — Я выгодно продал кожухок одной пани.

После этих слов от Ольгиного сердца отхлынул страх, исчезла не свойственная ей конфузливость, от которой она будто одереве-

нела; сделалось легко, просто, весело, она звонко засмеялась и сказала, как давнему знакомому:

— Балабол ты старый. Испугал.

— Старый? Пани Леновичиха, смилуйтесь, не записывайте в старики. Узнают девчата...

Алесю хотелось услышать от этого человека особенные, очень серьезные, высокие слова — о борьбе. А он скадил зубы с женщиной. Парня нехорошо задело, что они встречались раньше и что Ольга с ним на «ты».

— Товарищ... — попытался Алесь завести разговор.

— Евсей. Мое имя Евсей. К такому имени не подходит ни «пан», ни «товарищ». Просто Евсей...

Алесь понял, что человек, который доверился им, в то же время уклоняется от серьезного разговора. Почему? Кому из них не верит? Ольге? Или, может, ему, бывшему пленному? Плен все еще чувствовал как клеймо, которое жгло и бросалось в глаза людям.

Очень хотелось остаться с усатым наедине и сказать ему честно, по-мужски, что он комсомолец, молодой поэт и готов сегодня же вступить в подпольную группу и исполнить любое задание. Ольга сказала, где спрятан приемник: на чердаке, в куче старых стульев, матрацев, ушатов, кастрюль, тряпья. Необходимо ползти туда вместе с Евсеем и там поговорить. Нужно только одеться, иначе Ольга не выпустит за дверь. Но Ольга как бы прочитала его мысли — первая схватила с гвоздя купленный кожухок, накинула на плечи. Сказала усатому:

— Полезли за чемоданом.

У Алеся появилось то же чувство, что и при словах Ольги: «Балабол ты старый...» Но он устыдился этой обывательской чуши, которая лезет в голову, в сердце и опошляет его высокие мысли, порывы. Не до ревности теперь.

Пока Ольга откапывала приемник, Евсей осмотрел чердак, заглянул в оконца — в одно, в другое, — будто выбирал наблюдательный пункт или изучал сектор обстрела. С особенным вниманием, с интересом осмотрел ближайшие дома, перспективу кривых улиц, запомнил, где переулочек проходной, а где тупик. Вернулся к Ольге, которая заворачивала приемник в дерюгу, сказал все так же весело:

— Командная высота у вас тут. И кострѣ мягкая.

Ольга не поняла, что к чему, как высота относилась к костре. Тут, на чердаке, один на один с таинственным незнакомцем, делая дело, за которое можно очутиться в тюрьме, а то и на виселице, она снова утратила свою бойкость и игривость. Говорила приглушенным шепотом. Теперь это был не страх, а что-то новое, значительное и непонятное, как тайна венчания или причастия.

— Хилый твой квартирант. Слабенький. Как ребенок.

— У него душа сильная.

— О, а ему, правда, можно повавидовать. Получить такую похвалу! Что ж, увидим.

Тогда она повернулась к нему и неожиданно для себя попросила:

— Не втягивайте вы его куда... Зачем он вам, такой? И вправду дитя. Лучше я отдам вам... Хотела сказать «револьвер», но осеклась, может, потому, что он не выказал удивления, не возразил, не согласился. Даже не посмотрел на нее — проверял, надежно ли завернут приемник. Потом легко подхватил тяжелую пошу, пошел к лестнице.

Ольга спустилась вслед за ним. Он ждал ее в каморке под лестницей, снова придирчиво осматривая ненадежную упаковку. Попросил мешок. Засунул приемник в мешок, напихал по бокам тряпок, чтобы мешок выглядел мягким, не выпирали острые углы.

— Соседям скажешь, продала... Что ты можешь продать?

— Картошку, свеклу. Шерсть. У меня есть шерсть.

Он как будто позавидовал:

— Богато живешь.

Ольга увидела, как он голодно проглотил слюну, вспомнив о ее драниках. Стоит накормить его, хотя в то же время не хотелось, чтобы он задерживался в доме. Получил что положено — и, как говорят, с богом.

Но предложила:

— Драников нет, а картошка в печи горячая, с салом.

Евсей засмеялся.

— Не хватит кожуха рассчитаться за машину. — И осторожно завалил мешок на плечи.

Ольга вышла следом за воротами и застыла, ошеломленная: за рулем грузовика сидел немецкий солдат.

Евсей положил приемник на сиденье рядом с шофером. У Ольги мелькнула самая страшная мысль. Но она успокоилась, вспомнив: «Не хватит кожуха рассчитаться...» И все равно ужаснулась: какой бешеный риск — нанимать немца!

Она сорвала с плеч кожух, протянула ему:

— А кожух? Чуть не забыл кожух.

Он на мгновение растерялся, но тут же схватил кожух, бросил на приемник, засмеялся.

— Спасибо, сестра. — И вскочил в кабину.

У Ольги подкашивались ноги, она долго не могла сойти с места, пока не услышала, что сзади нее, за калиткой, стоит Алесь. Рассердилась, что он вышел так, в одном пиджачке, без шапки.

— Ты как малый ребенок! Хуже Светки! — С сильным стуком захлопнула калитку, погнала его в дом. — Хочешь снова лежать? Вот же дурунь!

За дверью, в сенях, Алесь повернулся к ней и, будто действительно сильно замерз, дрожащим голосом сжал:

— Ты видела? Немец!

Немец за рулем испугал парня не меньше, чем ее вначале. Но, сама рисковая, она уже в душе хвалила такую хитрость смелого и веселого человека.

— Не бойся, он правильно придумал. Шофер не станет проверять, что везет, а патрули не остановят военную машину.

— Откуда ты знаешь его?

Ольга силком вихнула его в кухню и там, в тепле, почти радостно засмеялась:

— Боже мой, да ты ревнуешь!

Алесь сконфузился, покраснел.

Ольга обняла его, поцеловала в губы, в лоб.

— Как я люблю тебя! Сашечка, родненький! Никого на свете так не любила! Чем ты меня так приворожил? А того, усатого... Я купила у него кожухок. Как он торговался! За каждую марку! А я отдала ему кожухок назад. Он же его продал, чтобы заплатить за машину.

Смех ее постепенно затихал, теперь она говорила серьезно, смотрела Алесю в глаза и держала за плечи так, будто боялась, что если отпустит, то потеряет навсегда, целовала нервно, жадно. Потом вдруг повернулась к иконе, в которой прятала пистолет, перекрестилась.

— О мать божья! Как ношу с плеч сбросила. И с души! На черта он мне, этот приемник! — И вымолвила как угрозу неизвестно кому: — Ну, теперь все! Все! И Ленку эту, партизанку, на порог не пушу. Все. Все! И ничего ты мне не говори! Ничего! Слушать не хочу. — И зажала уши ладонями, хотя Алесь не вымолвил ни слова. — У меня ребенок! Ягодка моя! Кровиночка моя! Сиротинка моя ненаглядная! — Села на кухонный табурет, залилась слезами. — Нет, не хочу! Не хочу! Все! Все! Что вы делаете со мной? Жалости у вас нет к людям...

Такого приступа у нее еще не было. Алесь стоял у дверей, смотрел на нее и молчал, думал, что женщину эту трудно понять, а потому неизвестно, что ей ответить. Может, обнять, приласкать и таким образом успокоить? Шагнул к ней, но она испуганно сжалась, закрылась руками, затрясла головой.

— Нет, нет! Не хочу! Не могу! Не трогайте меня! Не трогайте!

И тогда он подумал, что лучше действительно не трогать ее. Не втягивать в борьбу. Не тот это человек, который нужен в том деле, в которое вступает он... Задание с приемником давало ему право считать себя принятым в ряды подпольщиков. Но вместе с тем, как никогда раньше, ему сделалось больно от мысли, что он вынужден покинуть этот дом и Ольгу, близость с которой вернула ему радость жизни, теперь он чувствовал к ней не просто благодарность, а то, о чем так много писал и читал... Он любит ее! И рад этому. Но имеет ли он право любить в такое время, связывать свою судьбу с женщиной, да еще с замужней и... с такими взглядами?

Алесь не понимал Ольгу, а Ольга в тот день не понимала самое себя. Поплакать она умела и даже любила. Но чаще делала это с выгодой для себя. Когда-то плакала перед родителями. Перед Ада-сем. Перед чужими людьми иногда выплескивала такие фонтаны слез, что и у самых черствых смягчались сердца. А тут? Чего она

добивается тут? Хочет покорить парня? Так покорила уже. Во всем. Кроме одного... В одном — в своем стремлении воевать с немцами — его мягкая душа тверже металла. Так чего же она может добиться? Что он выполнит свое обещание — уйдет от нее с благодарностью и любовью, как он сказал? Но этого она не хотела. Зачем же угрожать, что с приемником все кончится? А может, только начнется? Думая об этом, она внимательно следила за поведением Алеся. Понимала, что в ее интересах быстрее успокоиться, но слез сдерживать не могла. За всю жизнь плакала так искренне разве что на похоронах матери. Проснувшись Светка, слышала всхлипы матери и, испуганная, закричала голосисто, на весь дом.

Алесь первый бросился к ребенку.

VI

Нет, с приемника ничего не началось. Напрасно боялась Ольга. Напрасно считал Алесь, что приемник дал ему пропуск в подпольную группу. Никто его нигде не приглашал. Никто не давал нового задания. Это могла бы сделать Лена, но она не появлялась. Алесь узнал ее адрес и раза два заходил в дом. Встречала мать Лены вежливо, но настороженно, хотя сразу догадалась, кто он, спросила: «Ольгин родственник?» Без иронии спросила, серьезно, зная, конечно, откуда взяла такого родственника Ольга. Поддерживала легенду, которую засвидетельствовал добытый Леной документ.

Когда во второй раз старуха поспешно сообщила: «А Лены нет дома», Алесь заподозрил неладное, он вспомнил Ольгин плач и крик, вспомнил ее угрозу не пускать партизанку Лену на порог... Неужели Ольга могла устроить такую истерику и тут, у Боровских?

Он чувствовал себя совершенно здоровым и с каждым днем все больше мучился оттого, что сидит в тепле, в сытости, у женской юбки, в то время как идет война, гибнут люди, миллионы его ровесников ежедневно идут в бой. Еще недавно, даже тогда, когда отступили чуть ли не под Вязьму, он мечтал совершить исключительный подвиг, который прославит бы его имя, пусть и по-смертно, и... заменил бы ход войны. Теперь, после всего пережитого, он не забивал голову такими пустыми мечтами. Познав все ужасы фронта, плена, силу врага, он теперь хорошо понимал, что ни один самый исключительный подвиг любого сверхгероя не изменит хода войны. Для этого нужно одно: как можно больше убить фашистов. Любым способом. Любыми средствами. Он мучился, что не успеет убить ни одного. Он должен стать настоящим солдатом.

Первый выход из тихих и безлюдных комаровских переулков в город — на рыночную площадь, на Советскую улицу — ошеломил Алеся. Сколько их, врагов! Солдаты, офицеры, полицейские, грузовики, легковые машины... На каждом шагу. Ошеломило даже не их количество. Страх множества и страх техники, которые при-

чинили столько бед в первые дни войны, он преодолел еще на фронте, под Смоленском, вместе с бойцами полка, отбившего за день пять или шесть атак немецких танков. Он приехал в полк по заданию редакции и впервые видел немцев так близко, их танки. Сам не стрелял — смешно стрелять по танкам из нагана, — но помогал санитарам выносить раненых. Редактор был недоволен привезенным материалом. А он радовался, что не чувствовал страха, не думал о смерти и не отсиживался в тылу. Попытался написать, что если такой перелом произойдет в душе каждого бойца... Но редактор безжалостно вычеркнул всю «философию», редактор требовал фактов героизма, а фактов у него было мало — ведь он не успел записать фамилии людей, не до того было. Пришлось редактору брать фамилии из политдонесений. Были ли это те люди, которые погибли на его глазах или которых он вынес с поля боя? Он не знал, но такой метод освещения событий его не возмутил, в тот день он не только преодолел собственный страх, но и само понимание подвига на войне переосмыслил.

Нет, не множество немцев на улицах Минска его поразило. Их спокойствие, уверенность. И то, что наши люди служат им. Он, безусловно, не думал, что жизнь должна остановиться, — чтобы существовать, люди вынуждены работать на оккупантов. Работающих на заводах и фабриках он не считал врагами. Но оказалось — есть обслуживающие господ офицеров. Он добрался до вокзала, где, как около каждого вокзала, да еще в военное время, было особеннолюдно. И там увидел категорию служителей, о которых только в книгах читал, — мальчиков-носильщиков и чистильщиков обуви. Их было много. Некоторые исполняли не только роли носильщиков, но и возчиков, извозчиков. На санках-самотажках, на тачках возили вещи офицеров и солдат в любой конец города. Некоторые уже довольно бойко предлагали свои услуги по-немецки.

Увидел он и молодых женщин, поведение которых, заигрывание с офицерами говорило о их занятии. Все это страшно поразило и причинило боль не меньшую, чем предательство некоторых бывших красноармейцев в лагере военнопленных. Ведь эти ребята — вчерашние советские школьники. И девочки, о которых он еще недавно сочинял возвышенно-романтические стихи. Его юность, студенчество совпали с годами всеобщей подозрительности, он верил, что вокруг немало врагов, агентов буржуазии и немецкого фашизма. Но он никогда не мог бы представить в те годы, что прислужкой у фашистов станет кто-нибудь из его школьных или институтских приятелей. Какие у него были мечты! Да и у всех его друзей! Любой из них умер бы, если бы его заставили везти вещи чужого офицера, врага, оккупанта... Откуда же взялись эти? Не силой же их пригнали сюда? Он попытался поговорить с мальчишками. Но, заинтересованные вначале вниманием к ним, услышав его вопросы, они враждебно настораживались и отходили. Рассудив, детям он милостиво простил вину, даже пожалел их. Но женщинам оправдания не было. Женщин карал самой суровой карой.

На другой день он стоял на площади Свободы перед полицейской управой. Ему хотелось посмотреть в лицо тем, кто пошел служить в оккупационные учреждения, посмотреть в глаза открытых, явных предателей. Что написано на их лицах? Они заканчивали работу на исходе короткого зимнего дня, когда смеркалось. Но день был ясный, морозное небо полыхало ярким закатом, и он видел их лица и убедился, что это ответные враги: не было в их глазах ни страха, ни раскаяния. Они выходили группами, мужчины и женщины, и весело переговаривались, смеялись. Правда, расходясь в разные стороны, люди эти спешили, ускоряли шаги. Боялись. Чего? Темноты? Приближения комендантского часа? Но наверняка у каждого из них есть ночной пропуск.

Отдельно из управы выходили немцы. Офицеры.

«Инструкторы», — подумал Алесь.

Немцы так не спешили. Они чувствовали себя хозяевами, пока не стемнело.

Потом Алесь даже не мог вспомнить, почему, с каким первоначальным намерением он пошел за этим немцем. Кажется, без всякой цели, из чистого любопытства: куда немец пойдет? где он живет? А может, потому, что немец, как никто другой, залюбовался небом. Он вышел из двери один и несколько минут стоял на крыльце; потом остановился на площади и посмотрел назад, на самые яркие краски заката.

Возможно, Алесь оскорблено, что фашист может быть поэтической натурой. Не имеет он права любоваться нашим небом!

Немец был молодой, высокий, красивый, типичный ариец, в мышистой шинели с меховым воротником, из-под которого были видны погоны обер-лейтенанта, в высокой фуражке с кокардой, с толстым желтым портфелем.

А может, Алесь пошел следом потому, что, пройдя мимо, немец не обратил на него внимания, не глянул даже. Почему? Из презрения? Задумался? Из уверенности, что ничто тут, в чужом городе, ему не угрожает? Или посчитал Алесь служащим управы?

Офицер пошел на Интернациональную, а потом по крутому спуску на Пролетарскую. Деревянный тротуар обмерз, был скользким, и офицер сошел с него, шагал между тротуаром и мостовой, где снег не притоптали и не было так скользко.

Алесь шел по тротуару. Замерзшие доски скрипели, пищали, кричали на все лады. Но и на это многоголосие немец ни разу не обернулся. Для него было естественно, что в городе кто-то шел сади, кто-то впереди. На Пролетарской народу было больше, и асфальтовые тротуары почищены дворниками. Перейдя мост через Свислочь, немец начал подниматься на Замковую гору.

Алесь только тут, на подъеме, почувствовал, как быстро тот идет; у него, обессиленного болезнью, началась одышка, застучало в висках.

Смеркалось, погасло пламя заката, в небе загорелись звезды. Свернув на пустыре около темной коробки Оперного театра на

тропинку, офицер впервые оглянулся и, кажется, проявил тревогу, потому что остановился, как бы ожидая его, Алесь.

Алесь сообразил, что не нужно останавливаться, и тем же ровным шагом приблизился, почтительно сосступил в снег, обходя офицера, поздоровался:

— Гутен абенд, герр офицер.

Немец ответил:

— Гутен абенд, — и добавил еще что-то, чего Алесь не понял, но сделал вид, что понял, о чем спрашивает господин офицер, и ответил:

— Я, я, нах хауз. Фрау... Жена ждет...

— О, жена! — сказал немец и добавил что-то по-немецки, — наверное, пошутил, потому что сам засмеялся.

На глаза попалась менее торная боковая тропинка, которая вела к сгоревшим домам над Свислочь. и Алесь повернул туда, быстро шагая по склону вниз.

На другой день Алесь ждал около управы конца рабочего дня. За сутки погода переменилась: мороз уменьшился, небо заволочло тучами, поросил мелкий снег, и потому быстро темнело. Более торпливо расходились работники управы, даже меньше шутили и смеялись. Непокойно все-таки у предателей на душе, не чувствуют они себя хозяевами в городе, подумал Алесь. А вот он, мститель, к своему собственному удивлению, был совершенно спокоен. Гулял по площади, засунув руки в карманы длинного и широкого Адасева пальто. Несколько дней назад он надевал это пальто с чувством вины перед человеком, который где-то воюет по-настоящему, думал с презрением о себе: притрелся около чужой жены, обул и надел чужое... Теперь не думалось об этом; пальто удобное, легкое, теплое, с глубокими карманами, новое, из хорошего драпа, оно придает вид обеспеченного человека. А кто сейчас обеспечен? Тот, кто работает у немцев! Еще дома Алесь подумал, что вещи красноармейца на этот раз послужат святому делу. Они необходимы, как и оружие советского почтовика, погибшего от фашистской бомбы.

Гуляя под окнами полицейского управления, Алесь не думал, что может вызвать подозрение, задержавшись на площади после того, как разошлись служащие. Встревожило, что офицер долго не выходит, дольше, чем вчера. Расчеты его строились на немецкой пунктуальности. Только немец мог идти со службы так, как шел вчера тот. Наверное, семью сюда привез, занял лучшую квартиру, обосновался навсегда, потому и любитесь небом над городом.

Офицер вышел не один, вместе с ним было еще двое — военный в форме СС и гражданский. Алесь испугался: неужели все трое пойдут вместе? Нет, эсэсовец и гражданский распрощались, пошли в другую сторону — на Немигу. А обер остался на крыльце и, натягивая перчатки, несколько минут любовался, как кружатся снежинки, опускаясь на деревья в сивере.

Алесь только теперь заметил, что деревья, запорошенные снегом, действительно красивы. И его снова покорило, что такой красотой любитесь фашист, оккупант. Это вывело из странного, какого-то бездумно-застывшего спокойствия. Он вдруг почувствовал, что спокойствие это существует как бы независимо от него, а сам он, тело его, мозг, сердце до крайности напряжены в ожидании того, к чему он шел через многие муки, к чему готовился не только последние сутки... Но к черту все рассуждения, всяческое копание в собственных ощущениях! От этого начинается страх, неуверенность, разлад между умом и волей.

Осталось десять, максимум пятнадцать минут до решающего, самого ответственного экзамена. Обер ходит быстро — длинноногий, спортсмен, наверное. Но что это? Почему он пошел не в ту сторону? По Ленинской пошел, на Советскую. А тут, в центре, в домах, уцелевших от бомбежки и пожаров, работают магазины, кафе и на улицах многолюдно; гуляют, конечно, в основном те, кто не боится приближения комендантского часа. Если обер зайдет в офицерское кафе или кино, все сорвется.

Алесь не мог примириться с мыслью, что можно прожить еще хотя бы час, два, а тем более ночь, не осуществив своего намерения. У него же все готово и все рассчитано до последнего шага. И враг, конкретный враг, уничтожить которого он получил приказ от высшего командования — своей совести, — вот он, в нескольких шагах от него идет с высоко поднятой головой, уверенный в своей безнаказанности. Невозможно отложить кару даже на сутки. Казалось, от того, когда будет заслуженно наказан именно этот прищелец, зависит очень многое не только в судьбе его, сержанта Гопанюка, но и в судьбе армии, народа.

Опасаясь, что обер вдруг нырнет в какие-нибудь двери, куда его не пустят (у офицерских кафе стоит охрана), Алесь ускорил шаг и приблизился к осужденному, рискуя, что своим тяжелым дыханием принудит того обернуться. Вчерашняя встреча произошла в сумерки, но, если у немца глаз контрразведчика, он по внешним очертаниям, по пальто мог запомнить того, кто шел за ним.

Об отступлении Алесь не думал, не мог думать, однако и нового плана не было — где стрелять, когда. Полагался на случай. В смертники себя не записывал, как когда-то в лагере. Думал о собственном спасении — именно теперь, как, может, никогда раньше, хотелось жить.

Сжимал в кармане рукоятку пистолета так, что горела ладонь. Горело все тело, жгло внутри, стало душно. Или такое теплое Адашево пальто?

Где он, тот случай, когда с шансом на собственное спасение можно выстрелить в этот ненавистный затылок, в узковатую спину, пружинисто мелькавшую перед глазами?

Людей было много возле магазина. А дальше меньше, но если считать не людей вообще, а солдат, то их на улице больше, чем надо для того, чтобы задержать одного еще не очень сильного после

болезни и не очень проворного парня, спортсменом он всегда был посредственным — и в институте, и в армии.

Офицер прошел кафе, Алесь с облегчением вздохнул и немного отстал, чтобы не вызвать подозрительности какого-нибудь агента тайной полиции. А когда обер перешел Советскую и свернул на Комсомольскую, где дома целого квартала были сожжены, разрушены бомбежкой, а потому и на улице было так же малоллюдно, как на Комаровке, как на пустыре возле Оперного театра, Алесь вновь поверил в свою счастливую звезду. Ему явно повезло. Тут все-таки можно выбрать и место, и момент для мести, и есть где спрятаться самому — в руинах. Молниеносно возник новый план. Но уже достаточно стемнело, и нужно опять приблизиться к жертве, чтобы не промахнуться. Рука, конечно, будет дрожать от волнения, это только кажется, что он спокоен.

И вот это решающее сближение оказалось самым трудным. Вдруг не стало сил догнать офицера, появилось чувство, которого не было до этого, — муки совести: ведь нужно выстрелить человеку в спину, убить его неожиданно, из-за угла. Пришлось опять убеждать себя, что это не человек — враг, страшный враг, безжалостный, и не может, не должно быть ему пощады. Обругал себя мягкотелым интеллигентом, моллюском. В этой борьбе с самим собой пропустил самые подходящие руины. Офицер повернул на улицу Карла Маркса, где уцелевших домов было больше и прохожие едва вырисовывались в сумеречной снежной замяти. Кто они? Свои люди? Немцы?

Вдруг обер неожиданно, не останавливаясь, не замедляя шаг, нырнул в подъезд дома. Алесь кинулся следом, рванул дверь, которая захлопнулась за ним с оглушительным грохотом.

В подъезде горела тусклая лампочка. Офицер стоял на первой лестничной площадке и перчаткой стряхивал снег с воротника. Он не почувствовал опасности, не спрятался, он пришел в гости и не мог принести в квартиру сырость. Повернулся на стук двери, увидел нацеленный на него пистолет и, испуганный, не закричал, не попытался выхватить из кобуры оружие. Уронил портфель и поднял руки, сдаваясь, прошептал побелевшими губами:

— О майн гот!

Алесь выстрелил дважды. Под сводами старого каменного дома выстрелы прогремели, как из пушки, отдаваясь эхом где-то в вышине. Немец судорожно схватился за перила и повалился на бок, ноги его бессильно скользнули по ступенькам лестницы в поисках опоры и... не нашли ее. Где-то на верхнем этаже открылась дверь, и кто-то крикнул по-немецки.

Трудно было не побежать, не броситься к руинам, но Алесь заставил себя идти спокойно. Прикинул, когда поднимется тревога и будет организована облава. В доме, конечно, живут немцы, офицеры, у них есть телефон, связь с СД, с полицией. Так что можно считать — тревога уже поднялась. Теперь важно определить район оцепления и постараться выйти из него. Было сильное искушение

броситься в руины и пробираться по ним вниз, к Свислочи, дальше от центра. Но тут же вспомнил собак-ищеек. Конечно, по следу пойдут собаки.

Он прочитал не только всю эпопею о Шерлоке Холмсе и другие детективы, но и многие серьезные книги о методах подпольной борьбы в разное время, в разных условиях — о народовольцах, большевиках, подпольщиках гражданской войны, о гарибальдийцах, болгарских борцах против турецкого рабства, французских революционерах... Как, с какими уловками эти мужественные люди обманывали опытейших сыщиков, организовывали побеги из самых страшных тюрем...

Планируя прошлой ночью свою акцию — как убьет фашиста, как будет уходить от преследования, — он вспомнил и надеялся использовать многое из прочитанного. Но сменились обстоятельства, сменилось место действия. И нет времени подумать. Приходится полагаться на интуицию. Собаки не пойдут там, где след его затопчут чужие сапоги. Значит, самое правильное — выйти на центральную улицу, на Советскую, где в это время еще немало прохожих.

Было бы хорошо спрятать пистолет, он понимал, как опасно уходить с ним. В немецких приказах за одно только хранение оружия — смертная казнь. Но где же его спрячешь? Как? Забросить в руины, навсегда лишиться оружия он не мог — ведь это все равно что лишиться его в бою. В конце концов, он шел на большой риск, почти не оставлял шансов на спасение, намереваясь стрелять на улице. Ему повезло, что офицер вошел в дом на тихой, почти безлюдной вечером улице.

Он вышел на Советскую, перешел на левую сторону, где прохожих было больше, гуляли офицеры, солдаты, женщины. Присмотревшись, тревоги все еще не было. Но больше всего радовало его собственное спокойствие. Он не рассчитывал, что, осуществив задуманное, будет так спокоен. Чувствовал себя так, словно выполнил очень нужную, неотложную работу, хорошо выполнил, мастерски, и, довольный собой, своим умением, вышел погулять, подышать свежим воздухом, полюбоваться снегом. Как красиво он кружит, снег!

Прошла легковая машина с включенными фарами. В их свете снежинки казались серебряными мотыльками. Но машина эта была и первым сигналом тревоги. Она очень быстро промчалась в ту сторону, в центр. Он не стал оглядываться, куда машина повернет — не к месту ли происшествия? Ускорил шаг. Теперь это можно было сделать — начался спуск к Свислочи. Тут почти все спешили, и не только сейчас, перед комендантским часом, но даже днем — он это заметил еще в первый выход сюда, в город. Этот спуск будто суженное русло реки, где течение ускоряется, там ускоряется и людской поток.

Тревогу услышал на мосту. Завыли не сирены — грузовики где-то на площади Свободы, около полицейского управления. Там же в снежное небо влетели три красные ракеты, — наверное, условные сигналы патрулям. Алесь злорадно подумал, что не такая уж опе-

ративность и налаженность у оккупантов, как они расписывают это, распуская легенды для устрашения людей. Минут десять, если не больше, прошло с момента его выстрела до начавшейся тревоги. Для такого происшествия, да еще в доме, где живут немцы, явно много. Сразу за мостом он повернул влево, в темный, безлюдный переулочек.

Ольга кормила на кухне ребенка и встретила Алесь не очень вежливо — сказала будто шутя, но с явным укором:

— Долго ты гуляешь, дорогой мой. Уж не к девочкам ли ходишь? Может, к Ленке?

Алесь хотел ответить шуткой, наладить душевный контакт и в этом уютном домашнем тепле, где так хорошо, так мирно пахнет сытной едой, ребенком, свежeweымытым бельем, сохнущим на кухне, — вообще всем, чем может пахнуть человеческое жилье, — забыть о том, что случилось какой-то час назад. Исполнил свой долг — и забыл. Как на фронте. Но ничего сказать не смог не потому, что не нашел шутливо-веселых слов, а потому, что вообще не мог вымолвить ни одного слова: вдруг сжало горло, стиснуло в груди, зашумело в голове и так повело в сторону, что он испугался, как бы не потерять сознание, не упасть. Отчего это? От быстрой ходьбы? Петляя по темным улицам и переулкам, он не шел — бежал. Кончился запас спокойствия, уверенности, как горячее в самолете, и после тревоги он думал об одном: дотянуть бы до «базы», там безопасность и отдых. И вот «горючее» кончилось совсем, силы оставили его. Осторожно, как пьяный, который боится поднять шум, он расстегнул пальто, размотал с шеи шарфик, повесил на вешалку в зале. Ольга, встревоженная его молчанием, наблюдала за ним через открытую дверь, хотя рассмотреть лицо не могла — лампа горела в кухне, а в зале было темно.

Алесь прошел в свою комнату, но тут же вернулся и что-то переложил из кармана пальто в карман пиджака. Это еще больше встревожило Ольгу: связался все-таки с теми, с Ленкиными друзьями, и принес, дурень, что-то запретное.

— Светик, еще одну ложечку! А вон, глянь, зайчик в окошко смотрит, ест ли Света кашку...

Уговаривая малышку, она вздрогнула: показалось, что и правда чужие глаза следят из темного окна. Посидела неподвижно, подумала о своей тяжелой судьбе, о душевной раздвоенности, о том, как лучше поговорить с Алесем, чтобы навсегда выбить из его горячей головы эти мысли — о мести немцам. Есть кому мстить без него. Нужно наконец проявить характер свой, ленинский. А то так недолго и до беды. Если не думает о себе, пусть подумает о ней, о ребенке. Хотя что ему чужой ребенок!

Ольга настроила себя воинственно, на самый суровый разговор, но не очень была уверена, что разговор такой получится: чем ему можно пригрозить, чего он испугается?

Накормила дочь, перешла с ней в зал, перенесла туда лампу и позвала с той грубоватостью, в которой была и шутка, и угроза:

— А ну, иди сюда, голубчик! Поговорить нам надо.

Алесь не отозвался. Ольга забеспокоилась:

— Саша! Не уснул ли ты?

С лампой вошла в его комнату. Нет, он не спал, но лежал на кровати, нераздетый, в обуви, чего никогда не разрешал себе, только свесил ноги, чтобы не загрязнить сапогами белье, а на грудь натянул смятое одеяло. Его сильно лихорадило, колотило всего, даже зубы стучали.

Ольга поставила лампу на столик, наклонилась над ним.

— Саша, что с тобой? Заболел? Говорила же, что рано еще гулять... Боже мой, как тебя трясет! Что случилось?

Что случилось, он знал, но почему лихорадка началась так поздно, понять не мог и потому испугался — от мысли, что не пригоден он к такому делу, не помнил, чтобы у кого-нибудь из героев прочитанных книг после убийства врага наступало подобное состояние. На дуэли убивали не врага — бывшего друга, и победитель спокойно уезжал с места события... «Слабые, значит, нервы, — думал он. Но с непригодностью своей к такому делу все же не согласился: — Ничего, закалюсь! Первый раз все трудно дается».

Хотел скрыть лихорадку от Ольги, потому залез под одеяло, надеясь, что, если согреется, все пройдет.

Естественно, что в совершенном поступке он ни в коем случае не собирался признаваться Ольге, только Лене, да и то после того, как она свяжет его с подпольной группой.

Но, проявляя такую необычную слабость, он почувствовал себя униженным перед женщиной, и ему захотелось как-то возвысить себя, сказать ей, что не глупость, не насморк, не испуг перед собакой или патрулем причина его лихорадки, все гораздо серьезнее. И он, заикаясь, признался:

— Я... я у-убил не-емца... оф-фи-цера.

Странно. Сказал — и озноб начал проходить, может, потому, что передался Ольге: она держала его руку, и ее рука задрожала после его слов, похолодела.

— Где? — спросила она шепотом, будто совсем обессилела.

— На Карла Маркса. В подъезде дома, где они живут, — ответил он тоже шепотом, но уже совсем иначе, не заикаясь.

— Как?

— Из пистолета.

— Из этого?

— Из этого. — Он достал из кармана виджака пистолет, показал его из-под одеяла и другой рукой нежно погладил дуло.

Ольга почувствовала запах пороха от недавних выстрелов и окончательно убедилась, что это не сон, не шутка, что все правда.

— Боже мой! Что ты наделал?! — И начала отступать от него со страхом, осторожно, как будто шла по минному полю или по горячим углям.

А он вдруг сбросил одеяло, засунул пистолет обратно в карман, сказал уже громко:

— Пойми... я не мог иначе... Теперь я почувствовал себя человеком, бойцом... Я убил врага... А это... так, с непривычки, — кивнул он на кровать, имея в виду лихорадку, будто оставил ее там, под одеялом.

Ольга отступила к двери, не спуская с него широко раскрытых глаз, смотрела с ужасом и вместе с тем с удивлением. Она никогда раньше не верила, что этот интеллигент, деликатный мальчик способен на такое; одно — слова, которые он говорил, к любым словам она относилась с недоверием, совсем другое — дело, поступок. Она отступала, пораженная и испуганная, а Светка притопала к Алесю, протянула ручки, просясь на руки. Ольга бросилась к дочери, схватила, как бы обороняя от него, прижала к себе так, что малышка испуганно заплакала.

— Деточка моя дорогая! Что же это на наши головы валится? Какую беду он нам принесет? Боже мой! Что ты за человек?!

Она вышла в зал, ходила там вокруг стола, укачивала ребенка, успокаивала, но материнский страх, тревога передались и Свете — она плакала не переставая. В темноте Ольга наскочила на стул, он упал, загремел...

Алесь вынес в зал лампу, повесил над столом. Он совсем успокоился и почти радовался, что победил и такого врага, как нервный шок, появились уверенность, сила и такая же решительность, какие были несколько часов назад, когда, вооруженный, он выходил из дома. Видимо, Ольга почувствовала эту его уверенность, потому что спросила:

— Что же нам теперь делать?

— Да не бойся ты! Если там не схватили, то нечего бояться.

— Дурак ты, дурак! — выругала, но не зло, не грубо, теперь в ругательстве звучало и какое-то уважение. — Что ты понимаешь! У них собаки, у них сыщики. Ты не знаешь, как они ищут! Да они по следу под землей найдут.

— Если бы они шли по следу, то схватили бы сразу. Я по Советского шел, мимо кино, там давно мой след затоптали.

— Много ты знаешь! Ничего ты не знаешь! Да собаки через неделю по следу идут. И у сыщиков нюх что у собак. — И вдруг со злостью потребовала: — Дай пистолет, я выброшу его к черту! Напла игрушку, дура-баба, да еще и сумасшедшему такому сказала... С чем играть надумал! Дай сюда!

— Я сам.

Сообразил: если спрячет она, пистолет больше не найти, а расстаться с оружием теперь, когда положено начало, он не мог. Быстро пошел к двери. Ольга не остановила, хотя выходил он без пальто, без шапки.

На дворе шел снег. Это еще больше успокоило.

Пистолет нужно было спрятать не от СД — от Ольги, ведь лучший Шерлок Холмс она, хозяйка. Потому он долго топтался

под клетью, в деревянном сарае, в хлеву — там Леновичи когда-то держали свиней, — прикидывал, где лучше спрятать. Засунул было в дрова. Нет, ненадежно, не только Ольге, любому постороннему бросится в глаза, что давно, осенью еще, сложенный штабель дров разбирался. Закопать в хлев? Но без света не замаскировать разрытый навоз! Снег! Снова надежда на снег, он может засыпать место тайника.

Завернул пистолет в тряпку, сунул в сугроб под забором, не соступая с тропинки: вспомнил, как прятала Ольга, поверил в парадоксальный принцип — чем ближе спрятано, тем труднее найти.

Стало холодно, он подумал, что болеть сейчас некстати, и поспешил в дом.

Ольга, одетая так, будто собралась на рынок, — в пальто, в теплом платке, в валенках, — с лампой в руках ходила по дому, словно искала что-то нужное, без чего нельзя выйти на улицу или даже больше — от чего зависит безопасность, жизнь. А на диване в уголке сидела закутанная Светка. Она молчала и не по-детски испуганными глазами следила за матерью или, может, за светом, потому что, когда Ольга зашла в его, Алесеву, комнату, малышка беспокойно зашевелилась, а когда приблизился он, заплакала.

Алесь не удивился, что Ольга собралась куда-то пойти, она иногда ходила вечерами к соседям. Поразило, что она хочет взять ребенка. Куда? Зачем?

Ольга вышла из комнаты, цыкнула на дочь:

— Замолчи!

Подняв лампу, осмотрела стены, обвешанные фотокарточками родителей, ее собственными, девичьими, школьными.

Алесь понял, что ничего она не ищет, — она прощается с домом. Неужели может так легко бросить нажитое добро? Почему?

— Куда ты собралась? — Он хотел спросить громко, спокойно, но невольно прошептал эти слова, даже самому стало противно.

— Пойду к брату.

— Теперь? Не надо, Оля, — попросил он ласково. — Подумай, что ты делаешь. Тебя задержат, начнут допрашивать... Да и брат... Что ты скажешь там?

— А что делать? Что? Скажи мне, умник! — зашипела она, наступая на него с лампой в руке. — Привел в дом беду, а теперь скулишь: «Не надо, О-о-ля!» — передразнила она зло.

Отступая от нее, Алесь прижался спиной к горячей печке и от тепла вадрогнул, будто током ударенный, но тут же будто дивный балласт разлился по телу, расслабил до полного изнеможения; он вдруг почувствовал, как страшно устал, как сильно застыла спина, и печка показалась единственным спасением от любой беды, от любой хворобы. Так же вот хорошо, уютно, в безопасности он почувствовал себя тогда, когда она, эта женщина, привела его в свой дом, по существу полуживого уже, напоила, накормила и положила на теплой лежанке, чтобы отогрелся после лагеря. Благодаря ей он изведal не сравнимую ни с чем радость первой победы и пер-

вой мести. Но теперь он не имеет никакого права ставить под удар свою спасительницу и особенно ребенка.

— Проще уйти мне, — сказал он и, помолчав, пообещал: — Я сейчас уйду, не бойся. Считай, что я не возвращался после дневной прогулки...

Но оторваться от печки не смог.

После лагеря, после болезни даже у тепло одетого у него вот так застывала спина, и он страшился холода.

Ольга сразу притихла, отступила, повесила лампу, села на диван рядом с дочерью и широко раскрытыми глазами, в которых были и страх, и удивление, и недоумение, и новое, не понятное ей самой чувство, смотрела на него. Вадрогнула от мысли, что перед ней совсем иной человек, не тот слабый паренек, который так долго, как говорят, дышал на ладан, которого она едва выходила. Она не рассмотрела его усталости. Поразило его спокойствие. Убил человека, пусть и немца, подрожал немного (это она понимала) и теперь стоит, будто ничего не случилось, греет спину...

Никто и никогда не называл ее трусихой, все считали отчаянной — под бомбы лезла из-за ящика макарон или тряпки какой-то. И немцев не боялась. Как она с ними разговаривала при первой же встрече! Красноармейца не побоялась взять в дом. Разве не рисковала? Ко всем ужасам войны, кажется, привыкла, и, хотя сердце не однажды леденело в бессонные ночи от страшных мыслей, она никогда не теряла способности трезво рассуждать. А тут, когда услышала, что Алесь убил немца-офицера, затмение на нее нашло, она утратила всю свою рассудительность, практичность, изобретательность. Особенно встревожилась, когда он пошел прятать пистолет. Металась по дому, оделась сама, закутала дочь, хотя совсем не представляла, куда она может пойти. О брате сказала просто так: лишь бы что-то сказать, идти к Казимиру не думала и, конечно, не пошла бы. Отношения их и раньше были не очень братскими, особенно с его женой. В последнее время еще больше испортились: Казимир проявил «заботу» о ней, узнав, что сестра взяла пленного, пришел и потребовал, пользуясь правом старшего, чтобы она выбросила красноармейца, отвезла в больницу — Алесь в то время лежал в горячке. Ольга поссорилась с братом, выгнала его из дому, она никогда не позволяла командовать собой, и с того времени они не встречались, лишь восьмилетний племянник раза два навещался, — конечно, родители присылали на разведку.

Ольгу ошеломило и почти возмутило, что Алесь так спокойно греется у печки. Но вместе с тем его спокойствие умирало ее панику, теперь она уже наверняка знала, что куда-то не уйдет из своего дома. Однако за все, что пережила, за то, что выдала свой страх, захотелось отплатить ему. Сказала почти алло радно:

— Что вы сделаете, такие, как ты? Смерть себе найдете? Немцы в Москву вступили.

— Неправда! Ложь это! — Он почти закричал, шагнул к ней. — Не слушай фашистской брехни! Сколько раз они объявляли!

— Нет, правда, — упорно твердила Ольга и придумала в доказательство то, чего не слышала ни из немецких репродукторов, ни от шептунов базарных: — Московское радио замолчало.

Алесь испуганно осекся, как бы захлебнулся. Но слишком твердо была его вера, и он снова возразил:

— Фашистская брехня! От кого ты слышала? Ты сама слушала его, радио? Станцию могли разбомбить. Но Москвы... Москвы им не взять! Пойми ты! В Москве — Сталин! — Для него это был самый убедительный аргумент, другие, более многословные, он приводил ей не один раз.

— Собой твой Сталин заслонит Москву?

— Не смей! За Сталиным — народ! Вся страна!

— Не кричи! Сумасшедший! — прошептала она, но без гнева и страха, примирительно, и это остудило Алесь, он замолчал, снова обессиленно прислонился к печке, но тепло лишало воли и силы. Доказывать Ольге то, о чем не однажды говорил, когда она охотно слушала, больше не хотелось. Он закрыл глаза и... провалился в бездну — засыпал. Пошатнулся, раскрыл глаза и не сразу сообразил, что изменилось: Ольга стояла без пальто и раскутывала малышку. Понесла дочь, чтобы уложить спать.

Пела ей колыбельную. С песней этой все вернулось на свое место. Так повторялось каждый вечер. Так будет повторяться извечно — колыбельная и сон ребенка. И он не думал уже, что нужно оторваться от печки и пойти на холод, в неизвестность, в опасность. Он снова засыпал под слова любимого поэта, он их сам напевал ребенку — Ольга научилась у него:

Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

Возможно, Ольга не выговаривала слова песни, только напевала мотив, возможно, он сам повторял их, укачивал себя. Пошатнувшись, просыпался, укорял себя, считая и сон слабостью: все у него не как у людей, не как у героев прочитанных книг — то лихорадит, то клонит ко сну.

Ольга позвала громко, тоном приказа, как сердитая жена мужа:

— Иди сюда! Покачай эту юлу. Может, у тебя уснет.

Чтобы окончательно успокоиться, Ольге необходимо было что-то делать, действовать. Тянуло проверить, не случилось ли чего-нибудь необычного вокруг, не перевернулся ли весь мир.

Алесь спросил вслед:

— Куда ты?

Она не ответила и не остановилась. Только постояла, затаившись, в темном коридоре, слушая, что делается во дворе. Понимала, что если бы они пришли, то загрелись, загрохотали бы на всю Комаровку. Однако все равно выглянула из двери осторожно, будто враг мог сторожить за углом. Так же осторожно обошла двор,

проверила, нет ли на свежем снегу следов. В темный хлев заглянуть побоялась, только потрогала задвижку. Послушала вечерний город. Он не был мертвый, он дышал, жил затаенной жизнью. Тут, на Комаровке, где-то на соседней улице, мирно скрипели сани и бодро фыркали копыта. А где-то там, в центре, на Советской, громко играла немецкая музыка. Завоеватели веселились. Может быть, у них действительно праздник? Кричали же недавно громкоговорители на рынке, что доблестные войска фюрера вступили в большевистскую столицу. Ольга не была в Москве, но от мысли, что в Москве немцы, у нее больно сжалось сердце, ни за один город так не сжималось.

И вдруг она почти обрадовалась, подумав, что не кто иной, а он, ее Алесь, испортил немцам праздник, если не всем, то некоторым наверное: Пусть жена того, кого нет уже, родители его прочитают печальное известие под бравурную, победную музыку. Как она прозвучит для них, эта музыка?

Подумав так, она и себя почувствовала как бы победительницей. Открыла калитку и уже смело вышла на улицу. Захотелось хозяйкой погулять по Комаровке. Проверить свою внезапную смелость. Если он, Алесь, мог сделать такое, то почему она не может пройти по улице, на которой родилась, выросла? Наплевать ей на комендантский час, патрулей! Ей нужно осмотреть не только свой двор, а всю Комаровку! Пусть знают, что Леновичиха никогда трусихой не была и не будет. Если уж рисковать, то до конца!

Возможно, действительно у нее был вид хозяйки, потому что даже полицей в черной шинели почтительно сосупил с тропинки в снег и поздоровался, она его не узнала, а он, наверное, ее знал по рынку. Кто тут не знает Леновичихи!

Когда дошла до переулочка, где жили Боровские, ей вдруг захотелось зайти к ним. Она же давно не была — сначала из-за своей глупой ревности, а потом неизвестно из-за чего. А напрасно. Ведь все время была убеждена, что Боровские знают больше, чем все остальные комаровцы, а потому и живут иначе — бедно, но уверенно. И теперь ей показалось, что только от Боровских она может услышать что-то такое, отчего многое станет ясным и в голове не будет такой каши. Даже показалось, что и о сегодняшнем случае в городе Боровские уже что-то знают, хотя и понимала, что это невозможно: прошло всего каких-то два часа, не больше.

Удивилась, что у Боровских не были закрыты ни калитка, ни двери: заходи кто хочешь, никого не боялся — ни бандитов, ни власти. Ольга в сенях постучала сапожком в стену, но никто не отозвался, хотя в доме гудели голоса и изредка доносился молодой смех — смеялся брат Лены Костя, ученик девятого класса, вернее, ходил бы в девятый эту зиму.

Боровские всей семьей сидели вокруг стола и... играли в карты, в дурака. Сам старик, Лена и ребята — Костя и двенадцатилетний Андрей. Тут же сидела их мать, Мария Павловна, и, нацепив очки, чинила какую-то свитку.

На столе горела коптилка, выгорало довольно вонючее масло, какой-то немецкий суррогат.

Увидев неожиданную гостью, заметную тревогу проявили Лена и мать. Лена даже приподнялась навстречу и всем видом молчаливо спрашивала: «Что случилось?» Такими же широко раскрытыми глазами смотрела и Мария Павловна, рука ее с иголкой застыла в воздухе.

Ольга успокоила их:

— Зашла проведать, как вы тут. Давно вас не видела. Днем нет времени, а вечером боюсь выбираться из своих нор.

— Тебе чего бояться? — недружелюбно бросил Костя. — У тебя такие защитники...

— Ну ты, брат, гостей так не встречай, — миролюбиво упрекнул сына старый Боровский.

Ольга отметила, что наборщик еще больше ссутулился, исхудал, полысел, но живости, веселости не убавилось ни в его движениях, ни в словах, ни в глазах, будто по-прежнему живет он зажиточно и счастливо. Мальчик и старик не прервали даже карточной игры. Костя кричал на весь дом, с размаху бил потрепанной, засаленной картой:

— А я вашего Гитлера лейтенантом козырным! Вот так! А что, сдался? Даже челка облезла. Будешь ты бит всегда, паразит!

— Костя, не распускай язык! — строго предупредила мать.

А Петр Илларионович смеялся:

— Лена, давай, что там у тебя есть. А то эти красные казаки теснят меня. Снова, смотри, генеральского подбросят.

— А-а, вы хотите на нас Геринга спустить, как собаку с цепи? Тоже мне туз! Чихал я на такого туза!

— Костя!

— Молчу, мама. А что, боишься, что Леновичиха донесет? Андрейка, сожжешь ей дом, если меня посадят... А-а, у вас еще восьмерочка? Побьем и ее!

Ольга вспыхнула, больно стало от такого оскорбления в семье, куда ее привели лучшие чувства. Очень захотелось ударить этого щенка — словами, признанием, что если и не сама она, то с ее помощью, ее оружием, сделали нечто большее, чем делает он, шляясь по городу. Но прикусила язык, надулась. Лена возмущилась:

— Поросянок ты, Костя! Ольга моя лучшая подруга.

— Да ну? — кажется, искренне удивился Костя.

— Надеру уши, Кастусь! — погрозила мать и, чтобы загладить как-то неловкость от сыновних слов, уступила Ольге свой табурет: — Садись, Олечка. Не обращай внимания на этого пустозвона. Ремень по нем давно не ходил. Как тебе живется, Олечка?

— Ах, тетечка, живется как гороху при дороге. Вон в чем меня Костя упрекает. А я красноармейца спасла. А ты что сделал, козел безрогий? — бросила Ольга Костику, но тот не принял вызова, даже за козла не обиделся, хотя это была его школьная кличка.

— А я тебе, дорогая сестричка, вот какую бубновую дамочку

еще подсуну. А что? Мимо? Андрей, отдай им свою семерку, пусть радуются.

— Ну и бандиты же! — крутил лысой головой и смеялся Боровский. — Где только, черти, так насобачились? Седьмой раз в дураках оставляют.

— До десяти догоним — полезете под стол.

— Так я тебе и полезу, раскрывай рот шире, — сказала Лена.

— А уговор? — закричал младший — Андрей. — Как договорились?

Ольга растегнула пальто, сбросила с головы платок. Несмотря на оскорбление, ее вдруг охватили веселость и картежный азарт: забыть в игре обо всем, как, наверное, забывают Боровские.

— А ну-ка, Лена, дай я партию скину. Покажу этим хлюпикам, как нужно играть.

— Уж ты, какая сила! — притворно ужаснулся Костя. — Сам фельдмаршал Бош, который вошь!

Играла Ольга в подкидного хорошо, как, кстати, и мать ее, лучших комаровских игроков когда-то в дураках оставляла. Первые же ее ходы заставили Костю задуматься, он перестал балагурить, зашвырнул мелодию песни «По долинам и по взгорьям...».

Лена стояла за спиной у отца и подсказывала ему ходы. Костя, почувствовав угрозу, взволновался.

— Андрей, не показывай ей карты. А ты еще раз подскажешь — прищемлю нос дверьми! — пригрозил он сестре.

Наверное, чтобы показать доверие к Ольге, Петр Илларионович напомнил, на чем был прерван их разговор:

— Так, говоришь, Костя, «приходи вечером»...

— Да, — засмеялся Костя, и вслед за ним засмеялись все Боровские, даже мать, которая пересела на диван и, делая вид, что нашивает заплату на рукав свитки, в действительности зорко следила за Ольгой, будто хотела по лицу ее, по глазам, по тому, как она играет, как смеется, разгадать ее мысли потаенные. Ольгу это разглядывание немного смущало.

Старик объяснил, почему они смеются:

— Сегодня Костя гулял по Некрасовской и услышал, как одна тетка через улицу кричала другой: «Настя! Приходи вечером к нам, Антона в партизаны провожать будем!»

— Я даже сел под забором, — засмеялся Костя, — думал, спектакль какой-то. Нет, серьезно. «Хорошо, — говорит, — приду». — «И старика веди. Стаканы принесите, а то у нас не хватит на всех»

— Как тебе нравится? — спросил Боровский у Ольги со смещенными в глазах, но серьезно и пытливо заглядывая в ее глаза, может, потому, что Ольгу это приключение не рассмешило так, как всех их.

— Глупая баба, — осудила незнакомку Мария Павловна.

Старик повернулся к ней, возразил:

— Глупая, говоришь? Ой, нет, мать! Люди живут по своим законам. Неосторожная — это правда.

Сказал он про неосторожность, и Ольга сразу же подумала об Алесе, о его поступке, и сердце тревожно сжалось. Зачем Боровские рассказывают ей, что какой-то Антон собирается в партизаны, да еще выставляют, как напоказ, свою веселость? Не очень она верит, что им так весело от этого случая, такой лгунишка, как Костя, может что угодно выдумать.

Ольга и старик влепили парням дурака. По условию, за первого дурака они должны были получить щелчки по носу. Андрей пробовал опротестовать законность экзекуции: играла не Лена, а Ольга. Но Костя согласился: раз они приняли такую замену, то вынуждены терпеть, ничего не поделаешь.

Щелчки давала Лена. Андрейку она пожалела и щелкнула легонько, для вида, а Косте влепила такого «желудя», что у того брызнули из глаз слезы и начался чих.

— Ну, зараза, и бьешь! Не пальцы, а рогатка. А я тебя называю своей любимой сестрой.

Старый Боровский откинулся на спинку стула, закинул голову и залился смехом, как ребенок. Теперь уже и Ольга поверила, что смеется он искренне, и ей тоже сделалось смешно, хорошо, уютно в этой семье, она пожалела, что с начала войны почти никогда не гостила у Боровских вот так, по-соседски.

Мария Павловна любовно смотрела, как смеются муж и дочь, и укоризненно качала головой, как бы говоря: «Какие вы еще дети!»

Играли вторую партию. Костя стал настороженным, молчаливым, не болтал больше, только свистел, поэтому давал возможность остальным поговорить. Мария Павловна спросила:

— Как там твой бедняга, отошел немного?

— Гуляет уже. В город ходит. К людям рвется. Работу хочет искать. А я говорю: «Зачем тебе работать на немцев? Помогай мне».

Костя хмыкнул:

— Открой торговую фирму «Ольга Ленович и К^о»...

— Костя, получишь по губам, — осек парня отец.

Ольга не обиделась.

— А что, ты думаешь? И открою. Хочешь, в компаньоны возьму?

— Капиталов не имею.

— Зазывалой будешь. Крикуном.

— А что, съел, сын? — засмеялся Петр Илларионович.

А матери не понравилось, что Ольга так думает о ее сыне, — шутить шутит, но знай меру, — потому отплатила ей:

— Не боисься, что Адаш, когда вернется, приревнует? Люди могут наговорить, чего и не было.

— А все было, тетечка. — И сама удивилась такому неожиданному признанию, но была довольна собой, своей решимостью, даже порадовалась, что Боровские сконфузились, добавила: — И будет.

Лена даже застыла с картами в руках, и без того огромные глаза на худом лице сделались с яблоко.

А Мария Павловна смотрела с удивлением и укором: как можно в таком признаваться?

«Что, съела?» — подумала Ольга словами старого Боровского.

— Ой, Олечка! — мигнула Боровская, показывая на ребят: не нужно при них.

Но даже Костя, занятый игрой, не понял, что к чему.

— А я уже ничего не боюсь!

Боровский посмотрел на Ольгу серьезно, в его глазах не было ни смешинки, ни укора — только интерес.

— Правда, такой смелой стала?

— А что мне!

— Смелость, Ольга, должна быть разумная.

— А кто знает, где она разумная, а где дурная. Разве о ней думаешь заранее? Она, как и страх, приходит, когда не думаешь, не ждешь. Заказать же ее нельзя, смелость. Никто ее не пьет, никто не продает.

— А ты всё хочешь купить? — не выдержал Костя, подпустил шпильку. — На. Побей Черчилля. Ага, не можешь? Почему? Союзник! Антона провожаем... знаешь куда? То-то! Андрей! Заходи с левого фланга! Так, молодчина! Враг окружен. Ура! Последний, решающий удар. Хэндэ хох! Съели? Лезьте под стол все трое.

Костя по-детски радовался победе.

А Ольга поговорила о смелости, о страхе, и он тут же появился. Страх, ударил в сердце: она играет в карты, веселится, а там, дома... Что там? Не к добру такой смех, такая веселость. Подхватила:

— Побегу. А то еще на патруль наскочу. Света не засыпала. Оставила Сашу качать... Нашла себе няньку! — Усмехнулась, нарочно напоминая о своем признании.

Лена набросила на плечи клетчатый платок-плед и вышла ее проводить. На улице, убедившись, что вокруг ни души, спросила:

— Ты что-то хотела сказать, Ольга? По глазам твоим вижу.

— Я? Все, что хотела, сказала.

— И спросить ничего не хочешь? — уже совсем тайно зашептала Лена.

— А что?

— Есть такая новость!

— У тебя? — усомнилась Ольга.

— Гитлеру дали по морде.

— Кто?

— Наши. Под Москвой. Гонят его, гада, назад.

Ольга засмеялась громко, на всю улицу. Лену даже испугал ее смех: очень радостная новость, но чтобы так смеяться, услышав ее... Никто так не выражал свою радость.

— Патруль накликаешь.

— А я подумала — и вправду кто-то хлестнул его по гадким усикам, — закрыв рот платком, смеялась Ольга, сама понимая, что это дервный смех от разрядки душевного напряжения. Вдруг все, что случилось за день, связалось в один узел: немецкие громкого-

ворители на рынке, Алесев выстрел, необычное для такого времени веселье Боровских. Теперь поняла, почему они такие веселые!

— Глупая, это в тысячу раз важнее. Армию его погнали, — шептала Лена. — Завтра принесу сообщение Совинформбюро, ребята приняли твоим приемником.

Ольга обняла Лену, впервые с начала войны принимая ее как лучшую подругу, от умиления и нежности хотелось заплакать, спазмы стиснули горло. И захотелось с такой же искренностью все рассказать Лене. Но сдержалась. Поцеловала Лену трижды, горячо, от души, потом шутливо оттолкнула и побежала с проворством подростка. Бежала как сумасшедшая, пугая людей за закрытыми окнами грохотом сапожек по утопанному снегу, по обледенелому дощатому тротуару. Бежала со страхом — не случилось ли чего дома? — и с радостью, что несет ему, Алесю, любимому безумцу, такую радость. Хотелось верить, что удачи, как и несчастья, ходят рядом.

VII

Алесь так не волновался, охотясь за гитлеровцем, как волновался сейчас, направляясь на явочную квартиру. Там был просто экзамен. Он держал его перед самим собой. А тут должен предстать перед высшей комиссией, которой предстояло решить, выдержал ли он тот и все остальные экзамены. Быть или не быть? Примут или не примут?

Мог бы думать: уже сам факт, что его позвали на явочную квартиру, где, конечно, будут руководители подполья, свидетельствует о том, что его признали, ему верят. Но так не думал, не тот характер, всю жизнь он сомневался в своей силе, в своих знаниях, способностях, таланте и считал, что редко ему везло, редко у него все получалось сразу так, как он хотел, как мечтал.

Одно он умел — перевоплощаться. И он поставил себя на место руководителя подпольной группы. Требования к тем, кого бы он принял в свою группу, были очень высокие. Даже в отношении самого себя он серьезно задумался бы: подходит ли? Одно качество у него безусловное — желание бороться, мстить врагу. Но это желание нужно доказать, любые слова, уверения и клятвы при решении такого вопроса, как принятие в подпольную организацию, ничего не значат, словам в такое время и в таких условиях нельзя верить. Нужны дела, только дела. А сколько у него дел? Приемник, убийство фашиста. Передача приемника не его заслуга, скорее всего Ольге самой хотелось избавиться от вещи, которую нельзя продать и за которую оккупанты могли покарать. Но задание это он получил от Лены и, можно сказать, выполнил. А фашист... Все произошло так, что теперь, через несколько дней, ему самому кажется маловероятным такой поступок, и, будучи руководителем, он лично вряд ли поверил бы в него. Поверили женщины, Ольга — от страха, увидев, как его трясет нервная лихорадка. Лена... Почему

сразу поверила Лена? От своей душевной доброты и женской доверчивости? Лена видела, из какого пекла они его вызволили, она и Ольга. Лена верит его словам и его делам, его ненависти и его радости... С Леной их роднит общая комсомольская убежденность.

Позавчера они вместе плакали, когда Лена принесла сообщение Совинформбюро о разгроме немцев под Москвой. Он, мужчина, не стыдился слез. И в порыве благодарности рассказал Лене о своем маленьком подвиге. Ольга, вернувшись от Боровских, сказала о разгроме немцев не сразу, спустя время и как бы между прочим, словами Лены, но с оттенком неуверенности: «Говорят, Гитлеру дали по морде под Москвой». И потому в тот вечер он не мог порадоваться по-настоящему. Ольга более подробно рассказывала о Боровских — как голодная семья весело играет в карты. Осудила их по-своему, как торговка: «Голодранцы всегда веселые. Что им терять?»

Алесь не помнил, что ответил на это, что-то нейтральное, примирительное, потому что ни Боровские, ни победа под Москвой, о которой так неопределенно сказала Ольга, не завладели его мыслями. Может, их вообще не было, мыслей, в тот момент — не покидала страшная, просто смертельная усталость. Он спал, убаюкав малышку, проснулся, когда вернулась Ольга, и слушал ее снисходительно. Вот такой он герой. Теперь о том вечере, о лихорадке своей и сонливости, неприятно было вспоминать.

Пробираясь по засыпанной снегом (второй день мела метель) улице Пушкинского поселка, Алесь думал о главном — о своем вступлении в организацию, не мог не думать и о своих сложных отношениях с Ольгой, о своих чувствах. После всего случившегося с ним невольно начал задумываться над тем, что люди называют судьбой. В судьбу он раньше не верил, считал поповской выдумкой, уверенный, что человек сам творец своей судьбы. Действительно, с Леной у них родственные души, одни идеалы, одни взгляды. А неумолимые обстоятельства, которые, выходит, сильнее его воли, сильнее всех идеалов, связали с Ольгой. И это не какая-то пошлая связь. Без сомнения, Ольга любит его. Ради него преодолевает страх, иначе давно могла бы выгнать такого квартиранта. Можно ли остаться равнодушным к ее чувству? Но во имя великого дела он должен порвать с ней. Уйти от нее. И теперь это для него, может быть, самое суровое испытание, самый жестокий экзамен. Но если там скажут, что так нужно, он, наверное, уже не вернется в теплый, уютный дом на Комаровке.

От мыслей таких было тяжело на душе, становилось холодно, стыла спина под густой шерстью старого кожаного пальто Леновича. Попытался настроить себя против Ольги. Как можно ему, комсомольцу, любить женщину, для которой чуждо все, что дорого ему? Но тут же возражал сам себе: не так все просто, Ольга, рассуждая аполитично, в то же время сделала немало полезного, не скажешь, что она не советский человек. Не из враждебной среды, дочь рабочего. Так имеет ли он право бросать ее на перепутье? Не

оскорбит ли его поступок ее чувства? Не перекинется ли ее возмущение им на то, за что они борются? За кем тогда она может пойти? За полицаем Друтькой? Думать так было больно, мучительно рвалась душа на части. Хорошо было бы обо всем рассказать руководителю, на встречу с которым идет. Не сомневался, что это один из партийных работников, опытный и мудрый человек. Но чувствовал, что застенчивость не позволит ему сказать правду о своих отношениях с Ольгой. Что подумает о нем руководитель? Соблазнил жену бойца Красной Армии, фронтовика... Вот и принимай такого в подпольную группу, поручай ему ответственные задания...

Недоверия к себе он боялся больше всего. И еще боялся — не притянуть бы за собой на явочную квартиру хвоста. Долго петлял по улицам, оглядываясь на углах, не идет ли кто за ним. Настораживало безлюдье. На отдельных улицах протоптанные раньше тропинки так замело снегом, что ему пришлось первому прокладывать след. Этот собственный след пугал — след одного человека всегда привлекает внимание. Потом он убедился, что бродил напрасно, думая, что явочная квартира должна быть на глухой улице.

На улице, которую он искал, проторена была не только тропинка, но и дорога — прошли машины. И немало ходило людей, присутствие которых как-то сразу успокоило, будто они, эти люди, заслонили его от вражеских глаз. Даже немецкие солдаты не испугали, наоборот, подбодрили: враги были рядом и сами затаптывали его след. Тут не на кого было оглядываться. Все очень просто. Место выбирали опытные люди.

Квартира находилась в двухэтажном деревянном доме. По скрипучей лестнице Алесь поднялся на второй этаж. В двери был механический звонок, но Алесь почему-то не отважился покрутить его, постучал в филенку застывшими пальцами. Ему открыла женщина неопределенного возраста, перевязанная по груди теплым платком.

— Я от Лены, — сказал он.

Так сказала ему Лена, немного разочаровав: ему, романтику, хотелось затейливого пароля — и вдруг так просто. У женщины тоже не было слов ответного пароля, обычные, вежливые:

— Проходите, пожалуйста.

Но в тесный коридорчик выглянула из комнаты сама Лена Боровская, непривычно одетая — празднично, в ярко-зеленой кофточке. Она приветливо улыбнулась, принимая из его рук шапку.

— Раздевайся, Саша. Сегодня у нас тепло.

Комната, в которую он вошел за Леной, удивила торжественностью, хотя ничего особенного в ней не было. Торжественность комнате придавал отблеск снега, яркий свет, что лился через широкое окно, небогатые, но чистые гардины, веселье, с васильками на золотистом фоне, обои. Возможно, впечатление праздничности и торжественности было еще оттого, что в комнате не было ничего лишнего, не то что в Ольгином доме, заваленном разным барахлом.

Аккуратно застланная никелированная кровать, небольшой буфет, книжная полка, с которой большинство книг было убрано, что выдавали обои, не выгоревшие там, где стояли книги. На стене висела репродукция картины Шишкина «Утро в сосновом лесу», другая картина была снята и гвоздь вырван, но предательские обои все равно выдавали. Алесь подумал, что здесь мог висеть портрет Ленина. Как раз такой по размерам портрет висел в его доме. И вообще все тут напоминало комнату его матери, где всегда был вот такой учительский порядок. От этого сходства защемило сердце.

Не сразу сообразил, что наибольшую торжественность комнате придавал стол, накрытый по-интеллигентному: белая скатерть, небольшой блестящий самовар, фарфоровые чашки и в плетеной хлебнице тонко нарезанные ломтики черного хлеба, который выдавался по немецким карточкам. Сахару не было. И закуски никакой. Алесь вспомнил, что утром Ольга кормила его картошкой с салом, и ему стало неудобно перед этими людьми.

За столом, спиной к двери, сидел человек в форме железнодорожника и вкусно пил чай, по-купечески причмокивая. Он не оглянулся, когда Алесь вошел, не проявил интереса. Другой — весельчак Евсей, приехавший за приемником, — вежливо улыбнулся Алесю, как хорошему знакомому. Алесь подошел к нему и пожал протянутую руку. И в тот же миг застыл, удивленный: на противоположной стороне улицы размещалась воинская часть, стояли машины, чистили технику и тропинки солдаты. Все это было видно из окна как на ладони.

Увидев, что Алесь смотрит в окно, Евсей весело засмеялся:

— Хорошая у нас охрана, правда? Механизированный полк.

— Отчаянная ты голова, — сказал человек за столом.

Алесь повернулся к нему. Человек был старый, лет под пятьдесят, дня три не брился, от этого выглядел суровым, понурым и как-то не подходил к окружающей торжественности, к столу, к чашке тонкого фарфора, которую он зажал в ладонях больших, пропитанных машинным маслом рук. Было боязно, что он раздавит чашку.

Алесь немного обиделся, что железнодорожник даже головой не кивнул в знак приветствия, хотя рассматривал его пронизывающе, нахмутив мохнатые седые брови.

Вошла из кухни женщина, открывая ему. Вежливо пригласила:

— Садитесь, Саша, пить чай. Самовар горячий. Меня зовут Янина. Янина Осиповна. А это мой брат, — показала она на железнодорожника, — Павел Осипович.

Алесь посмотрел на них и подумал, что не похожи они на сестру и брата — по внешности, по разнице лет, по характерам. Всмотревшись, определил, что хозяйке не больше тридцати. Она красиво улыбалась, при этом поблескивал золотой зуб. Явно интеллигентка, а платком перевязалась по-крестьянски. По тому, как Евсей одет — в тесноватый, чужой лыжный костюм, как он ходит, мягко, по-кошачьи ступая, Алесь понял, что он не в гостях, а живет тут. Но по

каким-то неуловимым признакам угадывалось, что полным хозяином Евсей себя не чувствует.

Янина Осиповна сказала ему:

— Андрей Иванович, садись ты, пожалуйста. Мало находился?

Алесь стало веселей. Оттого, что Евсей не Евсей. И от неожиданного открытия, что Евсей-Андрей, пожалуй, тут на таком же положении, что и он у Ольги. Значит, не один он, а и этот зрелый уже человек, руководитель, должен искать себе приют. Это определенным образом сближало их, во всяком случае теперь ему не было стыдно перед этими людьми за свои отношения с Ольгой. Вряд ли ему нужно открывать эти отношения и, как намеревался, просить у руководителей разрешения не оставлять свою теперешнюю квартиру. Мысли, с которыми шел сюда, показались наивными. Однако Янина Осиповна не Ольга. У Андрея — товарищ по борьбе. А у него?

Янина Осиповна налила чаю.

— Пейте. — И как бы попросила прощения: — Сахару нет.

— Сахару немцы не дают, — добавила Лена.

Чай пах брусничником и липовым цветом, таким чаем пила Ольга, когда он лежал больной.

Атмосфера застолья правилась: именно так, за чаем, собирались революционеры-подпольщики в царское время, о них он прочитал почти все, что написано писателями и историками.

Павел Осипович без всякого вступления спросил:

— Знал, в кого стреляешь?

— В фашиста.

Железнодорожник сдержанно улыбнулся, и улыбка открыла сходство с хозяйкой: да, брат.

— Целил правильно. Инструктор следственной группы полиции. Учил «бобиков», как вести следствие по-гитлеровски. — И тут же вздохнул. — Но за такого гада арестовали наших людей, хватали в тот вечер каждого подозрительного.

Алесь понял: все, что он рассказал Лене, детально проверено.

— Мстил за лагерь?

— За все. За народ.

— Кем до армии был?

— Студентом. Меня призвали с третьего курса. В сороковом.

— Армейская специальность какая?

Павел Осипович выдал себя: так спросить мог только военный, командир, а не простой железнодорожник.

— Был наводчиком в артиллерии, потом — в дивизионной гаубице. Нас окружили...

Хотел рассказать, при каких обстоятельствах попал в плен, чтобы руководитель подполья ничего плохого о нем не подумал. Но Павел Осипович перебил:

— Пишешь?

— Писал.

— Он стихи печатал, — сказала Лена.

— Вот как? — Павел Осипович искренне удивился и начал рассматривать парня с большим интересом, потом повернулся к Андрею: — Легализовать можем?

— Зачем?

— За поэта они схватились бы. Такие кадры им нужны. Устроить бы его в комиссариат, в их отдел пропаганды.

— Мы его возьмем в диверсионную группу. В истребители, — сказал Андрей. — Готовый террорист.

— Диверсантов хватает. Все рвутся стрелять. Нужно думать о том, чтобы заслать наших людей во все оккупационные учреждения, куда только возможно. Наперед нужно думать. Дальше заглядывать.

— Планировать войну на пять лет? — скептически усмехнулся Андрей.

— На пять не нужно. Но не думай, что победим через месяц. Много крови прольется, ребята, ой, много... — вздохнул Павел Осипович. — Давайте больше не закидывать немца шапками. Дорого мы за это заплатили.

— Через месяц Минск будет наш! — шепотом, но очень уверенно сообщил Андрей.

— Авантюристы вы, ребята, еще раз говорю вам. Ты видишь, сколько их напихано? — кивнул Павел Осипович на окно. — Набиты все казармы, все дворы.

— Дед, идешь вразрез... — мягко, но серьезно, без обычной улыбки своей, сказал Андрей.

— Вразрез не пойду, решение выполняю... Но организовать, организовать нам нужно сначала. Вот о чем говорю.

— Товарищи... — деликатно предупредила Янина Осиповна, почему-то показав глазами вверх, на потолок.

Короткий спор этот, сущность которого Алесь понял позже, окончательно запутал его. Кто же тут руководитель? Показалось даже, что его дурачат нарочно, но не обиделся, решил, что это необходимо в целях конспирации. Странно было бы, если бы ему сразу, с первой встречи, выложили все карты на стол — кто король, а кто валиет.

После предупредительных слов Янины Осиповны присмотрелся, как уважительно мужчины обращаются к ней, и подумал, что не последнюю роль в группе играет она. Но ему не хотелось быть в группе ни под ее руководством, ни под руководством ее брата. Его тянуло к Андрею, решительному, смелому, уверенному. Он всегда любил таких людей, может, потому, что сам был тихий, застенчивый. Опасаясь, что Павел Осипович будет настаивать на его работе у оккупантов, Алесь, не дождавшись их решения, сказал:

— Я морально не готов работать у гитлеровцев. Я ненавижу их так!..

Павел Осипович вздохнул, как бы сожалев, что еще один человек не может понять его. Сказал почти жестко:

— Я ненавижу их не меньше. Однако работаю. Лучшим работ-

ником считаюсь. Немцы мне полностью доверяют. А между прочим, я тоже из лагеря. Вот они помогли освободиться, — кивнул он сразу на троих — на Лену, Янину Осиповну, Андрея.

После такого признания человек этот сделался самым близким тут — товарищем по страданию. Алесь уже было подумал: «Нет, не можешь ты ненавидеть, как я, ты не пережил того, что пережил я». Теперь ему сделалось стыдно за такие мысли и за то, что он как-то сразу отнёсся к бывалому человеку не очень приязненно, как бы скептически: мол, легко тебе, дед, рассуждать и планировать войну, как сказал Андрей, на пять лет. А дед, оказывается, вот кто. Не его ли должна была выкупить Ольга?

— Простите, — сказал Алесь.

— За что? — удивился Павел Осипович.

Андрей засмеялся:

— Ну что, Дед? Нравится тебе парень? Я из него сделаю лучшего диверсанта. А ты его хочешь послать немецкие прокламации писать.

— Прокламации он писал бы наши, но со знанием дела... врага бы знал изнутри, это важно. Кстати, пока Андрей даст тебе задание, напиши стихи о разгроме немцев под Москвой. Хорошо было бы сатиру или такие, чтобы людям петь их хотелось. Мы их листовкой напечатает. Печатники свои, — ласково посмотрел Дед на Лену, а потом сказал Андрею, доказывая, видимо, мысль из давнего спора: — Нужно, ребята, сочетать все формы борьбы.

Андрей, кажется, согласился с этим, потому что смолчал. Алесь отметил, что про стихи сказано человеком образованным, интеллигентным, даже его друзья студенты когда-то говорили по-русски не «напиши стихи», а «напиши стих», и снова подумал, что этот простой железнодорожник в потрепанной одежде, небритый, до войны занимал немалый пост, да и в подполье, конечно, не рядовой. Одно не понятно — его отношения с Андреем. Кто кому подчиняется? Вчерашний военный, Алесь не сразу мог принять своеобразную партизанскую демократию.

Обрадовало согласие Деда, чтобы задание дал ему Андрей. Но когда? Хотелось получить его тотчас. Вообще по дороге сюда он совсем иначе представлял себе заседание подпольного центра. Казалось, сразу будут команды, как в боевом штабе. А что к нему, в сущности, присматриваться? Он весь душой и телом в борьбе. Он мог бы продолжить ее один, но знает, что сила в организации, потому и искал настойчиво связи.

— Саша, берите хлеб, не стесняйтесь.

— Спасибо, я не голодный.

— Его хозяйка блинами кормит с верещакой. А драники ее на весь рынок пахли. Мне и сейчас снятся те драники. Даже слюнки текут.

Янина Осиповна блеснула золотым зубом, глянув на Андрея влюбленно и с шутивым укором.

— Не нюхай чужие кастрюли.

— Так на рынке же! Не на кухне. Послушайте, если бы вы видели, как она умеет торговать! Класс! Деньги не жаль заплатить, чтобы посмотреть на такое.

Алесь стало стыдно за Ольгу и за себя. Возможно, он покраснел, сконфузился или еще чем-то выдал себя, потому что хозяйка внимательно посмотрела на него и вдруг спросила:

— Послушайте, Саша, можем мы Ольгу приобщить к нашему делу?

— Нам вот так, — резанул ладонью по шее Андрей, — нужен такой человек. Какая связная! И внутри города. И для связи с партизанами. Ее вся полиция знает.

— Верить ей? — не отводя глаз, в упор, переходя на «ты», спросила Янина Осиповна.

Алесь растерялся и перевел взгляд на Лену. Но Лена на него не смотрела, Лена смотрела в чашку.

— Можешь поручиться? — спросил Андрей.

Парня бросило в пот. Он был готов к любым, самым тяжелым испытаниям, но о таком даже не подумал, а между тем какое оно нелегкое, это испытание. Не поручиться за человека, который спас тебе жизнь, которому ты доверил величайшую тайну? А как поручиться, если человек этот живет совершенно иными интересами, если даже разгром немцев под Москвой Ольгу мало тронул? Нет, не было у него уверенности, что Ольга готова к сознательной борьбе, готова жертвовать жизнью, как к этому готов он.

— А ты, Лена? Ты можешь поручиться? — решительно и нетерпеливо наступал Андрей.

Лена подняла голову и, нехорошо блеснув глазами, сурово ответила:

— Я? Нет, я не могу! Кулачка! Живет ради своей выгоды.

Андрей резко поднялся, ступил к окну, глянул в него. Повернулся. Сказал приглушенно, но раздраженно:

— Эх, ты! Один спит с женщиной...

Алесь будто кипятком обдало, он покраснел как рак.

— Андрей, выбирай слова. — На бледных щеках Янины Осиповны выступили красные пятна.

— Не хочу я выбирать слова. Наплевать мне на ваши интеллигентские тонкости! Другая в школе училась, дружила... И не видите человека? Ну, черт с вами! Я ручаюсь за нее! Головой!

— Не бросайся, Андрей, головой! Она у тебя одна.

— Да вы знаете, какая это баба!

— Вот именно потому, что она баба, не спеши, проверь спокойно, — рассудительно посоветовал Павел Осипович, который почему-то к этому спору проявил меньше интереса, чем ко всему остальному. — Такая связная будет знать больше, чем любой из нас.

— Можно, я поговорю с ней? — согнав немного краску с лица, несмело спросил Алесь.

— Нет, плохой ты агитатор, поэт. Лучше я сам поговорю, — уже более миролюбиво сказал Андрей.

Алесь не вернулся домой. Вышел после обеда, сказал, что пойдет прогуляться, и до полуночи нет. Ольга понимала, что ждет напрасно, в такое время без ночного пропуска он уже не пройдет. Но от тревоги, страха, предчувствия беды она не только не могла спать, но и лежать в кровати: как привидение в ночной сорочке бродила по дому, ступала босыми ногами по полу, не чувствуя холода, пугаясь теней во дворе и в доме, чего раньше никогда с ней не бывало.

За окнами лунная морозная ночь. От мороза трещат деревья. Одинокий выстрел прозвучал где-то, может, на Немиге, а показалось — рядом, на их улице. И свист паровозов никогда не был таким близким, будто железная дорога подошла к Комаровке.

Ставни не закрыты, и Ольга заглядывала то в одно, то в другое окно. Не закрывать ставни попросил Алесь, давно еще, — его угнетала темнота.

Ольга вспоминала все, что связано с ним, — каждое движение, каждое слово, каждое желание его. Что он сказал, когда уходил? Какие последние слова его были? Ужаснулась, поймав себя на том, что думает о нем, как о неживом. Нет-нет! Он жив! Может, впервые почувствовала она по-настоящему, каким дорогим стал для нее этот болезненный паренек, как сильно она любит его. Ничего она не боится, ни от чего ей не стыдно. Сказала Боровским, что все было. Скажет всему свету, пусть только он вернется. Но что из того, что скажешь о своей любви? Что изменится? Все равно его не удержишь. Нет, не те слова — «не удержишь». Не устроишь!

Она вошла в его комнату с волнением, взяла в руки одну книгу, другую... Листала при лунном свете. Голос его звучал из книг.

Ах, калі б ты магла здагадацца,
Як не хочацца мне ухадзіць.

Из какой это книги? Нет, это не из книги. Это он читал на память. Много читал...

Разгарайся хутчэй, мой агонь, між імглы,
Хай цябе шум вятроў не пугае:
Пагашаюць яны аганёчак малы,
А — вялікі — кранчэй раздуваюць!

А это она нашла сама — у Блока:

Я сам свою жизнь сотворю
И сам свою жизнь погублю.
Я буду смотреть на зарю
Лишь с теми, кого люблю.

¹ Стихи Максима Богдановича.

Часто повторяла эти строки про себя. Но ни разу не прочитала ему: суеверно опасалась, что это... о нем. И о ней.

Перемену в настроении Алеся после его выхода в город в тот вьюжный день она почувствовала сразу. Недолго он гулял, часа три всего, а вернулся будто обновленный. Скрытая радость светилась в глазах, в каждом слове, в том, как он разговаривал с ней, как играл со Светой и какие стихи читал.

Ольга догадалась, почему он такой: нашел своих, связался с ними. Иной причины для такого настроения у этого человека быть не могло. И ее охватил страх. Но страх был иной, чем тот, пережитый ею, когда забирали его из лагеря, когда в их доме делали обыск и даже когда, в лихорадке, он признался, что убил немца. Тогда она пугалась больше за себя. Теперь боялась за него, поняла вдруг, что остановить парня у нее нет сил, что стремление его бороться сильнее ее чар, нежности, теплоты, благополучия, сильнее всего, что, по ее представлениям, могло бы искушить любого человека.

Выходит, сытная еда, теплая постель еще не все для человека. Ее восхищало, что он та кой, не похожий на остальных людей, которых она знала до этого.

Она понимала, что такое долг, и никогда, например, мужу не посоветовала бы дезертировать: все идут в армию, все воюют — и ты иди вой. Но там иное дело, там заставляет закон, и дезертирство — предательство, за него сурово карают. А ты, думала она про Алеся, ты же никого не предал, не по своей вине ты попал в плен. Так зачем же тебе, настрадавшись, идти одному на такую силу? Посмотри, сколько их, немцев, полицаев! Это же значит идти на верную смерть. Нет, так она думала раньше, и не только думала — сколько раз пробовала доказать ему. Иногда он горячо спорил, иногда уклонялся от такого разговора, но читал ей стихи то из книг, то на память. И из стихов, если вдуматься, вытекала его правда. выходило, что о ее правде никто никогда не писал — ни Пушкин, ни Купала. Она полюбила Блока, втайне часто читала его, ей казалось, что в туманных, не очень понятных строках заключена ее правда.

Как у тебя хорошо и светло —
Там за стеною темно...
Дай помолчим, постучимся в стекло,
Дай-ка — забьемся в окно!

Но он... он любил и это. И понимал по-своему.

Нет, после такой перемены, какую увидела в нем, она уже и не намеревалась отговаривать его, упрекать, упрашивать. Хорошо знала, что все слова будут напрасны. Почему он за какие-то три часа вдруг стал такой?..

— Какой? — засмеялся он тогда на ее вопрос.

— Как... после причастия.

— Ольга, ты начиталась Блока. — И, обняв, горячо поцеловал в губы, подтвердив еще и этим, что он обрадован, возбужден.

— Ты не хочешь мне ничего сказать?
— Что сказать?
— Где ты был? С кем встречался?
— Не думаешь ли ты, что я с девушкой встречался? Может, думаешь, с Леной?

— Нет, не думаю. От встреч с Леной ты не становился такой.
— Да какой? Я просто хорошо погулял. Люблю метель. И фашисты не испортили мне настроения. Попрытались в норы от метели.

— Ты не веришь мне?
— Ольга, я ничего от тебя не таю.
— Поклянись.
— На чем? На библии, которую ты читаешь? — насмешливо хмыкнул он.

Ольга обиделась, надулась.
...Обнимая подушку, сохранившую, казалось, его живое тепло, его запахи, Ольга проклинала себя за холодную вежливость свою. Как она могла обращаться так с ним в то время, когда человек, возможно, готовился к смерти? Оттого и просветленный такой был, действительно как после причастия.

Не могла уснуть всю ночь, светлую от искристого снега за окном, от луны, но черную, как яма, от ее мыслей. На рассвете, когда ребенок спал и Лена Боровская еще не могла уйти на работу в немецкую типографию, Ольга бросилась к подруге. Не любила она Лену, в ту ночь, думая о ней, почти ненавидела, но не забывала, что в тяжелую минуту ее всегда тянуло именно к Лене, лишь Лене она могла доверить не только сердечную тайну, но и жизнь — свою и того, кто стал дороже жизни.

Лена только проснулась. Наверно, от длительного голодания у нее припухло под глазами, и от этого она выглядела очень постаревшей, сорокалетней женщиной. Мать кормила ее холодной, с вечера сваренной в мундире картошкой, и картошка эта, казалось, застревала у Лены в горле. Такой ранний Ольгин приход испугал Лену. Ольга это сразу заметила, и у нее подкосились ноги: показалось, что Лена знает что-то страшное, потому и испугалась, увидев ее.

Разговор начала старая Боровская, попросила:
— Олечка, одолжила бы ты нам соли, а то не ест Лена без соли, совсем изголодалась, глупая. Чем только живет, не понимаю. Да ешь ты, доченька.

— Одолжу, тетя, сегодня же принесу.
— Разживемся — отдам.
— Когда это и на чем ты разживешься? — сурово спросила у матери Лена. — В кабалу к Леничишке залезешь!

— Как это ты обо мне думаешь? — обиделась Ольга до слез; в другое время она бы в грязь втоптала Ленку за такие слова, а тут даже не разозлилась, только, правда, очень обиделась.

Старуха примирила их:

— Дружите, детки, не ссорьтесь. Теперь вся наша сила в дружбе.

Ольга спросила боязливо, шепотом:

— Где Саша, Лена?

— Саша? А что? — сразу отогнала сонливость Лена, потухшие глаза загорелись вопросительно. А Ольгу, пожалуй, успокоило, утешило, что Лена так встрепелась: значит, ничего не знает, просто, наверное, подумала, что случилось плохое, раз Ольга прибежала в такую рань, ведь еще и комендантский час не кончился.

— Вчера после обеда ушел... ничего не сказал...

Тогда успокоилась Лена, будто усмехнулась, или это пламя коптилки ярче вспыхнуло и осветило ее лицо; расслабленно поправила платок на плечах и заинтересованно, не так равнодушно, как до этого, стала выбирать картофелину.

Упрекнула вьедливо:

— На сутки человек отлучился, а ты уже бегаешь по всему городу. Как же это ты его не привязала к юбке? Не привязывается, а? Сколькокий, что ли? — теперь уже открыто издевалась Лена.

— Злая ты, Леночка, становишься, — упрекнула Лену мать, но тут же тяжело вздохнула: — Ты прости, Олечка, работа у нее тяжелая, а харчи видишь какие... А Ольгу не упрекай, все мы, бабы, такие... Полюбила она его.

— Полюбила! Скажи — присвоила!

— Зараза ты, Ленка! — У Ольги задрожали губы. — Я к тебе с открытой душой...

Лена стремительно поднялась, отпихнув от себя очищенную картофелину, начала завязывать платок на голове.

— Опять ничего не съела, — погоревала старая Боровская.

— Не обижайся, Ольга, — добродушно, примирительно сказала Лена. — Может, я от зависти так. Я и в хорошее время не смогла полюбить. А ты и сейчас можешь любить. Не горюй, вернется твой Саша, — сказала она так уверенно, что Ольга поверила и успокоилась.

Но спокойствия этого хватило разве что на утро, пока растапливала печь, кормила Свету, убирала в доме, кстати, более старательно, чем обычно, будто ожидала гостя или готовилась к празднику.

Новую тревогу... нет, не тревогу, ужас принесла тетка Мариля, Светина нянька. Ольга еще вчера договорилась с ней, чтобы та поиграла с ребенком, чувствовала, что не выдержит, не усидит целый день дома, если Саша не вернется.

Хорошая эта старуха, добродушная, она ведь знала, откуда, как появился у Леничишки квартирант, как тяжело он болел, помогла его лечить и жалела беднягу. Неизвестно, от доброты и жалости или от недостатка душевной чуткости тетка Мариля сказала Ольге:

— Людское радио, Олечка, передает, вся Комаровка толкует, что сегодня утром проклятые фрицы вновь повесили около Дома

Красной Армии наших людей... партизанов, говорят... А кто они, один бог знает.

— У Ольги вмиг все омертвело — руки, ноги, глаза, язык. Слова вымолвить не могла, не хватало сил. Стояла белая как полотно, смотрела на Марилю... и не видела ее, видела, как в тумане, страшные фигуры повешенных и среди них его, Сашу...

А потом сердце будто сорвалось с места, раскололось на части, с болью разорвалось в груди на колющие осколки, и каждая частичка так же больно забилась, затрепетала в висках, в животе, в пальцах рук.

Ольга бросилась к старухе, схватила ее за плечи, встряхнула: — Тетечка, скажи, он там?

— Да нет, любочка моя, нет. Никто не знает, никто не видел... Да и чего бы ему там быть? Что он сделал? Болеет же. — Хотя Ольга ничего не сказала, кажется, и не пошевелилась даже, Мариля стала тут же отговаривать: — Олечка, не ходи туда... Не нужно тебе. Лучше я, старая, схожу. Было же уже так осенью, повесили троих на Червешском, а сестра пришла, узнала брата, заголосила, так они, гады, тут же схватили ее, хотя ни в чем она не виновата... А кто виноват?

Нет, не пойти Ольга не могла, как бы ни убеждала ее старая женщина. Почти убедила, что не может там быть ее любимого. Даже страх отхлынул, тот, первый, болезненный, и сердце вернулось на свое место. Но не могла она не посмотреть на повешенных! Не от страха, что он там. И не из обывательского интереса, который мог быть у нее раньше. Нет, теперь было что-то другое, как бы вступление в новую жизнь, желание встретиться лицом к лицу с той опасностью, которая будет подстерегать ее в этой новой жизни каждый день, каждый час. Видела смерть отца, разрезанного трамваем, тихую смерть матери в огороде, смерть людей под бомбежкой, смерть старого еврея, которому немец выстрелил в горло, трупы людей за лагерьной проволокой. Какая же она, смерть тех, кто не хотел покориться чужеземцам так же, как не покорился он, ее Саша? Не так давно она еще надеялась, что победит ее правда, что ласками своими и устроенностью быта она заставит его покориться не врагу — ей, одной ей, и заставит жить так, как живет она. Надежда пошатнулась, когда Алесь застрелил немца. Теперь, когда парень неизвестно куда пропал, она исчезла совсем. Вот почему ей нужно готовиться к новой жизни. И все увидеть своими глазами.

Когда Ольга, одетая уже, целовала дочь, Мариля предупредила:

— Не забывай о Светке. С кем она останется?

Мысль о дочери вынуждала быть осторожной. И все равно по своим комаровским полупустынным улицам она почти бежала, задыхаясь от волнения. Сильный мороз разрывал грудь, он как бы стусил воздух, и он не вдыхался или, может, наоборот, не выдыхался, колющими иглами колол легкие, горло.

Но на Советской, несмотря на холод, народу было немало, и каждый второй в зеленой, мышастой или черной шинели. Ольга пошла медленнее, хотя навряд ли нужна была такая предосторожность — мороз подгонял всех, заставляя бежать. Немцы пританцовывали, постукивая замерзшими ногами, потирали уши и от этого казались веселыми, возбужденными.

Ольга обратила внимание на то, что все идут только по правому тротуару, левый был пустой. Сразу догадалась почему. И снова стало жутко. А если он там? Не знала, как она поведет себя, не надеялась на себя, потому снова стала думать о дочери. Только Светка, маленькая веточка ее, может удержать от неразумного поступка. Но что разумное, а что неразумное? Еще совсем недавно Ольга хорошо знала это, во всяком случае не сомневалась, что все, что делает она, Ленивичиха, все это самое разумное. Он, Саша, все перепутал в ее голове.

Поднималась на горку — от Пролетарской к скверу, — будто в страшном сне, в котором лезешь в гору по крутой и бесконечной лестнице и у тебя уже нет сил, одеревенели руки и ноги, останавливается смертельно утомленное сердце.

Не дойдя до кинотеатра, она увидела повешенных и, еще не различая фигуры, сердцем ощутила, что его нет среди шестерых... Сразу отхлынул страх, но тут же волна ненависти к палачам захватила ее, такой ненависти она еще не переживала. Конечно, проклинала немцев за то, что начали войну, уничтожают людей, но поскольку ей лично война пока что несчастья не принесла, скорее наоборот, то проклинала почти так же, как когда-то милиционеров, — добродушно, лишь бы угодить Алесю и быть заодно с народом (все соседи, знакомые проклинали оккупантов), а не с полицией, которые хвалили новую власть. Не боялась иногда и при знакомых полициях «проехаться» по поводу их хозяев.

Когда же увидела повешенных, появилось совсем другое чувство, — во всяком случае, только сейчас она поняла, что же такое Сашина ненависть, почему он так рвался мстить. В одеревеневшие руки, ноги вернулась сила, сжимались кулаки, она вновь ощутила себя решительной и смелой. Такая задорная отчаянность была у нее в первые дни войны, когда она под бомбами таскала награбленное добро, но теперь отчаянность толкала совсем на другое.

Ольга пошла быстро, уверенно, потом остановилась напротив повешенных. Из гражданских никто около них не останавливался, люди боялись даже глянуть в ту сторону, смотрели только немцы и громко обсуждали событие, приветствуя, конечно, казнь бандитов.

Они висели в углу сквера, около самой Советской улицы, на первых деревьях — на перекладинах, прибитых к старым липам. Пять мужчин и одна женщина. Перед казнью с них сняли пиджаки, верхние сорочки, кофточку с женщины, все они были в одинаковых нижних рубашках, босые.

Сквер был весь в густом инее, потому деревья казались неесте-

ственными, театрально красивыми. С лиц, на которых повесили подпольщиков, иней опал, и деревья стояли скорбно-черные на белом фоне, печально-живые.

Иней осыпал головы повешенных, осел на лицах, руках, ногах. Застывшие лица казались гипсовыми, и были очень похожи одно на другое. А Ольге захотелось глянуть в их лица вблизи, чтобы увидеть, какие они; запомнить каждое, может, даже узнать кого-то. В памяти ее несчетное количество минчан, которым она когда-нибудь что-то продавала.

Она смело и решительно пошла через улицу на безлюдный тротуар около сквера. Остановилась за пять шагов от повешенных и внимательно всматривалась в их лица. Нет, они разные, видно и под инеем, один совсем ребенок, у другого, видимо после ареста, отросла короткая и густая борода, и у всех на лицах, шеех, груди виднелись кровоподтеки.

Ольга представила, как их пытали, и не ужаснулась, как ужасалась раньше, представляя, что могут пытать ее Алесь. Но ненависть охватывала ее всю целиком, оглушая, тумая рассудок.

Неизвестно, что она сделала бы, если бы не полицай. Один из них появился сразу же. Ольга не заметила, откуда он вышел. Увидела перед собой его морду с гадкой ухмылкой и от неожиданности и ненависти чуть не закричала, чуть не бросилась на этого выродка, который способен так отвратительно ухмыляться тут, около покойников. «Уважай хоть смерть, паскуда!» — чуть не вырвалось у нее.

— Ну, кто тут висит? — оскалился полицай. — Брат? Муж? Сосед? Знакомый?

— Никто. Просто люди.

— Люди! Бандиты! А кто или никто, это мы проверим. Федя!

По пустому тротуару медленно шел другой «бобик». Ольга узнала его — знакомый, Друтька, ведро водки у нее выпил. Полицай тоже узнал ее, удивился:

— Ольга? Кой черт принес тебя?

— А разве нельзя посмотреть?

— Нашла театр! — обратился Друтька к своему коллеге, разъясняя: — Это наша, Ленивича с Комаровки. Слышал? Чертова баба! Пошла вон отсюда, пока СД не увидела! Дурная! Ветер у тебя в голове.

Взял ее за рукав и повел назад через улицу, на тот тротуар, по которому шли люди.

— За что их? — спросила Ольга.

— Склад с горючим взорвали.

— Ого! Смелые.

— Чокнутые, а не смелые! — разозлился Друтька. — Лезут с голыми руками на такую силу! Все будут вот так висеть! Всех перевешаем!

— Ты их вешал?

— Нет. Немцы нам не доверяют.

— А если б доверили, повесил бы?

Друтька злобно выругался.

— Пошла ты! Принесла бы лучше чекушку, вся утроба замерзла, два часа дежурю. — И, испуганно оглянувшись — навстречу прошли три немца, — шепотом спросил: — Думаешь, они бы меня не повесили, сталинцы эти, комсомольцы?

— Они? — Ольга на минуту задумалась.

Но Друтька, как бы испугавшись ее ответа, легонько толкнул Ольгу в плечо, а сам быстро шагал назад, на свой страшный пост.

Ольга вдруг почувствовала, что ее шатает как пьяную.

А потом была еще одна мучительная ночь. Какие только ужасы не лезли в голову! Заснула на минуту — приснились повешенные. Самое кошмарное в этом сне: вместо полиция в охране около казненных стоял он, Алесь, в одном нижнем белье, она видела, как он замерзает, как живое тело его превращается в белый холодный гипс, но не могла сдвинуться с места, чтобы спасти, потому что рядом стоял Друтька и шептал на ухо: «Пойдешь — будет смерть твоей дочери».

На третий день, измученная неизвестностью, надумала попросить того же Друтьку, чтобы он навел справки, нет ли ее двоюродного брата среди арестованных, немцы ведь хватают людей без разбору — на улице, на рынке, — могут посадить невиновного. Но, зная, к чему стремился Алесь и что сделал уже, удержалась от такого намерения: лучше «бобикам» не знать, что она боится за парня, а то подумают, что есть причина бояться, и начнут вынюхивать, как собаки. Лучше не вызывать подозрений.

И снова мучилась в одиночестве. Знала, что на рынке, торгуя за прилавком, ей было бы легче ждать его. Но именно потому, что ждала очень нетерпеливо, с верой в его возвращение, не могла отлучиться из дому даже на короткое время. Не хотела, чтобы после всего, что он переживет за эти дни, — не в тепле сидит, не блинцы ест у другой молодницы! — его встретила старая Мариля, а не она.

В полдень отчаяние, горячее, с роем мыслей, стремительных, противоречивых, невероятных, с желанием действовать, искать, сменилось отчаянием холодным, когда наступает душевное одеревенение, почти полная бездумность. Светка чувствовала такое материнское настроение и начала капризничать, плакать. Ольга отшлепала ее и испугалась своей злости, заголосила по-бабьи, как голоса по покойнику. Малышка так поразила этому, что перестала плакать и стала по-своему, по-детски утешать мать, отчего Ольга разжалобилась еще больше.

В таком состоянии ее застал неожиданный гость — тот Евсей, у которого она купила козушек и который забирал приемник. Появление его сначала удивило и испугало. Когда он вошел, Ольга

минуту смотрела на него как на привидение. Кожушка, который она ему вернула, на нем не было, молодецкие усы сбриты, длинное старое пальто, клетчатое, — такие появились из Польши, когда освобождали Западную Белоруссию, — польская шапка с козырьком и короткими отложными ушами сильно изменили вид человека. Но Ольга узнала его сразу. А он будто и не заметил, что хозяйка не в настроении, что у нее заплаканные глаза. А может, правда, с улицы, где был сильный мороз и на солнце искрился снег, слепил, человек в доме какое-то время плохо видел, иней на бровях и веках, тающий в тепле, мог затуманить глаза.

Евсей весело спросил:

— Не узнаешь, красавица?

— Разве такого гжечного пана можно не узнать?

Сама удивилась, почему ее вдруг потянуло на игривый разговор, — наверное, такой уж это был человек и такие были их встречи, что иначе с ним говорить невозможно.

Евсей хохотнул не особенно весело:

— О, это уже почти комплимент! Однако мало я изменился, выходит?

Увидел в зале зеркальный шкаф, ступил к нему, чтобы посмотреться.

— Да нет, изменился очень, — успокоила Ольга, — но такого пана можно узнать и облупленного.

Теперь он засмеялся весело.

— Настоящие паны за такие комплименты целовали бы пани ручку.

— Так то ж настоящие!

— Да, я пан не настоящий. Знаешь, почему я пришел? За обещанными драниками. Все время с того дня чувствовал их запах, драников твоих.

Ольга обрадовалась, что человек так искренне и просто попросил есть. Нет, не это обрадовало — то, что он намерен задержаться надолго, с ним можно поговорить, у него, как и у Лены, можно спросить об Алесе.

Как бы испугавшись, что он передумает, бросилась на кухню, начала чистить картошку. Настроение у нее переменялось, снова она была той Леновичихой, проворность которой удивляла и восхищала всю Комаровку.

Малышка почувствовала перемену в материнском настроении и тоже повеселела, играла с картошкой и без конца лопотала на своем детском языке, будто просила прощения за свою недавнюю капризность.

Ольга выглянула из кухни — как гость? И застыла, пораженная. Весельчак, балагур сидел на диване, понурился головой, в позе смертельно уставшего человека; глубокая печаль и душевная боль застыли на его лице. Даже не услышал и не увидел, как хозяйка подглядывает за ним из-за плюшевой портьеры на кухонной двери. А Ольгу снова ударил страх. «Может, пришел, чтобы сказать...

Нет! Нет!» — закричала не она, сердце ее, мозг, они не могли согласиться со смертью того, кого так ждала.

Гость услышал, как она терла картошку на терке, и пришел на кухню, удивился:

— Ты действительно готовишь драники? Я пошутил. Нет у меня времени. Хотя съесть что-то надо. Сила нужна.

— Это быстро. На примусе.

— У тебя есть керосин?

— У меня все есть, — похвалилась Ольга.

— Ого! — Он снова засмеялся, будто жених, который, придя свататься, узнал, что невеста значительно богаче, чем он предполагал.

Сел на низкий табуретик и начал из картофелины вырезать малышке куклу — смешного человечка. Когда же на сковородке зашипели на свином сале первые драники и поплыли аппетитные запахи, гость виновато признался:

— Пойду посижу на диване, а то боюсь, упаду, голова кружится, со вчерашнего дня ничего не ел.

— О боже мой! — ужаснулась Ольга. — Какая же я глупая! Садитесь за стол сразу, и я в один миг все подам. Водки выпьете?

— Нет, нельзя мне.

Он ел много, но не жадно, не спеша, как бы стыдился или остергался, не запихивал целый драник в рот, откусывал по маленькому кусочку и не глотал, ждал, пока нахучая мякоть растворится во рту.

Ольге нравилось, как человек ест, уважение к еде нравилось. Она стояла у кухонной двери и смотрела на него.

— Никогда не ел ничего вкуснее, — похвалил он драники.

Хвалили ее за хозяйственность, проворство и умение часто, но похвала этого гостя была почему-то особенно приятна.

— Ешьте на здоровье, Евсей... не знаю, как вас по-отчеству. — Ольга неожиданно для себя перешла на «вы». После его признания, что он два дня ничего не ел, увидев, как интеллигентно он ест, Ольга отбросила игривый тон, в голосе появились серьезность, уважение.

— Сегодня мое имя Виктор Андреевич, — сообщил он с таинственной улыбкой. — Виктор Андреевич Леденев. Вы давно меня знаете. Понятно?

Оттого, что у него бывают разные имена и отчества, Ольга почувствовала к гостю еще большее уважение, но одновременно появилась и какая-то иная, чем вначале, боязнь.

— Да, я понимаю.

— Садись, посиди со мной, — показал он на стул около стола.

— Так драники же пекутся.

В кухне шумел примус, шкворчала вторая сковорода оладий.

— Не носи больше, а то объемся.

Но Ольга принесла сковородку, вывернула драники в тарелку, залила сверху жиром.

— Ешьте!

Кажется, ему не понравилась ее серьезность, он попробовал возобновить прежний тон:

— Пани не представляет, какое испытание дает моему бедному желудку! Очень уж холодно на дворе.

Ольга поняла шутку, но не поддержала. Отнесла на кухню скородку, вернулась и села на стул.

Вблизи внимательно всмотрелась в его лицо, увидела, что человек не так молод, как показался при первой встрече на рынке, или, может, за два месяца так постарел; кажется, тогда не было таких глубоких борозд под глазами и у губ.

— Не смотри на меня, — снова шутливо попросил Виктор Андреевич. — Я никогда не появлялся перед красивыми женщинами в таком виде — небритым.

Ольга помолчала, потом сказала:

— Я хочу понять, что вы за люди.

— Кто?

— Вы... Саша... мой.

— Люди как люди. Советские люди.

— А я, выходит, не советская?

— Почему же? И ты советская.

— Где Саша? — неожиданно спросила Ольга.

— Почему ты считаешь, что я должен знать, где твой Саша?

— Ты знаешь! Ты все знаешь!

Гость проглотил драник, положил вилку, откинулся на спинку стула, повернулся в ее сторону и тоже в упор посмотрел в ее широко раскрытые глаза — голубые озера. Тихо спросил:

— Любишь?

— А что, разве нельзя? — Такой неожиданный вопрос неприятно задел Ольгу, и она готова была дать дерзкую отповедь, по-своему, по-базарному, если он вдруг скажет что-то плохое об их любви.

Но он сказал мягко, хорошо, даже глаза блеснули влагой:

— Да нет, наоборот... В этом, видимо, наша сила, что мы, ненавидя... врага ненавидя, можем любить. — И, задумчиво помолчав, оглянулся, сообщил шепотом: — Живой твой Саша. Но стоит ли ему возвращаться сюда, об этом нужно подумать. — И странно посмотрел на Светку, которая топала около стола, качая котенка и на своем детском языке разговаривая с ним.

У Ольги екнуло сердце. Вот оно как может случиться! Не смерть, а люди, человек, который казался таким добрым, разлучат их. И это, наверное, будет навсегда. Да какое он имеет право? Никому она не отдаст того, кого спасла от смерти, кого полюбила! Он принадлежит ей, только ей! — закричало сердце. Однако тут же стихло, сжавшись от знакомого страха, того страха, в котором жила последние дни, от которого чуть не потеряла сознание, услышав о повешенных.

Насторожилась, примолкла. Ждала, что он, Виктор... Евсей или

как его... начнет советоваться с ней, думать вместе: возвращаться Саше домой или нет? Что ответить ему?

Три дня назад она, наверное, по-бабьи, по-базарному бросилась бы в бой: «Мое! Не отдам!» Но теперь понимала нелепость этого. Как она может отдать или не отдать Сашу, когда он уже там, у них, у этих загадочных для нее людей? Вернуть его теперь можно только любовью.

Ольга ждала, как приговора, слов человека, имевшего власть над Сашинной жизнью. А он молчал, молчал, как показалось Ольге, бесконечно долго, хотя в действительности подпольщик хранил молчание едва ли минуту. Ольга не разглядела его глубокого раздумья, нерешительности. Причиной его колебаний была Светка. Ради безопасности ребенка Гопанюку не стоило возвращаться в этот дом. Но стоит ли в таком случае вовлекать в борьбу ее мать? Не по этой ли причине не поручился за нее Алесь? Не мог он не верить женщине, которая так любит его. Нет, лишиться такой связанной непростительно. Ольга идеальная связанная, и это не так уж опасно, она умная и хитрая, водит дружбу с полициями. Есть риск? Есть, безусловно. Но разве мало женщин, которые, имея детей, идут на фронт, в партизаны? Нельзя ему, руководителю, думать об одном ребенке и забывать хотя бы на миг о тысячах других детей, о целях страшной, но священной войны.

Андрей оторвался от спинки стула, отодвинул тарелку, облокотился на стол, наклонился к Ольге, будто был близорукий и хотел вблизи взглянуть в ее глаза.

— Не думай, что я пришел драники есть. Большая это роскошь для меня сегодня. За драники спасибо. Пообедал по-царски. Но пришел я по делу. Не пугайся. Настороженные какие-то у тебя глаза. Кроме войны, ничего более страшного не случилось. Мы знаем, вы смелая женщина, отчаянно смелая. Помогите нам, Ольга Михайловна!

Ольге польстило, что он так думает о ней и что заговорил так серьезно, даже на «вы», но она сразу догадалась, о чем пойдет разговор, и страх с новой силой ударил в сердце. Пусть бы этот разговор состоялся до того, как она увидела окостенелых покойников на виселице! А то выбрал время...

— Связь между нашими людьми. Только связь. Внутри города. Изредка за городом. Вы же везде ходите, вас знают. Вам просто. Кому-то что-то передать, кого-то предупредить и этим, может быть, спасти...

Ольга слышала слова как через стену. Звенело в ушах. Она медленно подняла руки и зажала ладонями уши.

«Неужели не хочет даже слушать?» — разочарованно подумал Андрей, замолчав на полуслове.

Но Ольга не запротестовала решительно, она как бы начала просить пощады:

— Боже мой! Что вы со мной делаете? Сначала он, а потом вы... Куда вы меня тянете? На виселицу? У меня ребенок... Ребе-

нок у меня! С кем же он останется? Я сегодня ходила туда... К скверу. Я их видела... Сходите посмотрите... Может, хотя бы это остудит ваши горячие головы.

— Я был там, когда их вешали. Это мои товарищи, — сурово и печально сказал Андрей.

Ольга осеклась. Опустила руки. Смотрела на него широко раскрытыми глазами. Спросила шепотом, как говорят, когда покойник в доме:

— Вы их знали?

— Один из них сын моей сестры. — Глаза его наполнились слезами.

Слезы веселого человека, недавно шутившего с ней, так тронули, взволновали, что Ольга едва сдержалась, чтобы не зарыдать, борясь со спазмами в горле. Не смогла вымолвить ни слова, а если бы и могла, не знала, что сказать в таком случае. Когда-то, когда умерла мать, ей высказывали соболезнования, но от слов становилось тяжелее, с того времени она считала, что лучше в таких случаях молчать. И она молчала. Думала: что же она должна теперь ответить этому человеку?

Помолчав, не зная, как завершить разговор, как согласиться или отказаться, спросила осторожно, несмело, неуверенно:

— А вернете Сашу?

Андрей вытер пальцами глаза и сказал, пожалуй, сердито:

— Нет, не верну я тебе Сашу. — Потом добавил помягче: — Но пойми: так нужно. Для дела. Для твоей же безопасности.

Ольга обиделась за его сердитость:

— Так пошли вы к черту, такие добродее!

Андрей быстро поднялся, взял со стула пальто, протянул ей руку, задержал ее холодные пальцы в горячей ладони, грустно улыбнулся:

— Не нужно ругаться. Не идет это такой женщине. Спасибо. И простите. Но... подумайте... Ольга Михайловна!

По тихому, свойскому стуку в раму Ольга узнала его и... задохнулась от радости, даже сердце, кажется, остановилось. Но особенно поразило, что и Света узнала, кто стучит, и закричала радостно, показывая, что нужно быстрее открыть. Ольга бросилась к двери с ребенком на руках, потом, вспомнив, что малышка не одета, вернулась и посадила ее на диван.

Выскочила в сени в легкой кофточке и минуту постояла перед дверьми, послушала, как там, на крыльце, под его ногами скрипит настланный на морозе пол, скрипит не потому, что он топает от холода, — нет, он стоит неподвижно, держится за ручку, но полу передается его нетерпение, его волнение.

Ольга сбросила со себя два тяжелых крюка. Хотела рывком открыть дверь и броситься ему на шею. Но в последний момент женская гордость сдержала ее. Бросилась в дом, потому что услы-

шала, как Светка босиком притопала к двери. Может, именно потому, что она, не встретив его, бросилась в дом, он вошел не сразу. Это мгновение Ольга стояла, прижимая к себе ребенка, помертвев от мысли, что, обиженный, он может повернуться и уйти обратно в темноту, в опасность, уйти навсегда.

Нет, Алесь вошел, бесшумно закрыв в сенях двери. Он виновато улыбнулся и странно поздоровался:

— Авот и я. Добрый вечер.

Ольга не ответила, и он поздоровался с малышкой!

— Добрый вечер, Светик!

Та весело закричала:

— Тыта, тыта! — и протянула ручки.

Алесь приблизился и поцеловал ее кулачки. Один и другой.

У Ольги брызнули слезы, сдерживая себя, не ребенка, она сказала дрожащим голосом:

— Не иди к нему, он чужой.

Алесь на минуту растерялся, а потом наклонился так близко, что в полутьме — лампа висела высоко над столом — Ольга увидела, что у него отросла борода, а глаза горят, как у больного.

— Не надо так, Оля. Не надо, — шепотом попросил он. — Я не чужой. Если бы ты знала, что я сделал за эти дни, то не сказала бы так. Я не чужой... Я... я люблю тебя, Оля. И Светку...

Тогда, с малышкой в правой руке, Ольга обняла его левой. Светка засмеялась и тоже обняла его за шею двумя ручками. Эта детская радость растрогала так, что Ольга не удержалась и зарыдала, уткнувшись лицом в его плечо, в холодное пальто, от которого пахло угольным шлаком, чем-то горелым, будто Алесь тушил пожар.

— Я измучилась, Саша... Я измучилась...

— Ну, успокойся, пожалуйста. Видишь, я живой, здоровый. Более того... Я ожил! О, если бы ты знала, как я ожил! Я почувствовал себя человеком, бойцом!

— Никогда не думала, что это так тяжело — ждать тебя.

— Я знал, что ты ждешь. И мне было легче. Спасибо тебе.

Девочке, наверное, показалось, что это он обидел маму, и она с детской непосредственностью и быстротой сменила радость на гнев и ударила его ладошкой по щеке.

— Ты что это, задира? Что тебе не понравилось? — засмеялся Алесь.

А Ольга оторвалась от него и начала осыпая детскую головку поцелуями.

— Глупенькая ты моя! О, какая ты глупенькая еще! Ничего ты не понимаешь! Боже мой! А что я сама понимаю? Чего я реву? Как тетка. Кто когда видел, чтобы Леновичиха так плакала? Чего ты стоишь, как в гостях? Раздевайся.

Она отнесла Светку на диван, усадила там, прикрикнула будто сурово:

— Не слазь на пол, Авсючиха! Непоседа! Бить буду!

— Ва-ва-ва! — передразнила ее Света.

Это рассмешило Алесь и тоже растрогало до слез, сильнее, чем ласки ребенка. Никогда он не стыдился таких слез — радости, умиления, гордости, — а теперь сконфузился: не хватало и ему еще разрыдаться вслед за Ольгой. Нет, теперь он не имеет права на сентиментальность!

Алесь захотел помыть руки, лицо, и Ольга поставила греться на примусе воду, ей казалось, что он должен смыть не просто грязь — доказательства своей опасной деятельности, которая и страшила ее, и восхищала. Страха она пережила достаточно, а восхищение такое было чувством новым, необычным, горько-сладким, оно освобождало ее из паутины страха и возвышало, приобщало к чему-то высокому, таинственному, как мир сказок, которым верила в детстве, как первое причастие в церкви, куда ее, маленькую, водила мать. Вновь увидев Алесь, она поверила в существование бога, казалось, больше, чем верила раньше.

Ольга достала из своих запасов кусок мыла, довоенного, туалетного. Алесь сбросил рубашку, чтобы помыться, и у нее по-матерински сжалось сердце: какой худой! Но в то же время восхищение им росло, и от этого становилось все более радостно и поновому тревожно.

Она лила ему на руки, а он плескал воду на лицо, шею, худые плечи и весело фыркал. Совсем мирная картина, идиллия: так же на поливает мужу, когда тот возвращается с работы.

Но не об этом она думала и не это сказала:

— Мне кажется, ты вернулся после очень далекой дороги.

Он застыл, наклонившись над тазиком, с волос его, отросших после лагеря, стекала вода.

— Думай, что я собираюсь в дорогу.

— Куда? — испуганно, как птица, встрепенулась она.

— На очередное задание. А это очень далекая дорога.

Новое, недавно возникшее чувство захлестнул прежний страх. Но она отогнала его и порадовалась своей победе.

А потом она кормила его ужином, выставила на стол все лучшее. Алесь конфузила ее радость по поводу его возвращения. Так богато, празднично встречать будут разве что фронтовиков, когда они вернутся с победой, думал он. Но до победы далеко. Теперь, вступив в активную борьбу, он это почувствовал в большей мере, чем даже в лагере: при полной безнадежности своего положения там у него, романтика, еще жила вера в чудеса.

Знал, что Ольгу обидит решение, принятое не им — командиром группы Андреем. Не очень ценил целесообразность своего перехода на другую квартиру, считал, что под этой крышей, под опекой не по годам хитрой, энергичной, любящей его женщины и сам он, и дело, порученное ему, будут находиться в большей безопасности, чем где бы то ни было. Но оспаривать решение командира не отважился. Выполнить же его совет — не возвращаться на старую квартиру — не мог, знал, как Ольга будет страдать от не-

известности, а у него не будет спокойно на душе при мысли, что из-за него мучается близкий человек.

Шел с решительным намерением поговорить, объясниться и не оставаться на ночь, чтобы не переживать самому и не растревать ее душевной раны, пойти на квартиру к незнакомым людям. У него был ночной пропуск на имя железнодорожного рабочего Ивана Ходкевича.

Своей радостью Ольга растопила его решительность. Не хватало духу при такой ее заботе и ласковости сообщить свое неблагоприятное решение, сказать же ей, что у него такой приказ, нелепо: не поймет она, пошлет к черту всех командиров, ведь сердцу ее никто не может приказывать.

Алесь был голоден, но ел нехотя, как больной, и Ольга забеспокоилась. Она сидела напротив, не сводила с него глаз и угощала, как дорогого гостя, предлагая одно угощение за другим.

Разговор у них выходил странный, какой-то односторонний. Говорила Ольга, была слишком многословна, будто понимала, что у них мало времени, и спешила высказаться. Но он чувствовал, что говорит она не о том, о чем ей хочется сказать, спросить: о том, главным, о чем думают оба, она боится начать разговор, оттягивает так же, как оттягивает и он.

Она долго и очень подробно рассказывала, как вела себя Светка, про все ее хитрости и капризы и особенно о том, как она скучала, искала его, Алесь, по всем углам дома и настойчиво допытывалась на своем понятном только матери языке, где он, когда вернется. О том, как тосковала, как волновалась сама, — ни слова. Рассказ о ребенке тронул Алесь, но он понимал его подтекст и вновь удивлялся — не в первый раз! — душевной чуткости и тонкости этой женщины, в других обстоятельствах грубой и крикливой. Она будто убаюкивала его, утомленного, отяжелевшего от ужина, рассказами о дочери и своих делах, о соседях, о тетке Мариле, которая почему-то начала гложуть и, недослышав, часто отвечает невпопад, чем удивляет даже Светку.

Сказала, что была у Боровских, но не призналась, что искала его, будто заглянула так, между прочим. Тут Алесь понял, как осторожно она подступает к тому главному, о чем им предстояло говорить, и стал вслушиваться более внимательно.

— Ленка нервная, злая. Слова ей не скажи. Это от голодухи.

— Ты помогла бы им.

— Кому? Боровским? Они гордые. Да и у меня не база, не склад. Не нужно было им ворон ловить. Такие парни, как Андрей и Костя, могли — ого! — сколько добра натаскать, не то что я, одинокая баба. Не везде я осмеливалась лазить. Они свою совесть берегли, мне тоже было что беречь...

«Ну вот, опять ее занесло в комаровское болото», — подумал Алесь, разочарованный ее словами, ее неприязнью к Боровским. Вот так у нее часто: вместе с душевностью алчность, торгашеский расчет. Но не возразил ей. Пусть бы она начала ругать всех их,

подпольщиков, тогда бы ему было легче сказать о своем решении — на командира сослаться нечего — и уйти. Как это, однако, тяжело — уйти от нее!

Дав полный отчет обо всем, что случилось в доме, пока он отсутствовал, и не дождавшись от него такой же искренней исповеди, Ольга спросила таинственным шепотом:

— А ты... ты что делал?

— Не нужно говорить о моих делах, Оля. Так будет лучше. Для тебя. Зачем тебе знать? Так будет спокойней... мне... всем нам...

— Я бегала смотреть на повешенных в сквере.

Он осекся. Так вот чем она жила эти дни! Одним сообщением выдала все-все, что пережила. А он убеждает, что ей лучше ничего не знать... Как она мучилась, бедная, от этого незнания!

— Мы... отомстили за наших товарищей.

— Ты убивал?

— Не я один. Мы взорвали эшелон... Но ты... ты ничего не слышала!

— Я ничего не слышала, — покорно согласилась Ольга и, сжавшись, будто ей вдруг стало холодно, спрятала руки под кофточку.

Алесь понял: свое главное она сказала. Теперь нужно сказать ему. Но после услышанного еще тяжелее сообщить, что ему необходимо уйти от нее сейчас же. Немедленно.

Закапризничала малышка, захотела спать. Ольга пошла укладывать ее.

Алесь остался один за столом, с тревогой думая, что не может выполнить самое простое задание. Начал убеждать себя, что это действительно задание, приказ и он обязан выполнить его!

Света не засыпала, звала его:

— Ты-та! Ты-та!

Странно, почему она так зовет его? Что это значит на ее детском языке? Папа или дядя?

Он не шел и не отзывался.

Тогда позвала Ольга:

— Она не засыпает без тебя. Так каждый вечер. Иди покачай.

Они сидели на кровати в полутьме, свет падал в открытую дверь спальни, и оба держались за качалку, руки их соприкасались; в плетеной качалке, казалось, звенела каждая пересохшая лозинка, словно далекая жалейка.

Успокоенная его присутствием, девочка пропела себе «Котика» и скоро уснула.

Тогда Ольга стремительно обняла его, горячо зашептала:

— Саша, миленький, родненький! Не оставляй меня! Я боюсь одна. Я не могу без тебя. Я не буду мешать тебе. Я их тоже ненавижу. Хочешь, буду помогать тебе? Во всем буду помогать, я смелая, ты знаешь, я ничего не боюсь. Нужно будет умереть — я умру за тебя... вместе с тобой... как хочешь. Не уходи, Саша, нареченный мой. Богом нареченный...

Она плакала.

Алесь никогда не видел таких ее слез, не слышал такого плача и не думал, что она может быть такой растерянной, беспомощной. Пораженный, растроганный, обрадованный и испуганный тем, что теперь будет еще тяжелее оставить этот дом, он гладил ее по голове, как маленькую, и целовал мокрые, соленые глаза, горячие губы.

Алесь проснулся от тревожного сновидения. Фашисты вешали детей. И самое жуткое было не в самом злодействе, а в том, что дети не понимали, что происходит, принимали это за игру и весело смеялись, показывая пальчиком на тех, кого уже повесили. А вокруг стояли взрослые, целая толпа, тесной стеной, неподвижно, в безмолвии; он хотел пробиться через толпу, но не мог, хотел закричать, но у него пропал голос. Все вокруг застыло, онемело, оглохло, только слышно было, как смеются дети.

Облитый холодным потом, не сразу сообразил, что проснулся. Вокруг темнота. Шумело в ушах — от грохота сердца.

Потом он почувствовал Ольгино дыхание, она лежала рядом. По тому, как тихо она дышит, понял, что не спит, может, так и не уснула всю ночь. Легонько дотронулся до ее руки. Она прошептала:

— Спи. Рано еще.

Алесь стало стыдно за свою вчерашнюю слабость, за то, что выдал свое намерение, а словами так и не отважился сказать, объяснить серьезно, доказательно. Вместо трезвого рассуждения одни эмоциональные вспышки. Не нужно было оставаться на ночь, это слабость, обман самого себя и ее, она, наверное, думает, что уговорила его, покорила. Нет, уговорить его нельзя. У него приказ, и теперь он уже твердо убежден, что это правильный приказ, таков закон конспирации. Нельзя больше оттягивать разговор. Кстати, теперь, утром, все выглядит значительно проще. И он спокойно сказал:

— На рассвете я пойду, Ольга. Пойми. Так нужно. Ради Светиной безопасности. И ради дела. Но я буду в Минске. Рядом. Мы будем встречаться.

Боялся, что она снова заплачет, снова начнет просить, — на женские слезы он не умел отвечать. Ольга молчала. Долго. Потом нашла его руку и сжала пальцы. Алесь думал, как проститься так, чтобы не раскиснуть самому, не расстроить ее. Чтобы без слез. Но Ольга опять удивила его. Сказала как о чем-то обыденном:

— Передай Командиру, что я согласна на его предложение.

IX

Первое поручение Ольге дал сам Командир. Как-то само собой получилось, что она стала звать человека, имевшего столько имен, почтительно и высоко — Командир.

Она ждала с нетерпением, когда и кто к ней обратится. Боялась, что никто не обратится. Командир мог обидеться, да и Алесь, неизвестно, сообщил ли о ее согласии, сказал же, что оставляет дом ради ее и Светиной безопасности. А ей с каждым днем все сильнее хотелось быть им нужной. И уже не только потому, что это вселяло надежду встречаться с Алесем, но и по какой-то другой причине, не такой личной, по призыву не женского, а какого-то иного чувства, которое она еще не совсем хорошо осмыслила.

На продовольственный рынок Ольга теперь выходила редко. Продукты дорожали, горожане почти не выносили их, а крестьяне приезжать боялись. У нее были запасы, и она мудро рассудила, что все, что может полежать, не испортится, лучше сохранить подольше. Однако картошку и свеклу дольше весны держать не будешь. Конечно, можно продать и весной, цена наверняка вырастет, ведь тогда людям нужно будет и есть, и сажать ее, картошку, на огородах. Но без привычного занятия ей становилось скучно, особенно теперь. В конце концов, это была ее стихия, ее выход в свет, ее общественная деятельность — все что угодно. Ее подмывало появляться на рынке хотя бы раз в неделю, очутиться в центре внимания торговцев, покупателей, полицейских, покричать, пошуметь, поторговаться, послушать городские новости.

В тот день она торговала вареной в мундире картошкой и свеклой. Долгие и суровые рождественские морозы наконец отступили, природа будто смилостивилась. Была оттепель, сыпал снег, очертания домов и людей в нем расплывались, затуманивались. Но Ольга Командира узнала издали, как только он вышел из-за бывшего мясного павильона, превращенного сейчас в отхожее место, потому что от бомбы, упавшей в начале войны, часть стены обрушилась.

У Ольги тревожно и радостно забилося сердце. Не прошел бы мимо! Сдвинула со лба теплый платок, открыла лицо, подняла голову, подставив горячие щеки снежинкам. Теперь он не мог не узнать ее. Но понимала: если он пройдет мимо, то и ей нужно молчать, не показывать, что знает его. Ее почти обрадовало, что он опять в том же кожаном, вызвавшем когда-то ее зависть. Но кожаный еще больше утратил свою элегантность, загрязнился, да и у Командира был совсем не тот вид. Лицо изможденное, худое. Только глаза глядят по-прежнему весело, даже как-то по-мальчишески озорно, не пропускают ни одного встречного, осматривают и молодых женщин, и немецких солдат, и старую нищенку, протягивающую руку. Нищенке он что-то дал, потом поговорил с полицейским, как с хорошим знакомым. Наблюдая их разговор, Ольга подумала, что к ней он не подойдет, и... заволновалась так, будто от того, подойдет он или не подойдет, зависит вся ее жизнь.

Забыла обо всех предосторожностях, следила только за ним одним. Засияла, как невеста, когда он приблизился и просто поздоровался:

— Привет, красавица. Угостишь горячими драниками?

Ольга засмеялась громко, на всю рыночную площадь.

— Опоздал ты, нет больше драников. Теперь их с руками оторвали бы. Картошка теплая в мундире. Хочешь?

— А соль есть?

— Для такого паца найду щепотку. Соль теперь как сало.

Ольга наклонилась над саночками, на которых стоял большой чугун, завернутый в старый ватник. Командир присел, будто хотел посмотреть, откуда она достает картошку, и под прилавком тихо сказал:

— Поклон от Саши.

Ольга встрепелась, но не выпрямилась, продолжала доставать картошку со дна, где она была теплее.

— Как он?

— О, герой!

— Позволь нам встретиться.

— Я? — удивился он.

— А кто же?

Он понял, что Ольга представляет себе их организацию по типу военной, где без разрешения командира подпольщик не имеет права даже встретиться с близкими, а его она явно считает командиром. Ему, бывшему политработнику, польстило, что простая женщина, пока еще далекая от их дел, так представляет подпольную работу. Так сначала представлял и он, и некоторые его товарищи. Но в этом была их ошибка. Он, горячая голова, к тому времени уже остыл и многое понял только после волны декабрьско-январских арестов. Широко размахнулись руководители первого Минского подполья, много втягивали людей неподготовленных, нерасчетливо ставили задачу — поднять лагерь военнопленных на восстание и освободить Минск. Старый коммунист, подпольщик времен гражданской войны, Павел Осипович называл это авантюрой, но руководители военного совета не пожелали даже встретиться с ним, хотя он, Андрей, старался связать их. Теперь он признает, что именно конспиративный опыт шурина помог спастись не только ему лично, но и сберечь от провала большинство членов группы. Провалы научили осторожности. И все равно рисковать приходилось ежедневно: Доверять людям тоже риск, но и без доверия нельзя в борьбе.

Ольге он поверил в тот день, когда забирал приемник. Возмущался, что человек, спасенный ею, не проявил в свое время такого доверия к ней. Ее отказ поначалу не поколебал его уверенности, наоборот, он понимал, как нелегко такой женщине встать на путь сознательной борьбы. Стихийно она могла совершить любой, самый отчаянный поступок, а сознательно пойти на подвиг — едва ли. Порадовался не за нее — за Алесь, когда тот с радостным восторгом сказал о ее согласии. Однако высказал опасение Павел, поэтому-то он две долгие недели не мог придумать новой связной задачи. Но сегодня не обойтись без этой прозорливой женщины, она меньше, чем кто бы то ни было, вызовет подозрение.

Утром, возвращаясь с «ночной работы», он увидел, что военная

жандармерия оцепила весь квартал, где был его дом. Лезть к ним в лапы, даже имея настоящие документы, было бы безумием. Но что случилось? Что с Яниной? Теперь, днем, на улицах оцепления не видно, мальчишки проверяли. Но нет ли засады в доме?

Ольга достала из-за пазухи носовой платочек, в узелке которого была щепотка соли. Соль она брала не покупателям — полицейским, «бобики», даже если выпивали и закусывали у кого-то другого, за солью все равно шли к ней.

Командир разломил картофелину и очень скупно посолил, ел с кожурой, чем удивил Ольгу: неужели такой голодный? Съев три картофелины, достал кошелек и принялся старательно подсчитывать деньги.

— Хватит ли у меня расплатиться с тобой?

Ольга понимала, что отказываться от денег нельзя, но сказала:

— Такому пану я отпущу в долг.

Увидела, что даже это ему не понравилось, но он подыграл:

— О, пани добрая! Но она может ошибиться — я тут редкий гость. Да и вообще забываю отдавать долги.

Отдавая деньги, сказал адрес. А потом, уловив момент, когда соседка отвернулась, полез сам в чугун, чтобы за свои деньги выбрать лучшие картофелины, и так, склонившись, сказал приглушенно:

— Твой пароль: «Говорят, у вас продается оренбургский платок?» Ответ: «Белый продала, а серый есть». Имя женщины — Янина Осиповна. Это моя жена. Если ее нет там, сама понимаешь, что это значит. Выкручивайся, как умеешь.

— А что передать? Что спросить?

— Что Андрей ждет у Витька.

— Только и всего?

— Не жадничай! — засмеялся он.

Ольга будто разочаровалась, но это было неискренне. Правда была в другом: ее очень поразило, что человек не может прийти домой, к жене. Снова ударил страх: так может быть и с ней, что нельзя будет увидеть собственного ребенка. Но страх держался одно мгновение. В следующий момент она с новым восхищением смотрела на Командира. Он выпрямился и снова вкусно ел неочищенную картофелину, даже мурлыкал, как кот, и глаза его смеялись, будто он только что надул самого Гитлера.

Дома Ольга сказала тетке Мариля:

— Если меня арестуют, отнесешь Светку к Казимиру.

Старухе не понравилось внезапное исчезновение «квартиранта», потому такие неожиданные Ольгины слова испугали. Она видела, что Ольга не находила места, когда Алесь ушел из дому, знала, что она бегала к повешенным, а потом вдруг после одной ночи успокоилась. Уже тогда тетка Мариля почувствовала какую-то таинственность. Еще более усилились подозрения, когда на ее немного притворное горевание, куда это исчез парень, Ольга как бы со злостью ответила:

— Может, бабу нашел другую. Разве нас теперь мало? Каждая хочет заманить хоть какие-нибудь штаны.

Но тетка Мариля хорошо знала, что не тот человек Алесь, чтобы просто так перейти к другой солдатке.

— За что это тебя арестуют? Что ты плетешь?

— За спекуляцию.

— За спекуляцию немцы не трогают.

— Ого, как еще трогают! Ты скажи: за что они не сажают, не стреляют?

С этим старая не могла не согласиться. Но все равно ей не нравилось, как Ольга собирается. С разными вещами ходила она на рынок, в деревни, но как-то не так выносила их из дому. А тут обвязала себя под платьем лучшим гарусным платком, положила за пазуху часы, золотое колечко. И узел навязала.

В действительности все было нормально: Ольга репетировала новую роль. Еще там, на рынке, простившись с Командиром, она подумала, что ей нужно как связной — пароль подсказал — сделаться «надомницей». Не очень уважала тех, кто этим занимается — ходит по домам и скупает вещи, чтобы потом в деревнях выгодно выменять их на продукты; такая торговля казалась ей цыганской, нечестной. Но теперь она могла помочь делу.

«Выкручивайся, как умеешь». Это она умеет!

Шла Ольга на свое первое боевое задание без страха. Сама удивлялась. Понимала: если Командир боится пойти домой и опасается ареста жены, значит, что-то случилось у них. Но, наверное, потому, что ничего не знала, и догадаться не могла, и человека, к которому шла, не знала, ничего не боялась. Верила в правдоподобность своей роли скупщицы одежды, для нее эта роль действительно правдивая, ей не нужно играть, притворяться. Полгорода подтвердит, кто она такая: продавала с детства, а раз продавала, значит, и покупала, и теперь покупает.

Одно только смущало: из ворот напротив нужного дома выезжали немецкие машины. Неужели она не расслышала адрес, напутала? Но вспомнила, на какой машине Командир приезжал за приемником. Отчаянный он. Хотя чему удивляться — соседство такое не по его воле. Теперь многим они стали соседями, эти пришельцы. Каждый второй дом заняли.

Ольга пристально всматривалась, стараясь понять, что же помешало Командиру войти в дом. Ничего подозрительного не увидела. По улице ходят немцы. Но где они не ходят? Во дворе пусто. И в подъезде дома никого.

Поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж. И только перед дверьми ощутила, что волнуется. Да, не боится, а волнуется. Повторила про себя пароль. Не сразу отважилась постучать. Потом встрепелась: нельзя долго стоять, вдруг за ней следит невидимый чужой глаз, вражеский глаз? Командир мог заметить этот глаз.

Решительно постучала. Открыли не спрашивая. Ольга обрадо-

валась и сконфузилась: женщина, стоявшая в коридоре, была ей знакома — до войны не раз покупала у нее зелень и запомнилась хорошо потому, что по мелочам не торговалась, не перебирала пучки редиски и лука, покупала как мужчина. Но еще больше поразило Ольгу, что Янина Осиповна беременна. Заметила это сразу — по пятнам на лице, по фигуре, по тому, как та держит руки. От такой неожиданности забыла даже о пароле. Да хозяйка пригласила без пароля, удивив знанием ее имени:

— Заходите, Ольга.

Нет, пароль Ольга все же сказала. Янина Осиповна ответила как положено. Но тут же сняла с плеч серый пуховый платок, протянула Ольге, попросила:

— Вы ходите в села менять? Выменяйте мне чего-нибудь... сала, масла...

Ольга растерялась. Что это, дополнительная проверка, продолжение пароля или искренняя просьба? Очень просто понять, что женщине в таком положении нужны жиры. Но это просто там, где все легко, а здесь бог знает, что к чему.

Собираясь сюда под видом скупщицы, она взяла с собой не только кое-что из одежды, но захватила и буханку хлеба, кусок сала, знала, что многие из этих спекулянтов, наживающихся на беде, на голоде, скупают вещи не за деньги — за продукты, но платят треть того, что потом выменивают в деревнях. Подумала и о другом, имея опыт: самогонкой, хлебом или салом легче всего откупиться от какого-нибудь нахального полицейского, да и немцы не брезгуют, берут.

Постояв какое-то мгновение в раздумье, в нерешительности, Ольга взяла из рук хозяйки платок, аккуратно свернула и положила на стол, на чистенькую, хорошо выутюженную клетчатую скатерть. Потом развязала свой узелок и туда же, на стол, рядом с платком, положила хлеб и сало.

Глянула на хозяйку и... остолбенела: большие глаза с синевой вокруг, как у всех беременных, вдруг наполнились смертельным страхом, ужасом. Ольга смотрела на нее и не понимала, что же случилось за какой-то миг, пока она развязывала узел.

— Что с ним? — едва слышно прошептала Янина Осиповна внезапно пересохшими губами.

— С кем?

— С Андреем.

Так вот оно что! Боже мой! Какой стыд! Какая же она ворона! Сама же пережила такое совсем недавно и не сообразила, что нужно этой женщине в первую очередь, чего она ждет. Разве не видно было, что платок этот сунула, про обмен заговорила, чтобы скрыть волнение, оттянуть время, если она, Ольга, пришла с бедой? А она, дуреха, начала хлеб выкладывать, как милостыню несчастной, как помощь на поминки...

— Андрей ждет у Витьки.

Янина Осиповна схватила ее за руки:

— Кто? Кто сказал вам?

— Он сам.

— Вы видели его? Когда?

— Сегодня. На рынке. Недавно. Сколько это времени прошло? — Глянула на будильник, тикавший на столе. — Часа два, не больше.

Янина Осиповна отступила, медленно вытянула из-под стола стул, осторожно, как при радикулите, села на него, пригласила Ольгу:

— Садитесь, пожалуйста.

Страх ей не удалось скрыть, а радость утаила: сразу стала спокойная, подчеркнуто вежливая, внимательная.

Ольга села напротив и просто объяснила:

— Я так поняла, что сам он не мог пойти домой, поэтому послал меня. Говорить долго у нас, знаете ли, не было возможности. Люди же кругом. Он съел несколько картофелин. Я соли ему дала.

— Спасибо, Ольга. Теперь я понимаю. На рассвете эти, — она кивнула на окно, из которого была видна воинская часть, — подняли тревогу, оцепили весь район. Делали обыск в каждой квартире. Кого-то и что-то искали. Но не арестовывали. Во всяком случае, из нашего дома не взяли никого. По тому, как искали у меня, куда заглядывали, догадалась, что где-то близко вел передачу наш радист, и они его запеленговали. Но это моя догадка. Так и передайте Андрею. Пусть подождет, пока не проверим.

— А есть и такие... радисты? — шепотом, оглянувшись на окно, спросила Ольга.

Янина Осиповна едва заметно усмехнулась, и Ольга покраснела, поняв, что вопрос ее по-детски наивен. Хорошо же знала сама, что есть, немцы писали еще осенью, что поймали советских радистов, и на рынке о них люди шептались. Но очень захотелось услышать или хотя бы догадаться из Янининого ответа, что радисты вместе с ними, в одной группе. Еще там, на рынке, появилось необычное для нее ощущение, что она приближается к чему-то особенному, высокому, вступает на новую дорогу, неизвестную, опасную, а потому притягательную своей неизвестностью. Но хотелось узнать все быстрее. Хотелось определенности. Радисты — это определенность и сила, это Красная Армия, а не какая-то местная самодеятельность, вроде того, с чего начал Саша: взял тайком пистолет и застрелил немца; только чудо спасло его. Если бы к ней пришел радист и попросил помощи, то такому бойцу она, наверное, давно, даже в начале войны, согласилась бы помогать.

Янина Осиповна разглядывала ее так внимательно, что Ольге стало неловко, она опустила глаза.

Хозяйка сказала:

— Простите, я не предложила вам раздеться. Сегодня у меня тепло, я протопила после обыска. Они выстудили...

Ольга с удивлением и восхищением, хотя и с невольным упреком про себя, подумала, что эта интеллигентка не представляет

себе иной жизни: пусть голодно, но все равно должно быть чисто и уютно, ишь ты, даже после обыска, после такой тревоги за мужа навела порядок. Но и она хороша: в своем замызанном пальто облокотилась на чистенькую — как можно без мыла так постирать? — скатерть.

Устыдившись, Ольга вскочила и готова была проститься: нечего сидеть, не в гости пришла. Но Янина Осиповна помогла ей снять пальто, отнесла в коридор, на вешалку. Ольга покорилась, хотя была недовольна собой, попыталась настроиться против этой чистюли. Но что можно подумать о женщине, которая, нося в себе ребенка, новую жизнь, сознательно идет на такое, на смерть? Настроиться против нее невозможно. Муж у нее загадочный, у него Ольга спросила: «Что вы за люди?» Еще больше хотелось спросить у жены: «Что ты за человек? Объясни мне, я хочу понять тебя, мне это нужно, может, тогда легче будет понимать собственные поступки, часто пугающие меня». Но не умеет она спрашивать такое, нет у нее нужных слов, особенных, высоких, таких, которые говорил Алесь. Янина Осиповна сказала:

— А я помню вас.

— И я помню вас.

И обе засмеялись. Это как-то сразу сблизило их, упростило отношения. При следующем обращении Янина Осиповна сказала ей «ты»:

— Я угощу тебя чаем. Андрей знает, что я люблю чай, и купил у немцев пачку натурального, с маркой французской фирмы. Цейлонский.

Ольга не отказалась. Теперь ей хотелось подольше побыть с этой женщиной: может, действительно с ее помощью надеялась открыть что-то особенное в людях той же породы, что и Саша.

Пока Янина Осиповна подавала чай — в немецком термосе, уже готовый, — Ольга еще раз осмотрела комнату. Как все просто, небогато, ничего дорогого, ничего лишнего, но красиво! Впервые она по-женски позавидовала такому умению создавать вокруг себя красоту. И чашечки для чая особенные, будто сделанные по заказу, потому что подходили ко всему: и к обоям на стенах, и к пледу, которым застлана кровать, и к льняной скатерти с васильковой каймой.

Налив чаю, Янина Осиповна сказала немного сконфуженно:

— Я съем немного сала. Мне так захотелось сала. Говорят, что это редко бывает, чтобы хотелось мясного, — так косвенно призналась, что беременна, — но это, видимо, тогда, когда оно есть. У меня сегодня будто праздник. Ты принесла мне радость. Я боялась за Андрея, хотя у него и надежные документы. Но он неосторожный. — И вдруг шепотом попросила: — Остерегай их, Оля.

Ольга даже вздрогнула. Их! Кого — их? Безусловно, она знает о Саше, Андрей рассказал. Захотелось поделиться своими чувствами к Саше так, как делятся только с самой близкой подругой. Но постеснялась, а может, даже побоялась. А вдруг Янина Осипов-

на спросит о муже? Ольгу давно смущало и удивляло отсутствие всякого чувства вины перед Адасем. Но и лучшей подруге сказать об этом стыдно, а тем более человеку, с которым впервые встрети-лась. Потому и про Алесь смолчала. Начала рассказывать о дочери. Рассказывала умиленно, с такими подробностями, которые умеет увидеть в ребенке только мать и которые могут заинтересовать только мать или будущую мать.

Янина Осиповна слушала молча, очень внимательно, но, показалось Ольге, как бы настороженно или даже боязливо.

Ольге не терпелось сказать, что только за нее, за Светку свою, она боится. Но, уловив настороженность хозяйки, поняла, какой страх переживает та за будущего ребенка, поэтому сказала ту не совсем искреннюю правду, которую во все времена повторяют матери:

— Теперь единственная радость моя — дочь. Ради нее живу.

Янина Осиповна по-своему приняла этот разговор и насторожилась по иной причине — боялась, что Ольга закончит словами: какой это ужас, страх, какие муки — жить такой жизнью, имея ребенка. Высоко оценила Ольгину душевную деликатность и в знак благодарности призналась в самом заветном, как действительно очень близкому человеку:

— Мы с Андреем сознательно пошли на это, хотим, чтобы наша жизнь продолжалась в нем. Может, это жестоко по отношению к нему, но мы верим, что добрые люди не оставят ребенка, если мы погибнем. Только бы теперь сохранить его.

Эти слова тронули Ольгу чуть ли не до слез, но в то же время в какой-то степени открыли ей заслоны над тайниками чужих душ. И она снова, как когда-то у Командира, спросила... нет, даже не спросила, выдохнула:

— Удивляюсь я... Что вы за люди?

Но женщина ответила иначе, чем ее муж, не такими высокими словами:

— Мы такие же люди, как и ты, Оля. Не думай, что мы какие-то особенные, из другого теста... Нет. Мы такие же...

Чай действительно был очень вкусный, несмотря на то что это был немецкий чай и наливался из немецкого термоса. Хотя есть ли что свое у немцев? Чужого нахвалили. Янина сказала, что чай французский. Термос, наверное, тоже не немецкий, потому что раскрашен странно: с одной стороны пальма, под ней лев, а с другой стороны льдина и на ней белый медведь. Никаких немецких знаков или надписей. Во всяком случае, Ольге показалось, что никогда не пила она такого чая, даже тогда, когда на столе шумел самовар и подавалось лучшее варенье. А тут щепотки сахара не было, а так вкусно.

Посидели они недолго, с полчаса, но сблизились. Янина сама напомнила, что Ольге нужно уходить, сказала адрес и пароль, по которому незнакомый Витек должен признать ее своей.

Когда Ольга одевалась в коридоре, Янина Осиповна вспомнила

о платке и очень смутилась, что, переложив платок со стола на стул, забыла о нем.

— А платок? Простите, ради бога...

Ольга взяла принесенный Яниной из комнаты платок, развернула, как бы любуясь, и вдруг, обняв хозяйку, накинула платок ей на плечи, закутала плотно грудь, поцеловала в щеку.

— Какой он тепленький, а вам нужно сейчас тепло. — И, не дав возразить растерянной женщине, быстро вышла.

На другую явочную квартиру (кстати, слова эти она услышала от Янины Осиповны) со вторым заданием в тот день Ольга шла с еще большим интересом, по-новому возбужденная, и возбужденные это было радостное.

Женщина, с которой она почти породнилась за короткое время, произвела необычайное впечатление, она как-то по-своему, по-женски, дополнила те особенные чувства, которые, возможно, впервые появились у Ольги осенью перед колючей проволокой лагеря или Седьмого ноября, когда после Сашиного упрека ей захотелось отметить советский праздник. Прорастали эти новые чувства нелегко, мучительно, по мере того, как она все больше узнавала Сашу, сближалась с ним духовно. А встречи с Командиром и его женой — как весенний дождь и после него солнце на эти живые ростки.

В тот день она, кажется, наконец поняла, что же это за люди, с которыми связала ее судьба.

Самое первое чувство, вынесенное после встречи с Яниной Осиповной, было неожиданным. Ученым людям она и раньше иногда завидовала, но учителей ценила не очень высоко: нервов портят много, а получают копейки. А тут впервые ей очень захотелось стать учительницей, учить детей. Вспомнила Сашины уверения, что у нее великолепная память, необычайные способности и ей обязательно нужно учиться. Просил ее пообещать, что будет учиться. Она обещала, но сама не верила себе, да и ему как-то высказала: «Какая там учеба!» А теперь шла по пустым заснеженным улицам и давала зарок, клятву самой себе, Саше, Командиру, Янине, небу, с которого поросил ласковый снежок и на котором, верила, есть бог, что обязательно пойдет учиться сразу же, как только придут наши, не посмотрит ни на какие трудности. Были же до войны вечерние школы, будут и после войны, ведь потребность в них возрастет: подростки, которым нужно сейчас быть в школе, не учатся, перерастут.

От неожиданного и просто-таки жадного желания учиться как-то сразу возросла ее уверенность в быстром возвращении наших и в обновлении жизни. И еще одно: какой прекрасной она казалась теперь, та довоенная жизнь, которой она как бы и не замечала или замечала тогда, когда появлялась причина поругать порядки на рынке, в магазине, в паспортном столе, в очереди у кино-

театра, в трамвае. Теперь ей казалось странным, даже преступным, что за такие мелочи некоторые комаровцы иногда ругали советское начальство — своих же людей, из рабочих и крестьян. Так ругала старая Леновичиха, из-за этого отец часто спорил с ней, он объяснял все трудности по-рабочему. И даже по отношению к родителям в тот день в ней произошла какая-то перемена. До этого Ольга чаще вспоминала мать, особенно в тяжелые минуты, мысленно советовалась с ней, веря в ее жизненную мудрость, отца вспоминала реже, а сейчас с благодарностью думала о нем, мысленно беседовала с ним и, казалось, чувствовала, что он благословил ее.

Второй пароль ей говорить не пришлось, хотя дом она нашла не сразу, он стоял в одном из безымянных переулков у самого леса — Красного урочища. Дом был новый, но недостроенный, даже без ворот, — заходи, кто хочешь. А двор бесхозяйственно завален бревнами и досками, которые, впрочем, не лежали мертвым грузом: всюду здесь был вытоптан снег, желтели свежая стружка и щепки, под открытым, тоже недостроенным навесом виднелись недавно обструганные доски. Приятно пахло свежей сосной. Уже то, что здесь в такое время строится, как-то хорошо подбодрило Ольгу, она почувствовала симпатию к хозяевам, людям, безусловно работающим, уверенным в том, что жить им еще долго. Нет, видимо, уверены они в чем-то большем, чем собственное долголетие, раз сделали свой недостроенный дом явочной квартирой. Окна были забиты шпалевкой, только две новые рамы, слева от крыльца, были застеклены.

Удивило крыльцо: оно одно было не только доведено до конца, но построено затейливо, с выдумкой, — с резными столбиками, поручнями, скамеечкой, будто хозяева решили, что без всего можно прожить, а без хорошего крыльца нельзя. Это уже не хозяйственность, а чудачество какое-то, подумала Ольга. Хотя чудачество было не только с крыльцом. Как, например, можно жить без ворот, когда во дворе такое богатство? Топливо в эту суровую военную зиму дорого так же, как хлеб. Даже ей, Ольге, никогда не бравшей чужое (государственное и оставленное беженцами она не считала чужим), нелегко было бы удержаться от искушения, если бы рядом жил сосед, во дворе которого лежало столько дерева и не было бы ворот.

Раз тут все настечь, то и зайти в такой дом можно, как в лавку, не спрашивая разрешения, без стука.

Ольга вошла в коридор, тут не было дверей в недостроенную половину дома — чернел проем, и пахло хлебом, сеном и навозом. Открыла дверь налево и попала в жилое помещение — просторную и теплую кухню. За столом сидели Командир и хозяйка, довольно пожилой человек, и... выпивали. На непокрытом столе стояла бутылка с мутноватой жидкостью, это же питье было в стакане, стоявшем перед Командиром, перед хозяином стояла кружка из консервной банки, в тарелке квашеная капуста, лежали полбуханки хлеба и какой-то странный нож.

Ольгу как-то неприятно поразило такое их занятие. Нет, не то, что люди пили и закусывали, а такая обычность поведения подпольщиков и, показалось ей, непростительная неосторожность, полная противоположность тому, что она увидела, услышала и почувствовала на первой явочной квартире: там все, как говорится, было на нерве, на самых высоких чувствах, каждый жест и слово приобретали особый смысл, даже в том, как ее угостили чаем, было какое-то особенное благородство и тоже определенный смысл. А может, просто после того высокого, к чему она душевно приобщилась, ее немного разочаровала эта опротивевшая, будничная картина, которую она наблюдала и до войны, когда Адаш чуть ли не каждый день прикладывался к рюмке, и часто видит теперь: полицаи, как голодные собаки, шныряют, ищут, где бы схватить на дармовщинку этой гадости. Но у «бобиков» другой жизни и быть не может. А она увидела другую жизнь — у Алеся, у Янины Осиповны. Возможно, что из женской солидарности она обиделась за Янину: всегда вот так, жена где-то дрожит за него, а муж с рюмкой целуется...

Но все рассеялось, как только она увидела, как посмотрел на нее Командир, как поднялся навстречу, в глазах его была та же тревога, что и у Янины Осиповны. Вероятно, в ту минуту Ольга осознала один из главных законов конспирации: наибольшая безопасность и осторожность — в естественности, обычности обстоятельств и поведения. У учительницы должно все быть как у учительницы, а у этого мужика — как у мужика: чтобы из дверей пахивало хлебом, хлеб резали сапожным пожом и пили самогонку из жестяной кружки.

Настроение у Ольги быстро изменилось еще и потому, что этого человека, хозяйина, она тоже знала по рынку, везло ей в тот день. Он не часто появлялся там, но комаровским торговкам запомнился один случай. Человек этот, инвалид, без ноги, на деревяшке, однажды продавал сапоги, и к нему прицепился милиционер. Оба разгорячились и схватились за грудки. Тогда милиционер его арестовал за оскорбление власти и повел в отделение. Хотя милиционер у торговки был своим парнем, никого из них не давал в обиду и сам благодаря отзывчивости своей неплохо кормился, бабы все равно заступились за инвалида. Окружили его и подняли крик, буйствовали за справедливость, угрожали, что пойдут к начальнику. Милиционер вынужден был простить оскорбление, за что был вознагражден славой хормного человека и получил компенсацию за оторванную пуговицу.

Не дав Ольге отступить от порога, Командир нетерпеливо спросил:

— Что там?

Увидел, что она как бы сконфузилась, понял ее осторожность, похвалил про себя и тут же представил старика:

— Это наш товарищ. Захар Петрович, тот самый Витек...

— Вот, черти, выдумали! — с улыбкой покачал головой хозяин

и тоже поднялся, громко стуча протезом по полу, взял около печи табурет, поставил к столу, пригласил: — Садись, Ольга, мы тебе погреться дадим.

Ольга села и рассказала, что случилось в Пушкинском поселке и что думает Янина Осиповна, передала и предупреждение ее, чтобы он не появлялся пока.

Командир слушал молча, став вдруг серьезным, озабоченным. А Ольга вслушалась в свой голос и почувствовала, что он дрожит. Удивилась, почему волнуется, рассказывая о выполнении первого задания, очень простого, по существу обычной человеческой услуги. Потом поняла. Все это теперь, в ее рассказе, приобретало действительно особенный смысл — для нее самой. Казалось, не тогда, когда спасала Сашу, и не тогда, когда он уходил и она дала согласие на просьбу Командира, и даже не тогда, когда Командир дал ей это задание и она пошла его выполнять, а именно сейчас, передавая разговор с Яниной Осиповной, она будто переступает невидимый порог и вступает в новую жизнь, очень опасную. Но не оттого ли она волнуется, радостно волнуется, что, зная об этой опасности, впервые не чувствует того страха, от которого раньше холодило сердце и млели руки?

В конце рассказа она воскликнула в искреннем восторге:

— Какая чудесная у тебя жена, Командир! В такую даже я влюбилась.

Андрей благодарно улыбнулся. А старик засмеялся весело, как молодца, и пожелал:

— Ах, чтоб вам добро было!

Он достал из ящика стола выщербленную, пожелтевшую от времени рюмку, вытер ее рукавом своей заношенной фланелевой сорочки и, налив в нее самогонки, церемонно поднес Ольге:

— Проще, пани.

Ольга взяла рюмку, лизнула и скривилась:

— Тьфу, гадость! Как керосин немецкий!

Захар Петрович покотился со смеху и правда как мальчик Витек, даже слезы на глазах выступили.

— Ты посмотри, Андрей, да она же панской породы! Где она росла, такая княжна? Царский напиток для нее немецкий керосин. Ах, чтоб тебе добро было! Да это же бульбовочка¹ наша дорогая!

Ольгу беспокоило, что Командир, сам большой шутник, — как он разговаривал с ней при прежних встречах! — никак не откликается на шутки. Что его взволновало? На месте человеку не сидится.

Андрей ходил по просторной комнате — от пустой печи до угла, где стояли колода, низкий табурет с кожаным сиденьем и ящичек с сапожными инструментами. Выходит, те сапоги Захар Петрович пошил сам. Однако он не только сапожник, но и плотник, столяр,

¹ Бульбовка — самогон из картофеля.

в большем порядке, чем все остальное имущество, на полке лежали рубанки, стамески, висели на стене пилы-ножовки.

Следя за Андреем, Ольга по-женски быстро и внимательно осматривала жилье, удивлялась, что все тут сделано неженскими руками. Даже кровати не было — спали, вероятно, на лежанке или на широкой печи.

Командир остановился у стола, сказал, обращаясь к старику:

— Понимаешь, Петрович, что меня волнует. За неделю это третья облава такая, когда оцепляют целый район. Янинина догадка совпала с моими предположениями. О тех облавах я ей не говорил, но видишь, что она передает. Теперь не сомневаюсь, никого другого так ловить не стали бы, чтобы автобатальон поднимать по тревоге. Только радиста! А он неуловим. Ах, как бы связаться с этим парнем или девушкой! Как это нам нужно, если бы ты знал! Связь с Москвой!

— Раз ему есть что передавать, значит, он связан, с кем нужно.

— Но с кем? С кем?

— Братец ты мой, не одни мы с тобой в Минске. Я тебе рассказывал, кого встретил...

— Я знаю, что не мы одни. Но как нам объединить всех?

— А зачем? Чтобы гитлеровцам легче было нас переловить? Это артисту хочется, чтобы его все знали. А нам с тобой аплодисменты не нужны. Лучше в одиночку.

— Здорово у тебя держится психология одиночника.

Захар Петрович безобидно засмеялся.

— Ты меня хоть горшком называй, только в печь не ставь.

— Боишься огня? — задиристо и едко пошутил Командир.

Но инвалид ответил с отцовской снисходительностью:

— Пошел ты, Андрей, к прабабке. Давай лучше выпьем.

— Давай. — Андрей глотнул из своего стакана и смешно скривился. — А правду Ольга сказала — керосином пахнет. В керосиновом бидоне, наверное, удержишь, хитрец старый?

— Вот заноза, чтоб ты так жил! Как тебе жена угождает?

Это Ольгу рассмешило. Тогда и Андрей хорошо засмеялся — так, как смеялся при прежних встречах, показывая ряд белых красивых зубов.

— Ладно, Петрович, считай, что твоя самогонка отменная. Будь здоров, начальник АХО.

— Понижаешь что-то меня, был начальником штаба.

— А ты у нас каждый день в новой роли. А говоришь — не артист. Еще какой артист!

— Не плети ты... Закусывай. Да бери хлеб, не жалея. Куплю я хлеба. С моей профессией с голода не умру.

— Если б ты знал, какие draniki печет Ольга Михайловна! Язык можно проглотить. Я как попробовал, так до сих пор пальцы облизываю.

Ольге была приятна такая похвала, хотя и сказанная шутливо. Вообще ей нравился весь их разговор, их отношения, простые и

дружеские, несмотря на разницу в годах, в положении, в образовании. Командир если не офицер Красной Армии, то наверняка какой-то советский начальник, по всему видно. А старик — самый простой человек, который, не имея ноги, занимается, по-видимому, всем потихоньку — шьет сапоги, мастерит табуретки. Но и такой человек пошел на врага. Единственное, что разочаровало женщину, — невольное признание Командира в отсутствии связи с Москвой. А она была уверена, что уж они-то обязательно должны иметь такую связь. Вызвало восхищение желание Командира найти радиста. Как он ломает голову над этим! Даже захотелось помочь ему в его поисках. Но как? Это как иголку в стогу сена искать.

Изменилось ее представление о подпольщиках после замечания Захара Петровича, что не одни они в городе, что он встретил кого-то такого, кого даже не захотел назвать при ней. Она не обиделась. Сразу согласилась, что действительно не нужно каждому из них знать слишком много, многих людей. Чего человек не знает, того он не скажет ни жене, ни другу, ни следователю. Был момент, когда яснее представилась опасность того пути, по которому пошла, даже страх шевельнулся от слов Захара Петровича: «Чтобы гитлеровцам легче было нас переловить?» Да, могут переловить. Однако как просто они об этом говорят, мужчины. Так, наверное, говорят о возможной смерти перед боем солдаты. Пьют, едят, шутят и вспоминают о смерти как о неизбежном на войне. Но никто не забывает о долге — пойти в бой, в атаку...

Так говорит старый инвалид, у которого жизнь позади. Он прожил жизнь, а она только начала ее, жизнь... А Янина Осиповна? А Командир? Они договорились иметь ребенка. И все равно идут в бой.

Ей, Ольге, действительно повезло в один день встретиться с такими разными людьми. И она полюбила их, этих людей, убедившись, что не ради своей выгоды идут они на такое дело. Они подтверждали Сашины слова. Но еще более важным было для нее их доверие, ведь жизнь они свою ей доверили. Как же она может отступить теперь? Нет, теперь у нее одна дорога. Вместе с ними. На славу или на смерть. Как в песне поют.

Х

Ольга не спала. Не могла уснуть. Чутко вслушивалась в ночь, ловила каждый порох, каждый звук. Меньше всего ее тревожили короткие выстрелы, их она слышала не один раз. Мимо ушей пропускала свистки и грохот паровозов. А вот залаяли собаки — и она вся напряглась, готовая вскочить. У горожан собак нет, их уничтожили по приказу немцев. Собаки только у тех, кто охотится на людей. Но собаки как встревожили, так и успокоили — лай их не приближался. Пугали другие звуки — неясные, таинственные, которыми был полон ее старый дом. Казалось, кто-то тяжело дышал за

окном, кто-то притаился на чердаке и осторожно переползал там, а в погребе перемещались с места на место бочки, ящики, бутылки.

Привидений она не боялась, в домовых не верила. Вообще она ничего не боялась. В последнее время спала спокойно. Долго не засыпала разве только тогда, когда день был переполнен такими событиями, о которых ночью нужно было серьезно подумать, вспомнить все, что услышала и увидела. Но в таком случае она думала, а не прислушивалась вот так, когда беготня и писк мышей начинали казаться засадой гитлеровских шпионов. Смешно. Зачем им засада? Им достаточно одного подозрения, чтобы приехать на машинах и схватить не только виноватого, его семью, но и соседей, всю улицу... Она, Ольга, знала это и все же засыпала без страха после того, как начала выполнять задания подпольщиков. Оставалась вдвоем со Светкой, даже не приглашала ночевать тетку Марию. Не приглашала потому, что ждала Сашу. Каждую ночь ждала. Из-за этого иногда не спалось. Но совсем не из-за страха. Страх она переборола, казалось ей, навсегда еще в тот первый день, на первых явочных квартирах, особенно у Захара Петровича.

Чем больше она знакомилась с подпольщиками, чем глубже вникала в работу, тем больше смелела. Или, может, просто привыкла к опасности? Человек ко всему привыкает.

Работа захватывала. Да и как не увлечься, если вся ее торговая деятельность приобретала совсем иной смысл — тайный. Теперь она торговала не ради своей собственной выгоды. Стоя рядом с бывшими подругами, она смотрела на них другими глазами, как бы с высоты, с радостным волнением думала: «Если бы вы знали, кто я такая и что я делаю!» А над полицией просто издевалась, играла, как кот с мышами.

Правда, теперь ей больше приходилось заниматься барахлом, что она не очень любила, — ходить по домам и скупать вещи. Но и о продовольственном рынке не забывала: нужно же сбыть с выгодой выменянные продукты, а иначе, прекрати она вдруг торговать, ее походы в деревни, которыми так дорожили Захар Петрович и Командир, могли бы вызвать ненужные разговоры, догадки, подозрения. Да и старые подруги сообщали иногда нужные сведения.

Ольга, конечно, не догадывалась, что незаметно стала одним из самых деятельных членов подпольной группы. Андрей хотел иметь такую связную. «Только связь», — повторял он, когда разговор шел об Ольге. Но благодаря своему занятию «надомницы», неутомимости — за день полгорода обегать, — благодаря хитрости и уму, женской привлекательности, умению подмигнуть, пошутить, легко познакомиться, благодаря своим многочисленным прежним знакомствам с горожанами и особенно с полицией Ольга сама собой, без специальных заданий, превратилась в хорошую разведчицу. Знала многие городские новости, что где случилось, где что находится, и этим помогала своим наладить связь с другими подпольными группами, о чем даже не подозревала. По собственной инициативе помирилась с братом, работавшим на бирже труда, и

приносила некоторые сведения от него. Хотя к Казимиру она пошла на поклон и по другой причине, своей личной: чтобы в случае чего не оставил Светку — все-таки родной дядька, не чужой. Прежнего страха не было, но не думать об этом не могла, практически предусматривала все — и хорошее, и плохое.

С Командиром встречалась редко. У Янины Осиповны ни разу больше не была. Постоянную связь держала с Захаром Петровичем. Может, оно само собой так получилось, ведь никто не запретил ей наведываться в этот дом без ворот, без замков, более того — хозяин в первый же день пригласил: «Заходи, Ольга». Выходит, можно зайти просто так, без задания. И ей нравилось бывать в этом недостроенном доме. Простота и естественность старого инвалида, отсутствие в его поведении всяческой таинственности, лишних напоминаний о войне и опасности привлекали. Удивительно спокойный был этот человек, его спокойствие и какая-то необычайная убежденность в необходимости и неизбежности того, что они, подпольщики, делают, передавались Ольге. Конечно, они не могли не говорить о войне, но после разговора с Захаром Петровичем никогда не становилось страшно, даже нехорошие мысли не появлялись, как после разговора с другими людьми. Смерть и страх для него как бы не существовали, о них старик никогда не говорил. О войне рассказывал или весело, со смешинкой, или с той серьезностью, с которой большинство людей говорят о своем труде — в поле, на заводе. Так Ольгин отец говорил о своем кожевенном деле. У инвалида не было, наверное, такого основного мирного занятия, возможно, человек этот в душе оставался военным, потому о своих гражданских профессиях говорил с юмором. Показывал сшитые сапоги и смеялся: «Ты смотри, Ольга, ни разу мне не удалось стачать пару сапог, чтобы один на второй был похож. Ох и даст мне заказчик!» Или вдруг смотрел на дверь и заливался смехом: «Ах, чтоб я был жив! Я и не заметил, что так перекосило косяк. Вот мастер так мастер!»

О своих походах в армии Буденного Захар Петрович рассказывал охотно и весело, с любовью к Буденному, к своим товарищам. О том, как потерял ногу, говорил так, что Ольге хотелось смеяться, но неприлично смеяться над бедой, над калекой.

Перед войной приехала в гости к Захару Петровичу невестка с внуком, жена старшего сына, офицера. Очень испугалась женщина войны. Бросилась на вокзал, но ни в один поезд — ни в пассажирский, ни в товарный — не влезла. С невесткой, помогая нести ей двухлетнего ребенка, пошла из Минска свекровь, жена Захара Петровича. Намеревалась вернуться, но... «Драпанули мои бабы, наверное, так, что и немецкие танки не догнали их. Иначе вернулись бы. Многие из минчан вернулись». О жене и невестке говорил с затаенной печалью, с тревогой, но все равно с шуточками. А вот младшего сына, Витьку, который недавно ушел в партизаны, старик всегда вспоминал серьезно и по-отцовски озабоченно. «Снился сегодня мой Витек. Лес с ним пилили. Такие

высокие сосны спускали. К чему бы это, Ольга, не знаешь?» Не верил ни в сны, ни в приметы, над иконами и богами издевался, гадалок, ходивших по домам, выгонял, по всему, что касалось Витьки, верил. «Если бы ты знала, что за парень мой Витек!», «Это Витек сделал. Золотые руки у парня».

Наверное, о Витьке он говорил не одной Ольге, не случайно ему и кличку подпольную дали Витек.

Ольга полюбила старого чудака с первых встреч и доверялась ему больше, чем кому бы то ни было. У Командира не отважилась больше просить, чтобы позволил Саше прийти к ней или хотя бы дал его адрес. А у Захара Петровича попросила. И тот сразу, ничего не спрашивая, понял ее, даже ей немного неловко стало.

— Знаю твоего Соловья. У нас он Соловей. Был у меня, ночевал две ночи. Умный парень. Как Витек мой.

Называя ей через два дня адрес, усмехнулся: «Любит Андрей играть в конспирацию. Зачем ему было разлучать вас? Была бы у вас хоть какая-то радость. А конспирация — это такая хитрая штука, что чем проще, тем глубже. Не нужно в нее играть».

Она в тот же день полетела на другой конец города, на Каменную улицу. Алесь дома не было. По-женски успокоилась, когда увидела, что квартирует он у старых одиноких людей. Попросила их передать Саше, что приходила Ольга. Покрутилась, покрасовалась перед хозяевами, давая им понять, что цель у нее чисто женская, спросила даже:

— Девчата к нему не ходят?

— Что ты, милая! Святой парень, — сказала хозяйка.

— Все они, тетечка, святые, пока материнскую сисю сосут, а как нематеринскую увидят, куда их святость девается...

Старуха даже перекрестилась тайком.

Алесь пришел на другой день утром. Она топила печь, хлопотала по хозяйству. Обняла его мокрыми руками, целовала на кухне. Он укорял ее, что так нельзя, что она сильно смутила его хозяев, бросивших ему упрек, что к нему приходила девка, похожая на тех, что путаются с немецкими офицерами. Она ответила сердито, словами Захара Петровича:

— Не играйте вы с Андреем в конспирацию. А хозяевам твоим сказала так потому, что не понравились они мне. Их будто с пеленок напугали. А я не люблю пуганых да пришибленных!

— Когда ты сама стала такой смелой?

Чуть не поссорились, зато потом горячо мирились.

Хозяева действительно не понравились ей, и она, думая о Сашиной безопасности, рассказала о них Захару Петровичу, все сказала, как было. Инвалид до слез смеялся над ее словами: «Ах, чтоб тебе добро было! Так говоришь, как увидят нематеринскую?» Но успокоил: хозяин квартиры его давний друг, вместе на беляков ходили, рабочий паровозоремонтного завода, был членом партии, но его исключили — из-за жены, она в церковь ходила, но женщина она честная, добрая, хотя и набожная.

Ольга обрадовалась, что Саша живет не у случайных людей, а как бы находится под охраной такого человека, как Захар Петрович, уверена была, что его охрана самая надежная. Правда, случилось, что и этот человек удивлял и пугал ее неосторожностью и, казалось, ненужным риском.

В недостроенной половине дома старик держал козу, вероятно испытывая необходимость в присутствии чего-то живого, да и стакан молока дорого стоил. Коза ласкалась к хозяину, как собака, но и по-собачьи бросалась на чужих бодаться. Ольгу долго не подпускала к себе, пока, очевидно, не убедилась, что женщина свой человек в доме. Там же, где жила коза, сохранялось сено, сложенное вдоль глухой стены, под сеном был настлан пол. Однажды Ольга присматривала за козой. Через штабель досок, отгораживавших животных, доставала вилами сено; когда поднимала, из сена выпало что-то тяжелое, круглое, покатилося по полу. В доме было полутемно, поэтому трудно было рассмотреть, что это такое. Ольга перегнулась через доски, взяла предмет в руки, подняла, поднесла к глазам и чуть не потеряла сознание от неожиданности и страха. Граната! Круглая, с нарезным кожухом. Видела такие еще когда-то в школьном военном кабинете, знала, что их называют лимонками. Но там были пустые, разряженные, а это, конечно, боевая, упала, ударились о пол, да и железные вилы ее могли зацепить... Значит, вот-вот должна взорваться. В руке у нее... Что делать? Швырнуть? Куда? Кругом стены. В сено? Чтобы оно загорелось от взрыва? Неизвестно, сколько времени она стояла неподвижно, держа в руке смерть свою. Потом сообразила, что, если сразу не взорвалась, значит, сиюминутной опасности нет. Осторожно, как стеклянную, положила гранату на доски. Белее полотна вошла в жилую половину дома. Захар Петрович сразу по виду ее понял, что случилось что-то необычное. Глянул в окно — не окружают ли дом гестаповцы? Нет, никого не видно и не слышно.

Ольга долго не могла вымолвить слова:

— Там... граната, в сене...

— А, чтоб тебе добро было! Напугала. Как же это она выкатилась?

Пошел туда, к козе. Взял гранату, подкинул ее, как мячик, на ладони.

— Не бойся, она без запала. Испугалась? — Перелез через доски в сено, позвал Ольгу: — Иди сюда, я тебе что-то покажу.

Разворошил в углу сено и показал «гнездо», в котором, будто яйца неизвестной огромной птицы, лежали такие же гранаты, пожалуй, с полсотни. И поразился, как мальчик:

— Вот богатство, Ольга! Вот бы нашим в лес занести! Витьку моему. Нам здесь негде их применять. А им там, в лесу, они как хлеб.

Незадолго перед этим Ольга первый раз ходила на необычное задание — к партизанам, занесла им бинты, йод, другие лекарства. Правда, у самих партизан она не была, передала все это их связ-

ному в деревне Руденского района, хорошему знакомому Захара Петровича — вместе на рыбалку ездили на Сергеевское озеро.

...Стукнули двери, заскрипели под чьими-то ногами настывшие доски. Ольге показалось, что стукнула калитка ее двора и скрипят половицы ее крыльца — так близко. Белой чайкой слетела с постели, прилипла к одному, к другому окну. Теперь она не закрывала ставен, боялась слепоты и глухоты, удивлялась, отчего когда-то закрывалась ее мать — в то тихое, мирное время!

Выйдя на кухню, услышала знакомый кашель и кряхтенье соседа-старика, да и увидела его, как он, в черном кожаном и белых подштанниках, возвращался из уборной. Успокоилась. Подумала о соседях — теперь ей не безразлично, что они за люди. С этим делом мать ее часто ссорилась, из-за чего — уже невозможно вспомнить. Она, Ольга, оставшись в начале войны одна, с ребенком, постаралась со всеми соседями наладить хорошие отношения. Этим старикам в последнее время даже помогает харчами. Но с грустью подумала, что ни одному из самых близких соседей она не может довериться так, как Боровским.

Стоять босой на полу было холодно. Ольга обулась в валенки, набросила поверх рубашки кожанок. Села около печки. Решила больше не ложиться — все равно не уснет. Будет сторожить его сон вот так, сидя, чтобы не вскакивать на каждый мышинный шорох и скорее почувствовать действительную опасность. А что бы они, Саша и она, делали, если бы те, в черных мундирах, вдруг появились здесь? Нет, об этом лучше не думать. Однако тут же подумала, что в кухне достаточно вынуть зимнюю раму, чтобы можно было открыть окно и выскочить на огород. А еще подумала, что хорошо было бы попросить у Захара Петровича пару лимонок — для Саши; на случай если ему придется отбиваться. Не сомневалась, что просто так он не сдастся, будет бороться за жизнь. Раньше при мысли о таком неравном бое ее охватил бы ужас, теперь понимала, что это единственный и совершенно естественный выход.

Мысли цеплялись одна за другую.

А может, и лучше, что Боровские не самые близкие соседи? Последней, кто назвал ее не так давно мещанкой и даже больше — предательницей и шлюхой, была Лена. Но она, Ольга, не только не обиделась за эти слова, она обрадовалась, потому что разговор этот происходил у них после... после того, как изменилась ее жизнь.

Она знала о Лене все. Захар Петрович хвалил Боровскую, говорил, что хорошая у нее, у Ольги, подруга. А Лена о ней не знала ничего, и Ольге это нравилось: она впервые чувствовала свое как бы превосходство над Леной, — выходит, она в организации более засекреченная. И о Саше Лена не знала. Пришла и спросила, куда девался Алесь, — дошло до Боровских по соседям, что Ольгин квартирант исчез.

— А я выгнала его.

— За что?

— А какой с него толк? Разве это мужчина? Только другим мешает. За мной знаешь кто ухаживает? Офицер.

Вот тогда Лена и выпустила в нее такую очередь, такие словечки, каких она ни от кого раньше не слышала. А она, Ольга, еще больше дразнила, такойставляла себя, что побелевшая от гнева Лена бросила ей страшные проклятия и угрозу: придут наши — ее повесят вместе с другими предателями. После ухода Лены даже самой стало страшно: чего это она, глупая, нагородила! Расскажет Лена — стыдно будет людям в глаза смотреть. Да и грех это перед богом и собственным ребенком — так обесславить себя.

Но, наверное, Лена не все рассказала, потому что скоро пришла старая Боровская и попросила Ольгу взять в очередной поход по деревням ее Костика. «Собрала что получше, пусть выменяет на какой-нибудь харч, а то совсем семья голодает». Ольга охотно согласилась: все-таки мужчина рядом, защитник. С бабами она не любила ходить, одной же бывало страшновато. Но Костик, поганец, всю дорогу задирался, до самого Слуцка, колючий был, как шило, слова ему не скажи, издевался над ее коммерцией, ругал по матушке каждого встречного немца. Попросились в немецкую машину — взял их шофер, она, Ольга, в конце поездки благодарит, рассчитывается марками, а он, Костик, во весь голос:

— Пулю бы тебе в лоб, гитлеровский пес! Ишь морду отъел на наших харчах, надла фашистская.

Ольга чуть в обморок не упала от страха. Хорошо, что немец — ни слова по-белорусски. Кивает на Костиковы слова, соглашается:

— Я, я...

Не выдержала она, вцепилась Косте за шею.

— Борец, мать твою!.. Дурак, мякиной набитый!

Потом Костя больше суток рта не раскрывал, будто онемел. Ольге даже страшно стало: вдруг этот очумелый отмочит что-нибудь такое, что потом не расхлебашь. И выменивать ничего не выменивал, все пришлось делать ей, только котомки с просом и ячменем носил.

На обратном пути ночевали в Валерьянах. Костя с хозяйским сыном, немного старше его, сходил на вечерку. В деревне нет коммандантского часа и той напряженности, которая тут, в городе, принуждает бояться соседей, хотя и прожил с ним рядом всю жизнь.

На другой день дорогой Костик заговорил, но уже совсем иначе, будто за ночь парня подменили, — серьезно, уважительно, даже обрателься необычно, без прежнего панибратства:

— Тетя Оля, машину не останавливай, я не полезу. Я, конечно, помогу тебе поднести ближе к Минску наши узлы, а там уж, пожалуйста, ты как-нибудь сама. Я в город не пойду.

Ольга ахнула. Вот связалась на сврю голову! Еще такой беды не хватало!

— А куда же ты пойдешь?

Костя ответил не сразу:

- В партизаны пойду.
- Где ты их найдешь, дурень?
- Найду!

Такая уверенность в ответе, во взгляде, что она на какое-то мгновение растерялась: что делать, как вести себя?

Попыталась просить:

— Костичек, миленький, что же это ты делаешь со мной? Меня же твоя мать съест, что не уберегла тебя. И сама умрет от горя.

Помрачнел, помолчал, только простуженным носом сопел.

— Не умрет. Не у нее одной дети воют.

Машины Ольга не остановила — боялась, что Костя не сядет да еще поведением своим подозрительность у немцев вызовет; среди немцев разные бывают, попадаютсся будто и люди, но чаще — хуже зверей.

Надеялась, что передумает Костик. Целый день шли по скользкой зимней дороге с тяжелыми узлами. На уговоры ее Костик не отвечал, снова угрюмо молчал. А когда спросил, сколько верст осталось до Минска, Ольга поняла, что решение его твердое.

— Где ты будешь искать их, партизан этих?

— В лесу.

— По такому снегу? Погибнешь, как ягненок из сказки. Волки съедят.

— Ну, ты меня не пугай. Не на того напала. В городе теперь худшие волки.

До Минска им не дойти, если на машину не сядут, придется снова ночевать. И в эту ночь Костя, наверное, исчезнет, а она не сможет даже сказать Боровским, куда он пошел, в какой лес.

— Хочешь, отведу тебя к партизанам?

Костя даже остановился от неожиданности.

— Ты? Ты можешь отвести к партизанам?

— Если попросишь хорошенько.

— Ой, насмешила!..

Повалился на придорожный сугроб, задрывал ногами, показывая, как ему смешно оттого, что она, комаровская торговка, знает, где партизаны, хотя видно было — смеяться ему не хотелось, не до смеха было, утомленному, простуженному, полному страха перед неизвестностью. Ольга все понимала, но за шутовство такое обиделась.

— Полежи, полежи, подрыгай ногами...

Догнал ее, серьезный, даже как бы повзрослевший, — вдруг сообразил-таки, чертенок, что не зря она сказала про партизан.

— Прости, Ольга, за все. Думаешь, кто-то другой поверил бы, что ты связана с партизанами? Какая ты молодец! А Ленка... Только много говорит, — будто нас агитировать нужно! — а ни черта не знает. Сколько просил ее!

Хитрый жук, знает, как ревниво относятся они друг к другу, сестра его и она, Ольга.

— Но для этого нам нужно пойти на Руденск.

— Да куда хочешь, на край света пойду теперь за тобой.

Связной Марьян Сивец, который и при Советах, и теперь, при немцах, работал на железной дороге, хотя и жил в деревне, был недоволен, что она без согласия Захара Петровича привела пацана, так и сказал: «Партизанам нужны военные, офицеры Красной Армии, а не сопляки, таких в деревнях полно, только свистни». Но, на Костиково счастье, выяснилось, что Сивец знает Лену, встретился с ней у Захара Петровича, — возможно, Лену готовили для связи с ним, но потом она, Ольга, лучше подошла к этой роли.

К Боровским Ольга не отважилась идти, побоялась объяснения с матерью Кости. Через соседского мальчика позвала Лену. Лена прибежала, запыхавшись, бледная, вскочила в дом стремительно, с порога закричала:

— Где Костик? Куда ты его дела?

Пришлось рассказать ей всю правду. И произошло у них тогда великое примирение. Обнимались, целовались, просили друг у друга прощения, клялись в вечной дружбе.

Ей, Ольге, сейчас спокойнее от близости еще одного человека — школьной подруги, которой можно все рассказать, с которой можно посоветоваться, ничего не скрывая. Раньше как-то пожалела, что Боровские не самые близкие соседи, не через забор, — казалось, что тогда бы они охраняли друг друга. Но теперь подумала, что вряд ли стоит выставлять дружбу с Боровскими напоказ. Лучше держаться подальше. Пожалуй, и к Захару Петровичу не стоит так часто навещаться. Нет, к нему можно. Он не боится за себя. А вот за него, за Сашу... Не нужно, вероятно, приходить ему сюда на ночь, радости ей от этого мало. Возвращался страх, от которого она избавилась, и одна спала спокойно. Не нужен ей этот страх, он, как ржавчина, разъедает душу, ослабляет волю...

Задумалась и не услышала, как поднялся с постели Алесь, пришел к ней на кухню. Вздрыгнула, увидев его перед собой, будто он внезапно захватил ее за чем-то недозволенным или недостойным.

— Почему ты сидишь тут?

— Да так... Не спится.

— Почему тебе не спится?

— Я спала днем, — солгала она неубедительно; он хорошо знал, что днем она никогда не ложилась.

— Скоро утро, а ты так и не уснула.

— Нет, я спала.

— Не спала ты. Я слышал.

— И ты не спал? — удивилась она. До этого считала, что по дыханию его чувствует, спит он или не спит, сон у него всегда был тревожный, как у мальчишки, у которого было днем слишком много впечатлений. Сегодня он спал спокойно, неслышно и этим ввел ее в заблуждение.

Ольга и при том свете, какой давал отблеск снега за окном, увидела, что он стоит босой и в одной исподней рубашке.

— Не стой так, пол холодный. На валенки, я нагрела их.

— А ты?

— На печи мои сохнут.

Она отдала ему старые, растоптанные отцовские валенки, накинула на плечи нагретый ее телом полупубок. Валенки она в самом деле взяла свои, маленькие, белые, фетровые, обула их. Но некоторое время стояла в ночной рубашке.

— Садись рядом. Мы накроемся одним кожухом.

Обрадованная, она быстро, как мышка, нырнула под кожух, обняла Алеся, прижалась к нему и так замерла на какое-то мгновение, не то желая слиться с ним, не то прислушиваясь к ударам его сердца, или, может, даже старалась услышать его мысли. Потом припала губами к его щеке, прошептала женское, вечное:

— Как хорошо с тобой!

Но он не проявил такой же нежности, он был более сдержан, чем обычно.

— Что тебя тревожит, Оля? Почему ты не спишь?

Она чуть отодвинулась от него и на минуту задумалась. Сказать ему, что ее тревожит? Сказать, чтобы он не приходил сюда, потому что она боится за него? Нет, сказать такое — это все равно что убить свою любовь, свою единственную радость.

— Я думала, как мы будем жить, когда кончится война. — И встрепенулась, поправила: — Как я буду жить.

— Ты боишься?

— Чего?

— Той жизни.

— О нет! — Она совершенно искренне засмеялась. — Если я сегодняшней жизни не боюсь, то чего мне бояться той? Я радуюсь ей. Я твердо решила, что буду учиться. Как ты советовал. Что бы ни случилось, буду учиться. Я лежала и думала, как я буду ходить в школу. А потом в институт... А потом опять в школу, но уже учительницей, я хочу учить детей. — После знакомства с Яниной Осиповой она думала об этом много раз. — Верить, что я могу стать учительницей?

Алесь с благодарностью поцеловал ее.

— Ты умеешь хорошо мечтать, красиво.

— У тебя научилась.

Он вздохнул.

— А я, кажется, разучиваюсь. Я так редко мечтаю теперь. Даже читать не хочется. Стихи особенно. Это пугает меня, Оля. Раньше для меня не было большей радости. Ты знаешь, я сам писал стихи, считал себя поэтом. И радовался, — как я радовался! — что умею это, что получается у меня, что будет у меня когда-нибудь профессия, которая порадует многих людей. Со школы мои ровесники рвались в военные училища. Мне никогда не хотелось стать военным. Я тоже хотел стать педагогом или поэтом. А теперь... убиваю... Но знаешь, почему я не мог уснуть, что меня беспокоит? Что не способен я на это и не могу научиться. Делаю и

мучаюсь... Я убил их троих уже... немцев, фашистов... Ты помнишь, как меня колотило после того, первого? Потом как будто ничего, особенных мук не было, так разве, нервы... Они сами искали своей смерти, они пришли, чтобы убить тебя, меня... Они зверствуют, расстреливают, вешают... Кровь за кровь! Смерть за смерть! Это не слова. Это смысл нашей жизни теперь. Они думали, что могут покорить нас... А ты посмотри, как поднимается народ. Ты сама рассказывала, что в каждом селе только и говорят о партизанах. А то ли еще будет! Я давно понял... О, как я понимаю: чем больше мы их уничтожим, тем быстрее придет наша победа. Но знаешь, что со мной случилось? Я получил задание... Подпольный комитет вынес приговор одному предателю. Я должен исполнить этот приговор. Ты только, пожалуйста, пойми, никому другому я об этом не сказал бы, только тебе... тебе я могу рассказать все. Те, которых я убил, — немцы, пришельцы, я их видел только в лицо, и то издали... Для меня они не люди. Они пришли убить меня — я убил их. А это наш человек, наш, белорус. Может, было бы проще, если бы незнакомый... А то я знаю его лично. Сидел за одним столом... Понимаю, что предатель хуже любого фашиста. Но все равно... все равно убить этого человека мне нелегко. Я боюсь этого задания, Оля. Не могу придумать: как, где, когда?.. Не сплю вторую ночь... Думал, успокоюсь около тебя...

И под теплым кожухом его начало лихорадить, и волнение передалось Ольге. Она подумала, что предал кто-то из их подпольной группы, от этого стало страшно: а вдруг Алесь назовет имя человека, которого и она знает, с которым встречалась, доверяя ему не только одну свою жизнь... А может, случилось еще худшее: они ошиблись и присудили к смерти невинного.

— Кто это? — шепотом спросила она.

Алесь вздохнул:

— Друтька.

— Дру-утька? — Ольга почувствовала облегчение: не кто-то из своих — «бобик», но и удивилась очень: самый смирный из полицаев, самый тихий, казалось, стыдится своей должности, за ней явно ухаживает, но никогда не нахальничал, как другие, лаской и покорностью хочет привлечь, поэтому она не сдержала своего удивления, сказала: — Такой добрый...

— Добрый? — Алесь сбросил с плеч кожух, поднялся, возмущенный ее словами. — Ты не знаешь, какой это гад. Тихий, но хитрый, как лис. Вынюхивает лучше собаки. Продавал коммунистов, расстреливал евреев из гетто... В приговоре записаны все его черные дела.

Ольга вспомнила, что неделю назад Друтька был у нее дома и она угощала его, а он все допытывался, куда исчез ее родственник. Она сказала, что поехал к себе в деревню, на Копыльщину. А полицей, подвыпив, еще раза два спросил: «Так куда, ты говоришь, он поехал? В какую деревню?». А еще сказал так, будто между прочим: «Не копыльский у него выговор. Я при Советах

всю Минщину объездил». Тогда Ольга не обратила на эти слова внимания, занятая другим: Друтька предлагал съездить с ним на его родину, в Червенский район. «На коне поедем, в возке. Как пани. Со мной не пропадешь. Будешь выменивать свое барахло под надежной охраной. Никто не прицепится. И выменяешь больше, ручаюсь. Сестра моя поможет. Люди у нас не скупые».

Заманчивое предложение. И Ольга думала, что стоит посоветоваться с Захаром Петровичем, как использовать поездку с полицаем, ведь ехать в нашу, партизанскую зону, так называл этот район старый подпольщик. Знала, на что надеется полицейский кот, но не боялась, верила, что насильно брать не будет, не дошел еще человек до такого бандитизма; если бы дошел, то давно попробовал бы это сделать тут, в ее доме, соседей не побоялся бы, да и не дозовешься соседей, кто сейчас бросится на помощь? А Друтька вел себя так, что Ольга даже благодарна ему была: он как бы охранял ее от других полицаяв и немцев; некоторые насчет ее и Друтьки отпускали соленые шуточки, и она с хитрой стыдливостью поддерживала эти шутки, во всяком случае, не опровергала: пусть думают, что она живет с Друтькой, не будут цепляться.

Теперь, вспомнив Друтькины расспросы, Ольга почувствовала, как ей становится холодно и под кожухом. Всплыло и еще одно: другие полицайи явно боялись тихого Друтьку. Нет, не безвинному вынесен приговор. Но она понимала Сашу. Ему, мечтателю, поэту, мягкому, доброму, предстоит совершить такое!.. Действительно, одно дело — немцы, пришельцы, оккупанты, палачи, тут война — кто кого! Но убить своего, да еще знакомого...

Она уже знала, что это за люди, подпольщики. Они, конечно, захотят, чтобы все было по закону, безусловно, приговор написали. Наверное, перед казнью нужно будет прочитать его осужденному. Где? Как? Когда? Это не то что выстрелить из-за угла.

— Ну, простудишься же, — упрекнула Алеся таким голосом, будто только это сейчас и волновало ее. — Забирайся под кожух.

Он не послушался, только остановился перед ней, и Ольге показалось, что и во тьме она различает, как бледно лицо его — белее рубашки.

— Не жалею его, Оля. Это враг. Страшный. Опасный. Для всех нас.

— Я не жалею. Я помогу тебе.

— Нет! — решительно запротестовал Алесь. — Андрей против того, чтобы тебя втягивали в другие дела, кроме связи.

XI

У знакомого полицая Ольга спросила на рынке, где живет Друтька. Тот часа через два принес ей адрес домой, чтобы получить за это угощение. Чуть ли не силком выпихнув пьяноватого полицая, Ольга пошла к Друтьке.

Он жил на Пролетарской в трехэтажном доме. Если полицая не будет дома, рассчитывала оставить ему письмо — пригласить к себе, не сомневалась, что придет. Но Друтька сам открыл ей, хотя Ольга не сразу узнала его, не сразу даже разобралась, кто перед ней, мужчина или женщина. В длинном цветном халате, в черной шапочке, в полосатых пижамных штанах, человек этот будто сошел в темноватый коридор с экрана немецкой кинокартины, которую она недавно смотрела; так посоветовал Захар Петрович, чтобы она ходила в кино и рассказывала ему, что там видела.

Узнала Друтьку — не удержалась, расхохоталась:

— А-а, Федорка, чтоб ты так жил! На кого ты похож?

Полицай немного сконфузился, застенялся и минуту раздумывал, стоит ли такую гостью приглашать в комнату. Но тут же рожка его расплылась в искусительной улыбке, и он гостеприимно поклонился, как в кино, руками развел:

— Прошу, прошу, дорогая гостья!..

Из коридора вошли в светлую, с двумя окнами, комнату, и Ольга остановилась, пораженная.

Комната была загромождена, забита вещами. За всю свою жизнь мать ее и сама Ольга, работая, как каторжные, на огороде, таская выращенный урожай на рынок и без конца покупая одежду, вещи, не накопили и половины того, что находилось в полицейской квартире. Два стола, два дивана, мягкие кресла, комод из красного дерева, шкаф зеркальный — куда до этого ее шкафу, которым так гордилась старая Ленивичиха!

Но больше всего бросались в глаза ковры на стенах, два огромных персидских, как их называли, с удивительными узорами ковра. Ольга на такие давно заглядывалась, мечтала купить, как только сама стала хозяйкой.

На эти не позавидовала, тут же подумала, что все это не нажито честно, а награблено, может, у убитых им людей — вспомнила слова Алеся про Друтьку, за что ему вынесли приговор. А еще подумала по-своему, по-комаровски: «Вот хапуга, все на дармовщинку старается выпить и закусить, а сам столько добра натаскал, таким уж телянком прикидывался».

Ему сказала:

— Ну, Федор, живешь ты как князь!

Он довольно хихикнул.

— А чем мы хуже князей! Буду и я князем. Хочешь, и тебя княгиней сделаю!

— Куда мне, комаровской бабе! Мне только редиску продавать.

— Да тебя если приодеть, красивее любой княгини будешь. Видел я княгинь!

«Где ты их видел?» — хотела спросить, но подумала, что не стоит дразнить его: еще мать когда-то учила — дураку лучше поддакивать.

Друтька, не особенно прячась за шкафом, переодевался,

Чтобы не видеть, как он переодевается, Ольга отвернулась и сделала вид, что рассматривает ковер и замысловатое, с нарезным прикладом, охотничье ружье, повешенное на лосиные рога. Но в действительности ее заинтересовала картина над ковром: молодая, очень красивая женщина читала детям книгу, детей было человек семь, разного возраста, похожих друг на друга, празднично одетых: девочки в длинных платьях, с лентами в волосах, а мальчики в коротких штанишках, в белых рубашках, в разных по цвету курточках.

— Что это у тебя Гитлера нет? — спросила Ольга.

— Как нет? А вон на столе стоит освободитель наш!

— Ты смотри, а я и не заметила. — И похвалила портрет: — Красивый. Усики мне его нравятся. И челочка.

— Ольга! — строго сказал хозяин, одним тоном дав понять, что обсуждать фюрера подобным образом не позволено.

Друтька вышел из-за шкафа, он натянул черные штаны, полицейские, обул сапоги, сбросил нелепую шапочку, но остался в халате, только расстегнул его, выставив грязноватую коричневую рубашку.

— Чем же угостить мне такую дорогую гостью? — с хозяйской озабоченностью спросил у самого себя Друтька, почесав макушку.

Около стола Ольге ударил в нос нечистый запах мужского жилья, на полу в углу стояли грязные кастрюли и тарелки. Подумала, что ее могут угощать чем-то из таких вот тарелок, и стало гадко, хотя брезгливой не была — чистила любой хлев, могла перевязать гнойную рану.

— После угостимся, — сказала она. — Нет у меня сегодня времени. Собаку ноги кормят, так и меня. Я к тебе, Федор, по делу.

Друтька перестал убирать со стола, посмотрел на нее, заинтересованный.

— Ты приглашал поехать с тобой в село, на родину твою. Так я согласна. Подумала и решила: кто-кто, а Федор не обидит, человек свой. Я барахла накупила, нужно поменять, а то есть уже пачево.

— Так я и поверил, что у тебя есть нечего! Может, кормишь кого?

— А как же! Дивизию солдат кормлю!

Друтька засмеялся и, подбодренный, потянулся, потом осторожно, неслышно, как кот к мыши, ступил к ней.

— Когда поедем?

— Если бы завтра...

Он остановился, недовольно сморщился, задумался, усомнился.

— Не отпустит начальник.

— Тебя? — удивилась Ольга.

Это ее удивление как бы просветило что-то в Друтькиной памяти.

Он осклабился, хлопнул ладонью по столу:

— Есть у меня козыри! Отпустит!

— Я же знала, что у тебя одни козыри, — усмехнулась Ольга и дотронулась рукой до его плеча, ласково посмотрела в глаза. — Только у меня, Федя, еще одна просьба. Заедем по дороге к моему дядьке под Руденском.

— Ничего себе по дороге! Такой крик!

— Федечка, передали, что тетя заболела, лекарство просит. Что значат на хорошем коне каких-то лишних двадцать верст!

— Ну ладно! С тобой куда хочешь поедешь. Ты любого уговоришь. Награда будет?

— Будет. — Она игриво засмеялась.

Друтька попробовал обнять ее, но она проворно увернулась и потрозила пальцем.

— Э-э, сначала нужно заработать! — отступая к дверям, сказала она. — Так я жду тебя завтра, Федор. Когда приедешь?

— На рассвете. Лучше раньше, дорога-то не близкая.

В коридоре похвалился, показывая на две другие двери:

— Большевицкий начальник жил из горкома. А теперь — мы. В тех комнатах по двое, а я один.

...От Друтьки она пошла к Захару Петровичу. Старый инвалид не очень понравился ей в тот день. Обычно он вел себя так, будто ничего в мире не случилось и величайшее событие в его одинокой и тоскливой жизни — ее, Ольгин, приход. Радость его всегда была естественной и искренней. А тут как будто не обрадовался ее появлению, был чем-то озабочен, хотя и старался спрятать свое настроение за привычными путками. Но Ольга почувствовала — что-то случилось. Заколебалась: стоит ли начинать разговор? Значительную часть дела она сделала сама, может сделать и все остальное. Нет, не может. Ей теперь нужно это разрешение, без него она не имеет права везти туда полиция.

Обычно она раздевалась и сразу становилась хозяйкой в доме, и это особенно тешило старика. В этот раз она села около стола, как гостья, не раздевшись. И хозяин сел напротив: так садятся, когда стараются, оставаясь вежливыми, быстрее выпроводить непрошеного гостя. Захар Петрович был в ватнике, облезлой шапке. Ничего удивительного, он почти всегда так одет, когда не шьет сапоги. Но Ольга почувствовала, что в доме холодно, утром не топились печь; это особенно обеспокоило: значит, в самом деле случилось что-то необычное. Но рассудила, что тем более нужно сказать, зачем пришла. Иначе что старик подумает, если она поведет себя загадочно: пришла, посидела и ушла...

— Один полицейский приглашает меня поехать с ним на мену. Он едет к родным туда куда-то... в нашу зону. Так я подумала: не нужно ли что передать Марьяну? Полицию скажу, что это дядька мой. Я же и раньше ходила, как племянница.

Захар Петрович навалился грудью на стол и внимательно заглянул ей в глаза, так внимательно и проникновенно, что Ольге стало неловко и она едва выдержала его взгляд: ей показалось — старик понял, что говорит она не всю правду, полуправду.

— Как фамилия полиция?

Неужели подумал о Друтьке? Знает же, конечно, что тот осужден. Да и странно было бы ему не знать. Ей не однажды казалось, что не Андрей, а он, безногий, главный командир подполья, — во всяком случае, нитей к нему тянется немало. Приходится обманывать. В жизни она делала это часто и просто. А тут почувствовала, как нелегко обмануть этого человека, тем более что потом придется рассказывать правду.

— Тихоньков, — вспомнила фамилию одного из полицейских, который чаще других дежурил на рынке.

Захар Петрович вздохнул.

— Передать есть что. Человека. Но человека с полицейским не повезешь.

— Не повезешь, — согласилась Ольга и поспешила высказать свой замысел: — Я о чем подумала, дядя Захарка. Чтобы эти, — она кивнула в сторону недостроенной половины дома, где стояла коза, — лимонки завести.

— Гранаты? — прошептал старик, и глаза у него расширились и заблестели, как у озорного мальчишки.

— А что? Мешок он мой трясти не станет. И его никто не тронет. У него знаете какие документы? Когда еще представится такой случай...

— Ах, чтоб тебе добро было! — Захар Петрович тихонько засмеялся и даже заскользил деревяшкой по полу под столом и вмиг преобразился, стал таким, как всегда, — веселым, живым, по-отцовски добрым, доверчивым. Понравилась ему выдумка связаной.

И Ольга сразу ожила, ей показалось, что сообщила своему руководителю самую главную правду, по сравнению с которой ее небольшой обман мелочь, своеволие девчушки перед зрелым человеком.

— Сколько же ты возьмешь?

— Много, конечно, не возьму. Так, чтобы завернуть в кофточку, в платки... В соль положу... Десятка полтора... Я думаю, и это хлеб? — спросила его не очень уверенно.

— Конечно же хлеб, Олечка, конечно, хлеб. Они же передавали, что с гранатами у них туго, а у меня они ржавеют. Вот получит Витек подарочек от отца! — Потер руки и радостно засмеялся, но тут же осекся, стал серьезным и снова настороженным. — Постой. А как же тут, в городе? Подумала? Как их забрать? Мой дом «бобику» лучше не показывать. Найдут сами.

— А я их сейчас заберу.

— Как?

— Насыплю в корзину, а сверху картошку.

— А, чтоб тебе добро было! «Насыплю»! Так просто! Рисквая ты, Ольга. А если остановят?

— Днем они редко проверяют. У меня только однажды мешок вытряхнули.

— Ну, вот видишь. Нет, так нельзя. Рисковать тобой не имею

права. И так теряем много людей. — Он снова вздохнул. — Гранаты тебе принесут.

— Кто?

— Кто-нибудь принесет.

— Не все ли равно кому рисковать?

— Не нужно горячиться, Олечка. Дай хорошенько подумать. Это тебе не лишь бы что, со смертью в прятки играем.

У Ольги екнуло сердце: передумал старик, но не отказывается прямо, нашел причину, как отцепиться от нее; никто этих гранат не принесет, потом скажет, что «хорошенько подумал и передумал».

Но ей отступать уже некуда, нужно ехать и в крайнем случае без его, Захарова, разрешения заехать к Сивцу... Подумала, что так, может, даже и лучше — все взять на себя. Пусть потом карают за самовольство.

Нет, не передумал Захар Петрович. Прошелся по просторной кухне, постукивая деревяшкой, на печь почему-то заглянул, в окна поглядел — в одно, в другое.

— Запалы возьмешь сейчас, спрячешь подальше, куда-нибудь, извини, в рейтузы. А гранаты принесут. Под вечер.

Вышел за дверь, в недостроенную половину. Вернулся с небольшим свертком, развернул промасленную тряпку, и Ольга увидела красивые латунные трубочки, блестящие, новенькие, просто не верилось, что в таких игрушках смерть, с ними бы детям играть.

Захар Петрович отсчитал десяток, спросил:

— Хватит?

— Давайте полтора.

Вздохнул, будто ему жаль стало этих трубочек.

— Все тебе мало. Тяжелый мешок будет.

— Тут я не знаю, что мало, что много. Просто люблю потрговаться, побольше взять. — Ольга засмеялась.

— Сама-то ты хоть умеешь с ними обращаться? Вставить запал? Бросить гранату?

— Не-ет. Разве я гранатами когда-нибудь торговала?

— А, чтоб тебе добро было! Во боец! Нужно уметь. Все может понадобится. Я все умею. Пошить сапоги, смастерить раму, починить часы, разобрать и собрать немецкий автомат... Хлопцы как-то его принесли, чтобы я научил пользоваться, так я досконально выучил технику немецкую, весь принцип их автоматики. Правда, за сапоги и за оконные рамы удивляюсь, как меня до этого не побили заказчики. Делают скидку на мою ногу. — Стукнул протезом.

Разговаривая, Захар Петрович не спеша, снова посмотрев в окна, достал из ватника, из-за пазухи, лимонку.

— Вот смотри. Вот так вставляешь запал. Вот так, под предохранитель. А это чека. Короче говоря, загвоздка. Вот так вырвала ее — и тогда уже быстрее бросай. А сама носом в землю,

чтобы осколки не достали — они веером разлетаются. Сообразила? На́, поучись. Только чеку не трогай, а то погибнем около собственной печи.

Науку Ольга всегда постигала легко. Сразу сделала все, как показывал старик, без единой ошибки. Захар Петрович похвалил:

— Тебе оружейным мастером надо быть.

От этой шутливой похвалы почему-то больно сжалось сердце: как много она могла познать в жизни, дорога же была открыта, как многим другим, а она променяла науку на огород и рынок, на тачку с салатом и луком.

Об этом думала по дороге от Захара Петровича, неся под грудью запалы. Снова мечтала, что когда-нибудь будет учиться. Даже разволновалась, будто бежала на приемный экзамен. Да недолго пришлось помечтать: навстречу прошли бело-серые, в пятнах, немецкие грузовики, и солдаты на одном из них со смехом и гиканьем стали показывать на нее пальцами. У Ольги подкосились ноги. А вдруг грузовик остановится и они окружают ее, начнут срывать одежду?

Страх перед немцами возник снова, когда собирала маленькую Светку, чтобы отвезти к брату. Думала, что это самое простое, боялась только одного — своего прощания с ребенком. За все время оккупации — и летом, и осенью, и теперь, зимой, — Ольга не выводила малышку дальше дома тетки Марили, через три двора в их переулке. Если не считать тех двух или трех немцев, что заходили к ней с полициярами, оккупанты не видели ее ребенка, он жил в своем государстве, по своим законам. А теперь нужно посадить ее на саночки и везти очень далеко — на Сторожевку. Правда, не по центральной улице, где большинство прохожих немцы, но, может, это еще и хуже — на глухих улицах если какой гад прицепится, то и защитить некому. Пожалуй, никогда за всю войну она не чувствовала так свою беззащитность, как теперь. Не понимала и удивлялась, почему ей пришлось в голову отвезти ребенка. Сколько раз ходила в деревни, однажды дней пять бродила и ни разу не отводила дочку к брату, оставляла с Марилей. Почему сегодня захотелось обязательно отвезти? Само такое решение пугало, но преодолеть себя не могла. Повезла. Нужно было спешить, чтобы под вечер быть дома — принесут гранаты.

Все прошло хорошо. Даже распрощалась со Светкой без душевного надрыва. Девочка быстро подружилась с пятилетней двоюродной сестрой, и это Ольгу порадовало. Сама она с Галей, женой брата, дружила, еще будучи школьницей, особенно в первый год Казимировой женитьбы. Но потом мать невзлюбила невестку, завелись, переругались, она, конечно, стала на сторону матери, хотя никогда не чувствовала к Гале особенной неприязни, на брата больше обижалась.

Невестка неохотно приняла чужого, как она сказала, ребенка. Она явно хотела поссориться — отомстить за давние обиды. Но случилось удивительное: ее недовольство нисколько не тронуло

Ольгу, не разозлило, наоборот, как-то взбудоражило, развеселило и даже вернуло прежнюю приязнь к невестке.

Галя сказала:

— Все мечешься? Все торгуешься? Все тебе мало? Люди умирают, а ты богатеешь. Ох, ненасытное у вас нутро, проклятые Леновичи! Свернете вы головы, оставите детей сиротами!

Била не столько по ней, по Ольге, сколько по ее прошлому и по своему мужу, который пошел на службу к гитлеровцам. И это Ольга понравилось. Она засмеялась и поцеловала удивленную Галю. Домой Ольга вернулась в хорошем настроении. И остаток дня думала и волновалась только об одном: когда принесут гранаты?

Их принес уже в сумерки юноша в полицейской форме, которого Ольга не успела даже рассмотреть.

Сказал пароль, передал из рук в руки в темной кухне тяжелую банку и сразу нырнул за дверь, будто боялся быть узнанным.

Ольга открыла крышку тяжелого четырехгранного ведра и поморщилась — полно вонючего мазута.

Хотя гранаты были завернуты в парусину, но мазут все равно просочился, и Ольга очень аккуратно и осторожно, как большие ценности, протерла их чистыми тряпочками, завернула каждую отдельно — в платки, сорочки, кофточки, две сунула в туфли, несколько штук — в мешок с солью. Не пожалела и тех вещей, которые никогда не думала выменивать. Упаковала все в мешок так, чтобы никто, ни Друтька, ни постовые немцы, не могли нащупать твердые предметы. Весь мешок мягкий.

Одну гранату оставила. Попрактиковалась вставлять запал, раза два замахнулась — училась бросать. Потом сама усмехнулась такой забаве, — как мальчик, играет с оружием, как Костя Боровский. Вспомнила Костю — очень захотелось увидеться с Леной. Но к Боровским не пошла, упрекнула себя: что это с ней, будто проститься хочется?

Гранату, заряженную, с запалом, положила в кровать, под подушку. Но все же лечь так побоялась, переложила гранату в ящик туалетного столика, под ворох белья, подальше от себя.

Проснулась, зажгла спичку, посмотрела на будильник, удивилась — утро! Давно уже не спала так спокойно и крепко, часов семь не просыпаясь.

Протопила плитку, нажарила, не жалея, сала, чтобы хватило позавтракать и взять в дорогу на двоих.

XII

Друтька приехал точно на рассвете. Вошел в дом, как пьяный хозяин, с грохотом открыл двери, никогда таким смелым, шумным и веселым не появлялся. С порога спросил:

— Готова?

— Готова. Завтракал?

— Завтракал. — Но, увидев на плите сковородку с салом, потянув аппетитный запах, поправился: — Да какой там завтрак! Холостяцкий. Хлеб и консервы. Эрзац.

— Так садись, позавтракай хорошенько. Дорога-то не близкая.

— Как бы там с саней чего не стянули.

— Я пригляну.

Ольга быстренько подала на стол огурцы, капусту, хлеб, поставила сковородку с салом. Выпить не дала: пьяный Друтька может слишком осмелеть, станет приставать, а ей никак нельзя ссориться с ним. Он выразительно посмотрел на хозяйку, но она сделала вид, что ничего не понимает, схватила кожух и быстро выскочила на улицу — сторожить его добро на санях.

Конь стоял, привязанный вожжами за веревку ворот.

Она полюбовалась конем. Гладкий гнедой богатырь, не из тех немецких тяжеловозов, которые могут везти по две тонны, но которых не заставишь побежать трусцой. Этот и повезти немало может, и побежит быстро. Видимо, молодой; в лошадях Ольга не особенно разбиралась, однако знала, что только молодой выездной конь может так красиво выгнуть шею и так стричь ушами. На нее, чертяка, посматривает недобро. Она провела ладонью по его боку, конь вздрогнул и, кажется, довольно фыркнул.

«Ты послужил партизанам», — подумала Ольга. Конь ударил копытом в обледенелый дощатый тротуар с такой силой, что, наверное, рассек доски, льдинки полетели на Ольгу.

— Успокойся, глупый, — сказала она. — Будешь служить, кому скажут.

На коне была замысловатая сбруя, ременная, украшенная бляхами и звоночками, которые, однако, не звенели.

«В почете у своего начальника Друтька», — подумала Ольга, желая настроить себя определенным образом: ее смущало и даже пугало, что у нее все еще нет к полицию такой ненависти, чтобы захотелось убить его, хотя и поверила всему, что рассказал об этой продажной шкуре Алесь.

Сбруя, безусловно, была немецкая, а сани наши, белорусские, березовые, ценовые, но крепкие, только задок новый и выкрашен в нелепый цвет — в черный; ни один наш человек, подумала Ольга, не стал бы красить такую вещь в черное, только немцы могут. Всплыло воспоминание далекого детства: в санях, на которых отвозили покойников на кладбище, тоже что-то было покрашено в черное — не то оглобли, не то полозья, она хорошо не помнила. От такого воспоминания сделалось как-то неуютно; в последнее время она перестала верить во многие приметы, но все равно ее набожное комаровское воспитание все еще давало о себе знать.

Вещи на санях были накрыты большим кожухом. Ольга подняла его и увидела швейную машину, разобранный велосипед и целых три мешка, мягкие, с одеждой, конечно.

— Натаскал, паразит, — сказала вслух Ольга все с той же целью — настроить себя против Друтьки.

Конь, наверное, почувствовал, что перед ним свой человек, который ничего не возьмет с воза; и фыркал миролюбиво, спокойно.

Ольга похлопала его по загривку: с конем нужно подружиться, он должен стать ее помощником.

Почувствовала, что замерзает. Удивилась: так одета! Одевалась в самом деле не для похода с мешком за плечами, а для поездки в санях. Натянула старые лыжные штаны, которые после родов были ей тесны, а теперь ничего — выбегалась, похудела, — надела шерстяную кофточку, Адасев летник, подвязала его ремнем, поверх всего — старый материнский кожух, замызганный сверху, но с густой шерстью, теплый. Холодно, наверное, потому, что от плиты разгорячилась. Да и промозгло на дворе, вчера была оттепель, капало с крыш, ночью чуть подморозило, и город окутан густым туманом, от которого даже тяжело дышать.

Не догадалась, что и зябко, и дышится тяжело от волнения.

Вернулась в дом. Друтька чистил хлебом сковородку. Рожа его блестела от жира. А настроение еще более поднялось.

— Вот это заправился!

— Шапку хотя бы снял, безбожник!

Ольга вынесла из зала свой мешок, старалась нести легко. Друтька подхватил помощь. Поднял мешок — удивился:

— Тяжелый какой! Что ты натолкала в него?

— Бомбу положила, — сказала Ольга без улыбки. — Как думаешь, на бомбу найдутся охотники?

Полицай захохотал:

— Найдутся! Там теперь все купят. Позавчера двое танк украли с завода. Немцы самолеты подняли, разбомбили где-то в лесу, за Боровлянами, этот танк. Что себе люди думают? Куда они гнали этот танк? В голове не укладывается. Чокнутые какие-то.

Ольга вышла следом за ним, проследила, как он примостил в санях ее мешок. Потом быстро вошла в дом, в свою спальню, достала из ящика гранату, потрогала чеку, — хорошо ли держится? — засунула гранату за пазуху, под левую грудь.

Села в сани на мешок с сеном, с левой стороны, чтобы на ухабе не прижаться к Друтьке гранатой, повернулась к дому и трижды перекрестилась.

Друтька, отвязывая вожжи, увидел это и не улыбнулся, сам, направив коня на дорогу, с серьезным видом на лице размашисто и медленно положил на себя крест.

Прошелся шагов с полсотни рядом с санями, потом стегнул коня вожжами и, когда тот, фыркнув, побежал, вскочил в сани, толкнув Ольгу так, что она пошатнулась и прижалась гранатой к перекладинам решетки, даже заболело в боку, испугалась очень: от таких толчков и взорваться можно!

— Чуть из саней не выбил, медведь!

— Ничего, не стеклянная, не разобьешься.

Ольге не понравилось, что, не успев отъехать, он заговорил с

ней как с опостылевшей женой, и, может, впервые в ней зашевелилась та ненависть к полицаям, которой не хватало.

На комаровских улицах было еще пусто, изредка попадался пешеход, спешивший на работу на завод или в немецкое учреждение. Но на Советской было уже довольнолюдно, шло и ехало немало немцев. Они шли по-хозяйски, не спеша, но с необычайной немецкой пунктуальностью: по каждому из них хоть часы проверь на любом перекрестке. Изредка проходили легковые автомашины с высшими оккупационными чинами. Из-за машин Друтька прижимал возок к самому тротуару. Проехать по центральной улице, чтобы потом пересечь ее, нужно было всего метров триста, не больше.

Ехали медленно, с молчаливой настороженностью, будто разговаривать здесь считалось непристойным. Видимо, Друтька, зная прав своих хозяев, боялся их. И не случайно. Вдруг немец в офицерской шинели, с портфелем, властно поднял руку.

Друтька натянул вожжи и сразу полез за документами.

— Я имею документ, герр офицер. Я ист полициянт. Полицист. Их ист аусвайс.

«И это конец? — подумала Ольга без особенного страха, но с горькой иронией и со злостью па себя. — Не проехали и версты — и конец всему твоему плану».

О том, чтобы использовать свое оружие тут, на улице, и не подумала. Влипла по-глупому, безмозглая баба. Разве что мелькнуло маленькое, как далекий огонек, утешение: Друтьке тоже не отвертеться от кары за ее гранаты, она все свалит на него.

Немца не интересовали Друтькины документы. Даже не посмотрел на них. Поднял черный кожан, которым Друтька накрыл мешки. Ольге показалось — немец знает, что у нее в мешке.

«Неужели предательство?» — с ужасом подумала Ольга, вспомнив юношу в полицейской форме, который принес гранаты; самое страшное — предательство того, кому доверился Захар Петрович.

Нет, немец мешки не трогал, и Ольга сообразила, что страх ее напрасный: странно было бы, если б, зная, что в мешке, он один, даже не достав револьвера, проводил такую операцию.

Офицер аккуратно сложил кожан, вскинул на ту руку, в которой держал портфель, и, погрозив пальцем Друтьке, сказал целую речь. По тону и жестам Ольга почти все поняла: немец не ругал, спокойно и покровительственно стыдил полицая, что, в то время как великая армия фюрера замерзает в русских снегах и они, немцы, объявили сбор теплых вещей, он, служащий «нового порядка», таким теплым ледермантель (слово это повторил несколько раз) накрывает мешки. Как можно! Это же издевательство над своими благодетелями. Так, во всяком случае, Ольга поняла последнюю фразу, и ей стало почти смешно, что не она влипла — Друтька влип, получил от хозяина выговор.

Она сказала:

— Данке, пан офицер, данке.

— О, фрау ферштаден! Гут, гут. Фрау клюгер коф, — хвалил он и внимательно присматривался к ее кожану.

Ольга снова растерялась. Сдерет кожан. Кожанка ей не жал, но вылезет, как скула, граната под пиджаком. Нет, ее облезший, замызганный кожан господину офицеру не показался, он снова похвалил ее и снова выговорил Друтьке за его несознательность. И пошел с портфелем и кожаном.

Друтька дрожащими руками спрятал свои удостоверения, аусвайсы, круто и зло повернул коня и въехал в первый переулк около католического кладбища, чтобы и сотню метров, что остались до Долгобродской, не ехать по опасной Гитлерштрассе.

Полицай понуро молчал, только шумно сопел, будто ему заложило нос. Ругать немца не отважился даже наедине с Ольгой и в безлюдном переулке, но в душе его, конечно, кипело.

Ольга видела это и тоже молчала. Да и не до Друтьки ей было, не до его переживаний. Происшествие это впервые заставило подумать, что не то она делает, не так и очень может быть — не добьется своей цели. Не имела она права принимать такое важное решение сама.

Друтька не выдержал, укорил:

— Легко благодарить за чужой кожан.

— А ты ждал, когда он полезет в мешки? — зло спросила Ольга. — Небось там у тебя дорожка кожан.

— Кожан такой тоже не валяется на дороге.

— Для него твой кожан все равно что на дороге лежал.

— Им тоже не разрешают так...

— Вернемся — пожалуемся.

— На кого? — хмыкнул Друтька, удивляясь ее женской наивности.

— И кому?! — со злостью уколола она.

Такая ее злость, очевидно, испугала полицая, он искоса глянул на попутчицу и начал отступать:

— А, черт с ним, с кожаном! Не в нем счастье. Чего не случается на войне. А немцы — они тоже разные. И добрые. И скупые, жадные... Как и все мы. Ты же про свой мешок в первую очередь подумала, потому и спешила быстрее откупиться моим кожаном.

Ольга слушала его невнимательно, она думала о своем.

Когда проезжали недалеко от дома Захара Петровича, у нее больно сжалось сердце. Как она могла не сказать всей правды такому человеку? Никогда не переживала так оттого, что кого-то обманывала, с матерью, случалось, хитрила — и ничего, совесть не мучила. Но там были мелочи. А тут жизнь поставлена на карту. А жизнь ее теперь нужна не только ей и маленькой Светке. Осознание своей нужности людям, — да каким людям! — Родине (когда-то туманное для нее понимание родины теперь расширилось, прояснилось и вместе с тем стало очень конкретным, как самое близкое, дорогое вошло в сознание, в сердце всем тем своим смыслом, о котором не однажды говорил Сапа), — это осознание

наполнило жизнь непривычной, трепетной и волнующей радостью, поэтому еще сильнее хотелось жить — по-новому жить.

Как маленькой девочке, захотелось чуда: чтобы Захар Петрович как добрый волшебник встретил вон за тем домом, остановил коня, ссадил ее с саней, забрал мешок. Потом пусть бы хорошенько выругал, ремнем отстегал — она с благодарностью поцеловала бы его руки.

Ольга боялась контрольного поста в Красном урочище, там караульные уже заглядывали в ее мешок, когда она возвращалась из Руденска, пришлось откупиться куском сала и бутылкой самогонки. Напрасно она понадеялась на Друтьку, напрасно боялась, как бы он сам не выпил и не начал приставать, нужно было захватить шнапс, который и покупался для такой цели — для очередного похода за город.

Из бункера, над которым поднимался прозрачный дымок — сухими дровами топили, — вышли немец и полицай.

Ольга растерялась, засунула руки под кожух, потрогала гранату, хотя не была уверена, что сможет в случае чего использовать свое оружие. Как? Куда бросить? И что это даст? Куда после этого деться самой?

Но Друтька, который после происшествия с кожухом сидел как на поминках, вдруг весело зашевелился, натягивая вожжи, подался вперед, стал на мешок коленями и еще шагов за сорок до шлагбаума закричал:

— Здорово, Левон!

— Хайль, Федор! — ответил караульный полицейский.

Немец безразлично направился обратно к бункеру, поеживаясь от холода.

— Куда? — спросил Друтьку знакомый.

— К своим. Вот! Невесту показать хочу.

— Женишься? Ну даешь, Федька! Не теряешься нигде! — Подошел к саням, заглянул Ольге в лицо, похвалил: — С морды ничего баба!.. Пстой! Да я же ее знаю! Торговка! По себе, Федька, выбрал.

Это последнее замечание оскорбило Ольгу, но она смолчала: не стоит задираться, да и остроумие ее будто замерзло. Полицай засмеялся, пожелал счастливой дороги, поднял шлагбаум и вслед крикнул соленый мужской совет.

Друтька, как будто пристыженный, несколько минут молчал. Соскочил с саней, нокая, быстро прошелся сбоку, поскользнулся, повалился на сани, головой Ольге на подол, даже задрогал в воздухе ногами, испугал коня, тот рванул галопом.

— Тпру-у, холера! А то выбросишь из саней.

Чувствовалось, что у Друтьки сразу же поднялось настроение, после поста он почувствовал себя увереннее, повеселел, ему хотелось пошалить, посмеяться, на словах придерживал коня, а на самом деле подгонял его — дергал за вожжи, дрыгал ногами, хотал.

Потом, когда их обогнал грузовик, опомнился, сел на прежнее место, рядом с Ольгой, сделался серьезным, несмело обнял ее за плечи.

Ольга вздрогнула, растерялась, ей показалось, что к ней потянулась рука мертвеца. Почувствовала брезгливость от Друтькиной близости, от пара, который он выдыхал.

— А знаешь, Ольга, я не шутки ради сказал про женитьбу. Я действительно хочу жениться. И ты нравишься мне. Выходи за меня замуж. Мне теперь вот как нужна такая жена, как ты! Чтоб такая хозяйка была.

«Не знаешь ты, какая невеста тебя ждет», — подумала Ольга с ненавистью, но и со страхом, совсем незнакомым, — наверное, от такой тесной связи с осужденным.

Сказала с упреком:

— Что это ты несешь, Федор? У меня муж на фронте.

— Не вернется твой фронтовик. Разве что не будет дураком да перейдет к немцам. Если сам сдастся, отпустят.

С большей печалью, чем раньше, с болью и даже с чувством своей вины перед ним, что случилось редко, Ольга подумала о муже, но тут же порадовалась своей уверенности: Адашь никогда не сдастся в плен, не предаст, не опозорит свое имя.

«Он вернется! А вот ты не вернешься!» — подумала уже с одной ненавистью к Друтьке. А тот, не жалея красок, рисовал, как бы они жили, поженившись.

Ольга слушала одним ухом. Она думала о своем плане. Еще вчера вечером, когда обдумывала все до мелочей, план этот казался безупречным.

Она боялась, чтобы приговор Друтьке исполнил Саша, может, потому, что он сам признался, как трудно ему убить знакомого человека. Понимала, насколько увеличивается риск, если нет уверенности, — для Саши это может кончиться провалом, смертью. Тогда же, в ту ночь, решила помочь ему, хотя он и возражал, решила взять на себя его задание. Долго думала, как осуществить приговор. Чувствовала, что сама не сможет сделать это. И надумала: через Сивца сдать Друтьку партизанам, пусть они покарают его; там, в лесу, это действительно будет кара, по всем законам, а не убийство из-за угла. Это честно и, казалось, просто. Сивец подтвердит. Ее могут упрекнуть, поругать за анархизм, как называет это Захар Петрович, но не перестанут доверять. А в анархизме старый подпольщик упрекал даже Андрея, которого она считала командиром всей группы.

Почему же вдруг только сегодня, когда отъехали уже порядочно, появилось сомнение, что она делает не то, что нужно? Смutil случай с кожухом? Нет, при чем тут кожух?

Она думала, как отнесется к ее замыслу Сивец. Немолодой уже человек. Жена. Дочь. Соседи рядом. Гарнизона, правда, в селе нет, но все же... Захочет ли Сивец браться за такое дело — сдать полицая партизанам? Скорее всего, нет.

Друтька спешит — рассчитывает, конечно, к ночи доехать до своего Червешского района, день уже не короткий, конец февраля. Переночевать у Сивца она его уговорит. Но близко ли партизаны, чтобы Сивец мог успеть за ночь привести их? Да еще неизвестно, как сами партизаны отнесутся к этому. Могут сказать: «Вы там, в городе, осудили — вы и карайте». Кому это хочется брать на душу расстрел человека? Она же не захотела, чтобы это сделал Саша. И Саша мучился от такого задания.

Успокаивала себя: если не выйдет, как задумала, ничего страшного не случится, от кары Друтька не спасется, ведь вернутся же они назад, в Минск, через каких-то три дня... И поездка будет не напрасной — партизаны получат гранаты. А когда вернется, она придумает что-то другое. Нет, тогда она во всем признается Захару Петровичу, посоветуется с ним. Напрасно побоялась, что он помешает осуществить ее замысел: старый, опытный, рассудительный человек понял бы ее, понял бы Сашу и обязательно что-то придумал бы, — может, одобрил бы ее план или, скорее всего, добавил бы к нему такое, что уберет его от ошибки. Дал же разрешение, чтобы она заехала к Сивцу с полицаем, завезла гранаты.

А если все произойдет по ее плану, она еще перед деревенской полицией поднимет гвалт: остановили на дороге бандиты, забрали и коня, и Федора Друтьку. Ищите! Спасайте! Помогите! Пусть ищут ветра в поле.

Пересекли Могилевское шоссе, повернули на Новый Двор. Ехали по полю. Туман не рассеивался, и все вокруг окутывала белая мгла. Проклятый туман, в нем человек замерзает хуже, чем в самый сильный мороз. Ольге в кожане было холодно. А Друтька остался в одной шинели. Не выдержал, выругал все же немца:

— Забрал кожан, чтобы его холера взяла! Тыловая крыса, зараза, интендант паршивый! У кого ты конфискуешь теплые вещи? У своих? По-человечески сказал бы — я тебе воз собираю этих кожанов.

Друтька передал Ольге вожжи, соскочил с саней.

— Ты погони, а я пробегусь, а то до костей проняло.

Пробежался, взвалился на сани, сильно запылавшись, снова упал на ее ноги, поднял полу кожан.

— Погрела бы ты меня.

— Где? На снегу? Отморозишь последнее, что имеешь. Потерпи до теплой постели. До мягкой постельки...

Шутила, а зубы стучали от гадливости и страха. Нежности и шуточки со смертником! Грех, наверное?

В третий или четвертый раз Друтька бежал за санями, когда ехали по лесу. По обе стороны дороги стояли сосны, под ними сиротливо гнула лещина. У Ольги вдруг мелькнула мысль: стать на колени и швырнуть навстречу полицая, когда он будет догонять, «игрушку» — на, лови, пошутим последний раз. Так просто... Оглянулась. Друтька отстал далеко. Сбросила варежки, вытянула

из-за пазухи гранату — она была теплая, будто в середине ее грел смертельный огонь. Испугал ее этот огонь. А если взорвется и те, что в мешке? Быстренько спрятала гранату. Но упрекнула себя: «Трусиха, чистыми руками хочешь воевать, чтобы грязную работу другие делали!»

За Королищевичами дорога вывела к железнодорожному переезду. Нужно было пересечь железку. Переезд не охранялся, плагбаумов не было, но проходил он возле самой будки путевого обходчика, вдоль забора и глухой стены стандартного красного здания. Снег на насыпи сошел, на железной дороге раньше, чем везде, чувствовался приход весны. От притянутого полозьями песка растаял снег и на склоне въезда на путь.

Друтька, заботливый хозяин, соскочил с саней, чтобы облегчить коню въезд на насыпь. Ольга тоже пожалела коня, удивилась себе: такая непоседа, юла, она за столько часов ни разу не слезла с саней, действительно как та баба из басни, уже и ноги онемели. Да и конь остановился перед песчаной дорогой, давая понять, что ему действительно тяжело, давно взмок, ключья пены падали из-под сбруи.

Ольга выбралась из саней. На путях остановилась, посмотрела на блестящие рельсы, которые убегали в неизвестную даль. Как каждого человека, мало ездившего, ее привлекала эта даль, с детства казалось: там, где кончаются рельсы, начинается новая страна, где люди живут совсем иной жизнью.

Друтька выпустил вожжи и подождал ее за переездом.

— Далеко еще до твоего дядьки?

— Нет, недалеко. Вот проедем Михановичи, потом Бордиловку, а затем повернем на Пережир.

— Ничего себе недалеко!

— Не ты же сани тянешь. Конь. А вожжами я больше крутила, чем ты. И нисколько не устала. Хочешь, станцию?

— Ты бы иначе повеселила.

— Дорогой платы ты захотел.

— Я? Платы? От тебя? Наоборот. Я тебя хочу озолотить. Я же, как видишь, хочу по-хорошему. Сватаюсь по всем законам.

В путевой будке хлопнули двери, и высокий молодой голос командовал:

— Эй, вы, стойте!

Они повернулись. К ним шли двое: один в форме немецкого солдата, без оружия, другой, высокий и худой, в круглых очках, в цивильном — в длинном черном пальто, в серой каракулевой шапке-столбуне, делавшей его еще выше; очкарик этот на две головы возвышался над солдатом.

Друтька ступил им навстречу. Но длинный зло крикнул:

— Коня останови, раззява!

Ольга не испугалась, но послушно первая бросилась догонять коня.

Конь прошел от железной дороги шагов сто. Она боялась кри-

чать «тпру», чтобы конь не побежал — такое иногда случается. Но этот ученый, услышал, что за ним бегут, и остановился сам.

Ольга стояла у саней и смотрела, как они подходят, охранники и ее спутник.

Друтька снизу вверх заглядывал под очки и что-то горячо доказывал. Достал свои бумаги, протянул немцу, но тот передал их переводчику. Слышно было, как длинный своим тоненьким, будто девичьим, голоском бойко лопотал по-немецки — переводил.

Они приблизились. У переводчика не только голос, но и лицо было девичье или детское. Несмотря на такой неестественный рост, это был еще мальчик, лет, наверное, семнадцати. Но у него нехорошо, очень зло, кривились губы и пальцы сжимались в кулаки, будто он с трудом сдерживал себя, чтобы не ткнуть Друтьке кулаком в лицо.

Друтька возмущился:

— Своим не верите? Таким документам! Ты посмотри, кем подписано мое удостоверение!

— Если ты полицейский, то знаешь, что документы у бандитов всегда в порядке, — уже более примирительно сказал юнец и услужливо перевел немцу свои слова.

Тот одобрил:

— О, яволь.

Ольга подумала: «Где это ты, поганец, так по-немецки выучился? Вытянулся, будто черт за уши тянул! Каланча! Может, помочь Федору?»

Нет, не хотелось ей почему-то ни просить, ни доказывать ничего, ни тем более улыбаться или шутить — пускать в действие свои чары. Она то ли не чувствовала еще опасности, то ли верила, что ее можно избежать.

Немец, пройдя к коню, почему-то внимательно осмотрел хомут, потрогал подхомутик. Переводчик поднял мешок с сеном, на котором они сидели, и как-то брезгливо-пренебрежительно выбросил его из саней, отчего Друтька даже побелел. Но Ольгу это мало тронуло.

Немец обошел вокруг коня и направился к ней. Она отступила шага три с дороги в снег, подумав: не хочет ли он обыскивать ее? Нет, немец показал пальцами на мешки и швейную машинку.

— Что в мешках? — спросил очкарик.

— Я же тебе сказал, что в мешках. Барахло. Едем к своим, чтобы пожениться. — Друтька попробовал улыбнуться. — Нужны же подарки.

— Развяжи.

— Так тебе хочется потрясти мои мешки? Эх, ты! Антиллигентный парень! Своему не веришь.

Переводчик покраснел, и губы его скривились уже не зло, а как-то обиженно.

— Он ножом сейчас попорет твои мешки. Тогда узнаешь... Не лмайся.

Немец удивился, что последних слов переводчик не перевел, и терпеливо ждал, а тот начал что-то говорить, но Ольга поняла: не то переводит.

Друтька решительно вскочил на сани, будто намеревался говорить речь.

— Какой развязывать?

— Любой.

«Если он начнет развязывать мой мешок, я брошу гранату», — подумала Ольга без страха, так спокойно, что удивилась сама, только одно немного обеспокоило: «Куда ее лучше бросить?»

Решила — в сани, под ноги Друтьке. Для размаха еще отступила. О том, куда спрятаться самой, не думала.

Друтька схватил свой мешок, зубами быстро развязал узел на веревке, потому что пальцы не гнулись — то ли от холода, то ли от волнения. Перевернул мешок и зло вытряс все, что было в нем, на сани.

На миг Ольга даже забыла о гранате, ошеломленная. Из мешка высыпались детские штанишки, рубашечки, кофточки, чулочки, туфельки, много туфелек, пар, может, двадцать, самых разных — белых, красных, черных, со стоптанными каблучками, облупленными носочками...

— Ну вот, видишь, что тут? Жидовские лохмотья. Эршисен юдэ. Пух-пух юдэ, — объяснял Друтька сам немцу. — Юденятам на том свете они не нужны.

Ольгу будто ожгло страшным огнем: «Ах ты, гад! Что же это ты творил, собака! Какая же кара тебе нужна за это!»

Парень перевел слова Друтьки, и немец засмеялся. Он, с кем она только что сидела рядом в сани, тоже оскалил зубы. И глиста эта, кобра очкастая, сопляк, захихикал льстиво, гаденько.

«Над чем они смеются? Над смертью детей? Они смеются над смертью детей?»

Не было уже силы, которая остановила бы ее. Не оставалось времени на рассуждения, что будет с ней. Куда спрятать голову, как учил Захар Петрович.

Она выхватила гранату из-за пазухи. Подняла над головой. Хрипло крикнула:

— А ну, гады!

Тогда они обратили на нее внимание.

Первым увидел гранату немец и сразу упал за сани. Побелевший очкарик закрыл лицо ладонями, будто главная его забота — прикрыть свои большие глаза. А Друтька застыл на сани с раскрытым ртом, с растопыренными руками, смотрел на нее, силился улыбнуться, — может, не сразу сообразил, что над ним нависла смерть, может, думал, что женщина шутит.

Ольга не швырнула гранату ему под ноги. Сорвав кольцо, она наклонилась и как бы закатала гранату под сани.

Увидела, как подбросило в воздух сани и как еще выше, будто циркач на сетке, подскочил Друтька. А конь рванул с места. Оль-

га даже успела подумать: хорошо, что коня не зацепило, на коне она быстрее удерет отсюда.

В лицо ей ударил не огонь, не горячий воздух, а ледяные брызги, снежный вихрь. От удара в грудь чем-то твердым и тяжелым она упала в снег и, наверное, на короткое время потеряла сознание. Пришла в себя — услышала шум, будто гудел в грозу бор или шел поезд. И еще услышала далекое ржание. Подняла голову и увидела, что совсем близко от нее, голова к голове, неподвижно лежат Друтька и длинный переводчик. И Ольга почти успокоенно подумала, что все хорошо, она сама исполнила приговор, она покарала их... Не нужно будет просить Сивца. Теперь ни Командир, ни Захар Петрович не упрекнут ее... Все хорошо... Только нужно догнать коня... Где он там ржет?.. Едва повернула голову. Конь без саней, но с оглоблями, окутанный огненно-красным паром, судорожно бился в снегу сбоку от дороги. Снег вокруг него дымился. Или это красный туман в ее глазах? Не кровь ли заливает глаза? Она провела рукой по лицу. Крови не было. И это очень порадовало — лицо ей не посекло. И она все видит — столбы, ельник вдоль насыпи, небо... Все обычное. Почему же такой туман над конем? Коня стало жаль. Как жалобно он ржет...

— Я помогу тебе, коник. Я помогу...

Она собрала последние силы и попробовала встать. Но тогда не только пар над конем — серое, облачное небо сделалось кроваво-красным и вдруг обрушилось — все огромное небо — на нее одну...



БРАЧНАЯ НОЧЬ

ПОВЕСТЬ

Авторизованный перевод
с белорусского М. ГОРБАЧЕВА



Был полдень. Нестерпимо палило июньское солнце. Из лагеря мы вышли на рассвете и за все время пути сделать привал позволили себе только один раз, чтоб перекусить, съесть хлеб с зеленым луком, который накануне похода хлопцы принесли из Рудни — «пропололи» чью-то грядку, запити еду ключевой водой.

Я могла идти знакомой дорогой, по которой в течение года, с тех пор как меня поставили на связь с Гомелем, ходила много раз, особенно зимой, когда не очень-то свернешь в сторону. Смело шла через деревни, даже через те, где стояли полицейские гарнизоны. Повсюду у меня появились знакомые, к ним я заходила отдохнуть, попить воды. Иногда мне давали краюху хлеба или холодную картошку, я с благодарностью брала — принимать подающие во время оккупации было обычным явлением. Женщины иногда плакали, глядя на меня: «Дитятко ты мое несчастное! Как же это ты одна ходишь?» Но случалось и раньше, что какое-то особое чутье подсказывало мне: лучше обойти все деревни, лучше ни с кем не встречаться, ни с хорошими людьми, даже с партизанами из других отрядов, ни с плохими — с немцами или полицией — вплоть до контрольных постов у входа в город. Там, на постах, все проще, туда ты приходишь с готовой легендой и с документами, в подлинности которых сведущие контролеры не усомнятся. А вот какой-нибудь малограмотный деревенский полицейский может усомниться и задержит — просто так, чтобы показать начальству свою бдительность или продемонстрировать перед тобой свою власть.

Только вначале, когда задание мне давал еще командир разведки Володя Артук, он показывал на карте маршрут, по которому я должна пройти. Да еще Федор, командир диверсионного отряда, любил, чтобы все было по-военному, основательно и солидно. Комбриг никогда не говорил о моем маршруте. Иди как хочешь. Правда, с весны почти вся теперь довольно широкая связь с Гомелем шла через отряд Федора, который базировался недалеко от самого города. Туда, в отряд, шли мы и теперь. Но еще вчера вечером, получив задание, я захотела провести Машу к Федору так, чтоб нас не увидел ни один человек. Не знаю, почему возникло такое почти нереальное решение.

Мы шли тропками, которые знала я одна, через леса, полем и по лугу. Здесь разве случайно могли пройти люди — по грибы или за ягодами. Чаще вообще и тропки никакой не было, так как все заросло густой травой. Она с утра была росистая и мягкая, а теперь, среди дня, жесткая и колючая, опутывала ноги и резала их. Конечно же деревни мы все обошли. Они были только ориентирами, чтоб не зайти далеко в сторону, не петлять. Да еще солнце указывало дорогу. Хотя, пожалуй, и без него, в густом тумане, я сумела бы пройти тут не блуждая — были у меня свои ориентиры и необыкновенное, собачье, как шутил Володя, чутье.

Там, под Гомелем, мы выйдем на посты. В городе на нас будут глядеть десятки и сотни людей... И ничто меня не испугает, не смутит, не выдаст. А тут, в этом глухом углу междуречья, я не хотела... я боялась, чтоб нас кто-то встретил. Чтобы Машу эту встретил. Даже свой партизан. Очень уж она бросается в глаза. Красивая. Со вчерашнего вечера я много раз со злостью думала: какой дурак послал такую разведчицу?

Разговаривать с ней не хотелось, и мы шли молча. Я — впереди, она — за мной. Три дня мы жили в одной землянке, и тогда, радостно возбужденная, я стрекотала, как сорока, а она молчала, только пела то грустные, то веселые песни. Теперь мое молчание конечно же удивляло и смущало ее. Еще в лесу за Рудней она спросила нарочито громко:

— Неужели у вас тут и деревья имеют уши?

Я не сразу поняла, о чем она говорит, оглянулась. Маша попросила искренне и доверчиво:

— Не молчи, пожалуйста, расскажи что-нибудь. Не люблю, когда люди молчат.

Мне сделалось немного жаль ее. Если она впервые тут у нас и впервые идет на задание, то я хорошо представляла, что она чувствует, что происходит у нее на душе. Я шла в который раз, да и задание мое, наверно, проще, и, однако, если бы я сказала, что ничего не боялась, не верьте. Неправда это, что некоторые ничего не боялись. К смерти привыкнуть нельзя. Просто опыт и уверенность помогают легче превозмочь страх. Больше думаешь о деле, а не об опасности.

Но жалость моя была короткой, на один миг появилось это чувство. Тут же я так разошлась, что даже самой после нехорошо стало. Хотела злорадно спросить: «Какая ж ты разведчица, если не можешь молчать?» Но прикусила язык. Ведь об этом нельзя говорить даже и в лесу, где деревья тоже могут иметь уши. Да и вообще о профессии и заданиях людей, которых проводила в город, я не имела права говорить — об этом мне сказали не только Артюк, Павел Адамович, комбриг, но и майор, который прилетал с Большой земли и целую неделю учил нас, партизанских разведчиков и связных. Может, ты все знаешь, обо всем тебе рассказали, но делай вид, что ничего не знаешь. Так будет проще в случае

чего, а неожиданность нас могла настичь в любом месте и в любой момент.

Луг, что тянется на несколько километров, я намеревалась пройти по заросшей кустами осушительной канаве. Не очень-то спрячешься, если где-нибудь встретятся косцы. Кто на нас тут обратит внимание? Сенокос. Идут бабы ворошить или сгребать сено. Хорошо было бы подобрать где-нибудь грабли, вскинуть на плечо... Но вышли мы из дубняка на луг, и я тут же отступила назад, в лес. На лугу, как на базаре, полно народу. Мужики, бабы, дети. Распряженные телеги. Человек десять шли в нашу сторону с косами на плечах. С кос сбегали солнечные зайчики. Удивило меня такое сборище. Выехали на сенокос, как до войны в колхозе. Почему? Маша тоже удивилась:

— Что это?

Святая наивность! Не видит разве что?

— Сено косят.

— Как косят сено? — еще более удивилась она.

Кажется, я ничего не ответила, потому что она вдруг сурово осудила всех этих людей:

— Мы воюем, а они... сено косят.

Я разозлилась. Вояка! Сразу видно, горожаночка, белоручка. Наверно, думала, что тут, на захваченной врагом земле, замерла всякая жизнь. Посылают же таких! С такими взглядами можно засыпаться при встрече с первым полицаем.

— Людям надо жить. Кормить детей.

— И немцев?

Хотелось плюнуть ей в глаза. Свалилась с неба и обвиняет всех людей вообще. Но не просвещать же мне ее — одумается сама, жизнь научит.

Для себя объяснила сборище людей на лугу так: луга делят по жеребьевке, потому и привалило все село, стар и мал. Но... была права и она, Маша, если подойти к ее словам по-другому. Могли косить и для оккупантов. По их приказу. Для поставок армии. В таком случае людей пригнали насильно, и на лугу, безусловно, полно полицаев. А эти собаки не пропустят незнакомого человека. И документы наши не спасут. То, что издадека, из-за Лоева, мы идем не по большаку, а глухими тропками, несомненно, вызовет подозрение у любого фашистского прислужника.

Обходя луг, мы попали в болото. Болото это я знала, ходила по нему прошлым летом, во время блокады. Ну и далось же оно нам тогда! Но оно же спасало и от карателей. Тогда мы забирались в самые дебри. А теперь пробирались краем. Лето было сухое, и я удивилась, что даже тут можно залезть в такую трясиину. Выходит, болота разные, у них свои законы, не над всеми топями сушь имеет власть, не то что над речками и реками. Да и рано им пересыхать. Июнь. Это в августе иногда высыхают и болота, горят торфяники. А в первый летний месяц все переpleтено травой и цветами.

От самого лагеря я шла босая, хотя в узелке были ботинки — по городу босой не пойдешь. Ботинки мне выдали, без них не выпустили бы, но я знала, как нелегко добывать партизанам обувь, и жалела ботинки больше, чем собственные ноги. Эта же барыня, так я мысленно называла Машу, не думала о наших трудностях, шла даже утром, по росе, обутой — щадила свои ноги. Мне все время хотелось сказать, чтоб она разулась. Но подумала, что, может, там, в городе, нужна как раз такая разведчица, с выхоленными руками и ногами, — и смолчала.

В болоте она вынуждена была разуться. Когда мы залезли в торфяную топь, Маша подняла юбку, как говорится, до самого пупа и я увидела, как запачкала она свои ноги, мне хотелось злобно засмеяться.

«Знай, как мы живем; как воюем. Это тебе не по тротуарчикам ходить».

Однако было не до смеха. Напарница моя отставала. Ходить по болоту, прыгать с кочки на кочку, как я, она не умела. Кому другому я простила бы это — всему не научишь. А на нее злилась. Тащимся, как на похоронах. Одна я давно была бы в отряде Федора, и даже в Гомель сегодня можно бы дойти. О, без нее я и в отряд не заходила бы, лишь бы только быстрее очутиться в городе!

Подождала Машу и язвительно упрекнула:

— Не тащись, как черепаха. Не бойся запачкать свои толстые ляжки.

— А на кой черт мы лезем в трясину? У нас же есть документы! Можем идти как люди.

Правда, никто не приказывал мне вести ее именно этим путем, чтоб ни одна душа нас не видела. Да и невозможно это. Но такой была моя придумка, и теперь она как зарок, клятва, отступить от нее я не могла не только из-за упрямства или по прихоти, но и из-за того, что нельзя было нарушить тактический план: раз мы залезли в такую глухомань, то должны скрываться и дальше — это уже наш закон.

Маша не унималась:

— А еще говорили, что вас поддерживает весь народ...

Снова она задела народ. Но я все еще не могла понять, действительно ли она так думает о наших людях или просто поддразнивает меня.

Ответила я вполне серьезно:

— Посмотрим, как ты одна будешь воевать, без народа!

Она криво усмехнулась:

— Скажи пожалуйста, какая ты правильная! Как наш замполит!

Не в пример другим нашим партизанкам, я ругалась редко — стыдилась, — а тут не выдержала, матюкнулась.

— Все вы умные, пока жареный петух не клюнет...

И сама испугалась: ссориться я не имела права. Что сказал бы Павел Адамович, если бы услышал? Хорошо, что Маша не обиде-

лась. Засмеялась. Приблизилась и доброжелательно спросила, оглянувшись на ближние кусты:

— Признайся, Валя, ты хочешь меня испытать? К чему это? Я буду работать в городе, не в болоте. С людьми. А не с лягушками и не с аистами. А с людьми я умею...

Выбравшись наконец из болота на твердую почву, мы снова наскочили на косцов. Но было их только трое — двое мужчин и женщина. От них я не стала прятаться. Как раз попалась дорожка, по которой недавно проехали на телегах, вмяли траву. Я открыто пошла по этой дорожке, удивив Машу. По глазам увидела, что она даже испугалась такой моей решительности. Прошли шагах в ста от косцов. Те остановились, подняв косы будто для того, чтобы их поточить, и, закрыв от солнца лица ладонями, смотрели на нас. С любопытством смотрели. Я хорошо знала этот особый интерес деревенских жителей к каждому незнакомцу. Война, как ветер листья, посрывала с родных мест тысячи, миллионы людей. Убегали от нашествия, возвращались домой, ходили, чтоб выменять что-нибудь на продукты... Правда, в третье военное лето ходили меньше. Боясь партизан, гитлеровцы ввели строгие законы. Но все равно ходили — голод не тетка. И по-прежнему к каждому чужаку местные люди приглядывались с интересом, а порой настороженно, с подозрением. Чем дальше от больших дорог, тем эта настороженность возрастала. Вот почему мне не хотелось показываться людям до города с этой красавицей: сразу видно, что нездешняя, несмотря на явно деревенскую одежду — старую сатиновую юбку, вылинявшую, в горошек, блузку, платок, повязанный «хаткой».

Маша снова упрекнула наших людей, но не так уж обидно — сказала про косцов-мужчин:

— Молодые. Могли б воевать.

Конечно могли б. Я не стала ей объяснять, что они тоже, возможно, воюют. Иногда партизаны приходят домой помочь женам накосить сена. Теперь многие наши так делают.

Отступление от своего замысла — обходить всех встречных — не прошло для меня даром. Люди как дети, даже разведчики, им ни в чем нельзя давать послабления. Полдня эта гонористая красавица безропотно подчинялась мне, я вела ее, она шла за мной. А тут вдруг взбунтовалась.

Растут на наших лугах, на пригорках, одинокие дубы, стоят, как сторожевые, не очень высокие, развесистые. Под одним таким дубом лежали валки сена, — видимо, его вытащили из лошины для просушки — позавчера шел дождь. Маша упала на сено в тени кроны дуба.

— Не могу больше. Давай отдохнем. Все тело болит...

Снова меня охватила злость. Как же вас учили, милая моя? Прошла каких-то двадцать пять верст и уже не можешь. А я по шестьдесят за день проходила — из бригады до города, а потом рано утром, проспав пять-шесть часов, шла назад, поэтому и тело

у меня — кости и мышцы, да нервы еще натянуты. А ты свалилась с неба, как мадонна. Уж не думаешь ли, что тебя на руках тут будут носить? Или возить, как принцессу?

Маша подняла длинную крестьянскую юбку, оголила красивые колени. Ноги ее были порезаны осокой, поцарапаны ветками и жесткой травой, кое-где запеклись капли крови. Она осторожно — наверное, было очень больно — провела по порезам пальцами, белыми, пухлыми, с красивыми ногтями, только маникюра на них не хватало. И тяжело вздохнула. Жалко ей стало ног, будто они самое главное, что понадобится ей в работе разведчицы. Мне, связной, нужны не красивые ноги, а сильные. Я знала, что мои не порезаны, хотя первой шла я, прокладывая по осоке тропку. Мои ноги никогда не были так исцарапаны, кожа на них как панцирь, не могла ее разрезать какая-то там молодая осока. Тайком и чуть боязливо я посмотрела на свои ноги, сравнила их с ее ногами. И неожиданно обрадовалась: действительно, без единой царапины, загорелые, обмытые росой, отполированные до коричнево-матового блеска, ступня более широкая, пальцы как бы расплюснены, со старыми мозолями. Захотелось так же поднять юбку и сравнить наши колени, но стало стыдно и противно от такого неуместного, прямо-таки неестественного желания. Никогда за два года войны не возникало желания любоваться собой, своим телом, тем более ногами. Даже тогда, когда в жизнь мою вошел он, Степан.

Подумала, что надо быть суровой и твердой, а то так бог знает до чего можно докатиться. И вдруг меня охватил страх. Кого я веду?

Листья дуба слегка шевелились, наверно, не от ветра, а от жары, от перегретого воздуха, поднимавшегося снизу, от земли, от луговых лощин вверх, в голубое небо, где лениво плыли редкие белые облака. Листья не шуршали, как на каждом дереве при ветре, а тоненько и жалостно дрожали. И так же жалобно и грустно в ветвях дуба перекликались две птицы, словно бы искали одна другую и никак не могли найти.

Перестав разглядывать ноги, Маша легла на спину, посмотрела вверх, прислушалась. Спросила:

— Валя, что это за птички?

Маша удивилась, что я не могу ответить, и мне стало стыдно перед ней: жительница деревни и партизанка, прожив больше года в лесу, я должна знать все: мне и казалось, что я знаю все в нашей лесной жизни, а выходит, не сумела назвать даже таких простых пичужек, голоса которых я с малолетства слышала почти ежедневно.

— Они плачут, — сказала Маша. — Ты послушай только. У них горе. — И, помолчав, вздохнула. — Все плачет. Люди. Птицы. Земля...

У меня от этих слов дрогнуло сердце и на мгновение появилось другое чувство к ней. Так сказать мог человек, переживший тяжелое горе. Неужели у нее горе? Что-то не похоже по виду ее и по

тому, как она вела себя в лагере. Недолго держалось у меня это признание чувство. Ничего с нею не случилось! Просто умеет красиво поговорить.

У старого дуба была не очень густая крона — на долгом веку его не раз ломали ветры и молнии. И под дубом возле нас, рядом с трепетной тенью, сияли, кажется, даже плавил траву и землю солнечные пятна. Маша повернулась и протянула свои оголенные ноги так, чтобы они были под солнцем. Она хотела не только отдохнуть, но и позагорать, подсушить порезы и царапины. И снова в мою грудь холодной волной ударило возмущение против нее. Который раз со вчерашнего вечера. Я боялась его, этого своего возмущения. Никогда у меня не было такого чувства к своим, к товарищам. Я могла на кого-то рассердиться, чаще всего на парней, которые грубо приставали, одному даже заехала по физиономии в прошлом году. Но чтоб вот так... Я же добрая. А тем более должна быть доброй к тем, кого провожала в город или выводила из города и с кем могла в любой момент попасть в лапы врага и погибнуть.

— Пойдем! — строго сказала я Маше.

Она недоуменно посмотрела на меня.

— Самый беспощадный командир дает своим солдатам привал. Силы надо беречь. Ты плохой командир.

Стоило бы сказать, что не лучшее место для отдыха она выбрала — голое место, до ближайших кустов метров триста. Но почему-то не сказала. Подчинилась ее воле. И это еще больше обострило мои мысли. Что же это такое со мной творится? В город я веду ее, и она должна подчиняться мне... Не таких людей водила. Представителей Центрального партизанского штаба. Комиссара бригады. И они доверялись мне — опыту моему, умению, чутью, а оно действительно было у меня, как у хорошего гончака, — опасность чуяла за версту. А сегодня я какая-то... не похожая на себя. Не о том думаю, о чем надо думать в дороге, подчиняюсь ей, этой красотке, которая еще в лагере вела себя не как разведчица. Да и тут тоже! Нет, хватит. Надо подниматься! Надо идти! Так как, чувствую, наберусь с ней беды на постах перед городом, которые не обойдешь. Уж очень бросается она в глаза, эта Маша. Особенно мужчинам.

Я намеревалась решительно скомандовать подъем, но когда взглянула, то с удивлением увидела, что Маша сладко и беззаботно спит. Как ребенок. Выходит, ничто ее не беспокоит, ничто не волнует, не страшит. Она или не понимает, куда и на что идет, или... Сделалось страшно. Одинаково страшно и оттого, что она не понимает опасности и потому может провалиться на первом же посту, и от мысли, что она не та, за кого выдает себя... Поняла нелепость этого подозрения: она же прилетела с Большой земли, может, из самой Москвы, и не одна, была шифровка командованию бригады. Чтобы избавиться от этой дурной мысли, залобовалась ее лицом: во сне оно было еще красивее, белое-белое, в короне золо-

тистых, чуть кудрявых волос, с черными, будто подкрашенными, бровями, хмуро сошедшимися над переносицей, а губы припухлые, как у ребенка, немного будто обиженно надутые и сочные, как малина, несколько не запекшиеся от жары, как у меня. С каким-то страхом и ревностью я подумала, что такие губы хочется поцеловать, что для мужчин... для парней это наипервейшее искушение.

Маша дрыгнула ногой и передернулась от боли — на порезы сели мухи. Сначала инстинктивно я согнала мух и слепней. Но, взглянув на ее колени, на белые ноги выше колен, я почувствовала, что ненавижу их. Впервые я вела человека, которого ненавижу. Пусть по-иному, чем врагов, но все же чувство это иначе никак нельзя было назвать.

...Они прилетели четыре дня назад. Что ночью будет самолет, об этом мы знали еще днем, так как нас, штабников (я считалась во взводе разведки, но, когда не ходила на задание, помогала либо на кухне, либо в госпитале), послали на Ржавое болото, чтобы заготовить хворосту для костров. Летнего аэродрома у нас не было, летний аэродром был далеко на Полесье, где-то возле Доманович. Оттуда иногда связные приводили гостей. Но чаще всего гости спускались к нам с неба. Появление их было праздником в нашей нелегкой, порой однообразной жизни, так как и война в конце концов становится занятием скучным, однообразным.

Ветки мы готовили с радостью, весело. Ржавое болото было почти сухое, заросшее березняком, тем, болотным, что не вырастает большим, и таким же сосняком, но там, где оставалась вода; она действительно была ржавой, грязно-красной, как бы смесчанной с кровью. Хлопцы доказывали яростно: вода, мол, потому такая, что под болотом залежи железной руды. Иногда жарко спорили на этот счет. Но потом в отряд пришел учитель истории Дедков и объяснил, что на болоте действительно может быть руда, но не натуральная — привозная, остатки руды. Привозили ее по Днепру запорожские казаки в дебри белорусских лесов, выжигали древесный уголь и плавил металл. Не зря в междуречье несколько деревень имеют название Рудня. С его объяснением согласились: на болоте возвышалось несколько островов-курганов, заросших ольшаником, и острова эти не песчаные, а из обжига — шлака. Наверно, от обжига и остатков руды за три сотни лет заржавела вода. Легенда, что тут ковали свое оружие вольные казаки, понравилась, мы чувствовали себя наследниками тех далеких мужественных, смелых людей, которые больше жизни любили свободу.

Вечером я сама попросила Володю Артюка взять меня на болото, чтобы встретить гостей с Большой земли.

В полночь зажгли костры; расположены они были так, чтоб выдержать условный сигнал, ибо год назад, в сорок втором, когда партизаны не имели еще оцита и надежной радиосвязи, были случаи, когда немцы и полиция, обнаружив партизанские костры,

раскладывали свои неподалеку и вводили летчиков в заблуждение. В нашей зоне так попала к врагу диверсионная группа; парни вели тяжелый, неравный бой, и из семерых человек только двое вырвались из фашистской ловушки.

Ночь была по-летнему теплая, звездная. Фантастично, как в глубокой древности на боевом стане, горели костры, не очень яркие, дым не поднимался вверх, а стлался по болоту, тянулся длинными космами. Возле костров остались надежные люди, по одному у каждого, чтобы подкидывать ветки, сначала сыроватые — поддерживать огонь, а потом, когда послышится шум моторов, сухие — и они вспыхнут, как порох. Остальные лежали на краю болота, в березняке, готовые к любым неожиданностям. Даже меня Артюк вооружил немецким автоматом. Не было спасения от комаров и мошкар, они просто съедали, лезли в рот, в нос. Та весна и начало лета были очень комариные, в лагере мы страдали от такой напасти.

Но я, кажется, даже мошкар не замечала. Я ждала самолет с нетерпеливым волнением, будто на нем мог прилететь самый родной мне человек. Рядом со мной лежал Володя Артюк, беспрерывно курил вонючий табак, чтоб спастись от комаров, пускал дым на меня, отчего я кашляла. Володя был большой бабник, ни одну девушку не пропускал, чтоб не задеть, не потискать. Но за мной никогда не ухаживал. Меня это раньше даже смущало: неужели я хуже всех? А тут Володя почему-то протянул руку, нашел мою, сжал ее и удивленно спросил:

— Чего дрожжишь? Холодно? Я дам тебе свой френч.

Френч на нем был особенный, такие носили офицеры царской армии, но нас удивляло, что френч совсем новенький; в отряде ломали головы: где Володя мог раздобыть эту одежду? Немецкий мундир, даже генеральский, никого не удивил бы, но такой... Кто-то припомнил, что в Речице живет вдова царского полковника. Парни хохотали: «Володя, не к полковничихе ли ты клинья подбил?» Артюк тайно усмехнулся.

Самолет прилетел точно, где-то около часа ночи, как и ожидали его, подсчитав, сколько времени займет полет от линии фронта, которую надо перелететь, когда стемнеет.

Я ничего еще не услышала, а Володя уже вскочил на ноги. Дал команду партизану у ближнего костра, и через минуту огонь шуганул в небо, рассыпая веселые искры. Над другим костром, дальше от нас, пламя росло не вверх, а в стороны, и искры почему-то разлетались вбок и не так стремительно и по цвету были другими, какими-то синими, — наверное, из-за дыма, стлавшегося над болотом. Но не было времени любоваться кострами. Самолет гудел уже над нами. Коротко моргнул зеленым глазом, что означало: «Ваши сигналы принял. Парашютистов сбросил».

Мы побежали по болоту к тому месту, где, по нашим расчетам, должны приземлиться гости.

Я увидела его, парашют, в небе: на миг он закрыл Венеру,

сиявшую над черной стеной леса. Может, потому я выбежала точно и чуть не столкнулась с человеком, который складывал свой парашют. У меня под ногами зачавкала трясина.

Парашютист упал в траву, и я услышала испуганный, хриплый женский голос:

— Стой! Стреляю!

Я засмеялась от радости, что встретила первая парашютистку, что посланец девушка, и в полный голос выкрикнула пароль:

— «Суздаль».

Она ответила не сразу:

— «Ашхабад».

Но я и не ждала ответа. Она не успела подняться, а я уже была возле нее. Мы обнялись, как сестры. Я целовала ее, как влюбленная, — в губы, в глаза, в лоб, горячо вдыхая совсем не наши лесные, партизанские запахи. От нее пахло по-мирному, по-женски — хорошим мылом, какой-то другой парфюмерией, новыми ремнями, свежей одеждой, из которой не выветрился еще своеобразный складской дух, и еще чем-то, что осталось в моей памяти с довоенного времени.

— Мое имя Маша, — первой представилась она, высвободившись из моих объятий и пряча в глубокий карман комбинезона пистолет.

— А я Валя.

И мы по-девичьи радостно засмеялись, удивив Володю Артюка, который подбежал к нам. Он оглядел во мраке ночи гостью и, пожимая ей руку, весело свистнул:

— Вон каких ангелов нам бог посылает!

Их прилетело трое — две девушки и парень. Другая девушка, Нюра, в отличие от Маши, была маленькая, худенькая, незаметная, такая же, как я. Спустилась она с рацией. Парня я так и не видела, так как он не подошел к костру и из лагеря исчез в ту же ночь, очевидно на рассвете, когда мы еще спали. Никому даже имени своего не сказал. Клавдия, кухарка, которая знала все на свете и вообще баба с длинным языком, за что ей не раз доставалось от командира, по большому секрету сказала мне, что ради-ста разведчики переправили в Чернигов.

Машу я увела в свою землянку, так как в шалашах было полно комаров, а она боялась их, отмахивалась руками. Меня смешила ее непрактичность, приятно было опекать ее, как маленькую.

Совсем другой была Нюра — молчаливая, ловкая, умелая, сразу видно, что не впервой у нее такая командировка к партизанам.

Нюра ночевала в штабной землянке. Клавдия говорила, что на рассвете она выходила на связь — проверяла рацию или получала задание.

Посланцев с важным заданием, особенно разведчиков для города, держали в отряде так, чтоб как можно меньше людей с ними соприкасалось: военное время, не забывали, что и к партизанам

может пробраться шпион. Так скрывали Нюру, хотя прожила она у нас одни сутки и исчезла, как и радист, ночью. А Маша осталась. Днем ходила по лагерю и с детским любопытством разглядывала все и всех: землянки, шалаши, мастерскую, мины, кухню, госпиталь, партизан; женщин рассматривала более пристально, чем парней. Но все равно парни ходили за ней следом. Красивая. Необыкновенная. Полная, белая. В новеньком комбинезоне. Не то что мы, прокуренные, просмоленные, обтрепанные, с потрескавшимися руками и ногами, облупленными носами и худущие — одни мысли торчали.

Кто-то, а я, разведчица и связная, знала нерушимый закон: у того, кто прилетел с Большой земли, не спрашивать, кто он, откуда и чем будет заниматься тут, у нас, в лесу. Кому можно, тот скажет сам. Когда прилетел представитель от ЦК комсомола, то сразу собрал молодежь и сказал, откуда он и с какой целью сгинул к нам с неба.

С Машей я спала на одних нарах. С нетерпением, которое было, наверно, у каждого партизана, расспрашивала, как там, за линией фронта. Она рассказывала, но больше не о радостях, а о трудностях. В метро потеряла сознание женщина, голодная.

— Ты из Москвы? — не выдержала я.

Маша как бы смутилась на миг и ответила неопределенно:

— Я была в Москве.

В первое же утро, когда мы завтракали и Маша, покопавшись в карманах, достала авторучку, пришла к заключению, что она журналистка, и еще больше восхитилась ею. Такая красивая, молодая и не побоялась прилететь. Наверное, из «Комсомольской правды».

Но когда Маша не захотела сказать, откуда она, убеждение мое пошатнулось, однако загадочность ее миссии еще больше притягивала меня к ней. Только я стала более сдержанной и настороженной, о своей главной работе — о связи с Гомельским подпольем, с военными разведчиками — тоже ни слова не сказала. Что делаю тут? Да так, иду туда, куда пошлют, делаю то, что прикажут, а больше при кухне да госпитале отираюсь.

Вечером Маша удивила не одну меня. У доктора нашего Халпона Шулмана была гитара, правда, играл он редко, может, потому, что не очень умел, а может, и потому, что в отряде был баянист Костя Репейник, большой мастер, баян в его руках пел, как целый ансамбль, на все лады, казалось, захоти Костя — и баян заговорит человеческим голосом.

Увидела Маша гитару, и глаза у нее загорелись. Попросила разрешить ей поиграть. А кто мог такой девушке отказать, да еще госте?

Было предвечерье, когда в лагере пусто и тихо: кто еще не вернулся с дневного похода, кто отдыхал или готовил оружие перед ночным заданием. Только возле кухни сновали люди — готовили ужин. Там, в лесной нашей столовке, Маша и прилежалась.

И я рядом перебирала щавель. Я в тот день не отставала от нее, как верный ординарец от генерала.

Тишина. Только птицы заливаются, комары гудят. Сквозь кроны деревьев пробиваются солнечные лучи. Стволы сосен сияют золотом.

И вдруг звон гитары, и глухой, но красивый, какой-то теплый, задушевный голос запел русскую песню, старую, никто из нас ее не знал. Мне запомнились слова:

Не скликай уныло, птичка, бедных пташек,
Не скликай ты родных деток понапрасну,—
Злой стрелок убил малютку для забавы,
И гнездо твоё развёяно под дубом.

Жалостливая песня. За сердце хватала. Естественно, что Машу сразу же окружили слушатели. Первые — Клавдия со своими девчатами, они даже кухню оставили. Потом раненные из госпитальной землянки повылезали. Начальник штаба Москаленко пришел. Оружейники из мастерской... Как-то незаметно чуть ли не весь отряд собрался. Откуда только взялись! Если порой надо было кого найти — мне это часто поручали, когда я оставалась при штабе, — так обежишь чуть ли не всю пущу, пока найдешь кого надо. А тут песня всех собрала. Песня или певичка? Стояли перед ней как завороженные, ни одной шутки, ни одного слова, хотя обычно парни точили языки по любому поводу. Только в строю замолкали да если хоронили кого. Одни бабы всхлипывали, у которых мужья погибли или были на фронте. Помню, она и такое пела:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь, безвестные, льетесь, незримые,
Непостижимые, неисчислимы...

Тогда мне казалось, что я в конце концов открыла тайну, кто же она такая, эта Маша. Артистка. От этого стало как-то по-новому, как, может, никогда прежде, хорошо, радостно на душе. Если к нам сюда, в лес, начали присылать вот таких артисток, то, наверное, хорошо идут дела на фронтах и вообще на Большой земле. Раньше было не до артистов и нашим там, и нам тут. Что бы мы сказали, если бы прошлым летом, в блокаду, вместо группы автоматчиков нам сбросили артистов? А теперь радостно. Но вместе с тем мысль, что я сплю на одних нарах с известной артисткой, может, даже заслуженной, как-то отдалила меня от нее; стало неловко перед ней за свое панибратство, за то, что говорила ей, — наивная девичья болтовня, — и за свое невежество: ни одной песни из тех, которые пела Маша, я не только не знала, но и не слышала. А что я знала, окончив семилетку и проучившись всего один год в техникуме? Партизанская жизнь, дороги да стежки до Гомеля, ухищрения, как обмануть немцев и полицаяв, — вот

что я хорошо усвоила за два года войны. И еще стрелять научилась. И ненавидеть. Убить могла фашиста и предателя и не мучилась бы, что убила человека, так как фашист не человек, а предатель — еще хуже.

Маша до позднего вечера пела. И до позднего вечера ее слушали. У поваров даже каша пригорела.

Потом в прохладной землянке, где в летнее время пахло погребом, я спросила у нее как-то по-глупому, неумно:

— Как... ваша фамилия?

Очень уж неуместно получилось, что я вдруг без всякой причины перешла на «вы». Естественно, что она удивилась:

— «Ваша»? Петрова. А зачем тебе?

Действительно, зачем? Глупая я, а еще опытная разведчица. Разве сразу не могла понять, что все у нее придуманное — имя, фамилия и все другое, даже песни эти специально, видно, в разведшколе выучила. Но почему тогда так долго ее держат у нас? И куда могут послать такую?

...Утром вернулся со своими «мушкетерами», как он называл разведчиков, из ночного рейда за Днепр Володя Артук. Любил туда забираться — в богатый полевой район, где были сильные полицейские гарнизоны. Любил погонять «бобиков». Там Володю знали — до самой Речицы и до Хойников ходили легенды о его смелости и неуловимости. Полицаи дрожали. Немецкий комендант объявил за Володину голову награду — тысячу марок. Володя смеялся: «Скупердяи немецкие, за такую голову — такие гроши!»

Из рейда возвращались не с пустыми руками — пополнили запасы.

Удачу почти всегда отмечали. Даже комиссар бригады Павел Адамович, очень строгий ко всяким «анархическим выбрыкиваниям», как он говорил, на гулянку разведчиков смотрел сквозь пальцы.

Володе кто-то сказал, что новенькая хорошо поет, и он пришел, попросил ее пообедать с ними.

Разведчики собрались поодаль от лагеря — на опушке, на высоком песчаном пригорке, где гулял ветер и почти не было комаров. Но не от комаров они прятались — подальше от командирских глаз. Обычно все делали вид, что никто не знает, где разведчики отдыхают после рейда. И редко кто к ним навязывался, прилипал. Только Клавдия тайком носила что-нибудь повкуснее из того, что разведчики принесли из-за Днепра и зажали — не сдали начпроду деду Прокопу, совхозному бухгалтеру, который даже командирам лишнего грамма никогда не отвешивал, не выдавал, каждая кручинка у него была на учете. Комбриг иногда злился на Прокопа за такую бережливость. И ругал старика: скупой, как кулак. А комиссар смеялся: «Золотой начпрод, запасливый, с ним никогда не обьедемся, зато и голодать не будем».

А вчера разведчики выдали себя. Маша выдала их. Запела в

сосняке, и туда потянулись другие партизаны, даже раненые приковыляли. Пришлось парням прятать свой первач.

Маша пела лучше, чем накануне, — песни веселые, о любви.

Я люблю его
Жарче дня и огня,
Как другие любить
Не смогли б никогда!

Подвыпивший Володя Артюк становился на колени и целовал ей руки.

Любую нашу женщину устыдило бы такое барское проявление восхищения или благодарности — не знаю чего. А Машу это нисколько не смущало, будто ей каждый день целовали руки. Но больше всего меня удивило, что из партизан никто не смеялся; потом, правда, отойдя, некоторые беззлбно высмеивали Артюка и Машу. Мне тоже не понравился ее второй концерт. Пение среди дня перед охмелевшими разведчиками, Володино кривляние и вообще эта неуместная праздничность конечно же принижали наше партизанское достоинство, превращали тяжелую, мучительную, опасную жизнь в легкую забаву. Не хотелось мне, чтобы эта загадочная певица подумала, что нам легко живется. Люди должны воевать, а они, выходит, баклуши бьют. Если кому нечего делать, пускай бы сходил в деревню, бабам сено помог косить, чьи мужья в Красной Армии.

В лагере я услышала, как командир штабного отряда Степук, пожилой, понурый и молчаливый человек, у которого и кличка была Дядька, с упреком сказал комиссару бригады:

— Разложит ваща канарейка мне отряд.

Павел Адамович возразил:

— Чем это она разложит? Песнями?

— Да ты послушай, что она поет, — одни романсы. Да какие! «И жизнь... такая пустая и глупая штука...» Подымет этим боевой дух? Ни одной песни советской, военной...

— Романсы, Корней Евстафьевич, писали классики — Глинка, Чайковский. А про жизнь, что пустая и глупая, Лермонтов сочинил. Но она поет больше народные песни, русские, Душевные песни, я вчера слышал...

Степук, чувствовалось, не согласился, однако спорить не стал — не любил человек лишних слов. Но, наверное, что-то подобное он сказал комбригу, когда тот вернулся из соседнего отряда, изнуренный жарой, долгой верховой ездой и потому злой. Петр Тимофеевич был человеком настроения: иногда сам любил гулянуть по-казацки и Артюку за его смелость прощал заливания, а другой раз партизану, от которого чуть пахло самогонкой, угрожал расстрелом или выставлял перед строем и давал такой нагоний, не выбирая слов, не стесняясь партизанок, что виноватый потом долго, даже для согрева в морозные дни, боялся принять поганое зелье.

Такой же, говорили (сама я не слышала), разнос учинил командир бригады и своему любимцу Артюку. Рикошетом попало и «канарейке». Одним словом, разогнал концерт с большим шумом. Партизаны весь день смеялись, особенно потешалась Клавдия, рассказывая подробности со своими добавлениями. Очень ей понравилось, «как испугалась пташечка, как вспорхнула, даже гитару забыла»...

Маша действительно пришла красная и до вечера в одиночестве пролежала в землянке. А с Володи как с гуся вода. Ходил по лагерю по-прежнему веселый, скалил зубы, тискал девчат, раза три заглянул в нашу землянку, к Маше.

Утром, давая хлеб и лук, Клавдия с недобрый бабьим злорадством, а может, и с завистью сказала мне:

— А эта... твоя всю ночь с Володей папоротник мяла.

Всю ночь... Неправду Клавдия сказала. Всю ночь я не могла уснуть и слышала, как Маша выходила из землянки. Ненадолго выходила, может, на полчаса, не больше, — в землянке было сыро и душно...

Теперь, глядя, как Маша спит, сладко, по-детски, даже не слышит, как кусают оводы, я начинала верить, что Клавдия сказала правду. Смотрела на ее бесстыже оголенные ноги и кроме ненависти почувствовала брезгливое пренебрежение. Красота ее как-то сразу поблекла в моих глазах... Что от ее красоты, если она вот такая! Но вместе с тем и себя почувствовала оскорбленной и униженной. Она вот спит — и хоть бы что, хоть трава не расти, а я не имею права спать, хотя действительно не спала всю ночь, под утро, может, на час какой провалилась в тревожный сон. Я должна беречь ее. Беречь... Павел Адамович сказал доверительно и прямо: «Знаешь, Валя, мы вначале не знали, куда ее намереваются забросить. И не очень, ты знаешь, прятали. Концерты эти... И вообще девушка она приметная, каждому в глаза бросается. Так ты гляди!.. Осторожность номер один. Да тебя и не надо учить...»

Я не имею права уснуть. Да и не могу... Как я могу уснуть?

Вчера вечером они позвали меня. Все трое — командир, комиссар, начальник штаба. Тарас — комбриг сам сказал мне с какой-то особенной теплотой, хотя со мной все разговаривали не по-военному — раньше это меня даже обижало, — как с маленькой:

— Задание тебе, Валя. Отведешь Машу в Гомель. От тебя не скрываем: Маша — армейская разведчица. Выйдете завтра на рассвете. Переночуете у Федора, с ним обсудите все остальное.

— Слушаюсь, товарищ командир.

Потом комиссар говорил об осторожности.

А мне казалось, что они все трое излишне долго разглядывали меня, будто впервые видели или провожали навсегда.

Я не дождалась объяснения задания, почему-то испугалась, — отчего так недобро сжалось сердце? — нетерпеливо спросила:

— К кому?

В городе был добрый десяток подпольщиков, с которыми я держала связь.

Ответил начальник штаба по-военному коротко, не глядя на меня:

— К Степану Жданко.

Сердечко мое екнуло и оборвалось, покатилося вниз, в груди стало пусто-пусто, а в животе горячо, будто спирту глотнула. Снова они смотрели на меня. А я стояла по команде «Смирно» и молчала, боялась пошевелиться.

— У тебя есть вопросы, Валя? — сказал комиссар с той же отцовской теплотой, от которой захотелось плакать.

Я покачала головой. Нет, вопросов у меня не было. Я хорошо знала свои обязанности.

— Можно идти?

— Пожалуйста, Валя. Счастливого пути. Позови к нам Машу.

II

...Надо будить ее. Надо идти. Некогда спать, да еще на таком открытом месте, среди бела дня.

Но жара, усталость или душевная обессиленность сковали меня. Какое-то время я сидела недвижимо, смотрела на ее грудь — как ровно и спокойно она дышит, — на лицо, на котором, кажется, блуждала улыбка, счастливая улыбка; на ноги не могла смотреть — было в этом что-то постыдное, грешное — и не могла пошевелиться, не могла разбудить ее. Появилась нелепая мысль: оставить ее тут, сонную, и вернуться в бригаду. Пускай меня расстреляют за то, что я не выполнила задания. Глупая мысль. Задание я не могла не выполнить. Если бы раньше кто сказал, что у меня может случиться вот такое — что о себе, о чувствах своих, я буду думать больше, чем о нашем общем деле, о боевом задании, — глаза, наверное, выцарапала бы тому, так как нанес бы он самое большое оскорбление: на войне самое подлое — много думать о себе, от этого, очевидно, становятся трусами. А я давно уже преодолела всякий страх. Стыдно стало. Почему я вдруг так застроилась против этой девушки, нашей разведчицы, которая идет, безусловно, на очень ответственное задание в волчье логово? Что она красивая? Командование знало, кого выбирало. Не одна же она там была. Значит, такая нужна. Что она бегала прошлую ночь на свидание с Володей? Так что из того? К черту тому, к бабнику, не одна дура вот так выбегала и в отряде, и в деревнях, куда он часто заглядывает со своими «мушкетерами».

Маша будет ближе к Степану, чем я? Что из того? Будто в городе мало девчат. Не хуже красотонок он встречает. Выходит, я плохо думаю не о ней, а о нем, ему не верю? Глупая, глупая... Как можно так не верить самому близкому человеку? Жизнь ему доверяю, а он мне свою. А тут — не верить... Вот уж действительно бабья дурь.

Одним словом, порассуждала вот так и, показалось, отогнала неприязнь к Маше. Приказала себе любить ее, как любила четыре дня, до вчерашнего вечера.

Отломил сухую травинку, пощекотала у нее под носом, чтоб разбудить, она чихнула, покрутила головой, потом замахала перед лицом рукой — думала, что овод кусает. Я шикнула на нее и засмеялась. Маша раскрыла глаза и спросонья недоуменно поглядела на меня.

— Хватит дрыхнуть! Пошли!

Она проснулась, сладко потянулась, закинув руки за голову, с упреком сказала:

— Сон перебила. Такое снилось...

— Володя, что ли? — пошутила я.

— Какой Володя? — спросила она, как показалось мне, немного испуганно.

— Который не дал тебе поспать ночью.

Маша поморщилась, как от неприятного воспоминания.

— Нахал он, ваш Володя. Пьяный мужлан.

Не понравилось мне это «мужлан», обидно стало за Володю.

— А ты кто? Из панов?

Маша засмеялась.

— Из панов. Княгиня. Два иностранных языка знаю. Не веришь?

В то, что она знает языки, я не очень поверила, но подумала, что такие сведения разведчик не имеет права говорить вслух, даже на лугу. И потому я ничего не ответила ей, верю я или не верю. Приказала:

— Подъем! Пошли!

— Подожди минуточку. Дай мне полюбоваться. Когда это я лежала вот так? Чтоб надо мной шелестели листья дуба... И небо было вот такое... голубое, бездонное. И тучки белые. И тишина. Боже мой, какая тишина! Не верится, что где-то гремят пушки. Сеном как пахнет! Вдохни! Какой запах!

— Не знаешь ты запаха настоящего сена. Разве это сено?

— Откуда мне знать! Я горожанка... — Она помолчала и вздохнула. — Где я полежу еще так? В такой тишине...

И это «Где я полежу еще так?» резануло мое сердце, в нем была не просто тоска — отчаяние, как бы расставание с дорогим ей миром.

Впервые мне стало жаль ее. Я сжалась, застыла, не осмеливаясь помешать ей думать в такую минуту.

Маша долго не моргая смотрела в небо. Потом повернулась на бок, лицом ко мне.

— Знаешь, Валя, я училась в театральной студии при... — И осеклась, чтоб не сказать, где училась.

Да, говорить, откуда она, где училась, нельзя. Не первого разведчика я вела и хорошо усвоила, что мне надлежит знать, а о чем запрещено спрашивать: чего не знаешь, того никакими

пытками у тебя не вырвут. Но студия меня заинтересовала, так как подтверждала мою позавчерашнюю догадку, и у меня тоже вырвалось (бабы языки!):

— Я так и думала!

— Что ты думала?

— Что ты артистка.

— Никакая я не артистка. Так, забава... грех молодости. Один умный режиссер сказал, что ни черта из меня не выйдет... — И вдруг перевела разговор на другое: — Ты часто ходишь в город?

— Да как сказать... Когда надо...

— Не страшно?

— Где?

— Там, в городе.

— В городе — нет. На постах раньше было страшно. Иной гад как начнет тебя допрашивать и ощупывать...

— По телу лапают?

— По телу.

Маша брезгливо передернулась. А я почувствовала вдруг иную тревогу. Когда я убедилась, что она разведчица, то не сомневалась — опытная разведчица, только умышленно прикидывается простушкой, а тут, после ее вопросов и такой реакции, поверила, что она новичок, на первое задание идет. И это встревожило. Не хитро, а неразумно она вела себя в лагере. Нельзя так выставить себя перед сотней людей. И проговариваться так нельзя. Тревога моя была за... Степана. По-бабы испугалась красоты ее... Другого надо бояться!

Маша села, подвняла руки, чтоб поправить волосы. В этот момент я неожиданно сильно толкнула ее в грудь.

— Ложись.

И сама повалилась на нее. Что она подумала? Я увидела, как блеснули ее глаза — не испуганно, а недоуменно и гневно. Она так крутнула мою руку, что я чуть не закричала от боли, и мигом очутилась наверху, тяжестью своего тела прижала меня к сену. Ловко у нее получилось! Если бы я трепыхнулась, она легко задушила бы меня. Лицо ее в этот миг было страшным.

— Ты что?

— Глупая... Не поднимайся... Полицай... — наконец удалось объяснить мне причину моего неожиданного поступка.

Действительно, недалеко, на таком же пригорке, возле такого же одиокого дуба, я увидела полицая, — может, он тоже лежал и поднимался. Я узнала его, так как уже имела встречу с этим «бобиком».

Маша приглушенно засмеялась и отпустила меня.

Я отползла к дубу, приподнялась и начала наблюдать за полицаем. С удивлением увидела, что на шее у него висит автомат. Это сильно насторожило. В тот раз он был с наганом. Автоматы в небольшие полицейские гарнизоны немцы выдавали редко. Не начинается ли блокада? Может, их сотня тут, полицаяв, немцев? Но

здесь ведь, я знала, не базируется ни один отряд. А до Федора еще далеко. Потом подумала, что партизаны в эти болота могли заявиться в любой момент — из-за Днепра, из Черниговских или Брянских лесов. Да мало ли откуда!.. Рейдовый отряд. Или любой другой после тяжелого боя, чтоб скрыться от преследования.

Нет, не похоже, что полицай выслеживает кого-то. Идет как хозяин, не оглядываясь. Осматривает сенокос. Ах, если бы у нас был пистолет, я отомстила бы этому гаду. Нет, если бы и был пистолет, я все равно не имела бы права рисковать при выполнении задания. Надо уходить, пока он не увидел нас.

Полицай спустился в низину и на миг скрылся за лозовыми кустами. Я схватила Машу за руку, приказала пригнуться к земле, и мы скатились в мокрую лощину с невыкошенной, высокой травой. Выбравшись из лощины на сухое, снова увидели его черную фигуру. «Не боится же, гад, шляется один», — подумала я. Теперь, если даже он и увидит нас, уже не страшно: перед нами был молодой ольшаник, за ним большой лес, и бежали мы так, что пуля не догнала бы, а не только полицай в суконном мундире и в сапогах. Хорошо, что врасплох не застиг. Я ругала себя: как могла позволить отдыхать в таком месте!

Маша тут же запротестовала:

— Почему ты летишь так? Неужели думаешь — он гонится за нами? Не понимаю я все же... Как мы пойдем в город через посты, если так боимся тут, убегаем?

Новому человеку, даже разведчику, действительно трудно понять мои тайны, мое чутье.

Я рассказала, как встретила с этим полицаем первый раз. Было это в марте. Начиналось раздолье, но река еще стояла. Мне срочно надо было попасть в город, отнести закодированное письмо Ахрему, подпольщику, которого я давно считала второстепенным, так себе, думала, запасная явка у деда. Письмо было из Центрального партизанского штаба, его доставил специальный представитель, спустившийся на парашюте (про письмо я, безусловно, Маше не сказала. Имела задание — и все, а какое — зачем ей знать).

До этих вот мест меня провожали Володя с хлопцами, на конях, я ехала в седле. Отсюда — было договорено с командирами — я переберусь на левый берег Сожа, выйду на Черниговское шоссе и там постараюсь доехать до Гомеля на машине. Надо было спешить. Мне дали бутылку самогону-перваку и десяток яиц, за такую плату немецкие шоферы подвозили. И вот на том берегу, в лесу, меня остановил полицай, догнал, будто долго шел следом. Чего он болтался по лесу, где еще лежало немало снега?

У меня была бумажка от старосты из Рудни. Но справка такая его еще больше насторожила: не ходили рудневцы той дорогой, объяснение мое, что все полевые дороги раскисли, перерезаны ручьями и потому я, промокшая и усталая, решила выйти на шоссе, полицай мало убеждало. А когда я предложила ему самогонку,

он зло засмеялся: «А ты, вижу, опытная, знаешь, чем можно купить... Да меня не купишь...»

Я умела выдать себя моложе по возрасту, прикинуться девочкой-подростком лет пятнадцати, и плакала навзрыд всю дорогу, пока он вел меня. Наверное, не так уж и нарочито. Не только от страха. От отчаяния. Провалиться на таком ответственном задании! С таким письмом! Правда, само письмо найти нелегко, для этого надо раздевать меня догола. Фашисты, я знала, могут и такое сделать. Но не станут же они сразу раздевать меня? А как только уйдут с глаз, посадят в холодную, письмо я съем. Да слабое это было утешение. Себя, может, и спасу, съев письмо, да и то если не повезут в Рудню, а спросят у старосты так, без меня, — староста там был наш, партизанский. Но дело будет провалено, по всему видно, очень важное, так как не посылали бы из Москвы специального посланца, могли бы по радио передать. Может, новый код для раздевика. Как, с какими глазами я вернулась бы в бригаду! На меня так надеялись, так верили. Все. Представитель Центрального штаба в том числе. Шла я впереди полицая, не плакала — выла на весь лес, все еще надеясь разжалобить его. Глотая слезы, без передышки рассказывала, что в доме пятеро детей и все они больные, что я должна идти в город к дядьке (называла подпольщика со станкостроительного завода, у которого иногда ночевала, он подтвердит, если что, легенда была старая, знакомая ему), чтоб добыть соли и лекарств.

Полицай посмеивался над моими слезами и издевался, гад: «Рассказывай сказки! Знаю я тебя. В отряде видел». — «В каком отряде, дяденька? Что это вы говорите!»

Проходили мимо лесничества. Хата сожжена, а пуня осталась. Полицай вдруг остановил меня. Глаза у него заблестели, как у кота, а толстая морда расплылась в отвратительной ухмылке. Был он немолод, лет тридцати пяти, невысокий, но коренастый, дюжий, краснолицый. И вдруг говорит: «Пойдем в пуню. Тогда отпущу тебя».

Сразу я даже не сообразила, зачем идти в пуню. А когда поняла, то пережила такой страх, какого не знала еще ни разу за всю войну. Смерти глядела в глаза не раз, но такого страха не испытывала. Даже в блокаду, когда лежали в кучах сухих веток, а возле них остановились каратели, и один, догадывалась я, предлагал поджечь ветки и долго щелкал зажигалкой, да, на мое счастье, зажигалка не загорелась, — видно, кончился бензин. Или когда меня задержали на Гомельском рынке и у меня под кофточкой была «Правда». А вот тут я почувствовала смерть верную. Другого выхода не было. Я буду грызть его зубами, и он, такой бык, либо задушит меня, либо застрелит.

Наверно, от страха у меня резануло в животе, потянуло на рвоту, я скорчилась, посинела и страшно закашлялась, даже слюна потекла. В ту зиму у меня часто кровоточили десны, от науги, должно быть, от кашля лопнул какой-то сосуд, и я сплюнула с

кровью. Посмотрела на полицая — он брезгливо поморщился. И тут как-то сама собой появилась отговорка, как бог послал, сказала б моя мать: «Дяденька, так нельзя же мне. Чахоткой я больна. Заразная. Видите, кровью харкаю. И мать болеет. И брат... Заражу я вас».

А кашель не унимается — вот же бывает счастье.

Плюнул он с отвращением и говорит: «Давай твою самогонку. Руки о тебя, подлюга, пачкать не хочется. Ходите тут, отравляете воздух... Марш отсюда, заразная!»

Какое-то время, медленно отходя и кашляя, боялась, что он выстрелит в спину. Но услышала не выстрел — звон. Он разбил бутылку с самогонкой о сосну и снегом вымыл руки.

— Чистюля. Долго жить хочет, — засмеялась я, кончая рассказ о встрече с полицаем.

Теперь, когда мы прошли лес, вышли в поле и впереди увидели женщин, копающих картошку, я решила не обходить этих баб, спросить у них дорогу — пускай Маша знает, что не от всех людей надо убегать и прятаться, — я не очень-то была уверена, что это тот же полицай; за полверсты, если не больше, не так легко узнать человека, которого видела всего один раз и в другой одежде — тогда он был в полушубке.

На Машу рассказ мой, по всему было видно, произвел впечатление. Она даже раза два опасливо оглянулась. И вообще как-то подтянулась, насторожилась. До этого была усталая, расслабленная, легкомысленная — ничего не боялась в этих лесных, болотных и луговых просторах, должно быть, думала, что я сознательно нагоняю страху и потому веду ее с такими предосторожностями. Действительно, трудно было понять: идем в город, во вражескую пасть, а тут, считай, своих боимся.

— И часто они насилуют наших?

Чего только я не слышала за два года войны; как связанная, все время была на ногах, встречалась с разными людьми, ночевала в городе на разных квартирах и в деревнях. Может, часть из того, что я слышала, — выдумки, женские страхи... Но немало знала и истинного. Например, о том бандитском отряде, что появился по весне в Заднепровье, нашей бригаде пришлось ликвидировать его. Сколько бандиты, выдававшие себя за партизан, изнасиловали в селах девчат! Наш штаб проводил дознание, опрашивал крестьян, я сама читала страшные показания: кровь в жилах стыла от рассказов матери, дочь которой после издевательств над ней повесилась. Но Машу история с отрядом не так тронула, — может, потому, что рассказывала я отрывисто, нескладно.

Другое меня встревожило — женщины, копавшие картошку. Я сказала им: «Бог в помощь». Они не ответили и смотрели, как вол из-под ярма. Спросила дорогу на Скиток — показали неправильно, направили на Терещковичи, а там, я знала, размещался полицейский гарнизон. Вредные бабы встретились.

Маше не сказала, что за бабы такие, она и так нехорошо от-

ывалась о здешних людях. А они добрые. Им я верила. А это разве люди? Наверное, мать, жена или сестра полицая какого-нибудь или старосты. Может, наши парни пристукнули самого хозяина, потому они и глядят волком на каждого, в ком подозревают партизана.

Версты три я шла с предосторожностью, ускорив шаг. Сбив ноги, Маша по-прежнему отставала. Жара была нестерпимая, редко такое случается даже в августе.

Мы снова вышли на луг, но держались близ зарослей, вдоль ручья. Трава сплетала ноги, влажный воздух становился густым, как смола, раздирало грудь. Тело обливало липким потом, и сердце билось в висках и в кончиках отекавших пальцев.

Со мной это случилось не раз: в каком-то месте или в какое-то время я будто переходила границу, линию фронта, за которой исчезали ощущение опасности и все мои страхи. Так случилось и теперь. «Чего испугалась?» — подумала я. Полицая, которого увидела? Да если бы он начал стрелять в нас из своего автомата, так и то... соли он нам насыпал бы на хвост. Неприветливых баб? Будто в первый раз встречаю таких. И между тем не раз убеждалась, что неприветливый человек не всегда враг. Нередко бывает наоборот.

Разве лучшему я учу Машу своими странными предосторожностями? Разве надо разведчице так остерегаться? Не играю ли я немного перед ней? А она, может, более опытная, только не выдает себя — неумелую и ленивую вряд ли послали бы сюда.

Но скорее всего граница эта появилась потому, что мы уже недалеко от Федора, километров семь всего, что это, в сущности, уже наша зона, федоровцы хвалились, что из близлежащих сел и поселков поудирали все полицай, их забытые хаты партизаны по-прежнему жгут, не все сразу, а поочередно, чтобы чувствовали изменники партизанский дух в этом краю.

Свернув с дороги, я потеряла ориентиры, и мы неожиданно вышли к Сожу. Река блеснула из-за кустов широкой искристой гладью, немного испугав меня, ослепив и очаровав. Я остановилась, растерянная, но тут же представила выученные по карте и в натуре замысловатые петли и изгибы, что делает тут Сож, и быстро сообразила, куда мы попали. Удачно вышли. Место безлюдное, до отряда ближе, чем я думала.

Река дышала прохладой. В такую жару разве только явная опасность заставила бы отступить от реки. Захотелось постоять на берегу, вдохнуть прохлады. Хоть минутку поддержать в чистой, проточной воде натруженные ноги.

К самому берегу подступала гряда лозняка-краснотала, разрезанная ручьем. Где ручей сливался с рекой, образовалась песчаная отмель. Шагах в двадцати от берега даже выступал островок, с белянким-беленьким, как сахар, песочком. На островке сидели непуганые чайки.

Пока Маша разувалась, я прошла по воде до островка. Чайки,

лениво вскрикнув, перелетели на противоположный берег. Я огляделась вокруг. Далеко по обе стороны реки открывались речной простор и берега, с нашей стороны заросший лозняком, с песчаными косами, а с того, противоположного, — голый, обрывистый, с одинокими дубами. В обрыве гнездились ласточки и стрижи, — значит, от деревни далеко, иначе мальчишки и кошки разорили бы птичьи гнезда.

Действительно, кроме чаек, нигде ни одного живого существа. И ни одного постороннего звука. Все притаилось, застыло в полуденной истоме. Только журчит и ласково плещется возле ног вода. Просто рай земной вокруг. Маша подошла ко мне, высказала свое восхищение:

— Какая прелесть! — и вдруг предложила: — Давай искупаемся.

О том, чтоб искупаться, я подумала раньше ее. Опасности больше не чувствовала. Возле своего лагеря иногда купалась с осторожностью — чтобы парни не подсматривали. А тут было ощущение полной свободы. Но я подумала о другом: стоит ли мне показываться голой перед этой красоткой? Какой худой — одни ребра — и невзрачной я предстану перед ней! Это как бы унижит мое женское достоинство. А я ни в чем не хотела унижаться перед ней. Со вчерашнего вечера мне хотелось убедить себя, что я не хуже ее и достойна настоящей любви. Степановой любви. Вот почему я не сразу ответила на ее предложение. А Маша не проявила уже такой настойчивости, как с отдыхом под дубом. Наверное, история с полицаем, мой рассказ о нем несколько дисциплинировали ее. Но искушение было столь велико, что она попросила меня как-то странно, совсем по-детски:

— Я больше недели не мылась. А до войны я ежедневно принимала ванну.

Такое признание почему-то рассмешило меня.

— А ты и в самом деле панского роду. Плавать ты хоть умеешь или только в ванне? Река наша знаешь какая...

— А ты погляди, как плавают девушки панского рода. — Маша тоже засмеялась и начала расстегивать кофточку.

Я даже испугалась, что она раздеется тут, на островке, посреди реки. Просто сама я не могла раздеваться на таком открытом месте. Девичья целомудренность. Как ни безлюдно вокруг, а все же... лучше иметь хоть какое-то прикрытие.

— Не тут! Идем в лозняк.

Я не успела расстегнуть на юбке крючки, как она уже стояла совсем голая. Стояла в двух шагах от меня, но между нами была лоза — десяток упругих красных стеблей, которые, казалось, звенели как струны. Через эту живую решетку, в кружевном сплетении солнечного света и теней от листьев, в чудесном зелено-золотом освещении тело ее казалось удивительно красивым. Она стояла спиной ко мне, поднимая руки, сворачивала в пучок волосы. Такая поза, будто хочет взлететь в небо. Подобное женское тело я

видела только в музее, во дворце Паскевича. Все останавливались перед картиной, хотя нам, девушкам-первокурсницам, было стыдно смотреть на нее вместе с мальчишками, будто раздели и выставили кого-то из нас. Но под картиной было написано, что это греческая богиня. Прочитанная надпись несколько уменьшила нашу стеснительность. На богиню можно было смотреть и при парнях.

Я замерла от восторга и похолодела от страха. Разве могу я сравниться с такой красавицей? Она настоящая богиня.

Спустила на песок юбку, притоптала ее ногами и боялась снимать остальное, так и стояла в пестрой кофточке и в короткой сорочке из грубого, дмотканого полотна. Но вот Маша повернулась ко мне и удивилась, что я еще не разделась. А я чуть не засмеялась... от внезапного открытия. Передо мной стояла не богиня — обыкновенная женщина, таких я видела в бане. Именно женщина. Белые, точно помятые, складки на животе бывают только после беременности и родов. И грудь. Не надо было иметь собственного опыта, чтобы понять, что такая грудь кормила ребенка. Едва не вырвалось: «Ты замужем? У тебя есть дети?» Но прикусила язык. К чему эти слова? Зачем учинять допрос, который, возможно, будет неприятен ей? Разве недостаточно мне вдруг появившегося странного ощущения своего превосходства над ней? Правда, странно. Иногда я завидовала нашим женщинам, у которых есть дети. Если погибнет мать, останется дитя, продолжение ее жизни, а после меня ничего не останется. А Маше не позавидовала, хотя мы связаны с ней: два дня над нами будет висеть опасность, большая, чем тогда, когда я ходила одна, — из-за нее большая. Но не об этом я думала. О другом, бабьем. Почему я вдруг ощутила свое превосходство над ней и в тот момент удивительно успокоилась, обрадовалась? Разгадать такую загадку и теперь не могу, прожив на свете полсотни лет и пережив все, что только могло выпасть на долю одной слабой женщины.

Разделась я охотно и уже несколько не стеснялась своего худого тела.

Мы кинулись в воду одновременно с обрыва, отойдя в сторону от отмели, — там было глубоко. Маша нырнула, вынырнула, повернулась на спину и засмеялась от удовольствия. Держалась она в воде как рыба, сразу чувствовалось — хорошая пловчиха. Но и я выросла на берегу Днепра и могла показать не меньшее умение. И я рванула вперед, на середину реки, по-мужски, размашисто загребая руками. Но через минуту увидела, что и в плавании по сравнению с Машей я деревня. Она пролетела мимо меня, как снаряд, как акула. Плыла спортивным стилем, не знаю, как он называется, разрезая воду годовой. Пружинисто выбрасывая свое упругое тело на поверхность — блестяли одни белые лопатки. От меня во все стороны летели брызги, она же плыла, почти не поднимая брызг. Я далеко отстала и фыркала следом, как старенький лопастный пароходик за современной «Ракетой».

Переплывать на другую сторону, безусловно, было безрассуд-

но. Я никогда не позволила бы себе, ибо это означало забыть не только о задании, которое выполняла, но и о войне вообще. Однако не успела я предупредить ее, как Маша была уже там, на том берегу, стала на ноги, обмыла лицо, потом вышла из воды и села на песок.

Меня отнесло дальше от того места, где сидела Маша. Я устала, задыхалась и даже испугалась, что не доплыву, что течение снова отнесет меня на середину реки. Выйдя из воды, я пошла к Маше по песчаной полосе под высоким обрывом. Но мне вдруг показалось, что оттуда, с нашего берега, кто-то смотрит на меня. Я стыдливо бросилась в воду и, погрузившись в нее, дошла до Маши. Овладел страх: а вдруг кто-нибудь заберет нашу одежду? Как мы тогда зайвимся в отряд? Какой позор! За такое легкомыслие расстрелять меня мало.

— Поплыли назад! — сердито приказала я Маше.

— Отдохни, ты запыхалась.

Я разозлилась:

— Ты что, купаться и загорать сюда прилетела?

Она почувствовала мое недовольство и без слов покорилась. Заметив, что я утомлена, плыла рядом. Страхovala. Плыли мы медленно, не спеша, преодолевая течение, чтобы нас не отнесло от песчаного островка.

Достав ногами дно, начали выходить на мель. Вода стала уже по колено, как вдруг я вскрикнула и присела.

Из лозняка, с того места, где мы оставили одежду, выглядывала страшнее самого страшного зверя морда... полиция. Того. Знакомого, с которым я встретила в марте. Толстая красная морда его расплылась от противного самодовольного смеха. Я подумала, что может сделать такой гад. Наверно, погонит нас в село на потеху и издевку в таком виде — в чем мать родила. Нет, не вылезу из воды, лучше утоплюсь. Нырну и не вынырну. И я потихоньку отплыла на середину реки.

А Маша шла вперед, к берегу, оглябая песчаный островок. Неужели она не видит полиция? Может, крикнуть ей? Нет, не может она не видеть, не слепая. Он вышел навстречу ей, спустился к канавке, поедая ее жадными глазами. На шее у него висел немецкий автомат, одной рукой он держался за приклад, другой мазнул себя по лицу: вытер пот или протер глаза, чтоб лучше разглядеть такое диво — голую девушку.

Маша все равно шла на него, медленно, вихляя бедрами, как бы дразня. На теле ее горели маленькими солищами капли воды. Они слепили меня, эти искристые капли на красивом теле, которое она так открыто, выставляла перед полицией.

— Купаемся, рыбки золотые? — хихикнул полиция, облизывая пересохшие губы.

— Хочешь с нами покупаться?

— Гы-гы! — оскалил он зубы. — Не помешало бы.

— Так давай.

Маша остановилась в каких-нибудь двух шагах от него, не больше. Очевидно, он ослеп от ее близости. Маша провела руками по груди, потом по животу, по бедрам, растирая канельки солища.

— Хороша? — спросила она весело.

— Ох, хороша! Гы-гы... — заржал он от восхищения.

Она протянула к нему руки:

— Давай помогу раздеться.

Должно быть, тут он почувал угрозу, так как сказал:

— Ну-ну! — и, кажется, успел отступить на шаг.

Но было поздно. Маша сильно охватила его за шею руками и припала губами к его губам. Тут я поняла ее намерение и кинулась на помощь: может, вдвоем сумеем обезоружить его. Да не успела добежать — глухо ударила короткая автоматная очередь.

Маша сильно толкнула полицаю от себя. Он свалился на травянистый откос, страшно завыл, но сумел еще найти и нажать спусковой крючок, да не смог уже скинуть ремень, поднять автомат, нацелить на кого-нибудь из нас — стрелял в землю, в обрыв, пули рвали корни лозняка, в реку летели песок и трава.

Маша перескочила через полицаю, наклонилась, сорвала с его шеи автомат и начала стрелять в упор — в грудь, в голову, в живот.

Лицо ее было страшным. Видела я, как убивали врагов, свидетельницей была, как Кузьма Бруй расстреливал убийцу своего сына — полицаю Котикова, но даже у Кузьмы такой ненависти, злости, гнева, гадливости, отвращения не было ни на лице, ни в глазах. Она расстреляла все патроны; когда автомат замолк, удивленно посмотрела на него — почему он замолк? — и бросила мертвому полицаю на грудь, будто и не поднимала.

Я прежде всего собрала нашу одежду. А вдруг полицай не один? Успела надеть сорочку — не голой же бежать по лознякам, позорно бежать партизанке голой, даже если никто и не видит.

Маша сидела на корточках над канавкой и медленно и старательно мыла руки, терла их песком. На веку жизнь запомнилось, как, с каким выражением гадливости — будто раздавила крысу — она мыла руки.

Я надела ей через голову сорочку. Маша недоуменно поглядела на меня: что я делаю, зачем?

— Надевай сорочку! И бежим быстрее! Может, он не один тут...

Тогда она боязливо оглянулась на мертвеца и перескочила через ручей в гущу лозняка, обдирая голые руки и ноги. Я не полезла бы так, побежала бы берегом. Но теперь мне ничего не оставалось, как идти следом за ней; после того что случилось, я готова была признать, что не такая она неопытная, как прикидывалась. Вон какого черного буйвола свалила! Но и гад же он, ведь верст пять за нами шел, словно за смертью своей.

Немного придя в себя, я подумала, что Маша действовала правильно, по-партизански, а я, как девочка, столько сегодня наде-

лала глупостей, стыдно будет докладывать командованию. Если сделаю еще одну промашку, мне не простят. Как я могла не забрать автомат? Это же первая партизанская заповедь — забрать оружие у убитого врага.

Остановила Машу:

— Подожди. Послушаем.

Она снова присела и зачерпнула пригоршней песок. Он сыпался меж пальцев, может, ей хотелось чем-то занять руки, так как они — увидела я — все еще дрожали. Неудивительно. Я не убивала, а у меня тоже трепетало сердце, дрожали руки. И не оставляло чувство гадливости.

Было тихо. Даже не шелестел лозняк. Только где-то далеко замычала корова. И это мирное мычание сразу как-то удивительно успокоило меня.

— Надо забрать автомат, — сказала я.

— Зачем? — спросила Маша.

— Ого! Такое оружие! Автоматов у нас не густо. Краевский спасибо скажет.

На Машином лице промелькнула вроде бы виноватая улыбка.

— Я не могу... видеть его... Пойми...

Это я понимала. Разве мне приятно лишний раз смотреть на мертвеца, да еще такого?

— Я пойду сама, — сказала я. — А ты одевайся и жди меня тут.

Я надела юбку, блузку и пошла. Полицай лежал так, что с того, противоположного, берега его издалека можно было увидеть. Это мне не понравилось. Лучше, если бы нашли его как можно позднее. Хотя вряд ли будут сообщать gestaпо и городской полиции об убийстве одного сельского «бобика» — в боях партизаны их десятками косят. И все же... Зачем нам завтра вызывать огонь на себя? Несомненно одно: будет усилена предосторожность постов. Я на мгновение задумалась: куда же девать полицаю — затаскать в лозняк или спустить в реку? Лучше концы в воду, как говорится. Но странное дело, выросла, считай, на реке, а не знала, как ведет себя на воде убитый, тонет или плывет по течению. Утопленник тонет, а потом всплывает. Рассудила, что суконный мундир, сапоги, белье, намокнув, потянут тело на дно.

Забрала у него из кожаной сумки две запасные обоймы, перезарядила автомат. Хотела проверить во внутреннем кармане, нет ли какого документа, но откинула полу и отшатнулась, чуть дурно не сделалось: пули прошли тело насквозь, и кровь все еще пузырилась, булькала, будто билось его сердце, хотя глаза давно остекленели, в них отражалось только небо.

Взяла его за руки, чтобы тащить, и подумала уже без особой ненависти и злости, пожалуй, с женской сдержанностью: «Ну что, дурень, поймал партизанок? А у тебя, видать, есть жена и дети, может, и мать. И ты был смелым, не боялся ходить там, где ходят партизаны. За что же ты невалялся так своих людей?»

Маша сидела на том же месте в лозняке и — странное дело — все еще пересыпала песок, черпала его горстями и вновь сыпала на землю. Как маленькая. Она сильно изменилась за эти полчаса и уже не выглядела такой красивой, статной, уверенной, какой была, когда отдыхала под дубом и купалась, — осунулась, побледнела и стала какой-то беспомощной.

Сказала ей:

— Я спустила его в реку. Пускай плывет...

Маша встрепелась, испуганно икнула и вдруг скорчилась; ее начало тошнить. Спазмы были мучительные, казалось, вывернет все нутро. Виногато поглядывала на меня и судорожно хваталась руками за ветки, как бы желая подняться, да не было сил. Такое на моих глазах случалось не с нею первой, поэтому я не удивилась и не испугалась. Бывало, вот так корчились не только женщины, но и мужчины, кто впервые убил или просто увидел страшную рану у товарища. Комиссар наш с сорок первого воюет, а до сих пор не может видеть, как оперируют раненых, ему становится дурно.

Тошнота не принижала Машу. Скорее, наоборот. Теперь я знала то, о чем не отваживалась спросить, так как не имела права, и Маша тоже не рассказала того, на что не имела права. Ее, оказывается, хорошо подготовили в разведшколе: Теоретически она все знала и все умела: так хитро и ловко свалила полиция, не каждый мужчина сумел бы потягаться с ней, но на боевом задании она, видимо, в первый раз; во всяком случае, войну так близко увидела впервые, такую войну, когда надо убивать самой, а иначе убьют тебя, да не просто убьют — будут мучить, издеваться, топтать, насиловать.

Гад тот, безусловно, повел бы нас голых...

Словом, Маша раскрылась во всей своей сущности. Полнее узнала я и частицу ее биографии. Но что сказать в таком случае? Благодарить, что спасла себя и меня, или утешать? Нет, сейчас никаких утешений. Ни к чему. Нужно одно — военная, командирская строгость и требовательность, которой у меня не хватило и поэтому мы чуть не попали в беду. Бабами почувствовали себя, а не бойцами.

— Ну, не хнычь, а то всех полицаев созовешь отовсюду, — почти злобно сказала я Маше. — Пошли! Пока гром не грянул.

Она удивилась моей суровости, взглянула жалобно, как бы прося пощады. Но снисхождения у меня не могло быть.

— Пошли, пошли! А то совсем курортницами станем, о деле забудем.

Она послушно поднялась.

III

Отряд Федора вырос из диверсионной группы, которую забросили в наши места летом сорок второго года.

Долго группа действовала самостоятельно, контролировала участок железной дороги и шоссе Гомель — Речица, поддерживая связь с северными отрядами и бригадами — Гомельскими, Буда-Кошелевскими, Стрешинскими. Потом отряд влился в нашу бригаду и с прошлой весны выполнял особые задания, о которых даже большинство бойцов имело смутное представление; партизанам отряда не нравилось, что они стали редко выходить на железную дорогу и шоссе, редко вступать в открытый бой, а частенько скрывались от немцев и даже полицаев.

Я только догадывалась об основной, скрытой деятельности отряда. Может, я преувеличиваю роль своей бригады, может, другие бригады и партизаны занимались этим не меньше, но мне казалось, что с ранней весны сорок третьего года очень активизировалась деятельность нашей армейской разведки в Гомеле и вокруг него и что разведчики засылались именно через нашу бригаду, через нас поддерживалась и связь с ними.

На разведку работало почти все наше связанное с бригадой Гомельское подполье. Многочисленные нити этих сложных связей с подпольем и разведчиками и держал в своих руках Федор. Строевой офицер, капитан, человек, удивительным образом соединявший в себе многие качества, самые противоположные, — например, отчаянного диверсанта и необыкновенно осторожного и до тошноты, как сказал однажды о нем Павел Адамович, точного штабиста, — который терпеливо, настойчиво, предусматривая все до мелочей, планировал каждую самую простую операцию; например, один из почти ежедневных партизанских налетов, который комбриг и Володя Артюк обычно решали за три минуты, Федор разрабатывал бы всю ночь.

Не отступая далеко от города, отряд, однако, часто менял место стоянки — в то лето у него не было постоянного лагеря.

Я тотчас же поняла, что отряд снялся из Калинок, раз на болоте нас никто не задержал, и испугалась: где же их искать? Что случилось? Такого еще не было, чтобы в штабе бригады не знали, куда исчез отряд. Связала пронырливость полиция с исчезновением отряда и насторожилась: не напороться бы на карателей. Но чрезмерная бдительность на этот раз подвела меня. В Калинках — так назывался молодой густой лес в болотной зоне — нас задержали странным образом. Не окликнули, накинудись врасплох. Двое — на меня, третий, здоровенный, прыгнул на Машу. Но с ног ее не сбил. Сам оказался на земле. Рванувшись, Маша японским приемом ударила его по шее и по солнечному сплетению, перекинула через ногу.

Я сразу же узнала партизан из отряда Федора и отдала автомат без сопротивления. Тут же послышался голос самого командира:

— Стойте! Свои!

Он вышел из-за кустов в чисто выстиранной военной форме, низкорослый, аккуратный, подтянутый, напряженный, как сжатая

пружина; ходил он как на параде, высоко поднимая ноги, и ступал действительно пружинисто, вприпрыжку.

Я сильно разозлилась на него. Нашел на ком тренировать своих разведчиков! Могли руки вывернуть, или я могла вырваться и резануть из автомата. Умный человек, а делает глупости! Не видеть же меня партизаны не могли, так как у них я была нередкой гостьей.

Командир увидел, что я злюсь.

— Прости, Валечка. — Обращаясь к своим всегда по-военному — «товарищ партизан», «товарищ боец», — меня Федор всегда называл так вот ласково-уменьшительным именем, как маленькую; изредка мне это нравилось, но чаще обижало, в зависимости от настроения.

Командир разговаривал со мной, а смотрел на Машу с повышенным интересом, скорее, даже с восхищением, сразу, бесспорно, догадавшись, кто она. Скомандовал партизану, корчившемуся на земле от Машиного удара в живот:

— Встать, товарищ боец! Постыдись женщин!

Но тому нелегко было подняться.

— Когда в расположении отряда появляются вооруженные люди, прежде всего их надо бесшумно обезоружить, — говорил командир поучительно, как наставник на уроке. — На рассвете какой-то тип пробрался в лагерь. На допросе молчал ерунду и окончательно запутался. Пришлось шлепнуть. А утром над лагерем висела «рама».

Наверное, от слова «шлепнуть» Машу снова затосило.

Федор не по-командирски, очень уж как-то по-мирному забеспокоился:

— Что с вами? Заболели?

Обо мне когда-то, когда я заболела у него в отряде, он так же заботился — не просто как командир, а как лекарь и нянька. Но все равно такое его внимание к Маше неприятно задело меня. На Машу я глядела теперь требовательно и внимательно: «Не проявляй, дурочка, своей слабости. Я смолчала бы о ней».

По дороге я думала, как рассказать о происшествии с полицаем так, чтоб не упоминать о том, что он захватил нас голых, в реке. Говорить надо правду, однако с маленьким пропуском или отступлением. Да и вообще лучше рассказать так, чтоб другие партизаны не слышали, а то будут хохотать, передавать друг другу подробности, сочинять анекдоты. Я же вовсе не была заинтересована в том, чтобы меня часто вспоминали, а Маша — тем более. Своим же неуместным хныканьем она как бы выдавала всю правду.

Мы отстали немного с Федором, и я по-военному кратко доложила о случившемся происшествии. Утешило, что такой требовательный командир, который выступал против всякой партизанщины, купание наше принял как самую естественную человеческую необходимость. Действительно, почему бы не искупаться в такой день? По своей земле ходим. Но история с полицаем коман-

диру не понравилась. Преследование нас полицаем на лугу и то, что он так долго следил за нами, — все это Федор связывал с проникновением шпиона в их лагерь и с разведкой «рамы». Кстати сказать, то, что мы уничтожили его, полицая, командиру не очень-то понравилось, хотя и он согласился, что другого выхода не было, что Маша молодчина, и, похоже было, восхитился ею еще больше.

Я знала запасной лагерь отряда. Но командир, наверное, спланировал какой-то слишком сложный маневр, поэтому разместил отряд странным образом: недалеко, версты за три от оставленного лагеря, на опушке большого бора. Впереди раскинулось широкое поле, засеянное не только рожью, но и засаженное — полосами — картошкой. Рожь начала уже желтеть, а картошка цвела вовсю. В конце поля виднелись верхушки верб, там, в пойме речки, скрывалось село, через которое я много раз ходила.

Отряд вроде бы занял оборону, но зачем командиру понадобилась оборона, понять было невозможно, у него все сложно. Да и напряженности особой не чувствовалось. Группа партизан, раздетых по пояс, сидела под соснами и резалась в карты. Правда, когда командир подошел, все по-военному подтянулись. У Федора было так, как в армии.

Со мной партизаны здоровались, как со своей знакомой, не обращая особенного внимания: знали — связанная бригады. Машу, бесстыдники, пожирали глазами. Не удивительно — новенькая и такая красавица: бледность придавала ей притягательную загадочность. И у меня снова шевельнулось недоброе чувство, опять подумалось о том, к кому я должна привести ее...

Сказала потихоньку командиру, что не надо ее выставлять так, слишком приметная, что, мол, никогда нельзя быть уверенным, что среди полсотни людей не может не быть одного... ненадежного.

Сказала мягко, но Федор все же обиделся:

— Что это ты, Валька! Откуда у тебя такая подозрительность? Своим людям я верю как самому себе.

Но скрыл нас в командирском шалаше, только что сооруженном: свежие березовые ветки пахли по-праздничному, как на тропицу.

Туда нам принесли по котелку такого пахучего, заправленного салом борща, что у меня закружилась голова. Федор, между прочим, отличался еще и этим: в любых обстоятельствах умел накормить людей варевом — его не раз хвалили на совещаниях в штабе; хотя другие командиры тайком посмеивались над такой его домовитостью и недолголюбивали за армейские привычки, а все же величали его Суворовым.

У Маши от запаха борща начались такие мучительные спазмы, что мне пришлось с котелком пойти в лощину, где рос орешник и стояли отрядные кони, и там, в одиночестве, как бы прячась от людей, я охотно съела две солдатские порции, после чего меня сильно потянуло ко сну. Но спать было некогда, надо было обсудить наш завтрашний поход.

Я уважала Федора, так как чувствовала, что и он уважает меня и как-то особенно, по-отцовски, переживает каждый мой поход в город. Сначала мне нравилось, как долго и подробно он планировал мои походы, чертил схемы, это определенным образом поднимало значение моей малозаметной персоны. Но на практике приходилось выполнять планы с поправками, так как каждый раз все было по-новому и значительно проще, чем представлялось командиру. Может быть, меня и не раз спасало то, что я выбирала самое простое решение, без какой-либо заданности и загадочности.

Мы вышли в поле и скрылись в бурьяне, командир прилег на бок, я села напротив (кстати сказать, это Федор когда-то сказал, что уши могут быть и у деревьев; у него удивительно сочетались сверхбдительность, скрытность с большой доверчивостью к людям).

Про Машу он спросил коротко:

— Армейская?

— Да.

— Слабенькая.

— Первый раз — и вдруг такое... убить человека...

— Недоработали, — вздохнул он, искренне огорченный тем, что и в таком серьезном учреждении, как армейская школа разведчиков, может быть определенная недоработка. Я хотела возразить: а как можно научить убивать? — но смолчала, зная, что Федора лучше не трогать, не спорить с ним, а то потом придется выслушивать целую лекцию. А мне хотелось спать, слипались веки, и я боялась уснуть во время разговора: я не Маша, мне стыдно проявлять свою слабость.

Я сказала, куда надо отвести разведчицу, с кем связать ее.

Федор, если не считать меня (я знала только своих), был четвертым человеком в бригаде после командира, комиссара и начальника штаба, который знал все явки в городе.

Он высказал пожелание перебросить нас ночью, поскольку у них есть надежная тропка. Чтоб не идти ночью по городу, можно дожидаться утра у карьера кирпичного завода.

Но я подумала о Степане. Это его выдумка, что я сестра его. Вообще я хожу открыто и так должна прийти. Это самое надежное решение. Подозрений не возникает даже у его хозяйки. Никакой таинственности в моем посещении Степана не должно быть. Один неверный шаг может вызвать чью-нибудь подозрительность. Впервые я решительно, чем и удивила Федора, отклонила его варианты, первый, потом второй и третий...

Он даже разозлился:

— А ты что предлагаешь?

— Пойдем напрямую, через все посты. С ягодами и яйцами. На рынок. Завтра воскресенье. Помогите нам достать яйца и ягоды. Больше ничего, все будет исполнено.

Командир сморщился, не любил он такой простоты, лишних забот: возможно, ему казалось, что такой именно переход связных в город делает легкой, несерьезной работу его спецотряда. Дей-

ствительно, вместо того чтобы разрабатывать с разведчиками план ночного похода, он должен послать ребят собирать землянику, которой еще не так много, и доставать яйца... Особенно неприятной была операция с яйцами — не любил, чтоб его партизаны отбирали что-нибудь у своих людей. Фрицевское это занятие. Он откровенно спросил, нельзя ли без яиц.

— Нельзя. Постовым надо дать взятку.

— Не хватало еще кормить фашистов!

— А что сделаешь, Федор Тихонович!

Я старалась быть ласковой и деликатной, зная его упрямство и готовность к сложным операциям: у меня крепло убеждение, что лучшего варианта искать не надо, что давно проверенный — самый надежный. Мне, как никогда, нужна была такая собственная убежденность в надежности операции. Одна я верила в свое счастье. А каково счастье у Маши?

Командиру не понравилась моя настойчивость, такой я никогда не была прежде, когда мы обсуждали мои походы; я соглашалась, хотя потом поступала по-своему и только Павлу Адамовичу признавалась в этом, никогда, однако, не ставя под сомнение планы командира спецотряда, — мол, обстоятельства вынудили пойти другой дорогой, встретиться сначала не с тем, а с другим, — и Павел Адамович усмехался, хвалил меня за находчивость.

Капитан верил в силу своих приказов, но положение связной бригады понимал и никогда по отношению ко мне не злоупотреблял своей командирской властью.

Нехотя вынужден был согласиться, сказав:

— Валька, очень уж не понравилась мне такая просьба, удивляюсь примитивности твоего намерения... Ты же опытная разведчица...

— Ягоды и яйца понесут многие. Завтра воскресенье.

— Понимаю твой психологический расчет... Но она, — кивнул он в сторону шалаша, где осталась Маша, — не ягодная, вот в чем корень...

— Ничего.. Теперь все ягодные, все есть хотят. И соль всем нужна.

Днем мне хотелось спать, а ночью никак не могла заснуть. С вечера донимали комары. Ночью кричали совы, две или даже три, как дети, потерявшиеся в лесу. Непокорно ворочалась и разговаривала во сне Маша. Мне становилось страшно от совиного крика и оттого, что Маша говорит во сне.

Я думала о Степане. Думала иначе, чем прежде. За прошлое мне было стыдно — не партизанское это все, бабье. Но и так нельзя рассуждать. Нельзя чего-то бояться. Разве не рискует он каждый день и без нас... без Маши? Я же, как каждый хороший солдат, никогда не думала об опасности, угрожающей мне и всем тем, друзьям, близким, что идут рядом со мной. Таков закон войны. Что же его так нарушило, этот закон! Почему я всего начала бояться? Это же плохо! Я уже наделала немало ошибок, которые

мог сделать только паникер. Такого никогда со мной не было. Может, это потому, что я не спала в прошлую ночь? Надо хоть немного поспать. А то так совсем обессилен. Да, надо заснуть. Если бы не совы... Противно плачут совы. Зловеще. Голосят, как по койнику. Ах, Степа, Степа...

До войны мы учились с ним в железнодорожном техникуме, только он был на третьем курсе, а я на первом. Я его знала в лицо, как и других парней. Нас, девчат, в техникуме было мало, и старшекурсники иногда заходили к нам, приглашали в кино, в театр. Но не многие из нас, деревенских, шестнадцатилетних, отваживались на такой подвиг — пойти гулять со старшими.

Весной, уже перед самой войной, я познакомилась со Степаном ближе. По дороге домой в канун Первого мая мы вместе оказались на пароходе «Водопьянов», который шел из Гомеля в Киев, и тут выяснилось, что мы земляки, почти из одних мест. Это как-то сразу сблизило нас. Не только наше условное землячество, но и то, что оба мы деревенские. В техникуме в то время студенты резко делились на две группы: городские, преимущественно дети железнодорожников, большие задаваки (так считали мы), и деревенские, притом случайно или по какой-то закономерности почти все — из самых глубинных полесских районов, оттуда, где о железной дороге только читали в книжках. Я сама увидела впервые паровоз и вагоны, когда приехала сдавать документы в техникум, потом впервые ходила по городу, задрала голову, считала окна в пятиэтажном Доме коммуны и читала различные объявления.

На первом курсе мы и держались отдельно — деревенские и городские. По одежде тоже отличались. Где-то уже на третьем курсе эта разница стиралась, и все были едины и дружны.

Однако этого третьекурсника почти никто из нас не посчитал городским, хотя он и был уже в хорошем костюме. Очень уж у него было деревенское обличье: волосы, как переспелая ржаная солома, кажется, и зимой выгорали, лицо широкое, светлое, как солнце, открытое, с редкими веснушками, которые и осенью не исчезали, и нос какой-то девичий — курносый. Увидишь такое лицо впервые, и почему-то хочется от души рассмеяться. Видно, потому я и засмеялась, когда неожиданно встретила Степана на палубе, и он, немного удивленный, спросил: «И ты комаринская?»

Мне очень запомнилось наше путешествие. Сож еще не вошел в берега, еще стояла большая вода, были залиты луга. В воде плавали лозняки, купались вербы, дубы и сигнальные фонари.

Было прохладно, но мы долго стояли на палубе, вспоминали события в техникуме, перемывали косточки преподавателю химии, которого не любили за его въедливость. Замерзли.

Тогда Степан повел меня греться в машинное отделение, рассказал, какая разница между пароводным двигателем и паровозным. Чувствовалось, что машины он любит и знает. Может, благодаря этому у него такое знакомство с командой, видно было, что за три года он много раз плавал на «Водопьянове». Но скорее

всего полюбили его тут не за интерес к машинам, а за то, что он словно магнит, все к нему тянутся, самых злых может смягчить. Сам он, смеясь, рассказывал, что его любят даже собаки.

Сколько часов проплыла, и мне так не хотелось сходить в Лоеве — плыть бы и плыть с ним, хоть на край света. До деревни своей — пятнадцать верст по грязной весенней дороге — я как на крыльях пролетела. И между прочим, в тот же вечер похвалилась новостью своей школьной подруге Любке-белогубке, которая и так за то, что я училась в Гомеле, а она не поступила, завидовала мне черной завистью. Еще бы! За мной ухаживает студент третьего курса. Мы вместе плыли с ним на пароходе. Любка даже посинела от зависти. А мне потом стыдно стало, что я такая обманщица. Какое там ухаживание! Просто вели себя по-товарищески, как и все студенты. Наши разговоры на палубе только такие вот деревенские несмышлениши, как Любка, могли принять за любовь, ухаживание, за что хочешь. А я почти год проучилась в городе и уже знала, что даже сходить вместе с парнем в кино, в парк — это еще ни о чем не говорит, ни о какой любви. Мне просто хотелось, чтоб Степан думал столько же обо мне, сколько я думала о нем. Но уже на третий день я поняла, что несбыточны мои мечты. Куда мне до такого парня! Договаривались, что и назад будем вместе плыть третьего мая на «Чкалове». Но напрасно я шныряла по всем уголкам парохода — Степана нигде не было. Вернулся он пятого или шестого, третьекурсники не боялись запоздать, тем более что у них, кажется, начиналась практика на паровозо-вагонном ремонтном заводе. Поздоровался со мной, как со всеми другими, и ничего не сказал о том, как нам было интересно на пароходе. Потом у него началась практика, и мы не видались до того дня, когда грянула война. Встретились на митинге. Я слышала, как ребята договаривались, что пойдут в горком комсомола проситься на фронт. А потом мы еще встретились на товарной станции, я была в отряде, который тушил пожар после бомбежки. Увидела, как Степан на маневровом паровозе, «кукушке», растаскивал горевшие вагоны. Девчата даже поговаривали на сей счет: мол, Степан еще не имеет диплома, а ему доверили паровоз. Но особенно не удивлялись: на войне все может быть, кому там до дипломов, когда вокруг все горит и рушится...

Вскоре девчатам младших курсов объявили, что им лучше расхаживать по своим домам. Пока не поздно. Стало точно известно, что немцы заняли Минск, подступают к Бобруйску. А у нас были студенты из Минска, из Бобруйска, из районов этих областей.

Правда, когда я добиралась домой по незнакомым тогда еще мне дорогам в междуречье, то война там не очень проявлялась, только в деревнях голосили бабы, провожая мужей и сыновей в армию, да пугали самих себя тем, что, дескать, вдоль Днепра и Сожа блуждают переодетые немецкие парашютисты, но я, к счастью, ни одного не встретила.

Связное дело досталось мне в наследство от Коли Бурца, орга-

низатора подпольной комсомольской группы в нашей деревне. У Коли в Гомеле, на заводе, работал брат Иван, старший, женатый, он имел свой дом в Новобелице. Коля часто ходил к брату и с его помощью связался с заводскими подпольщиками. После того как Коля не вернулся из очередного похода, большинство из нас подалось в отряд Тараса. Имя командира было Петр Тимофеевич, кто, когда и почему назвал его Тарасом, я так и не узнала за два года партизанства под его командованием, разве что догадывалась: сам себя так назвал в честь Кобзаря, стихи которого он часто декламировал, когда был в хорошем настроении. Я лучше, чем кто другой, знала Ивана, его жену, да и по виду, наверное, лучше, чем кто-нибудь, подходила для того, чтобы послать меня в Гомель и узнать о Колиной судьбе, попробовать восстановить связь с группой Мастера. В то время, весной сорок второго, только эта группа умела делать магнитные мины, хлопцы выносили их в Макеевское лесничество, а там у лесника их забирал Коля, никого другого лесник не признавал, ни с кем после исчезновения Коли на связь не шел.

Иван Бурец жил и работал по-прежнему. Коля пропал без вести, где, когда — никто не знал. Брат сильно переживал его потерю.

Иван наладил связь с многими надежными людьми, даже с одним полицаем — Рыгором Примаком, с которым я встречалась на рынке; он передавал мне сведения о всех гарнизонах Гомельского и Тереховского районов, которые стояли на нашем пути, когда отряд выходил на железную дорогу.

В июне гестапо арестовало всю группу Мастера. Печальную весть эту принес в отряд Фома Башлыков, немолодой уже человек. Я с ним не встречалась в городе и фамилии его от Ивана Бурца не слышала.

Командованию не понравилось, как Башлыков заявился в отряд, как он рассказывал о деятельности группы, — много знал, но, рассказывая о провале и своем спасении, путался, сегодня говорил одно, завтра другое.

Меня снова послали в Гомель с заданием встретиться с Примак-ом и через него попытаться узнать, как провалилась группа, какова судьба ее участников и кто все-таки Башлыков, — полицаям собрать такие сведения легче, чем кому другому. Но как встретиться с Примак-ом! Квартиры его не знали. Пойти в полицию? На крайний случай имелся в виду и такой вариант. Но чтоб особенно не рисковать, я снова подалась на рынок: авось повезет, если не самого Примака встречу, то заведу разговор с кем-нибудь из полиц-аев, и между прочим спрошу о своем знакомом, который служит в полиции.

Я сама придумала, чем торговать на рынке. Травами. Лекарственными. Павлу Адамовичу и всем командирам понравилась моя придумка. Травы я немного знала. У нас в селе жил старик Азар Карамаз, деревенский грамотей и врач, всем он говорил, что в цар-

ской армии служил фельдшером, хотя в действительности был санитаром. У него имелись книжки о травах, целых три. Он собирал травы, сушил и продавал их в Киеве. Говорил, что только в Киеве люди понимают пользу трав, там даже милиция не прогнала его ни разу с рынка. Даже какой-то известный профессор покупал у него травы и приглашал домой, угощал чаем.

Самому старику нелегко было уже бродить по лесу, по полю, и он научил нас, младших школьников, узнавать лекарственные растения, давал нам какие-то копейки, и мы приносили столько разной травы, что ему хватало не только на продажу, но и козе, которую он держал. Директор школы и председатель сельсовета запрещали ему эксплуатировать школьников, но мы направились на заработок, так как где еще могли заработать гривенник на книги, да и кино в те годы начали часто привозить в деревню, а мы уже не такие малые были — бесплатно нас не пускали на сеансы.

Вот так помогла партизанскому делу наука старого лекаря. Правда, самого Карамаза пришлось обидеть. На другой день после моего предложения Володя Артюк конфисковал у него сухие травы и одну книгу, самую толстую. Травы старик отдал охотно, расписал названия — догадался, откуда пришли ночные гости. А книгу жалел, доказывал, что хлопцы не разберутся, напутают, что лучше сам он будет собирать лекарства для партизан.

Травы были очень выгодным товаром. Во-первых, их удобно было нести все пятьдесят километров — в то время группа Федора еще не стояла под городом. Во-вторых, травы не яйца, которые по дороге отбирали хапуги полицаи и немцы, да и на рынке они собирали дань со всего того, что можно использовать. Пускай берут, пожуют травы. Но, пожалуй, самое главное, что с травой можно простоять на рынке целый день — не тот товар, чтоб его разобрали за полчаса. Позже я еще несколько раз приносила травы, правда, не всегда их продавала — не было времени торчать на рынке.

Именно тогда, когда я впервые торговала травами, надеясь увидеть Примака, я встретила со Степаном.

Он не сразу узнал меня: я была одета под монашку — черный платок, черная кофта в июньскую жару. Степан долго и заинтересованно листал книгу. Всем другим, кто подходил, я начинала объяснять, какая трава от чего — от живота, от головы, от ревматизма, артрита; я сознательно перемешивала простые крестьянские названия болезней с научными, медицинскими.

В присутствии Степана я молчала. Мне не нравилось, как он разглядывал книгу: так же тщательно до него листал ее полиц-ай — проверял, нет ли в ней какой-либо крамолы. Одежда его тоже не нравилась — железнодорожная, новая: хорошие ботинки, отутюженные брюки, китель нараспашку, под ним новая белая сорочка; правда, фуражки не было, немецкая кокарда на ней сразу выдавала бы, где он служит. Но видно было, что фуражку он носил, так как волосы не были такими выгоревшими, соломенными, как

в техникуме, потемнели и стали мягче, — наверное, недавно, вчера или, может, даже утром, помыл их с мылом. А мундиры такие и мыло имеют те, кто служит у немцев на железной дороге. Я почувствовала ненависть к нему: таким активистом был в техникуме, в Красную Армию рвался, а где оказался! Не хотелось, чтоб он узнал меня. Нарочно я отвернулась. Но Степан оторвался от книги и... удивился.

— Валя! Ты? — И захохотал: — Торгуешь травами?

Я спросила со злостью:

— А ты чем торгуешь?

— Я служу...

— Вижу, что служишь. Кому?

Он понял, что я осуждаю его. Вдохнул:

— Есть, Валя, хочется. И жить. Умирать рано.

Я ужаснулась от мысли: неужели и он, Степан, мог изменить Родине? Для меня это было так же, как если бы мой отец или брат перешли к фашистам. Я вглядывалась в его лицо; что-то же должно в нем измениться, не может быть, чтоб человек, который предал, ни в чем не изменился. Но ничего особенного в нем я не заметила. Такое же милое, любимое мной, веселое лицо, усыпанное веснушками. Он увидел, как я внимательно рассматриваю его, и весело засмеялся:

— Нет, это же просто анекдот, что ты торгуешь травами. Как бабка... Что ты понимаешь в них?

— У меня дед лекарь, известный на всю округу. Дед собирает...

— И много ты зарабатываешь?

— На соль хватает.

— Только на соль?

— Тебе соль дают, и ты не знаешь, что это такое — жить без соли. — Тут я сдержалась только потому, что подумала: а нельзя ли его, Степана, попросить поискать Примака?

— На железной дороге служишь?

— Помощником машиниста, — казалось, не без гордости похвалился он и снова засмеялся: — А чтоб сердце присушить, такой травы нет? Принеси.

— Дурнопахнущую принесу. Хочешь?

— А что, от него будешь дураком и пьяным? Давай! Теперь все пойдет! Вoroжить ты не научилась? Вoroжей теперь хорошо зарабатывают.

Какая пустая болтовня! Ни одного лишнего слова, чтоб человек как-то раскрылся. Не был он прежде таким. Как интересно он говорил, когда мы плыли на пароходе... Во всем смысл был. Глубокий. Неужели все-таки изменился? Обидно мне стало. Злость начала одолевать. Уходил бы ты, парень. Только мешаешь наблюдать за рынком — не мелькнет ли знакомое лицо Примака.

Он купил несколько корней девясила. «Машинисту, — сказал, — своему подарю». А машинист, наверное, немец. Заплатив марками,

не хотел брать сдачу — на бедность мне оставлял. Оскорбило это страшно. А как ему отомстить? И месть я выбрала странную и рискованную — сказала тихо, правда, чтоб только он услышал:

— А травы я собираю в лесу.

Не сразу дошло до него. Поболтал еще несколько минут и попросился, пошел, кстати сказать, очень уверенно, никого не боясь, так как имел аусвайс, который защищал его от любой облавы. Пристально наблюдая за людьми, я увидела еще раньше, как по-разному они ходят в городе вообще и на рынке особенно, совсем не так, как у нас, в лесу.

Но через несколько минут Степан вернулся, и вид его как-то сразу изменился, из беззаботного зубоскала он превратился в серьезного парня, немного настороженного.

Пока около меня были люди, он стоял сбоку, прислушиваясь к тому, что я говорю, как объясняя целебные свойства трав.

В предчувствии опасности я начала нервничать. Что ему надо? Когда люди отошли, он наклонился и тихо спросил:

— Так, говоришь, травы ты собираешь в лесу?

Я оглянулась так, чтоб дать ему понять, что тут, на рынке, есть люди, которые охраняют меня, а если что случится, то они хорошо запомнят того, кто тут крутился и разговаривал, как старый знакомый.

— Что тебе надо? — строго спросила я у Степана.

Он понял мою настороженность и сказал громко, пускай слышат и близстоящие:

— Ничего. Просто хочу, чтоб ты по-землячески зашла ко мне в гости. Я живу на улице Бакунина, это недалеко. — И назвал номер дома.

Конечно же в тот раз я не пошла к нему, хотя прожила в городе три дня «у тетки своей». Через тетку эту, связную нашу, работницу типографии Ганну Фукс (немецкая фамилия давала ей определенные привилегии), я добилась встречи с Примаком и потом дала, пока он узнает о судьбе парней из группы Мастера и про Башлыкова. Известия были печальные: парней расстреляли в лесу за туберкулезной больницей. А о Башлыкове ничего определенного. Когда гестапо арестовывало, то сделало это так, что даже полиция ничего не знала и не могла узнать. (Между прочим, через некоторое время Башлыков удрал из отряда. Правда, следы его измены ни в чем не проявились. Просто, видно, был трус, испугался и в городе, когда товарищей арестовали, и в отряде почувствовал, что его подозревают, не спускают с него глаз.)

Вернувшись, я доложила командирам обо всех новостях, которые принесла из города, не утаила и о встрече со Степаном. Все рассказала, как было, хотя боялась, что за неосторожность, лишний риск получу выговор. Не думала, что их так заинтересует этот парень. Позднее поняла, что в то время почти все соседние отряды мечтали об организации подпольно-разведывательных и диверсионных групп на таком узле, как Гомель.

Павел Адамович спросил не сразу, на другой день, после того, видимо, как командиры посоветовались между собой:

— Не побоишься, Валя, сходить в гости к этому Жданко? Не продаст?

— Мог бы сразу продать. Место было удобное — рынок.

— Да черт его знает... Подумай. Доверяй, но и проверяй.

Сходить мне хотелось. Об этом я думала, когда возвращалась из города. Меня тянуло туда, к нему, хоть и понимала, что это немалый риск. В глубине души, однако, верила в свою счастливую судьбу. Наивно думала не только об удаче в выполнении боевого задания, но и о своей судьбе девичьей, о бабьем счастье. Думала почти так же, как после поездки на пароходе. Ругала себя за такие мысли: дурочка, все останется по-прежнему, если не хуже, сейчас ведь другое время, другие условия. Не до меня-ему. И вообще на что ты надеешься? Смешно! На тебя и в отряде никто не посмотрел из тех, на кого ты сама заглядывалась. Володя Артюк, например.

Но кто же из нас в свои восемнадцать лет не мечтает о чувствах, которых еще нет, и о том, кого еще нет. А если он есть, если поселился уже в сердце — тем более.

Пошла я с гостинцами — яйцами, салом, самогонкой: меньше боялась в этот раз немецких постов, больше — хозяев его, Степана. Кто они? Родственники? Чужие люди? Какое у них настроение? Какую легенду для них придумать, чтоб убедила и не испугала? Кто я Степану? Односельчанка? А вдруг они родственники, оттуда же, из Комарина? Вместе учились? Так за каким делом пришла? Только большое горе может привести в такое время из Комарина или даже из Лоева. Какое же горе у меня?

Легенд разных мы выдумали несколько — вместе с Павлом Адамовичем, с Артюком. Но ни одна не понадобилась.

Встретила меня женщина лет пятидесяти. Открыла, между прочим, калитку не сразу — разглядывала через щелку в дощатом заборе. Но и я увидела ее. Лицо ее на первый взгляд показалось суровым и сердитым. Но меня это не смутило. Мне понравился ее простой, крестьянский вид, ее одежда. В то время я, хоть и прочулась год в техникуме, все еще недолюбливала и немного боялась городских, кичливых, нарядно одетых. Быстрее всего я знакомилась с деревенскими людьми.

Мы долго, может, минуту или две разглядывали через щелку друг друга. Не ожидая вопроса хозяйки, я сбросила с плеч свой нелегкий рюкзак, лямки которого натерли мне ключицы до крови, и сказала громко, без всякой таинственности:

— Я к Степану Жданко. Тут он?

Женщина открыла калитку и приветливо улыбнулась, от чего лицо ее сразу подобрело:

— Сестра его? Валя?

Как хорошо ёкнуло мое сердце! Значит, ждал! Ждал! Ждал! Сам придумал такое. Самое простое. Самое вероятное. О другом

я в ту минуту не подумала. Засмеялась от радости и чуть не кинулась на шею этой доверчивой женщине.

— Да... Сестра... Валя... я...

Легко и быстро мы познакомились, разговорились, как давние знакомые. Но я чувствовала, как нелегко мне поддерживать разговор. Христина Архиповна про «нашу» жданковскую деревню и семью слышала уже немало, а я ничего не знала, даже названия «своей» деревни. Тогда я подумала, что в конспирации Степан наивец, как ребенок. Подготовив хозяйку к тому, что к нему может прийти сестра Валя, он мог легко провалить меня. Хорошо, что хозяйка такая простодушная и сама первая раскрыла замысел Степана.

Дом, как и другие тогдашние дома в том районе, еще во многом напоминал деревенскую хату, очевидно привезен был из деревни или, во всяком случае, сруб ставили сельские плотники. Всего два окна на улицу, крыша обычная, без скошенных карнизов, гонтовая. Внутри же хата перепланирована по-городскому: с веранды попадаешь в темноватый коридорчик, налево дверь в чистую половину, самую большую комнату, оклеенную обоями, убранную по-праздничному, со множеством фикусов в кадках и огоньков на подоконнике, с фотографиями в рамках на стенах; из этой комнаты низенькая дверь вела в узкую и длинную комнату с одним окном — хозяйскую спальню с никелированной кроватью, на которой лежала гора подушек. Но все это свое богатство Христина Архиповна показала позднее. А сначала повела меня из коридорчика направо — на кухню с русской печью, но и с городской плитой и конфорками в припечье; удобно это: хочешь — топи печь, хочешь — плиту. Раньше, наверно, вся эта задняя, дворовая часть хаты была черной половиной, или, говоря по-современному, кухней. Позже ее перегородили и выделили узкую, но светлую, в два окна, комнату. Там жил Степан. Еще до того как хозяйка сказала, что это «брата моего» комната, я узнала это по запаху: в ней пахло, как на вокзале, металлом, углем, маслом. На подоконниках, самодельном столике, стоявшем в углу, лежал разный слесарный инструмент. Христина Архиповна похвалила Степана: мастеровой парень, за что ни возьмется, сделает, вот, мол, счастлива будет жена за таким мужем. Слова ее о жене меня рассмешили. Вообще, несмотря на подводные камни в разговоре, на необходимость держать ухо остро, чтоб не сбиться, настроение мое поднялось, так как все складывалось наилучшим образом и все мне нравилось. Окна Степановой комнаты выходили в густой сад; гомельские сады славились на всю Беларусь — город-сад. Порозовевшие уже вишни прямо стучались в окна, просились на стол. А немного поодаль на ветках свисали зеленые, но уже крупные плоды белого налива.

И у меня вдруг больно сжалось сердце: очень уж по-мирному тут все — покой, благополучие, будто и нет ее, страшной войны. А я же неделю назад видела за Сожем, на украинской стороне, сожженную вместе с людьми деревню. Мы на рассвете совершили

туда вылазку: может, кто спасся, спрятался или ранен... Нашли во ржи мальчика лет шести. Как он испугался, как трясся! Успокоился только тогда, когда узнал, что мы партизаны. Все понимал, как взрослый. И рассказал, как жгли деревню, как мать перебросила его через забор в рожь, как прошептала: «Беги, Мишка! Беги!» Гитлеровцы зверствуют, но повсеместно разгорается борьба с врагом. А тут такой нетронутый мешанский быт... Но потом стало стыдно: чего это я вдруг настраиваю себя против человека, которого совсем не знаю? А может, она, хозяйка, помощницей нашей будет?

Степан пришел под вечер. Мне надо было бы притаиться и дожидаться его в комнате. А я, как влюбленная, услышав его голос, выскочила навстречу на веранду. И он радостно крикнул:

— Валька! Сестричка!

И при хозяйке обнял меня и крепко поцеловал, обдав запахом паровоза. Так поцеловал, что у меня закружилась голова и кровь залила лицо. Но я тут же спохватилась: увидела на нем парусиновый китель, не наш, у нас таких не было, немецкий, и пуговицы немецкие, с орлами, и фуражку с фашистской эмблемой — и на какое-то время будто стена между нами встала, у меня даже враждебность зашевелилась, и оба мы странно растерялись, не как брат и сестра и не как влюбленные, а как давние знакомые. Хорошо, что хозяйка не очень пристально следила за нами, занятая своими хлопотами.

Определенная близость и почти полное доверие у меня появились тогда, когда он скинул китель и сорочку, до пояса разделся и позвал меня во двор полить ему воду из ведра. Я увидела на его плече шрам.

— Где это тебя?

— В Сновске, когда мы выводили последний состав из Гомеля. Расколошматили они, немчуги, нас вдребезги, — сказал он, фыркающая ахая от холодной воды, которую я лила ему на шею, но именно в этот момент я поняла, что пришла не зря. Что он может выдать, этого я не боялась, но что может испугаться и не принять наше предложение, об этом думала и переживала. С какими глазами появлюсь тогда перед командиром: нашла, скажут, знакомого — прислужника фашистского!

Оглянувшись, нет ли поблизости хозяйки, Степан сказал:

— А я знал, что ты придешь. Спроси: почему?

Я брызнула на него водой и счастливо засмеялась.

После раннего ужина мы стояли в его комнате перед окном, наблюдали за хозяйкой, копавшейся в саду у соседского забора, где на полянке были грядки огурцов, лука, помидоров, и разговаривали о деле. Просто, без особой дипломатии я передала ему предложение командования стать партизанским разведчиком на железнодорожном узле.

Он ответил не сразу, и я снова со страхом подумала: неужели трусит? Спросила:

— Согласен? Не боишься?

— Ну даешь ты, Валя! Зачем же ты шла ко мне, если так думаешь? Я всю осень и зиму искал связи с партизанами, да так и не нашел. Где они? Немцы хотели меня в Германию заграбастать, потому и подался на железную дорогу — ближе к своим, не может быть, чтоб на таком узле не осталось наших. Есть! Сколько диверсий было уже! Но связаться ни с кем не могу. Мы свою группу организовали. Четверо нас. Добыли тол. Собираемся мины делать, осваиваем технологию. Правда, никакого учебника по минам нет. Надо до всего доходить своей головой.

Отлегло у меня от сердца. Хорошо получилось: вон он какой, Степан! Хотя что тут удивительного? Разве мог он быть иным? Но тут же приказала ему: до следующего моего прихода никаких диверсий, ибо понимала, что Степан и его друзья могут стать серьезной разведгруппой, а на мелких диверсиях, не имея опыта, могут сразу же провалиться. Возможно, я превысила свои полномочия, а может, просто меня охватил страх за него. Но потом Тарас похвалил меня за такую инициативу: правильно приказала!

А Степана тогда, видимо, немного удивила такая моя внезапная власть над ним, самолюбие, наверное, заело: он еще и не согласился, а я уже командую!

— Так давай задание, — сказал он, не скрывая обиды.

— Дам. Не спеши. Это тебе не блох ловить. — И, наклонившись ближе к нему, так как хозяйка возвращалась в хату, прошептала: — Тебе задание может Москва дать, а не я. Думай головой, а не котлом паровозным.

У него загорелись глаза.

— Вы имеете связь с Москвой?

Странный человек! Неужели думал, что я пришла от какой-то группки, которая сидит в болоте, изредка пугает местных полицейских и лягушек? Я только засмеялась в ответ на его вопрос. Потом расспрашивала о его работе: какие составы они водят, куда, с чем, как комплектуются паровозные бригады, часто ли нарушается график движения, на каких магистралях в особенности... Я хорошо знала, что интересует моих командиров: отряд начал выходить на железную дорогу.

Одно не понравилось: рассказывая о своей бригаде, Степан хвалил машиниста-немца: мол, паровозное хозяйство знает как свои пять пальцев и человек душевный, обо всем с ним можно поговорить. Для меня в то время добрых немцев не было, Степаново восхищение немцем откликнулось болью в сердце, оно оскорбило меня, а что еще горше — снова на какой-то момент дало повод к сомнению и подозрительности: к тому ли человеку я пришла? Немца, видишь ли, полюбил...

Бросила ему с упрёком:

— Не развешивайте уши перед немцем.

Нет, оккупантов Степан гневно ненавидел, особенно когда рассказывал о том, что делается в городе, — о расстрелах военнопленных в Лещинце, об уничтожении еврейского гетто.

Я попросила его рассказать о своей деревне, о родных, обо всех своих: раз он придумал то, что я сестра, значит, мне обо всем надо знать.

— Я наведаюсь к твоим.

Такое обещание почему-то рассмешило его. Вообще весь тот вечер он был очень веселый, шутливый, какой-то даже беззаботный, что меня порой тревожило. Об одном только сказал всерьез:

— Ты спросила: не боюсь ли я? Знаешь, чего я боюсь? Что погибну от своих. Подорвут меня партизаны где-нибудь под Жлобином или Новозыбковом.

Я поняла: это действительно страшно — погибнуть от своих.

Спать улеглись рано; электричества не давали, керосиновую лампу не стали зажигать, да и не было необходимости в том, чтобы засиживаться: завтра мне рано вставать, километров пятьдесят отмахать надо, а Степану — на работу.

Степан уступил мне свою кровать. Хозяйка приглашала его пойти спать в зал, на диван. Отказался. Постелил себе в кухне на полу, рядом со мной, даже дверь не закрыл в свою комнату. И я не закрыла ее.

Вот тогда, в темноте, и начались мои девичьи страдания. Почему он лег именно тут? Почему не закрыл дверь? Что делать, если он вдруг вздумает прийти ко мне? Отбиваться, наделать шума и выдать себя хозяйке, что я не его сестра?

Сжавшись в комочек под одеялом, от которого тоже пахло паровозом, я со страхом и душевным трепетом прислушивалась к его дыханию. По тому, как он ворочается, слышала — не спит. Сердце мое то замирало, то начинало стучать, казалось, на весь дом — учащались удары, как тогда, когда в рейде за Добруш подо мной убили коня и я бежала за своими пешком, чувствуя, что немцы вот-вот догонят, бежала, пока Володя Артук не вернулся и не подхватил меня, не вскинул на холку коня, как куль соломы.

Страшно было, что он, Степан, придет, но где-то в глубине своего девичьего существа я хотела этого. Знала, что война не остановила жизнь. Люди любят, женятся, рожают. В том числе и наши партизаны и партизанки. И я мечтала полюбить, поглядывала на парней. Однако отжаться вот так, сразу, придя на ответственное задание, — казалось, что я не только опозорю свою девичью честь, но и как бы нарушу наш партизанский закон — точно не знала какой.

Я просила Степана мысленно, будто он уже пришел: «Степочка, родненький, я люблю тебя. Но не надо, не надо...»

Мне было и страшно, и радостно. Конечно же радость превозмогла, и я, успокоившись, заснула, утомленная длинной дорогой.

Ночевала я в квартире Степана не часто. Командиры мои справедливо считали, что частые визиты к «брату», за сто километров,

в военное время могут вызвать подозрение и у хозяйки, и у соседей, да и вообще могу притащить хвост. А Степаном, его группой очень дорожили — их разведанными. Вскоре оправдалась моя догадка, мое обещание ему. Степан сделался не только партизанским разведчиком. Осенью, после октябрьского праздника, я привела к Степану радиста, прилетевшего с Большой земли. Рацию, правда, пронесли в город не мы — парни из отряда Федора. После этого вообще меня реже направляли в Гомель. До появления радиста я ходила раза по два, а то и по три в месяц. Со Степаном встречались в разных местах — у того же Примака, у дядьки Толи, у Фукса. И только раза три на квартире у него, вот тогда и ночевала там, чтоб поддержать перед хозяйкой правдивость легенды. По-прежнему я спала на его кровати, а он ложился в кухне. И всегда я ждала его с не меньшим волнением, чем в первый раз, ибо любила Степана все сильнее и сильнее, о нем одном думала все время — в дороге, в отряде. Уходила каждый раз разочарованная, не получая от любимого даже ласкового пожатия руки, поцелуя. Вина не его — себя: разве можно полюбить такую? Он, наверно, и за девушку меня не считает. От отчаяния лезла на рожон — шла слишком смело, рискованно. Но видно, даже немцы и полиция не верили, что такая невзрачная девчонка — партизанка. Мне везло, как, пожалуй, ни одному нашему связному.

Все произошло месяц назад, в мае. Заходить к Степану у меня не было задания. Шла к речникам. Немцы пустили пароход по Сожу. Володя Артук пытался сжечь этот «броненосец», но он орызнулся не только пулеметами, но и оружием. Вон какая игрушка! Что же он собой представляет? С какой целью ходит туда-сюда? Из кого состоит команда? Какое имеет вооружение? Все это надо было знать, чтоб поумнее спланировать операцию по уничтожению парохода.

Между тем в этот раз я тоже пришла с мешком лекарственных трав. На посту полицейские вытрясли их и посмеялись. Но на рынке спрос на травы был куда большим, чем год назад, за какой-то час разобрали все до корешка.

Может быть, травы и напомнили мне наши прежние встречи. Еще в дороге у меня ныло сердце. А на рынке и страх одолел. Не видела я Степана уже месяца три. За это время человек мог погибнуть — такие опасные задания выполняет! И я ничего не знаю о нем. Откуда я могу знать, если наши к нему никого не посылают. Провалится один он, а радист уцелеет, так не обязательно армейский центр станет радировать партизанской бригаде о провале разведчика, с которым имели непосредственную связь. А если и сообщат, то командиры могут не сказать мне о такой печальной новости.

Не могла я так долго ничего не знать о Степане. Не могла не зайти к нему. Быть тут, в городе, на Сенном рынке, в десяти минутах ходьбы от его квартиры, и не повидать его? Пускай это будет нарушением дисциплины. В конце концов, рисковала я только со-

бой, в случае ареста ничего из меня не выбьют — в себя я верила, в свою волю, твердость характера, — возможные мучения не страшили меня.

На одно не хватало воли — не видеть его.

Безусловно, рисковать приходилось, ведь пошла к нему после встречи с речниками, а в конспиративном опыте этой молодой группы мы не очень еще были убеждены, с такой малопробованной явки можно потянуть за собой хвост. Поэтому я некоторое время побродила в приречном районе, «поискала землячку». В заливный район перебралась через переходный мост, что возле вокзала. На нем всегда проверяли документы. Но это и нужно было мне, поскольку с моста, с его вышины, легче чем где-либо убедиться, что за тобой не следят.

Степан был дома и встретил меня радостно. На своей квартире он всегда встречался со мной совсем иначе, чем на других явках, где передавал разведданные, — там он был молчаливым, каким-то отчужденным, как бы малознакомым, даже тогда, когда никого рядом не было. С тех явок я часто уходила с сердечной раной, с тяжелым настроением из-за его угрюмости.

На квартире, может для хозяйки, мы встречались как брат и сестра, любящие друг друга.

Когда же сказала, что никакого задания не имею, что пришла просто так, повидать его, и стыдливо призналась: «Соскучилась я по тебе, Степа», — он совсем преобразился. Сделался такой же веселый, шутиливый, каким я знала его в техникуме, где он не пропускал ни одной девушки, чтоб не зацепить, не сказать что-нибудь приятное. В ответ на мои слова, что соскучилась по нему, подхватил меня под мышки, закрутил по тесной комнате, радостно выкрикнув:

— Валька, ты же молодчина! Я и не догадывался, что ты такая...

«Какая? Какая?» — хотелось спросить, но не от кружения — от взгляда его, так как смотрел он на меня совсем другими глазами, мужскими, добрыми, ласковыми, очень близко смотрел, — у меня действительно закружилась голова, поплыли стены, потолок, окна. Я села на кровать и виновато улыбнулась.

— Устала? — заботливо спросил он.

Конечно устала. Хотя шла в тот день от Федора, но все равно немалая дорога, да и на рынке с травами постояла. А сколько бродила по городу, чтоб не привести за собой шпика! Но не об усталости думала. Завтра его обрадовала, растрогала. «Любимый, славный, родной Степа...» — с умилением, от которого боялась расплакаться, шептала я мысленно.

За ужином, при хозяйке, Степан расспрашивал о своих домашних, я рассказывала, сочиняя разные деревенские истории; рассказывать про дом теперь было нетрудно, так как еще прошлым летом я все-таки наведалься в его деревню — ходила выменивать одежду на продукты — и познакомилась с его матерью, младшим

братом, соседями. Хату нашла по приметам, о которых сообщил Степан, а мать узнала по лицу. Очень жалела, что не могла, не имела права передать ей привет от сына, рассказать о нем: не го-мельчанкой я пришла, черниговкой.

Степан слушал мои рассказы и хохотал, даже за живот хватался. Хозяйка смотрела на него по-матерински ласково, довольная. Сказала мне:

— Почаще бы ты, Валя, приходила. При тебе оживает Степанка. А то иногда такой озабоченный, темнее тучи. Сердце болит, когда смотришь на него.

— Станешь тучей, Архиповна, если уже дважды партизаны под насыпь спускали. Чудом как-то спасался. Мать, наверно, за меня молится. И Валя.

— Бросал бы ты, Степанка, такую работу. Свои же убить могут. Как полицейского Комаркова — в собственном дворе повесили. Это же надо — считай, посреди города. На рассвете, говорят, пришли, жене тряпку в рот, а его на ворота.

— А куда же деваться, Архиповна? На каторгу немецкую идти? Сразу погонят, только брось железную дорогу.

— В партизаны иди. Там хоть и убьют, так немцы, а не свои. От своих страшно умирать. Это же все равно что меня родные дети убили бы...

Вот тебе и хозяйка! А я боялась ее, недолгоблывала почему-то и не особенно верила ей: хотя сын ее в Красной Армии, так зять же тут, в городе, служит в управе каким-то начальником. И она никогда его не ругала — надо, мол, как-то жить — и Степана не ругала за службу у оккупантов, хвалила за хозяйственность, очень ей нравилось, что никогда домой с пустыми руками не приходит.

Меня тоже встревожило, что Степановы составы подрывали — так и действительно можно погибнуть от своих. После ужина я спросила у него, как это было. Он беззаботно засмеялся:

— Испугалась?

— Да, боюсь, — честно призналась я.

Он снова стал серьезным.

— Что сделаешь, Валя, война. Подорвали один раз. Хорошо, что мы платформу с балластом перед собой гнали. В другой раз я сам себя рванул. Парни мину подложили под средний вагон, оторвало полсостава на закруглении под Унечей. Четырнадцать вагонов с артиллерией под откос. И то хлеб... Пока отремонтируют те мортиры, сколько наших людей будет сбережено!

Мы вышли в сад, и Степан показал мне шалаш, который сам поставил и в котором решил ночевать все лето — сторожить хозяйкины яблоки, — сад хорошо цвел, а прошлым летом соседские мальчишки обобрали лучшую грушу. Шалаш стоял под старой яблоней, небольшой, но сделанный прочно, покрытый немецким гофрированным железом. Железо это, нагретое за день, пахло почужому, не так, как наше. Но в самом шалаше по-родному пахло свежим сеном. Степан скопил в саду у забора сочную майскую

траву. Вход в шалаш закрывался куском тяжелого, как бы промасленного, брезента. Когда мы, как дети, залезли в шалаш, Степан закрылся брезентом и сразу обнял меня, крепко прижал к себе, поцеловал в шею и, горячо дыша в ухо, прошептал одно имя:

— Валька!..

Но как прошептал! Больше уже никто никогда не шептал мне так... Я сжалась, замерла, слушая удары его и своего сердца. Я, жадная, ждала еще и других слов, но он молчал, снова прижав губами к шее. Я спросила:

— Что, Степа?

— Что? Знаешь что? — еще тише зашептал он. — Я оставляю окно открытым. Ты потихоньку вылезь и приходи ко мне. Архиповна спит крепко. Согласна?

Тогда я сама нашла его губы и продолжительным поцелуем подтвердила свое согласие. И тут же откинула брезент: нехорошо, что мы спрятались в шалаше.

Потом мы ходили по саду, и Степан рассказывал мне о яблонях.

— Знаешь, я становлюсь садоводом. У Архиповны есть книжка, и я за зиму почти выучил ее на память. Читаю с большим интересом, чем любой роман... Яблони стали для меня как дети. Каждая со своим характером, болезнями, капризами.

И вдруг он остановился возле забора, показал мне тесовую доску, отличающуюся от других — была поновее, — и прошептал:

— Она так пригита, что поднимается снизу. Там сад старика, дом которого выходит на улицу Островского. Старик злой, но не беда, он глухой. Калитку со двора на улицу запирает на ключ, но ключ вешает на гвоздик, что на верее, слева, ближе к дому. Если так вот рукой провести по верее...

Он думал об аресте, о том, как спастись в последнюю минуту, потому, наверно, и в сад перебрался, и мне тропку показывает на всякий случай. Я это хорошо понимала, по себе знала, как это важно — иметь еще один вариант легенды или такой вот, пускай и простой, запасный выход, тогда не будешь чувствовать себя в безвыходной ловушке, в капкане.

Мысли об опасности, которая каждый день висит над ним, омрачили мою радость. Ложась в постель, я ждала той минуты, когда смогу вылезть в окно, не с трепетом девушки, не со страхом и радостью, как тогда, когда ночевала впервые, а с мыслями о том, что нас может настигнуть. С невеселыми мыслями, но светлыми и чистыми. Так думает умная жена перед проводами мужа на войну: понимая неизбежность его ухода в смертельно опасную неизвестность, не плачет, не голосит, а хочет дать ему последнюю, самую большую радость, которая бы запомнилась им обоим навсегда.

Хозяйка, как назло, долго топталась, под ее тяжелыми шагами скрипели половицы. А когда наконец скрипнули старые пружины матраца, сразу же на кухне, под печью, отозвался сверчок. Он мешал слушать тишину — устанавливалась ли она вокруг? Но тут

же я подумала: а зачем она мне, тишина? Я же ничего и ни у кого не краду. Я иду торжественно, как под венец, с любовью в сердце и с желанием связать свою жизнь с его жизнью — на час, на ночь или на долгие годы, в то время не имело значения, об этом я не думала. Я любила, я горела желанием узнать радость любви, а в такие минуты забываешь обо всем.

Я поднялась не очень осторожно, раскрыла створки окна, но тут же вспомнила о тайном выходе и подумала, что нельзя вылезать в сад в одной сорочке, захватила с табуретки свою одежду, прижала к груди.

Степан ждал под окном, за сиреневым кустом; он взял меня на руки, легко понес к шалашу...

Проснувшись я на рассвете оттого, что затекла рука — голова Степана лежала на ней. Может, тогда, в тот миг, я почувствовала наивысшую радость. И наибольший прилив ласки, нежности. Я чувствовала мужское тепло, слушала ровное дыхание и боялась потревожить сон; казалось, что Степан моя частица, которую нельзя отнять, без которой нельзя жить. Как только до сих пор я жила?

Сквозь щели в брезенте цедился розовый свет. Было холодно: майские ночи еще не теплые. Надо уходить, пока не проснувшись хозяйка. Только попыталась я тихонько освободить руку, он проснулся и притянул меня к себе.

— Пора, Степа.

— Пора.

Но долго мы не могли расцепить рук, так как предстояло идти не просто в дом — в партизанскую зону, надо было расставаться. На какое время? Когда встретимся вновь?

Мне было чему радоваться: я иду к любимому так скоро — через какие-то три недели! Не надеялась на это. Вообще боялась, что к нему больше не получу задания. А не зайти к мужу своему нельзя, не выдержу... быть в городе — и не забежать к нему! А как объяснить это командирам? Снова нарушать строгие правила разведки и обманывать их? Не хватило у меня духу признаться, что я заходила к Степану, — боялась, что выдам, с какой целью, то, тайное, выдам, что произошло между нами. Не готова я была к такому признанию.

И вот опять посылают к нему. А радости нет. Самое мучительное, что нет радости, той, о которой я мечтала три недели, представляя свой очередной приход в Гомель даже и в том случае, если навеститься к Степану придется снова самовольно. Неловко перед командирами. Но у меня есть право! Я его жена. Если сообщу об этом в отряде, в штабе, все поймут и простят. Командиры строгие, но добрые.

Нет, все-таки держалось бабье, не отступало. Излишне придирчиво я прислушивалась к тому, как спит Маша.

«Глупая, глупая! — ругала себя. — Ты же оскорбляешь Степана. Как это можно не верить мужу? Во всем верим друг другу. В том великом, за что на смерть пойдет и он, и я сама. А это же — бабье... пережиток какой-то. Да и Маша... Она, наверное, замужем, раз рожала».

Хотелось думать о Маше лучше: она же спасла от смерти и себя, и меня. Если б не ее находчивость, не увидела бы я не только Степана, и света белого не видела бы, не ощущала бы вот такого душистого сена. А оно пахло так же, как и тогда, в том садовом шалаше. Только там еще пахло чужим железом. А тут — привядшей березовой листвой. Не этот ли опьяняющий, как брага, аромат возбуждал и не давал задремать?

Маша перестала говорить во сне и дышала ровно. Странно: я ведь знала, как это важно — хорошо отдохнуть перед таким днем. И все же снова и снова думала с тревогой: как можно так дрыхнуть после всего, что пережила! Уморила, пройдя каких-то тридцать километров? Белоручка! Какая же ты разведчица?!

Шаги возле шалаша. Это Федор, ему тоже не спалось. Видно, проверял часовых. Тревожило его все, что случилось вчера днем. Забот много. С нами тоже. Землянику выменяли у деревенских детей на немецкие консервы. Не нравилась мне такая операция. Совсем не нужно это, нам с Машей не нужно, чтобы дети разнесли по селу, что партизаны за консервы купили у них ягоды, много, добрый десяток кувшинов. Свое недовольство высказала Федору. Видела: ударила по его командирскому самолюбию. У Федора большая самоуверенность, ему трудно было согласиться, что он что-то сделал не так. А между тем я слышала высказывания партизан о том, что старый лагерь оставили зря, что прежний лагерь лучше замаскирован, что никакая «рама» не могла его обнаружить. Временная позиция на этом взлесе партизанам явно не нравилась. Но я вспомнила, как, посмеиваясь, говорил комбриг: тактические комбинации Федора ни один военный гений никогда не поймет и не объяснит.

Однако то, что командир не спал, сам проверял часовых, как-то успокоило, рассеяло невеселые мысли. Если бы не совы, я могла бы заснуть. Почему они так разголосились? Как на беду...

IV

До поста на Речидком шоссе мы дошли без приключений и без особой усталости, по утреннему холодку, хотя ноши у нас были немалые. Предосторожность Федора, думала я дорогой, была излишней: если бы начиналась карательная операция, блокада, то вряд ли удалось бы нам добраться до города, не встретив ни одного немца и даже полицая. Возле шлагбаума дежурил старый солдат, тыловик — не немец, венгр. За два года я научилась распознавать

форму всех оккупантов — итальянцев, румын, финнов... Только испанцев не видела.

До нашего прихода солдат сидел в полосатой будке и к человеку, обогнавшему нас на велосипеде, даже не вышел — знакомый, а может, потому, что у велосипедиста не было никаких вещей, даже пиджака, в одной клетчатой рубашке ехал.

К нам солдат вышел недовольный, с сонным видом, позевывая. Знаками приказал снять с плеч корзины. Увидел землянику — оживился, весело зачмокал, черпнул ягод полную горсть, набил рот, смешно скривился и укоризненно покачал головой: мол, плохие, зеленые, много кислых. Я зачерпнула ему пригоршню из Машинной корзины, где зеленых было меньше, протянула ему: ешь, пан. При этом подумала, что такому солдату не надо отдавать самогонку и яйца, хватит с него, старого гриба, ягод. Сэкономим хоть на этом.

Глянула на Машу. Она стояла неподвижно, как статуя, с застывшим, бледным лицом; такая она была со вчерашнего дня, сутки в рот ничего не брала, сегодня на рассвете едва уговорила ее съесть немного ягод и черствого хлеба. Федор напрасно предлагал нам консервы: от их запаха у Маши снова начались спазмы, мне тоже пришлось отказаться от мяса, хотя я с удовольствием съела бы его, но прятаться от других было неловко.

Я уже радовалась, что часовой оказался непридирчивым стариком. Но в этот момент из бункера, из черной пасти его, как медведь из берлоги, вылез полицай. Знакомый. С ним я встречалась тут уже раза три. Тоже немолодой человек — худощавый, будто с задубевшей кожей на лице, без большого и указательного пальцев на правой руке, культя его сразу бросалась в глаза, казалась зловеще-мерзкой, как гнойная рана. Он был придирчив. Любил перетрясти все — узлы, корзинки, мешки. Травы мои лечебные в прошлый раз высыпал в песок, гад. Не постыдился ощупать тело. Оттого, что он проводил культей по груди, по ногам, было особенно противно, гадко, хотелось потом сбросить свою одежду, помыться. Я страшно ненавидела этого типа. Но каждый раз должна была улыбаться ему.

Он мне тоже улыбнулся, как старой знакомой, даже несколько приветливо. Сказал:

— Все ползаешь, мышь? У нас возле бункера мышь живет, тоже вот так шмыгает. И хитрая такая же, как ты.

— А что же делать, дяденька? В хате пятеро малышей. Их одеть надо, обуть. И соли ни щепотки. Староста нам справочки дал. — Но полицай бумажки не интересовался, справки мои он уже видел, проверял. Он засунул свою гадкую культю в землянику, на самое дно корзины, покопался там, нет ли чего под ягодами; вытащил культю, красную, точно в крови. Небрезгливая я, но тут меня чуть не потянуло на рвоту, как вчера Машу. В корзине, на ягодах, лежала бутылка самогонки, завернутая в тряпку. Он не успел развернуть, посмотреть, что там, как я наклонилась, взяла

бутылку в руки. Как же он выхватил ее у меня! Со страхом. Неужели думал, что мина?

— Это вам, пан начальник. От мамы моей. Дай, говорит, доброму человеку...

Полиций засмеялся и посмотрел бутылку на солнце. Самогонка была чистая, как слеза, из госпитального запаса налили; дед Примак тяжело вздыхал, наливая: жалко было.

Полиций отставил самогонку. Перед тем как залезть в Машину корзинку, поглядел на нее, странно застывшую. Удивился:

— А это что за кукла с тобой?

— Дочь нашей учительницы. Бедствует с матерью, мать у нее больная. У нас хоть корова есть и куры. А у них ничего нет. Живут — кто что даст.

Маша не промолвила ни слова, и ни одна черточка на ее лице не шевельнулась. Меня даже испугало ее оцепенение. Неужели от страха так застыла?

Маша глядела не на полиция — на бункер. Я оглянулась. Там стояли двое молодых солдат и, смеясь, показывали один другому на нее. Я встревожилась. Влипнем. С такой куклой не пройдешь. А полиций копался в ее корзине, говорил же со мной:

— Отравы не намешала в самогонку?

— Что вы, дяденька! Разве у нас в душе бога нет?

Он выпрямился, с мокрой, кроваво-зловещей лапой, и глаза его блеснули недобро, гневно.

— У тебя — бог? Ты же комсомолка! И она комсомолка! Бре-пешь ты все! Я проверю, какие у тебя дети.

— Проверяйте, пан начальник.

— В лесу твои дети.

— В каком лесу? Когда собирают ягоды, бывают в лесу. Но не все. Трое совсем маленькие. А лес далеко...

— Не прикидывайся дурочкой. Бандиты твои дети, партизаны. От них ходишь.

— Ой, что это вы говорите, пан начальник! Я их в глаза не видела.

В этот момент молодые солдаты подошли к нам. Один взял бутылку, откупорил, дал понюхать другому. Тот чихнул. Все засмеялись. Даже старик, который молча наблюдал, как полиций обыскивает нас. Потом один из мадьяр, самый молодой, высокий, черный, как цыган, с белыми красивыми зубами, подошел к Маше и, посмеиваясь, ущипнул за щеку. И тут случилось неожиданное для меня. Машино лицо как-то страшно скривилось, перекошилось так, что один глаз стал выше, другой ниже. Она сначала по-идиотски засмеялась, потом так же ненормально всхлипнула. И вдруг залепетала быстро-быстро, как из пулемета, но с такой шепелявостью, что слов разобрать было невозможно.

Мадьяр испуганно отступил. Полиций, потянувшийся к платку, в котором я несла яйца, спросил было уже: «А там у тебя что?» — тоже, пораженный, встрепнулся, уставился на Машу.

Тогда она начала высказывать ему что-то с возмущением, тыча пальцами то в наши корзинки, то в солдата.

Полиций послушал ее немного, потом плюнул:

— Тыфу ты, нечисть... Дал бог морду, так ум отнял! — и спросил у меня: — Давно это у нее?

— Давно. После пожара. Горели они, — тотчас придумала я.

Полиций повернулся и пошел к бункеру. Солдаты, уже не смеясь, с сочувствием оглядываясь, потянулись за ним, бутылку взяли с собой. Часовой махнул нам рукой: «Идите».

К шлагбауму подъезжал немецкий военный грузовик.

Некоторое время мы шли молча, как бы боясь, что нас могут услышать, хотя вокруг было незасеянное поле, даже сорняки выросли редкие, невысокие, чахлые. Только в канавах вдоль дороги трава была густая, припудренная пылью.

Сначала Маша ускорила шаг. О, как мне знакомо это чувство — скорее уйти от опасности! Но нельзя. За нами, возможно, наблюдают. Надо вести себя так, чтобы у этого беспалого гада не появилось и зернышка подозрения: мне, может, еще придется встретиться с ним.

Маша, видимо, поняла, почему я иду медленнее, чем шла до сих пор. Я сгорбилась под тяжестью корзинки, как старушка. Меня немного тревожило, что грузовик долго стоит возле шлагбаума. Когда он загремел по шоссе за нашими спинами, я сжалась, отступила дальше на обочину, в пыльную траву, но все равно не оглянулась. Грузовик прошел мимо, в кузове, наверно, были пустые бочки, так как очень грохотало и лязгало. Под этот грохот я тихонько засмеялась, вспомнив, как Маша лепетала. Она тоже засмеялась.

— А здорово я их, правда?

— Здорово, — согласилась я. — А говорила, что артистка из тебя не получилась.

Маша вздохнула:

— Артистка не получилась.

— И играть ты умеешь. Если б я так умела! Ого!

— Такое я всегда умела, с детства. Уверовала, что это и есть талант. Кое-кто убеждал меня в этом. А режиссер сказал: ерунда, сыграть дурочку — ума не надо...

Мне почему-то захотелось вызвать ее на большую откровенность, чем это было между нами вчера. Полкилометра голой дороги — до первых городских зданий — давали единственную возможность поговорить, больше такой, наверно, уже не будет никогда; даже если мы и встретимся (могут послать на связь с ней, что маловероятно теперь, когда есть радисты), то встреча наша произойдет не в таких условиях, не в чистом поле, на явочной же квартире душевного разговора не поведешь.

Я сказала:

— Не понимаю тебя.

— А зачем тебе понимать? — Показалось, она насторожилась:

почему мне вдруг захотелось понять ее?

— Кто у тебя остался там? — спросила я, оглянувшись наконец, не идет ли кто за нами.

— Валя, не надо, — как пощады попросила Маша. Сняв с головы платок, она вытерла пот со лба и, поправляя корзину, пожаловалась: — Нарезала я плечи до крови. Сразу-то показалось легко. А теперь будто сто пудов несущу на плечах. Ты всегда ходишь с таким грузом?

— Часто.

— Не завидую тебе.

Меня рассмешило, что она так сказала: не завидую. Я подумала, к кому иду, и мне хотелось ответить: «А я себе завидую». Представила, как она удивилась бы. Нет, просто не поверила бы, решила, что я шучу. Больше убедило ее серьезное и простое:

— Я привычная.

Маша со вздохом согласилась:

— Да, человек ко всему привыкает! — и снова пожаловалась: — Пить хочется.

— Скоро дойдем до колонки. На улице есть колонка. Правда, вода там не всегда бывает. Но раза два я пила.

Вода в колонке была. Нажали рычаг, и она полилась бурной струей. Сбросив с плеч корзинку, мы приладились, чтоб напиться. Я стала на одно колено, не обращая внимания на грязь, и подставила рот под струю. Напилась, даже забулькало в животе, обмыла лицо.

Маша не могла опуститься на колено в грязь и пить так не умела, долго и жадно довела упругую струю губами и языком. Обрызгалась хуже меня. Ноги ее, покрытые пылью, от брызг стали грязные, и она надумала помыть их — сбросила ботинки, подставила ногу под струю. Тогда в доме напротив колонки открылось окно, высунулся бородатый мужчина, который, видимо, наблюдал за нами, и омерзительно выругал нас за мытье ног. Меня его ругань мало тронула, в других условиях я не постеснялась бы ответить ему такими же словами. Подумаешь, нашелся хозяин водопровода! А Маша испугалась. Быстро надела ботинки на мокрые ноги, поспешно схватила корзину. Я слышала, как она проптала:

— Боже мой...

Сначала я посмеялась над такой целомудренностью: неужели впервые услышала от мужчины матерные слова? Но потом увидела ее лицо, на котором отразились обида, страдание, боль. Поняла: так ее действительно никто не ругал. Она жила в другом мире — в интеллигентном. Можно было пожалеть ее, если бы я не знала, кто она, куда идет. А так меня снова охватила злость: посылают же таких! И страх. За Степана. Как ему работать с такой?

Рынок Машу поразил. Это естественно, меня он тоже удивил, когда я впервые пришла в город. Всюду на захваченной врагом земле жизнь как бы повернула назад, в прошлое. По-старому на-

чали пахать, по-старому сеять, по-старому молотить рожь — на ручных жерновах, как триста лет назад. Но, по-видимому, нигде этот возврат к старине не бросался в глаза так, как на рынке в большом городе. Такое мы, молодые, разве что в книгах читали да в кино видели. На рынке даже люди появились какие-то странные, будто не из жизни, а из книг, из театра. Вся старина выперла — в одежде, в поведении, в лицах. Какие-то мужичины в засаленных сюртуках, в грязных манишках, с усиками, с вороватым нездоровым блеском в глазах. Яркие размазанные женщины в старомодных или, может быть, излишне новомодных уборах, крикливые и нахальные. Медлительные бородатые мужчины, как русские купцы из прошлого столетия. Пугливые, как в годы крепостного права, крестьяне: боялись, что их не только обманут, но могут и арестовать, принять за партизан.

Солдаты немецкие, венгерские, румынские. Они тоже продавали ворованное с оглядкой. Боялись военной жандармерии. Нахальные полицейские порой забирали у человека товар без всяких объяснений. Немцы в штатском ходили, как хозяева, ничего, кажется, не продавали, ничего не покупали — глядели, слушали. В тот день слушали старого, слепого нищего-гусяра, которому подпевали двое поводырей-мальчиков, босых, опаленных солнцем, в штанах и рубашках из домотканого полотна. А рядом с ними инвалид без обеих ног, в красноармейской гимнастерке, только петлицы спороты, играл на гармошке и пел старинную военную песню: «Умер, бедняга, в больнице военной, долго, родимый, лежал...» Немецкие офицеры снимали инвалида и нищих фотоаппаратами. Но ни одного пфеннига не бросили.

Все толклись, кружили по рынку, одни молча, другие кричали — предлагали свой товар. Вещей разных, одежды продавалось много, но все какое-то старое, пропахшее нафталином. А продуктов было мало. Продукты вырывали из рук. Наши ягоды разобрали за каких-нибудь двадцать минут, хотя я раз за разом немного повышала цену. Даже немки покупали землянику на варенье. А какой-то тип шептал мне на ухо, что может купить все оптом — за соль, а сам подбирался к узелку с яйцами, но за узелком я следила зорко, не выпускала из рук даже тогда, когда отмеривала железной кружкой ягоды. Яйца, коль спасла их от охраны возле шлагбаума, я решила не продавать — отнести Степану, так как хоть и хороший паек он имеет, но делит его с хозяйкой, а та — с внуками своими. «Небогато живет, а работает много», — думала я озабоченно, как о муже.

Я торговала ловко, умело и одновременно помогала Маше, так как она «ловила ворон», ее обманывали. Я злилась, что она так жадно, прямо по-детски удивленно и недоуменно разглядывает все, что происходит на рынке. Хотя, по правде говоря, злило не само ее любопытство — это естественно и даже необходимо: попала деревенская девушка впервые в город, так можно подумать, если глянуть со стороны, а это нам как раз выгодно. Злилась от

мысли, что все-таки не всему ее научили, что огрехи у нее, пожалуй, в самом главном — в незнании условий жизни тут, у нас. Неужели в разведшколе не было ни одного преподавателя, вернувшегося отсюда, из вражеского тыла?

Но вообще нам повезло в тот день. Я, например, боялась перехода через железнодорожное полотно на Моховом переезде, там тоже часто останавливали и проверяли, кто, откуда, куда, зачем. Боялась, когда шли на рынок, и еще больше почему-то, когда возвращались с рынка, купив соли и отрез ситца — «на кофточку Маше». Все я продумала, каждую мелочь. Но легенды были правдивы до первой проверки. Если нас задержат и начнут проверять, все может рассыпаться, как песок. А если еще обыщут так, что залезут в рейтузы, — фашисты все могут, — то и проверка не понадобится. Дело в том, что несла я две пары справок: одни — от старосты села из-под Гомеля, чтоб пройти на постах с ягодами и яйцами, до рынка держала эти бумажки за пазухой; а другие, спрятанные глубже, — от старосты Степанова села, справки свидетельствовали, что я, Валентина Жданко, иду к брату, а Маша, Мария Лещук, дочь тамошнего полицая, пришла купить обновку. Это справки для Степана, если проверят у него на квартире. После продажи ягод я поменяла справки местами; нелегко это сделать на рынке, но я сумела: будто так, по-деревенски глубоко, прятала деньги; если кто увидел, то мог только посмеяться, — вот деревня! — но вряд ли заподозрил бы другое.

Раньше я не предпринимала подобных предосторожностей, потому что не так боялась. Все из-за Маши: не деревенская она с виду. Нет, наверно, не потому, что не деревенская, а потому, что чувствовала я особую ответственность — за нее, за Степана, за то задание, какое они вместе должны выполнить, о котором я могла только догадываться, но не имела права спрашивать.

К счастью, на переезде нас не задержали. Но больше всего повезло в том, что Степан был дома. И главное — один. В саду, под окнами своей комнаты, на столе-верстаке занимался любимым ремеслом: делал из обломков самолетов пластмассовые черенки для ножей и мундштуки. Лезвия ножей ему ковали где-то в кузнице, а он надевал и шлифовал черенки. Ножи вырабатывались самые разные: большие — финки и маленькие — перочинные ножички; были и простые — кухонные, столовые. На финках черенки делались замысловатые — в форме рыб, русалок, Мефистофеля, жирафовой и лошадиной голов... Не менее красивыми были и мундштуки — переливались радугой.

Хозяйка очень хвалила это Степаново умение: золотые руки у парня; она продавала его изделия на рынке и имела от этого немалый доход. Мне Степан тоже признался тогда, в шалаше, что промысел его позволяет ему в законном порядке иметь лишние марки, чтоб подпоить кого надо, а главное — мастерить почти открыто, не боясь, вместе с ножами и мундштуками мелкие детали для мин, которые потом кто-то из подпольщиков собирал.

Калитка была открыта, и мы вошли без стука. Услышали за домом его голос, вернее, свист — он насвистывал мелодию «Катюши». Я подумала, что неосторожно это, неизвестно, какие соседи за заборами с трех сторон, чего доброго, донесут, что квартирант поет советские песни, хотя, правда, «Катюшу» пели и немцы.

Нас Степан увидел не сразу, и мы какую-то минуту наблюдали за ним. Он шлифовал наждачной бумагой черенок финки. Увлекался работой. Ржаные волосы прилипли к мокрому лбу, на кончике носа повисла капелька пота. Лицо его с веснушками казалось совсем мальчишеским.

Я взглянула на Машу и увидела в ее глазах что-то такое, чего до сих пор не видела, — особенное любопытство, почти озорную веселость; перед парнишкой она сделалась девчонкой. Да и сама я с умилением любовалась своим любимым: в работе, наедине с собой, он был особенно красив — для меня.

Но Степан услышал нас. Посмотрел без удивления, с искренней радостью выкрикнул довольно громко — для соседей:

— Валька! Сестричка! Вот не ждал!

Подожел, обнял и поцеловал в губы, не как сестру. На посту на шоссе, на железнодорожном переезде, где стояла немецкая охрана, у меня не билось так сердце, как забилося от его поцелуя.

А Степан уже разглядывал Машу, разглядывал пристально, с любопытством, как говорят, с головы до ног. В этом разглядывании я усмотрела что-то излишнее, как бы непристойное, и мое горемычное сердце остановилось на миг в предчувствии чего-то недоброго.

— Маша? — выкрикнул Степан. — Неужели Маша? Ух, какая ты стала! — И, захохотав, схватил ее за руки, как старую знакомую, школьную подругу, крутнул вокруг себя. — Хорошо тебя кормят! Конечно, Украина! Сала полные короба имеее!

Маша тоже засмеялась.

Я поняла, что Степан знает о ней больше, чем я: сообщили через радиста, когда и с какой целью ее посылают сюда.

Это меня успокоило: вон как серьезно все поставлено! Вон откуда будут следить за их работой! Я повеселела. Но увидела на Степане грязную майку, и мне стало стыдно за него перед Машей, будто я могла постирать майку, но не сделала этого по лености.

Мы отошли в тень под яблони, так как солнце палило безжалостно, и сели на траву. Я передала приветы от родных и сообщила деревенские новости. Они, пожалуй, были одинаковые, что в моей деревне, под Лоевом, что в Степановой, под Комарином.

Маша не постеснялась лечь. Конечно, после такой дороги тут, в саду, в тени, нелегко было удержаться, чтоб не растянуться на прохладной земле. Но я подумала: деревенская девушка не легла бы так перед парнем.

Машу смешили мои рассказы. Она оживилась, в глазах появился удивительный, радостный блеск. Пожаловалась Степану:

— С сестрой твоей, Степан, ходить невозможно. Летит, как дикая коза. Она просто меня запарила!

Боже мой! Лучше бы она молчала! Разве это комаринская речь! Любая неграмотная баба поймет, что тут что-то не так. Интересно, какая у них легенда для ее пребывания тут, в городе? Но об этом я могу спросить только у Степана, когда останемся наедине. А когда и как мы сможем рстаться?

— Хозяин, кормить гостей будешь? Как я проголодалась! Вола з ила б («з'ила» она сказала по-украински).

Я вострепелась. Два дня в рот ничего не брала, а тут проголодалась. Хотя вообще я понимала ее: дошли до цели, она познакомилась с тем, кто будет ее руководителем, и он, безусловно, понравился ей — простой, спокойный, уверенный, и все вообще выглядело проще, чем ей представлялось, — вот и наступила душевная разрядка, забыты вчерашние переживания, возникло убеждение, что впредь все будет хорошо, потому и аппетит вернулся — поесть, видно, любит, не была бы такая гладкая.

Но понимание этого и рассудительность не облегчали мое состояние. Наоборот. Снова, как и вчера утром, словно весенний сорняк в поле, нарастала мучительная ревность. Я уйду, а она останется тут... Кровь ударила в голову. Чтоб не выдать себя и побыть наедине со Степаном, как-то успокоиться, я сказала:

— Пойдем, Степан, приготовим поесть. Я яиц принесла. Мать передала. Мы и в самом деле проголодались. Как позавтракали у дядьки в Борщовке...

В кухне Степан, радостно возбужденный, что мне тоже не понравилось, обнял меня и поцеловал. Я не оттолкнула его, нет, но и не прижалась, не поцеловала так, как мечтала об этом три недели. Осторожно, чтоб он не обиделся, отстранилась и спросила:

— Кто она?

— Здорова была! — удивился Степан. — Ты ее привела, а у меня спрашиваешь, кто она.

— Кем она будет тут, в городе?

— Об этом мы еще подумаем. Есть надежный план. Хорошие документы. Надо было посмотреть на нее...

— Она будет жить тут, у тебя?

Степан сначала посмотрел на меня серьезно, как бы недоуменно, потом рассмеялся:

— Вон ты о чем! А, чтоб вам... О чем вы только, бабы, думаете? В такое время, когда не знаешь, будешь ли жив завтра... Я о деле думаю: как лучше выполнить задание?

Стыдно мне сделалось: действительно, неуместно, недостойно для партизанки выдавать так открыто свои женские страхи и чувства. Отступила я своеобразно, не без особой хитрости:

— Степанка, скинь майку, надень сорочку. Ты погляди, какая она грязная. Неловко перед гостями.

— Валька, я рабочий человек. Паровозник. — Он снова обнял меня и серьезно, искренне, доверительно прошептал: — Не бойся. Не будет она тут жить.

— Я не боюсь.

— Неразумно было бы так рисковать. Можно провалиться сразу всем. А кому это надо? Я сегодня же отведу ее на квартиру. Только накормим. Для хозяйки: поведу к ее же, Машиной, тетке.

Как стало сразу легко, хорошо! Вернулась та радость, о которой я мечтала бессонными ночами, под гудение комаров, под шум сосен. Теперь уже я сама горячо поцеловала Степана.

Майку он не снял, наверно, потому, что не было чистой, но надел клетчатую сорочку; в сорочке этой он выглядел мальчишкой, такой конопатый озорник, отнюдь не городской, наш, деревенский, весельчак, танцор, к которому всегда липнут девчата. Подумала об этом, и снова глупое сердце мое тревожно екнуло. Но уже не так, на один миг. Я любовалась своим Степаном. «Он мой, мой, мой!» — хотелось крикнуть на весь мир. Не отводила от него глаз. Ему даже неловко стало, он спросил:

— Что ты глядишь так, Валька?

— Красивый ты.

— Да ну тебя!.. Где ты научилась комплементы говорить?

Мы подожгли в плите щепу и стали жарить яичницу на сале. Яичницей занималась я, Степан чистил лук и нарезал хлеб. За луком он сходил на огород, и я проследила за ним в окно и порадовалась, что возле Маши он не остановился.

Степан вернулся с луком и сообщил шепотом:

— Спит.

Так говорят родители о ребенке, который, издегав их своими капризами, наконец утомился.

Шепот его тоже не понравился, но это уже мелочь по сравнению с другими моими переживаниями.

Жаря яичницу, накрывая стол, я рассказывала о наших происшествиях за два дня: Степану надо знать, что новая разведчица умеет, на что способна, в чем ее сила, в чем слабости. Безусловно, о слабостях я говорила больше — о том, что войны она не видела, убитых, раненых не видела и условий здесь не знает, о народе, оказавшемся в оккупации, неуважительно высказывалась, будто все люди, что живут тут, враги. Ума надо не иметь, чтоб так думать. Одним словом, из рассказа моего выглядела она не такой героиней, как о ней могли подумать, да и сама я так думала, когда встретила ее на Ржавом болоте и в первые дни в лагере, когда она, Маша, очаровывала партизан своими песнями.

Степан слушал меня внимательно, но не выдержал, усмехнулся:

— А мне передали — опытная разведчица.

— Опытная? — удивило меня, что оттуда, с Большой земли, так передали. Не верить им нельзя. Если опытная, то это хорошо, можно не так бояться за них... за Степана. Но вместе с тем я чувствовала себя как бы обиженной: выходит, Маша забавлялась со мной, как с маленькой, за нос водила, дурачила?

Обед был готов, и я пошла ее будить. Спала она крепко, лежала на правом боку; по-солдатски подложив кулак под голову. Меня поразило ее лицо: оно казалось еще привлекательнее, и привлека-

тельность эта была не яркая, девичья, а скорее детская, добрая, ласковая.

Я долго смотрела на ее лицо, на руки, на запыленные ноги. Вдруг почувствовала, что мне жаль будить ее, как матери дочку. Странное чувство! Себя я никогда не жалела. Других партизанок тоже. Возмущалась, когда нам, девушкам, женщинам, в отряде старались дать какую-то поблажку. Считала, что если у нас равные с мужчинами права, то и обязанности должны быть равные. А тут красоту ее пожалела. Правда, через минуту упрекнула себя за такие мысли: жизни своей мы не щадим, так смешно же в такое время сокрушаться о наших женских прелестях, пусть они хоть какие, самые чарующие.

Не очень деликатно потянула Машу за нос. Она испуганно дернулась, раскрыла глаза.

— Вставай, соня.

— Пошла к черту, Валя! — И повернулась на другой бок.

— Яичница остынет.

Маша потянулась, села, протерла кулаком глаза, засмеялась:

— Сразу так бы и сказала. Хоть сон и самое дорогое, но яичница тоже что-то значит...

За столом Степан предложил нам немецкий спирт. Я отказалась. Спирт был вонючий — сырец, налил Степан в стаканы воды — питье сделалось белым, как молоко. Но Маша полстакана этого пойла выпила по-мужски, одним глотком. И засмеялась, довольная собой. Вообще она много смеялась. И много ела. С таким аппетитом ела яичницу на сале, что я опять подумала: неужели и голодовка ее вчерашняя была притворством? Появилось новое недоброе чувство к ней, более сложное и непонятное, а потому и, возможно, более мучительное, чем простая ревность, с какой я шла и которая две ночи не давала мне заснуть.

Разведчики, прилетавшие с Большой земли, были для меня идеальными людьми. Я провожала их с душевным трепетом. Я знала, что о задании своем они не должны говорить, и в дороге старалась вести разговор настолько тактично, осторожно, чтоб не вынудить кого-нибудь из них сказать лишнее даже мне, своей проводнице, хотя некоторых, чувствовала я, тянуло на откровенность. Но все они были сдержанные, серьезные. Ни один не выставлял себя, не красовался ни в отряде, ни передо мною. А она, Маша, и в отряде выставляла себя, и в дороге играла какую-то странную роль, даже не одну, много ролей, и перед Степаном излишне скалит зубы. Что ей кажется смешным? Ничего смешного не было. Сидели за столом трое молодых людей, парень и две девушки, и говорили о том, что в действительности мало кого из нас интересовало, — о селе, откуда будто бы мы пришли, о рынках, о ценах, о погоде, о любви... да и о любви — обычные шутки молодых людей. Продолжали разговор, начатый в саду. Но там он был рассчитан на любопытных соседей. А в доме на кого? Хозяйки не было. Можно было бы поговорить если не о ее, Машином, задании, то

хотя бы о наших партизанских и подпольных делах или хотя бы о нашей ненависти к фашистам. Нет, ни слова об этом. Так повела разговор Маша, Степан поддерживал ее. Выходило, что они вдвоем в сговоре, что, не успев как следует и познакомиться, они без слов понимают друг друга, а я так... сбоку припека, как говорится, третья лишняя. И это обидно задевало меня и порождало новую, не девичью, партизанскую ревность. «Не знаю, что ты сделала за войну, — думала я о Маше, — а мы что-то делали тут, мы давали врагу почувствовать нашу силу».

Получилось так, что к концу обеда говорили только они, а я молчала. Степан, наверное, понял наконец, что нехорошо они ведут себя передо мной, и, прервав разговор с Машей о том, что писал Пушкин о любви, обратился ко мне:

— Что зажурилась, Валька?

— Ничего. Слушаю, какие вы умные... поэзию помните.

Степан оглянулся на дверь, будто я выдала главную нашу тайну или что-то такое, за что оккупанты могли сразу повесить.

А Маша покраснела. Впервые я увидела, что она смутилась.

— А ты думала, угольная пыль забила мозги? Нет, сестричка, мозги у меня чистые. Как там племянник? — переменял он тему.

«Племянник» — Володя Артюк, он раза два приходил к Степану, и Степан однажды был в отряде, они подружились; меня, между прочим, почему-то всегда радовала эта их дружба.

— Жениться захотел, — сказала я.

— Да ну? — захохотал Степан. — К кому же он сватается?

— Да вот к Маше сватался.

Степан от удивления перестал смеяться. А Маша захлопала глазами. То, как она удивилась и даже немного возмутилась от такой внезапной и, по ее мнению, неуместной шутки, рассмешило меня и вообще развеселило. На какой-то момент я как бы почувствовала свое превосходство над ней. Радовалась, что пришло такое в голову — шутка-правда. А может, радовалась произвольной женской хитрости: бросить на соперницу хоть какую-то тень. Маша не сразу сообразила, что к чему, но не стала выяснять — так велся разговор, вроде бы с учетом, что нас подслушивают. Вынуждена была и она смеяться вместе со мной, так как я продолжала:

— А знаешь ли ты, почему она ягоды принесла? Приданое собирает. Теперь без приданого и за нищего не выйдешь. Как в старые времена. Все понемногу возвращается.

Тогда и они подхватили шутку, оценив мое остроумие. Это действительно, наверное, было смешно, что мы трое, связанные огромной тайной, даже между собой говорим так, будто находясь не в пустом доме, а в многолюдном вагоне или на том же шумном рынке. Догадавшись, о ком идет разговор, Маша, между прочим, высказалась о Володе совсем иначе, чем вчера в дороге:

— А что? Племянник ваш парень что надо. Только руки моей он не успел еще попросить. Несмелый. Но надежды я не теряю и приданое готовлю.

Мне хотелось, чтобы Степан поскорее повел Машу к «тетке». Но Степану надо было показать ее хозяйке. Имел, значит, в виду, что она, Маша, будет приходить сюда. Не нравилось это мне.

Христина Архиповна, выслушав Степана, — мол, вот Маша из его деревни, дочь учительницы, пришла в город, где у нее живет тетка, поискать работы, — горестно покачала головой и сказала:

— Дитятко мое, теперь из города в села бегут, прячутся. А ты — в город. Какую ты работу тут найдешь? К немцам прислужой пойдешь?

А когда Степан и Мама ушли, хозяйка сказала мне:

— Как ее мать отпустила? Такая красивая. Пропадет девка.

О красоте ее и Степан сказал, когда вернулся. Покрутил головой, засмеялся, казалось мне, с восторгом и радостью, очевидно, оттого, что ему придется работать с такой девушкой.

— Фу-ты ну-ты! С ней даже страшно ходить по улице. Каждый немец белмы таращит. Чего доброго, еще задержит какой гад. — И рассудил: — Одеть ее надо под немку. Тогда она меньше будет бросаться в глаза.

Ночи я ждала с большим нетерпением, чем даже в тот раз, когда Степан впервые позвал меня в шалаш. Тогда было счастливое девичье ожидание, легкое, и светлое, немного боязливое. А теперь тревожное, тяжелое, прямо-таки мучительное ожидание женщины, жены. Плакать хотелось от обиды и злости. У меня же все права, а я должна скрываться, как воровка, ждать, пока заснет хозяйка. Нет, не от этого плакать хотелось, от другого — от страха за свое короткое женское счастье... А вместе с тем становилось стыдно и гадко, что я думаю не о деле нашем, а о своем личном счастье...

Я дрожала как в лихорадке. Верила, что только Степан успокоит, в его объятиях я избавлюсь от всех страхов и тревог. Потому, видно, и не дождалась, пока заснет хозяйка. Открыла не слишком осторожно окно, прыгнула в сиреневый куст, надевав шуму.

Очень горячо я целовала Степана в тот вечер, не так стыдливо, как в первый раз. Он даже удивился:

— Валька, что с тобой?

— Я так затосковала, если б ты знал. Я заболела бы, умерла бы, если еще неделю-две не могла повидать тебя.

— От этого не умирают. Разве в романах только.

— Нет, умирают, умирают и в жизни. Неужели ты не скучал, Степа?

— Скучал, Валька, но что поделаешь? Не о любви теперь думаешь. Тише шепчи. — И зажал мне рот горячими губами.

Потом, когда он, утомленный, лежал на моей руке, а я, все еще полная нарастающей нежности, прижимала его сильную руку к щеке и целовала ладонь, от которой почему-то чудесно пахло не углем и металлом, а хвоей, лесом, — или, может, мне так казалось? — я между прочим сказала:

— А она... Маша, замужем и... рожада...

— Она тебе рассказала?

— Нет.

— Откуда же ты знаешь?

— Я видела ее голую, когда купались.

Степан тихо засмеялся.

— Что же ты могла увидеть?

— Степа! Видно же, кто девка, а кто баба.

Он обнял меня и вновь заглушил свой смех поцелуем.

— Ох, живот надорвешь с вами! Чудачки вы, женщины. Проницательные. Насквозь видите одна другую.

А потом, когда он вздрогнул, засыпая, я снова позвала его:

— Степа, а Степа!

— А-а?

— Давай поженимся, Степочка.

— А разве мы не поженились?

— По-настоящему. Чтоб люди знали. Нехорошо так скрываться. Стыдно.

Видимо, крепко задела его мои слова, он даже приподнялся; сел и, забывшись, заговорил чуть ли не в полный голос:

— Что это ты, Валя, надумала? Что же нам, в немецкий загидти? Кто нам разрешит?

— Нет.

— А как же?

Я заставила его лечь и горячо зашептала в ухо:

— Нас там запишут. Наши... Павел Адамович... командир. Взводный Долатюк женился на Ольге Москалевой, их записали в штабе. Свадьба партизанская была. И когда ребенок родился у Сони Войтик...

— Как же я доберусь до вас? Никто не разрешит выходить...

— А тебе не надо. Я сама... Я сама попрошу. Мне поверят, Степочка. Лишь бы было твое согласие. Ты только дай согласие.

— Чудная ты, Валька.

— Согласен? Скажи: согласен?

— Конечно же согласен, Валька. Я же тебя так люблю. Ты не знаешь, какая ты!.. Другой, наверно, на всем свете нет. Хотя и странной кажется мне такая свадьба.

— А что сделаешь, Степочка. Время-то какое! Вся жизнь перевернулась...

Утром хозяйка проводила меня не так вежливо, как в прошлый раз. Не как сестру Степана! Выследила нас вечером. Однако я не волновалась, мне стало почему-то весело, захотелось тут же сообщить ей, что мы со Степаном муж и жена. Жаль, что Степан ушел на работу раньше и я не успела посоветоваться с ним, обсудить наше новое положение.

А в дороге укоряла себя: значит, в этом я виновата, у меня, опытной связной, не хватило терпения, и такое не прощается. Степан, правда, уверен, что Архиповна не продаст, человек наш, сын у нее в Красной Армии. Но ведь зять ее служит в управе.

Второе, что обеспокоило и испугало, — отсутствие на условленном месте человека из отряда Федора; такого не было никогда, чтобы обо мне забыли. Мной не рисковали, встречали всегда, если отряд покидал лагерь. Что-то, значит, случилось, и мне надо было держать ухо востро, идти с удвоенной предосторожностью. Но затемна я все же без особых происшествий добежала до своих. Штаб был на месте. Павел Адамович очень обрадовался, что я вернулась.

— В сорочке ты родилась, Валья.

Рассказал: в воскресенье в обед, через несколько часов, как мы с Машей ушли (в штабе удивлялись, что мы так легко проскочили в город, действительно повезло), отряд Федора блокировали каратели. До вечера длился тяжелый бой. Погиб Федор; гибель знаменитого командира, мастера рейдов и диверсий на железной дороге, все сильно переживали. Я так даже расплакалась навзрыд. Вспомнилось, как в субботу мы обсуждали с ним план нашего похода. Все почему-то считали его пожилым, серьезным, строгим, а он ведь был совсем молодым, лет двадцати шести, немного старше Степана, и добрый, даже передо мной смущался и всегда со мной соглашался. На выручку Федору ходил сам командир бригады с конным отрядом. В бою ранило Володю Артюка. Разрывом мины под ним убило коня, и ему рассекло ногу, но самая серьезная рана была нанесена в ягодицу. Над этой раной отрядные зубоскалы издевались. Володя злился и всех выгонял, кто приходил в госпиталь проводить его. Меня девочки предупреждали: «Не ходи, Валья, Володька злой как черт. Всех кроет матом». Но не пойти к Володе я не могла. В дороге, когда возвращалась из города, думала: первому скажу Володе о том, что вышла замуж. Он один знаком со Степаном и словно родственник наш. Если бы мы женились как полагается, со свадьбой, то Володя, безусловно, был бы первым дружкой или сватом. Не буду брать с него слова, чтобы о моем замужестве он никому не говорил, он все равно расскажет Павлу Адамовичу и таким образом подготовит комиссара, а мне потом легче будет просить, чтоб зарегистрировали наш брак.

Несчастье с отрядом Федора нарушило мои планы. После такой трагедии — смерти командира и еще одиннадцати партизан — я не могла обратиться к командованию со своей необычной просьбой. Что обо мне подумали бы? Вообще я начала сомневаться, имею ли право в такое время выходить замуж. Люди умирают, а я о замужестве думаю — это же просто эгоистично, стыдно кому-нибудь признаться.

В размышлениях таких я провела еще одну бессонную ночь, третью. Думала о Степане, о Маше, по-разному думала, то хорошо, с верой и надеждой, то с тревогой и сомнениями. Думала о Федоре, и было мне очень жаль его; сколько мы похоронили партизан, но, кажется, ничью смерть не переживала я с такой болью. Жалела себя. Совсем недавно мне еще так просто и легко жилось. Я знала одно: дело связанной нелегкое, опасное, но когда привыкла к нему, то казалось оно чуть ли не самым мирным в нашей жесто-

кой борьбе; ходила на задание всегда без оружия и стреляла только в блокадные дни, раза два ездила с разведчиками в рейды нагонять страх на полицейские гарнизоны. За мной даже никто из партизан серьезно не ухаживал, это немного обижало: чем я хуже других? Но зато на душе было спокойно, ясно — ни туч, ни бурь, как у других девчат. А теперь так все перепуталось в моей жизни, завязалось многими узлами.

В госпитальную землянку я пошла утром.

Фельдшер Ваня Кулик сам делал Володе перевязку. Володя стонал и крестил фельдшера такой замысловатой бранью, что легкораненные непрерывно гудели. Между походами я помогала в госпитале, научилась делать перевязки, уколы, не боялась ран, и партизаны принимали меня как медичку — не стеснялись. Но Володя, увидев меня, закричал:

— Валька, чертова кукла! Выйди отсюда! Не хочу, чтоб ты видела мой порванный Гитлером зад!..

Раненые хохотали.

Такой уж народ партизаны — над всем умели посмеяться, даже над собственными ранами, в этом, видимо, и сила наша была, жизнестойкость. Позже Володя сам позвал меня, но на пороге предупредил:

— Валька, не вздумай только смеяться над моей раной, как эти брехуны и зубоскалы.

Я села на низкий дубовый кругляк, служивший табуреткой, возле Володиной кровати — высокого, чтобы удобнее было перевязывать, дивана на березовых ножках, с сеткой, сплетенной из лозы; на сетках лежали сеники, летом сено часто меняли, и свежий аромат его забивал запах гнойных ран, крови, пота, лекарства, не госпиталь — луг; у доктора нашего даже целая теория была на сей счет.

Погоревали вместе по Федору.

— Федор настоящий человек был! И командир! Другого такого, может, во всем соединении нет. Он о людях думал, чтобы вывести отряд из-под удара, и потому сам остался с группой прикрытия. Знал, что на смерть идет. Пять часов заставляли фашистов носами землю рыть, головы не давали им поднять, — рассказывал Володя.

Раненные из отряда дополняли его рассказ о своем командире и о неравном бое.

Поговорили и о разных лагерных событиях. О моем задании никто не вспомнил, будто я никуда не ходила, все знали, что связанных ни о чем расспрашивать нельзя. Но когда Кулик позвал меня в операционную землянку, Володя попросил:

— Наклонись, Валька, я тебе что-то на ухо скажу.

— Он давно хочет тебе в любви признаться, — пошутил кто-то.

— Что ты, щенок, понимаешь в любви? У тебя материнское молоко на губах не обсохло. Набери в рот сена и молчи!

Я сдвинула платок и приблизила ухо к Володькиным губам.

— Куда ты отвела ее? — зашептал он.

Я удивилась, выдохнула ему в ухо с упреком:

— Володя! Ты же разведчик!

— Слушай, засела она мне занозой в сердце. Когда увидишь, скажи ей об этом. Передай, что Володя просит прощения за свое хамство.

Мне от его признания сразу сделалось легче. Ах, если б я имела возможность сразу рассказать об этом Маше и Степану!

— Обязательно передам, Володя, — пообещала я, хотя мало верила, что получу когда-нибудь задание сходить к Маше.

Мне надо было после этих слов подняться и уйти, а я смотрела на Володю и счастливо улыбалась, глупая, радуясь и за него, и за себя.

— Слушай, — снова зашептал он, — одного боюсь: если ты передала ее Степану, пиши пропало. Ставь, Володька, крест на своей любви. Паровозник этот хват, около него такой лакомый кусок близко не клади: стащит и не облизнется, как хитрый кот.

Кровь ударила мне в голову. Даже сделалось дурно, как тогда, когда я в первый раз помогала на операции. Нечаянно, не подозревая, он, Володя, грубо задел мои страхи, сомнения, ревность, которые я старалась запрячь поглубже. Испугавшись, что чем-то выдам себя, я как безумная, удивив не одного Володю, выскочила из землянки. Прижалась к освещенной ранним солнцем, теплой сосне и, как рыба, выброшенная из воды, хватала ртом хвойный воздух. Тут только почувствовала, как в землянке сильно пахло госпиталем — кровью, смертью. Может, потому и закружилась так голова.

Всю долгую дорогу из города я мечтала о своем необычном замужестве, думала, как я доложу Павлу Адамовичу. Немного боялась, немного стыдилась. Но и от стыда такого и от боязни становилось радостно и весело. Сто раз мысленно повторяла свой разговор с комиссаром в разных вариантах, в зависимости от того, как Павел Адамович может отнестись — всерьез или шутливо, — но с верой, убеждением, что все обойдется наилучшим образом, так как не поверить мне не могут — в искренность моей любви, в серьезность наших со Степаном намерений.

Война растоптала многие мои мечты. А тут вот и Володя... Почему он так думает о Степане? Мне надо было возразить, чтобы убедить не столько его, сколько себя. Но не могла я этого сделать не только потому, что мною овладела растерянность, но и потому, что не имела права в полный голос назвать имени Степана, говорить о нем при тех, кому не полагалось знать о подпольщиках.

Три недели жила я как в сплошном тумане. Солнца не видела, жизни не радовалась, сама вся почернела.

Павел Адамович встретил как-то меня возле отрядной кухни, взгляделся внимательно, обеспокоенно спросил:

— Что с тобой, Валя?

— А что? Ничего.

— Вид у тебя болезненный.

— Нет, я здорова.

— Хворать тебе нельзя. Замены нет.

Раньше в случае чего меня мог заменить Федор, он один знал все наши явки, и его знали, а это очень важно: незнакомому и по паролю не сразу верили.

Павел Адамович по-отцовски посочувствовал:

— Устала ты.

Но жалость его ничем не отозвалась во мне, не тронула сердце, даже благодарности не появилось.

— Уже отдохнула, товарищ командир, — ответила безразлично. — Скучаю без работы.

Павел Адамович снова вздохнул.

К Володе я больше не ходила. Но через несколько дней он сам позвал меня, я пошла, не чувствуя ни обиды, ни неприязни, не боясь, что он еще что-то ляпнет. А он все же ляпнул, с этого, по существу, и начал:

— Валька, за что обиделась? Признавайся.

— За что я могу обидеться?

— Нет, врешь. Я три ночи не спал — думал. И пришел к определенному выводу. Сказать?

Он, Володя, ходил уже с костылем, и мы стояли под соснами, разговаривали без свидетелей.

— Говори. — Мне действительно было все равно, что он еще скажет.

— Ты сама втрескалась в того рыжего черта и переживаешь.

— В кого?

— Валька! Не притворяйся. У тебя же кошки скребут на сердце. Как и у меня. Мы с тобой союзники. Скажи что неправда?

— Городишь ты, Володя, невесть что. Залеживаться тебе вредно — глупые мысли в голову лезут.

— Ага, глупых мыслей хватает. Эти тоже глупые, но правдивые; вот в чем наша беда с тобой.

— У меня никакой беды нет.

— Хитрущая ты, Валька, как баба-яга.

«Да, баба-яга, — подумала я уже не равнодушно, а жестко, почти с ненавистью к себе, — а мечтаю о бабьем счастье. Смешно».

Рассердилась. Послала Володьку к черту.

— Не меряй всех на свой аршин, это у тебя всегда одни девки на уме. Люди погибли, твой лучший друг пал в бою, а ты все равно плетешь об одном и том же.

Володя хлопнул себя по лбу.

— Подожди. А не в Федора ли ты была влюблена? — И сразу стал серьезным: — В таком случае прости, Валя. Дурак я.

А я впервые расплакалась. Никогда в отряде не плакала, а вот пришлось. И Володя утешал меня, как маленькую. После плача этого я как-то сразу ожила, будто смыла слезами сомнения свои. Все прежнее вернулось, кроме разве решимости немедленно пой-

ти к командирам со своей и Степановой просьбой. Так и не осмелилась, пока они не позвали, не дали очередного задания.

Не к Степану было задание — на станкостроительный, группа там выросла, держать столько подпольщиков на одном заводе было нецелесообразно и опасно, да и сами хлопцы рвались в партизаны. Мне надлежало вывести семь человек из города в лес, на пополнение отряда Федора.

Может, потому, что не сдержала своей радости от нового задания (оно как бы давало мне право наконец высказать заветную просьбу), Павел Адамович начал предостерегать, чтоб я не думала, что задание легкое: теперь, когда нет нашей базы возле города, нет Федора, мне предстояло самой с учетом обстановки разработать весь план... Все равно я не переставала считать задание легким, и план сложился моментально. Безусловно, понадобится время собраться парням в дорогу... Поэтому не о задании я думала, слушая долгое объяснение комиссара и краткие реплики комбрига, который, казалось, к заданию моему проявляет не такой уж большой интерес, все внимание отдавал трофейному автомату, новому, такого раньше не было у немцев, — разобрал его, чтобы изучить принцип действия, разглядывал каждую деталь, цокал языком, восторгался: «Ты гляди, как просто и здорово! Умеют гады! Чертова немчур! Талантливый народ, а так одурачены Гитлером».

А я стояла у стола, слушала комиссара, смотрела на блестящие, новенькие еще, сизые детали автомата и думала, когда же мне сказать о своем замужестве, с чего начать.

Комбриг сказал:

— Не учи ее, Павел. По этой части она научит нас с тобой.

Такая похвала командира показалась мне наиболее подходящим моментом.

Стыда я не чувствовала, и решительность появилась такая же, какая была там, в городе, когда Степан согласился, чтоб я попросила командиров зарегистрировать наш брак. И потому я выпалила, как говорится, в лоб:

— А я выхожу замуж.

Если бы разобранный немецкий автомат вдруг дал очередь, командир, наверно, не удивился бы так, как от моих слов.

— Что-о? — застыл он с пружиной автоматического взвода в руках.

— Что-что? — с недоверием и, показалось мне, с насмешкой (это немного обидело) спросил Павел Адамович. Серьезность и строгость командира, с какой он уставился на меня, встревожили меньше, чем смешинки в глазах комиссара.

— Я выхожу замуж.

— За кого?

— За Степана Жданко.

Комбриг швырнул пружину на стол и порывисто встал.

— Черт возьми! Мы ей доверяем такие дела, а она там лю-

бовь крутит. Нигде на вас нет угомону, чертовы бабы! Ни на войне, ни в аду.

Удивительно, меня несколько не потряс гнев командира. Пускай покричит: умел и любил комбриг наш покричать. Я почти не обращала внимания на его слова, даже не смотрела на него; я смотрела Павлу Адамовичу в глаза, умоляла его взглядом: не стоит смеяться, это очень серьезно для меня.

— Нам бы записаться... чтоб все по закону...

Комбриг даже подскочил:

— Где? В немецкой управе? Я тебе запишусь! Я тебя под трибунал отдам за нарушение приказа... Распустились!

— Разве вы приказывали мне... не любить?

Павел Адамович засмеялся:

— Подожди, Тимофеевич. В самом деле, разве мы приказывали ей не любить? Нет, не приказывали. Закон жизни, брат, ее не останавлишь.

— Не остановишь... Дай, дай им волю, так завтра детские ясли будешь открывать, а не воевать.

Почувствовав поддержку комиссара, я еще решительнее перешла в наступление:

— В управу мы не пойдём, не бойтесь. Запишите вы нас, как взводного и Ольгу. Чтоб по советским законам.

Командир вдруг повеселел, подбоченился и осмотрел меня так, как, наверно, не смотрел никогда, — не видел он раньше женщину во мне, а знал только бойца, партизана, связную.

— Тебе что... так не терпится?

— Не терпится, — даже не моргнув глазом под его недобрый, почти непристойным взглядом, ответила я. Хотела сказать: «А может, завтра будет поздно, может, завтра кого-нибудь из нас уже в живых не будет». Но не сказала, побоялась высокопарных и трагических слов, жива была еще крестьянская приверженность к приметам — не говорить о плохом, чтоб не накликать беду.

— Когда же свадьба? — уже веселее спросил Павел Адамович.

— Свадьба после войны, если останемся живы. — Все-таки, хоть косвенно, напомнила о смерти. — А записать... прошу сегодня. Степан тоже об этом просил...

— Без жениха? — уже серьезно спросил комиссар, а в глазах его сразу потух смех, появилась печаль.

А командир, наоборот, засмеялся, будто обрадовался, что можно и отказать, раз нет жениха.

— Без жениха еще нигде и никогда не венчали. Как и без невесты. Читала о таком хоть в одном романе? Нет такого закона, ни церковного, ни советского. Прежде чем записать вас, я должен спросить: «Степан Жданко, хочешь ли ты взять в жены Валентину?»

— Вы не верите мне, что Степан согласен? Столько верили, такое доверяли...

Наверно, большая, невыразимая обида прозвучала в моих сло-

вах. И голос дрогнул, задрожали губы — вот-вот заплачу. Комбриг замолчал, нахмурился. Не любил он женских слез.

А комиссар сказал:

— Нет, Валя, тебе мы верим. И Степану. Но ошеломила ты нас. Может, подождем? Может быть, Степана удастся вызвать? Мать твою привезли бы. Справим партизанскую свадьбу...

— Нельзя нам ждать! — тем же дрожащим голосом ответила я.

— Нельзя?

— Она сказала: не терпится! — язвительно бросил командир. Павел Адамович попросил его:

— Не надо, Петр. Тут все сложнее, чем мы думаем. Пожалей ее.

Что-то мне ударило в сердце, загорелись щеки, стало стыдно, я догадалась, о ком комиссар подумал, — о Маше; он словно бы прочел вдруг все мои тайные мысли, сомнения и страхи. «Пережитки в сознании моем» — так я считала тогда, потому и устыдилась, что комиссар разгадал их.

— Пожалей! Кого жалеть надо? Нас с тобой. Такую связную теряем!

Командир подумал совершенно о другом: дескать, я забеременела. Такое подозрение меня меньше всего встревожило, и потому я решительно возразила:

— Нет-нет! Ничего вы не теряете. Я по-прежнему буду ходить на любые задания!

— Ну вот, видишь. Выходит, бояться нечего, — с улыбкой успокоил комбрига Павел Адамович. — Где начштаба спрятал нашу книгу записей актов гражданского состояния?

Доставая из железного ящика прошнурованную и скрепленную печатями книгу, комиссар вздохнул:

— Свидетелей не можем пригласить. Разве Артюка...

Хотелось, чтоб пригласили Володю, но командир возразил:

— Не надо. Я буду свидетелем, а ты попом. — Согласившись, он сразу подобрел, подмигнул мне заговорщически.

Такая формальность — запись в книге, которая, неизвестно, сохранится ли еще, — а как я волновалась, пока Павел Адамович не спеша чистил перо на ученической ручке и записывал наши со Степаном фамилии, имена и дату вступления в брак — четырнадцатого июня тысяча девятьсот сорок третьего года. С трудом расписалась внизу — рука дрожала, и буквы перед глазами качались как пьяные.

Павел Адамович обнял меня, поцеловал, поздравляя. Мне хотелось заплакать, но я сдержалась: кто-кто, а командиры слез моих не должны видеть. Комбриг весело закричал:

— Черт возьми! Отметим же надо такое событие, — и вытащил из-под нар бутылку самогону.

Тогда я засмеялась. И они засмеялись, комиссар и командир. Выпили за мое счастье. Только за мое. За Степана не пили. Но я не обиделась — знала партизанское правило: никогда не пить за того, кто на операции, в бою.

Не скажу, чтобы я летела на крыльях в город. Нет. Шла, пожалуй, спокойнее, чем обычно. Даже с меньшей предосторожностью. В самом деле, мною овладело какое-то удивительное спокойствие, расслабленность, какая бывает, наверное, тогда, когда человеку кажется, что самое главное в его жизни свершилось и судьба его определена навсегда.

Ни комбриг, ни комиссар ничего не сказали о том, могу ли я зайти к Степану. Понимали, что не зайти не могу. Не стали даже предупреждать о бдительности. Возможно, и им, как и мне, казалось, что раз я жена Степана, то все стало проще, открыто. Хотя в действительности ничего не изменилось. Наоборот, то, что хозяйка выследила нас, о чем, конечно, я не рассказала командирам, таило определенную опасность. Об этом я думала в дороге, но так же между прочим и легко отбросила эту, возможно, единственно беспокоившую мысль. Не хотелось тревог, волнений. Все было хорошо. Стоял чудесный, нежаркий, с наплывами облаков июльский день. Скошены луга, и уже попевала рожь; кое-где ее начали жать, стояли суслоны из снопов, под одним из них я спряталась от дождя и даже на короткое время задремала. Меня тут застали хозяин и хозяйка ржи, и я впервые за все свои походы сказала им правду — что иду из Лоева в Гомель, к мужу, который работает там, на железной дороге. Приятно было оттого, что люди поверили, радушно накормили хлебом и простоквашей.

О Маше я не думала. Нет, думала, но, пожалуй, так же, как о радисте, которого провожала еще осенью. Жив ли он, тот молчаливый парень? За военное полугодие много чего произошло. Степан как-то сказал, что того радиста куда-то отозвали. Кто там у них теперь, об этом я не спрашивала, — должно быть, Аня, которая прилетела вместе с Машей. Нет, теперь я думала о Маше тепло, как о сестре, с уважением и почти восхищением: из интеллигенции, по всему видно, а не побоялась пойти в разведчицы. Вообще тогда я восхищалась всеми, кто прилетал с Большой земли. Смелые люди. Со своей смелостью, с отвагой наших партизан их не сравнивала: мы, мол, делаем дело, которое не можем не делать, оказавшись в оккупации, для нас все, чем мы заняты, естественно, как любая работа, как сама жизнь. Разве можно сидеть в такое время сложа руки? Война идет всенародная, и каждый должен по-своему воевать, хотя бы так, как я, — безоружной ходить на связь. К работе своей я так привыкла, что считала ее самой простой среди многих партизанских дел, самой негероической. Достаточно, мол, натренироваться проходить по пятьдесят километров в день — и готова связная. Правда, в нашем деле нужны и некоторые внешние данные, такие, как у меня, — маленькая, невзрачная девушка.

В тот день я особенно легко прошла опасную зону, ибо ничего, кроме яиц и бутылки самогонки, не несла: командиры пришли к

выводу, что часто торговать на рынке нельзя, хотя это было и удобно. Рынок отпал еще и по той причине, что шла я в будни.

С Полозом, руководителем заводской группы, меня связывала Анна — приглашала его к себе. Анны дома не было. Что ж, нередко случалось, что я тратила и два, и три дня на то, чтобы встретиться с нужным человеком. Сами обстоятельства помогали мне быстрее увидеть Степана. Вечерело, приближался комендантский час, надо было добраться до места ночлега. Ходила я по городу всегда уверенно, смело. Может, именно эта уверенность и выручала — на того, кто не оглядывается, внимания не обращают.

Но в тот раз уже за переездом вроде бы без всякой причины напал на меня страх, какого, пожалуй, я никогда не знала. Вдруг показалось, что за мной следят. И я шла сжавшись, боясь оглянуться. Свернула в пустой закоулок — никого. Долго бродила по залинейному району, по безлюдным улицам, проверяла, нет ли хвоста. Никого подозрительного не увидела, а страх все равно не отступал. И какое-то волнение недоброе появилось. Радовало же то, что я иду к мужу, и вдруг исчезла радость, отступила перед страхом, притаилась. Противной стала самой себе. Никогда ведь я не была трусихой. Отчего это? Оттого, что удвоилась моя боязнь? Боялась раньше только за себя... Но разве без меня Степан не рискует каждый день, каждую минуту? Нет, страшно, очевидно, было потому, что сама я могу привести за собой смерть, ему смерть. Но ведь с таким страхом нельзя жить, нельзя бороться. Что ж мне, никогда не ходить к мужу, не видеть его? А если надо будет новое задание передать ему? Был момент, когда хотелось повернуть назад, пойти к Анне или к Примаку. Но поняла, что успокоение не придет, что страдания мои не улягутся. Оттого, что не увижу Степана, будет еще хуже. Наступит не короткий, а постоянный страх, может, вечное отчаяние. «Что же случилось?» — спрашивала я себя и не могла ответить. Не хотелось по-бабьи верить в предчувствие беды. Были у меня свои суеверия, приметы, да только не такие, от таких в партизанах все освобождались: воевать с недобрыми предчувствиями нельзя, а тем более выполнять задания, какие выполняла я.

Сделав большой круг, попетляв по закоулкам, вышла на улицу Бакунина, почти к самому дому Степана. И лицом к лицу встретилась с хозяйкой. Она несла воду от колонки. Одета по-праздничному, хотя и был будний день. В воскресенье не видела я ее такой нарядной.

Заметив меня, Христина Архиповна поставила на землю ведра, до оцепенения удивилась и, как показалось мне, испугалась. Прошептала:

— Ва-аля! Ты?!

«Провал», — подумала я, оглядываясь, мигом прикидывая, есть ли возможность спастись, если в доме засада.

— А у нас свадьба. Степан женится. На Маше! — пропела хозяйка уже без страха, пожалуй, ядовито и мстительно сверля меня

глазами. Издевалась, мещанка: мол, вот тебе за твой обман, получай сюрприз.

А я засмеялась. Ей-богу, искренне. Так как наступила первая разрядка. И мне сделалось смешно. Я весело подумала: «Только-то и беды, что женится?» Не поверила в такую свадьбу, во всяком случае в серьезность ее. А Христина Архиповна не поверила мне и уже по-женски сардонично посочувствовала:

— Как же оно будет, Валечка?

Догадалась я, что она имеет в виду, — выследила же нас, старая ведьма, — и уже трезво, рассудительно подумала, что свадьба, безусловно, делается с какой-то неизвестной мне конспиративной целью, а потому я ни одним словом, ни одним движением, даже выражением глаз не должна выдать ни их, ни себя.

— Что — как будет? Пускай на здоровье женятся. Они со школьной скамьи дружат. Еще до войны все ждали их свадьбы. Родители наши и Машина мать... — сбила я хозяйку с толку, она только глазами захопала. И вновь почему-то испугалась. Возможно, в тот момент у нее возникли подозрения более серьезные.

А я только одного боялась, идя в дом, — чтоб не смутить «молодых», особенно когда со двора через открытое окно увидела, что за столом немало людей, и, судя по шуму, уже подвыпивших.

Сидели в зале — в самой большой комнате у хозяйки. Я прошла в комнату Степана, чтоб положить там свой узелок, немного привести себя в порядок, хотя бы причесаться, а главное — набраться духу, придумать, как вести себя. Был в этом и еще один тайный расчет: Христина Архиповна наверняка шепнет Степану, и он выйдет сюда... все объяснит, пускай не словами, достаточно мне увидеть его глаза, и я все прочитаю в них. Но он не пришел. Возможно, хозяйка нарочно не сказала ему, хотелось старухе спектакль посмотреть.

Однако Степан не растерялся, когда я появилась на пороге зала. Поднялся и радостно воскликнул:

— Валька! Сестричка! Вот молодчина! А я уже думал — никто из вас не придет...

Смутилась она, Маша. Покраснела, как-то неестественно заулыбалась мне. Но тут будто вспомнила свою роль и сказала что-то по-немецки человеку в форме железнодорожника.

Меня почему-то поразило, что Маша говорит по-немецки, хотя она и сказала, когда мы шли, что знает два иностранных языка, — это мне тогда показалось шуткой. Но особенно поразило то, что за столом сидят немцы. С оккупантами я встречалась при разных обстоятельствах, но чтоб сесть с ними за один стол... к этому не была еще готова.

Гостей было не так много, как мне показалось сначала. Человек восемь. Естественно, что все они с интересом рассматривали меня.

Я обратила внимание на немца, с которым заговорила Маша, но тот уже был пьян и особенного интереса ко мне не проявил, —

видимо, короткое Машино объяснение его целиком удовлетворило. Моментально я нашла того, кто смотрел на меня более пристально. Это был полицейай. Боже мой, кого только тут нет! Взгляды наши встретились. Моложавый, черный, как цыган, мужчина в полицейском мундире глядел так, будто все знал, и недобро, хитро усмехался: мол, пожалуйста, позабавляйтесь. Вспотевшая спина моя похолодела. На память свою я никогда не могла пожаловаться, хорошо помнила, что с этим черным нигде не встречалась, но глаза его почему-то казались знакомыми. Это и испугало. Неужели его глаза когда-нибудь наблюдали за мной вот так же? Где? Когда? На рынке? Из бункера? В селе? Или, может, в одном из наших отрядов? Там, среди своих, я могла и не обратить на него внимания. Но не запомнить его нельзя. А может, это просто нервы? В такой ситуации может показаться что хочешь. Как бы там ни было, сразу поняла: в такой компании нужна особенная осторожность и ловкость, чтоб не только не сказать ни одного лишнего слова, но не сделать ни одного неверного движения — глазами не показать, не моргнуть, ничего такого, в чем имелся бы тайный смысл или проявились мои чувства.

Я подошла к молодым. Пять шагов от порога до окна, возле которого они сидели. А казалось, что шла я дольше, чем пятьдесят верст, из отряда до города. Я шла на свою свадьбу. И я попала на свадьбу... Вот он, мой муж, — в черном костюме, в белоснежной рубашке со смешным галстуком бабочкой. Никогда не поверила бы, что Степан нацепит когда-нибудь такую бабочку. Скажи пожалуйста, какой интеллигент! Но почему рядом с ним вместо меня стоит женщина в красивом белом платье (о таком платье я мечтала), высокая, с подрисованными бровями и накрашенными губами? Три недели она жила в моем сердце и заставляла меня душевно страдать. Неужели ей мало моих мучений?..

Но я не имею права смотреть на нее так. У нее уже и без того испуганное лицо. А никто не должен пугаться. Никто. Ни я. Ни она. Пускай немцы бояться нас. А мы любим друг друга. Я люблю тебя, Маша.

— Я поздравляю тебя, Маша. Я рада твоему счастью. — Не Степану, а ей первой протянула руки, обняла и трижды поцеловала в губы, в щеки и тут же ощутила, что ее пунцовые щеки холодные, как мертвые.

— Спасибо тебе, Валя, что пришла, — сказал Степан, взяв меня за плечо.

— Спасибо тебе, — прошептала Маша, не выпуская меня из объятий, сжимая все сильнее, горячо целуя в висок.

Я подумала, что уместно было бы и расплакаться, но не могла выжать ни одной слезинки из глаз. Только когда вырвалась из объятий Маши и повернулась к Степану, мое горло сжали спазмы: не могла произнести обычных поздравительных слов. Губы задрожали. Но слез я испугалась и скрыла их, обняв Степана и уткнувшись лицом в его белую манишку, от которой пахло нафталином.

Степан шутливо предупредил:

— Не вздумай зареветь, Валька. Не люблю женских слез. Как там наши? Мама? Батька?

Я оторвалась от его груди. Вдруг расхотелось плакать и сделалось почти весело.

— Батька? Обещал отлупить тебя. Как тебе не стыдно! Не мог домой приехать...

За столом засмеялись. Маша перевела эти слова по-немецки. Но, по-видимому, немецкий язык она знала не очень хорошо. Пьяный немец в железнодорожной форме не сразу понял ее, переспросил. Ему объяснил другой, в штатском, немолодой уже человек, лет пятидесяти, с широким лицом и большими кулаками, которые он сжал, будто хотел стукнуть по столу. Я догадалась, что это машинист Фойт, с которым Степан ездит и которого как-то хвалил.

Хозяйка принесла табуретку для меня и хотела посадить ближе к «молодым», но полицейай перехватил табуретку и втиснул ее между собой и неприметной, худенькой девушкой с заостренным личиком и удивительно тонкими пальцами, — казалось, такие пальцы никогда не знали никакой работы, хотя вообще вид девушки был простой, явно деревенский, и платье на ней было простенькое, будничное. Она будто была испугана чем-то и явно обрадовалась, когда рядом с ней села я. Вскоре я поняла, чему она могла обрадоваться. Наливая мне водки, полицейай незаметно и ловко обнял меня за плечи, а потом оцупал погу: Знакомые движения: так полицейские не раз обыскивали меня на постах. Было противно. А за такое за столом и стоило бы ударить по морде. Но я должна была благодарить его.

— Благодарю, пан начальник.

— Мое имя Яков Рыгорович. А твое? Валя? Валя, да? — недобро, хитро, как бы проверяя, переспросил он.

Степан, видимо, увидел, какую волю он дает рукам, и услышал его слова, поэтому сказал громко, смеясь:

— Яков Рыгорович, Валя, женат, так что можешь не бояться его. Он человек смирный.

— Не слушай его, Валя, только женатых и надо бояться. Холостые — они как телята. Как твой брат до сегодняшнего дня. Сколько раз я хотел его свести с девочками — отбрыкивался, боялся. Удивляюсь, как Маше удалось обротать его.

— Что есть смирный? — спросил машинист. — И что есть обротать?

Маша долго переводила эти два слова, сто слов потратила, чтобы растолковать их смысл.

За столом, напротив меня, сидели два парня, чем-то неуловимо похожие на Степана и один на другого. Как братья. Оба блондины, плечистые и как-то спокойно-уверенные. Мне они понравились, особенно когда я увидела, как один из них блеснул глазами на полицейая, когда тот лапал меня, — пренебрежительно, с ценя-

вистью. Так же спокоен был и Степан. Его спокойствие переда-лось мне. Улыбкой я заверила его, что мне все ясно и я сумею поддержать его игру.

Маша не казалась мне такой спокойной, она была возбужде-на. А может быть, невесте и надо быть такой? Нет, я заметила: ей хочется следить за мной так же, как следила хозяйка, — глаз не отводила. Но Маше мешал охмелевший немец Кольман, он то и дело обращался к ней, и ей подолгу приходилось объяснять ему, с трудом подбирая слова. Иногда ей помогал Степан. Изредка, ко-гда немец не понимал ее и Степан не мог помочь, тогда они обра-щались к машинисту, отрывая его от закуски. Фойт мало пил, но удивительно много ел, непрерывно жевал, не спеша, старатель-но. Говорил он по-русски плохо, но все понимал. Так что перево-дил легко, не задумываясь и намного короче, чем это делала Ма-ша, — скажет три слова, и Кольман кивает головой: понятно.

Стол был богатый, по военному времени прямо-таки царский. Хватало и выпивки, и закуски. Стояла немецкая водка в краси-вых бутылках и мутноватая самогонка в графинах. Были ветчина, колбаса, пшеничные пампушки, политые маслом, салаты из огур-цов и лука со сметаной и просто огурцы — натуральные, моло-денькие, свеженькие, наверное, прямо с грядки. Давно я таких лакомств не только не пробовала, но и не видела. Есть мне хоте-лось, и я могла бы хорошо поесть, так как немцы и «молодые» занялись своими разговорами и вроде бы забыли обо мне. Могла б... если бы не полицей-сосед и не Христина Архиповна. Они не забы-вали. Они все свое внимание уделяли мне. Я не знала, куда скрыться от их глаз и... от его рук.

Полиций потребовал выпить штрафную, тыкал рюмкой в лицо и лез ко мне со своими лапами. Было так противно, что я начала бояться за себя — не выдержу.

Степан, видимо, заметил это и деликатно обратился к нему:

— Яков Рыгорович, не спаивайте мою сестру.

— Есть тост, — сказал полицей. — Выпьем за наших сестер, которые приносят нам... — Повернулся ко мне и спросил: — Что ты приносишь брату? Сало или мины? — и захохотал.

— Шутник вы, Яков Рыгорович! — Степан тоже засмеялся. — У вас есть сестры?

— О, минен! — грустно вздохнул машинист, вспомнив, очевид-но, сколько эшелонов летело под откос.

— Есть.

— За ваших сестер выпьем, — предложил Степан.

— Нет, за моих сестер не будем пить! — строго приказал по-лицей. — А за твою сестру выпью. За то, что пришла к тебе. Не побоялась. Мои не приходят. Мои и на похороны мои не придут...

Он опрокинул большую стопку и снова уставился на меня, по-требовал:

— Выпей.

Я была вынуждена глотнуть водки, она обожгла мне все нутро.

Выслушав перевод, поднялся Кольман и начал говорить, раз-махивая вилкой.

Маша переводила его слова:

— Пан Кольман предлагает выпить за невесту. За меня. Пан Кольман говорит, что за десять дней моей работы на диспетчер-ской товарной станции они, немцы, полюбили меня. Что я не по-хожа на русских... что русские так не умеют работать...

Тут его перебил Фойт, сказав, что умеют работать и русские, и привел в пример Степана.

Это Маша перевела. А потом долго не переводила, о чем гово-рили меж собой немцы. Я увидела, что один из парней, Толя, знает немецкий язык, но не выдает этого. Полиций улавливал отдельные слова.

— Верно! Немцы великая нация. Они еще покажут культу-ру! — И вдруг гаркнул: — Хайль Гитлер!

Кольман удивился, посмотрев на него, — должно быть, полицай выкрикнул некстати, — но поддержал, выбросив руку над столом:

— Хайль!

А потом стал говорить о великой миссии арийской расы и о близкой победе. И о том, что он, Кольман, раньше, до приезда сюда, считал, что все русские одинаковы — фанатики и дикари — а тут понял: русские разные; есть среди них такие, как Маша, Степан, и что в этом нет ничего особенного — посмотрите на них (эти слова Маша с особенным усердием переводила), даже внешне они похожи на арийцев. Что он, Кольман, по внешности на-учился узнавать, который русский друг, который враг.

Тут даже полицай не выдержал, буркнул:

— Черта два их узнаешь! На лбу не написано.

А Фойт склонился над тарелкой и жевал ветчину с таким ви-дом, будто у него болели зубы.

Кольман долго доказывал, что Маша и Степан счастливые люди, что женятся они в знаменательное время, перед великими событиями, перед какими — то ли он не сказал, то ли Маша не перевела.

Как часто бывает у пьяных, немец забывал, о чем уже говорил, стал повторяться, толочь воду в ступе и никак не мог закруглить-ся, не мог вспомнить, чем надо закончить речь.

Ему помогли Толя и Виктор, они вдруг дружно крикнули:

— Горько!

Кольман удивился такому беспорядку, зло посмотрел на них, но парней поддержал Фойт, объяснив что-то по-немецки, и при этом смешно сморщился:

— Ой, горько!.. Горько!

Они встали, Степан и Маша. И тогда у меня впервые замерло сердце. Я забыла о хозяйке, о полицае. Обо всем забыла. Я только хотела увидеть, как они поцелуются.

Поцеловались они... как настоящие молодые, нежно и умело. Но главное — как она, Маша, смотрела на него перед поцелуем!

Можно изобразить любовь, ласку, ревность, равнодушие. Но нельзя женщине сыграть страх за него, за мужа. Я знала этот страх — после той счастливой майской ночи он часто овладевал мной. И я прочитала женский страх за мужа в Машинных глазах. Покачнулась моя уверенность в том, что это конспиративная свадьба. Припомнились Володины слова: «Этот паровозник хват. Возле него такой лакомый кусок близко не клади... Стащит...»

Представилось, как они целовались одни, может, там же, в шалаше, и кровь ударила в голову: «Неужели он такой? Нет, нет, не может быть! Он ведь честный, добрый...»

Но как ни убеждала себя, что Степан не такой, легче от этого не становилось. От водки, еды, усталости, напряжения, — ничем не выдать себя! — от сердечной боли кружилась голова, и лица плыли, как в тумане. Почему вдруг таким встревоженным стало лицо Степана? Посмотри сюда! Успокой меня без слов! Глазами, я все прочту в них. Да не смотрел он так. Смотрел не на меня, на полица. Гость этот почему-то больше привлекал его внимание. И все приобретало иной смысл. Какая мерзкая ухмылочка у хозяйки. Обо всем знает, наверно, их тоже выследила. Долго молчала старая, а тут вдруг разговорилась — свадебные поговорки припомнила. Но и поговорки показались двусмысленными.

А полица, паскуда, лапал руками мои коленки. О, как хотелось схватить тяжелую бутылку и расквасить его поганую морду!

Все перемешалось в моей душе, в моей голове, и я плохо помню, кто еще что говорил. Но вообще-то такой пьяный шум, беспорядочный гомон и в спокойном состоянии запомнить невозможно. А в моем сердце... что там творилось! Помню, Толя читал стихи Есенина: «Как жену чужую, обнимал березку».

«Как жену чужую...» Я это запомнила. Мне было действительно горько. «Кто же тут чужая жена?»

Кольман попытался исполнить немецкую песню, наверное популярную в Германии, но песню никто не подхватывал. Он потребовал:

— Пойте!

Как наседка, стрекотала подвыпившая хозяйка, все ее смешило. Разговорился Фойт, хвалил Степана: отличный машинист, ему уже можно доверять паровоз. Доказывал это Кольману по-немецки, всем другим — по-русски, неизменно коверкая слова не только русские, но и немецкие, так как Кольман тут же поправлял его.

«Кто же тут чужая жена?»

Противно по всему телу пробегала дрожь, дышал в ухо самогонным перегаром полица. Наверное, подумал, что и я пьяная, раскисла.

— Как там наши?

— Кто?

— Партизаны, — едва пошевелил он губами.

Тут я встрепенулась. Возмутилась. Сказала во весь голос;

— Что это вы, дяденька? Я их в глаза не видела. От нас лес пятнадцать верст. А если они ваши, то идите целуйтесь с ними.

Полица захохотал. А Степан погрозил мне пальцем, потребовав, чтобы я более вежливо разговаривала с гостем.

С этого момента я снова чутко прислушивалась ко всему, о чем говорилось за столом. И почти убедила себя, что свадьба конспиративная. Да ненадолго. Степан принес гитару, чтоб Маша спела, а перед этим он сказал Кольману, что тот не знает еще одной способности новой сотрудницы диспетчерской службы. Маша переводила эти слова с трудом, смеясь.

И гитара тут. И обожгла одна мысль не менее больно, чем их поцелуй и страх за мужа, какой увидела в ее глазах. Маша долго перебирала струны, раза два начинала петь и прерывала пение. Потом запела старинную, никому не известную свадебную песню. Не песню, а плач, голошение:

Заплети-ка, подруженька,
Да мою косу русую!
Да вплети-ка, подруженька,
В мою русую косыньку
Еще сабельку вострую!

Странно, почему эти слова так взволновали меня. Просто, видно, нервы не выдержали. Я зарыдала. Встала, чтоб выбежать из-за стола, но полица как обручем сжал мою руку.

— Чего заревела? Замуж захотела? — грубо пошутил он.

— Что с тобой, Валя?

Степан! Он не знает, что со мной? Его вопрос еще больше разжалобил меня. Хотелось биться лицом, головой о стол. Маша следила за мной. Со страхом и тоской. Я видела ее глаза. Она словно бы прощалась со мной перед смертью. Чьей? Но я не злилась на нее, это я хорошо помню. И на Степана я не злилась. Только смертельная тоска и отчаяние овладели мной. И желание умереть. Впервые возникло такое желание.

Что-то говорил Кольман. Но Маше было не до перевода. Как дети, успокаивали меня Толя и Виктор, робко, смущенно.

А Христина Архиповна подбежала ко мне, обняла, загорodiла от всех, даже прикрикнула:

— Чего вы прицепились к девке? От такой песни любая баба заревет. Выпило дитя, утомилось... Брат женится... Война идет... Пойдем, Валечка, полежишь, отдохнешь.

И повела меня в свою спальню. Там, укладывая на кровать, грошентала:

— Не горюй, дитятко, твое счастье впереди. Если оно есть у тебя, то не минует. Ох, чего только война не натворила!

Вскоре мне стало стыдно за свои слезы, за желание умереть. Партизанка, называется! Появилось ощущение, будто я отступила, убежала с самого трудного поля боя. Но возвращаться назад, в зал, не хотелось, и, притихшая, утомленная дорогой, — легко ска-

зять, пятьдесят километров! — исстрадавшаяся душой, я заснула. Когда разошлись гости, не слышала. Проснувшись от тишины. Смеркалось. На улице, перед домом, росли липы, и в узкой комнате было уже почти темно. Я испугалась: начался комендантский час, когда без ночного пропуска не пройдешь. А я засыпала и спала с мыслью, что мне надо скорее уйти отсюда. Мысль такая возникла не столько от обиды, сколько от уставного положения разведчиков — большой группой не ночевать в одном месте.

Хозяйка мыла на крыльце тарелки. Встречаться с ней не хотелось: странно, я чувствовала себя перед ней виноватой. Почему?

Неслышно прошмыгнула на кухню и заглянула в комнату Степана. Оттуда, с западной стороны, небо еще пламенело багрянцем, и в комнате было светло.

Они сидели там, Степан и Маша. Не как молодожены. Не в обнимку. За столом, напротив друг друга. Кажется, Степан что-то писал, так как сразу скомкал бумагу. Спросил:

— Отдохнула?

Я не ответила. Это их явно смутило. Странно, что такой говорун, как Степан, молчит, будто язык проглотил. И за столом он был не очень красноречив. Нерадостно на душе? Откуда ей быть, той радости?

Я спросила в упор:

— Зачем вам эта свадьба?

Маша посмотрела на Степана, ожидая объяснения от него, а он кивнул на открытое окно и таинственно прошептал:

— Тише ты!

Я подошла к окну, послушала, как бренчит тарелками и вилками Христина Архицовна, плещет водой. Крыльцо от окна вон где, с другой стороны. Кого он боится? «Просто не хочет отвечать», — подумала я.

Захотелось сказать им что-то неприятное:

— Помогли б посуду старухе помыть. Господа...

На это они тоже ничего не ответили.

Тогда я сама высказала свое мнение о свадьбе — ударила безжалостно:

— Дерьмовые вы конспираторы. Провалите вы дело. Всякой сволочи наприглашали. Устроили театр...

— Валя! — с угрозой предупредил Степан. Подошел и закрыл окно. — Ты глупо ведешь себя. Распустила нюни...

Я злобно огрызнулась:

— Ты умник!..

Но тут же подумала: действительно неуместно. Зачем нам ссориться? Что я докажу этим? Только унижу себя. В тот же миг я почувствовала особенную гордость. И вновь устыдилась слез своих. Поклялась, что больше не заплачу ни от какого горя, разве только от бессилия. Но бессильными нельзя быть в такой борьбе. Они гибнут, а мы должны победить. Нет, силы у меня хватит. На все.

Помолчав, я сказала:

— Поженились — живите. А я пойду.

— Куда? — Степан загородил мне дорогу. — Никуда ты не пойдешь! Ночь уже. Тут командую я.

— Эх ты, командир!

Обошла его и направилась к двери через кухню, все еще наполненную запахом свадебных блюд.

— Валя! — строго крикнул Степан, шагая вслед за мной.

Я поняла — не отпустит он меня. Не драться же нам у двери, при хозяйке. Да и у самой уже включились тормоза предосторожности: идти с моими сельскими документами в такое время большая глупость, не они, а я могу провалить не одну себя. Да и собой не имею права рисковать! Завтра надлежит вывести людей в лес. И заменить меня некем. Павел Адамович сказал. Ускорила шаг, чтоб Степан не догнал меня на крыльце. Хозяйки не было — понесла тарелки в комнату. От крыльца я повернула не к калитке на улицу, а в сад.

Степан остановился.

Возле шалаша я упала на колени и полезла под брезент, в черную пропасть. Что меня потянуло сюда? Не знаю. Может, злость? На себя, на свою дурь. Тут, в собачьей конуре, была твоя свадьба, сюда и залезай со своим горем. Или, назло ему, Степану, чтоб напомнить о том, что было между нами, и хлестнуть по глазам: пускай и ему будет больно, если есть совесть. А может, надежда не угасла, жила в подсознании: я твоя жена, и я иду на нашу брачную постель.

Не разобралась ни тогда, ни позднее, что привело меня в шалаш. Помню только, что не обрадовалась, а испугалась, когда услышала шаги Степана. Скорчилась, притаилась: неужели идет сюда? Нет, он остановился и долго стоял молча, я слышала его дыхание. Потом тихо позвал:

— Валя!

Я не отозвалась.

Еще раз позвал, приподняв брезент, наклонившись.

Я молчала.

Он вздохнул и пошел назад в дом.

Пускай. Мне действительно не хотелось разговаривать, не хотелось даже слышать, что эта свадьба обыкновенная маскировка. С безжалостной жестокостью к себе подумала: нельзя придавать так много значения своей персоне. Кто я такая? Незаметная связанная. Худущая девчонка, на которую даже в отряде мало кто посматривал. И что же это со мной случилось? Случайно сошлась с парнем? Так хватит с тебя и этого. Стоит ли в такое время думать о чем-то большем? Вокруг рушится и ломается все, гибнут люди. И сама ты можешь погибнуть в любой момент. Так смелее же устраивать трагедию из-за того, что поломалась твоя короткая любовь. Она и не могла быть прочной в такое время. Недаром говорят: везет в одном — не везет в другом. Даже мысль о том, что

они, возможно, лежат в брачной постели, не наполнила меня ни гневом, ни злостью. Мною овладела томящая слабость, будто я истекала кровью. Вспомнилась собака Пальма, которая была у нас перед войной. Однажды утром она не вылезла из своей конуры, как ни звали ее. Только глядела на всех грустными-грустными, даже не собачьими глазами, казалось, вот-вот из глаз этих покатятся слезы. Потом отец увидел, что ночью кто-то пропорол ей вилами живот. Так она и сдохла молча, не заскулив, не завыв. Меня словно бы тоже ранили в живот. Я почувствовала боль и зажала рану руками, кусая сухие, горькие, наверно, попала полынь, стебли травы. Жалости к себе не было, к себе я все еще была беспощадна. Но похолодела от мысли, что там, в теле моем, зародилась новая жизнь, а теперь она умирает, потому и больно так. Это испугало. Я не хотела, чтоб она умерла. Я хотела, чтоб она жила. Несмотря ни на что. Я просила ее остаться жить, воскреснуть в моем сыне.

Потом я не могла вспомнить точно: действительно ли болел живот, или просто мне казалось так. И не помню, сколько времени я лежала, слушая только себя, и ничего больше, не думая даже о них и обо всем, что произошло. Встрепенулась оттого, что кто-то залез в шалаш. Степан? Нет, голос Маши:

— Не спишь?

Я не ответила, но она, безусловно, слышала, что я не сплю. Может, я стонала от боли, а она стояла и слушала.

— Уже за полночь. В такую ночь не заснешь.

— Конечно, — сказала я.

— Ты не о том думаешь.

— Ты знаешь, о чем я думаю?

— Догадываюсь.

Она легла рядом, прижалась ко мне горячим телом. Казалось, что ее лихорадило. «Почему? — подумала я. — Испортила вам брачную ночь? Не обращайтесь внимания. Иди к нему».

Странно — ее близость успокоила меня. Теперь я прислушивалась не к себе — к ней.

— Уже за полночь, — снова сказала Маша. — Прошло больше двух часов, как стемнело. В Москве темнеет раньше.

О чем это она?

— Ты знаешь, сколько от линии фронта до нас? Ты знаешь, что там творится? Под Орлом и Курском?

Я знала, что там творится, но не об этом хотелось говорить с ней. Я снова спросила:

— Зачем вам эта свадьба?

Она хмыкнула:

— Ты не знаешь, зачем люди женятся, выходят замуж?

Она еще шутит! У меня вспыхнула та женская злость, какой я еще не знала. И я крикнула гневным шепотом:

— Он мой! Мой!.. Мы давно поженились. Неужели он не сказал тебе? Неужели ты не видела сама?

Она замолчала, только чаще задышала, потом отодвинулась от меня и притаилась так, что какой-то момент не было слышно ни дыхания, ни шороха сена под ее телом.

Подумала, что мои слова тяжкий удар для нее, и порадовалась, что отомстила: пускай же и у нее не будет покоя и счастья.

Но, помолчав, она ответила:

— Если твой, заведи его, пристегни к юбке и води за собой. Если сможешь... Мой, твой... О чем ты думаешь, баба?

Я зашипела все с той же гневной злостью:

— А ты о чем думаешь? Ты не баба, ты культурная! Про одну ночь?

— Я? — Она вдруг снова придвинулась ко мне, навалилась тяжелым, горячим телом и зашептала в ухо: — Да, про одну ночь. Про эту ночь... Ты не знаешь, какая она будет. Подожди. Подожди немного.

Неужели готовится что-то необычное? А я, дура, живу только своими личными переживаниями. Стыдно. Но тут же появилась новая тревога.

— Где Степан?

— Ушел.

— Куда?

— На задание.

— На какое задание?

— Тише ты! Сама же говорила: все тут имеет уши.

Я замолчала, думая уже совсем по-другому о Степане: куда, на какое задание он пошел? Думала с новой обидой, с новой ревностью: почему я не знаю ничего, я имею право тут знать больше, чем она, Маша, вся его подпольная работа связана со мной. Но вспомнила, что он стоял тут, звал меня, может, хотел сказать, куда пойдет, а я не отозвалась, глупая, теперь корила себя. И за злые слова, что сказала Маше, стало неловко. Действительно, веду себя нелепо, не о том думаю, не о том говорю, не то делаю. Никогда со мной такого не было, почти два года все мои мысли, вся жизнь, каждый день и миг были подчинены борьбе с лютым врагом. А тут вдруг начала думать о себе, а не о жизни, не об опасности — о мужестве. Разве не позорно заниматься в такое время устройством своего благополучия? Но что сделаешь с глупым сердцем? Болит оно, ревнует. Если бы я могла ко всему относиться просто и легко, как умеет она, эта странная разведчица... А так ли уж легко она относится ко всему, как проявляла себя в дороге? На свадьбе сегодня она выглядела совсем другой — серьезной, сосредоточенной и... грустной.

О чем это она говорит? О своей работе в диспетчерской...

— ...Этот рыжий Кольман предлагал свою любовь... Любовь фашиста! Они еще смеют говорить о любви! Как я ненавижу их! Как ненавижу!.. Если б ты знала... если б ты знала, как это тяжело, мерзко, больно — так ненавидеть и работать с ними, улыбаться, выслушивать комплименты...

Это будто ответ на мой вопрос: «Зачем вам эта свадьба?» Поэтому я затаила дыхание, внимательно вслушивалась в ее горячий шепот и вновь почувствовала, что она дрожит, как от холода. Я инстинктивно плотнее прижалась к ней и обняла ее.

Нет, слова ее не успокоят меня.

— Я ненавижу дни. Это страшно, Валька, ненавидеть день, свет, солнце... Ты переживала такое? Я полюбила ночи. Они давали мне покой и... радость...

У меня спова больно сжалось сердце. Как ее понять? Какую радость ей доставляла ночь?

— Помнишь, ты спросила в дороге, кто у меня есть. Я сказала: «Не надо, Валя, об этом». Так нас учили. А почему не надо? Почему? Что изменится, если я скажу тебе об этом? А может, станет легче на душе? Да, наверно, уже можно. В эту ночь все можно. У меня есть отец, он на фронте, офицер. И у меня есть сын Сережка, ему два годика...

У меня счастливо забилося сердце. Вот оно, успокоение! Если бы она еще сказала: «И есть муж». Нет, этого она не сказала. Говорила о сыне:

— Как он плакал, когда я последний раз провела их! А мать предупреждала, чтоб я не простудилась. Для них я служу в войсках Московского противовоздушного округа связисткой. И я действительно боюсь простуды. Смешно, правда? Не боюсь умереть — боюсь простудиться. Почему ты молчишь, Валя? Скажи что-нибудь. Не молчи.

— Что тебе рассказать?

— Как ты жила до войны. Мы двое суток шли с тобой и так мало знаем друг о друге. Так же нельзя. Нельзя. Неправильно это, что от нас требовали никому не рассказывать о себе... Почему? Знаешь же, учат многому тому, что вовсе не нужно в нашей работе. И упускают иногда главное, что так необходимо. Почему? Я не скажу тебе, так как и сама не знаю, не поняла еще, у меня небольшой опыт, это второе мое задание... Но я все время чувствую, что мне чего-то не хватает. У тебя нет этого ощущения, Валя? Ты все умеешь, все понимаешь? Да? Ты и ненавидишь их спокойно. По-мужски. Это разумная ненависть. Я сказала бы — здоровая. С такой ненавистью легче, правда? Почему ты молчишь? Говори! Говори!

Но говорить мне не хотелось. Я хотела слушать ее, интересно было, как она вдруг раскрывалась. Но такая ее возбужденность и тревожила. Почему она такая?

— Куда пошел Степан?

— Опять Степан! Ты все время думаешь о Степане? О несчастной! Нельзя, Валя, нельзя нам с тобой и всем таким, как мы, думать о тех, кого мы любим. Это парализует волю. Порождает страх... А мы должны быть бесстрашными! Мы должны быть бесстрашными! — повторила она.

— Куда пошел Степан?

— Иди ты к черту со своим Степаном! Почему ты повисла у меня на шее? Над ней висит петля!

— Маша! Чего ты злишься? Ты как пьяная. Успокойся.

— Да, я пьяная. От ночи! Моя брачная ночь! — Она пернво рассмеялась. — Какая ночь! Тихая-тихая... Только пыхтят паровозы. Ты слышишь, как они пыхтят? И свистят кондуктора. Зачем мы залезли в эту конуру? Вылезай! Ляжем и будем смотреть на звезды. И слушать паровозы. Их много тут, паровозов! Ты знаешь, Степан любит паровозы. И жалеет их. Ему подорвать паровоз — все равно что человека... Дурак. А я сегодня люблю самолеты. Наши. С красными звездами на крыльях. Вылезай. Поглядим на небо. Хочешь, помолимся? Ты умеешь молиться? А я умею. Нас учили. Чему только нас не учили! Ах, если б я теперь могла сдавать экзамен на актрису! Ни черта он не понимал, Игорь Петрович! «Актрисы из вас не будет». Идиот! Не тому он учил. Учит актеров надо там, в нашей школе. И тут, в диспетчерской, на моей свадьбе...

Я не откликнулась на ее призыв вылезти из шалаша, чтобы посмотреть на звезды, а она забылась и снова говорила, говорила. Я слушала ее с интересом и страхом и тут же подумала: не рехнулась ли она? Почему она не говорит, куда пошел Степан? Бойтсся, что все тут имеет уши? Но если до этих ушей дойдет то, о чем она тут наговорила...

Наконец она затихла, — видимо, к чему-то прислушивалась, так как спросила:

— Ты ничего не слышишь? — и быстро вылезла из шалаша.

Я немного подождала и тоже выбралась из темноты, наполненной запахом слежавшегося сена и железа.

Ночь стояла безлунная, но ясная, звездная, казалось, было светло. Маша лежала прямо на степке, где трава вытоптана до черной земли. В шалаше не было видно, во что она одета, и меня поразило, что она в том же белом свадебном платье.

Я легла рядом. Не помню, сколько мы пролежали там, помню, что ни о чем больше не говорили. Вслушивались в ночные звуки, откуда-то донесся одиночный выстрел, недалекий, пожалуй, с Мохового переезда. Мне опять захотелось спросить, куда пошел Степан.

Да вдруг заревели сирены воздушной тревоги. И сразу же по небу полоснули кинжалы прожекторов. Лучи лихорадочно кидались снизу вверх, с горизонта до зенита, перекрещивались, искали друг друга, прощупывали небо и расходились в разные стороны, чтоб снова начать сближаться. Потом лучи направились в одну сторону и застыли где-то над Новобелицей.

Тогда Маша обняла меня и радостно зашептала:

— Летят! Наши летят! Родные мои! Быстрее! Быстрее! Подожди, подожди минуточку. Сейчас наши устроят варфоломеевскую ночь фашистам. Летят! — Ее уже лихорадило, и от возбуждения она снова начала говорить.

Рассказывала, что немцы начали наступление под Орлом и Курском. Свое новое летнее наступление. Как прошлым летом на Сталинград. А наши... наши не только не отступили, наши прорвали их фронт и теперь наступают. Об этом я слышала в отряде.

Гитлер хочет заткнуть прорыв под Орлом и Курском. Бросает туда новые дивизии. Немцы гонят эшелон за эшелонами. А на железных дорогах успешно действуют партизаны. Двое суток закрыта дорога на Брянск, а с прошлой ночи и на Бахмач. В Гомеле скопилось больше двадцати эшелонов с живой силой и техникой. Среди них какой-то особый эшелон, два десятка классных вагонов с генералами и офицерами. Какой-то штаб, наверное. Состав этот тщательно охраняется, засекречивается, даже в диспетчерской никто ничего не знает. Его загнали в тупик к речной пристани.

— Сегодня утром мы обо всем этом сообщили в Центр. Я сама была на связи. С Анькой. Помнишь Аньку, что прилетела со мной? Получили ответ: «Ночью ждите гостей. Покажите ракетами наиболее важные цели». Ребята пошли на товарную, на пассажирскую.

— И Степан? — спросила я.

— Степан — на пристань, к особому эшелону. Он же руководитель, он пошел на главную цель.

Странно, почему она не сказала об этом в шалаше? Может, Мама суеверная и опасалась: а вдруг не прилетят? На войне всякое бывает. А она так ждала их, и если бы налет не состоялся, то это было бы для нее большим ударом. А теперь необыкновенно радовалась. Когда в небе послышался гул многих моторов, стиснула меня так, что казалось, затрепчат кости.

— Слышишь, Валька? Слышишь? Какая музыка! Лучшей я не слышала за всю жизнь. Слушай, слушай! Запоминай.

Такая радость ее, совсем детская, передалась мне, я забыла обо всем другом, о своих душевных страданиях. То, что я наконец узнала, куда пошел Степан, странным образом успокоило меня. Так всегда случалось, когда я получала задание и знала опасность, какая могла настичь. Это так естественно, что Степан пошел на главную цель. Мне тоже все время хочется получить особое задание, такое, чтоб стрелять, взрывать, хотя я хорошо знала важность работы связной. О том, что Степан может попасть под бомбы, не думалось. Будут же падать наши бомбы. Подумала о другой опасности: что ракетчиков, безусловно, будут ловить. Но это все равно что в бою — многое зависит от твоей ловкости, умения. А Степан все умеет, в этом я не сомневалась, потому и успокоилась, охваченная другим волнением, тем же, что и Маша, — ожиданием самолетов.

Жители привыкли к частым тревогам, и, пока выли сирены, в домах вокруг было тихо. Но как только ударили зенитки, захлопали двери, в соседних садах замелькали белые привидения. Хозяйка Степана тоже выскочила в сад в одной сорочке, чуть не спо-

ткнувшись о нас, испугалась, бросилась в сторону. Узнала, позвала:

— Прячьтесь в убежище.

В дальнем углу сада выкопана яма — убежище. Степан накрыл его сверху пшалами, и там было действительно почти безопасно, разве только прямое попадание могло превратить убежище в могилу. Но мы не пошевелились. В это мгновение самолеты шли над нами, одна эскадрилья, вторая... Гудело все небо. Лихорадочно металась прожектора. Но вдруг свет их померк. Загорелись сброшенные на парашютах осветительные ракеты. Осветили весь город. Такое зрелище я наблюдала впервые.

Мама шептала:

— Ты видишь, ты видишь их? Гляди — вон!

Нет, самолетов я не видела, нельзя их было увидеть в черноте неба. Только вспыхивали красно-зеленые букеты разрывов зенитных снарядов. Один раз на короткий миг в белом свете лучей блеснул серебряный мотылек. Все прожектора устремились туда, скреживали свои холодные лезвия. Туда же пушки начали бросать горящие букеты.

Мама умолкла, притаила дыхание, полная страха за эту серебристую птицу, попавшую в огонь.

Самолет скользнул вниз. Подбит или спикировал?

Всколыхнулась земля — первый бомбовый залп взорвался близко, на пассажирской станции. Там шугануло вверх высокое, яркое пламя, наверное, побили в цистерны с бензином.

Потом самолеты, заходя повторно на цели, ходили по кругу на небольшой высоте, моторы со звоном ревели со всех сторон, заглушая собачий лай зениток и пулеметов.

Шлепались в сады, пробивали крыши домов осколки снарядов. Но мы не обращали на них внимания, я даже не сразу сообразила, что это свистит вокруг и падает на землю, так как под таким зенитным огнем никогда не была. Но это был слепой огонь, по невидимым целям, палили в белый свет как в копейку. А наши летчики видели свои цели — эшелоны. Их показали ракеты подпольщиков, правда, из-за деревьев и вспышек батарей мы с Машей не видели этих ракет. А потом пожары осветили цели, горели все станции — товарная, пассажирская, пристань в Новобелице. В саду посветлело от отблесков пожаров.

Теперь говорить хотелось и мне: я была взволнована и обрадована этим налетом, такого моря огня не видела; были налеты, когда я ночевала в городе, но не такие массированные.

Все шире разгорались пожары. Стихли зенитки — захлебнулись или поняли, что зря тратят снаряды.

Небо заволочло черным дымом. Тяжелый и едкий, он оседал на землю, раздирал грудь. В соседнем саду кто-то натужно кашлял, хрипел, задыхаясь.

— Может, раненый? — сказала я.

— Черт с ним, — отозвалась Маша.

Поразила меня такая ее черствость к людям — наши же люди, не оккупанты! Разве она знала, что за человек там задыхается? Или она все еще считает, что каждый, кто остался тут, кто не пошел в партизаны, враг?

Загадочная и странная она, эта Маша, думала я, как быстро и непонятно меняется ее настроение! Как нежно, с умилением, говорила она перед налетом о родителях своих, о сыне — и вдруг это беспощадное: «Черт с ним...»

Самолеты, видимо, шли поочередно: отбомбились одни — их сменили другие. Было такое впечатление, что они беспрерывно висят над городом.

Маша коротко похвалила летчиков или командование:

— Молодцы! — и замолчала.

Наконец в небе наступила тишина. На земле все гудело, трещало, рвалось — все было охвачено пожарами, потухли прожектора. Кажется, подул ветер, так как зашелестели листья, разорвалось дымное облако, блеснули звезды. Вылезла из ямы хозяйка Степана Христина Архиповна, помолилась, глядя на небо.

— О божечка! Содом и Гоморра! Думала, конец света настал. Это же надо так бить по своему городу! — И вдруг заругалась на нас: — А вы лежите? В другой раз за косы потащу в укрытие. Дуры смелые! Степан каждый раз прятался.

Я думала, что Маша ответит ей, и боялась, что скажет недозволенное. Маша смолчала. Мне она тоже, кажется, не сказала больше ни слова.

Под утро стало холодно, но мы не пошли в дом и не полезли в шалаш. Земля под нами была теплая, не хотелось отрываться от нее.

Мы ждали Степана. Я в особенности. И была уверена, что она тоже ждет. И я страдала оттого, — стыдно сказать теперь! — что мне не хотелось делить с Машей это ожидание. Хотелось ждать одной... Всю жизнь. Но в этом было что-то и нехорошее — почему я думаю все о своем, личном после того, что произошло?

Тогда мы все стыдились своих интимных переживаний. Но не думать я не могла. Радовало разве одно — враждебность к Маше исчезнет. Вдруг мне стало жаль ее. Это хорошо запомнилось, потому что с этим чувством я заснула. Снилось, что снова летят самолеты, гудят. Проснувшись от сильного толчка. На улице, возле дома, урчали моторы, бухали тяжелые солдатские сапоги о землю — прыгали с грузовика. Ломились в калитку.

— Гестапо. Уходи! — кажется, совсем спокойно сказала Маша, помогая мне подняться. — Там доска, знаешь?.. Через сад и двор выходи на Островского. Если они не окружили кварталы.

— А ты?

— Меня не возьмут. Я с ними объяснюсь...

Рассуждать было некогда. Да, у Маши документы служащей железной дороги, она знает немецкий язык, а мне лучше исчезнуть, так как гестапо легко установит, чья я сестра, откуда.

Я уже открыла калитку во двор глухого старика и осторожно выглянула на улицу, нет ли гестаповцев, когда там, в оставленном мною саду, где сначала слышались немецкие команды, послышался пистолетный выстрел, завизжала, потом заскулила, наверное издыхая, собака. Вслед за тем зло застрочили автоматы. Их перебил взрыв гранаты. Потом кричали и ругались по-немецки...

Все утро я пролежала в руинах школы, глотая слезы горя, гнева, отчаяния — отчаяния от беспомощности: я не могла даже предупредить Степана, не знала, как это сделать; он может вернуться домой и напороться на засаду или пойдет на паровоз, и его схватят там. А может, его взяли, когда он пускал ракеты, потому и гестаповцы заявили? Надо было предупредить своего командира, Примака, — с ним Степан имел связь. Если Примак уцелел, может, ему удастся спасти парней из Степановой группы. Но Примак жил на улице Плеханова, по другую сторону железной дороги, а ее в то утро перейти было невозможно — дорога усиленно охранялась.

Я плакала о Маше. Почему она не пошла со мной? Почему не попыталась спастись? Хотела прикрыть меня и, жертвуя собой, спасти? Плакала от злости на себя, что плохо думала о ней. Перед лицом смерти какими мелкими показались все мои чувства в последние три недели. Хотелось так же умереть, как она, с оружием в руках и прикрывая товарищей. Если бы нашли меня там, в руинах, то взяли бы очень просто. Чем могла я защищаться? Чем могла убить себя, чтобы не попасть в их лапы?

Однако мне удивительно везло — под вечер я все-таки пробралась к Примаку.

Три дня сидела у него на квартире, хотела узнать про Степана: где он, что с ним? Но полиция ничего не знала, даже тот черномызый гад Яков Рыгорович — Примака встречался с ним, пытался разведать, не он ли выдал группу Степана.

На четвертый день Примака пришел домой с почерневшим лицом. По его виду я все поняла. Он сказал коротко и сдержанно:

— Мужайся, Валя. Их повесили. Степана и еще двоих. На привокзальной площади. Сегодня. Я оттуда... Полиция сгоняла народ на казнь...

Я не заплакала. Слезы мои за те дни окаменели. И сердце окаменело. Но я сказала, что пойду попрощаться с ним. Примака возражал: возле виселицы оставлены переодетые агенты СД и полиции, следят за каждым, кто приходит к повешенным.

Я не могла не пойти. Дала твердое обещание, что близко не подойду.

Примака сопровождал меня в полицейской форме, с пистолетом.

Виселицы были направо от вокзала, на пепелище барака пригородных касс. Я выполнила обещание, смотрела издали, с Комсомольской улицы, через зловеще пустую в тот день площадь. Люди жались к коробкам сгоревших домов.

Я издали узнала Степана. На груди у них висели фанерки с надписью: «Я подавал сигналы большевистским самолетам». Про надписи мне сказал Примак.

Был ветреный день. Ветер раскачивал их тела и, как у живых, лохматил волосы. Все трое были светловолосые, как братья. Больше я ничего не увидела, ветер засыпал глаза песком и пеплом.

Не помню, как, когда, по какой дороге вывел меня из города Примак...

...Я познакомился с Валентиной Андреевной в санатории. Мы сидели в столовой за одним столом.

Гуляя по лесу — нас было человек шесть, — мы, немолодые уже люди, вспоминали прошлое: войну, где и как кто воевал. Каждый что-то рассказал — были в компании и фронтовики, и партизаны, была минская подпольщица, она особенно много рассказывала.

Валентина Андреевна молчала.

Выглядела она моложе многих из нас, и я считал, что в войну она была подростком, поэтому спрашивать у нее о том времени вроде бы и не деликатно было. Но ее выдала соседка по палате, с которой она вместе жила:

— А Валя тоже партизанила.

Тут, конечно, мы к ней пристали с расспросами. Рассказала она только, как пряталась в куче хвороста и как каратели хотели поджечь хворост, но зажигалка не сработала.

Дня через два вышли мы как-то вместе из столовой после обеда, и Валентина Андреевна обратилась ко мне:

— Знаете, вам одному хочу рассказать о своей судьбе... о горе своем и... счастье. Никому не говорила... мужу своему... второму, — сказала это и как бы испугалась, даже оглянулась. — Боже мой!.. Второму... А был ли он у меня, первый? Я всегда думаю об этом... Кто из нас его жена? Я? Или она, та, с кем его повенчала смерть?..

Она рассказывала до самого ужина. Я спросил, можно ли записать все это и опубликовать. Она не сразу ответила. Потом нам помешали соседи по столу, подошли, начали подшучивать над тем, что мы слишком долго гуляем вместе.

Дня через три Валентина Андреевна уезжала из санатория. На прощание сказала:

— Напишите. Пускай прочтут молодые... дети мои, как мы воевали и как... любили...

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Народ и война. В. Коваленко	3
Глубокое течение. Роман	7
Торговка и поэт. Повесть	233
Брачная ночь. Повесть	403

Областная библиотека
549740

Шамякин И. П.

Ш19 Глубокое течение: Роман, повести. Перевод с белорус.—
М.: Воениздат, 1979.— 495 с., 1 л. вкл.
В пер.: 2 р. 50 к.

В однотомник народного писателя Белоруссии Ивана Шамякина вошли роман «Глубокое течение» и повести «Торговка и поэт» и «Брачная ночь». Все произведения посвящены героической, самоотверженной борьбе белорусских партизан и подпольщиков с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны; они глубоко патристичны, художественно правдивы.

Ш 70303—007
068(02)—79 150—79

С(Бел.)2

Иван Петрович Шамякин

ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ

Роман, повести

Редактор *А. П. Рогова*

Художник *О. П. Шамро*

Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*

Технический редактор *В. Г. Бадаева*

Корректор *К. В. Смирнова*

ИБ № 1064

Сдано в набор 19.02.78. Подписано к печати 31.08.78. Г-12773. Формат 60 × 90¹/₁₆.
Бумага типогр. № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Высокая печать. Печ. л. 31. Усл. печ.
л. 31 + 1 вкл. 1/8 печ. л. 0,125 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 35,128. Тираж 100 000 экз.
Цена 2 руб. 50 коп. Изд. № 4/4607. Зак. 202

Воениздат,

103160, Москва, К-160

Набрано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий»,

Москва, Краснопролетарская, 16

Отпечатано с матриц во 2-й типографии Воениздата 191065, Ленинград, Д-65
Дворцовая пл., д. 10